РОБЕРТ ШТИЛЬМАРК

ГОРСТЬ СВЕТА

роман

ТЕРРА – КНИЖНЫЙ КЛУБ

РОБЕРТ ШТИЛЬМАРК

1

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роберт Александрович Штильмарк (1909-1985) известен прежде всего как автор легендарного романа «Наследник из Калькутты». Однако его творческое наследие намного шире. Убедиться в справедливости этих слов могут все читатели Собрания сочинений.

В первый том вошли первые части романа-хроники «Горсть света» — произведения необычного по своему жанру. Это не мемуары в традиционном понимании, а скорее исповедь писателя, роман-покаяние.

- ГОРСТЬ СВЕТА
  - ○
  - ○ ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК УХОДЯЩЕГО ВЕКА
  - ○ ГОРСТЬ СВЕТА. Роман-хроника
    - ■
    - ■ ВСТУПЛЕНИЕ К РОМАНУ
    - ■ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Два обручальных кольца
      - ■ Глава первая. КОЛЬЦО МУЖСКОЕ
        - ■ 1
        - ■ 2
        - ■ 3
      - ■ Глава вторая. КОЛЬЦО ЖЕНСКОЕ
      - ■ Глава третья. ОТЧИЙ ДОМ
      - ■ Глава четвертая. ЛАДЬЯ НАД БЕЗДНОЙ
      - ■ Глава пятая. «УЖ БОЛЬНО БАРЫНЯ ХОРОША»
        - ■
        - ■ 1
        - ■ 2
      - ■ Глава шестая. В МИРАХ ЛЮБВИ НЕВЕРНЫЕ КОМЕТЫ
        - ■ 1
        - ■ 2
        - ■ 3
    - ■ ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Падшие ангелы
      - ■ Глава седьмая. В ОЧИ БЬЕТСЯ КРАСНЫЙ ФЛАГ
        - ■ 1
        - ■ 2
      - ■ Глава восьмая. ПОЭМА О СТРАНСТВИИ
        - ■

        - 1
        - 2
    - Глава девятая. ЦВЕТ СТОЛИЦЫ
        - 1
        - 2
        - 3
    - Глава десятая. ОСТРИЕ КИНЖАЛА
        - 1
        - 2
        - 3
    - Глава одиннадцатая. ВОЛЧЬИ ЯМЫ
        - 1
        - 2
        - 3
    - Глава двенадцатая. НЕ ИУДИН ЛИ ГРЕХ?
        - 1
        - 2
        - 3
    - Глава тринадцатая. РАСПУТЬЕ
        - 1
        - 2
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22

- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66

- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110

- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135

ГОРСТЬ СВЕТА
Роман-хроника
Части первая, вторая

ТЕРРА — КНИЖНЫЙ КЛУБ 2001
УДК 882
ББК 84 (2Рос = Рус) 6
Ш91
Оформление художника И. МАРЕВА
Штильмарк Р. А.
Ш91

УДК 882
ББК 84 (2Рос = Рус) 6
ISBN 5-275-00276-9 (т. 1)
ISBN 5-275-00278-5
© Р. Штильмарк, наследники, 2001
© ТЕРРА—Книжный клуб, 2001

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК УХОДЯЩЕГО ВЕКА

Моим рожденные словом
Гиганты пили вино —
Всю ночь — и было багровым,
И страшным было оно.
Н. Гумилев

Отец очень любил Гумилева, хотя величайшими поэтами XX века считал Блока и Маяковского. Он был их современником, пусть младшим. Он прожил долгую жизнь, был свидетелем многих исторических событий: от Первой мировой войны до начала горбачевской перестройки.

Мне, старшему сыну автора легендарного романа «Наследник из Калькутты», нет нужды подробно описывать жизненный путь Роберта Александровича Штильмарка (1909—1985). Он это сделал сам в романе-хронике «Горсть света», по сути беллетризованных мемуарах. Но несколько штрихов все же необходимы.

Будущий «батя-романист», как называли его в сталинских лагерях, родился в Москве, рано начал трудовую жизнь, учился в литературно-художественном Институте имени В. Я. Брюсова, работал как дипломат и журналист (ВОКС[1] газета «Известия»), преподавал на различных учебных курсах. Издал до войны книгу очерков («Осушение моря», М., «Молодая гвардия», 1932). В 1941 г. ушел на фронт, воевал под Ленинградом (зам. командира разведроты), не раз ходил в тыл врата, участвовал в жестоких боях. После ранений и контузий был направлен преподавателем в Ташкентское пехотное училище, затем переведен в топографическое управление Генштаба в Москву.

Его первая жена, моя мать, Евгения Дмитриевна Белаго-Плетнер была японоведом (в начале 20-х годов работала в Японии с первым мужем, дипломатом) Она скончалась в 1944 г., вскоре после возвращения в Москву из эвакуации. Отец создал новую семью с Верой Яковлевной Терновской. Однако 5 апреля 1945 г. он был арестован и получил 10 лет заключения в ИТЛ (исправительных трудовых лагерей) по статье 58-10 («за болтовню»). Три года Роберт Штильмарк провел в тюрьмах Москвы и лагерях Подмосковья, был выслан в Абезь (север Коми АССР), переведен оттуда с «крепостным» (лагерным) театром в Игарку, после развала театра отправлен в Ермаково, затем на

дальнюю лагерную колонну № 33. Здесь его встретил подневольный нарядчик и всесильный для заключенных главарь Василий Павлович Василевский, который предложил отцу — вместо тяжелой работы на лесоповале — написать приключенческий роман «из старинной иностранной жизни». Он определил «романиста» дезинсектором при лагерной бане, устроил ему на чердаке закуток, обеспечил бумагой (сброшена по спецзаказу с самолета По-2), чернилами и куревом...

После создания «Наследника» отец работал топографом геодезистом, пока не подошел срок освобождения и... ссылки в Енисейск. Там он познакомился с преподавательницей москвичкой Маргаритой Дмитриевной Савеловой, которая позднее стала его третьей женой. По возвращении в Москву началось новое «обустройство», поиски жилья и заработков. Отец уже не сворачивал с писательской тропы, но и не преуспевал на ней: жил очень трудно, почти в постоянном безденежье, часто одалживал средства у коллег-писателей («я весь в долгах, аки муха в паутине», — писал он мне). В 1962 г. в Географгизе (изд-во «Мысль») вышла его книга «Повесть о страннике российском». После долгих мытарств удалось издать «Образы России», посвященную российской архитектуре («Молодая гвардия», 1967). В том же издательстве вышли его книги «Пассажир последнего рейса» (1974), «Звонкий колокол России» (о Герцене, 1976), «За Москвой-рекой» (о драматурге Островском, 1983). Член Союза писателей СССР с 1965 г. Общественной деятельности в СП всячески избегал, но очень много ездил по стране с выступлениями. Даже смертельный приступ аневризмы аорты застал его в поездке (на пути в Переделкино)...

Уже на семидесятом году жизни отец развелся с М. Д. Савеловой и женился на архангельской учительнице Александре Дмитриевне Зерновой. К двум сыновьям и дочери от предыдущего брака прибавилась дачка Маша. Так что ко дню кончины писателя (30 сентября 1985 г.) у него оказалось немало неимущих наследников — три сына, две дочери и вдова. Из его литературного творчества широкое признание получил только «авантюрный» роман «Наследник из Калькутты», ставший подлинным бестселлером лишь спустя тридцать лет после первого издания, уже после кончины писателя. Остальные произведения Р. А. Штильмарка переиздавались крайне редко, или не переиздавались вовсе.

Собрание сочинений Р. А. Штильмарка открывается романом-хроникой «Горсть света», произведением весьма необычным по своему жанру. Это не мемуары в традиционном смысле слова, а скорее исповедь писателя, роман-покаяние. Вместе с тем, это

цикл увлекательных и романтических новелл, зачастую детективного даже криминального толка. По первоначальному варианту название романа — «Белый ворон».

Автор начинает с дальнего экскурса в историю собственной семьи, своих родителей и предков. Яркие воспоминания детства сменяются сценами Первой мировой войны (поездка с матерью к отцу, офицеру-артиллеристу русской армии). Перед читателем проходят годы революции, НЭПа, предвоенного сталинского социализма... Начало Великой Отечественной войны делит роман-эпопею на две части. В первой остаются юношеские студенческие годы, журналистская, дипломатическая и преподавательская работа в Москве с поездками по стране. Во второй части хроники Рональд Вальдек (Роберт Штильмарк) — боевой офицер, с честью прошедший сквозь огненные вихри Волховского и Ленинградского фронтов —после тяжких ранений и контузий оказывается вовлеченным в события, которые неумолимо влекут его в лубянские и лефортовские казематы, за колючую проволоку ГУЛАГа... Конечно, сегодня, после произведений Солженицына, Шаламова, Волкова и множества других авторов, «крестный путь» нашего героя уже не выглядит откровением, хотя многие лагерные сцены «Горсти света» несомненно вызовут интерес, также как и поистине фантастическая история создания в глубинах туруханской тайги романа «Наследник из Калькутты» (глава «Господин из Бенгалии»).

Я не уверен, что роман-хронику можно считать произведением завершенным. Хотя конечная точка и была поставлена самим автором, но заключительная глава, охватывающая тридцать лет его жизни после освобождения и реабилитации, написана все-таки довольно конспективно. Эпилогом книги служат несколько подлинных писем и выступление на похоронах друга-лагерника, писателя Юрия Домбровского. Возможно, сказалась естественная усталость от книги, которая создавалась больше десяти лет без каких-либо шансов на публикацию... Мысль об издании «Горсти света» отец отвергал.

Вот что он писал мне в феврале 1970 г., приступая к работе над романом.

«Горсть света» — это, думаю, мое главное, но куска хлеба она не сулит, эта самая «Горсть». Работоспособность снизилась и появилась страсть к бездумному и бессмысленному наслаждению уходящей жизнью, вот этим лесом под снегом, теплом от печи (отец предпочитал жить не в Москве, а на зимней даче в подмосковной Купавне. — *Ф. Ш.*) и счастьем от великого чужого

труда, то-есть от этих самых слез над вымыслом. Тем более, коли вымысел описывает твою собственную судьбу и чудным образом вскрывает твое собственное сердце.. Очень об этом — жизни собственной! — трудно... Надо писать «Горсть света» — это главное, не дай Бог, чтобы я не успел! Не дай Бог, чтобы понято было не так и чтобы кто-то истолковал нашу жизнь не по «Горсти света», а по неким протоколам и записям. Не только изреченная, но и записанная мысль (в документах) есть ужасная ложь. Правда мыслима лишь в солженицынской прозе, то-есть в толстовской, пушкинской, гоголевской прозе, более правдивой, чем любой протокол об этих событиях. Дай Бог мне спастись от тяготения протокола, приказа, сводки, штабного донесения и суть всех этих «протоколов» изложить в форме художественной…»

Такова была исходная авторская позиция — не дотошные документальные мемуары, не исторически-точная хронология, но именно «даль свободного романа», основанного на фабуле жизни собственной, причем — по воле судеб! — столь замысловатой, что авантюрная повесть местами явственно переходила в увлекательный детектив.

Некоторые из тех, кому довелось читать или слушать эту неизданную хронику (а отец охотно читал ее всем желающим), считали, что автор напрасно отошел от классической мемуарной формы: отказался от рассказа от первого лица, переиначил имена и фамилии большинства действующих лиц, — тем самым невольно заставляя читателей сомневаться в подлинности и достоверности описываемых событий. Отцу часто советовали что-то уточнить, объяснить, сослаться на какие-либо источники... В ответ он только вздыхал и отмалчивался. Поэтому пусть читатели-скептики усомнятся встречался ли герой романа с Лениным и Сталиным, спорил ли с Берией о Достоевском, в самом ли деле подсказал Есенину сюжет «Черного человека»... Однако, хорошо зная родителя, могу сказать лишь одно — нафантазировать он мог куда как похлеще! В главном же — в авторской исповедальности и его покаяниях — усомниться просто невозможно...

В прологе к роману-хронике, где объясняется и смысл заглавия книги, писатель говорит напрямую: «Хочу, чтобы прочитавший эти страницы ощутил себя присяжным на суде над героем книги и вынес под конец свое решение: виновен или невиновен! И да будет милосердным тогда приговор судьи высшего и вечного!»

Отсюда, из этого порыва проистекает стремление, автора не только не затенять в своем жизнеописании собственные грехи и ошибки (кто же без них в жизни обходится!), но, напротив, —

выделить и подчеркнуть их, выставить на всеобщее обозрение. Вот почему никоим образом нельзя согласиться с теми, кто полагает, будто «Горсть света» создана лишь для семейного чтения. Нет уж, ЕЖЕ ПИСАХ — ПИСАХ! Еще недостойнее памяти автора убирать лишь отдельные, наиболее «исповедальные» главы и абзацы.

Как многие щедро одаренные от природы люди, отец ощущал себя неким баловнем судьбы, которому всю жизнь, даже в самых трудных условиях, выпадал «счастливый билет». Он считал, что ему приходилось легче, нежели многим сверстникам и коллегам. И часто повторял, что жизнь — это дорогой ресторан, где за все приходиться платить по коммерческим ценам, где за все хорошее предъявляется строгий счет. А на сделки с совестью ему приходилось идти не только в сердечных делах... И для искреннего покаяния потребовалось подлинное мужество.

Мои родители принадлежали к тому поколению (ныне, увы, почти ушедшему), которое было воспитано в старом, религиозно-нравственном духе. И тем не менее они искренне приняли новую веру в революционное преобразование Родины. И, следуя призыву Блока всем сердцем и душой «слушать Революцию», были готовы положить на этот алтарь свои жизни. Моя мать, потомственная петербуржская дворянка, через всю жизнь пронесла идеи революционного романтизма, глубоко уважала и Ленина, и Сталина, и Дзержинского, в честь которого я, внук и сын «врагов народа», ношу свое имя. Будучи и старше и опытнее своего мужа, моего отца, она оказала на него немалое влияние, и не только моральное. Ученый и дипломат, специалист по экономике Японии, блестящий лингвист, владевшая рядом европейских языков и японским, она с первых лет революции до самой своей ранней смерти была связана с органами ВЧК-ОГПУ-НКВД, свято верила в честность и высокое назначение чекистов, будто бы призванных каленым железом и огненным мечом выжечь всякую людскую скверну, переделать и возвысить человечьи души... Отец писал, что она «пришла к большевикам не от любви к ним, а от ненависти к прочему, как и Маяковский…». Моя мать стремилась понять и оправдать все происходящее в стране даже в самые тяжкие годы репрессий, хотя в глубинах ее романтической души, конечно, таились сомнения...

Отец же был воспитан прежде всего в духе порядочного, честного отношения к любому делу, за какое приходилось браться. Дисциплинированность и трудолюбие были для него повседневной нормой (возможно, что здесь сказались и традиции предков нашего семейства), он терпеть не мог столь привычных для современного бытия расхлябанности, лености и

необязательности. Волею судеб оставшись на просторах преображенного большевиками Отечества, будущий писатель принялся ему служить верой и правдой, искренне пытаясь принести максимальную пользу. Только случай уберег его от вступления в коммунистическую партию — заявление было им подано и принято благосклонно (мама же оставалась беспартийной по принципиальным соображениям, избегая возможных льгот и привилегий, она служила делу революции фанатично и бескорыстно).

Все это вместе взятое в реальных условиях того времени не могло не привести отца к неизбежному и закономерному сотрудничеству с «органами», говоря грубее, к сексотству. Революционная романтика и мечты о преобразовании человечества на деле обернулись «волчьими ямами», страшными пропастями, чудовищным насилием над собой, подлинными ужасами нравственными, и физическими. Эта тема, остающаяся злободневной и сегодня, едва ли не впервые в нашей литературе основательно и откровенно раскрывается в «Горсти света». Такое признание — самое тяжкое из всех многочисленных покаяний автора книги, и далось оно ему нелегко. Но как писатель и как верующий человек он счел необходимым довериться не только своему духовнику, но и чистому листу бумаги

Признаюсь откровенно, что и мне, и всем другим его близким было не просто решиться на публикацию таких страниц, вынося эту горестную тайну из узкого семейного круга. Тем более, что «чары Лубянского Вия» не оставляли ни автора, ни его семью во время долгой работы над «Горстью света». Деловые коллеги и даже «братья-писатели» не раз доверительно говорили мне: «Твоего отца пасут!»., или — «Всем вашим семейством интересуется КГБ!» Признаков тому было немало. Отцу не разрешили выехать в Польшу за получением гонорара, меня не пустили в научную экспедицию по Монголии. Говорили, будто бы в «компетентных органах» сочинение отца шутливо называют «романом века» и ждут лишь окончания всей этой писанины для немедленного изъятия рукописей...

«Железные веки Вия» (или «Недреманное око», как выразился отец в своей хронике) на сей раз проявили своего рода деликатность — они приоткрылись лишь после смерти писателя. Уже во времена перестройки, в 1986 году, пришли «товарищи» к родственникам и знакомым автора, не только в Москве, но одновременно в нескольких городах, с настойчивыми требованиями сдать все экземпляры рукописи «Горсти света», будто бы опасаясь ее утечки за рубеж (о чем отец никогда и не помышлял). Я было кинулся в разные союзписательские

инстанции, взывая к формально созданной Комиссии по наследию Р. А. Штильмарка, но сразу же убедился, что «органы» установили с СП тесные контакты гораздо раньше: там все известно и вполне согласовано. Пришлось во избежание обысков и неприятностей сдать имеющиеся рукописи, за исключением единственного экземпляра, который сберег младший сын автора, Дмитрий[2].

Впрочем, тревоги «лубянского Вия» были совершенно напрасны. В рукописи «Горсть света» не разглашались никакие государственные тайны. Не прошло и года, как разочарованные «компетентные органы» передали все изъятое в один из московских архивов, где они и остаются по сей день (18 единиц хранения). Возвратить их тем, у кого изымали, конечно, и не подумали — это было бы «вовсе против правил»!

Нет, «Горсть света» не представляет собой «роман века», это не грандиозный «Архипелаг» Солженицына, не «Жизнь и судьба» Гроссмана, не «Погружение во тьму» Волкова... В этом произведении множество подробностей, интересных любителям российской словесности, истории, знатокам и ценителям старой Москвы, прежней России. Схваченные памятью автора «моментальные фотографии» эпохи революции и НЭПа до времен перестройки создают причудливую и замысловатую вязь, в которой едва ли не каждый читатель сможет найти что-либо особо для себя интересное. Хроника ценна прежде всего широтой своего полотна, мастерством отделки, сочностью отдельных мазков.

Сын своего времени, непосредственный участник множества мирных и военных событий, писатель щедро делится с нами впечатлениями, воспоминаниями и раздумьями, причем подчас весьма неоднозначными. При общем явно антисоветском настрое автора (по сути он был «внутренним диссидентом») мы находим немало эпизодов и высказываний патриотического и даже прокоммунистического характера. Вместе с тем, критическое отношение отца к окружающему может подчас вызвать читательские обиды. Кого только не «зацепил» автор в своей «Горсти» — и русских, и евреев, и немцев — право же, есть чем поживиться рецензентам. Но в целом роман-хроника в основе своей, несмотря ни на что, жизнерадостен и оптимистичен. Поистине, человек нашего времени способен вынести все, «что Господь не пошлет»...

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие

Как собеседника на пир...

* * *

...Первые сообщения о загадочном «Наследнике из Калькутты» я получил в 1953 г. не из Енисейска, где отец находился в ссылке, а из городка Тогучина Новосибирской области. Писал мне совершенно незнакомый человек, Василий Павлович Василевский, приславший целую кипу документов. Он обращался и к Председателю Верховного Совета СССР маршалу К. Е. Ворошилову, к Председателю Союза Советских писателей А. А. Фадееву, в другие инстанции, добиваясь ответа на вопрос: где находится изъятая у него политотделом 503-й стройки ГУЛЖДС[3] (северная железная дорога Салехард-Игарка, строившаяся силами заключенных) рукопись романа «Наследник из Калькутты»? Как я понял, написан он был отцом, но первым автором считался именно Василевский, который, освободившись по бериевской амнистии, разыскивал теперь сие детище. Приведу отрывок из его письма к отцу, сохраняя слог:

«...Кругом затишье, все молчат, одни молчат, это люди подобные северным, с решением пусть полежит, а другие не знают ход событий, поэтому, вымывшись в бане на севере, наш наследник, забравшись в пышный кабинет с мягкой мебелью, скорее всего в ГУЛЖДС или ГУЛАГе, может быть в руках капризной дамы улыбается ей безумными глазами.

Мой совет, поручите, Роберт Александрович, вашему сыну с целью защиты наших интересов получить право и побывать на приеме в президиуме у К. Е. Ворошилова, обсказать ему всю подробность той трудности, которая была испытана нами, с просьбой отозвать наш труд по принадлежности...» Ну, и так далее, письмо длинное. Но отец внял совету!

Ох, как не хотелось мне, студенту Московского Пушно-Мехового института, снова обращаться в наши славные «органы». Уж очень были памятны бесконечные очереди к разным парадным подъездам вроде приемной Калинина на углу улицы Коминтерна (ныне Воздвиженки) или к тюремным окошечкам — узнать, куда нести передачи... Памятны и поездки с ними к отцу в подмосковные непионерские лагеря — сначала в Новый Иерусалим, затем на кирпичный завод в Гучково, потом — на трамвае — в Ховрино...

Но после новых обращений Василевского, которые поддержал и отец из Енисейска, я поплелся в знаменитую по сей день приемную на Кузнецком мосту, изложил людям в форме свое дело, показал документы.

— Вам надо в КВО ГУЛАГ! — решительно сказал форменный чин.

— Куда, куда? — растерянно переспросил я.

— В культурно-воспитательный отдел Главного управления лагерей. Располагается на площади Маяковского, в доме, где ресторан «Пекин», только вход со двора. Желаю успеха, действуйте!

Среди бумаг Василевского была доверенность на мое имя. Ее-то я и предъявил в этом самом КВО, явившись туда в самых смятенных чувствах: «что за комиссия, создатель! Еще романа мне не доставало!»

— Да, рукопись такая у нас имеется, — сказал мне «товарищ майор» в глубинах КВО ГУЛАГ. — Но мы не можем ее вам отдать по одной доверенности Василевского. Там еще приписано на заглавном листе — «Штильмарк». Принесите доверенность и от него, тогда выдадим. А мы тут пока еще почитаем — вещь-то, знаете, очень даже интересная!

Получив доверенность отца, я снова пошел в КВО, помнится, в тот самый день, когда в «Правде» появилась статья о роли личности в истории — первая ласточка предстоявшей борьбы с культом Сталина. «Товарищ майор» был со мною вежлив и передавал рукопись с какой-то грустью. Он вынес из недр помещения три толстых синих тома (три части романа) и четвертый — большого формата —с планами морских сражений, открыл обложку первого тома, на первой странице был нарисован карандашом портрет волевого человека в полувоенной форме — В. П. Василевского, фамилия которого была изображена на титульном листе крупными печатными буквами. Ниже, более мелко, причем синими чернилами, а не тушью было приписано: «Р. Штильмарк». Майор стал перелистывать первые страницы:

— Да, в свете сегодняшнего выступления «Правды» предисловие наверное придется переделать... А вообще, это сильное произведение, вы отнеситесь к нему серьезно, мы тут все прочитали с большим интересом. Не потеряйте рукопись, передайте ее понимающим людям, настоящим писателям, ведь это в каких условиях сочинялось...

Об «условиях» мне было известно из писем отца. «Ты пойми, — писал он, — какие это героические тома! — Ты пойми, что родились они в глухой тайге, за двойной проволокой, при полном отсутствии материалов. Там есть кое-какие графические украшения. Так вот, акварель была нам доставлена пешком за 120 км. Кисть изготовлена из хвоста убитой белки. Тушь изготовлена из угля по секрету самого миниатюриста. На переплет пошел шелк лучшей рубахи изо всех, носимых на колонне (Василевский

«сблочил» ее с вновь прибывшего зека), папки для переплета — из обложек дел нахально вырезали в спецотделе. Вообще говоря, это чудо... Ты представь себе мою радость, если тебе удастся получить этот роман-уникум, созданный при коптилке из солярки, в глухой таежной землянке, без листочка шпаргалки, без взгляда на карту или в книжку, ценой 14 месяцев двадцатичасового ежедневного труда».

И вот эта эпопея в трех томах с приложением у меня в руках. Текст каллиграфическим почерком переписан в сброшюрованные общие тетради, читается легко. Начинаю с авторского предисловия...

«В своеобразных условиях родилась эта книга... Неподалеку от нашего строительного объекта находилось место, где десятилетия назад царское самодержавие пыталось погасить таежным мраком солнце человеческого разума, гениальный мозг будущего вождя народов. Хмурые лиственницы, ели и кедры еще хранят воспоминания о молодом ссыльном, чьей родиной была солнечная страна и кто здесь, в глухих северных ночах, при убогом светильнике, вынашивал свои бессмертные идеи, создавал свои исторические труды». Да такое вступление сейчас уже не пойдет!

Что было делать? С трепетом прочитав роман, я поведал всю эту историю своему давнему покровителю, золотой души человеку, доценту биофака МГУ А. Н. Дружинину. Он созвонился с Иваном Антоновичем Ефремовым, хорошо знакомым ему по научной работе. Мне был дан адрес дома в почти соседнем с нашим Покровским бульваром Спасоглинищевском переулке. Не без опаски вручив хозяину первый из трех томов, я робко спросил, когда приносить остальные. «Как, это еще не все? — ужаснулся Иван Антонович. — Ну... позвоните в конце месяца». Но не прошло и недели, как Дружинин сообщил, что Иван Антонович меня разыскивает. «Куда же вы пропали — гудел он в телефон могучим своим басом — несите скорее остальное, меня сынишка уже замучил, на самом интересном прервалось...»

И. А. Ефремов стал для отца не только первым благожелательным рецензентом, рекомендовав «Наследника...» для издания, но и подлинным благодетелем. Положительные отзывы о романе написали также писатель В. Д. Иванов и критик В. С. Фраерман. Когда же в начале 1956 г. реабилитированный отец вернулся в Москву, перепечатанная на машинке рукопись, принципиально одобренная директором Детгиза В. М. Пискуновым, уже лежала на столе редактора И. М. Касселя.

«Я опять засел за книгу и опять работаю по 16 часов», — писал отец в Енисейск, где оставалась его новая семья. Но вопрос

об издании решался трудно. «Идут споры и торговля... Редактор «за», его помощник — против. Редакция «за», руководство в неблагожелательном нейтралитете. Предлагают договор на любую другую книгу. А я хочу заключить на эту. Очень поддерживает Иванов, Ефремов тоже...

...С «Наследником» все идет канитель... Меняются люди, которые берутся за него, идут совещания, на которых голоса делятся в соотношении пять «за» и один «против». Но это «против» принадлежит как раз зам. руководителя издательства. Это она, некая В. А. Морозова, говорит: «книга талантливая, яркая, интересная и литературно-мастерски сделанная. И этим она... вредна, ибо не ведет нашу литературу вперед, а отбрасывает ее назад в прошлое!» Теперь решать судьбу книги будет редакционное совещание Детгиза.

...Вечером 4 января 1956 г. приехал Валентин Дмитриевич (Иванов, автор романов «Русь изначальная» и «Русь великая». — *Ф. Ш.*) и привез радостную весть: редсовет Детгиза постановил заключить договор на издание «Наследника» в объеме 40 листов

(в рукописи их 50, а сдавать буду 45, так что сокращение небольшое).»

Но вскоре радостные вести сменились печальными. «...«Наследник» лопается. 1 июля 1957 г. он был сдан в производство и подписан Касселем в набор, а 2 июля вышел свеженький номер журнала «Крокодил» № 18, а в нем нечто оглушительно-громокипящее под заголовком «Призрак грозит пальцем» за подписью М. Львов. Есть хлесткие места, но можно было бы сделать и лучше: мы с Лурье (художник, автор рисунков к первому изданию романа) постарались облегчить фельетонисту его нехитрую задачу, поместив в журнале «Знание — сила» №№ 1—2 одну из глав с «Летучим Голландцем», мертвецами на борту и т. д...

Полагаю, что прямо и грубо роман не снимут, что соберут совещание, будут бить себя в груди и ломать головы... дескать, еще одна перередактура, убрать пиратов, лжевиконтов и призраков, вставить профсоюзы, русский флот и город Ленинград, перенести действие на целину и сменить название на «Внуки Суворова». Иванов же уверен, что просто напишут покаянное письмо, что учли критику и выпустят с большими купюрами... Конечно, дразнение гусей этой 17-й главой было роковой непростительной ошибкой..., и я сразу понял: даром не пройдет!»

Однако все прошло, как-то утихло, и «Наследник из Калькутты» вышел в 1958 г. в престижной серии «Библиотека приключений и научной фантастики» под двумя фамилиями: Р. А.

Штильмарк и В. П. Василевский.

Много раз отца спрашивали: зачем он сохранил при издании своего «заказчика», который не только писать, но и читать мог лишь с трудом?

Причин тому несколько. Во-первых, имя В. П. стояло на титульном листе рукописи. Во-вторых, он действительно был инициатором самой идеи создания романа (где-то слышал, что Сталин любит исторические романы и надеялся сократить срок таким «подарком» из памятных вождю туруханских мест). Худо-бедно, он все-таки обеспечивал возможность работы над романом в лагерных условиях. В-третьих, у таких «гнилых интеллигентов», как отец, голос совести всегда берет верх над здравым смыслом… Ведь пока шла подготовка к изданию, Василевский повторял, что ничуть не претендует на гонорар. Когда же он увидел свою фамилию на книге…

«Василевский дождался, пока теленок выкормится, и теперь решил, что пора резать: требует 50% гонорара. Конечно, занятно, что роман о романе так блистательно продолжается..»

На гонорар уже был куплен домишко в дачном поселке Купавне, много расходов потребовалось на переезды, ситуация сложилась очень тяжелая. Поэтому осенью 1958 г. Детгиз обратился в народный суд Куйбышевского района Москвы, который 9 февраля 1959 г. рассмотрел необычное дело о признание отца единоличным автором «Наследника». Василевский не скрывал того, что он не только не писал, но даже и не все мог прочитать, однако, отец не отрицал, что без «дяди Васи» романа могло и не быть. Впрочем, могло «не быть» и его подлинного автора, ибо у В. П. возникали планы «убрать» батю-романиста, и об этом говорили на суде свидетели. На странице 725 первоначальной рукописи (или стр. 799 по первому изданию) отец зашифровал текст. Начальные буквы слов, начиная с фразы «Листья быстро желтели…» (через одно слово!), образуют краткую характеристику Василевского — «Лжеписатель, вор, плагиатор». Но так или иначе, все же на суде удалось заключить «мировое соглашение», в соответствии с которым все последующие издания должны выходить под единственной фамилией автора (Р. А. Штильмарка). Правда, еще в 1958 г. в Иркутске как-то стремительно возникло переиздание романа с указанием двух авторов, что очень огорчило родителя.

В 1959 г. в Алма-Ате вышло первое прижизненное издание «Наследника из Калькутты» под одной фамилией. В обновленном варианте предисловия, где туманно говорилось про некие изыскательские работы в заполярной тайге, появилась новая многозначительная фраза: «Заболел» романом и напористый

бухгалтер В. П. Василевский...»

Еще Осенью 1958 года «Комсомольская правда» опубликовала недоброжелательную заметку критика А. С. Елкина, упрекая издателей «Наследника из Калькутты» в «хаггартовщине» и «буссенаровщине»[4].

Ссылаясь на «Крокодил» и «Комсомолку», Госкомиздат РСФСР стоял насмерть против новых переизданий романа в Российской Федерации, хотя он был издан в Таллине, Ереване, кажется, в Тбилиси, а также за рубежом (в Польше, в Болгарии, в Чехословакии и Китае). Благоволивший отцу московский партсекретарь СП Феликс Кузнецов, желая помочь делу, передал очередное ходатайство об издании «Наследника» на рассмотрение главы секции научной фантастики и приключений, писателю Еремею Парнову, который тоже дал отрицательное заключение («...напечатать-то можно, — завершал он его, — а только зачем?»).

Триумфальное шествие «Наследника» по редакциям СССР и России началось в 1989 г., когда роман был переиздан сразу в Красноярске, Ленинграде и Ташкенте. После этого состоялись издания в десятках городов от Кишинева до Владивостока.

Покойный литературовед А. З. Вулис в послесловии к ташкентскому изданию «Наследника из Калькутты» (1989) обоснованно назвал эту книгу «Роман романов или наследник давней традиции». Критик определил ее как «пространный дайджест приключенческих мотивов XIX века... Прочитать его — все равно, что заново перечитать всю приключенческую литературу». А. З. Вулис видит в авторе «Наследника» одинокого барда, принявшего на себя тяжкое бремя творчества. «Вот этим-то и уникален «Наследник из Калькутты». Не своей зависимостью от чужих сюжетов.., не своей сюжетной пестротой, чередованием взлетов и падений, внезапностей и предвкушений, бед и побед... Нет, «Наследник из Калькутты» уникален прежде всего силой человеческого духа, способностью сохранить верность детству, верность сказке (а через нее — вере и надежде) в самых отчаянных обстоятельствах, в условиях тяжких, экстраординарных, на пороге, отделяющем жизнь от смерти; выносимое от невыносимого». Надо учитывать, что А. З. Вулис не знал всех реальных обстоятельств создания романа, но определил и оценил их с предельной четкостью.

Сила этого романа не только в остроте сюжета, мастерски закрученного в тугую пружину, которая заставляет читателя не выпускать книгу из рук. И не только в историко-событийных аналогиях (отец говорил, что подчас он описывал черных невольников Африки под непрерывный лай лагерных овчарок!); Сущность романа заключается в том, что его автору удалось

сохранить СВОБОДУ САМОВЫРАЖЕНИЯ и тем самым человек, столь несправедливо и жестоко низвергнутый обществом (которому он всю жизнь служил верой и правдой!), смог возвыситься над своими тиранами и морально посрамить их, заклеймив зло с неправдой вне границ пространства и времени. Именно поэтому роман пробил — как трава асфальт! — все препоны советских издательств и буйно разросся (уже помимо авторской воли), когда этот асфальт прогнил и растрескался. В одном из писем (1966 г.) отец писал: «Наследник» адресован несчастным и измученным заблатненным (т. е. в сущности всему великому народу), отсюда и резонанс...»

Возможно поэтому лагерные сотоварищи отца упрекали его (а позднее и меня), когда мы указывали на значимость Василевского во всей этой истории. Они возмущались приведенным выше тезисом о том, что он создал автору какие-то условия для творчества. И не только из-за того, что отец сжег себе легкие и испортил глаза, работая по 20 часов при соляровой коптилке на чердаке лагерной бани. Суть в том, что есть правда, которая возвышается над фактологией событий, и эта высшая правда на весах истории, оправдывает теневые и даже низменные стороны судьбы человека-творца. Мудрый писатель В. Д. Иванов часто приводил два афоризма (не уверен, что они принадлежат ему лично!): во-первых, курица, несущая золотые яйца, совершает естественные оправления, как самая обычная птица; во-вторых, говорил он, книги всегда умнее и достойнее своих авторов. Добавим, что они еще и значительно дольше живут.

* * *

Если «Наследник из Калькутты», несмотря на всю необычность условий творчества, был ярким и сочным плодом вдохновенной фантазии, если «Горсть света» явилась результатом многолетней авторской самоотдачи, так или иначе приносившей облегчение своему создателю, то третья большая книга отца — «Образы России» — была в полном смысле слова подвижнической и даже мученической. Недаром именно во время этой работы отца поразил тяжелый инфаркт, от которого он с трудом оправился.

Несмотря на свое немецко-шведско-прибалтийское происхождение (немало представителей нашей фамилии покоятся на кладбище в Тарту, бывшем Дерпте, где родился отец писателя), Роберт Александрович Штильмарк всегда ощущал себя человеком сугубо РУССКИМ. Он не раз говорил и писал, что более всего на этом свете любит и ценит русскую природу, русский язык и русскую старину. Впрочем, к этому перечню

можно было бы добавить и литературу (особенно поэзию), и музыку, и живопись — короче говоря, российскую культуру в целом. Отцу всегда хотелось поделиться этой своей любовью с другими. А чтобы любить, надо знать...

Первоначально новая книга должна была называться, кажется, «Образы России в памятниках культуры», и договор на нее был заключен с издательством «Знание». На примере Москвы, Суздаля, Новгорода, Ростова Великого и других древних городов отец стремился проследить становление и развитие культуры всей нашей Руси, ее сложную эволюцию...

«Произведения большого искусства, будь это статуи, здания или фрески, — писал он, — всегда отмечены силой духа своих создателей. Она помогала им зримо воплощать в каждой вещи не только единичный образ, но и частицу всенародной судьбы».

Когда, после долгих поездок и походов по древним городам и весям, отец принес первый вариант своей рукописи в издательство, его директор (помнится» Родионов) заявил, как говорится, «с большевистской прямотой» : «Эта книга не может быть издана», так как она воспевает древнерусскую культуру. Пусть автор несет ее митрополиту Крутицкому и Коломенскому, а не в советское издательство!» В письме от 28 июня 1964 г. отец писал мне: «Трудно представить себе конъюнктуру хуже нынешней, особо для данной темы... То и дело следуют инструкции сверху, касающиеся музеев, стало быть, прямо или косвенно — и книги: дескать, само слово церковь или храм — изъять, писать: «старинное здание башнеобразной формы с купольным перекрытием». Я не шучу и не иронизирую...»

Лишь после очень долгих и тяжких мытарств, благодаря поддержке писательской общественности, в частности, К. П. Паустовского, написавшего более чем благожелательную рецензию на отцовскую рукопись, удалось издать «Образы России» (М., «Молодая гвардия», 1967 г.). Все-таки прозвучал отцовский гимн российскому зодчеству, причем не только Москве, Киеву, Петрограду, Севастополю, но и множеству славных мест, малоизвестных в то время широкой публике, таких, как Кидекша, Новгородская Нередица, Переславль-Залесский, монастырь Бориса и Глеба и храм Иоанна Богослова на Ярославщине... Это было делом отнюдь нелегким, своего рода подвижничеством. Один, в потертом плащишке, со стареньким «Зенитом», писатель трясся в автобусах по разбитым дорогам (о своей машине он и не мечтал никогда!), проходил пешком десятки километров в день, ночевал, где придется; он знакомился со множеством людей; среди равнодушных и усталых ему нередко встречались энтузиасты, глубоко преданные делу возрождения

Отечества, и они неизменно становились его друзьями «на всю оставшуюся жизнь». Невзрачный деревянный домик в Купавне в ту пору всегда был полон гостей из Суздаля, Палеха, Вологды, Борисоглеба (не путать с г. Борисоглебском, где отец тоже бывал).

Кроме этих трех больших книг («Наследник.»»,. «Образы...» и «Горсть...»), перу Р. А. Штильмарка принадлежит еще несколько произведений, в частности, небольшой по объему роман «Пассажир последнего рейса» (М., «Молодая гвардия», 1974), посвященный событиям на столь близкой душе автора верхней Волге в годы гражданской войны, в котором широко использованы элементы волжского фольклора. Но в редакторско-цензорских условиях того времени отец был вынужден так мастерски лавировать, что считать эту книгу своей творческой удачей уже не мог... «Повесть о белоэмигрантах, духовенстве и офицерах белой армии в любом виде не может интересовать советское издательство», — говорилось в одном из отзывов. И все-таки книга вышла, хотя и в измененном виде.

«Повесть о страннике российском», описывающая удивительные приключения нижегородского купца Василия Баранщикова в конце XVIII века, была первой книжной публикацией отца после «Наследника из Калькутты». Она несколько разочаровала тех, кто ждал от «бати-романиста» новых произведений авантюрного жанра. Повлияла ли на отца критика в адрес «Наследника», сказались ли изменения в творческой натуре писателя, но былой искрометной фантазии в его дальнейших сочинениях уже не проглядывалось. На смену ей пришла кропотливая работа с архивами, энциклопедиями, первоисточниками. Постоянно продолжались поездки, общение с музейными работниками, библиотекарями, архивистами... Две его последние опубликованные книги — о А. И. Герцене («Звонкий колокол России») и А. Н Островском («За Москвой-рекой») — были результатом упорного труда, обе отличаются добротностью изложения и достоверностью деталей. Они были хорошо восприняты читателями и не задержались на книжных прилавках. Помню, что после выхода в свет книги о Герцене, отец получил письмо от академика Д. С. Лихачева о одобрением и благодарностью.

До конца своих дней отец оставался подлинным «очарованным странником». Он постоянно ездил, то на Соловецкие острова, то на о. Саарема в Эстонию, то куда-нибудь в Сибирь, не говоря уже о дальнем и ближнем Подмосковье. В свои семьдесят лет, уже после двух инфарктов, он совершил пеший и водный поход от Кеми до Повенца вдоль трассы Беломорско-Балтийского канала (собирал материал для начатого им

исторического романа «Драгоценный камень фероньеры» из петровских времен). Эта; большая вещь была задумана им еще в начале 60-х годов, но взялся он за нее всерьез лишь в самые последние годы жизни и не успел завершить («Засаживаюсь за настоящую вещь, которая в уме уже сложилась... Это авантюрная история типа «Наследника» на российском и международном материале. Она требует спокойных полутора лет без дневных забот...»).

Вот еще несколько отрывков из отцовских писем разных лет:

«...Только что воротился из Башкирии, по командировке ЦК ВЛКСМ и СП, ездил туда с бригадой писателей. Были в Салавате, Стерлитамаке и Уфе, десятки встреч и выступлений...

...За последние месяцы я много ездил: Новгород — Псков — Изборск — Печоры, затем встреча с П Д. Кориным в его доме-музее... Далее 7 дней по Северу—Мурман—Северодвинск—Архангельск. Потом, без передыха, большая поездка по Туркмении (Ашхабад—Фирюза—Теджент—Мары—Байрам-Али—Чарджоу—Ашхабад—Москва). 13 ноября радиопередача о Новгороде, потом в Воронеж — очерк о градостроительстве для иностранцев от «Советской женщины»...

...Собираюсь съездить в Ковров, далее в Мстеру по делам, какие не доделал в Палехе... Еще надеюсь посмотреть Вязники и Гороховец...

...Был 10 дней на севере: Архангельск—Котлас— В. Устюг—Вологда... Был в Юрьев-Польском и Кольчугине, 19 выступлений, потом в Ясную Поляну, в Клин, в Монино... Еду на праздник песни в Малый Карадах...»

Его письма ко мне из дальних поездок оставались бодрыми и веселыми, он словно молодел в этих странствиях. Вот, к примеру, письмо из Тынды, памятной мне столицы БАМа, из этого — по словам отца — «всесветного бардака, где мне хочется вместе со всеми вариться в столь густом соку героизма, идиотизма, любви, отвращения, таланта, бездарности... Думаю, что никакие диссиденты здесь бы возникнуть не могли, им было бы просто некогда, само дело не позволило бы менять его на безделье, то-есть на роскошь мудрствования... БАМ — это большое Маклаково (ныне — г. Лесосибирск — *Ф. Ш.*), тысячекратно умноженное... И неохота мне уезжать, будто бы я никакой ни писатель, а чистый строитель!.. Ужасно обидно, что куда-то делись целых 70 лет, и не годится уже мотор в грудях, а в нем любви на полсвета, ко всем женщинам и всем детям. Я здесь много выступал перед детьми — они прекрасны; и хорошо еще, что «далеки от Москвы» с ее пресыщением и циническим прищуром от скуки, обжорства и лени (чисто московской). В окне — горы, лиственницы; ревут

«магирусы» и «като»; спускается с горы высоковольтная линия; садится вертолет... И мне очень радостно, что я все это вижу и слышу!»

Правда, такие оптимистические возгласы звучали в его письмах редко, чаще говорил он про «окрестную землю без Божеского благословения», то-есть обреченную на прозябание или даже погибель (как, кстати сказать, получилось в конце концов с БАМом и Тындой!). Очень пугали его всевозможные соцпреобразования, великие стройки, «в коих нет предела глупости, жадности и хамству», мелиорация с каналами и поворотами рек... Но главное, что даже на старости лет он был способен увлечься предельно искренне и всерьез (причем не только стройками!).

А сколько труда было им вложено в неизданную повесть «Крылатый пленник», посвященную другу и односидельцу, героическому летчику Вячеславу Валэнтею, которому удалось вырваться из плена на угнанном немецком самолете. Как любил повторять родитель: «Ты, Господи, веси...»

«...Пленник» в «Смене» не прошел. Сперва бесконечно тянули, потом опять тянули, и сейчас снова тянут. Просят «осюжетить», добавив любви, страстей, патриотизма напоказ и, главное, приключений. То-есть осюжетить, чтобы читатель между двумя футбольными таймами вспомнил, что в кармане у него свернут журнал. И что оный содержит хлеб и зрелища... Буду перелицовывать... Пока что живу займами и надеждами...»

«Сам я в состоянии нирванном. Огромным напряжением воли загоняю себя на стул перед рабочим столом, но отвращение к сочинению заказной писанины (в любой форме, даже о хорошем!) столь велико, что десятки черновиков валятся в корзину, а сам с прединфарктными болями сердца валюсь на постель» (1968 г.).

Очень многие его замыслы не осуществились, в частности, задуманные и даже начатые книги о В. И. Дале, о художниках Корине и Нестерове. Были у нас планы и совместных публикаций о Сибири, тайге, национальных и природных парках России…

«У меня прошла довольно большая (для газеты) статья о В. Дале в «Луганской правде». Только денег слать не торопятся. Сдал статью на 2 листа в «Русский язык в школе». Обещают зарезать только половину, но за счет всего, что поострее. Пойдет к сентябрю, как обещают. И то хлеб. Грозит напечатать и «Учительская»... А для Детгиза — книга «Подвиг любви» о нем же... За Далем — Даль!» Но почти ничего не вышло.

* * *

Не будучи художником пера, я не способен достойно воспроизвести словесный портрет родителя... Это был рослый человек, хорошего телосложения (что называется, «породистый»), неизменно привлекавший к себе внимание окружающих своей живостью и непосредственностью. Общительный, разговорчивый, он становился «душой компании» в любых застольях, в поездках, даже случайных очередях. Обладая блестящей памятью и эрудицией, он был способен произносить пламенные речи на самые разнообразные темы едва ли не в любой аудитории, легко овладевая вниманием собеседников. Афоризмы, цитаты, разнообразные стихи, всевозможные остроты и притчи били из него фонтаном. Все, за что брался отец, он стремился делать усердно и тщательно, доводить до конца во всех мелочах. Он очень уважал любое, даже самое малое ремесло и мастерство, всегда любовался хорошей работой различных профессионалов — плотников ли, строителей, каменщиков. Ненавидел стандартизацию, показуху, любые проявления пошлости, фальши, халтуры. И восхищение свое, и негодование проявлял несдержанно, бурно, подчас привлекая этим внимание прохожих. Жадность к жизни, к активной деятельности проявлялась у него везде и во всем. Он был душою гораздо моложе своего подлинного возраста — такое ощущение возникало у меня даже в детстве. Играя в «солдатики», во «взятие крепости» и другие игры, правила которых он тут же придумывал сам, Отец был способен увлечься ими более активно, чем ребенок-партнер... Очень нравилось ему название американского фильма «Благослови детей и зверей» (да и сам фильм тоже был ему по душе, он любил «все живое» и по натуре своей до конца дней оставался созидателем).

Вот несколько своего рода афоризмов, взятых наугад из его книг и писем: «Счастье лежит на очень простой дороге. Его не сыщешь на путях необыкновенных»; «Бескультурье и есть — хамство к человеку, а через него, конечно, и к природе...»; «Любая служба — дело наживное, а ребенок — дело непоправимое, если что случится» (т. е. нельзя рисковать здоровьем ребенка ради работы); «Дети и книги делаются из одного и того же материала, и дальнейшая судьба и тех, и других тревожит сердце примерно одинаково, точнее, сходно...»

Свои взгляды и убеждения писатель достаточно полно высказал в романе-хронике «Горсть света», и мне нет необходимости о них говорить. Я только часто думаю о том, каково было бы этому свидетелю нашего века видеть все, что происходит с Россией сегодня. Не сомневаюсь, что он был бы рад и крушению прежних правящих монстров, и возрождению

разрушенных храмов, и — особенно! — возврату многим российским градам и улицам их исконных названий... Огорчался бы национальным розням, войне с Чечней, не одобрил бы, разумеется, преобразования Манежной площади и засилья чуждой рекламы на улицах Москвы, а вот его отношения к новому памятнику Петру Первому не берусь в точности определить... Может и простил бы автора уже за его неуемную дерзость!..

Чуждый крайностей, в той странной ситуации, когда слова «патриот» и «демократ» приобрели смысл чуть ли не ругательный, он наверняка избегал бы писательских «разборок», но очутился бы в одном стане с теми, кто сохраняет свою творческую независимость, не лезет в драки, не кричит в мегафон. Он легко преодолевал в себе антисемитские тенденции, всегда осуждая какое-либо проявление насилия, погромов, фашизма любых мастей и оттенков. Короче говоря, оставался бы РУССКИМ ИНТЕЛЛИГЕНТОМ в лучшем смысле этого слова.

...Когда-то, еще в начале тридцатых годов, датская писательница Карин-Михаэлис (встречи с ней подробно описаны в «Горсти света») настойчиво рекомендовала отцу писать детективы в духе Агаты Кристи, что принесло бы, по ее словам, и читательское признание, и благосостояние автору. Казалось бы, этот ее завет исполнился уже самим невероятным по стечению событий случаем создания и публикации романа «Наследник из Калькутты». Можно было бы развить этот успех и стать преуспевающим «советским детективщиком». Кажется, у отца возникали подобные мысли и планы (особенно — в периоды острого безденежья). Помню даже один из намечаемых им сюжетов, связанных с враждебной деятельностью некоего иностранного посольства: повестушка должна была начинаться с того, что на углу двух больших улиц горит почтовый ящик...

Но не зря Валентин Иванов в шутку называл родителя «Ленивец из Купавны», упрекая в неумении пробивать свои работы в печать...

«Нет, не выбрал счастья я!» — мог бы повторить отец слова своего учителя В. Я. Брюсова (блестящего поэта и вместе с тем первого официального литцензора в СССР). Он выбрал тернистый путь типичного советского писателя-полудиссидента, перебивающегося с хлеба на квас своими изданиями, слушающего по старой «Спидоле» крамольные «голоса», усердно читающего всевозможный самиздат (особенно, конечно, Солженицына!) и одновременно пишущего «в стол» правдивые и откровенные воспоминания. Даже не то слово, нет, все-таки ПОКАЯНИЯ...

Подготавливая для издательства это собрание сочинений, я перечитывал изданные и неизданные работы отца, стараясь

глядеть на них не сыновними глазами, а взором того «среднестатистического» читателя, которого отец просил вообразить себя присяжным возможного суда над авторш: «виновен или не виновен?»

Со стесненным сердцем вынужден был я сказать — «Да, виновен!» И тут же добавить облегченно — «НО ЗАСЛУЖИВАЕТ СНИСХОЖДЕНИЯ!»

«И да будет тогда милосерден приговор судьи высшего и вечного…»

Феликс Штильмарк

ГОРСТЬ СВЕТА. Роман-хроника

«В такие минуты весь смысл существования — его самого за долгое прошлое и за короткое будущее, и его покойной жены, и его молоденькой внучки, и всех вообще людей, — представлялся ему не в их главной деятельности, которой они постоянно только и занимались, в ней полагали весь интерес и ею были известны людям. А в том, насколько удавалось им сохранить неомутненным, непродрогнувшим, неискаженным изображение вечности, зароненное каждому.

Как серебряный месяц в спокойном пруду.»

А. И. Солженицын, «Раковый корпус», Часть вторая, концовка главы 30-й.

ВСТУПЛЕНИЕ К РОМАНУ

Было это в начале семидесятых, ранней осенью, после Успения.

На Псково-Печерском монастырском кладбище, менее прославленном, чем лаврские пещеры Киева, зато по-прежнему еще действовавшем, похоронили за день до моего приезда новопреставленного из старшей братии.

Хоронили монахов здесь безымянно, не тщились сберечь для будущих поколений имена тех, кто в Советской России, спустя столько десятилетий после Октябрьской революции, искали душевного покоя в монастырском затворе. В руки усопшему клали начертанную на листке разрешительную молитву, легкий венчик налагали на чело, белой холстинкой укрывали лик; потом тесную домовину с вечным жильцом несли подземными ходами к большой пещерной нише — одной из братских монастырских могил.

Вход туда еще не был замурован, и Настоятель позволил мне войти со свечой и под свод этого склепа, ископанного глубоко в плотном песчаном грунте. Там, в глубине усыпальницы, смутно чернели целые штабели узких гробов, поставленных друг на друга.

Нижних-то... В конце концов раздавит так, — со стесненным сердцем оказал я Настоятелю.

Что за беда? Братья ведь. Безымянный прах!.. Избранные свыше, как вы знаете, сохраняются на века в виде мощей. Прочие же постепенно истлевают, претворяются в пыль земную... Так что же, если и смешается?

Никакого запаха тлена в пещере не ощущалось. Останки умерших, действительно, очень долго не поддаются распаду в этом прохладном мраке... Изможденные тела псково-печерских старцев столь сухи и жилисты, так приуготовлены постами к нетленности, что превращение их здесь в мощи никого не удивляет: ни людей верующих, ни строгих рационалистов.

Мы долго шли с Настоятелем извилистым подземным коридором. От него кое-где ответвлялись боковые ходы. В иных тупиках или расширениях коридора устроены были небольшие храмы-часовни, горели лампады перед иконостасами. Сохранились и погребения выдающихся светских людей, пожелавших успокоиться здесь, в монастырском некрополе, в псковских Печорах...

Заметил я несколько склепов аристократических родов, например, баронов Медем. Их последняя представительница по

женской линии, уже глубокая старуха, собрала во времена буржуазного правительства в Эстонии со всего бела света останки своих родственников, дальних и близких, привезла их в Эстонию и похоронила в подземельях Псково-Печерской обители, здесь же вскоре легла и сама, с сознанием выполненного семейного долга. А монастырь, переживший Вторую мировую войну, отошел от Эстонской республики к Псковской области.

Настоятель, сам знаток российской старины и художник, рассказывал мне о старейших могилах в своей обители. По его словам, еще за четыре столетия до основания монастыря (существует же он по летописи с 1472 года), приходили сюда, в глубокое Запсковье, киевско-печерские старцы-отшельники времен владимировых и ярославовых, находили природные «явленые» пещеры в здешней прекрасной лесной пустыне и доживали в этих пещерах свой век с обетом молчания и уединения. Тела их клали в дубовые колоды и погребали в пещерных нишах, по соседству с жилищами братьев.

— Иногда наталкиваемся на могилу девяностолетней давности, — говорил Настоятель. — Вот эта, к примеру...

Все могильные ниши замурованы здесь превосходно выполненными керамическими плитами местного, монастырского изготовления. Научил своих монахов этому искусству отец Корнилий, настоятель монастыря в XVI столетии. При нем и прославилась на Руси Псково-Печерская обитель, возникшая на рубеже Русской земли с владениями Ливонского рыцарского Ордена, верстах в двадцати от Старого Изборска с его знаменитой крепостью.

Псково-печерское монастырское предание о гибели отца Корнилия, несколько отличается от летописного. По летописи, царь Иоанн Грозный повелел заточить настоятеля в темницу, пытать и казнить как пособника бегству князя-воеводы Андрея Курбского. Здешнее же монастырское сказание рисует событие так: получив донос о бегстве Курбского, царь Иоанн сам поспешил в великом гневе к Печорам, услыхав, что отец Корнилий посмел дать кратковременный приют опальному воеводе на пути того к литовцам. Сойдя с коня у монастырского храма Николы Ратного, царь, в припадке ярости, собственноручно снес саблей голову отцу Корнилию, когда псково-печерский Настоятель вышел встречать своего державного гостя монастырскими хлебом-солью. После же содеянного, опамятовав, царь подхватил тщедушное обезглавленное тело игумена и в ужасе бежал с ним вниз, от церкви Николы Ратного к Успенскому храму. С тех пор и до наших дней дорожка эта, устланная каменными плитами, зовется в псково-печерской обители

«кровавой». Мне так и объяснил встречный монах: дескать, дойдете кровавой дорожкой до Корнилиевых стен...

Корнилиевыми называют в монастыре высокие, с волнообразной кромкой стены, взлетающие со дна глубокой лощины по обеим ее склонам вверх, к сторожевым башням, будто символизируя этим плавным движением каменных масс взлет ангельских крыл. Восстановил стены и башни из развалин уже после войны мой собеседник, Настоятель, отец Алипий, — мудрец, мастер кисти и хозяин, самолично водивший меня по своим подземным владениям.

Мы заметили, что одна керамическая плита, закрывавшая нишу, покосилась и отошла от стены. Настоятель нахмурился.

— Может упасть и разбиться. А ведь очень стара и хороша. Сотни их у нас здесь, а двух вполне одинаковых нет. Надобно спасать!

Сильной рукой он, отдавши мне фонарь, попытался было один выпрямить плиту-керамиду, как их тут называют, но та поползла вниз. Я оставил фонарь и свечу, поспешил на помощь. Вдвоем мы осторожно опустили плиту на грунт и прислонили к песчаной стенке. Из открывшегося черного отверстия потянуло еще большим холодом. Поистине, это было дуновение могильное!

Тут как раз — одно из старейших захоронений, — говорил Настоятель. Он нагнулся, перешагнул во мрак приоткрывшегося склепа, подал мне руку и помог последовать за ним. Я ничего не видел в этой тьме. Голос моего спутника звучал глухо, и была в нем некая торжественность.

Вот где можно воочию увидеть, что есть человек! — услышал я. — Приглядитесь получше... Тут положили его в гробу-колоде восемь ли, девять ли столетий назад. И теперь... Вот он, след его земной!..

Настоятель наклонился, шурша длинной своей рясой, пошарил рукой по песчаному дну или поду пещеры, и вдруг я увидел во мраке его ладонь, поднимающую со дна нечто слабо святящееся, фосфоресцирующее. Пальцы Настоятеля разжались, легкие искорки этого загадочного света редкой струйкой пролились вниз и померкли.

Видели вы? Осталась от человека на Земле — одна горсть света! Какой ни мрак кругом — нам она приметна. Такое, стало быть, назначение наше в земном мире — хоть горстью света, но просиять!

* * *

Сейчас, за этим письменным столом, я ощущаю в доме нечто

давнишнее, будто вот нарочно пришедшее из глубины дней, чтобы вести память «как под уздцы коня». Запах горелого торфа!

Он чуть-чуть сродни дымку охотничьего выстрела. Если слышишь торфяную гарь зимой, близ жилья, в поселке, значит, чья-нибудь хозяйка купила на топливном складе не углю-антрациту, не березового швырка, а тонну-две торфяных брикетов. Горят они споро, но за зиму замучают хозяйку при чистке печей — столько легчайшей рыжеватой зольной пыли осядет даже в комнатах...

Если же зачуешь эту гарь летом, на природе, вдали от деревень, значит, где-нибудь в сухом болотце взялась огнем подпочвенная залежь.

Слабый еще огонек норовит заползти в темную глубь торфяного пласта. Набравши там силу, огонь пробирается тайными ходами к лесным корням, чтобы под ними дождаться ветра посильнее и уж на его широких плечах вдруг вымахнуть вверх, кинуться на лесные стволы и кроны.

Мне еще в детстве пояснял отец, командовавший военизированными лесными заготовками в начале революции, что, мол, одолеть подземный торфяной пожар — все равно как трудную болезнь вылечить. Ведь воды поблизости от загоревшегося участка нет. В том и естественный закон, что лесные болотистые озера, сплошь зарастая травами и мхом, совсем пересыхают, превращаются в торфяник.

Мы и ныне, в последней трети атомного века, сражаемся с торфяным пожаром тем же способом, что и мой отец полстолетия назад, в этих же подмосковных лесах.

Горящий участок окапывали тогда широким рвом, до дна очищенным от торфяного слоя, чтобы подземный огонь, как обложенный зверь, не прорвался, не ушел бы дальше в леса. Вся и разница в том, что мужики-дезертиры, являвшиеся в военкоматы с повинной и мобилизованные под команду отца, копали этот ров лопатами, а мы, в наши дни — бульдозером.

На огороженном рвом участке лес и торф прежде выгорали начисто. Точно так же выгорают и ныне, коли не подоспевает пора осенних проливных дождей или богатая снегом зимушка-зима.

И пока подземный огонь медленно и неуклонно истребляет все живое на обреченном ему участке, плывет и плывет по лесу, тревожа округу, недобрая, горьковатая, похожая на пороховую, гарь...

* * *

...Я зимую один в загородном доме. Воротясь из лесу, затопил печь и поверх дров бросил в топку десяток темно-коричневых, хорошо, до блеска спрессованных брикетов. Сразу же потянуло по дому еле ощутимым духом тлеющего торфяного болота.

Так уж получилось, что запах этот неизменно и властно возвращает мне детство, воскрешает прошлое, лица близких, образ отца и многих, давно ушедших,-

Хочу, чтобы прочитавший эти страницы ощутил себя присяжным на суде над героем книги и вынес под конец свое решение: виновен или невиновен!

И да будет милосердным тогда приговор судьи высшего и вечного!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Два обручальных кольца

Глава первая. КОЛЬЦО МУЖСКОЕ

1

У подножия знаменитой башни, где в дни Петровы чернокнижничал Яков Брюс и помещалась Навигацкая и Цифирная школа, кипит самый людный из московских базаров — Сухаревка. Больше всего здесь приезжих с трех соседних вокзалов на Каланчевке и с четвертого, Курского, построенного чуть поодаль, за Покровкой.

Ранним утром пассажир из Санкт-Петербурга, Ярославля или Казани, на извозчике, а то и пешком, направляется с привокзальной Каланчевской площади под железнодорожную эстакаду и сразу за ней начинает подъем в гору, вдоль пыльного садика, к высокой арке Красных ворот.

Золотой окрыленный ангел, трубящий в длинную фанфару, покровительственно встречает прибывшую издалека, равно как и здешнюю публику. Ангел будто возвещает и петербуржцу, и нижегородцу, и земляку-москвичу, что в старой нашей столице — не все суета сует. Есть мол над Москвою и ясное небо, и вознесенная к нему красота, и величие без чопорности. Не поленись поднять голову — и они тебе откроются!

Крылатый ангел берет под защиту пеший люд, переходящий площадь. Ангел укрывает пешеходов под сенью воротной арки от извозчичьих оглобель и конских копыт. Золотая ангельская фанфара указует приезжему его дальнейший путь вдоль зеленых палисадников Садовой-Спасской, сперва чуть понижающейся, а потом снова бегущей вверх, чтобы подвести к самому подножию Сухаревой башни, к ее просторным лестничным ступеням.

Сопутствует приезжему не только золотой блеск изящного ангела с фанфарой, но еще и звучная медь с ближайших колоколен — на Мясницкой, Новой Басманной, в узком Орликовом переулке и с бойкой Сретенки из монастыря .

Простого народу толпится на Сухаревке столько, что приливы людского моря прокатываются от Домниковки до Самотеки, доплескивают даже до Грохольского переулка на Первой Мещанской, где трамвай, вырвавшись наконец из толпы, бежит дальше, к Виндавскому вокзалу, будто в тоннеле под кронами столетних лип и тополей. Диву даешься, как вся кипящая здесь человеческая стихия не выплеснется из своего уличного русла и

не натворит бедствий, свойственных всем неспокойным стихиям.

А ведь не слышно, чтобы на Сухаревке случалось что-либо схожее с Ходынкой. Разговору нет, чтобы здесь народ насмерть давили или до беспамятства стискивали. Обмануть — это одно, обчистить — другое, а так, чтобы вовсе и дух вон — то ни-ни! Уж разве под царский день!..

Что ж до обману... Этого здесь — сколько хочешь. Вот, к примеру.

...Студент в форменном сюртуке и серо-синей фуражке московского университета давно присматривался к шумной азартной игре в «три листика», затеянной на клочке свободного пространства позади каких-то ларьков и лавок. Вели игру трое. С виду — приказчики из небогатых лавчонок либо трактирные половые.

Веселые эти молодцы не показались студенту жуликами. Да и сама игра шла все время вроде с переменным успехом. То выигрывал банкомет, а то поставивший против него понтер. Кучка зрителей быстро росла. Кто просто глазел с любопытством, а кто, не ввязываясь в игру сам, подзадоривал других. Мол, риск невелик, дело чистое, просто затеяли игру счастья попытать, судьбу подразнить, от нечего делать.

Студент-естественник, сильный в науках точных, уже успел прикинуть несколько вариантов, построенных на теории вероятности...

Определенно стоит рискнуть, шансы равные!

Рискнуть же студент мог лишь небольшой суммой, час назад полученной от родной сестры за репетиторские занятия с ее сыновьями, племянниками студента. Сестра вышла замуж за банкира Стольникова, которому было решительно все равно, нанимать ли репетиторов со стороны или дать возможность подработать жениному брату, студенту-химику...

Деньги прямо-таки жгли карман, такая страсть разбирала проверить расчет вероятности... Шагнув из толпы, он сказал:

— Дайте-ка и я попробую!

— Денежки на кон, барин! — весело велел банкомет. — Личность у вас, конечно, приятная, но игра порядок любит.

Замелькали карты.

Студент проиграл первую ставку, а вторую, покрупнее, выиграл. Третью опять проиграл. Прикидывая свой математический вариант, решил добиться выигрыша удваиванием ставки. Тут нужна выдержка и... достаточный резерв! Первое удваивание принесло проигрыш.

Он хладнокровно удвоил еще раз. Проигрыш.

Теперь остается сыграть на все. В толпе стало тихо.

Опять проигрыш... А, черт!

Лоб у студента взмок.

— Поверьте в долг, — сказал он, вытирая лицо платком. — Я живу недалеко. Сходим потом домой, в Яковлевский, там рассчитаемся. Покамест дайте взаймы рублей хоть пять, должен же я сейчас отыграться, если... здесь нет жульничества.

— Такие слова не извольте и говорить, — обиделся банкомет. Оба товарища его нахмурились. — Вас, господин студент, никто силой не заставлял с нами садиться. У нас все — начистоту.

— У них все честно, — пискнул бабий голосишко из толпы зрителей. — Даве простой мужик рязанский у них три рубля выиграл.

— Я же вам верю, — проговорил студент смущенно. — Поверьте и вы мне: дайте в долг пятерку.

— Нет, барин, в игре да в кабаке не одалживаются. Деньги вышли — часики поставить можно, или, к примеру, хоть сюртучок… Вон, у вас на пальце колечко обручальное. Как залог взять его можно. Не на пятерочку — целковых на пятнадцать потянет. Желаете так?

Кольцо? С именем невесты... Он уже носил его целых полтора года, с той поры, как родители дали согласие и они с Олей заказали два кольца. Ювелир вырезал на одном имя «Алексей», на другом «Ольга». Невеста, меняясь кольцами на «оговоре», пошутила тогда: «Смотри, Лелик, береги! Потеряешь колечко — и меня навсегда потеряешь!» Да ведь не может обмануть математика? Расчет элементарен. Система расчета несомненно верна, безошибочна. Дело — просто в настойчивости и последовательности... А, была не была!

— Нате кольцо. Давайте пятнадцать рублей. Продолжаем игру. Ставку удваиваю!

Банкомет снисходительно улыбался, но время от времени метал быстрые взгляды вокруг — не забрел бы ненароком городовой...

Проигрыш!

— Удваиваю! Играю на все!.. Ставка — десять рублей...

Как легли карты, как исчезла последняя десятирублевка, будто унесенная ветром, и главное, как растворились в толпе сами банкометы студент не смог бы и передать связными словами. Он стоял в грязном проулке позади Сухаревских лавчонок, вокруг не осталось ни души. Вслед за участниками игры мгновенно разбежались и зрители. Всяк опасался, чего доброго, еще в свидетели попасть...

Боже мой! Обручальное кольцо с Олиным именем!

Из-за дурацкой и легкомысленной доверчивости безнадежно

потерять такую заветную вещь!

Остывая от азарта, он уж и сам теперь не понимал, как это его, интеллигентного осторожного человека, угораздило так легковерно отдать кольцо базарным проходимцам. Вот она, та самая простота, что хуже воровства!.. Что же теперь предпринять?

* * *

Идти в Яковлевский, домой, студент не захотел. Там, в родительской квартире, никто не смог бы помочь беде советом или связями — слишком уж далека была его чинная, живущая на немецкий лад семья от мира происшествий на Сухаревском рынке.

Расстроенный и смущенный, репетитор вернулся в дом старшей своей сестры Аделаиды, по мужу — Стольниковой. Во дворе, перед парадным подъездом, кучер разворачивал назад, к чугунным воротам ограды, серую лошадь, запряженную в легкий экипаж лондонской выделки. Значит, супруг Аделаиды, банкир и фабрикант Павел Васильевич Стольников[5] только что вернулся к обеду из своей конторы. С ним и решил посоветоваться опечаленный студент-жених.

Застал он Павла Васильевича в охотничьем кабинете. Ожидая приглашения к столу, Стольников просматривал рекламы ружей-новинок в журнале «Псовая и ружейная охота».

Деловой, несколько желчный, воспитанный в Оксфорде и устроивший свой московский дом на английский манер, он все же был подвержен одной страстишке, нередкой в России, — подружейной охоте с легавыми. Он вывез из Англии пару пойнтеров редкостной черной масти и собрал в стеклянных шкафах своего охотничьего кабинета около двух сотен ружей — Голанд-Голандов, Пэрде и мейстерверков Зауэра[6]. Слушал он повествование студента, стоя перед открытым шкафом с журналом в руке — собирался было сличать рекламные новинки с собственными недавними приобретениями.

Студент рассказал деверю весь эпизод без утайки. Банкир только головой покачал:

— Что ж, совет тут самый простой. Ничего другого тебе не остается, Лелик, как заказать поскорее копию кольца. Иди-ка, брат, к ювелиру. Если сам не проговоришься невесте в минуту глупой откровенности — никогда и не заметит.

— Так-то так... А нельзя ли, все-таки, настоящее поискать, как ты полагаешь, Паша?

Банкир осторожно прикрыл шкаф, воздвигая стеклянную преграду между своими редкостными ружьями и всей остальной

атмосферой кабинета, отдающей сигарным дымом.

— Гм, может дороговато обойтись... Ну, что ж, попытка — не пытка! Сейчас, на твое счастье, у меня будет обедать один деятель московской управы... Может, останешься к обеду? А если ты в этом своем сюртуке встречаться с гостями не очень расположен, то... позвони-ка мне, Алексей, вечерком, попозже по телефону. Может получишь адрес, куда обратиться…

...И действительно, вечером Алексей получил нужные сведения, но с оговоркой: если та персона, с которой студенту надлежит встретиться, не пожелает заниматься розысками кольца, или вообще не проявит желания беседовать с Алексеем, то уж последнему останется один выход — заказать поддельное кольцо! Покамест же студенту велено было уповать на свою счастливую звезду и ровно через три дня, в четверг, явиться к шести вечера в трактир на Домниковке. Там сесть за столик справа от музыкальной машины, держать в руках номер газеты «Русское слово», заказать бутылку сухого рейнского. Вот там- то и подойдет к столику нужная особа, называть которую следует не вполне привычным именем — Ванькой Клешем.

Не без волнения появился студент в трактире на Домниковке. Он бросил раздевальщику свое не новое студенческое пальто и остался в том же сюртуке, что был на нем во время злополучной встречи с игроками на Сухаревке. Свободных столиков в зале было немного, но к счастью, ближайший справа от музыкального автомата оказался не занят.

Алексей заказал половому холодной телятины и заливного с хреном, поросенка под бутылку сухого рейнвейна, велел сменить скатерть и сервировать столик на две персоны, а кстати, пустить в ход и музыкальную машину. И пока раздавались в зале негромкие немецкие марши и польки, студент развернул номер «Русского слова» и принялся украдкой, из-за газетного листа, разглядывать публику, надеясь угадать, здесь ли нужная персона.

Народ в трактире, судя по виду и долетавшим до студента обрывкам фраз, был все больше мещанского сословия, но случались и господа средней руки. Студент определил, что за одним большим столом уселись конторские писаря, отпущенные домой на часок раньше обычного и решившие по этому случаю гульнуть. Еще были в зале железнодорожные служащие, угощавшие какого-то придирчивого коммерсанта, два слегка охмелевших мастера из соседнего депо и целая компания пожилых и степенных немцев-ремесленников. Ни в одном из этих посетителей студент не мог предположить Ваньку Клеша. Впрочем, уж не этот ли бородач в поддевке? Нет, это конечно просто купчик из ближнего к Москве уезда. Или Ванькой Клешем

может оказаться один из тех нагловатых страховых агентов, что вчетвером уселись по соседству и вначале подозрительно присматривались к молодому человеку в сюртуке?.. Но они уже выпили по третьей и больше не обращают на соседа никакого внимания...

Значит, нужная персона пренебрегла-таки скромным приглашением студента Лелика. Верно, пора уже и самому убираться отсюда. Ведь давно открыта бутылка вина, давно подана закуска. Густеет вокруг табачный дым. Теперь заняты уже все столики в зале, и за иными появились особы дамского пола с сомнительными кавалерами. Девицы так и косят глазом в сторону господина в золотом пенсне, тот же ни одной и не замечает. Машина гремит в полную силу, монета в нее так и сыпется.

Господин в пенсне встал и направился... нет, оказывается, не к выходу! Задержался на мгновение у машины и тоже опустил в нее монетку... Кажется, с ним неприметно перемигнулся сам хозяин трактира из-за буфетной стойки. И с какой-то ласковой, даже сияющей улыбкой незнакомец взялся за спинку пустующего стула против Лелика.

— Замечаю, заждались от нетерпения? Дико извиняемся, что заставили скучать! Вы... кого бы изволили встретить здесь?

Студент был поражен не только странным несоответствием между интеллигентным видом и своеобразной речью этого господина. Еще удивительнее был какой-то почти феерический, лучистый блеск его глаз. Они не просто блестели. Хотелось сказать, что из-за стекол пенсне они излучали сияние, как драгоценные камни.

— Мне бы господина... Ваньку Клеша!

Незнакомец убрал свое пенсне в карманчик жилета и осклабился с видом некоторого самодовольства.

— Стало быть, извольте изложить ваше дельце мне-с... Только для порядка, как водится, не мешает сперва пропустить по малой... Ваше здоровьице!

Узнав подробности происшествия, собеседник Лелика нахмурился и несколько омрачился.

— Непростое дело! Колечко ваше, господин студент, сработали тогда не мы, московские специалисты. Это вас пришлые обвели. Ну, а с ними надобно будет рядиться, как изволите понимать. Это не то, что из собственной жилетки достать... Полагать можно, что колечко все же сыщется, если... цена будет предложена сходная. Рублей, примерно... семьдесят, не меньше.

— Ему-то и цена вся — тридцать шесть. Только что вещь заветная.

— Да ведь в том то и дело, — оживился и еще ярче засверкал очами представитель московских специалистов. — Известная примета: колечко утеряешь — жены лишишься, либо невесты. Так что, решайте, потому как Ванька Клеш — не тот человек, кто с чужими рвачами за ради пустяка время на разговор тратить станет.

— Когда же можно будет получить кольцо и рассчитаться за услугу?

— Об этом родственнику вашему, господину банкиру Стольникову по телефончику стукнем-с. Мы, конечно, не приминем дело побыстрее сладить, а вы извольте названную сумму, как положено, загодя при себе в конвертике иметь... Неприметно отдадите конвертик, а в обмен получите от нас пакетик... Можете оставаться без всякого сумления, потому как честнее настоящего вора на всем божьем свете никого не встретите... Благодарю за хлеб-соль!

* * *

Уже в следующую субботу банкиру Стольникову сообщили по телефону, пусть, мол, господин студент явится один к девяти вечера неподалеку на угол Введенского и Лялина. Ему кое-что вручат, у него кое-что возьмут, а что именно — он и сам знает.

Студент уже прохаживался от угла морозовского особняка до первого фонаря в Лялином переулке, когда колокол Ильи-пророка на Воронцовом поле отбивал девятый час. Моросил дождь, ветер морщил лужи и силился задуть газовый рожок в фонаре. Непогода загнала под крыши всех субботних гуляк. В круге света от фонаря маячила только одинокая фигура студента.

Так прождал он более получаса. Никто не подходил, не собирался разговаривать с ним. Может, ошибка, путаница какая-то?

Измокший и иззябший, он отказался от напрасного ожидания и побрел, сутулясь, к дому Стольникова, на другой конец того же Введенского переулка, чтобы сообщить деверю о неудаче.

Алексей уже почти поравнялся с чугунной оградой, как его догнал какой-то мальчишка-оборвыш. Подросток схватил студента за рукав.

— Дяденька! Тебе Ванька Клеш кланяться велел! Давай пакетами поменяемся!

Фигурка оборвыша мгновенно растаяла в вечерней мгле; с нею исчез и двухмесячный гонорар студента за репетиторские занятия с сыновьями Стольникова. В обмен на конверт с этими деньгами остался в руках Алексея маленький сверток. Студент

развернул его нетерпеливо, на радостях даже весь просиял внутрённе и тут же надвинул на палец свое обручальное кольцо с гравированной внутри надписью: ОЛЬГА.

...Лишь много лет спустя, уже давно будучи женатым, узнал он нечто для себя неожиданное.

Оказывается в самые дни злоключений с обручальным кольцом, невесте его, Ольге, тайком сделал предложение давнишний приятель Алексея и коллега по университету Борис Васильевич Холмерс, отличный рисовальщик и талантливый актер-юморист. Олино сердце при этом чуть-чуть дрогнуло, хотя она любила жениха и очень ценила всю его старинную семью. Все-таки, змей соблазна шевельнулся в девичьем сердце — уж очень остроумен, весел и решителен был неожиданный кандидат, леликов опаснейший тайный соперник!..

Невидимая угроза всей будущей жениховой жизни была немаловажной: кто не знает таких вот роковых и стихийных подводных струй, вдруг бросающих судьбы девичьи в сторону от наметившегося русла! Случай с Натальей Ростовой — не редкость в любые времена!

А миновала угроза так:

Жених и невеста, вместе с их приятелем Борисом Холмерсом, приглашены были на некий семейный вечер, где жениху предложили петь под хороший аккомпанемент любимые его вещи Чайковского, Рахманинова и Шумана. Баритоном Лелика, его манерой петь, не только пленялись девицы, его любили слушать и настоящие музыканты. Был он на том вечере особенно в ударе и пел так, что Ольга для всех неожиданно вдруг навзрыд расплакалась...

Прощаясь в тот вечер с женихом, она тихонько и нежно поцеловала его в оба глаза и шепнула внятно:

— Уж скорее бы наш июнь!

В июне, как и назначено было заранее, их обвенчали по лютеранскому обряду, в доме жениха, и сразу же отправили за границу, в свадебное путешествие.

Чета в вагонном окне показалась всем провожающим картинно-красивой, завидно юной и трогательно, до смешного, счастливой.

* * *

На следующий год супруга подарила мужу сына-первенца. На роды и крестины молодожены приехали в Москву из провинциального города Иваново-Вознесенска, где они снимали просторный, удобный для приемов дом-особняк. Алексей

Александрович, совсем недавно — любимый ученик будущего академика Н. Д. Зелинского, а ныне — дипломированный химик, уже управлял производством на самой большой в городе красильной фабрике, вечерами же в доме у Ольги Юльевны собирались любители музыки и стихов.

В Москве первенца крестил тот же престарелый лютеранский епископ, что недавно соединил руки молодой чете, а много десятилетий назад венчал и родителей жениха, в том же доме, даже в том же зальце, что и Алексея с Ольгой.

Вот по его-то стариковскому выбору и совету нарекли младенца именем Рональд. Оно показалось и впрямь довольно благозвучным, не заезженным, хотя и не самым привычным в обиходе старомосковских интеллигентов «кукуйского» происхождения, чьи далекие предки некогда писались немцами фряжскими или немцами свейскими... Увы, ни старый епископ, ни молодые родители, ни крестный отец-француз из пожилых коллег Алексея Александровича не предвидели, сколько сможет принести в России будущего... неправославно звучащее имя! Получалось-то все как будто складно: Рональд Алексеевич Вальдек...[7]

К тому же, знатоки геральдики и генеалогии утверждали, что мол, если хорошенько порыться в архивной пыли, можно отыскать у далеких предков московского рода Вальдеков приставку «фон». Формальное право восстановить ее, вероятно, было уже сомнительно, да и не очень-то оно требовалось скромному российскому химику с малолетним отпрыском. И лишь в самой глубине отцовского сердца слегка пошевеливалось нечто щекочущее при мысли, сколь внушительно могло бы прозвучать имя сына: Рональд фон Вальдек, фу-ты, ну-ты!

Впрочем вся эта чепуха с «фоном» отошла в глубокое прошлое, вспоминалась уже со стыдом как смешная детская блажь и, наконец, вовсе потерялась в лабиринтах натруженной профессорской памяти...

2

Артиллерийская гренадерская бригада отступала к северо-востоку, оставляя войскам германского фельдмаршала Макензена одно за другим галицейские местечки.

Июльским вечером артиллерийский парк бригады остановился у небольшого села на берегу луговой речки. Деревянный мост в селе обрушился еще днем, не выдержав переправы чужого гаубичного полка, опередившего бригаду на путях отхода. Артиллеристам-гренадерам пришлось искать подходящий брод на версту выше села, где берега были более отлогими, а грунт не таким топким, как на ближайших к жилью водопоях и бродах для скота.

Здесь, за селом, ничто еще не напоминало о войне. Разве что закат зловеще багровый, недобрый. Оттуда, с юго-запада, могут уже завтра утром появиться немцы.

А пока все затихало кругом, усиливались влажные вечерние запахи и среди них особенно сочно и сытно благоухало пойменное сено. Высокие стога этого сена еще стояли в лугах, но выше, на пашнях, хлеба уже были убраны, хотя еще чуть-чуть недозревшими, судя по зеленоватому оттенку жнивья и соломы. И это, кстати, тоже была косвенная примета войны.

Брод был хорошо виден — тут с берега на берег перебегала пешеходная тропка. Ее прикрывали кусты, полные живности — у берега гнездились камышевки и курочки, подальше от воды — кричали коростели-дергачи, а на лугу, у травянистых мочажинок, чуть не прямо из-под ног, вылетали бекасы. Капитану-артиллеристу вспомнилась любительская охота деверя с черными пойнтерами.

Вот бы его сюда, этого стольниковского любимца Неро — отвели бы они с Сашей душу по бекасам. И дупеля здесь, видать, немало — лучшей подружейной дичи, по мнению Павла Васильевича, — думал артиллерист, приминая подросшую с покоса травку.

Ветеринар предложил командиру искупаться.

Еще неизвестно, будет ли для нас нынче баня. Порядки здесь все же не наши, и добьется ли адъютантик ваш толку от хозяев — это неизвестно, сами изволите знать, голубчик мой Алексей Александрович! Давайте-ка рассупониваться!

Офицеры отстегнули шашки, разделись у самой воды, с трудом стащили с ног пыльные сапоги со шпорами, упираясь каблуками в корневища кустарников, и вошли в теплую, никем до них еще не замутненную нынче воду. Врач был лет на десять

старше капитана, окунался со вздохами, ахал и постанывал. Глубины он искать не захотел и принялся у самого бережка смывать пыль с грешных телес, как он выразился.

Командир же измерил босыми ногами весь брод от берега до берега, убеждаясь, что зарядные ящики и все упряжки на своих высоких колесах пройдут не только в один ряд, а даже в два или три. Значит переправа будет недолгой и дружной... Разведав все это, командир проплыл, немного вверх и вниз по течению, потом подкрался к врачу и по-мальчишески окатил его струёй, пущенной открытой ладонью... И тут, вместе с брызгами, что-то промелькнуло едва заметной золотой искоркой в косом солнечном луче.

Пока недовольный врач, чертыхаясь, выходил из воды и плясал на одной ноге, чтобы обсушить и обтереть другую, спутник его уже заметил, что смахнул с безымянного пальца свое обручальное кольцо.

Пропажу искали долго, сперва раздетые. Потом, когда стало темно, прохладно и сыро, офицеры надели мундиры и портупеи, затянули ремни и продолжали поиски при шашках и револьверах, пока не сожгли до конца батарейки своих карманных фонариков.

Так и пришел озабоченный капитан в свою хату... без обручального кольца. Саша-адъютант, поахав насчет пропажи, вызвался было пойти на поиски, но проговоривши еще несколько столь же самоотверженных фраз, уронил голову на подушку. Вестовой Никита Урбан тоже выразил готовность «пойти потукать», но дело было столь безнадежным, коли уж сами купальщики ничего не нашли, что капитан только рукой махнул и велел будить себя утром пораньше.

* * *

Еще перед рассветом стала явственно слышна артиллерийская стрельба на юго-западе. Видимо, там завязывались нешуточные арьергардные бои. Отдохнувшие за ночь на бивуаке лошади бригадного парка легко брали с места и зарядные ящики, и обозные фуры, и неисправные пушки полевой мастерской.

Командир затемно выехал к месту переправы, отдал вестовому поводья своего Чинара и не отошел от брода до тех пор, пока последняя подвода не оказалась на том берегу.

Рядом с командиром маячил верхом адъютант, Саша Стольников. Погоны прапорщика он надел месяца два назад. Отец, использовав кое-какие связи, смог определить его в адъютанты к «дяде Лелику». Свежеиспеченный прапорщик явился

к своему дяде-командиру еще в Варшаве, как раз, когда в польскую столицу на недельку приезжала к мужу жена Ольга с сынишкой Роником, повидаться перед тяжелой кампанией пятнадцатого года, уже грозившей потерей Варшавы... Саша Стольников сопровождал тогда тетю Олю с мальчиком от самой Москвы до Варшавы, всячески убеждая ее повлиять на всех близких насчет своей переаттестации и перевода в кавалерию, против чего решительно возражал Стольников-папа.

Вот и здесь, на переправе, Саша Критически оценивал вслух достоинства своей воинской части в сравнении с другими родами войск.

— Конечно, дядя Лелик, конная артиллерия штука, в общем, тоже хорошая, только... пушки мешают! Вот бы без них! Была бы и у нас с тобой настоящая кавалерийская часть!

Командир, обернув к нему усталое лицо, приказал негромко:

— Догони штабных, Саша. Держать на марше боевое охранение справа. Передай там...

Адъютант ускакал. Проехал мимо, во главе своего ветлазарета, и врач-ветеринар, крикнул командиру на ходу:

— Не нашли кольца, Алексей Александрович?

Вместо ответа командир отвернулся и дал знак Никите-вестовому, с которым он прошел все месяцы войны, тоже переправляться, оставив Чинара у кустов.

Справа зашелестело что-то. Среди кустарников быстро шли к броду люди, и даже как будто с винтовками на плечо! Но вышла из кустов пожилая крестьянка с девочкой-подростком. Они были босы и держали на плечах деревянные грабли, ворошить сено.

— Слушай, добрая пани, — сказал офицер. — Если кто-нибудь из местных жителей, ваших крестьян, найдет здесь обручальное кольцо с именем «Ольга», пусть сразу напишет по такому адресу: Москва, Введенский переулок, дом Стольникова, для Алексея Александровича... Вот, я пишу тебе этот адрес на листке бумаги... Алексей Александрович — это я. Кольцо я обронил вчера, при купании, здесь, где ты стоишь.

— Что вы, пан! Зачем надеяться понапрасну? Разве найдешь такую маленькую вещь, если тут прошла целая армия?

С этими безнадежными словами крестьянка провела граблями по растоптанной и примятой траве у самой воды, как бы показывая, насколько тщетны здесь всякие попытки поисков.

И когда она снова подняла грабли на плечо, что-то тихонечко звякнуло. Вглядевшись, офицер даже сожмурился от неожиданности: на одном из деревянных зубьев еще вертелось золотое колечко!

Женщина не сразу смогла и в толк взять, за что чужой офицер

пытается вручить ей синий кредитный билет, А когда уразумела, наотрез отказалась взять деньги:

— Нет, нет, пан офицер! Если все то есть чистая правда, и вы не посмеялись над моей простотой, отдайте деньги в церковь, на голодных беженцев. А мы с дочерью еще, слава Богу, не в столь горькой нужде!

* * *

Почти год спустя Алексей Александрович вернулся в свое пыльное Иваново, к Ольге, к детям — было их уже двое.

Из писем он знал, что жена перенесла серьезную операцию, а насколько она была тяжела, признался ему потом за рюмочкой сам хирург.

— Рискнул резать, потому что иного спасения уже не видел. Перитонит начинался. Сказать по правде, и на операцию надежды оставалось маловато... И вдруг, — сам уж не знаю как, поправляется и выздоравливает моя «безнадежная»... Верно, есть на свете какие-то силы и сверх нашей врачебной власти, дорогой мой!

3

А третий раз пропало кольцо неведомо как, в тридцать восьмом.

И хватились не сразу, потому что давненько стало спадать оно с похудевших пальцев Алексея Александровича, и опасаясь носить его, держал он кольцо в домашней шкатулке. Когда там его не оказалось, искали не очень прилежно, думали, что рассеянный профессор-химик сам переложил свою реликвию куда-нибудь в другое, более надежное место, да и позабыл, в какое именно.

Ему-то однако вовсе и не до того было.

В Наркомате становилось работать все труднее. Каждый день вывешивали на доске очередной приказ наркома об «исключении из списка сотрудников» таких-то и таких-то работников такого-то Главного управления. Как правило, эти «исключенные из списка» были самыми знающими инженерами, партийными руководителями или высшими администраторами. Врагами народа уже были официально, на общем собрании, объявлены оба предыдущих наркома. Одного из них Алексей Александрович знал несколько ближе, нарком давал ему ответственные поручения и на заседаниях Коллегии всегда был подчеркнуто внимателен к мнению профессора Вальдека...

Эти мысли тревожили профессора днем, в стенах Наркомата.

Вечером же, в Институте текстильной химии, наступала пора новых тревог, весьма, впрочем, схожих с наркоматскими. И здесь, как и в Главном управлении, не проходило и недели, чтобы не сорвалась лекция, не отменены были семинарские занятия, не пустовал бы чей-нибудь стул на заседании деканата. Как и в Наркомате, здесь, в Институте, испуганным шепотом называли фамилии коллег и знакомых, с кем еще на днях вместе уезжали с занятий, подвозя друг друга на наркоматской «эмке» или на такси. То и дело отменяли экзаменационные сессии, вычеркивали фамилии экзаменаторов, членов Государственной комиссии, руководителей кафедр, членов парткома; переносили сроки занятий, торопливо меняли расписание лекций, подыскивали других консультантов студентам-дипломникам. И тоже вывешивали приказы: «исключить из списков института»...

Сам профессор Вальдек продержался до февраля 1938-го. Уже казалось многим, что может, неведомо почему, обошла угроза его седую голову. Кто-то пустил даже зловещий слушок-шепоток, дескать, может, мол, и не все ладно с этим профессором. Уже кое-кто осторожно вопрошал, приставив к уху коллеги ладошку трубочкой, не рискованно ли строить догадки вслух в присутствии профессора, а тем более, выражать неуверенность насчет чьей-то виновности или, не дай Бог, еще и сочувствие к семье арестованного...

Так прошли осень и зима злого года — страшнейшего в истории России. Год новый встречали в узком семейном кругу — приходилось остерегаться даже нечаянной фразы во время застолья, да и просто избегали люди заглядывать друг к другу. А то сядут знакомые за общий стол — глядишь, уже сляпано дело об антисоветской организации, по статье 58-ой, пункт 10—11...

Только никак не могла профессорская совесть извлечь из глубин памяти чего-либо стыдного или недоброго, сколько ни перебирал он месяц за месяцем всю свою полувековую сознательную жизнь. Разве что принадлежность в прошлом к царскому офицерству? Однако, ведь сами солдаты-гренадеры избрали его в дни февральской революции командиром артиллерийской бригады, на место нелюбимого прежнего командира, полковника старой закалки. После же революции Октябрьской солдаты вновь утвердили Алексея Александровича в той же командной должности, и суровый к иным офицерам ревком выражал ему, командиру, полное доверие и уважение вплоть до расформирования бригады в начале 1918 года.

Потом, в самую разруху, командовал он военизированными частями в тылу, а после окончательной демобилизации пошла

жизнь в лабораториях и цехах, в аудиториях и кабинетах.

Отмечали и премировали за десяток изобретений. Построено в стране пятнадцать фабрик по его проектам. Еще больше проектов консультировал, исправлял, переделывал — и для Баку, и для Ташкента, и для Анкары, куда его даже посылать собирались.

И студенты любят своего профессора за доброту и строгость, за бескорыстие и щедрость. Да еще и за редкой мягкости баритон, звучавший столько раз на вечерах институтской самодеятельности...

В самом деле, не может же быть, чтобы брали вовсе уж без разбору, вслепую. Допустимо предположить и отдельные перегибы (оно в России — не впервой!), скажем, перегибы административные, следственные, судебные, но... не всему же лесу лететь щепками, коли идет рубка? Рубится-то светлое здание социализма, впервые в мире! А социализму нужны такие ученые, как профессор химии Алексей Вальдек!

Не оправдались оптимистические прогнозы, утихли подозрительные шепотки! Не минула и профессора общая судьба лучших его товарищей и ближайших коллег.

Зимней вьюжной полуночью жена пошла открывать парадную дверь на долгий звонок и тусклый голос дворника:

— Телеграмма вам, Ольга Юльевна! (Добропорядочная наивность профессорской семьи априори исключала надобность в приемах более тонких!).

Вошли трое, и сразу — к письменному столу. Профессора подняли из постели. Велели одеваться. Предъявили неряшливо и малограмотно написанный ордер. На арест и обыск...

И сразу же пошли рыться, сбросив на шахматный столик в углу два полувоенных пальто и кожаный, на меху, реглан. Только дворник как вошел в телогрейке, так и присел в ней у окошка, не расстегнувшись, не глядя ни на что творящееся в комнатах. Приоткрыл слегка занавеску, и все время, пока происходил обыск, всматривался в игру снежинок за оконным стеклом. Он не первый раз исполнял в доме роль понятого, с каждым разом все менее понимая происходящее, а сейчас и вообще испытывал нечто похожее на ноющую сердечную боль: сам необразованный и незадачливый, он уважал науку и понимал положение в ней Алексея Александровича Вальдека лучше, чем любой из трех оперативников и все они, вместе взятые.

А тем повезло!

Всего за несколько часов до ареста, профессору принесли в конверте крупную сумму гонорара из издательства, за последний учебник «Курс текстильной химии». Автор не успел еще и

пересчитать деньги. Старший оперативник оценил ситуацию мгновенно. Ему была предельно ясна психология хозяев этого жилья. Такие ни в чем не заподозрят государственных людей, представителей органов. Они видят в них чекистов железного Феликса, неподкупных и безупречных... Момент удобен: оба помощника заняты обыском, дворник — не смотрит! И старший опергруппы хладнокровно и небрежно засунул в боковой карман полувоенного пиджака весь толстый пакет с деньгами профессора. Мол, тому-то они вряд ли еще понадобятся!..

Расчет был идеально-верен: хозяева и не заподозрили кражу. Сам профессор ее просто не заметил. Полуодетый, недвижно сидел он в своем кресле, уже прощупанном и даже несколько распотрошенном, порядка ради. За все время обыска он не удостоил пришельцев ни словом, ни взглядом, будто никого и не было вокруг. Знать, мчалась перед его взором кинолента прожитых лет, и понимал он, что с этим ночным визитом лента обрывается. А Ольга Юльевна, наблюдавшая исчезновение пакета с гонораром, решила про себя, что, стало быть, по нынешним их порядкам так оно и полагается.

В те минуты нашлось пропавшее обручальное кольцо профессора.

Старший оперативник извлек его из лунки рассохшегося семейного буфета, куда оно нечаянно закатилось.

Приятная припухлость бокового кармана привела оперативника в благодушное настроение.

Рассматривая кольцо, он разобрал гравированную внутри надпись «Ольга» и принял соломоново решение:

— Ну, коли написано «Ольга», — произнес он в тоне почти шутливом, — пусть, стало быть, у Ольги и остается пока. А там — видно будет, как с имуществом.

Так вернулось кольцо к своей первоначальной обладательнице, носившей его тридцать лет назад в течение нескольких дней, до сговора и обмена кольцами с женихом.

После этой февральской ночи у нее стали опухать руки и надевать собственное кольцо она уже не могла. Мужнее вскоре сделалось ей впору.

Алексей же Александрович, носивший это кольцо все три десятилетия не снимая, выручавший его при самых трудных и неожиданных жизненных обстоятельствах, больше не ощущал в себе ни сил, ни даже желания отстаивать свое право на эту жизнь.

Какое-то странное успокоение наступило в сердце его с приходом этих ночных гостей. Безучастно и без горечи разглядывал он их утомленные испитые лица, шарящие руки, потухшие папироски в углах жестких губ... Не трогали и

настороженные взгляды, полные насмешливого недоверия и презрительного превосходства над застигнутым врасплох.

Росла на столе кучка документов, книг и предметов, сочтенных подозрительными и изобличающими. Попали сюда две германские каски — трофеи 1916 года, подсвечник из винтовочных патронов — солдатский подарок командиру, студенческих лет шпага и два ордена давних времен — Станислав и Анна, вызвавшие пристальное внимание и почему-то сочтенных немецкими.

— Вильгельму, стало быть, честно служили? — вопросил, откладывая ордена и каски оперативник. Даже дворник у окна дернулся, будто его ожгло, а Алексей Александрович и бровью не моргнул, ни слова не возразил обидчику... Странно, он и внутренне не любопытствовал даже насчет прямого повода для ареста, не пытался заранее сообразить, кто же именно и из каких нитей лжи сплел донос-паутину... Но прощаясь под утро с женой, думал о ней уже как о вдове.

Потом настала для профессора полоса проверки эйнштейновой теории относительности, когда в сознании происходила переоценка понятий времени и пространства. Так, прогулочный дворик на крыше «внутренней тюрьмы» ощущался просторным, как вселенная. День или сутки длились вечность, сплошь переполненную страданием, нравственным и физическим без конца и исхода. И, напротив, сложенные из этих суток-бесконечностей ряды тюремных месяцев — а их было пять или шесть под следствием, — почудились при последнем огляде назад одним мгновенным мерцанием какого-то серого полусвета перед мраком вечным.

Его расстреляли в лубянском подвале, по приговору чрезвычайной тройки, за наитягчайшие преступления против народа и государства[8]. В особую вину следствие поставило ему отказ от чистосердечного признания в своих кошмарных злодеяниях.

В те годы необходимый стране труд исполнителей смертных приговоров оставался примитивным ручным видом труда, механизировать его попробовали лишь десятилетием позже, введя было автоматику на фотоэлементах, как на станциях московского метро. Но тогда, в назначенную ночь, крупнокалиберный маузер отечественного производства, нацеленный верной партии рукой, разрушил вредоносный мозг профессора, остановил его нераскаянное сердце. Однако, семье сообщили нечто другое: будто преступник осужден к десяти годам строгих лагерей без права переписки.

Никто из близких не ведал, что такая формула и была ничем

иным, как иносказательным извещением о смерти казненного врага народа. Где ж было догадаться пожилой вдове, что прежняя стратегия открытого террора уже меняется и Вождь Народа повелел перемежать ее с еще более причудливой и изощренной педагогикой кары тайной! Дескать, враг обезврежен, но без афиширования!

Словом, понадобилось еще полных двадцать лет, чтобы лишить вдову и обоих, уже семейных, детей профессора последней надежды насчет судьбы отца. Министерство Внутренних дел Хрущевской эры кратко и вежливо сообщило вдове о смерти супруга будто бы в 1943-м году (хотя расстреляли в 1938-м), а попутно также об отсутствии какой-либо вины покойного перед народом и государством.

Семье оставалось утешиться лишь тем, что профессор не был одинок. Ибо так же, как с ним, поступили и с великим множеством других, ученых и неученых, интеллигентных и неинтеллигентных, партийных и беспартийных, разделивших с ним ту же участь, прижизненно и посмертно.

Именно такое утешение подсказал Ольге Юльевне член Верховного Суда при вручении ей справки о посмертной реабилитации супруга.

Глава вторая. КОЛЬЦО ЖЕНСКОЕ

С этим кольцом никаких сложных перипетий не связано. Его история так и просится в стилистические рамки бытовой повести прошлого столетия.

...Задолго до того, как надеть обручальное кольцо на палец, Оля мысленно уже примеряла его и старалась вообразить себе суженого.

Начала она эту игру лет с семи, когда отец, Юлий Карлович Лоренс[9], с юности прозванный всей округой Прекрасным Юлианом, посулил сосватать ее не иначе, как индейскому вождю Виннетау с обложки новейшего романа Карла Майя или уж, на худой конец, отдать за принца Уэлльского, наследника британской короны.

Сам Прекрасный Юлиан был наследником весьма доходного имения «Лорка» на взморье близ Пернова. Мать Юлия Карловича, Олина бабушка Матильда, в юности капризница и недотрога, выдана была за пожилого эстляндского землевладельца, овдовела рано, от вторичного замужества отказалась и сама взялась управлять своим хозяйством. С годами она совсем потеряла интерес к нарядам, в гостях присоединялась к мужскому обществу и со знанием дела толковала о видах на урожай. Бабушкой Матильдой ее стали звать раньше, чем у нее на самом деле появились внуки.

Она завела в «Лорке» две молочные фермы, для чего прикупила луговых угодий у упрямого соседа, прежде никак не желавшего уступить эти луга покойному супругу Матильды Лоренс. Владелица «Лорки» отдала в аренду, под распашку, заболоченные пустоши, а сосновый лес, выходивший к дюнам, оберегла: она не только любила его ровный шум, сливающийся с шумом прибоя, но и предвидела курортную будущность здешнего взморья.

Прекрасный Юлиан, единственный ребенок у матери, не мог пройти в домашней обстановке ту строгую, столь необходимую для обретения истинно светского лоска, муштру, какая зовется у людей его достатка «ейне гуте киндерштубе», то есть, хорошей детской. Ему-то сызмальства слишком многое прощали и опускали.

Хозяйственных увлечений матери он не разделял, хотя охотно пользовался их плодами. В Дерптском университете ходил вечным студентом, предпочитая лекциям городские увеселения. Месяцами живал у матери в «Лорке», волочился за хорошенькими мещаночками, охотился, скакал верхом и частенько пробирался в

свою спальню лишь под утро, после амурных утех и азартных сражений за зеленым сукном.

Соседская молва, разумеется, всегда склонная к преувеличениям, разносила по округе слухи, уже не безопасные для репутации Прекрасного Юлиана. Однако мать, занятая перспективами имения, как-то не успела толком задуматься насчет перспектив любимого сына. Его донжуанская слава не слишком тревожила материнское сердце. Пусть, мол, кончит курс, расстанется со студенческими замашками. Тогда и образумится. А пока молодо-зелено — самим Богом погулять велено!

Больше огорчений причиняли ей изрядные карточные проигрыши Юлия Карловича, тешилась она лишь тем, что в округе не было недостатка в состоятельных невестах, и наследник процветающей «Лорки» мог не опасаться мезальянса, по крайней мере в смысле солидности приданого, если бы в игре рискнул превысить материнские возможности.

Как раз в лето перед последним университетским курсом встретил молодой Юлий Карлович в родных местах, среди песчаных дюн и прибрежных сосен, незнакомую девушку, совсем не похожую на его прежних Дульциней.

Синеглазая, высокая, вся будто пронизанная внутренним светом, она, казалось, снизошла на перновское побережье прямо из древнескандинавских саг или рунических песен. Но появлялась она у моря либо в обществе старших братьев-моряков, либо вместе с матерью, сохранявшей и в пожилом возрасте весьма величественную осанку.

Приезд новой здесь семьи вызвал в округе живые толки. Через прислугу соседи торопились выведать подробности о приезжих. Прекрасный Юлиан же с первого взгляда влюбился в золотоволосую незнакомку. К прежним возлюбленным он утратил всяческий интерес и готовился теперь к заманчиво трудной осадной войне.

Девушку звали Агнесса Юлленштед[10]. Братья Агнессы были военными моряками российского флота, оба уже в контр-адмиральском чине. Род их велся от шведского барона-моряка, попавшего в немилость к королю Карлу XII и вступившего в российскую службу еще при Петре. Царь Петр пожаловал первому из петербургских Юлленштедов высокую флотскую должность и поместные земли на юге, по Хопру и Дону близ Воронежа.

Агнесса давно лишилась отца. Погиб он на государственной службе, по ведомству уделов: обер-егермейстер царских охотничьих угодий в Прибалтике, Александр Юлленштед был застрелен из лесной засады отчаянными браконьерами. Сыновья

покойного, старшие братья Агнессы, обучались поэтому на казенном коште, а закончив морской корпус с отличием, быстро продвинулись по службе. Старший, Николай Александрович, командовал эскадрой кораблей береговой обороны, приписанной к флотской базе в Либаве, и держал флаг на броненосце «Не тронь меня». Младший брат, Георгий, занимал должность профессора в Военно-морской академии.

В то лето, когда Юлий Карлович впервые увидел Агнессу, семья Юлленштед решила соединиться, чтобы вместе провести лето в Пернове. Братья взяли отпуск одновременно, сняли по-соседству с «Лоркой» хорошую дачу и пригласили мать приехать из-под Воронежа.

Вскоре стало известно, что на этой даче гостей и визитеров встречает в полупустой нижней гостиной только суровая мать семейства. Ни братья-моряки, ни их красивая сестра гостям не показывались — курортные знакомства их явно не интересовали! Юлий Карлович мог лишь в бинокль различать легкий девичий силуэт на верхней террасе соседнего владения, когда Агнесса любовалась оттуда вечерней зарей или отражением в море далеких портовых огоньков Пернова. Потом в бинокле все сливалось — светлый силуэт брала темнота.

И вдруг судьба пошла навстречу самым смелым планам Прекрасного Юлиана.

Старший брат Агнессы оказался далеко не равнодушен к делам помещичьим. Сам владелец имения, огорченный рассказами матери о неустройстве дел в этом наследственном владении, контр-адмирал Николай Юлленштед знал, что когда-нибудь, после увольнения на пенсию или в случае выхода в отставку, и ему, и младшему брату, возможно, придется осесть на воронежской земле и взяться за хозяйство всерьез.

Контр-адмирал услыхал о хорошо поставленных молочных фермах «Лорки» и попросил у владелицы разрешения осмотреть их. Мать Юлия Карловича сама показывала свои нововведения важному гостю, и тому пришлось признать, что восемьдесят коров «Лорки» дают доходу несравнимо больше, чем сотни голов худородного скота в воронежском имении.

Моряку понравилась спокойная и дельная владелица «Лорки». Он согласился с ее мнением, что здешние, пока еще полупустынные морские берега с их песчаными пляжами, лесными опушками и далекими парусами рыбацких лодок милее и привлекательнее, чем модные и людные европейские приморские курорты. Хозяйственные предприятия на землях «Лорки» так заинтересовали гостя, что он на другой же день повторил визит вместе с братом и сестрой. Агнесса пришла в

восторг от выхоленных коров, ласковых телят и уютной фермы. Она сказала, что будет прибегать сюда каждое утро пить парное молоко и любоваться животными...

Так завязалось «знакомство домами», и на протяжении этой шахматной партии Юлий Карлович не сделал ни одного поспешного хода. В присутствии членов семейства Юлленштед он вел себя так безупречно, что ни братья-моряки, ни строгая их матушка просто не смогли придать значения неким смутным слухам о молодом человеке, таком скромном и воспитанном!

Зато сама Агнесса придала этим слухам значение колоссальное!

До глубины души пораженная легендами о подвигах Прекрасного Юлиана, она стала присматриваться исподволь к красивому грешнику, искать с ним мимолетных встреч с глазу на глаз и после его отрывистых, усмешливых объяснений своих поступков, сопоставлять ужасные легенды с его собственными осторожными полупризнаниями. Его улыбка, хорошо очерченный, слегка насмешливый рот, легкие тени вокруг глаз, неторопливая уверенность чуть ленивых движений становились для нее заманчивыми, как таинственный речной омут. И чем больше она убеждалась в его порочности, тем сильнее мечтала спасти обреченного из когтей сатаны. Мысль эта постепенно становилась жизненной целью милой барышни.

Он же умело разжигал в ней жертвенное пламя, то подавая надежду на успех спасительной миссии, то красиво впадая в печоринскую мрачность или онегинскую тоску. Но вот онегинской сдержанности к влюбленной деве он не проявил, когда добился тайного свидания в парковой беседке, ночью, вдали от дачи, братьев и матери!

Дочь была настолько потрясена этим событием и ощущением неотвратимости, непреложности своей дальнейшей судьбы, что сразу же открылась во всем матери, моля об одном — поверить клятвам любимого и убедить братьев не требовать его к барьеру!

Николай Юлленштед, узнав о случившемся, совсем было отверг женские доводы и готовился всерьез к решительному поединку, но в конце концов понял, что вместе с обольстителем пошлет в лучший мир и родную сестру. Ибо Агнесса заявила ему столь же решительно, как и матери: — либо Юлиан, либо — морская пучина!

Катастрофа в обеих семьях походила на столкновение двух кораблей, когда для спасения тонущих имеются под рукой только простейшие средства...

Последовало довольно спешное бракосочетание. Затем Агнесса с супругом отбыли на временную петербургскую

квартиру, пока потрясенная событиями бабушка Матильда переустраивала отчий дом в «Лорке» для молодой четы. Через полгода молодые вернулись в это перестроенное имение, и тут, по прошествии еще нескольких месяцев, родилась у них первая дочь, названная в честь бабушки Матильдой.

Вторым ребенком стала Ольга[11]. За ней появились на свет еще Соня и Эмма.

* * *

На зиму семейство Лоренс, — кроме бабушки Матильды, никогда не покидавшей своей «Лорки», — перебиралось из этого имения в Петербург, Павловск или Царское, где Прекрасный Юлиан, заметно остепенясь, но все же так и не кончив в Дерпте последнего курса, подружился с полковником гвардии Паткулем, принятым при дворе. Дружба эта возникла на почве общих охотничьих интересов. Балтийский помещик и гвардейский полковник знали толк и в собаках, и в лошадях, но ни тем, ни другим нельзя было удивить двор и привлечь к себе внимание. И вот Юлий Карлович надумал, при содействии влиятельного друга, воскресить здесь, в Царском селе под Петербургом, старинную великокняжескую и боярскую забаву — соколиную охоту.

С высочайшего соизволения построили в Царскосельском парке деревянный амфитеатр для избраннейшей публики. Особый уполномоченный Юлия Карловича отправился в дальние киргизские и казахские степи. У тамошних охотников были куплены для столицы ловчие соколы и беркуты. Поселили их в просторных вольерах впереди амфитеатра, а позади мест для публики кое-как разместили в клетках пернатую дичь — уток, гусынь, глухарок и тетерок, предназначенных в жертву стремительным хищникам...

Затея так увлекла обоих друзей, что Юлий Карлович как-то и внимания не обратил на то, что расходы по устройству царскосельской соколиной охоты поглотили чуть ли не целиком доход от имения «Лорка».

И к великому ужасу и горю маленькой Олечки и ее сестричек стали доставлять на кухню их царскосельской квартиры после каждого охотничьего состязания целыми корзинами битую истерзанную дичь, больше всего — окровавленных белых голубок, расклеванных на лету беспощадными ловчими птицами. Ольгу совсем не утешала высокая честь, оказанная папе и его другу: в соседстве с амфитеатром установили в парке особый щит затейливого чугунного литья с именами полковника Паткуля и

Юлия Лоренса — как почетных устроителей царскосельской соколиной охоты.

Разумеется, никто из благородных зрителей этой охоты и не ведал о скромной бабушке Матильде и ее полуразоренной «Лорке»...

* * *

Охотничья страсть Юлия Карловича становилась опасной не только для его кармана. Однажды эта страсть едва не стоила жизни дочке Ольге.

Как-то ее щедрому папе привезли из Копенгагена свирепого датского волкодава-мастифа огромных размеров.

Отец запер собаку-страшилище в своем кабинете, чтобы приучить животное к «хозяйскому запаху». Отцова любимица, пятилетняя Ольга, животных нисколько не боялась, и, в нарушение папиного запрета, смело забралась в кабинет погладить новую собачку.

Волкодав, раздраженный дальней дорогой и только что получивший говяжью кость, хотел видимо просто отмахнуться от нарушительницы его одиночества, но, лязгнув железными челюстями, прихватил ножку девочки. Дня через два вызванный из Пернова хирург заявил, что единственное спасение Олиной жизни — в немедленной ампутации ноги по колено: началось, мол, гангренозное воспаление.

Агнесса глянула на приготовленные инструменты, на разметавшуюся в горячечном жару и бреду красавицу-девочку и... ушла в свою спальню просить заступничества у рафаэлевой мадонны Ди Сан-Систо. Гравированный итальянским мастером лик этой мадонны с катящейся по щеке слезой всегда висел в изголовье у Агнессы.

Олиной матери почудилось, что в печальных очах матери Христовой сквозит как бы одобрение некому отчаянному решению. Воротясь к врачу, Агнесса категорически запретила ампутацию.

— Но исход грозит гибелью ребенка, сударыня! — сухо отвечал ей хирург. — Легко ли вам потом будет сознавать, что сами решили ее участь?

— Это любимое папино дитя, — сказала мать. — Не могу я позволить, чтобы оно осталось жалкой калекой. Виновата в недосмотре я, и в случае исхода крайнего сама оставаться в живых не хочу. Поэтому, Бога ради, поймите, доктор: на этом свете мне не долго придется терпеть муки совести! Сделайте все, что в ваших силах для спасения нас обоих, и дочери, и матери, а

там — что будет! На все — воля Божия...

Врач стиснул зубы и... с такою же злою отчаянностью, что овладела матерью, взялся за спасение дочки.

Он сделал глубокие надрезы вдоль поврежденных мест, дренировал рану, прижигал, удалял все непоправимо разрушенное, бережно сохраняя жизнеспособные ткани. В комнатах пахло паленым мясом. Девочка была в забытьи. Домочадцы уж и надеяться не смели...

Врачебное ли искусство, материнская ли молитва победили смерть, — только девочка выздоровела. Она выросла, бегала в горелки, танцевала на балах, пошла под венец и совсем бы забыла про волкодава-мастифа, кабы не два рядка белых пятен на стройной ножке. До самой старости они напоминали Ольге о ее непослушании, о собачьих зубах и отчаянной материнской решимости.

Детство Ольги и ее сестер утратило розово-голубые тона безмятежности как-то сразу, когда из людей состоятельных и значительных семейство Лоренс вдруг превратилось в ничто.

Сестры никогда в точности и не узнали причин и обстоятельств этого превращения, но чисто внешне оно ознаменовалось столь чрезвычайными событиями и в семье, и в столице, что даже повзрослев, Ольга не утратила ощущения их странной внутренней связи. С той поры прекратился ровный ход Олиной жизни, словно возок ее судьбы съехал с гладко накатанных столичных торцов на булыжины плохо мощеного большака.

Мелькание верстовых столбов вдоль этой дороги сделалось тогда причудливо скорым, и сама Олина память, до того сберегавшая однообразно-цельную полоску из семи петербургских зим и стольких же лоркинских лет, будто распалась на множество кусков, подобно изорванным бусам. Впоследствии, как бы вновь нанизывая на связующую нить памяти бусинки пережитых событий, Ольга уж не могла отделять собственную боль от чужой, как в русском девичьем хоре любой из певиц чудится, будто ее-то сердечной жалобой и полнится вся песня...

* * *

Все началось с того, что в Санкт-Петербург, неведомо как, прокралась тайком страшная гостья — азиатская холера. В летние месяцы умерли от нее сотни горожан, выжили немногие из заболевших. Рассказывали, что на дальних кладбищах роют ямы-скудельницы, как в старину, при моровой язве, чтобы сжигать

негашеной известью тела умерших бедняков. Расклеены были афишки — не пить сырую воду, даже не умываться сырой! Об этом же предупреждали своих знакомых все доктора Петербурга.

Семья Лоренс снимала тогда, летом 1893-го года, городскую квартиру в угловом доме по Малой Морской и Гороховой. На их лестничную площадку выходила и дверь смежной квартиры, где жил со своими родными молодой офицер лет двадцати двух, хормейстер Преображенского лейб-гвардии полка. Офицера звали Владимир Львович Давыдов, но особенным вниманием семилетняя Ольга Лоренс, в отличие от всех прочих, более опытных дам, его не удостаивала. Ей казалось, что младший брат Владимира Львовича, кадет-интерн Юрочка более примечателен. Возможно, что в этом предпочтении играл роль именно нежный возраст кадета! Однако потом любознательная Олечка услыхала, что скромный офицер Владимир Давыдов, прозванный почему-то родственниками Бобом, не просто полковой хормейстер, а любимый племянник Чайковского и что композитор именно ему посвятил несколько сочинений.

В доме говорили, будто поздней осенью композитора ждут в столице — он приедет, чтобы продирижировать своей последней симфонией и остановиться, возможно, в квартире Давыдовых, напротив…

…Олины родители музыку любили и старались как можно раньше начинать музыкальное образование дочерей, притом делать это посерьезнее, чем требовали светские приличия. Девочек водили на все большие концерты. В Мариинской опере у семьи была ложа, а играть на рояле учил их старый пианист, профессор консерватории. Рояльные клавиши в этом доме бездействовали только когда кто-нибудь в семье бывал болен, в обычные же дни дети готовили свои экзерсисы для профессора по два-три часа кряду, под строгим материнским надзором. С нотных обложек глядело на робких учениц возвышенное задумчивое лицо Чайковского. Имя его в семье Лоренс произносили благоговейно.

Года два назад, на первом представлении «Иоланты» и «Щелкунчика», маленькая Оленька, аплодируя композитору и артистам Мариинского, так отбила себе ладошки, что они покраснели и припухли. Она запомнила, как после «Вальса снежинок» во втором акте весь театр содрогнулся от оваций, гремевших потом еще долго и после занавеса к антракту…

Но там, за своим дирижерским пультом Чайковский был также недосягаемо далек и сказочен, как и феи, и куклы, и смелый Щелкунчик. Так неужели же здесь, в самом обыкновенном доме, его можно будет увидеть совсем близко, скажем, в квартире

Давыдовых или хотя бы на лестнице? Неужели он, как все простые смертные, шагает по лестничным ступеням, ездит на извозчиках, сидит за обеденным столом и... бранит за плохо сыгранную гамму?

В городе похолодало. Облетела листва Летнего сада, и мраморные тела античных богинь укутывали соломой. Ждали, что теперь пойдет на убыль и холерная эпидемия, но в гимназии учителя еще строго-настрого запрещали подходить к водопроводным кранам и предостерегали от покупки на улице фруктов, чтобы гимназистки не вздумали съесть их, не обмыв кипятком.

Длинноногая, чуть надменная Ольга (мама посмеивалась — мол, Олин носик с рождения высоковато вздернут!) не без важности выбиралась из наемного экипажа перед входом в гимназию «Петершуле», предоставляя старшей сестре Матильде торопиться в ее второй класс. Сама же Оля не спеша и с достоинством помогала младшей сестричке Соне одолеть гранитные ступени подъезда и уже оттуда, с крыльца, негромко и веско приказывала вознице-финну «подавать экипаж после уроков пораньше».

Ольге пошел восьмой год и училась она в первом классе. Сонечка — в приготовительном. И хотя от Малой Морской до «Петершуле» на Невском было совсем недалеко, трех девочек-школьниц отвозили туда ежедневно на лошади, и командовала ими всеми в пути не старшая Матильда, а более властная и самостоятельная Ольга.

И вот, возвращаясь однажды в октябрьский полдень из гимназии, Оля увидела перед их подъездом другой экипаж и чужого кучера, застрявшего в дверях с двумя большими чемоданами и портпледом. Вещи не пролезали в открытую створку парадных дверей, и Давыдовский повар, пыхтя от усилий, пытался отомкнуть запоры второй створки. На улице же выбежавший впопыхах без пальто Боб Давыдов помогал выйти из пролетки красивому седому господину с хорошо знакомым лицом, сейчас улыбающимся, но все таким же значительным и возвышенным, как на нотных обложках! Наконец, обе створки парадного раскрылись, кучер потащил чемоданы и портплед наверх, Чайковский под руку с Бобом быстро поднялись на площадку. Ольге показалось, что входя в Давыдовскую квартиру, Чайковский улыбнулся не всем трем девочкам-школьницам вместе, а именно одной ей, Ольге!

Через несколько дней они были на концерте. Чайковский дирижировал Шестой симфонией.

После этого концерта остались в Олиной памяти не овации

зала, не лавровые венки, не заплаканные от только что пережитой музыки оркестранты, неистово рукоплескавшие своему дирижеру. Осталась в памяти только сама музыка, скорбная, нечеловечески огромная, трагически вещая...

После концерта Ольга шла с родителями домой пешком, и так явственно слышала трубы и контрабасы финала, будто все еще находилась в зале.

Отец шагал молча, глубоко засунув руки в карманы длинного пальто и впервые показался Ольге каким-то поникшим, непривычно озабоченным... В лакированных туфлях ступал тяжелее, чем, бывало, в болотных охотничьих сапогах... Лицо матери тоже удручено. Может, и взрослые все еще переживают Шестую?

Меньшую дочь, Эммочку, на вечерние концерты не брали, но и шестилетней Соне пешее возвращение показалось трудноватым. Она закапризничала, Ольга повела ее за руку. Тут, уже почти на углу Голодаевской, их нагнал извозчик-лихач с рессорной коляской на толстых шинах. Он сдержал свою пару откормленных серых, услужливо откинул кожаный фартук и пригласил господ садиться. Маленькая Соня ступила на подножку экипажа, но отец, к ее удивлению, отмахнул рукой и отвернулся. Лихач даже крякнул от неудовольствия, чуть отъехал тихим шагом и сразу же, на углу, нашел других поздних седоков. Отец тихонько сказал, будто в шутку:

— Привыкайте к моциону, мадемуазель, он полезен, и будет теперь у вас... в избытке!

Дома, в передней, горничная подала отцу телеграмму из Пернова. Мать подняла глаза на отца, а тот потупился молча. Потом родители ушли в мамин будуар, и засыпая, Ольга еще улавливала за стеной шорох бумаг и приглушенные голоса папы и мамы.

Утром начались перемены. Мама позвала в тот же будуар всю домашнюю прислугу. Покинув эту комнату, немка-бонна, горничная, няня и повар, опечаленные и недоумевающие, пришли в детскую, проститься с девочками. В квартире осталась только кухарка, заявившая господам, что деваться ей все равно некуда в Питере, поживет, мол, у хозяев даром, до отъезда их из столицы. В то утро девочки последний раз поехали в гимназию на лошади — со следующего дня они ходили туда пешком, сопровождаемые мамой.

Еще дня через три позвонил в парадном какой-то господин в котелке и вместо горничной пошла открывать Ольга. Господин опросил что-то про назначенные торги и распродажу мебели, но тут вышла мама и быстро сказала, чтобы господин благоволил

встретиться с самим Юлием Карловичем нынче вечером, на Невском, в ресторане Лейнера, где все и будет окончательно выяснено.

Незнакомец спросил было, пойдет ли с торгов и имение «Лорка» близ Пернова, но мать заторопилась выпроводить его и тут же открыла на новый звонок. Пришла мадемуазель, учительница французского языка.

Мать остановила ее в прихожей и стала что-то быстро объяснять. В ответ француженка только ахала. Несколько фраз матери Ольга смогла расслышать яснее: мон мари... мой супруг... всегда был слишком доверчив... увлекся рискованной коммерцией... был так уверен в своем компаньоне, его честности... тому же эти вечные карты и вечные проигрыши... мы потеряли все, все... Он просил денег у своей матери... Пришел телеграфный ответ, что остатки имения «Лорка» не стоят и половины его просчета... Боюсь, бабушка просто не сможет перенести все это, у нее слабое сердце!..

— О, повр мадам, повр энфан[12]! — причитала француженка, поглубже пряча в ридикюль последний гонорар за уроки.

Перед полуночью отец пришел из ресторана Лейнера. У матери разыгралась к вечеру сильная мигрень; старшая, Тильда, хлопотала в маминой спальне. Воротившийся отец послал дочерей спать, но из прихожей Ольга тихонько проскользнула в темный зал, потрогать клавиши рояля. Она знала, что утром ломовые должны увезти его из дому.

Луч света от уличного фонаря бежал по черному лаку инструмента, как лунная дорожка по морю. Ольга открыла крышку и подняла пюпитр, но вместо того, чтобы взять аккорд, положила на клавиатуру голову, да так и задремала на вертящемся стульчике. Сон ее был некрепок и она пробудилась, когда отец привел маму в соседнюю столовую, стал поить ее холодным чаем и уговаривал поесть.

Из тихого разговора родителей Оля поняла, что скоро мама и дочери уедут к дяде Николаю в воронежское имение и поживут там, пока папа окончит дела в столице, подыщет семье новое жилье, а детям и новую школу, только уж не в Петербурге, а в Москве.

Отец говорил с мамой нежно и успокоительно, что-то обещал, даже поклялся в чем-то и мать первый раз за всю неделю чуть слышно рассмеялась, но сразу же стала серьезной и спросила насмешливо:

— Почему же ты сам-то ничего не съешь? Устрицы у Лейнера верно отбили тебе охоту к домашнему ужину?

Против обыкновения отец и тут не вспылил, и стал

рассказывать, что с бывшим компаньоном он переговорил сухо и коротко, а когда тот ушел, отца по-добрососедски пригласили к своему столу в зале Боб Давыдов и Модест Ильич Чайковский. Был еще за их столом старинный приятель отца барон Буксгевден, молодой композитор Глазунов и еще какие-то господа из музыкального мира столицы. Ждали из театра самого Петра Ильича.

— И вот, представь себе, — слышала Ольга папино повествование, — только я уселся за столом и мне принесли прибор, — входит Чайковский. Прямо из Александринки. Все, кто был за нашим столом, закричали, вскочили, он же, слегка усталый, разгоряченный, с пересохшим от жажды горлом, даже еще и не усевшись с нами, сразу потребовал холодной воды. А на столе графин уже пуст! Так и остался Чайковский стоять в ожидании, пока лакей принесет новый. Приплелся этот Петруччио... с пустым графином! Видишь ли, под вечер не оказалось у Лейнера остуженной воды... Эдакая безводная Сахара на невском берегу в конце знойного октября!

— Удивительное легкомыслие в такое время! — сказала мать.

— Чисто российское, — согласился отец.

— Ну, и чем же эти рестораторы в конце концов напоили Чайковского?

— Сырой водичкой из-под крана! Сам потребовал! «Несите мне, — говорит, — сырой, ни в какую вашу петербургскую холеру я не верю, у себя в Клину всегда сырую пью». Ему все хором: «Здесь нельзя, Петр Ильич, очень опасно!» — а тут уж тащит на подносе стакан воды этот самый нерасторопный Петруччио. Модест даже с места привскочил, хотел перехватить стакан, но не успел: Чайковский осушил его жадно, залпом, и сел ужинать. Боже мой, если бы ты слышала, какие у него планы! Барон шепнул мне, что из всех русских музыкантов именно он сейчас и самый «всемирный». Вот только консерватория наша столичная не больно жалует его как москвича...

Разговаривая так, отец с матерью понизили голоса, потом и вовсе перешли на шепот, и маленькой Ольге за роялем стало сниться море-океан, и странный морской царь, который поит Чайковского соленой водой из зеленого стакана...

Может, она пошевелилась, и этот шорох в зале уловили родители. Они замолчали, прислушались и нашли спящую за роялем девочку, освещенную только фонарем с улицы. Отец отнес Ольгу на руках в детскую, а утром, еще бледная от вчерашнего приступа, мама повела детей в гимназию. Собственно, в предвидении близкого отъезда занятия эти уже не имели никакого смысла, но мать боялась детской праздности, а, главное,

очень надеялась, что рояль успеют увезти в отсутствие дочерей.

Однако, ломовые с фургоном, как водится, опоздали, и грузчики кончали свое дело как раз к самому возвращению юных гимназисток домой. Ольга еще с улицы заметила фургон у подъезда, и распахнутые створки дверей в парадном, а в лестничном оконном проеме она успела различить как плавно колыхнулось книзу огромное черное крыло.

Дети долго ожидали, пока рояль, перехваченный широкими кожаными ремнями, на мужицких плечах опускался с последнего лестничного марша, загораживая доступ наверх.

Вздыбленный, оскорбительно лишенный всех украшений, ножек и педалей, он, наконец, выплыл из подъезда. Двое грузчиков стояли на платформе фургона, двое подталкивали рояль снизу.

Мужики эти, усталые, потные, крикливые, даже как будто и не злые вовсе, конечно же не могли понять, что уносят они не вещь, не мебель, не просто инструмент, а домашнее божество, ухоженное, избалованное вниманием, могучее и доброе, чей нрав и характер изучен и понят всеми домашними. Для мужиков же грузчиков это была всего-навсего непомерная тяжесть. И они бранили и рояль, и друг друга, отчего Ольга поскорее потащила сестер наверх. Тут, в пустом и уже слегка подметенном кухаркою зале, Эммочка, встретив сестричек из школы, разлетелась было потанцевать, покружиться на таком просторе и даже глянула выжидательно на Олю, будто прося ее о веселой музыке к танцу, но под Олиным укоризненным взглядом вдруг все сообразила, огляделась и заплакала.

И тут девочки увидели соседского повара из давыдовской квартиры. Он что-то говорил кухарке, а потом повторил все это матери, и та быстро-быстро закрестилась, схватила девочек, потащила их в ванную комнату, велела всем хорошенько мыть руки борной, больше никуда не выходить из дому, не выглядывать даже на лестницу. В давыдовской квартире лежал тяжело заболевший Чайковский, у него был лейб-медик доктор Бертельс и определил, что может быть это — холера...

...Те пасмурные осенние дни казались Ольге страшно длинными, томящими своей неопределенностью, безнадежностью. В гимназию не пускали, девочки занимались с мамой, читали Андерсена и Перро, Уайльда и Купера. Детей не выпускали на парадную лестницу. Вести из давыдовской квартиры, переданные шепотом, обнадеживали мало. Однажды из окна Ольга вдруг заметила кадета-интерна Юрочку, но не обрадовалась, а испугалась: он привез в соседнюю квартиру целый ворох простыней — Давыдовского запаса не хватило для

больного. Тогда и мама велела передать туда стопку снежнобелых, слегка накрахмаленных простыней. Их приняли, но при этом сказано было, что кризис, видимо, уже недалек. Будто, пробуждаясь из забытья, больной открещивается от «проклятой курноски», гонит ее от себя слабеющей рукой...

Уже на следующую ночь после этого известия, по звукам и громким шепотам у Давыдовых, отец и мать Ольги, не спавшие после полуночи, поняли, что худшее свершилось — Россия осталась без Чайковского.

* * *

Таких горестных, многолюдных, всех касавшихся похорон в Петербурге кажется еще не бывало!

Когда, на лестнице, в парадном, затопали, заговорили, затолкались десятки людей, девочки Лоренс угадали: выносят!

Несмотря на строгий запрет, Ольга чуть приоткрыла дверь. Прямо перед лицом ее оказался лакированный угол темного инкрустированного ящика. Был он велик и тяжел. Ольге потом объяснили, что тело умершего от опасной заразной болезни заключили внутри гроба в запаянный цинковый ящик.

Гроб несли на плечах вниз по лестнице, как недавно уносили рояль...

Оля узнала Боба Давыдова и тут же заметила, как незнакомый бородатый мужчина с искаженным болью взглядом, протиснулся к Бобу и стал умолять его уступить место у гроба:

— Дайте, дайте и мне понести его! — молил незнакомец. Боб уступил, и человек, просветлев лицом, подставил плечо под ношу. Был это музыкант из оркестра консерватории, так недавно исполнившего Шестую. Кому из слушателей могло тогда, на прошлой неделе, в минуты оваций и общего восторга, даже в голову прийти, что Шестая симфония так скоро станет для Чайковского... реквиемом!

И пока в храмах столицы шло отпевание, пока траурный кортеж двигался от Исаакия к Мариинской опере, оттуда к Казанскому собору и наконец к Александро-Невской лавре, пока знаменитый бас протодьякона Калинина сотрясал соборные колонны и согласно звучали хоры консерватории, оперного театра и придворная капелла, мать и обе старшие дочери Лоренс, отдав последний поклон гробу, тихонько следовали в отдалении за процессией.

В ограде Тихвинского кладбища лавры прибавили и они свои букеты незабудок к печально-торжественному холму из венков и живых цветов, возвысившемуся над свежей могилой. Прощаясь с

нею, они простились и со всей своей петербургской жизнью.

Через двое суток после похорон композитора Агнесса Лоренс с четырьмя дочерьми навсегда оставили столицу. На пути в Воронеж их догнала телеграфная депеша отца о смерти бабушки Матильды, последовавшей от разрыва сердца, перед продажей с торгов имения «Лорка».

* * *

За несколько лет, быстрее, чем можно было предвидеть, Ольга освоилась в Москве и полюбила ее.

Когда господа Лоренсы переселились в Москву из дядиного воронежского поместья, у всех членов этой семьи скоро сложился круг добрых знакомых, благожелательных родственников и близких друзей. И хотя девочкам, росшим близ парков Гатчины, Павловска и Царского сперва как-то не хватало величия и логики петербургской панорамы, они быстро оценили прелесть арбатских переулков, уют хлебосольных старо-московских особнячков, картинность кремля, обаяние сорокасороков и неповторимую роскошь живого московского говора, которым, впрочем, ни один коренной петербуржец в совершенстве никогда не овладевает.

Старших девочек определили в Петропавловскую женскую гимназию между Петроверигским и Колпачным переулками. Красный дом этой «Петрипаулимэдхеншуле»[13] помещался в обширном дворе строящейся новой лютеранской кирхи Москвы, неподалеку от серого здания «Петрипауликнабеншуле»[14]. Мужская гимназия выходила фасадом в тот же Петроверигский переулок, где потом и увидели друг друга впервые гимназистка четвертого класса Ольга Лоренс и гимназист восьмого класса Алексей Вальдек.

Впрочем, к тому дню, когда это знакомство привело к обмену обручальными кольцами, Ольга Лоренс числила уже в своем списке женских побед не только Бориса Хольмерса, но и куда более зрелого годами господина Гуссейна Амбар-Магомедова, московского домовладельца армяно-персидского происхождения.

У этого господина Амбар-Магомедова Юлий Карлович Лоренс, сумевший сохранить-таки после продажи родной «Лорки» и ликвидации петербургских дел кое-какие деньжонки на черный день, снял для семьи удобную и недорогую квартиру в старинном двухэтажном доме на Немецкой улице. Так прозвали эту улицу еще исстари, в память о знаменитой Кукуйской слободе, тянувшейся вдоль берегов реки Яузы, уже невдалеке от ее устья. Ходить с Немецкой улицы в гимназию девочкам было не близко, зато просто и удобно — по Старой Басманной и Покровке — до

Петроверигского.

Петропавловская гимназия славилась своими отличными учителями, образцовыми кабинетами и высокой требовательностью к поступающим. Принимали туда с большим разбором! Недаром директриса обратилась к Оле перед ее приемом — снова в первый класс из-за пропущенного года — по-немецки, а будущая классная дама — по-французски. Ответить на двух иностранных языках поступающей полагалось без запинки. Обе старшие девочки. Тильда и Оля Лоренс были приняты сразу, а младших, Соню и Эммочку, проэкзаменовали и посоветовали отдать в соседнюю, Реформатскую гимназию, что была в Большом Трехсвятительском переулке, на задах у серого приземистого здания Реформатской церкви, выходившей фасадом в Малый Трехсвятительский.

Родители так и поступили. Все четыре девочки вместе выходили из подъезда, вместе добирались — когда на конке, когда пешком — до Покровских ворот, а здесь расставались: старшие несли свои ранцы в Петропавловскую, младшие — в Реформатскую гимназии.

Когда Матильда и Оля вытянулись, обрели женственность и превратились в стройных и чинных девушек, их домохозяин, господин Амбар-Магомедов стал все чаще появляться у окон своего жилища, чтобы полюбоваться как четверка сестер Лоренс выбегала из подъезда и веселой стайкой летела мимо Богоявленского собора к Разгуляю. Замечено было, что особенное внимание господин Амбар-Магомедов оказывает Ольге. Это уже становилось предметом острот в семье. Ибо господин Амбар-Магомедов был толст, важен, медлителен и, как говорила прислуга, весьма скуповат и прижимист. Но и прислуга подтверждала, что золотоволосая, вся в мать, Ольга нравилась хозяину дома день ото дня все больше. Он и сам старался подчеркнуть это сердечными улыбками и низкими поклонами из окна, притом с неизменно прижатой к груди рукой...

От прислуги он узнал день Олиного рождения и ровно к ее 16-летию прислал с нарочным большую коробку конфет имениннице, присовокупив, что конфеты эти — не простые!

Оказалось, что в шоколад был заделан браслет с брелком у застежки, пара сережек, цепочка с бриллиантовым кулоном и перстенек с рубином.

Когда мама Агнесса за утренним чаем извлекла эти драгоценности из их шоколадной оболочки и убедилась, что больше никаких сюрпризов коробка не таит, господина Амбар-Магомедова вежливо пригласили в квартиру и просили забрать назад его роскошные дары, как явно не подобающие для

барышни-гимназистки.

Тогда господин Амбар-Магомедов стал в торжественную позу перед Ольгиной матерью (ибо отец уже успел уехать по делам, ухмыляясь в усы и предоставляя супруге самой требовать объяснений у странного поздравителя). Визитер застегнул на все пуговицы свой коричневый пиджак, прокашлялся и объявил матери, что давно ожидал именно этого дня и повода, чтобы юной русалке (он так и выразился) открылось его большое сердце. Это сердце принадлежит ей, русалке, а он желает взамен получить ее беленькую ручку.

— Прошу не сомневаться, мадам, что при моем состояния я сумею создать твоей дочери счастье!

— Но она так молода и не помышляет о замужестве! — Агнесса Лоренс с немалым трудом соблюдала серьезный тон. — Вы же, господин Амбар-Магомедов, вероятно не первый раз задумываетесь о женитьбе? У вас могли бы быть взрослые дети, ровесники моим дочерям?..

— Ну, был жена, был сын. Какая разница? Жену прогнал назад, к отцу, калым вернул... А сын — в Тебризе живет. Чем он мешает? Он свое получил.

— Вы — мусульмане?

— Да. Мусульманин. Шиит. Какая разница для вас, мадам?

— О, как же! Моя дочь — христианка — не захочет отказываться от своей веры.

— Зачем отказываться? Пусть ходит в свою церковь. Какая разница? Я позволю. Это — не против моего закона.

— А... если дети?

— Ну, дети, конечно, будут мусульмане... Какая разница? Закон такой! Но это же неважно, мадам! Важно что? Хорошую свадьбу справить, неделю пировать, танцы танцевать... Потом — Эривань едем, Тебриз едем, у меня там товар, и земля есть, и два дома... По дороге, в Тифлисе, родню мою навестим... Чего долгий разговор тянуть? Где твой дочь? Он не такой дура, чтобы свой счастье не понимать!

И тут в комнате появилась Ольга, подготовленная матерью к этому объяснению, потому что подарок в шоколадном камуфляже не оставлял сомнений насчет намерений поздравителя.

— Вот, Оля, господин Гуссейн Амбар-Магомедов оказывает тебе честь, предлагает руку и сердце. Дай сама ему ответ...

Именинница сделала армяно-персу столь кокетливый книксен, что у того увлажнились и очи, и губы, и даже чело. Он приложил руку с растопыренными пальцами к лацкану коричневого пиджака и выкатил глаза, чтобы отразить в них всю меру райского блаженства, какая ожидает избранницу.

Оля смиренно опустила свои зеленоватые девичьи очи.

— Я благодарна господину Амбар-Магомедову, нашему домохозяину, а сейчас нашему гостю, за честь... Но мое сердце уже не свободно! Я люблю другого и... имею его слово! Он будет ждать, пока я кончу гимназию. Мне, право, очень, очень жаль...

Армяно-перс стоял перед матерью и дочерью во весь рост как воплощение самоуверенности. Он не сразу смог и осознать афронтный ответ своей русалочки и все еще продолжал улыбаться. Потом его ноги, толстые, как телеграфные столбы, засунутые в брюки из ровной коричневой материи, медленно подогнулись, как-то дрогнули, и он стал опускаться в кресло. Плюхнулся он боком, мимо сидения, на скользкую ручку, чуть не споткнулся, и, обретя равновесие уже в сидячем положении, поднес к глазам руку с платком. Как бы прикрывая лицо от неслыханного позора, ничем не заслуженного, он еле выговорил трагическим басом:

— Похороните меня!.. Я... умэр!

Уходя, он сунул в карман коробочку, куда Олина мать сложила его подарки. В продолжении всего разговора эта коробочка лежала на самом виду, и он старался после каждой фразы придвигать коробочку поближе к собеседнице. Пряча коробочку, он тряхнул ею так яростно, что сережки и колечки звякнули.

Воротившись домой и выслушав всю историю, папа Лоренс все же счел за благо переехать на другую квартиру, тем более что договор с господином Амбар-Магомедовым скоро кончался. И семья переселилась ближе к обеим гимназиям, в Малый Трехсвятительский переулок на Покровском бульваре.

Совсем близко оттуда, в Яковлевском переулке, жил тот самый молодой человек, кому не нужно было прижимать пальцы к груди и выкатывать глаза на лоб, чтобы заставить Олю поверить ему! В свои 16 она в шутку обещала ему верность до гроба, в 19 надела на палец обручальное колечко с его именем, а через два года стала ему женой. Истомившая жениха проволочка с венчанием вызвана была, тяжелым Ольгиным дифтеритом, от которого она долго поправлялась на родительской дачке в Лосиноостровском.

Определилась и судьба остальных сестер.

Старшая, Тильда, обручилась в Москве с сыном голландского банкира и после недолгой переписки Юлия Карловича с родителями жениха, молодых обвенчали в московской Реформатской кирхе. Чета молодоженов сразу же уехала в Гаагу и с тех пор... ни сестры, ни мать, ни отец никогда не видели больше в лицо госпожу Матильду ван Донген. Отделил их друг от друга

тот неодолимый барьер, что спустя десятилетия получил столь выразительное и точное название: железный занавес.

В один год с Ольгой вышла замуж за военного инженера Санечку Тростникова и средняя барышня Лоренс, Соня. Вся родня сразу же нарекла эту чету «Санечкой и Сонечкой». А еще два года спустя испросил у родителей Лоренс руку младшей дочери Эммы ее гимназический учитель географии герр Густав Моргентау[15]. Сперва ученица влюбилась в темпераментного педагога — в женских гимназиях такое ученическое обожание отнюдь не редкость! — а тот, в свою очередь, приглядевшись поближе, вместо того чтобы ответить подобающей суровой отповедью, решил, что от добра добра не ищут...

Папа Лоренс, располневший в Москве до неузнаваемости, повесил в своем домашнем кабинете увеличенные портреты Матильды, Ольги, Сони и Эммы и назвал эту своеобразную картинную галерею «выставкой счастливых бесприданниц». Надо сказать, что тестя своего все четыре зятя искренне полюбили за добродушную веселость, коммерческую интуицию, обилие полезнейших знакомств, а главное, за полную готовность во всякое время суток праздновать любое событие или памятную дату, в каком угодно московском или загородном увеселительном заведении. Из-за своей необъятной толщины папа Лоренс, страстный театрал, занимал в ложах всегда два сидения, а когда ехал в театр вдвоем с женой Агнессой, то нанимал два экипажа — рядом с ним на сидении не угнездилась бы и Дюймовочка! Его появление в любом ресторанном зале пирующие встречали восторженно.

По всей Москве ходили о нем веселые и незлые анекдоты, например, как он засыпал на ходу во время прогулки и возвращался к супруге без трости и шляпы и как потом эти трофеи возвращали ему воры и оборванцы с Хитровки. Они чтили жившего по соседству барина за его всегдашнее сочувствие хитровским старожилам. Юлий Карлович называл их на волжский лад «зимогорами». Частенько целая кучка таких хитровских зимогоров поджидала его под утро в тихом Трехсвятительском переулке, и, когда Юлий Карлович вылезал из московской извозчичьей пролетки, чуть не заваливая ее на бок, встречающие зимогоры поддерживали его под локти, открывали парадную дверь и лишь горестными вздохами, весьма деликатно намекали на свою жажду опохмелиться.

Если барин не торопился лезть в карман, собравшиеся прибегали к последнему средству. Старший из них кланялся низко и с потупленной головой, зябко потирая руки, произносил трагический монолог, никогда не оставлявший барина Лоренса

равнодушным: — Синус-косинус, тангенс-котангенс, секанс-косеканс! Извольте, ваше благородие, пособолезновать на водку бывшим гимназистам!

И их благородие папа Лоренс неизменно соболезновал, хотя бы ему завтра не на что было взять извозчика.

Говорят, именно папа Лоренс придумал за столиком и подсказал редактору газеты «Московский листок» историю с московским китом. Некогда эта история наделала немало шуму! Желая досадить за что-то полицмейстеру Яузской части, Юлий Карлович уговорил редактора поместить в одном из апрельских номеров 1911 года сенсационное сообщение, будто в самый разгар ледохода по Москва-реке приплыл снизу огромный кит и... застрял под аркой Устинского моста, где, мол, любому желающему не возбраняется увидеть это чудо воочию. Обыватель, расхватав газету, густо повалил к реке и обоим Устьинским мостам, задав полиции столько хлопот, что вся Яузская часть оставалась на ногах полных двое суток. Редактора оштрафовали, но газета вдвое или втрое повысила апрельские тиражи, да еще сам редактор заработал какие-то деньги на сногсшибательных «китовых» пари...

Но уж недолго суждено было Юлию Карловичу веселить приятелей анекдотами, дегустировать устрицы и любоваться прелестной портретной галереей в кабинете!

Однажды, на бенефисе одной из своих многочисленных протеже в опереттe, папа Лоренс уже в ресторане, где он сидел как бы за посаженного отца, почувствовал, как сам успел выразиться, «третий звонок оттуда».

Домой, в Малый Трехсвятительский, он однако же воротился самостоятельно и без провожатых поднялся к себе на второй этаж. У матери в гостях оказались Соня и Ольга. Ни Агнесса Лоренс, ни дочери не обратили внимания на не совсем обычное, чуть угнетенное папино состояние, тем более что ароматы ликеров и парижских духов показались им вполне обычными... Заглянув попозднее в кабинет, Агнесса Лоренс нашла супруга на полу. Дочери закричали, засуетились, но было поздно! Он успел прошептать лишь несколько слов. Посетовал, что оставляет жену совсем без наличных, а дочерям наказал не поминать отца лихом...

Гости на его похоронах были столь же многолики, сколь и многочисленны. Преобладали в этой толпе черные фраки и несколько вычурные дамские шляпки. Проводить Юлия Лоренса почли священным долгом все свободные от смены лакеи и оркестранты из Славянского базара, Яра, Стрельны, Эрмитажа, трактирные половые от Тестева, Круглова и Мартьяныча,

танцовщицы и шансонетки многих кабаре, цыганских и румынских хоров, опереточных трупп. К могильному холмику на Введенских горах принесли немало бутафорских цветов из театрального реквизита и даже венок из пальмовых листьев, сохранивших устойчивый дух ресторанного никотина…

Самое удивительное, что эта любовь до гробовой доски вовсе не зависела от былой щедрости покойного — ведь после своего петербургского банкротства Юлий Карлович Лоренс от крупной коммерции отошел и никогда больше не мог свободно сорить деньгами.

Когда же Ольга тихонечко осведомилась у седого метрдотеля «Стрельны», кем же все были оповещены и почему никто не поленился прийти, тот смахнул слезу и пробормотал:

— Кем оповещены? До по всей Москве сразу разнеслось! Осиротели мы без него. Самый веселый барин был!

Госпожа Ольга Юльевна Вальдек отдыхала на Кавказе.

Из-за перенесенного перед замужеством дифтерита с осложнениями, врачи не советовали ей кормить детей грудью, и свою дочь Вику[16] она передала кормилице через две недели после родов. Но первенца, маленького Рональда, она выкормила сама… Последствия не замедлили сказаться: ее острейший, тонкий как у лесного зверя слух вдруг словно затупился и приослаб. Врачи пояснили, что к сожалению их предсказание сбывается. Ей посоветовали ванны в Железноводске, воды Кисловодска и морские купания в Новом Афоне. Поручив шестилетнего Роника и полуторагодовалую Вику заботам папы, няни и бывшей кормилицы, молодая, мама одна уехала на кавказские воды и уже три недели усердно их пила, в них купалась и про них писала мужу веселые письма. О грозовых тучах, густевших на горизонтах Европы после Сараевского убийства 15 июня, она не слишком заботилась. Даже вести об австрийском ультиматуме Сербии, а затем — об артиллерийском обстреле Белграда не очень испугали курортных собеседников Ольги Юльевны — общество еще не верило, не хотело понимать, что все это — начало страшной войны, преступной по своим целям и роковой по своим последствиям. Готовились к ней исподволь европейские дипломаты и военные — для огромного большинства непосвященных она была неожиданностью. В особенности для людей русских.

Про всеобщую мобилизацию в России кисловодское общество узнало к вечеру 16 июля.

Сосед по столу в Ольгином пансионе, пожилой военный инженер, осторожно объяснил Ольге Юльевне, что супруг ее, как

офицер запаса по всей вероятности уже находится в воинской части или же на пути к ней.

У Ольги похолодели руки и ноги, но ум ее никак не хотел мириться с тем, что впереди — долгая разлука, а может, и кровь, и вдовство, и беззащитность в целом мире...

19 июля было ясным. Утреннее солнце обласкало каждый камень и каждое дерево на улице. Горы голубели. На отрогах Бештау каждая плешинка — след давнишнего обвала или оползня, — чудилась манящей лужайкой и хотелось поскорее туда забраться зелеными каменистыми тропами. В пансионе стояла такая мирная тишина, что Ольга поднялась из постели с легким сердцем и вчерашние страхи показались преувеличенными.

Ей сегодня назначена была ранняя ванна, потом процедуры у ларинголога. Этим процедурам подвергала ее пожилая медичка-немка, добродушная, веселая и очень ловкая с новой электрической аппаратурой. Ее звали госпожа Таубе, училась она в Германии и русский доктор Попов подтрунивал над ее педантизмом. За глаза же называл ее золотой помощницей и своей правой рукой.

Процедуры она в этот раз вела с обычной аккуратностью, но без шуточек и болтовни. Прятала лицо, отворачивалась и дольше обыкновенного возилась за перегородкой с приборами.

— Я вижу, вы очень озабочены сегодня, — сказала Ольга. — Может все еще и не так плохо, ист нихт зо шлимм... Не могу поверить, чтобы кто-то в мире хотел кровопролитием добиваться своих целей, как разбойник на большой дороге. Неужели наш царь и немецкий ваш кайзер не могут все решить между собой мирно и опять отпустить по домам всех, кого вчера взяли от жен и матерей? Я не могу поверить в близость столь ужасной войны, фрау Таубе!

Немка вышла из-за перегородки.

— Разве вы, фрау Вальдек, жена русского офицера, не знаете, что война уже объявлена? Доктор Попов сказал, что я буду наверное скоро интернирована, ведь у меня — немецкий паспорт...

В пансионе Ольге вручили телеграмму:

«Призван. Следую через Москву в часть. Остановился с детьми у Стольниковых. Немедленно приезжай проститься».

На Кисловодском вокзале была давка и неразбериха, поэтому Ольга села в дачный поезд на Минеральные Воды, надеясь там быстрее взять билет до Москвы. Но и на станции Минеральные Воды, обычно тихой и провинциальной, днем 19 июля творилось нечто небывалое.

В течение двух ужасных часов она наблюдала на платформе под знакомым навесом такие сцены, какие еще накануне были просто немыслимы. Обезумевшие, растрепанные, сразу потерявшие привлекательность молодые женщины и седовласые старухи рвались к вагонам, а мужчины, еще вчера щеголявшие джентльменством и куртуазностью, беспощадно их отталкивали, пихали, чуть не душили, штурмуя вагонные дверцы. Вопили испуганные дети в нарядных костюмчиках. Сквозь зеркальные окна международного вагона Ольга могла видеть, как плотный восточный человек в белом офицерском кителе без погон, уперся локтями и спиной в полураскрытую дверь купе и, держа в каждой руке по револьверу, грозил наседающим: застрелу-у-у!

Ольга поняла: ни из Минеральных, ни из Кисловодска, где прицепляют два-три прямых вагона к московскому поезду, ей не выехать. Но ведь это значит не увидеть мужа перед отправкой на фронт! Перед такой-то разлукой! Как же отсюда вырваться, — и непременно еще сегодня! — если толпа час от часу свирепеет? Все новые толпы пассажиров приливали к платформе под навесом, грозя затопить ее, будто река в половодье...[17]

В Минеральных Водах госпожа Вальдек была совсем одинока, не имела знакомых, рассчитывать здесь было не на кого. Ей не осталось ничего другого, как воротиться в Кисловодск и посоветоваться со знакомыми в пансионе. Усталая, присела она на скамью в садике против чужой гостиницы, перечитала телеграмму и заплакала: никому и здесь нет до нее никакого дела! К властям военным нечего и обращаться: что для них отчаяние какой-то дамы с курорта!

И тут, сквозь шорох листвы в садике до ее чуть ослабленного слуха явственно дошла чья-то речь по-соседству... Кто-то произнес слова: «купе в международном до Петербурга... поезд курьерский... нынче вечером...»

Она даже усомнилась, правда ли были произнесены сейчас эти наинужнейшие слова, или просто ей почудилось, показалось.

...Рядом, в открытой беседке сидел в одиночестве гвардейский полковник. А через перила беседки передавал ему что-то из рук в руки станционный жандарм. Он-то и произнес слова о поезде и купе.

Ольга обернулась к ним в ту минуту, когда офицер сунул в карман кителя только что полученные билеты. Жандарм откозырял и зашагал прочь. Ну, помоги, Господи!

Офицер поднялся и уже направился было к подъезду гостиницы, как Ольга Юльевна нагнала его и заговорила умоляюще:

— Благоволите уделить мне несколько минут, господин

полковник! Умоляю вас о помощи!

Замедлив шаг, но и колеблясь недоуменно, следует ли принять всерьез это заплаканное лицо незнакомой курортной дамы, полковник смотрел недоверчиво и холодно. Он явно не был склонен полюбезничать

— Как изволите видеть, сударыня, я — солдат, и собою, следовательно, распоряжаться не волен. О чем вам угодно просить меня?

— Я — жена офицера... Вот его телеграмма... Если я правильно поняла, вы нынче уезжаете отсюда, кажется в Петербург... У вас купе... Бога ради, возьмите меня с собой! До Москвы! Если вы едете с супругой — я готова всю ночь просидеть в коридоре, у проводников, стоять хоть на площадке, где только мыслимо, лишь бы не помешать вам, а самой поспеть проститься с мужем... Если вы — один, может, смогу сойти за вашу родственницу, и тоже позабочусь, чтобы не помешать вам... Пусть меня сочтут, скажем, за сестру вашей жены...

— Я не женат, сударыня, и следую один. Согласитесь, что ехать в моем купе вам невозможно.

Они дошли до подъезда. На пороге швейцар почтительно поклонился этому постояльцу. Теперь швейцар, человек посторонний, мог слышать продолжение беседы, и полковник торопился закончить ее. Ольга Юльевна, страшась упустить спасительный шанс, перешла на французский:

— О, пардон, месье ле колонель! Деван ле жен[18]! — она скосила глаза на швейцара. — Я верю, что вы — человек долга и чести! Поверьте же и вы мне!.. Мы с мужем от всего сердца будем всю жизнь Бога за вас молить!

Что-то смягчилось в его взгляде. Эта курортная незнакомка неуловимо напомнила ему одну ушедшую. Мольба ее казалась искренней. Как же быть с нею?

— Извольте пройти сюда, в эту комнату для ожидания, здесь можете говорить свободно и по-русски... Разрешите осведомиться, кто вы, сударыня?

— Жена призванного из запаса инженера Вальдека. Если вы знакомы с петербургскими моряками, может быть, слышали о контр-адмирале Юлленштедте, бывшем командире балтийской эскадры, теперь в отставке...

— Не только слышал о Николае Александровиче, но и знаком с ним, и с братом его, Георгием Александровичем, профессором Военно-морской академии... Почему вам угодно было вспомнить сейчас этих моряков?

— Потому что это мои родные дяди по материнской линии, старые петербуржцы, как и сама я. А мы с мужем живем сейчас в

Иваново-Вознесенске. И должны увидеться в Москве перед разлукой. Муж отправляется в действующую армию... У меня в запасе — считанные часы, а не дни.

— Поклянитесь мне, что вы — действительно та, кем назвались и что других намерений у вас нет!

— Боже мой! Да какие же могут быть у меня «другие намерения»? Клянусь вам жизнью мужа и детей моих — я ни в чем не кривлю душой перед вами!

— Разрешите и мне представиться: командир лейб-гвардии императрицы Марии Федоровны гусарского полка Николай Александрович Стрелецкий. Извольте. Я готов помочь вам...

Теперь, обрадованная, Ольга Юльевна сдержала слезы (мужчины их не очень любят!), и пока он обдумывал как действовать, смогла хорошенько рассмотреть полковника Стрелецкого. И поняла, что даже в крайних обстоятельствах не смогла бы рискнуть обратиться к нему с просьбой, если бы заранее видела ближе его лицо. Потому что преобладало в нем выражение холодной непреклонности. И лишь в самой глубине презрительно-властного взора таилась горечь, нечто уязвимое, некая ахиллесова пята. Ольге припомнился толстовский князь Андрей.

— Успеете ли вы, сударыня, приготовиться к шести часам?

— О, разумеется.

— Тогда ожидайте моего посыльного с коляской. Где ваш пансион?

Ольга Юльевна все объяснила. Стрелецкий договорил:

— По дороге на вокзал вам придется подобрать и меня, здесь. Адъютанта своего я отправил нынче утром, денщик с кучером пока остаются здесь. Нам с вами предстоит путешествовать вдвоем. Будем надеяться, что вам по дороге не встретятся знакомые с недоуменными вопросами. Перед поездной прислугой вас, вероятно, придется выдать за мою жену, если вам угодно. Попытаюсь, быть может, составить партию в вист где-нибудь в соседних купе или поищу иной предлог не стеснить вас в дороге. До свидания!

И хотя вокруг вечернего поезда в Кисловодске страсти бушевали еще отчаяннее, чем утром, в Минеральных Водах, спутник Ольги Юльевны очень спокойно, без видимых усилий устроил все так, что никто и не пытался претендовать на их места. В сопровождении того же станционного жандарма, что приносил билеты, двух диких носильщиков и еще одного унтер-офицера, послужившего посыльным при экипаже, мнимые супруги были беспрепятственно усажены в двухместное купе международного вагона. Отослав провожатых, полковник

Стрелецкий опустил штору, сдвинул портьерки, запер дверь, чтобы не ломились, и предложил спутнице по ее усмотрению распоряжаться в этой комфортабельной лакированной коробочке. К услугам двух пассажиров здесь имелся довольно просторный диван и еще одно подвесное ложе повыше, под углом к дивану. Пока Ольга осматривала и развешивала вещи, спутник углубился в военные сводки.

Вагон уже качался и уплывал в темноту, как лоенгриновский лебедь. Ольга Юльевна умылась и приготовила чай. Робея, пригласила она полковника сесть поближе к накрытому столику, и когда он поднял на нее глаза, всякая робость ее прошла. Была в них непоправленная курортом усталость, было нерадостное предчувствие судеб общих и, пожалуй, доля участия в судьбе спутницы. Он похвалил и чай, и снедь, обнадежил Ольгу Юльевну, что, мол, она вовремя поспеет в Москву и даже взялся сам отправить мужу телеграмму по адресу банкира Стольникова в Введенском переулке.

И когда телеграмма была отправлена с какой-то маленькой станции, полковник Стрелецкий не вернулся более в купе, оставив Ольгу Юльевну в одиночестве. Она было прилегла, постелив себе наверху, но боялась заснуть, не оттого, что сомневалась в рыцарстве спутника, а напротив, не желая, чтобы из-за своей отзывчивости к ней он терпел неудобства в дальней дороге. В купе слабо горел ночник, вагонная шторка неплотно прикрывала окно, и там, снаружи, в июльском мраке, время от времени протягивались вдоль поезда огненные трассы искр, летящих из паровозной трубы. Ей припомнилось, как полковник сравнивал эти огненные полосы с немецкими пулями, будто бы светящимися налету... Теперь ее милый Лелик, равно как и полковник Стрелецкий, ехали навстречу этим огненным пулям...

Глухой ночью Ольга на босу ногу влезла в туфли, накинула пальто поверх ночного платья и вышла в коридор искать полковника.

Увидела его на откидном стульчике в самом конце коридора: партию в вист составить не удалось!

Еле-еле уговорила она Стрелецкого воротиться в купе. Он шутливо посетовал насчет первой в его жизни семейной сцены, но пришел, когда она уже снова успела забраться на свое подвесное ложе и даже притвориться спящей.

Ей было слышно, как он осторожно стаскивал сапоги, звякая шпорами, укладывался, гасил ночник. Днем он говорил, что оставил в Кисловодске денщика и кучера грузить в особый вагон свой конный выезд — четверку лошадей и коляску... Господи, сколько хлопот с этой негаданной войной!

Теперь не удавалось заснуть ей. А он, кажется, затих сразу...

Жалобно пели, странно постанывали и повизгивали тормоза при замедлениях, волновала неизвестность ближайшего будущего, нервы еще не успокоились после предотъездных тревог. Казалось, отекли руки, и обручальное кольцо больно режет палец.

За окном беззвучно пролетали искорки-пули. На потолке двигались полоски света и тени от сигнальных огней на полустанках; ныли и ныли тормоза, и вторя вагонным колесам, тихонько позвякивали на полу плюры полковника Стрелецкого. Сам же он, видимо, спал крепко и совсем, значит, о ней и не думал... Тянуло заплакать.

И лишь когда щелка между оконными портьерками из черной стала бесцветно-серой, когда на стенном крючке проявился очерк чужого кителя, похожего на Леликов, Ольга вдруг поверила, что и правда они с Леликом уже через сутки встретятся, и поцелуются, и останутся наедине, и что произойдет это все благодаря молчаливому, сдержанному, даже как будто чуть-чуть слишком идеальному полковнику Стрелецкому.

Так она незаметно задремала и проснулась уже под Харьковом, при свете погожего дня 20 июля. Опять она оказалась в купе одна — Стрелецкий давно сидел с газетами в вагоне-ресторане.

А поздним вечером, где-то в Курской губернии, где у него была, как он выразился, усадебка маленькая, десятин в девяноста, они наконец разговорились по душам и просидели за полночь. Невеста Стрелецкого умерла от чахотки, он достал фотографию и оказалось, что у покойницы и впрямь было общее с Ольгой Вальдек.

Говорили о судьбах людских и о войне. Ольгин собеседник, человек, близкий к высшим кругам Петербурга, судил усатого кайзера и его генералов не с той ненавистью, как это делали армейские офицеры, а скорее с горечью и недоумением. Он дал почувствовать собеседнице, насколько трудна для крестьянской страны России война против могущественной промышленной державы. Мимоходом осведомился, помнит ли Ольга Юльевна события девятилетней давности в Москве, после неудачной войны с японцами... Она уловила намек, что пушки и цеппелины Вильгельма могут вызвать в нашем народе потрясения более грозные, чем 1905 год, если российские армии дрогнули бы на германском фронте. Углубляться в эти рассуждения с женой незнакомого офицера Стрелецкий не стал, присовокупив, что ныне для каждого патриота России главное — выполнять свой воинский долг. Дескать, «делай как надо, и будь, что будет».

Ольге Юльевне тоже был непривычен разговор с

малознакомым человеком о материях политических, и она постаралась перевести его на материи попроще. Напомнила ему о долге семейном. Тот лишь головой качнул — мол, все это для меня уже в прошлом.

— Вы лучше латинскую поговорку вспомните, — настаивала Ольга Юльевна. — Римляне говорили: «охочего судьба ведет, неохочего — тащит». Значит, лучше уж сознательно выбрать судьбу, чем случайно угодить под неизбежный женский магнит. Ведь утащит — Бог весть куда!

— То, что вы, сударыня, разумеете под магнитом, — серьезно отвечал Стрелецкий, — есть не истинная любовь, какая даруется человеку один или два раза в жизни, а легкая страстишка, притягательная только для легких, вернее легковесных душ. Металлы же благородные такому магнетизму, думается, не подвержены. Не в этом ли убеждает и наше приятное путешествие, увы, уже близкое к концу. Утром — Москва...

При этих словах он слегка наклонился и многозначительно поцеловал ей руку с золотым обручальным колечком на безымянном пальце.

* * *

Перед полуднем 21 июля на перроне Курского вокзала. Алексей Александрович Вальдек с маленьким Ронечкой встречали кавказский скорый.

Мимо встречающих прошел, вздыхая, запыленный зеленый паровоз-сормовец, и мальчику почудилось, что паровоз не катит вдоль перрона, а шагает, устало передвигая свои длинные красные рычаги.

Пропустив тендер и багажный вагон, папа с сыном издали различили желтый международный, среди красных спальных первого класса, синих — второго и зеленых третьеклассных. Пришлось пуститься к вагону бегом. Папа и сын на бегу придерживали свои сабли: папа — длинную, офицерскую, сын — короткую, вчера подаренную, на ременной настоящей портупее.

Они поспели к международному, когда с его площадки уже сходила ослепительно красивая мама в большой шляпе. Маму слегка поддерживал под локоть чужой полковник в безупречно белом кителе и с фуражкой в другой руке.

Мама сначала познакомила папу с этим полковником и лишь потом расцеловала сына. Взрослые, как всегда, страшно долго разговаривали и чему-то смеялись, пока это им самим не надоело. Тогда полковник вернулся в свое купе, а папа, мама и Роник поехали на извозчике к Стольниковым, в Введенский.

День этот начинался для Рони очень интересно. Потому что рано утром, сразу после завтрака с тетей и кузенами, перед тем, как ехать на вокзал встречать маму, Роня с папой успели побывать на Чистопрудном бульваре и осмотреть панораму «Бородинская битва». Папа давно обещал показать Роне эту панораму и наконец-то выбрал для этого утренний час. Панорама помещалась в деревянном балагане на бульваре. Пустили их туда сразу, и народу внутри было немного...

То, что Роня здесь увидел, вообще не шло в сравнение ни с чем, ранее виденным в иллюзионах, на картинках, в театре или в музеях. Шла здесь, в этом круглом балагане на Чистых Прудах, беззвучная, но настоящая война. Всю ее можно было охватить одним взглядом, сразу, а уж потом присматриваться к каждому предмету или воину в одиночку.

Здесь сражались, бились, стреляли тысячи людей под ясным осенним небом. Люди были беспощадны друг к другу, и именно в этом дощатом балагане с панорамой на холсте Роня понял, что «взрослая» война совсем другая, чем у мальчишек...

Валялась у разбитой пушки мертвая всамделишная лошадь с оскаленной мордой. Рядом лежал наш, российский солдат с землисто-серым лицом, обвязанным тряпкой. Горели деревенские домики, палили пушки, и прямо у ног посетителей раскидано было множество страшнущих предметов — оторванные руки и ноги, окровавленные повязки, сломанные ружья, и поодаль — еще несколько человеческих недвижных фигур в пугающих, неестественных позах.

Мальчику очень хотелось спросить у папы, по дороге на Курский, предстоит ли ему ехать на такую же войну или может, нынешняя полегче, но он и сам догадывался, что, верно, именно на такую, а потому и спросить поостерегся...

Потом, встретивши маму, ужинали за общим столом у Стольниковых, вместе с двоюродными братьями — старшим Володей, будущий прапорщиком Сашей, спортсменом Жоржем и младшим — Максом, который был ровно на год старше своего кузена Рони. Кстати, ужинов этих стольниковских Роня не любил. Двоюродные братцы, московские острословы и баловни, не прочь бывали подразнить провинциального кузена из Иваново-Вознесенска. Да и было им чем прихвастнуть перед небогатым родственником!

Один — Володя — умел отлично фотографировать и даже выставлял свои работы в каком-то салоне. Другой — Жорж — был призовым гонщиком на любых мотоциклетах и первоклассным игроком в теннис. Третий — Саша — щеголял военной формой и выправкой. Младший — Макс — прекрасно учился и владел

самыми замысловатыми заграничными игрушками, вроде военного корабля, который сам на воде разворачивался по команде, а выполнив полный разворот стрелял из кормовой пушки, с дымом и пламенем.

Впрочем, в этот день и Роня получил от папы «морской» подарок: целую флотилию корабликов с намагниченными носами. Их пускали в ванной и можно было менять их курс с помощью маленького магнита.

Вечером, при купании, Ронька был на седьмом небе от счастья.

Кораблики плавали в бурных водах, обтекали струю из-под кранов, были послушны магниту и точно лавировали между мыльницей, градусником и мочалкой. Мама сама мылила Роньку, а папа сидел тут же в ванной и слушал мамин рассказ про то, как ей удалось приехать с Кавказа так быстро… Ведь папа-то уезжал уже послезавтра! Опоздай она на сутки — и встречи у Стольниковых могло бы и не быть!

Потом Роньку завернули в мохнатую простыню, и папа сам перенес его в прохладную кроватку. Роня взял с собой конечно и магнит от новой игры и один из корабликов, кроме всегдашнего, обязательного белого зайца Бяськи, уже чуть не до плешин протертого в Ронькиных объятиях и поэтому особенно любимого.

Утречком Роня проснулся чуть раньше папы и мамы, спавших здесь, в гостях, на широченной турецкой оттоманке, по соседству с Ронькиной кроваткой. Он сперва поиграл магнитом и корабликом, потом разглядел на ночном столике около родителей их обручальные кольца, снятые перед сном.

Мальчик попробовал притянуть магнитом эти кольца — но они не поддавались. Папа с мамой проснулись и наблюдали за занятиями сына.

— Почему ваши кольца не тянутся к магниту? — поинтересовался сын.

— Потому что они из благородного металла, — сказала мама наставительно. — Благородные же металлы никакому магнетизму не подвержены… Правда, милый? — повернулась она к папе, и папа засмеялся и поцеловал жену.

* * *

Дальше случилось так, что провожать папу на войну пришлось не сразу — его уложенный чемодан еще несколько суток простоял в прихожей у Стольниковых. Причина тому была печальна, но об этом — чуть позже. Однако, самый папин отъезд и прощание стали символичные в Рониной судьбе.

Со Стольниковыми расстались сердечно, конца не было поцелуям и объятиям. В стольниковском доме нежностей вообще-то не любили, но тут, на этих проводах, «оттаял» даже суровый Павел Васильевич. Отсутствовал лишь студент, вольноопределяющийся Саша. Его призвали на учебные военные сборы, чтобы выпустить, как полагалось, прапорщиком запаса, однако теперь, по обстоятельствам военного времени, выпуск предстоял уже не в запас, а прямо в действующую армию. Дальновидный Павел Васильевич уже принимал меры к Сашиному будущему устройству.

Стольниковская английская коляска понесла затем папу, маму Роню и Вику не прямо на вокзал, а сначала в дачную местность Кунцево. Василий-кучер промчал седоков мимо Филей с их стройной красно-белой церковью Покрова, отраженной в зеленоватых водах небольшого пруда в бывших нарышкинских владениях. Мама глянула на это отражение затейливого храма и сказала: «Какая прелесть!»

Папа изредка украдкой поглядывал на часы — в пять вечера поезд его уходил с Александровского вокзала на запад... У мамы под глазами лежали синеватые тени, а глаза то и дело туманились.

Папа велел остановить коляску у входа в старинный смирновский или, по-другому, солдатенковский парк. Его высокие деревья вольно разрослись на возвышенности между селами Крылатским и Кунцевом. Внизу, под крутым песчаным обрывом обозначилась чистою синевою река Москва. И за этой речной излучиной сияли вдали купола кремлевских соборов и колоколен, золотело могучее пятиглавие Храма Христа Спасителя, возносились башенные шатры и верха монастырских стен Новодевичьей обители, фабричные трубы, большие новые дома. Угадывались силуэты остроконечных шпилей лютеранской кирхи и католического костела, легко распознавалась новая телефонная станция в Милютинском, похожая на спичечную коробочку. Ближе стлалась чересполосица огородов в присельях, а среди березовых рощиц, садовых лип и цветников уютно прятались дачи. По горизонту, уже в городской дымке, темнели дальние сосновые леса. Никогда еще Роня так не ощущал огромности Москвы.

Отец довел их до самой кромки приречного откоса, и по утоптанной тропе они все чуть-чуть спустились к площадке под деревом-исполином. Такое дерево Роня видел впервые.

Это был раскидистый каменный дуб в четыре охвата. Папа очень серьезно объяснил, что его университетский профессор Климент Аркадьевич Тимирязев определил возраст этого дуба в

тысячу двести лет. Так вот куда, оказывается, привез папа своих близких проститься!

Они недолго посидели под кроной дерева, полюбовались на Москву в полуденных августовских лучах. Роня задирал голову к зеленому куполу кроны и голубому зениту. Он приметил, что глаза отца — одинакового оттенка с московским небом, а глаза мамины ближе к цвету древесной листвы, пронизанной светом. Мать все порывалась увести беседу на домашнее, семейное, грустное... Но Роня мешал матери, он был слишком захвачен красотою Москвы, привольем, а главное, так сильно ощутимым здесь веянием крыльев таинственной Музы Истории.

Отец улыбался матери, держал ее руку в своей, но обращался больше к Роне и, кажется, был им доволен. Он старался открыть сыну, что такое тысяча двести лет. И Роня чувствовал, будто приоткрывается ему глубочайшая пропасть, где струится во мгле река времени.

Кунцевский дуб зеленел здесь, чуть ниже кромки приречного холма, когда еще и не зарождалось государство Киевская Русь. Ведь считается, что России исполнилось десять с половиной веков (хотя есть города и постарше, Новгород, к примеру). Дереву же на кунцевском откосе — полных двенадцать!

Значит, когда Юрий Долгорукий посылал сына, Андрея Боголюбского, строить дубовую крепость на лесистом кремлевском холме при впадении рек Яузы и Неглинной в Москва-реку, верстах в двенадцати отсюда, этот несрубленный, уцелевший тогда дуб был уже старым, четырехсотлетним великаном. А потом он видел и татар, и поляков, и французов, помнит Пушкина и Тургенева, уцелел в пожаре Москвы при Наполеоне, должен теперь выстоять еще одну жестокую войну...

Жители к нему привыкли, крестьянские девушки водят здесь хороводы и гадают о суженом, старики же рассказывают страшные истории про этот парковый холм с дубом-великаном.

Потому что это вовсе и не природный холм, а насыпное городище древних финских язычников. Они жили здесь за тысячи лет до прихода славян-вятичей и их соседей — кривичей. Городище над Москвою-рекой в Кунцевском парке — самая старая крепость во всем ближнем Подмосковье. Финские языческие племена насыпали его четыре тысячелетия назад, в те времена, когда египтяне на Ниле возводили свои пирамиды и высекали лики сфинксов.

На самом же верху городища некогда пробилась холодная ключевая струя, и построили там по чьему-то обету небольшую церковь с колоколенкой- звонницей, для освящения родниковой воды. Только дела здешнего причта оказались темными,

грешными. Постигла этих греховных служителей кара: провалилась церковь со всем причтом в самую глубь холма; под землю ушла! Доселе, если ночью приложить ухо к земле — услышишь глухой звон погребенного колокола: это грешники молят о опасении душ своих...

Роня сейчас же попробовал вслушаться, но различил только слабый шум листвы и звуки городских окраин.

— Днем-то не услышишь, — сказал на обратном пути Василий-кучер. — А в полночь — беспременно разберешь, что звонят снизу. У нас Даша, горничная, ездила сюда летось трамваем. Чуть со страху не обмерла, как прислушалась...

Папа отвечал шутливо, в уступку маминой сухой трезвенности и несклонности к фантастическому и таинственному. Она была смолоду чужда всякой мистике. Но чего папа и не подозревал, так это Рониной склонности к необъяснимому, мистическому. Сколько новых ночных теней привели эти папины рассказы в Ронину спальню! Однако, не этим стал для Рони символическим и судьбоносным нынешний кунцевский полдень!

Именно в этот час, когда под тысячелетним московским дубом прощалась семья с отъезжавшим на войну отцом, проснулось в мальчике чувство щемящей, болезненно сладкой любви к Москве, к России, сознание сыновности...

И он примирился даже с папиным отъездом, понимая, что отец едет спасать отчизну от подступившей беды.

Глава третья. ОТЧИЙ ДОМ

Первой жертвой войны среда близких маленького Рональда стала его бабушка, Агнесса Лоренс.

Мальчика привезли к ней на дачу в Лосиноостровское перед самым папиным отъездом в действующую армию. Именно по дальнейшим печальным обстоятельствам и был отложен на трое суток отъезд поручика Вальдека.

…Вечером, когда ничто еще не предвещало близкого бедственного события, бабушкины гости ужинали на дачной террасе под старой люстрой, случайно уцелевшей от петербургской лоренсовской мебели.

Прощальный семейный ужин бабушка Агнесса устраивала в честь отъезжающих на войну зятьев-офицеров: Олиного Лелика и Сониного Санечки Тростникова[19].

На проводы приехала из московской казенной квартиры — в Дегтярном, близ Курского, — младшая Ронина тетка Эмма со своим веселым, всегда оживленным брюнетом-мужем Густавом Моргентау. Как гимназический учитель, к тому же негодный к строевой службе по близорукости и астигматизму, он призыву не подлежал и испытывал чувство неловкости перед расстающимися.

За стол посадили и детей: Роника и Вику — под присмотром суровой бонны фрейлейн Берты; долговязую и озорную Сонину дочку Валю и даже годовалую Адочку Моргентау. Мама Эмма держала свою девочку на коленях, оберегая от ее хватких пальчиков тарелку и участок туго накрахмаленной скатерти.

Недоставало за столом только старшей, Матильды, но и та недавно писала матери с модного бельгийского курорта. Письмо это было о парусных яхтах разного фасона, об экстравагантных нарядах, выездных лошадях, пикниках и прочих радостях Матильдиного беззаботного, бездетного, нерусского супружества. Однако и это надушенное дамское письмо шло из Бельгии в Россию что-то необычно долго — может, и его путь уже пересекся где-то с кромками маршрутов маневрирующих армий на европейском театре войны?

Разговор за столом показался Ронику не особенно содержательным. Сам он, по дороге к бабушке, только что пережил массу интересного и готов был поговорить об этом даже со взрослыми, хотя они обычно лишь притворяются, будто им интересно слушать маленьких.

Поделиться хотелось очень важными впечатлениями. Когда он приехал с родителями в Лосинку от Стольниковых, два часа назад, на перроне стояла группа нарядно одетых дачников —

дамы в широкополых шляпах и господа в котелках, канотье и летних костюмах, а чуть поодаль от этих господ маячило несколько жандармских чинов и штатских личностей, подозрительно взиравших на собравшихся. Оказывается, ждали царского поезда. Среди дачников была и тетя Соня с дочкой Валей. Роня стал просить папу и маму, чтобы и они остались встречать поезд, но фрейлейн Берта с маленькой Викой на руках побоялась одна идти к бабушкиной даче, и Роню оставили на станции под присмотром тети Сони.

Как только родители удалились, появился и поезд. Он шел к Москве. И хотя двигался он мимо перрона довольно медленно, Роня не успел пересчитать вагоны, потому что вглядывался в каждое зеркальное окно, чтобы узнать царя. У Рони уже зарябило в глазах от мелькания этих плывущих мимо вагонных окон с поднятыми и опущенными шторами, как вдруг в одном окне возникло как негаданно-нежданное видение лицо очень красивого мальчика-подростка. Роня отчетливо разглядел нежную линию шеи, вырез отложного воротничка матроски, а позади — женскую фигуру вполоборота и смутно белеющее худое лицо под высокой прической. В толпе на перроне закричали, замахали букетами. Роня, провожая взглядом цесаревича, упустил из виду следующее окно, и когда тетя Соня дернула его за руку, он различил только плечо белого кителя с офицерским погоном и русую бородку в облачке папиросного дыма.

Когда поезд миновал стрелки, в толпе все еще крестились, а станционный жандарм в мундире со шнурами так и застыл навытяжку, не опуская руки от козырька фуражки...

Разумеется, можно бы поговорить и про войну, но, вопреки Рониным ожиданиям оба отбывающих офицера толковали не об аэропланах «Таубе», не о подводных лодках, а о том, что и так ясно без лишних слов. Дескать, Вальдеки ли, Моргентау или Тростниковы — все одинаково чувствуют себя в опасный для отечества момент людьми русскими. Все, мол, коренные москвичи, всем дорог родной русский язык и народ-страдалец. Только вот служить отечеству каждому приходится по-разному: кто едет к войскам в готовности пролить кровь на полях славы, кто впрягается в военно-тыловую лямку, а кого война будто и не коснулась пока.

Роник заметил, однако, что бабушкина горничная Мавра, меняя тарелки и прислушиваясь к застольным разговорам, как-то насмешливо поджала старческие губы, будто не очень-то признавая свое единокровное родство с лютеранскими семействами Моргентау или Вальдек. Да и Ронина бонна фрейлейн Берта тоже как-то все больше глядела в сторону,

вздыхала и отмалчивалась. Поддержать патриотическое застолье она уж никак не могла: русский она понимала лишь настолько, сколько успела перенять у своего подопечного Роника. Родом она была из курляндских немцев, а в Москве ничего, кроме Петропавловской кирхи, покамест еще не видела.

Еще один застольный эпизод показался Ронику немного странным и не совсем понятным.

Дядя Саня Тростников в офицерской форме с погонами прапорщика поднял бокал, протянул его папе и провозгласил с деланной серьезностью:

— Ну, Лелик, за веру, царя и отечество!

Смотрел же он при этом с некоторой скрытой шутливостью. Папа ответил таким же скрыто веселым взглядом, и два офицерских рукава — один с красной, другой — с зеленой окантовкой, сблизились, два офицерских взора встретились и обменялись будто тайными улыбками.

Мальчик глянул на дядю Густава — а тот и вовсе улыбался открыто иронически. Зато тетя Соня, мама и бабушка, бледнея от волнения, встали со своих мест друг против друга, чокнулись с серьезными лицами и в один голос сказали что-то вроде: Господи, наших-то спаси и сохрани! И тут-то потеплело и маврино лицо.

Сразу после фруктового мороженого та же фрейлейн Берта повела старших детей умываться и укладываться в маленькой гостиной, превращенной в детскую. Роня как обычно повиновался безропотно, его двоюродная сестричка и ровесница Валя — с капризами и хныканьем. Самых маленьких девочек — Вику Вальдек и Адочку Моргентау где-то уже баюкали их мамы и папы. Фрейлейн Берта проследила, чтобы перед сном Роник прочитал по-немецки «Фатер унзер» («Отче наш») и стишок «Их бин клайн, майн херц ист райн, ниманд воонт дарин алс готт аллайн»[20], принесла в комнату маленькую лампу с жестяным щитком, прикрутила в ней фитиль, сказала старшим детям «гуте нахт!»[21] и оставила их одних.

Роник мирно повернулся на бок, а его предприимчивая кузина Валя немедленно пустилась в похождения: выскользнула из постели, прокралась в коридор, оттуда — в одной рубашке — на задний двор дачи. Там она постаралась всполошить давно спавших хозяйских кур. Воротясь из своей экспедиции, она нахвасталась Роне, что куры раскудахтались и разлетелись по всему двору и теперь обозленная дачевладелица непременно должна прибежать к бабушке с жалобой. Посему Валя поторопилась задуть робкий огонек в лампе и спрятаться под одеялом.

Мальчика эта история растревожила. С открытыми во тьму

глазами он все ждал причитаний хозяйки, женщины пухлой и доброй, днем поившей Роню и Валю липовым чаем. Да и жаль было перепуганных кур, клевавших зерна из Ронькиных рук еще перед самым вечером. В этих треволнениях он незаметно уснул.

Под утро что-то негромкое и опасное все же в доме произошло. Внизу и вверху, где спали гости, послышались голоса. Кто-то посторонний и впрямь прошел коридором к бабушке, но заговорил мужским басом и как будто не о курином переполохе. Несколько этим успокоенный мальчик глубже ушел в сны о царском поезде, а после пробуждения обрадовался, увидев в комнате совсем одетую маму. Но лицо у мамы было застывшее и чужое. На соседней постели уже сидела Валя и одевалась сама, без капризов и без посторонней помощи. Видимо, что-то случилось. Мама выговорила сдавленным, тоже не своим голосом:

— Дети, собирайтесь быстрее. Пойдемте к бабушке проститься.

— А разве бабушка тоже уезжает на войну? — глупо удивилась Валя.

Мама утирала глаза Рониным полотенцем. Она сказала про бабушку что-то не очень понятное, но такое морозящее кожу, будто в комнату вмиг ворвалась зима.

Мальчик содрогнулся. Не вчерашняя ли шалость стала причиной несчастья? Он страшился перевести взгляд на Валю — ей-то, прямой виновнице, каково сейчас на душе? Но и сам он не мог уйти от ощущения соучастия, он же ничего не сделал, чтобы остановить Валю, отговорить ее... А та вдруг спросила маму обыкновенным скучным голосом:

— Тетя Оля, а бабушка — уже не совсем скончалась?

Мама ответила раздельно, как на уроке:

— Стыдно тебе, Валя! Большая девочка, должна понимать, какое горе... Все это война наделала. У бабушки сердце не выдержало.

* * *

В большой гостиной, на двух составленных вместе и укрытых белыми пикейными одеялами ломберных столах, лежала бабушка.

Из-за опущенных штор в гостиной был непривычный полумрак. Висящее в простенке зеркало укрыли белым вместе с овальной рамой. В головах у бабушки стоял массивный подсвечник, но горела в нем тоненькая восковая свечка. Принесла и зажгла ее заплаканная Мавра. Она прислонила к подсвечнику

еще и маленькую, обтертую от пыли иконку из кухонного угла.

Соня и Эмма с такими же застывшими, как у мамы, лицами, убирали стол и бабушку садовыми цветами, еще чуть влажными от росы. Незнакомый мужчина прятал в карман складной аршин, кланялся папе и уверял, что часа через два все будет доставлено в лучшем виде.

Мавра взяла Роника за руку, повела к бабушке, шепнула ему:

— Молись, внучек, за бабушку, чтобы и она, милостивица, царствие Божие узрела. Подай ей, Господи, за жизнь ее праведную!..

Теплый отблеск свечи ложился на бабушкин лоб. Мальчика поставили на стул. Теперь он глядел на бабушку сверху.

Она лежала причесанная, от груди до ног прикрытая белым, и Роне указали на сложенные бабушкины руки, чтобы он поцеловал их. Губы его ощутили холод, но прикосновение не напугало, потому что целуя неживую руку, он успел хорошо разглядеть и узнать каждую черточку привычно милых бабушкиных пальцев.

Осмелев, он приблизился губами и к недвижному лицу, но сразу же понял, что бабушке нет больше дела ни до него, ни до всего, творящегося вокруг.

Черты бабушкиного лица были глубоко сосредоточены на чем-то столь важном, чему ни у Рони, ни у кого вообще нету настоящего слова, и чему мешать невозможно и грешно.

И он не отважился погладить ей волосы и поцеловать в лоб, чтобы не потревожить бабушкиной отрешенности, ее нездешней думы.

* * *

С той минуты, когда во двор въезжала лошадка, а возчики пронесли что-то продолговатое в бабушкины покои, а потом уж до самого вечера на дачу приносили и привозили венки с лентами, осенние букеты, хвойные гирлянды, перевитые цветами.

В комнатах толпилось великое множество народу. Приезжал в коляске лютеранский пастор в черном одеянии с белыми ленточками, ниспадавшими с воротника на пасторскую грудь. Узнал Роня в толпе тетю Аделаиду Стольникову и очень серьезного Павла Васильевича.

Поздним вечером, когда венки и цветы зачем-то вынесли из большой гостиной на террасу, Сонина девочка Валя ни за что не соглашалась лечь отдельно от матери и страшилась даже прошмыгнуть мимо дверей в большую гостиную. Роня же сам пошел туда проститься с бабушкой перед сном, как привык делать это каждый день, пока живал здесь подольше. Ему и в голову не

приходило бояться неподвижной бабушки, а такие слова, как «покойница», «гроб», «могила», не задерживались в его сознании и еще не смущали его духа.

Но мама сама поскорее увела его из комнаты с постаментом и сама уложила в кроватку, вместе с ним помолилась на ночь и в этот раз оставила спать в соседстве с фрейлейн Бертой.

На следующее утро длинная процессия экипажей медленно двигалась из Лосиноостровского к Лефортову, следом за белым катафалком. Путь показался Роне очень долгим. Мальчик ехал в хвосте процессии вместе с Бертой, Валей, Викой и тетей Соней. Они все чуть-чуть оживились, когда извозчик должен был остановиться, чтобы у колонки напоить лошадь, а потом, наверстывая, проехал вдогонку за остальными экипажами рысцой.

Прощальное богослужение в кладбищенской церкви шло с певчими, под переливы небольшого органа. За толпою взрослых мальчик не видел того, что происходило перед алтарем — скамьи для прихожан из-за тесноты пришлось убрать и люди стояли, как в православной церкви. Все посторонились, когда два служителя протеснились вперед, и по толпе провожающих прошло будто дуновение ветра, отчего одни потупились, другие прослезились, а мама и тетя заплакали горше, отчаяннее.

Более всего запечатлелись в памяти мальчика две большие кучи желтого песка и промеж них — глубокий, тесный, черный провал.

Пастор произнес по-немецки молитвенные слова, толпа сгрудилась, блеснули лопаты. Мальчик видел маму, рыдающую на самом краю и только теперь понял, что бабушку привезли сюда, чтобы закопать в этой глубокой страшной яме. Ему сунули в руку совочек, велели зачерпнуть песку и бросить вниз, на гробовую крышку, уже почти засыпанную.

Очень быстро вырос продолговатый песчаный холм, и тут же он исчез под множеством венков и букетов, превратился в зеленую горку со слабо реющими шелковыми лентами, колыханием черных и золотистых букв. Из этих венков и зелени невысоко поднялся деревянный временный крестик — чуть сбоку от гранитной плиты с именем дедушки Юлия Лоренса, которого мальчик не помнил, равно как и дедушку и бабушку Вальдек, тоже упокоившихся лет пять назад здесь, под березами Иноверческого кладбища на Введенских горах, в Лефортово. Возникло это кладбище еще во времена Кукуйские. Неподалеку от Вальдеков лежал в земле сподвижник Петра Лефорт.

Когда все провожающие уселись по экипажам, мама с папой взяли своего Роника к себе и уже велели было ехать, но маму потянуло назад — побыть у могилы одной. Сын тут — не помеха,

она и его повела за собой по тем же аллейкам и дорожкам. На кладбище он был впервые за всю свою шестилетнюю жизнь и только начал постигать, что происходит с человеческим телом, когда покидает его невидимка-душа.

Они с мамой сели у зеленой горки с шуршащими лентами.

Пахло сырым песком и растоптанной хвоей. Было тепло и тихо. Мальчик разобрал надпись на белой табличке, приделанной к новому временному кресту:

«Агнесса Александровна Лоренс, урожденная Юленштедт».

И тут пронзила мальчика невыносимо острая жалость к зарытой бабушке. Он внезапным прозрением осознал и ужас, и непоправимость смерти. Он прижимался к матери и плакал неутешно.

А мама опустилась на колени, не страшась холода и сырости могильной земли. Она молилась о возносящейся душе матери и к ней же взывала о заступничестве перед силами небесными.

Ведь завтра, Боже мой, уже завтра, сама она сядет с детьми и бонной в поезд до Иваново-Вознесенска, но двумя-тремя часами раньше они успеют проводить с другого московского вокзала другой поезд, что увезет их папу, ее Лелика, далеко на Запад, чуть не прямо под немецкую шрапнель.

* * *

У Ольги Юльевны Вальдек, при ее довольно решительном характере, успели устояться уже и определенные жизненные принципы, так сказать, наследственные и благоприобретенные.

В общем-то она сама выбрала судьбу себе по вкусу. Еще в гимназии она усвоила афоризм римских стоиков: волентем дукунт фата, нолентем трахунт, то есть, охочего судьба ведет, неохочего — тащит. И хорошенько осознав изречение, она смолоду решила держаться только первой части этой формулы. Поняла она, что для этого требуется известная жизненная активность, умение желать и способность сознательно выбирать.

С гимназических времен положила она непременно выйти за обрусевшего немца, разумеется, интеллигентного и порядочного.

По ее наблюдениям, — да и мать склонялась к тому же, — именно эти представители человеческого рода обладают достоинствами обеих наций — и русской, и немецкой, — в то время как национальные недостатки в них сглажены.

В характере русском Ольга опасалась переменчивости, склонности к душевному надрыву, неуравновешенным поступкам, безудержным грехопадениям, а затем — к излишним покаяниям. Пугала Ольгу в русском характере смесь барского с холопьим,

голубиной кротости с азиатской жестокостью. Смущала русская необузданность страстей, бездумная широта натуры, тяготение к расточительству, а наряду с этим — внезапное крохоборчество, приливы злобной жадности, бессмысленное накопительство. В русской душе, по мнению Ольги, тяга к аскетизму и духовности противоречиво соседствует с полнейшей неустойчивостью к искушениям зеленого змия.

В натуре же немецкой Ольге претила спесь, бюргерская чванливость и безапелляционность суждений, неспособность подходить к чему бы то ни было не со своей меркой; мелочная бережливость, скучная узость, даже скупость в повседневном быту, особенно неприятная в мужчинах. Отталкивало Ольгу свойственное немцам чинопочитание, их рабское преклонение перед любыми рецептами и предписаниями благословенного фатерланда.

Вот эти-то крайние, неприятные черты национального характера двух соседствующих народов, по мнению Ольги сглаживались и стирались при смешивании, в особях как бы пограничных.

Нечто схожее она наблюдала в природе.

Расстилается вот, за вагонным окном на пути из Москвы в Иваново-Вознесенск, красивый, лишь чуть-чуть тронутый увяданием лиственный лес. Он красочен и трогателен осенью, свеж и прекрасен в летние месяцы, но зимой уж больно жалок и вовсе не гож в строительное дело. Хвойный же лес, провожавший поезд накануне, слишком суров и мрачен, сулит однако же хозяйственные выгоды и в любое время года величав. Вот и получается — всего лучше лес смешанный! И взору отрада всегда и на любые поделки материалу даст. Так и с людьми...

Понятия же интеллигентный и порядочный Ольга никогда и не трудилась определять в конкретности, до того они были ей интуитивно ясны, безо всяких там детализаций!

Интеллигентный?

Ну, это, разумеется, человек образованный, обычно и дипломированный, деятель труда умственного, как правило, приобретший не только гуманитарную или техническую специальность, но уже и некоторый авторитет в этой своей области; человек, непременно владеющий иностранными языками, много читающий и путешествующий, притом умеющий ненавязчиво пользоваться этими духовными богатствами в разговоре. Человек, имеющий кроме знаний профессиональных еще непременно и чисто гуманитарные интересы, лучше даже прямо какое-нибудь дарование — музыкальное, поэтическое, артистическое, художническое. Однако же, настоящий смысл все

эти качества личности интеллигентной приобретают лишь в том случае, если зиждятся на прочном фундаменте имущественного благополучия.

Конечно, само понятие «уметь» предполагает в будущем также и смежное понятие «иметь», но все же отраднее, если материальные имущественные плоды умения не созревают у тебя на глазах, параллельно твоему старению, а сразу сопутствуют тебе смолоду, что очень и очень удлиняет и твою молодость, и весь вообще «возраст красоты». Мнение насчет рая с милым в шалаше Ольга всегда отвергала с презрением. С ее понятиями о порядочности никакие шалаши вязаться не могут!

Ах, порядочность?..

Да, это понятие Ольга Юльевна старается и Роне внушить сызмальства.

Порядочный человек — это не просто лицо обеспеченное, состоятельное, родовитое. Это, кроме того, еще и носитель из поколения в поколение того же кодекса норм и правил, в которых воспитывалась она сама. Кодекс включает нормы жизни нравственной и общественной, светской.

Нормы нравственные сводились для Ольги Юльевны к десяти евангельским заповедям, чуть-чуть модернизированным применительно к XX столетию. Она не пыталась особенно углубляться в размышления, почему заповеди оказались столь жизненными на протяжении двух тысячелетий. Причину тому она усматривала в мудрости творца заповедей и в неизменности человеческой природы.

А вот в нормах поведения внешнего самым важным признаком человека порядочного Ольга считала светский такт и безупречные манеры. Человек мог быть эталоном всех добродетелей, кладезем премудрости и подвижником в общественном служении, но если он вульгарно жестикулировал, ел рыбу ножом, чесался в гостиной, цыкал зубом или хрупал яблоком — она не смогла бы увидеть в нем человека порядочного.

Впрочем...

Если мужчина проникнется сознанием, что его дело — добывать в нужном количестве средства, а дело женщины — украшать ему с помощью этих средств жизненное бытие, то, при любых прочих условиях такой мужчина уже не безнадежен в смысле порядочности и со временем может стать, что называется, комильфо. Тут уж женщина сама должна прилагать к нему все мыслимые усилия!

А вот сильно постаревший Ольгин дядя, отставной контр-адмирал, предводитель дворянства в своей губернии, Николай

Александрович Юлленштадт, по слабости здоровья не приезжавший в Москву даже на похороны сестры, дал однажды Ольге Юльевне куда более простой, вовсе лаконичный рецепт дли воспитания сына порядочным человеком.

«Ты, Оленька, — говорил он некогда молодой матери, своей любимой племяннице, — научи Рональда всего-навсего трем вещам: уметь выбрать свой курс, соблюдать дистанцию и всегда совершать лишь такие поступки, о которых не стыдно рассказать за обедом в кают-кампании».

Много же лет понадобилось Вальдеку-младшему, чтобы понять: самые тяжкие страдания в его жизни проистекли как раз от несоблюдения этого дедовского завета!..

Ольга Юльевна воспитывала не только детей, но и всех прочих домочадцев. Барыня поучала бонну, кухарку, Викину кормилицу Зину, теперь живущую в горничных, и дворника. Всем им она тоже старалась привить свои принципы, соответственно положения этих людей на ступенях общественной лестницы.

Барыня вела дом по часам и почти воински-четкому распорядку. Вставала рано — по примеру Екатерины Второй. Ольга боготворила великую императрицу, бессознательно подражала ее осанке, гордилась, когда знакомые находили в ней нечто схожее с портретами Екатерины.

Не склонная ни к аскезе, ни к религиозной экзальтации, барыня-лютеранка все-таки считала полезным соблюдение православных постов. Это благоприятно влияло на моральные устои домочадцев и на барынин хозяйственный бюджет.

После раздольной масленицы в доме сухо шуршали связки белых грибов, а из ледника во дворе доставали по воскресеньям приморожeнных судаков, белорыбицу и красную рыбу, закупленную с возов у рыбаков-обозников, что зимою развозят свой товар по среднерусским городам, отдаленным от Поволжья.

Главным правилом домоводства барыня Вальдек справедливо полагала изречение своей покойной матери Агнессы Лоренс: «каждой вещи — свое место, каждому делу — свое время».

Источником всех пороков Ольга Юльевна, как и ее мать, считала праздность. Поэтому оба чада и все без исключения домочадцы должны были с минуты пробуждения до отхода ко сну безостановочно заниматься положенной по расписанию полезной деятельностью, чтобы ни единой минуты не утекало зря.

В выборе знакомств Ольга Юльевна была строга и разборчива. Только несколько семейств в городе она удостаивала знакомства домами...[22]

* * *

...А мальчик Рональд замкнуто жил своей не очень простой жизнью.

В пять лет его научили читать и писать на русском и немецком. Французский же он в этом нежном возрасте начинал уже... забывать! Потому что усвоил его еще раньше, в доме своего крестного отца месье Мориса Шапелье[23]. У этого французского химика Алексей Александрович стажировался в Москве перед защитой диплома. Пожилой холостяк-француз полюбил младшего коллегу и они подружились. Позднее месье Шапелье перенес свое расположение и на Ольгу, а затем — на своего крестника, маленького Рональда.

Хозяйство Мориса Шапелье вела в Москве мадам Элиз, средних лет парижанка, отчаянно скучавшая в чужой и непонятной России. День-деньской мадам Элиз томилась одиночеством в квартире на Остоженке и очень радовалась, когда чета Вальдеков, уезжая в какое-нибудь отпускное турне, соглашалась оставить мальчика на ее попечении. Роня подолгу живал у нее и в трех — и в четырехлетием возрасте, легко перенимая у мадам весь шик ее грассирующего парижского арго.

Однако в глухом Иваново-Вознесенске мальчишки-сверстники и дети постарше, разумеется, потихоньку от взрослых, жестоко дразнили и зло высмеивали Роньку за его парижский прононс. Дети до того изводили его насмешками, что он изо всех сил старался поскорее забыть свой французский, в чем и преуспел! Родители обращались к сыну на французском, а он упрямо отвечал им по-русски. Потом появилась в доме фрейлейн Берта. Конечно, в ее присутствии никто не смел дразнить Роню. Бонна не спускала с него глаз целыми днями, но изъясняться друг с другом они могли только по-немецки, потому что Ольга Юльевна просила бонну русским дома не пользоваться, французского же та не знала.

Немецкий язык полюбился Роне именно как язык обиходный, домашний. Он казался уютным, как скрипучие кресла или ночные туфли. Однако, когда началась война, говорить по-немецки при незнакомых, на улице или в театре стало рискованно, могло навлечь неприятности.

Ольге Юльевне хотелось, чтобы сын со временем тоже поступил в московскую «Петрипауликнабеншуле» (где, кстати, война никаких изменений в учебные программы и в состав учителей не внесла). В продолжительность нелепой, противоестественной русско-немецкой войны Ольга Юльевна верить никак не хотела и, вопреки иным косым взглядам сохранила в своем домашнем штате фрейлейн Берту. Впрочем, на

ивановских улицах бонне велено было больше помалкивать или пользоваться набором заученных русских фраз. Роньке же не возбранялось всласть изъясняться в городе по-русски. Именно за эту свободу думать и говорить на родном языке он очень полюбил пыльные, пахнущие кислотами улицы Иваново-Вознесенска.

День у Рони был сурово регламентирован.

Все утро до прогулки — в саду или по соседним улицам, на лыжах, с саночками или же с мячиком и серсо, — шестилетний мальчик проводил за учебниками, тетрадками или за роялем. Музыке учила его мама, русским и арифметикой занимался с ним приглашенный репетитор Коля.

...После прогулки Рональду иногда позволяли поиграть, но чаще занятия, устные и письменные, тянулись до самого обеда. Арифметика, ставшая при Коле легкой и интересной, стала сущей мукой — мама взялась за эти уроки сама, толком ничего не объясняла, а спрашивала очень строго. Музыкальные занятия тоже давали не очень-то много проку и радости.

Обед! О, за столом требовалась особенная выдержка. Если блюдо нравилось и Роня ел с охотой — следовали замечания насчет неизящных манер и набитого рта. Если же еда не нравилась, об этом ни в коем случае нельзя было даже намекнуть вслух, притом «не делать кислого лица», «не спать над тарелкой» и всегда считаться с перспективой остаться без сладкого. Если за обедом бывали гости — здешние или приезжие — мамино внимание обычно отвлекалось, и только бонна занималась Ронины ми манерами. Это все-таки было полегче маминой муштры.

Проходил обед. Начиналось чтение вслух;

Сначала бонна часа два читала мальчику немецкие юношеские книги. Рассказы о морских приключениях Капитана Марриэтта или индейские повести Карла Майя и Фенимора Купера. Книги Сетон-Томпсона о животных. Все это было в добротных подарочных изданиях с цветными картинками и гравированными рисунками.

Кончалось чтение — следовали полчаса экзерсисов на рояле, потом можно было гулять, играть или читать книжки по-русски, в изданиях Девриена, Вольфа, часто в серии «Золотая библиотека».

С героями этих книг он вступал в особенные личные отношения и говорить об этом ни с кем не хотел. Это был его собственный мир, открытый только для пришельцев со страниц книжных.

Робинзону Крузо он слегка завидовал, считал его счастливцем, но отнюдь не героем, ибо искренне верил, что сам управился бы на острове не хуже Робинзона. А дойдя до гибели

Пятницы, мальчик сперва вовсе не поверил в эту смерть, восстал против нее, надеялся, что за ночь в книге исчезнет эта страница. Когда же она и не подумала исчезнуть, и стрела опять пронзила Пятницу в том же абзаце, мальчик книгу отложил и больше никогда ее не открывал. Он и не играл в Робинзона и Пятницу, чтобы не думать о конце такого верного друга.

Зато барона Мюнхаузена мальчик очень любил за оптимизм, в душе, никому в том не признаваясь, склонен был относиться к историям барона с известной долей доверия. Барон казался ему талантливым избранником фортуны, человеком удачи, умеющим невозможное делать возможным благодаря дару воображения и жизнелюбия.

Любил он и полную противоположность барону — всадника на Росинанте, идальго Кихота из Ламанча.

Мальчик чувствовал тайную общность с ними обоими, потому что и тот, и другой, находясь среди людей и вещей обыкновенных, переносили их силою воображения в мир фантастический. Точно так же и сам Роня, обитая среди людей и вещей обыкновенных, жил еще и некой внутренней жизнью в мире фантастическом и нереальном, мире мистическом и страшном.

Барона Мюнхаузена он и ценил именно за его умение находить верный выход, пусть фантастический, из реальных жизненных затруднений. Да, он был склонен верить изобретательному барону! Основа всякой победы — полная уверенность в собственных силах и возможностях, а в этом-то и заключалась тайна успехов барона-фантазера.

Идальго же на Росинанте не был рожден для победы и успеха, хотя его высокий дар воображения не уступал баронству. Идальго тоже никогда не уклонялся от опасностей, бросался им навстречу, но всегда проигрывал битву.

Мальчик втайне презирал своих сверстников, хохотавших над неудачами Дон Кихота. Ему, Рональду, было не до смеха! Он сознавал свое духовное родство с Доном Кихотом.

Мудрость Дон Кихота заключалась в том, что он не мог верить безобидности мельниц, подлых табунщиков, вероломных бурдюков. Мальчик им тоже не верил.

Как и внутренне зоркий Дон Кихот, мальчик прекрасно знал, сколько зла и коварства таят все предметы и явления нашего обманчиво-реального мира, враждебного вольному рыцарскому духу! Маленький читатель сокращенного или, как говорили, адаптированного Сервантеса рано догадывался насчет правоты Дон Кихота, сочувствовал стремлению сокрушить стародавний обман мельниц, бурдюков и свиней. Но, увы, мельницы, бурдюки

и свиньи одолевали благородного и прозорливого идальго. В отличие от барона Мюнхаузена Дон Кихот терпел унижения, бедствовал и страдал. Даже от рук узников, которых освободил, вступив за них в бой с конвоирами.

Жестокие поражения терпел в своих битвах и сам мальчик Рональд!

Ведь он тоже кое-что знал о тайном коварстве мнимо безобидных предметов, будто бы самых обыкновенных и бесхитростных!

Как удивительно ловко они маскировались! Как хорошо и убедительно они умели принимать обличив простых шкафов, дверей, вешалок, семейных портретов, стульев и кресел! А зеркала... Боже мой! Большие, обманчиво спокойные, холодные — сколько тайн они скрывали!

Днем эти предметы притворялись добродушными и дружелюбными. Порой им даже удавалось перехитрить мальчика, обмануть его донкихотскую прозорливую бдительность. Тогда он на время утрачивал настороженность и готов был поддаться успокоительной дневной мистификации вещей-оборотней.

Но чем ближе подходил зимний вечер, чем явственнее протягивались лучики звезд сквозь морозный иней и черные тени веток на оконных стеклах, тем острее и отчаяннее охватывало мальчика тоскливое предчувствие надвигающегося ужаса.

Он страшился ночного мрака, томительного одиночества в большой холодной постели и своей полной незащищенности от могущественного тысячеликого Зла, черпающего силу в глухих недрах тьмы.

Приказание идти спать было приговором на муку, на медленную казнь. Разумеется, возражений в доме госпожи Вальдек никто ни от кого не слыхал, они исключались заранее. Взмолиться о пощаде было бы столь же бесполезно и бессмысленно, как просить, отсрочить заход солнца. Все подчинено божеству орднунг[24]! Оно — альфа и омега бытия. И мальчик шел к постели, как на **эшафот.**

Этому предшествовал лучший час всего прожитого дня, один час радости после ритуального общесемейного вечернего чая. Из столовой горничная Зина, бывшая Викина кормилица, уносила отслужившую свой день крахмальную скатерть, и детям позволяли поиграть в тихие игры на всем просторе огромного обеденного стола. Он оставался теперь до следующего дня лишь под серым суконным ковром с серебристыми аппликациями или под зеленоватым покрывалом с золотыми разводами.

Играли в зоологическое лото, настольные скачки («только без азарта, детки!»), или в автомобильные гонки, хальму и рич-рач.

Рональду иногда позволяли расставлять на столе полки его солдатиков и устраивать им смотр-парад. Открывать военные действия и стрелять из пушки на ночь не разрешалось. Но даже простой смотр войск бывал событием, если удавалось выстроить всех солдатиков.

Основу Рониных армий составляли две коробки английских солдат в красных и синих униформах с пуговицами. В каждой коробке укладывалось по два десятка таких гренадеров. Роня всех их знал в лицо, как Наполеон своих старых гвардейцев.

Хороши были и старинные русские кавалеристы — кирасиры на белых и гусары на гнедых конях. У них тоже были индивидуальные имена, характеры и привычки. Иногда кто-нибудь из них давал игре совсем не то направление, как задумывал их полководец Роня, подобно тому, как литературные герои подчас путают замыслы писателей-авторов.

За конницей строились зеленые пехотинцы и опять гарцевали всадники помельче — черно-красные казаки, донцы и кубанцы. Папа подарил их перед отъездом в армию, они уже не походили добротою на старые русские и английские.

Было еще много каких-то вовсе уж разномастных трубачей, сигнальщиков, барабанщиков и знаменосцев, очень красивых на смотру, но самых шатких и неустойчивых, когда дело доходило до боя. Эти бои, особенно если в них участвовал репетитор Коля, начинались артиллерийской дуэлью через всю длину стола. По его торцовым сторонам противники строили замысловатые крепости из кубиков и дырчатых пластин деревянного конструктора. В укреплениях маскировались солдаты. Позади крепостей оставляли место для огневых позиций артиллерии. Так как пушек покрупнее имелось всего три и запас снарядов был ограничен (три деревянных ядра и полдюжины утяжеленных цилиндриков), то огонь велся по очереди — пушки переходили то к Роне, то к Коле. Когда же Коля перестал приходить на Первую Борисовскую, Роне приходилось воевать и на той, и на этой стороне, за русских и за германцев.

Сражаясь против Коли, Роня всегда бывал, конечно, русским. Перед началом сражения двоих самых красивых и массивных кавалеристов возводили в царское достоинство — они становились российским государем и германским Вильгельмом. Противники старались получше укрыть этих коронованных особ в недрах крепостей, и случалось, что только оба царя и противостояли друг другу до конца сражения. Наконец, один из царей падал под выстрелами. Тогда царь-победитель выезжал гарцевать перед руинами крепости в полном одиночестве, даже без адъютанта.

Но били часы.

Над столом гасили большую керосиновую люстру с хрустальными подвесками и наполненным дробью полупудовым шаром. Фрейлейн Берта уводила в натопленную ванную, потом в детскую маленькую Вику, а Роне оставляли еще четверть часа на то, чтобы разложить по коробкам и скачки, и автомобильчики, и кубики, и части конструктора, и солдатиков, отнести все это в детскую и уложить коробки по местам. Эго были последние минуты дня, но уже безрадостные, уже отравленные предчувствием ночных страхов.

Его клали не в детской, с Викой и бонной, а в родительской спальне, на папином месте. Он сам выспросил себе эту привилегию, но этим же обрек себя на долгие часы одиночества...

...Мать не умеет понять, в каком мраке живет ее первенец, и, главное, как доступны и несложны средства спасения. Она целует Роню и уносит охранительницу-лампу.

Только луна и слабое свечение зимнего неба — отблеск фабричных огней — угадываются за кружевными занавесями. Гаснет и щелка в дверях спальной — значит, потушены бронзовые светильники в коридоре и прихожей. Мама вернулась в кабинет. Теперь вся эта часть дома — прихожая, столовая, гостиная и спальня — пусты и отданы во власть силам тьмы. Роня остается с ними один на один.

Свое присутствие в комнате они обнаруживают всегда по-разному. Бывает, что тут же затевают возню — с мышиными шорохами и крысиным писком перекатываются поверх одеял, через всю ширь двух постелей, маминой и Рониной, будто гоняются друг за дружкой, вовсе и позабыв о мальчике, костенеющем в страхе.

Но чаще они вступают во владение темной частью дома в глубокой настороженной тишине. Роня безошибочно ощущает их присутствие, чувствует себя под их пристальным оком. Ни шелеста, ни писка — только напряженная тишина неведомой опасности, медленно нагнетающая страх. Вот-вот эта тишина взорвется нечеловеческим криком, грохотом вселенской катастрофы, воем жертв.

Напряжение все нарастает, мальчик с зажмуренными глазами вжимается в подушку, но взрыва и выкрика не происходит. Тишина давит все тяжелее, и уж начинает казаться Роне, что теперь и он, подобно маме, просто теряет слух, глохнет.

Примириться с этим трудно. Ведь умрет весь чудесный мир звуков — музыка, весенняя капель, колокольный звон, паровозные гудки... Но если такова цена спасения от страха — он готов, он согласен. Пусть — тишина навсегда, зато не будет в ушах

змеиного шелеста подползающей тайной угрозы.

Сохранилось ли у него пока хоть немного слуха, как у мамы, или даже меньше? Он отрывает голову от подушки.

И как бы в ответ из неохватных, глубинных пластов тишины отслаивается некий совсем новый звук

Он круглый, деревянный, гулкий, неживой. И постепенно нарастает, приближается. Это — с улицы, из-за окна. Может, звук не деревянный, а костяной? Кости о гробовую доску...

Кто-то из взрослых неосторожно упомянул при мальчике о вскрытии могилы с заживо погребенным. Мальчик запомнил.

А недавно Зина, горничная, подметая прихожую, пела о злополучном ямщике, что наехал средь зимней дороги на охладелый труп, занесенный снегом. По ночам Роня теперь сам становится этим ямщиком. Вот он увидел мертвое тело, слезает с облучка, наклоняется, шевелит кнутовищем оледенелую руку, слышит испуганный храп коня…

Все ближе костяной звук о деревяшку. Все громче. Вот уж почти под окном... Кажется это, или в самом деле идет по улице мертвец и стучит?..

Стук затихает, вязнет в омутах тишины, уходит на край света, но вызванные им картины остались, и теперь мальчику чудятся костлявые пальцы, призраки в метели, то большие белые, то черные юркие. Когда глаза мальчика зажмурены — призраки мельтешат и носятся у самого лица, но открыть глаза невозможно: должно накинуться что-то худшее, ослепляющее, хохочущее. Тем временем костяной звук приблизился снова...

Много времени спустя мальчик узнал: ночной сторож ходит с полуночи до света по Первой Борисовской и бьет в колотушку, остерегая воришек. Боялись ли воришки сторожевой колотушки или, напротив, торопились учинять свои темные дела на том конце улицы, пока сторож стучал на этом, — Роник так никогда и не выяснил, но для него самого эта колотушка многие месяцы была вступлением к ночному кошмару.

Роня знал уже, что советоваться с кем-нибудь насчет избавления от ночного страха совершенно бесполезно. Люди ничего не понимали, как в книгах о Дон Кихоте.

Мальчик пробовал поговорить про это с Колей-репетитором. Тот, как будто, поначалу что-то понял, уселся вместе с Роней в глубоком кресле и стал очень терпеливо, умно и ласково давать каждому пугающему феномену реалистическое объяснение. Дескать, шорох — от мышей, их надобно истреблять, а вовсе не бояться. Вой — это ветер в печных трубах. Трещат бревенчатые стены по ночам при сильном морозе от разности температур — это вовсе не грозит обвалом всего здания. В зеркалах же мелькает

всего-навсего твоя собственная тень — чему же тут смущаться сердцем?

Ученик послушно кивал головой, даже засмеялся из вежливости и... поспешил заговорить о другом. Что делать? Мистическую сущность своих кошмаров он выразить словами не умел, реальный же механизм страшных ночных явлений понимал умом не хуже, чем Коля. Как же объяснить всем этим наивным реалистам, что простой чехол на угловом кресле в спальне целую ночь ухмыляется, скалит черные, кривые зубы, а из больших зеркал пугающе бесшумно кидается к тебе призрак, когда ты, не выдержав одиночества, пробираешься босиком в кабинет к матери? А колотушка с улицы и тогда наводит на мысль о бродячем мертвеце, когда Роня уже знает про сторожевой обход.

...Мальчик никому больше о своих страданиях не говорит, но постоянно думает о Дон Кихоте и не доверяет мнимой безобидности реальных вещей.

И постепенно, смутно, без чьей-либо подсказки, добирается он до той догададки, что ночные переживания — не просто от коварной переменчивости вещей, их иллюзорной реальности, не просто от дневных россказней про неведомое и страшное.

Ему, по мудрости детства, начинает чуть-чуть брезжить сквозь тьму неведения далекая, далекая озарь, что нынешние так жестоко терзающие его по ночам духи мрака — лишь посланцы и предвестники куда как худших духов мглы надвигающейся, всечеловеческой...

Страхи его — это как бы сигналы, посылаемые из холода и мрака грядущих дней.

Растолковать это кому-нибудь нельзя, а самому додумать — непосильно!

* * *

Призрачную ночную явь сменяли недобрые сновидения.

Они часто повторялись, а то и чередовались в одной и той же последовательности. Мальчик иногда заранее гадал, который из дурных снов должен приводиться сегодня.

Был, например, сон про колодезный сруб. Стены мокрые, отвесные. Из самой глубины — зовущий голос матери.

И Роня лезет вниз, упирается ногами и руками в скользкие бревна сруба. Лицо матери еле различимо внизу. Оно слабо светится, а вокруг него шевелится что-то волосатое, со щупальцами. Похоже на огромного паука. Оказывается, с его-то мохнатой спины и светится навстречу Роне лицо матери. Но, когда он догадывается, что это — хитрость, обман, спастись уже

поздно! Паучьи щупальца схватили его запястья и щиколотки, тянут его вниз... Он теряет упор, соскальзывает с влажных бревен и летит, падает навстречу неотвратимой, позорной, ужасной гибели...

Был сон про коридор.

Низкий, каменный, с круглыми дырками в стенах. Оттуда брезжат зеленые, ядовито-опасные лучики. Мимо этих ядовитых лучиков надо пробраться незаметно, минуя их с осторожностью. В этом все спасение, ибо сзади — погоня. За Роней бегут, гонятся черные изверги с ружьями. Он торопится, прыгает через одни лучики, подныривает под другие, бочком проскальзывает мимо третьих. Но смертоносные дырки в стенах все чаще, погоня — ближе, а сил — меньше...

От этого сна Роня просыпался в конце концов почти в удушье, когда стены вокруг, готовы были сомкнуться, лучики стреляли прямо в глаза, преследователи настигали...

Но чаще всего повторялся сон про железную дорогу. Это был очень простой и не самый страшный сон, только длился он бесконечно, и мучительным было нарастание неведомой опасности, пока еще ничего грозного впереди не виделось.

Все начиналось неторопливо. Среди глухих болотных низин вытягивалась к горизонту и дальше, за его черту, линия железнодорожного полотна со шпалами и рельсами. Роня долго идет между рельсами и должен добраться до горизонта. Сойти некуда и нельзя. Ему ведь сказывали, что будет поезд и идти запрещено. Но он всех переупрямил, пошел и вот теперь боится поезда. И все убыстряет шаги, почти бежит, в смутной надежде обмануть судьбу и поспеть до поезда. А он — вот уже, показался из-за черты, сперва дым, потом черно-красный паровоз и вагоны. Роня старается не глядеть на него, жмурит глаза, но шум все ближе, вздохи пара чаще, рев гудка громче... Никакого спасения! И когда черно-красный паровоз налетает с ревом на Роню, тот успевает ощутить его призрачную невесомость и понять, что все это вершится во сне.

Потом, уже наяву, он долго приходит в себя, осознает, что остался невредим, лежит не под насыпью, а в папиной постели, все в том же тоскливом одиночестве, как и перед засыпанием. Часы в столовой бьют два или три раза...

...А часы истории российской отстукивают минуту за минутой, и никто не ведает, что принесет завтрашний день.

Маховое колесо войны, запущенное на полную силу, набрало инерцию, ускорило обороты и все быстрее гнало государственную машину монархической православной истории к великой катастрофе, совсем как в Рониных сновидениях.

Вскоре сама жизнь дала для этих сновидений новую пищу.

В июне 1915 года Роня отправился на войну.

Нет, нет, не на игрушечную какую-нибудь, а на самую настоящую, к папе в действующую армию. Даже под обстрелом побывал — оказывается, не очень жутко, интересно даже, а вместе с тем и дико как-то...

Капитан Вальдек сообщил жене телеграммой из Варшавы об отсрочке отпуска, просил не грустить и подумать, не собраться ли в дорогу ей самой. Он подождет в Варшаве — либо ответной вести, либо... встречи!

Из полунамеков в последних мужниных письмах Ольга сообразила, что ему предстояла служебная поездка с Юго-Западного фронта на Северо-Западный, для связи со штабом 2-ой армии. Выходило, что он мог несколько задержаться в Варшаве.

Ольга положила ехать немедленно, вечерним поездом в Москву.

— Возьми и меня к папе! — попросил Вальдек-младший. Безо всякой, впрочем, надежды на исполнение просьбы. А мама нежданно-негаданно согласилась. Про себя она решила показать Роню московскому доктору: дескать, почему сынок такой бледный, чувствительный и вдобавок не любит темноты?

Целый день собирали чемоданы, и уже на следующее утро Роня ехал с мамой на извозчике мимо хорошо знакомой привычной арки Красных ворот — с Каланчевской площади они направлялись к Стольниковым, в Введенский. Ольга Юльевна заодно везла и очередную сумму денег, чтобы внести в стольниковский банк. Вклад приближался уже к первому пятизначному числу.

Подходящего доктора для Рони рекомендовала братниной жене госпожа Стольникова, Ронина тетка Аделаида. Она сама и повезла Роника к столичной знаменитости.

Доктор — острая бородка, белый халат, золотое пенсне, прохладные руки — чуть-чуть повозился с мальчиком, потрепал по щеке, сумел немного рассмешить, а потом пошептался с теткой. Советы он дал золотые: гимнастика, моцион, холодные обтирания и пилюльки.

На обратном пути, выезжая с Рождественки на Кузнецкий мост, старик-извозчик остановил своего гнедого: толпа народа так запрудила улицу, что проезда не стало. По улице рассыпаны были листы плотной бумаги, афиши, разорванные журналы, книжки, знакомые обложки нотных тетрадей. По ним равнодушно ходили люди, втаптывая бумажные листки в сор и грязь. Невдалеке от угла, под стенами высокого серого здания, книги,

ноты и бумаги валялись на мостовой большими кучами, как снежные сугробы.

Извозчик стал разворачивать пролетку — Кузнецким было не проехать. Вдруг что-то обрушилось с грохотом, и сквозь шум прозвучал будто короткий струнный стон.

— Эх, каку музыку сломали! — не то с восхищением, не то сожалея сказал возница. — Глядикось, барыня, никак в доме Захарьина погулянка-то идет? И верно, похоже старого Циммермана, Юлия Гендрика с сыновьями громят... Ну, скажи на милость! Знаю барина этого, не раз возить доводилось, не обижал он нашего брата. Дело-то у него бойко шло. А теперь — на-поди, полный карачун ему выходит. Одно слово — полный карачун!

Роня выглянул из пролетки.

В воздухе снова мелькали, кружились белые листки — их швыряли горстями из окон серого дома купца Захарьина. Один листок подхватило ветром и понесло прямо под ноги гнедому. Возница натянул вожжи, давая седокам время сполна насладиться картиной погрома. Листок тихо опустился рядом, в лужицу. Роня узнал нотную обложку с портретом Чайковского...

Опять вылетела на улицу большая пачка нотных тетрадей, а еще выше, из выбитого окна на втором или третьем этаже высунулся ...рояль. Толпа внизу заревела. Еще с минуту рояль, подталкиваемый громилами, полз по оконнице, потом свесился над улицей и полетел вниз. Углом рояль задел при падении за выступ карниза, и тогда у него отмахнуло в сторону крышку. На лету она свесилась, как подбитое птичье крыло. Ахнув всей тяжестью о мостовую, рояль простонал предсмертно.

— За что это все? — спрашивал Роня в ужасе.

— Как за что? Известное дело: немец! — сказал кучер.

— Да едемте же отсюда поскорее! — взмолилась тетя Аделаида. Она была прекрасной пианисткой и хорошо знала не только издания обеих московских фирм, Юлия Циммермана и Петра Юргенсона, но и самих владельцев. Их музыкальные магазины были невдалеке друг от друга, один на Кузнецком, другой — на Неглинке, в доме четырнадцать, куда и глянуть жутко — может, и там тот же разгром?

А ведь эти «немцы» впервые напечатали Баха для русской публики, стали главными издателями Чайковского, Рубинштейна, Балакирева, Рахманинова. Под ногами погромщиков погибали сейчас творения Глазунова и Бородина, Шопена и Шуберта...

Тетя Аделаида молчала до самого Введенского переулка на Покровке. А мальчику Роне с того дня годами еще снились громилы. Он видел как мамин черный, отливающий лаком «Мюльбах» дюжие верзилы громоздят на подоконник,

выталкивают из окна и как рояль, откинув подбитое крыло, со стоном ахает на булыжник. Известное дело: немец!..

* * *

Павел Васильевич Стольников к тому времени уже исхлопотал сыну Саше назначение в гренадерскую артиллерийскую бригаду к дяде Лелику. 20-летнего Сашу Стольникова решили отправить как бы провожатым с тетей Олей и Роником. Заранее предполагалось, что дядя Лелик возьмет Сашу себе в адъютанты.

По льготной цене заказали купе первого класса — офицерский чин давал право оплачивать первый класс по стоимости второго, — в курьерском прямого сообщения, через Минск — Брест-Литовск. А пока шли эти приготовления к отъезду, Роня навоевался всласть с Максом Стольниковым, своим двоюродным братом, младшим из наследников Павла Васильевича. Оловянные солдатики доставались Максу от старших братьев целыми полками и эскадронами, в игре участвовали тяжелые металлические пушки, корабли и даже бронепоезд, ходивший по рельсам. Старшие нашли, что оба мальчика проявляют стратегическую одаренность, особенно Макс.

Кузен Макс Стольников был годом старше Рони, учил латынь, читал на четырех языках, щелкал как орешки самые трудные задачи, хорошо играл на рояле, увлекался мелодекламацией, словом, его всегда ставили Роне в пример, а это, как известно, не очень помогает дружбе. Тем не менее, ладить с гениальным Максом все-таки можно было — в нем чувствовалось незлое сердце, благородное отвращение к насилию и несправедливости. Мальчик он был очень красивый, с золотыми кудрями до плеч — эта прическа выделяла Макса среди стриженых сверстников, делала похожим на сказочных принцев, что снятся девочкам. Будущую длинноволосую моду тетя Аделаида предвосхитила более чем на полвека!

Однако, если бы такая мода восторжествовала уже тогда, в годы первой мировой войны, если причесываться под сказочных принцев стали бы Сухаревские торгаши, — Макса верно остригли бы наголо! У семьи Стольниковых было сильно развито чувство самостоятельности и собственного достоинства, даже известный аристократизм вкуса, особенно присущий именно Максу, и эти качества никогда не позволили бы членам этой семьи поддаться инстинкту стадности, слиться хотя бы внешне с «плебсом», стать рабами обезьяньей моды...

Одно обстоятельство как бы отдаляло Макса от Рональда.

Ивановский кузен сперва об этом не задумывался, а с течением времени стал ощущать острее и больнее.

Роня был лютеранином, Макс — православным. Крестил его настоятель Введенской церкви — Стольниковы принадлежали к его приходу. Нарядно красиво убранный храм построен был в XVII веке на скрещении двух слободских переулков, впоследствии Барашевского и Введенского. Некогда жили здесь великокняжеские б а р а ш и — мастера шатрового дела, люди достаточные и понимавшие красоту. Старый, строгий батюшка, настоятель Введенского храма полюбил крестника Максимилиана, сделался его духовным отцом. Стал частым гостем в доме Стольниковых и приохотил Макса к церковной службе. «Кому церковь не мать, — говорил священник, — тому и Бог не отец». Три старших стольниковских сына — Володя, Жорж и Саша — были к религии равнодушны, а Макса в церковь тянуло. Тетя Аделаида, лютеранка по вероисповеданию, отпускала его в православный храм с радостью. Макс подпевал на клиросе, читал за аналоем акафисты, восхищая старших прихожан чистотою и гладью чтения, а во время литургий батюшка брал Макса прислуживать в алтаре. Обо всем этом Роня понаслышке знал, но это мало его интересовало, пока он сам не побывал у Введения.

Перед отъездом мамы, Рони и Саши в Варшаву Стольниковы взяли в церковь, к обедне, и кузена Роню. Он не впервые был в русском храме, где ему всегда нравилось больше, чем в скучновато-пресной кирхе, но именно в этот раз он всей душой испытал в церкви чувство восторга, очищения и возвышения. Поразили живые огни свечей и лампад, голоса певчих, красота росписей и иконостаса, торжественное величие и задушевность обряда. Но больше всего его тронуло, что в этом дивном храмовом действе участвует равным среди равных не кто иной, как его родной кузен Макс, посвященный в церковные тайны, ему, Роне, совершенно недоступные. Он в первый раз увидел двоюродного брата в стихаре и нарукавниках, поразился, каким ясным голосам Макс читает и поет по церковно-славянски. Значит, Макс здесь — поистине у себя дома, а он, Роня, хотя ему здесь так нравится, все же вроде как в гостях. В этом чувстве не было низкой зависти и духовной устроенности брата, но печаль о неустройстве собственном, может, не до конца осознанная, с этого дня у Рони появилась.

И еще одно открытие сделал тогда приезжий стольниковский кузен под сводами Введенской церкви...

Тетя подвела мальчика к темноватой иконе, висевшей невысоко в левом церковном приделе. Икону почти сплошь укрывала позолоченная риза — свободными оставались только

лики и руки, да еще приоткрывалась надпись по церковно-славянски, с пропусками-титлами:

ПРЕСТАЯ БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМИРСКАЯ

Перед отнятой горели с десяток свечей в двух канделябрах. В их колеблющихся отсветах Роня близко увидел смуглый женский лик, слегка склоненный к лику младенца. Икона висела так, что Роня, хоть и с робостью, смог заглянуть в глаза Богоматери.

Взор ее был исполнен тихой, вещей скорби, столь глубокой, будто в этом взоре воплотились думы и мысли всех матерей человеческих. Из-под полуопущенных век на мальчика глядели неземные очи, исполненные доброты, терпения и печали. В этом взоре, струящемся в сердце, была тихая мольба и предостережение, призыв к добру, надежда на милосердие, но и предчувствие неутолимого страдания.

Видя, как поступают другие, мальчик тихонько приложился к руке Богоматери на иконе и на мгновение прижался лбом к прохладной ризе.

После обедни подошла пора ехать на Александровский вокзал Московско-Брестской железной дороги, у Тверской заставы, за Триумфальными воротами. Павлу Васильевичу ехать было нельзя, дела торопили, он простился с Сашей в церкви и уступил отъезжающим свой автомобиль. Завел он эту машину незадолго до войны, но сохранил и коляску — надежнее, да и получил уже уведомление, что автомобили подлежат временному изъятию у владельцев, для нужд действующей армии

Купе оказалось отличным. Роня радовался и поездке, и скорой встрече с папой. Прапорщик Саша Стольников поминутно острил, смешил Ольгу Юльевну и Макса, и лишь тетя Аделаида, как всегда сдержанная, собранная, строгая, одинаково ровная в обращении со всеми, нынче не улыбалась сыновнему остроумию.

Проводник вагона приоткрыл из коридора дверь купе, когда все, в нем находившиеся, «присели на дорожку». Почтительно кашлянув, проводник сказал: «Третий звонок, господа! Не опоздали бы выйти!» Открыв дверь купе пошире, он пошел в тамбур. Тетя перекрестила Сашу, простилась и вышла из вагона вместе с Максом, когда вокзальный колокол отзвучал троекратно и под сводами вокзала, вслед за кондукторской трелью, коротко взревел локомотив-сормовец.

За окном совсем близко мелькнуло худощавое тонкое тетино лицо в ту минуту, когда вокзал стал медленно отодвигаться назад. Роня уловил ее взгляд, искавший Сашу, и отчетливо вспомнил, нет, даже прямо увидел за окном скорбные очи Владимирской...

* * *

...Папа ждал их на платформе Варшавеко-Тереспольского вокзала. Встречавших курьерский было в тот день много, и все очень волновались чрезвычайному обстоятельству: курьерский Москва—Варшава опаздывал на целых 20 минут!

На привокзальной площади застоялись папины лошади — светло-серый в крупных яблоках Чингиз и чуть потемнее и рослее — Шатер. В парке артиллерийской гренадерской бригады насчитывалось поболее полутора тысяч лошадей, и ради соблюдения неких священных и незыблемых воинских начал всем этим бригадным лошадям приказано было избирать клички только на четыре буквы: Ц, Ч, Ш и Щ. Папа рассказывал, как в начале кампании весь бригадный штаб битых трое суток искал пригодные слова на шипящие. Под конец командир уже посулил за каждую новую сотню оригинальных кличек, отвечающих правилу, увольнение во внеочередной отпуск на двое суток...

Кучер-татарин весело козырнул, отстегнул кожаный фартук, приглашая седоков, пристроил в задке коляски один чемодан и «взял в ноги» второй. Фамилия кучера оказалась Шарафутдинов — Роня отметил про себя, что и она начинается на шипящую.

Обгоняя другие экипажи, лихо выехали на Александровский мост через Вислу. У Рони в глазах замелькали перекрестья мостовых ферм, мешавших любоваться заречной панорамой города. Он был прекрасен!

Река с яхтами, катерами и буксирами, а сразу за ней — старинный замок и нарядные дворцы, отороченные темной парковой зеленью... Дальние холмы с крепостными фортами, готика костелов, размах просторных площадей, красота фасадов, соразмерность, созвучность уличных строений, их изысканный колорит — вместе это все и создавало аристократическое, необычайно благородное лицо Варшавы. Ни тени столь привычной Роне российской провинции, да и вообще совсем мало заметны русские черты — вот, пожалуй, этот железный мост, плохо гармонирующий с архитектурой города, и еще кое-какие, чужеродные здесь приметы современной инженерной моды... Да, город интересен именно своей национальной, чисто польской «наружностью», кажется иностранным — для человека русского это имеет особое очарование. Примерно так мама успела высказаться еще по дороге в гостиницу.

Непривычным было для Рони и языковое многообразие. В правобережном предместье, или Праге, Роня слышал много еврейской скороговорки, но понимал в ней только отдельные немецкие слова. Потом, уже за Вислой, — пошел со всех сторон

знакомый польский говор, с опорой на звук «пш». Польский язык Роне нравился, он привык к нему у ивановских друзей, Донатовичей и Любомирских… Но здесь говорили так быстро, что он не смог улавливать смысл речей.

По обеим сторонам улицы мелькали французские вывески, польские надписи, рекламы незнакомых европейских фирм, витрины с иностранными товарами. Лишь военные, — а их было очень много в Варшаве 1915 года, — громко переговаривались по-русски.

Коляска с кучером-солдатом неторопливо катилась по великолепной улице Краковское предместье. Мимо Саксонского сада, дворца Потоцких и старинного, высокочтимого костела Святого Креста доехали до почтамта. Отсюда дали Стольниковым телеграмму о благополучном приезде. Потом улица Краковское предместье влилась в столь же красивую улицу Новый Свят. Папа показал сыну Университет, Дворец губернатора, церковь кармелиток — Роня еле успевал вертеть головой. Город ему страшно понравился, как раз своей несхожестью со всем, привычным в городах среднерусских. Наконец, на большой, нелюдной и величаво спокойной площади Роня увидел сидящего на постаменте Коперника со сферой в руках, и тут же, рядом, оказалась гостиница, где их ждал двойной номер и хороший обед.

И блюда показались непривычными, тем более, что все они очень сложно назывались, и даже хлеб был какой-то нерусский, нарезанный чересчур уж тоненько.

Неловкий случай произошел на лестнице, когда Саша Стольников откланялся, а папа с мамой поднимались на свой этаж. Мама уже повела сына вверх по лестнице, папа давал чаевые швейцару. Тут какой-то подвыпивший пожилой штабс-капитан заторопился следом за Ольгой Юльевной, да так неловко, что задел шашкой за перила и споткнулся о ковер. Госпожа Вальдек остановилась, чтобы пропустить вперед офицера, а тот, как только выпрямился, так и очутился прямо перед дамой. Он заулыбался восхищенно, отвесил ей слишком низкий поклон и вполне внятно сказал папе:

— Ай да Лелька! Ну, ловкач, генеральскую подцепил! Не по чину, капитан!

Папа страшно побледнел, взбежал по ступенькам и глазами сделал знак офицеру задержаться на следующем этаже. Роня мельком видел, как папа почти прижал офицера к стене. Мама чуть не бегом отвела Роню в номер и уж хотела было спешить к спорящим, но дверь номера отворилась и тот же офицер явился сам, с извинениями.

— Сударыня, — говорил он совсем убитым тоном, — не

извольте гневаться на старого служаку. На войне этой проклятой всякое приличие потерять можно, и вообще башка уже кругом пошла. Кто же помыслить мог, что родная супруга, в эдакую даль ехать не побоится, да еще сынишку привезет! Ты, капитан, счастливец, право; и зла на меня не держи. Сам знаешь, второе ранение, голову задело, вот и чудишь с тоски... Извольте, сударыня, ручку — и еще раз пардон от всей души!

Несколько дней мама с Роней бродили по чужому городу, сидели в кофейнях, замирали в музейных залах, любовались памятниками, слушали музыку, истратили много денег в магазинах, купили Роне белую пушку, а маме заказали новое платье из зеленоватого бархата, отделанного вышивкой и бисером. Ездили потом на примерки раз пять, Роне уже надоели болтливые польские мастерицы... Вечерами вместе с папой гуляли в нарядной толпе по любимым главным улицам, от замка до самого Бельведера.

Однажды в июньский полдень мама и Роня возвращались из Вольского предместья. Побывали они там на обширном евангелическом кладбище у Сеймовой долины. Кладбище оказалось похожим на московское, что в Лефортове. Мама нашла и здесь знакомые фамилии на могильных памятниках. Чуждая мистике, Ольга Юльевна все же очень любила прогулки по городским кладбищам и повторяла про себя слова римского мудреца: глядя на могилы — сужу о живых. Папа встретил их с коляской у входа, и они поехали с кладбища домой, какими-то новыми для них улицами. Вдруг прохожие стали беспокойно жестикулировать, указывать вверх. Кучер Шарафутдинов повел хлыстом назад и тоже показал на небо.

И тут Роня впервые увидел аэроплан. Он был немецкий, походил на птицу, трещал наподобие мотоциклета и прошел прямо над головами сидящих в коляске. Исчез за крышами Банка и Арсенала.

— Таубе! — хмуро сказал папа. — Сегодня утром они бросали бомбы на казармы у петербургской заставы... Кажется, пора тебе домой, Оленька!

Жильцы гостиницы были возбуждены. Оказывается, еще один «Таубе», а может быть, тот же самый, сбросил над городом противопехотные стрелы. Они просвистали в воздухе, изрешетили несколько крыш, но человеческих жертв на этот раз не вызвали, по крайней мере поблизости. Говорили, что одно попадание было и в гостиницу, однако снарядик не нашли.

Мама открыла верхний ящик комода, переодеть Роню к обеду. В стопке детского белья обнаружился беспорядок — она словно была проткнута очень грубым шилом. Приглянулись — в

красном дереве комода зияла аккуратная дырка, будто комод просверлили. Глянули на потолок — пробоина!

Стали рыться в ящике и достали запутавшуюся в белье узкую, вершка четыре длиною, стальную чушку с заостренным носом и ребристым хвостом, для стабилизации стрелы в полете. На ребре хвоста было выгравировано: Gott mit uns[25]. Выпускали такие стрелы с аэроплана, видно, пачками, в расчете поразить солдатский строй или толпу горожан. Снарядик подарили Роне и велели сберечь, как военный трофей.

Мама подержала стрелу на ладони, взвешивая.

Сколько же выдумки, денег, людского и машинного труда вложено в эту вещь! Рылись глубоко под землей горняки, лился из печей металл, вращались заводские станки, ночами не спали инженеры, чтобы хотя бы каждая пятидесятая или сотая из пачки стрел настигала бы не белье в комоде, а ее Лелика, Роню, любого варшавского горожанина или российского солдата. Неужели же это — не грех непростительный и страшный? Вправду кажется, что у людей, втянутых в эту войну «башка кругом пошла», как выразился давешний штабс-капитан...

Вот так и побывал Роня на настоящей войне и даже под обстрелом! Вроде бы и не очень страшно, и интересно, а дико все же как-то, когда во все это играют тысячи серьезных людей. Каждый в отдельности хорош, а вместе — безумные какие-то...

На следующий день после прилета аэропланов «Таубе» мама и сын простились — с папой, кузеном Сашей и прекрасной Варшавой.

* * *

Зимою 1915—16 годов, еще за месяцы до начала брусиловского наступления, Роня уже догадывался о нем, но догадку свою хранил в глубокой тайне ото всех.

Папа получил кратковременную командировку в Москву и обещание отпуска осенью. В ближних армейских тылах фронта шли усиленные учения, войсковые маневры, штабные игры. Дел у папы было по горло. Вырвался он в Иваново-Вознесенск всего на двое суток, и притом совершенно неожиданно.

Роня еще по звонку, необычно раннему, предутреннему, угадал, что на крыльце — папа. Звякая шпорами, он вошел, сопровождаемый денщиком Никитой. Развязал запорошенный снегом башлык, обнял в прихожей маму, вылетевшую прямо из постели в розовом капоте, и Роню в ночной рубашке, и Вику в длиннополой сорочке. Папа зажимал уши от визга, смеха, криков, возни. Весь дом впал в какое-то исступление от внезапного

счастья, а мама была в состоянии полуобморочном.

Сонная прислуга тоже вскочила было с постелей, но папа всех отослал досыпать и велел Никите, быстроты ради, разогреть горячими угольями из печей вчерашний вечерний самовар, сварить яиц всмятку или, на вкус Ольги Юльевны, «в мешочек» для предварительного завтрака, а потом отправляться на весь день в город, куда глаза глядят. Глядели же они у Никиты преимущественно на молодых Иваново-Вознесенских ткачих...

Роне позволили встать к ночному завтраку, а потом идти в детскую, чтобы вместе с Викой и фрейлейн Бертой разбирать привезенные гостинцы.

Расторопный Никита очень быстро сервировал чай, хлеб, масло и яйца, крутые до синевы. Папа тихонечко упрекнул его: что ж ты, мол, не мог угодить барыне? Она же «в мешочек» просила!

Никита только руками развел:

— Так точно, ваше высокоблагородие! В мешочке она велела. Пошукал я впотьмах мешочка, не нашел! Попался под руку чулочек Ронечкин, так я в нем и сварил. Как же она сразу узнала, ваше высокоблагородие?

За ночным столом Роня спросил, когда мама чем-то отвлеклась:

— Почему у тебя, папа, ухо пластырем заклеено?

— А ты умеешь хранить тайны? Сумеешь маме не проговориться?

— От мамы у меня тайн не было.

— Это правильно, но про что ты сейчас спросил — дело чисто мужское. О нем не должны знать ни мама, ни даже Вика-малютка! А тебе знать не мешает, чтобы сам не повторил такой глупости... Так вот: ухо у меня прострелено. Только... дело тут вовсе не в войне, а в твоем кузене Саше. Купил себе Саша Стольников — он по-прежнему у меня в адъютантах — американский морской кольт, револьвер такой автоматический. Пуля — с твой палец, бьет — за версту. И три предохранителя — на все случаи жизни...

Мы были в отступлении. Ночевали в палатке. Подал нам Никита ужин на бочке, покрытой широкой доской. А Саша все своим кольтом любуется, разбирает его на том конце доски. Я говорю: «Убери эту дрянь со стола, поранишься сдуру!» Он ужасно обиделся: «Что ты дядя Лелик, смотри, какой надежный! Жму на предохранитель — автоматический механизм заперт, жму другой — гашетка заперта, никакой силой не выдавишь, вот так...» И тут — бух! Ухо правое мне аккурат и просадил!

А самого я еле успел под локоть толкнуть — стреляться с отчаяния вздумал, как меня отбросило от стола... Пушку эту

американскую я тут же Никите выкинуть велел...

Только уговор, Ронюшка! Я тебе доверился, так смотри, страху лишнего на мать не нагони. А то она Сашку до смерти не простит. Сам же помни — и незаряженное ружье стреляет, и на все эти предохранители не больно надейся. Просто никогда на человека оружие зря не наводи...

Рассказ этот Роня от матери утаил, как велено было отцом. Смолчал и перед Бертой, и перед Викой, и перед Зиной-горничной, с которой он считал себя в крепкой дружбе, — но только с тех пор и узнал, до чего же трудная штука мужская тайна! Несешь ее один — спина гнется от нестерпимой тяжести!

Вот каким был у русского мальчика Рони Вальдека его родительский дом!

Глава четвертая. ЛАДЬЯ НАД БЕЗДНОЙ

Настанет год, России черный год —
Когда царей корона упадет...
Лермонтов. 1830

Немало было таких пророчеств в русской литературе далекого и недалекого прошлого. Только слушать их в России не умели! Тихие тяжкие шаги входящей в дом беды так чутко уловил Блок еще в 1912 году, но предчувствие поэта было объявлено рифмованной бедламской бессмыслицей...

Между тем, неотвратимые Шаги Командора близились, становились слышнее, грознее. Теперь их начали различать многие, однако же и над самой пропастью иные лишь глотали слезы и молились тихо, иные натачивали булат, иные же по-прежнему... пили свой кофе со сливками. Среди них — семьи Вальдек и Стольниковых, пока еще мало тронутые градоносной тучей.

Ольга Юльевна магически точно блюла ритуал и декорум уже обреченного жизненного уклада. Только привычный турецкий кофе был заменен колониальным французским, сливки стали пожиже, а вышколенные горничные погрубее.

Изредка и они уже роняли в сторону такие словечки как «буржуазия», «вот ужо вам», «митинг» и даже «комитет». При детях прислуге было запрещено рассуждать о прошлогодних августовских событиях в Иваново-Вознесенске, но кое-что Роня знал и про них...

В те дни никого из семьи Вальдек не было в городе, они все уезжали к осени в село Решму на Волге, сразу по возвращении Рони и мамы из Польши.

А с Волги семья приехала в Иваново-Вознесенск уже после того, как владимирский генерал-губернатор утихомирил бунтарей-ивановцев. Однако, мальчишки с Первой Борисовской улицы еще шептались насчет давешних фабричных беспорядков и стрельбы по забастовщикам. Роня и верить не хотел, будто русские казаки и полиция по приказу русского губернатора могли палить в русских же фабричных, а тем более застрелить кого-то насмерть и кое-кого поранить.

Как ни странно, Ронина недоверчивость подняла его во мнении рассказчиков. Они сбавили число убитых с двухсот до двух человек, а раненых с тыщи до полутора десятков, но на этих цифрах стояли твердо и даже выразили готовность показать Роне жилье обоих убитых и те семьи, где имелись раненые.

Предлагалось также показать казармы, откуда полицейские забрали в тюрьму «поболе двадцати рабочих душ», но Роня и без консультантов отлично знал эти казармы-общежития.

Вообще, с некоторых пор Роня стал входить в доверие у «уличных» ребят, в особенности, когда фрейлейн уже не контролировала каждый шаг своего подопечного. Первой в жизни положительной характеристике Роня, сам того не ведая, был обязан дворницкому сыну. Тот подтвердил ребятам, что «евоный Ронькин папа хохла и ахфицер, но не шкура» и что сам Ронька вроде бы «не гадина»...

...Весну и лето 1916 года, во время Брусиловского наступления на фронте, семья Вальдек, без ее главы, но вместе с тетей Эммой Моргентау, фрейлейн Бертой и горничной Зиной проводила в Железноводске. Для Роника и Вики это лето стало последней в их жизни полоской неомраченного мировыми катастрофами детства.

Прекрасно было само двухтысячеверстное путешествие на Кавказ в двух соседних мягких купе.

Путешествие волшебно превращало самые обыкновенные дела, вроде еды на маленьком столике или даже укладывание спать на вагонных ложах, — в сплошную цепь радостей и удовольствий. Госпожа Вальдек любила ездить и умела сохранять в пути неизменно хорошее настроение, передавая его и спутникам.

Детей радовало вое: дорожные пылинки в солнечном луче, новые и новые дорожные картины в обрамлении вагонного окна, счастливое предвкушение юга и постепенное угадывание его примет: белые мазанки под соломой вместо бревенчатых изб, морской гравий на полустанках и другой ветер, теплый, запахом напоминающий чай, настоянный на южных травах и цветах.

Конечно, и в пути у Рони были свои тревоги. Он, например, возненавидел большие вокзалы с ресторанами, куда взрослые отправлялись обедать, и нередко брали с собой и детей.

Из ресторанного окна Роня с опаской глядел на знакомый состав с родным домом-вагоном темно-синего цвета, впереди которого шел желтый, а позади — еще один синий, только без угловых позолоченных решеток над тамбурами как у «нашего», Роня страшно волновался — как бы поезд не ушел без обедающих пассажиров, жадных до борщей и котлет; как бы не оказаться брошенным на произвол железнодорожной судьбы. Любой звонок, свисток или гудок во время обеда вызывал судорожную спазму в горле. Лучшие блюда казались несъедобными, слезы отчаяния готовы были брызнуть, а насмешки взрослых, оскорбляя, нисколько не успокаивали.

Но еще много хуже бывало, когда в ресторан уходили одни взрослые, а дети из окна следили за их действиями... Вот мама и тетя Эмма, подбирая юбки, сошли с платформы на шпалы, переступили через рельсы, идут по другому перрону к вокзальному зданию, а встречный поезд вдруг отрезает им путь к возвращению! Проходит пять и еще раз пять минут ужасного ожидания, чужой поезд по-прежнему загораживает дорогу к нашему, а наш... дает гудок и трогается... Мама осталась! Утешить Роню было невозможно, он сдерживал слезы и отворачивался к стенке купе, тело содрогалось от сухих бесслезных рыданий до тех пор, пока мама не входила в купе. Роня смотрел на нее в оба глаза как на чудо чудес и считал совершенно необъяснимым это умение взрослых возвращаться в свой вагон, когда путь безнадежно отрезан чужим составом.

В Железноводске сперва жили в гостинице «Европейская», потом переехали в частный пансион: дешевле и тише!

Ронин день был и здесь строго регламентирован, но свободы давали все же побольше, чем в Иваново-Вознесенске.

Утром шли пить минеральную воду Малинового источника, затем — брать ванны. Роню сажали сперва на три, потом, в следующую неделю — на пять минут в теплую, пахнущую серой, железисто-щелочную воду, от которой на стенках ванн со временем оставался желтый осадок, уже ничем не смываемый. Самым интересным в скучной процедуре купания были песочные часы, по которым отмеряли время сидения в ванне...

...Вечерами детей облачали в новые костюмы и вели в Пушкинскую галерею Железноводского парка. Хороший симфонический оркестр играл с открытой эстрады легкую классику, иногда исполнял пожелания публики, всегда одной и той же, до самого конца сезона.

Однажды в июле месяце, после наступательного успеха брусиловских войск против австрийцев, оркестр начал вечерний концерт исполнением гимна. Роня сидел почти у самой рампы и с первых же тактов вдруг ощутил, что какая-то внутренняя пружина буквально подбросила его с места. Раньше он и не слыхал, что во время гимна надо стоять — сама музыка заставила его вскочить. За спиной он услышал шорохи и легкий шум, а оглянувшись удивился, как лениво, неохотно поднимается со своих мест курортная публика. Многие стали садиться раньше, чем гимн отзвучал.

Слов гимна Роня не знал, Ольга Юльевна и сама помнила их нетвердо. Но он понимал, что гимн — это как бы торжественная молитва Богу за царскую семью и членов царствующего дома. Роня обожал всю царскую семью и особенно, конечно, цесаревича.

Он знал лица всех великих княжен по фотографиям в «Ниве». В мамином зеленом кабинете тоже висела небольшая фотография царской семьи, Роня ее часто рассматривал и находил, что высокая прическа императрицы Александры Федоровны похожа на мамину. На этой фотографии царь и царица сняты были сидя, и Роня сперва удивлялся, что восседают они не на золотых тронах, а на простых стульях. Царь Николай Второй полуобнимал цесаревича, стоявшего рядом, а великие княжны в белых платьях группировались около императрицы. Позади царского семейства стояли три гвардейских офицера в парадных мундирах, и Роня знал, что в профиль снят Михаил Николаевич Чечет, адъютант императрицы, а средний из трех офицеров — мамин знакомый, полковник Стрелецкий, приславший этот снимок в подарок маме.

Ольга Юльевна никогда больше но встречала своего дорожного спутника, но довольно живо переписывалась с ним. Письма его были кратки, сдержанны и почтительны, но попадали в ту же, перехваченную лентой пачку, что лежала в тайном ящике ее секретера.

Впрочем, у самого Рони тоже имелась некая реликвия, прямо связанная с царским домом, — серебряный образок Богоматери на тонкой цепочке. В самом начале войны великая княжна Ольга собственноручно повесила этот образок на шею одному раненому папиному артиллеристу-солдату. Было это в прифронтовом лазарете. Через год, уже под Варшавой, солдат этот пал, и вместе е его документами, крестами и медалями папе принесли образок.

Однажды, как раз в дни Рониной жизни в Варшаве, за столом зашла речь об этом образке. Среди папиных собеседников был священник одного из артиллерийских полков. Этот отец благочинный давно знал Алексея Вальдека, относился к нему с уважением и считал его нерусское происхождение и вероисповедание простым недоразумением или ошибкой природы.

— Отошлите семье солдата, — посоветовал он папе, рассматривая образок.

— Нет у него близких, — ответил папа. — Если бы даже и нашлись какие-нибудь родственники, написать им нельзя — его родные места у немцев. Награды сданы в казну. А что же делать с образком этим?

— Вот, что надо сделать, — сказал отец благочинный, подзывая Роню. Он перекрестил его, надел на шею образок и велел хранить как реликвию.

— Это — царский дар, мальчик. Для русского — святыня! Вот и береги, коли, как я прослышан, ты любишь православного нашего государя.

Потом цепочка скоро оборвалась, и чтобы Роня не потерял образок, мама сочла за благо спрягать его в шкатулку. Тем не менее Роня твердо считал его своим и гордился царским даром так, словно великая княжна наградила за ратные подвиги не чужого солдата, а самого Роню.

* * *

В конце августа, уже незадолго до прощания с югом, семья Вальдек прогуливалась недалеко от вокзала. Было слышно, как пришел поездочек со станции Бештау. С ним приезжали пассажиры из Минеральных Вед. Приезжих было мало — сезон кончался Роня издали заметил, как усаживается в фаэтон среднего роста военный. Фаэтон покатил навстречу. Сидевший офицер в полевой форме держал шашку между колен, положив руки на эфес, и вдруг Роня понял, что офицер этот — папа…

Приехал он в двухнедельный отпуск, совсем неожиданно, ему до последнего часа не верилось, что Брусилов разрешит отъезд, телеграмма с дороги лежала у портье гостиницы «Европейской» — папа даже не знал, что семья оттуда переехала.

Был он в новых штаб-офицерских погонах, носил два новых ордена и «клюкву» — аннинский темляк на шашке, — старался бодриться и быть веселым, но как только задумывался — отвердевала в лице преждевременная усталость Резче обозначились морщины, загар казался каким-то сероватым и даже прижатые фуражкой волосы, ставшие пореже, будто тоже посерели, не то от забот, не то от походной пыли. Он рассказал, что Саша Стольников получил легкое ранение осколком снаряда и отпущен в Москву к родителям на те же две недели. Когда мама спросила про командира одного из артиллерийских полков, входящих в гренадерскую бригаду, отец с явной неохотой рассказал, как в дни летнего наступления австрийцев, полковник получил тяжелое ранение и вызвал жену из Петербурга. Та поспела только к похоронам, и надо же было случиться, что в самый миг погребения, когда гроб уже опускали в могилу, шальной гаубичный снаряд разнес в клочья гроб и тело покойника. Никто из окружающих не был серьезно ранен, но у молодой вдовы не хватило на все это нервных сил. Она помешалась. Долго выкрикивала только одну фразу: «Зачем они в мертвого?» Папа дал ей провожатых, и они повезли обезумевшую домой...

Тетя Эмма Моргентау собралась уезжать с Кавказа раньше сестры. Накануне ее отъезда папа и мама долго сидели с ней после ужина, под звездами, и Роня улавливал их голоса с

террасы. Тетка спорила с папой насчет брусиловского наступления.

— Кому оно было нужно? — негодовала тетка Эмма. — Во имя чего эти новые жертвы, сотни тысяч убитых в наступлении, и еще десятки тысяч вдов и калек? Что завоевали? Позор и ненависть людскую, больше ничего! Как вы, интеллигентные армейские офицеры из запаса, можете без осуждения и отвращения рассуждать об этой бессмысленной кровавой бойне? Вся думающая Россия проклинает, презирает вашего Брусилова, эту игру в живых солдатиков. Вы доиграетесь, когда солдатики выйдут из-под вашего повиновения... Ответь мне, пожалуйста, чего вы добились для России ценою этой новой крови?

— А чего, по-твоему, Эмма, должна добиться Россия всей этой войной? Что же ей нужнее всего?

— И ты серьезным тоном можешь об этом спрашивать? Можешь сомневаться в ответе? Просто не узнаю тебя, нашего чистого, милого Лелика, ученика Зелинского, естественника, интеллигентного человека! И Ольгу, родную сестричку, не узнаю, мы с нею то и дело спорим, потому что и она как-то сжилась с твоей офицерской судьбой, хоть и дрожит за тебя день и ночь.

Голос тетки стал тише и печальнее. Папа и мама молчали, как показалось Роне, несколько подавленные ее натиском, таким неожиданным для племянника-мальчика!

— Дрожать-то она дрожит за тебя, Лелик, — продолжала тетка, — а ведь смирилась! Со всем этим военным безумием она уж почти согласна!.. Что нужно России? Да разумеется, прежде всего — прекратить кровопролитие! Нужен прежде всего мир — а уж потом и еще кое-что другое, долгожданное...

— Дамская логика, Эммочка! Не так это все просто. Войну не мы начинали, не нам с нее и дезертировать. Как раз «думающая Россия», как ты изволила выразиться, должна это ясно понимать. Только вот кого ты этими словами обозначила — я что-то в толк не возьму. Во время нашего прорыва и наступления мы в действующей армии отнюдь не ощущали общественного осуждения. Наоборот, и газеты, и думские партии, уж не говоря о военном ведомстве, министерствах и всевозможных там комитетах, нас и поддерживали, и ободряли, и благословляли, а вовсе не проклинали. Против военных действий только крайние: эсеры, эсдеки, большевики, меньшевики, — уж как там они себя именуют... Но ведь это — горсточка, кучка... Не к ним ли пристал и твой Густав?

— Ну, уж: ты тоже скажешь: большевики, эсдеки... Я о них и знать ничего не знаю, а Густав тем более никакого отношения к ним не имеет, как всякий благонамеренный порядочный человек.

Но я говорю о настроениях в обществе, среди интеллигенции, я о всем народе говорю, о матерях российских, о крестьянах, о людях фабричных. Ты же сам, Лелик, был к ним по должности своей гораздо ближе, чем Густав, но война эта и тебя как-то переменила. Ты-то чего ждешь от нее для России, кроме все новых и новых бедствий? Неужели ты и в самом деле против прекращения бойни, выхода России из войны?

— Эх, как просто: взяли и вышли! Обессмыслить все наши жертвы, всю кровь пролитую? Да это было бы настоящей катастрофой, притом на пороге нашей победы!

Тетя Эмма тихонько ахнула от неожиданности.

— Лелик! Я не ослышалась? Ты веришь в какую-то ПОБЕДУ? Тебе нужно видеть врага на коленях? А если немцы побьют наших лапотников и, вместо твоей победы получится страшное поражение, — не думаешь ли ты, что это обойдется нам подороже, чем немедленный честный выход из такой бессмысленной войны? Как и всякий разумно мыслящий человек, я ни в какую нашу победу верить не могу и не отдала бы за нее ни одной человеческой жизни.

— Ты, Эммочка, упрямо закрываешь глава на действительность. Судишь предвзято, неверно. Кто же спорит, что мир — штука желанная, но ведь ради того и воюем. Исход войны не так уж далек и не столь мрачен, как ты рисуешь. Ошибок, глупостей, даже преступлений у нас — тьма, начало кампании пошло вкривь и вкось, с Мазурских болот начиная, но теперь картина улучшилась. Ведь военная инициатива перешла к нам и союзникам нашим. Французы, которых мы спасли самсоновским наступлением на Восточную Пруссию, давно оправились и стоят против немцев упорно. Австро-Венгрия, считай, разбита вдрызг, Германия — на краю истощения, а в войну вот-вот вступят на нашей стороне новые силы. Румыния, хотя бы; мы ждем, когда ее войска начнут действовать вместе с нами. Турки отступают. На юге войска наши продвигаются хорошо, берут турецкие крепости. Болгары по горло сыты войной против нас, устали и разочарованы. А там, глядишь, и американцам надоест их нейтралитет — они страшно злы на Вильгельма за бессовестную морскую войну… У нас оружия прибавилось, боеприпасов теперь не в пример больше, чем в начале войны. Подвозят, хоть и со скрипом! А не выстоим до конца — победа наша уплывает в чужие руки.

— Тебе, Лелик, позарез нужны проливы и крепость Эрзерум? Ты станешь от этого счастливее, да? И к нашей Соне вернется ее Санечка? Ты же знаешь, что Санечка Тростников пропал без вести?

— Слышал, что он в плен немецкий угодил. Очень жаль и его, и Соню. Окончим войну — может выручим и его из плена. Как хочешь, Эмма, но Брусилов прав в том, что...

Но Роня так и не дослышал, в чем Брусилов прав более, чем тетя Эмма. Звякнули шпоры на ступеньках террасы. Какой-то офицер явился к папе. Они пошептались у входа, на садовой дорожке. Потом папа, тихонько чертыхаясь, прошел в комнаты, надел мундир и портупею. Быстрыми шагами они с чужим офицером удалились.

Роня уж не слышал, как папа ночью вернулся и как утром за ним снова приходили военные. Мама сперва не хотела посвящать сына в офицерскую тайну, но когда они с Роней пришли на процедуры к доктору Попову, в приемной только и разговору было, что о ночном происшествии. И Роня узнал правду.

Накануне вечером в одной из самых глухих и отдаленных аллей парка, мальчишка-поручик, недавний выпускник Алексеевского училища, прогуливался со знакомой барышней. Они присели на садовой скамье под большим деревом.

Вдруг барышне показалось, будто что-то холодное коснулось ее щеки. Поручик зажег спичку, чтобы успокоить спутницу. Оба увидели большую змею — она свешивалась с нижней ветви. Офицер, как был при шашке и револьвере, так и кинулся опрометью наутек по аллее, где сразу наткнулся на группу раненых военных, куривших в маленькой беседке.

Когда они приспели к месту происшествия, то нашли девицу в обмороке на скамье, а под скамьей — уползавшую змею. Ее убили и отнесли к доктору Попову для освидетельствования. Доктор положил ее в спирт и охотно показал Роне банку с этим крупным мертвым полозом, совершенно безвредным и безопасным для человека, как заверил мальчика хладнокровный медик.

Все же группа офицеров потребовала поручика к ответу, и папу выбрали в состав офицерского суда чести. Постановление гласило: отобрать личное оружие и просить командование лишить поручика, опозорившего себя трусливым поступком, офицерского звания.

Папа вернулся с этого суда чести хмурым и не разговорчивым, а еще через несколько дней срочной телеграммой за подписью командующего фронтом Рониного папу отозвали из отпуска. В Иванов семья возвратилась с Кавказа опять без отца.

Перед самым Рождеством во всех, знакомых Рональду домах Иваново-Вознесенска, вдруг стала повторяться даже при детях странная фамилия Распутин.

В самом ее звучании Рональду почудилось что-то нечистое. А

главное — первый раз жуткое слово «убили» взрослые произносили с оттенком злорадства, хотя подробности могли устрашить хоть кого: Распутина травили цианистым калием, в него всадили несколько револьверных пуль, а под конец, оглушенного, но все еще недобитого, его спустили в прорубь под невский лед («Страшным мужиком» назвал его потом поэт Гумилев).

Вскоре после убийства этого «страшного мужика» Роня нечаянно слышал мамин разговор с соседкой, женой артиллериста Мигунова. Мама вполголоса прочла госпоже Мигуновой новое письмо полковника Стрелецкого и показала приложенный к письму снимок заплаканной императрицы с цесаревичем и великими княжнами у свежей могилы. Позже мама объяснила Роне, что убитый был обманщиком и колдуном, сумевшим втереться во дворец и очаровать не только царицу, но и самого монарха. Распутин, мол, бесстыдно пользовался доверием царя, своекорыстно вмешивался в дела государственные и церковные, и вот, за все это он наконец умерщвлен верными государю царедворцами. Но почему же тогда императрица так плакала над его могилой? Все это было загадочно и тревожно.

Тем временем, в богатых Иваново-Вознесенских домах весело встретили наступление нового, 1917 года.

...С последних чисел февраля московская и петроградская почта стала так запаздывать, что жители Иваново-Вознесенска судили о событиях в стране и на фронтах больше по слухам, чем по газетам. На всех фабриках и даже на ивановских улицах появились кумачовые полотнища с белыми буквами. Чуть не ежечасно возникали, подобно гейзерам в Йелоустонском парке, митинги и собрания. Перед толпами ивановцев выступали неведомые прежде ораторы из пришлых солдат и местных «заводил». Куда-то пропали со своих постов полицейские. Ускакали казачьи разъезды. Исчез даже станционный жандарм, некогда столь же привычный публике, как железнодорожный колокол. Стали появляться среди бела дня безо всякого конвоя пленные австрийцы и немцы в жеваных иностранных шинелях и чужих солдатских шапках, какие Роня до тех пор видел только в «Ниве».

Эти пленные заговаривали с Роней, просили вынести попить или покурить, шутили с фрейлейн Бертой и задавали ей вопросы, от которых фрейлейн густо краснела, а Роня деланно хохотал, хотя не очень-то понимал их суть.

Слова «ди руссише революцион» Роня впервые услышал именно от одного из этих военнопленных. Это был молодой, унылый и болезненный человек в очках. Он долго стоял на улице

перед группой играющих детей и увидел у Рони игрушечное духовое ружье немецкой выделки — один из недавних папиных подарков «с войны». Пленный подошел к детям, робко попросил ружьецо, осмотрел пристально и сказал:

— Hab's gleich gedacht! Sie mal her — 'sist Nurnberg, meine Vatersstadt![26]

При этом он тыкал пальцем в клеймо, оттиснутое на металле.

— Du kanst es jetzt wegshmeissen. Dez Krieg ist bald zu Ende. Die russische revolution naht. Der Zarismus ist kaput![27]

Ронина бонна, фрейлейн Берта молча отобрала ружьецо у пленного, взяла Роню за руку и уже уводя мальчика от опасного собеседника бросила через плечо:

— Aber schwatzen sie Kinde keinen Unfug![28]

Было это днем, третьего или четвертого марта 1917 года, и именно в тот же вечер, когда семейство Вальдек после ужина и чая сидело под большой люстрой с хрустальными подвесками, Ольге Юльевне подали телеграмму. Была она от некоего московского семейства, отличавшегося радикализмом взглядов и полной осведомленностью о политических новостях. Странным образом, буквы этой телеграммы отпечатались наоборот и прочесть удивительную телеграмму можно было только в зеркале.

На всю жизнь запомнил Роня это чтение: мама вышла в прихожую, горничная Зина наклонила свечу и, всматриваясь в зеркало, Ольга Юльевна прочла вслух жутковатые слова манифеста об отречении государя-императора в пользу брата и об отказе великого князя Михаила вступить на оставленный Николаем Вторым престол…

«Ди руссише революцион» вторглась в жизнь Рониной семьи.

* * *

Мальчика Рональда роковая телеграмма потрясла больше всех.

Одна из его любимых книг называлась: «Откуда пошла и как стала быть Русская Земля». Теперь ему представилось, что Русская Земля перестает **быть…**

В тот вечер детей поздно отослали спать, но и в постели он не мог сомкнуть глаз от чувства тревоги и отчаяния Какая же империя без императора? Какое царство без царя? По книге выходило, что не было такого в России, за всю ее тысячелетнюю историю, отлитую в бронзе новгородского памятника. А если когда и наступала пора междуцарствия, то наполнялась она смутами и скорбью.

Что же теперь станет с Царским Селом? А гимн? Как его

отныне понимать? Или российский гимн сменят, как скатерть либо простыню?

Кто же теперь поедет в царском поезде, кто будет жить в Зимнем дворце, а главное, — что же будет с царской семьей? Может им все-таки оставят какой-нибудь дворец вроде гатчинского или останкинского? Если так, то Роня непременно к ним придет утешать цесаревича и царевен, поиграть с ними в саду. Но мама убеждена, что ничего плохого с ними не случится. В народе их любили. Просто они уедут в другую страну, где нет революции и где какой-нибудь тамошний добрый король, сочувствуя низложенному собрату, подарит ему тихий замок над морем.

Но кто же будет властвовать над Россией, держать в повиновении чернь, чтобы страна не погибла? Кто отныне станет командовать русскими войсками против злого усатого кайзера в остроконечном шлеме? Кто станет казнить и миловать?

Мама говорит, будто случилось это оттого, что весь народ устал от войны и больше не хочет сражаться за победу нашего царя над германским. Если давешний военнопленный немец правильно предсказывал близкое окончание войны, то папа должен скоро вернуться домой. Но, с другой стороны, все-таки очень уж хочется, чтобы Россия победила.»

Пошли какие-то странные дни ожидания и тревоги, мартовские дни 1917 года.

В один из этих тусклых дней в квартиру Вадьдеков тихо прошел домохозяин, старик Ознобин. Мама, будто заранее зная, в чем дело, провела его в папин кабинет и открыла ему здесь некую тайну, о которой сам Роня до той поры молчал даже перед мальчишками: так велел папа.

Дело в том, что в позапрошлый приезд папа, кроме подарков, привез с войны и оставил в кабинете еще одну интересную и жутковатую вещь — пятизарядный кавалерийский короткоствольный карабин и целую коробку патронов к нему. Тяжелая коробка, сделанная из оцинкованной жести, содержала, верно, не меньше полусотни обойм с винтовочными патронами и стояла на шкафу, между пачками старых газет. А в узком простенке за шкафом, слегка прикрытый от пыли каким-то чехлом, прятался карабин. Никита-денщик перед отъездом хорошенько протер, смазал его, и папа сказал Ронику шутливо:

— Пока о нем забудь, а может, когда-нибудь он нам с тобой пригодится.

Роня изредка приходил в кабинет убедиться, что ружье и патроны на месте, потрогать затвор или скобу и помечтать, как он подрастет и пойдет с этим карабином защищать Россию. Он к

тому времени прочитал толстую книгу о приключениях молодого бура Питера Морица из Трансвааля, смелого охотника, великолепного наездника и хладнокровного стрелка. Лучшими друзьями Питера Морица были ружье и конь. Арабский конь по кличке Скакун был неутомим, благороден и предан хозяину, а английская винтовка системы Мартини-Генри в руках молодого бура не знала промаха. Роня мечтал завести себе такого же коня Скакуна, а вместо Мартини-Генри обойтись папиным карабином.

И вот эту-то тайну мама открыла домохозяину!

Она пошепталась со стариком и... разрешила ему взять карабин в руки, приоткрыть затвор, достать со шкафа патроны. Домохозяин повозился с тяжелой коробкой, что-то отогнул, вытащил две снаряженные обоймы, сунул их в карман и удалился, повесив карабин на плечо. Видимо, в оружии он кое-что смыслил.

А вечером в парадном позвонили, и в прихожей появился прежний Ронин репетитор Коля. На рукаве — красная повязка с черными буквами К. О. Б. Надпись была непонятна и таинственна. На плече у Коли — все тот же знакомый папин карабин.

Студент мимоходом поздоровался с Роней, слегка кивнул фрейлейн, отчего та мгновенно зарделась, и в ту же минуту со двора появился домохозяин Ознобин. Он долго объяснял студенту расположение комнат в доме и построек во дворе, немного погулял на улице вместе с Колей, пожал ему руку и отправился и себе. Коля же не вернулся в комнаты, а принялся ходить взад и вперед под окнами дома, то в саду, то во дворе, то на Первой Борисовской улице. Роня сперва порывался присоединиться к Коле, но его скоро уложили спать. Поутру Роня узнал, что Коля дежурил почти до рассвета, тогда его сменил дворник. Коля же, как выяснилось, провел остаток ночи в хозяйском флигельке, после чего отправился на лекции в свое училище.

Так вот и пошло с тех пор, вечер за вечером. Коля приходил, ужинал вместе с семейством Вальдек, немножко занимался с Роней, потом допоздна ходил под окнами с карабином, а спать удалялся к Ознобиным, лишь только на сторожевой домашний пост заступал дворник.

Оказалось, такие же дежурства установлены во многих знакомых домах.

В городе было довольно тихо, однако на некоторых улицах, близ фабричных ворот, особенно же около дома фабриканта Полушина все чаще стали взрываться и фонтанировать гейзеры-митинги. Какой-нибудь никому не ведомый солдат-фронтовик в шинели и папахе взбирался на бочку или ящик, вокруг мигом сбегался всяческий люд — фабричный, мужицкий, бабий — и

звучали не очень грамотные, но сильные и за душу берущие слова о свободе, революции, хлебе, войне, работе. Роня с мамой не раз слушали таких митинговых ораторов у Торговых рядов или прямо на базаре. Казалось, будто где-то прорвало вековую плотину народного молчания и людям не терпится вдосталь наговориться, наораться, сполна использовать вдруг обретенный громкий голос и невесть откуда взявшееся умение говорить красно и резко.

Покамест не слышно было в Иваново-Вознесенске насчет поджогов, грабежей и смертоубийства, но среди людей значащих тревога росла.

Ведь на митингах чаще и громче звучали злые голоса: долой! отобрать! поделить!

Ораторов противоположного, примиренческого направления слушали хмуро. Жандармов и полицейских чинов, замешанных в прежних усмирениях и губернаторских карательных акциях, давно разоружили и заперли в той самой тюрьме, где совсем недавно они держали рабочих бунтарей. Для поддержания же порядка городская управа еще только создавала милицию. Брали туда не скомпрометированных рядовых полицейских, а со стороны — бывших солдат и крестьян из окрестных селений, кого почему-либо не призвали в армию.

Кроме прежней городской управы, состоящей из людей почтенных и имущих, появился в городе еще один орган власти — Совет рабочих и крестьянских депутатов. Заняли под этот Совет каменный дом фабриканта Полушина, неподалеку от вокзала и самых крупных фабрик. Сперва о нем слышно было мало, хотя говорили, будто еще с пятого года собирался в Иваново-Вознесенске такой же рабочий совет. Депутаты его занимались поначалу все больше делами фабричными, но потом стали вмешиваться и в дела городские — по части торговой, насчет жилья, хлеба и света.

Это вмешательство сулило мало доброго хозяевам города, и они спешили принимать собственные меры предосторожности. Деятели Городской Управы создали этот самый К. О. Б. — Комитет общественной безопасности. Вошли в Комитет некоторые гласные Городской думы, кое-кто из крупных фабричных служащих, отставных офицеров, домовладельцев, торговцев. Комитет привлек к участию многих студентов училища, старших гимназистов, кое-кого из фабричных мастеров и очень старался заручиться поддержкой воинских частей, размещенных под городом. Стоял в Иваново-Вознесенске 199-ый запасный полк, были еще конвойные части, охранявшие лагеря военнопленных и мелкие учебные команды.

Внушительную силу городского порядка представляла собою

пожарная команда. Город-то был весь деревянный, переполненный фабриками и складами хлопка, красителей, масел; в июне улички на окраинах представляли собою бесформенные кучки слипшихся лачуг, бог весть из чего сколоченных. Огненная угроза в таком городе была чрезвычайной, совсем как в Древней Руси. Поэтому ивановские пожарные дело знали крепко и требовать свое от горожан любого звания умели, однако по слухам и они сочувствовали «максималистам» — то есть революционерам-большевикам.

Что ж, как говорится, береженого и Бог бережет! Посему владельцы хороших домов и иного недвижимого имущества решили без шума подготовиться к любым неожиданностям «снизу». Они прислушивались ко всем начинаниям Комитета Общественной Безопасности, поддерживали его, вооружили исподволь доброхотных ночных дежурных и подальше прятали на черный, видать, уж недалекий, денек укладистые шкатулочки с ценностями движимыми. Власти-то прежней нет! Народу вышла слобода. А как ее понимать эту слободу, что дозволено, а что нет — еще никому не было ясно в начале тревожного лета 1917-го года!

Кажется, именно в этот год Роня стал получать новый журнал. Носил он, как запомнилось Роне, бесхитростное название «Для детей», печатался на плоховатой бумаге, без цветных картинок, но был страшно интересный, куда лучше пресного «Светлячка»! С первого номера нового журнала Роня увлекся очень интересной зоологической сказкой про нехорошего и злого — сперва! — зато потом вполне благонамеренного и подобревшего Крокодила и доблестного Ваню Васильчикова. Сочинил сказку господин К. И. Чуковский — мама сказала, что знала его раньше как переводчика и критика... Однако, ни Ольга Юльевна, ни увлеченный журналом мальчик Роня еще конечно не могли догадаться, что эти-то невзрачные страницы становятся коконом, откуда вот-вот взлетит и засверкает небывалыми красками волшебная бабочка — новая российская литература для детей. Зачинателями этого литературного чуда, поныне не имеющего ничего равного себе в мире, был добрый великан Корней Чуковский, а услышало о нем младшее поколение российской интеллигенции впервые со страниц скромного журнала «Для детей»...

Сама же Ольга Юльевна (по совету подруги-одноклассницы из столичной дворянской семьи, весьма радикальной, где чиновный боярин-папа сочувствовал эсерам, боярыня-мама — меньшевикам, а боярышня-дочь — анархистам) выписала в тот год, кроме «Московских Ведомостей», «Русского Слова»,

петербургской «Речи» еще и вольнодумную петроградскую газету «Новая Жизнь» вкупе с журналом «Летопись».

В этих изданиях Ольгу Юльевну привлекли (помимо авторитетной рекомендации гимназической подруги) весьма звучные имена авторов-сотрудников и редакторов, прежде всего имя Максима Горького, чьи ранние рассказы любил Ольгин Лелик. Именно мужу она и хотела доставить удовольствие этой подпиской.

Однако, когда журнал и газета стали приходить, Ольга Юльевна всегда раскрывала их с чувством тоскливого беспокойства. Не то, что суждения авторов казались уж вовсе крайними. Нет, они даже нередко совпадали с мнением Ольги Юльевны. Но пугали предчувствия новых еще более стихийных и жестоких революционных потрясений, угрожающих самым основам цивилизации.

«Я не впервые видел панику толпы, — читала Ольга Юльевна горьковскую статью о петроградских расстрелах 4-го июля, — но никогда не испытывал я такого удручающего, убийственного впечатления»...

Начитавшись до головных болей, Ольга Юльевна терялась в хаосе этих пророчеств, упреков, требований и критических оценок близкого будущего. Иногда она делилась прочитанным с госпожой Мигуновой. Этой соседке, матери Рониного друга Глеба, Ольга Юльевна иногда читала вслух статьи из «Летописи» и «Новой Жизни». И вот, летом 1917 года, при мамином чтении горьковского очерка об июльских событиях, Роня уловил приятно звучавшую фамилию ЛЕНИН рядом с уродливым словом БОЛЬШЕВИКИ. Писатель Горький отзывался о Ленине и большевиках далеко не одобрительно. «Ибо», — подчеркивал Горький, — ему, мол «ненавистны люди, возбуждающие темные инстинкты масс, как бы ни были солидны прежние заслуги этих людей перед Россией»...

— Кто такие «большевики»? — спросил Роня у матери. Слово-то казалось не вовсе незнакомым. Ивановские мальчишки употребляли его в своих разговорах. — Чего хотят они, эти самые большевики?

— Это сложно объяснить тебе, — сказала мама. — Есть несколько революционных партий. Например, социал-демократы. Они разделились на фракции большевиков и меньшевиков. А хотят они все только одного: прийти к власти.

— Значит, большевики хотят больше, а меньшевики — меньше? — допытывался Роня.

— Ну, приблизительно так, — соглашалась мама. — Однако, меньшевики уже участвуют в нынешнем правительстве, а

большевики — против. Они хотят, чтобы был еще один переворот. Тогда они тоже пришли бы к власти, но едва ли это когда-нибудь случится, а тем более что-либо поправить...

Из других газет мама узнала о большевиках и Ленине совсем загадочные вещи. После начала Колиных дежурств по ночам у квартиры Вальдеков, интерес к политике появился и у скромной фрейлейн Берты. Поэтому мама теперь читала и ей вслух многие газетные сообщения. Роня иногда помогал маме переводить их на немецкий, практики ради. Да и вести были волнующе-интересны, прямо, как приключенческий роман...

Оказывается, большевик Ленин до весны 1917 года жил далеко за линией фронта, в Швейцарии. Попал он туда из Австро-Венгрии, где был врасплох захвачен началом войны. Австрийская полиция в августе 1914 года интернировала Ленина как представителя враждебной державы, однако австрийские социал-демократы заверили императора Франца- Иосифа, что один Ленин обладает большей разрушительной силой, направленной против России, чем сто германских армий. Поэтому, император согласился не лишать Ленина свободы действий и велел выслать его в нейтральную Швейцарию.

После же революции в России Ленин весьма странным образом приехал в Питер.

Оказывается, помогли ему наши злейшие враги — германцы. Сначала они нащупывали почву, подсылая к Ленину доверенных лиц. Потом один из приближенных к Ленину людей, швейцарский коммунист, тайно ездил в Германию и вел переговоры с генералом Людендорфом и офицерами германского Генерального штаба. Была достигнута договоренность как перевезти Ленина и его спутников-большевиков через всю Европу в Петроград. Ленина и других большевиков спрятали в запечатанном и опломбированном вагоне и в таком виде провезли по германским землям, наподобие опасного, заразного груза. Минуя рубежи фронта, запломбированный вагон с Лениным прибыл в нейтральную Швецию, где и был распечатан. Далее, Ленин со спутниками, не задерживаясь в Стокгольме, уже в обыкновенных поездах проехали по Финляндии прямо в самую столицу России — Петроград.

— А зачем же немцы помогли им приехать в Россию? — спрашивал Роня.

— Чтобы уговорить русских солдат прекратить войну с Германией и повернуть винтовки против собственного командования, — объяснила мама.

Немного позднее в газете «Русское Слово» было написано, что Ленин — опаснейший германский шпион, а большевики —

просто-напросто агенты, желающие поражения России. Роня уже было проникся к ним полным презрением, однако уличные ребята толковали насчет большевиков совсем по-другому.

Ни про Ленина, ни про запломбированный вагон они вообще ничего не знали, отнеслись к этим вестям недоверчиво, насчет же большевиков заявили, что это — рядовые рабочие, ни в каких Швейцариях отроду не бывавшие, что они умеют крепко стоять за свое кровное рабочее дело, а очень многие были на фронтах и даже получали кресты и медали. Вот тут и разберись в политике!

...Утратив шансы сберечь свою недвижимость, домовладелец Ознобин не стал более возлагать неоправданных упований на Думский комитет и его актив, а порешил, пока не поздно, поскорее избавиться от обременительной собственности. Смельчак-покупатель нашелся довольно быстро, прельщенный садом и добротою всего строения. Ольге Юльевне пришлось подыскивать новую квартиру. Затевать судебное дело ей не хотелось, и она выбрала второй этаж, комнат в двенадцать, углового каменного дома Головиных близ храма Ильи-Пророка. Обрадованный новый владелец ознобинского особняка, не ожидавший такой покладистости от офицерской семьи, обязался за свой счет и весьма бережно перевезти всю обстановку семьи Вальдек в новые стены

Из-за подготовки к переезду семья и задержалась в городе дольше обычного. Готовились переезжать долго и так тщательно, что управились за день: вечером дети укладывались спать уже в новом жилище. Оно понравилось всем домочадцам. Внизу находилась чистенькая булочная, а со двора, из пекарни, вкусно пахло свежим хлебом. Окна жилых комнат во двор не выходили — глухой брандмауэр отделял квартиру от дворовых сцен, звуков и запахов. Из жилых покоев глаз отдыхал на свежей зелени чужих садов, а в отдалении возносилась к небу колокольня Ильинского храма, задумчивого и серьезного, не изобилующего украшениями, но на редкость задушевного. Госпожа Вальдек уже успела заручиться согласием соседних домовладельцев Прокофьевых, чтобы дети могли играть в их чистеньком, хорошо прибранном и ухоженном саду со многими клумбами, «гигантскими шагами», качелями и гамаком.

Когда в новом доме все было налажено, перевезены запасы из погреба в погреб и опробованы все квартирные службы — кухня, водопровод, сарай и баня — она была в хозяйском, головинском дворе через улицу и топилась по-деревенски — Ольга Юльевна оставила в новом жилье Марью и Зину, а сама отправилась с детьми отдыхать на Волгу, в монастырскую слободу Решму, что в 23-х верстах ниже Кинешмы. Помощницу для нехитрого дачного

хозяйства сыскать на месте было в те годы нетрудно!

Плес и Решма с некоторых пор стали входить в моду как лучшие по красоте уголки на Верхней Волге.

Ведь вообще-то говоря, русские люди спокон веку склонны были считать родную природу скромной и бедной. Красивой почитали Францию, Италию, Швейцарию, либо, уж куда ни шло, хвалили Кавказ или Крым. Только в прошлом столетии отечественные пейзажисты, особенно Левитан и Шишкин, прямо-таки открыли сокровенную, сердце щемящую красу наших северных лесных далей, сумерек в лугах, неторных полевых дорог, безлюдных равнин и волжских берегов с часовнями среди еловой хвои. С той поры и приохотился российский интеллигент из губернских и столичных городов увозить летом свое семейство на Волгу, куда-нибудь в Юрьевец, Пучеж, Плес или в Решму.

Из Иваново-Вознесенска ездили в Решму поездом до Кинешмы, а там — вниз по Волге пароходом. Пока от кинешемского вокзальчика тряслись на извозчике к пристани, дети в пролетке стояли и вытягивали шеи — кто раньше увидит Волгу! И всегда ее ширь оказывалась еще могучей, великолепней, чем хранилась в памяти.

Пароход прощался с Кинешмой ритуальной серией свистков. Сперва — три толстых, для пассажиров, потом — два тоненьких, для отдачи чалок. Если бы в эту традицию внесли хоть малейшую перемену, Роня счел бы себя просто ограбленным. Но ритуал соблюдался строжайше, и радостное ожидание этих звучных басистых раскатов над Волгой никогда не обманывало. По заключительному тоненькому свисточку падал в воду кормовой канат и вахтенный помощник, если не сам капитан, волшебной своей властью выводил пароход на фарватер. После тихо сказанных слов в переговорную трубку: «Вперед, до полного!», он вставлял в раструб деревянную затычку и удалялся с мостика в штурманскую рубку. После этого можно было и Роне уходить с палубы из-под мостика, чтобы показать Вике машину, паровую лебедку, брашпиль, якоря, кнехты, а заодно растолковать надписи «старший механик», «боцман» или «гард-манже». Роня уверенно разъяснял сестричке, что в этом заповедном «гард-манже» буфетчик должен перед каждой едой выстроить все блюда на парад, принимать который является из рубки сам капитан. Потому-то за столиками в салоне и приходится всегда так долго ждать.

Пока дети, обегав весь пароход, добирались до кормы и оглядывались на милую Кинешму, она уже еле виднелась из-за кормовой спасательной шлюпки. Сиял только крест соборной

Троицкой колокольни, смутно угадывались торговые ряды, а пароход отвечал свистками встречным буксирам, на мостике то и дело полоскался белый флажок-отмашка и оставались справа красные корпуса томненской фабрики, будто дети проплывали на пароходе мимо привычного своего Иваново-Вознесенска. Мама напоминала, что здесь, в Томне, директором — не кто иной, как Александр Матвеевич Благов, хороший папин знакомый, избежавший призыва в армию (в этом мамином замечании дети ощущали некий оттенок тайного упрека инженеру Благову).

За томненской фабрикой начинались перелески, деревни, старые придорожные ракиты, а с волжской воды постепенно исчезали фиолетовые нефтяные разводы. Роня встречал знакомые речные плесы будто под неслышную музыку, идущую прямо из сердечных глубин. Сизые заволжские дали никаким иным словом выразить было нельзя, кроме как русские.

Шел пароход, и плыли назад облака, белые храмы и темные ели; западал в душу каждый овражек с пересохшим ручьем, стадом на водопое среди илистого прибрежья, деревенским мостиком, дорогой по косогору, ветлой у колодца. Взбивали колесные плицы два рядка убегающих волн и ластились они за пароходом к отмытым добела песчаным отмелям. Мальчишки-купальщики покачивались на вспененных валиках-волнах. Избушки бакенщиков до того казались малыми, будто их добрый леший ставил для детских игр, только шесты полосатые и сигнальная снасть выдавали, что не сказочные это избушки, а служебные, для безопасности пароходов.

Было нечто горделивое в посадке гребцов на рыбачьих лодках, да и в самой форме суденышек. Ближе к носу двое гребцов часто сидели рядом и действовали каждый своим веслом без видимого усилия, почти не двигая корпусом. Нередко гребцами бывали муж и жена, весло же рулевое, кормовое, доверялось рукам мальчишеским, а то и девичьим. Волгари!

Не поспеешь полюбоваться Волгой, всему всласть нарадоваться, а уж чалится самолетский «Князь Иоанн Калита» либо кавказ-меркурьевская «Императрица Мария» — впрочем летом 17-го уже переименованная — к своему решемскому дебаркадеру[29].

Береговой откос над глинистым обрывом, весь в лопухах, кипрее и мать-мачехе, тяготеющей к сырости и тени, поверху завершен выбеленной кирпичной стеною Решемского Макарьевского женского монастыря. Настоятельницей его была женщина умная и строгая. Знали обыватели, что она — старшая сестра знаменитой, уже входящей в мировую славу артистки Большого Театра в Москве, балерины Екатерины Васильевны

Гельцер. Пережив глубокую сердечную драму, отклонив увещевания младшей сестры-артистки, старшая затворилась в монастырской обители и сумела так образцово поставить сложное и обширное хозяйство, что слава Решемского-Макарьевского вскоре пошла по всей Волге. А ее, матушку, рачительным домоводством удивить было не просто! Она-то умных хозяев знавала!

Снизу, с парохода, белые башенки-часовни резко отчеркивали монастырскую ограду от строений посадских, слободских. Хороши были шатры решемских колоколен — ярославская кладка, стремящаяся к особенной стройности, резные оконца-слухи среди свежей побелки, смелый взлет креста к облакам, реяние голубиных крыл над перекладинами крестов.

Созвучие с таким же крутым взлетом ввысь могучих монастырских елей, иссине-лиловых, до черноты!

Решемские стены, шатры и ели православная Русь помнит с пятнадцатого столетия, только в те времена здешний монастырь был мужским, вплоть до конца прошлого века.

На ранних зорях к осветленным покраскою соборным главам никли прядки испарины от сохнущей росы, и тогда монастырские купола теряли неподвижность. В мареве утренней росной дымки луковки куполов колыхались и дрожали в небе, как пламя зажженных Богу свечей.

Девятилетний Роня обрел здесь первого друга, только не однолетка, не сверстника. Мальчика сразу потянуло к соборному священнику отцу Ивану, с первой улыбки и приветливого взгляда. Был отец Иван очень красив, с тонкими, но очень сильными пальцами, шелковым отливом каштановых волос, музыкальным голосом, похожим на папин, но повыше. Происходил он из строгой дворянской семьи, окончил Духовную академию, но отказался от легкой столичной карьеры. Сам напросился ехать служить в заволжское село. О нем по-соседству прослышала решемская игуменья и уговорила перейти в женский монастырь. Было это еще до войны.

Война же эта чадила и грохотала вот уж четвертый год, и все глубже вязли расписные спицы российской тройки в безнадежно разъезженные военные колеи! Уже нетерпеливо дыбились кони, а возница по-прежнему понукал их вперед, в гиблое месиво фронтов. Правил теперь российской государственной колесницей Александр Федорович Керенский, адвокат и эсер. Мама отзывалась о нем с пренебрежением и злостью: ни Богу свечка, ни черту кочерга! Не такой, мол, надобен глава — молодой, неокрепшей российской демократии! Немецкая же армия, терпя поражения на Западе, мнила возместить их тупым, роковым

нажимом на Востоке, грозя надломить самые опоры новой России. Когда же Александр Федорович побудил Ставку Верховного Главнокомандования предпринять отчаянное летнее наступление против немцев под Тарнополем, германский Генеральный штаб ответил сокрушающим контрударом, разгромившим русский юго-западный фронт. Войска этого фронта откатились далеко назад, и более 60 тысяч российских защитников угодили тогда за колючую проволоку немецких лагерей для военнопленных.

Не успела русская армия оправиться от этого потрясения, как на западном фронте генерал Корнилов сдал германской армии Ригу, открывая фланг для удара по Петрограду. Сделано это было с глубоким расчетом, но Керенский не смог или не захотел понять его. Совесть и государственные интересы России, как он понимал их, не позволили ему пойти на сговор с мятежным генералом или на сделку с противником. Зато как быстро преуспели на этом поприще сменившие его правители...

Дурные вести с полей сражений доходили с опозданием до жителей Решмы. Задерживались и папины письма, поступавшие из Галиции. Писал он все короче и туманнее, понятно было лишь, что командует теперь бригадой гренадеров-артиллеристов и находится на передовых. Отец Иван научил Роню молиться за папу и его солдат русскими молитвами. Мальчик верил в их спасительную силу, в отличие от молитв немецких, лютеранских, которые, по здравому размышлению, могли помогать только Вильгельму. Решемский священник часто брал мальчика в алтарь монастырского собора, где Роня с замиранием сердца следил за священнодействием у престола, приготовлениями к таинству причащения и сам причащался первым.

Отец Иван именовал мальчика не Рональдом, а Романом и советовал Ольге Юльевне не идти против желаний сына и торжественно свершить над ним обряд православного крещения по всем правилам. Ольга Юльевна же отнекивалась, говорила, что такой выбор требует рассуждения более зрелого, но, впрочем, добавляла, будто обряд православного крещения только без всякой торжественности, уже был над Роней совершен в дни его младенчества, когда его, полугодовалого, впервые привезли в Решму и предшественник отца Ивана, прежний соборный батюшка-благочинный, по собственному разумению «перекрестил» лютеранского младенца. Выходило, будто именно тогда и наречен был мальчик благоносным именем Роман — во славу преподобного сладкопевца, о чем даже совершена была и запись в церковных книгах. В присутствии Рони родители намекали на это странное обстоятельство как-то смутно и

обиняком, прямых вопросов избегали, и Роня чувствовал, что неопределенность эта связана с родительскими тревогами о будущем. Мол, при надвинувшихся событиях мыслимо ли предусмотреть, куда еще занесут ветры судьбы утлую семейную ладью и разумно ли поощрять детские Ронины склонности, если они могут пойти вразрез с вековыми традициями рода Вальдеков и семейства Лоренс?

Отцу Ивану вся эта неопределенность не нравилась. Склонности же Ронины едва ли можно было считать совсем уж детскими.

В Решме у него появилось смутное чувство духовного освобождения. Будто ослабевала над ним власть внутренне чуждой ему традиции, унаследованной от поколений балтийских и германо-скандинавских предков. Традиции эти отзывались в Рониной душе тревожными вагнеровскими фанфарами, неясными картинами готических башен и дальним звоном норманнских мечей. И, верно, именно оттуда, из этого средневекового сумрака, перекликаясь с вещим предчувствием всемирнокровавого завтра, тянулись к мальчику по ночам пугающие призраки, страшные сплетения тьмы прошлой и будущей.

Но здесь, в волжском селе, мальчик на свое счастье очутился в тогда еще нетронутом деревенском царстве русского православного духа, слитого с русской природой. Волжские деревни — самые независимые на Руси, самые вольные, не считая особо привилегированных областей, вроде казачьих. Волжанам как-то ничего не навязывали: ни убеждений, ни верований, ни привычек. В волжанах все было органично, от природы. Люди не притворялись добрыми — они ими были.

Вместе с чувством слияния, единения с этим народом, с духом и верой родины, мальчик ощутил и полное избавление от ночного гнета, от своих неотвязных кошмаров, снов и галлюцинаций. Помог этому, конечно, и отец Иван.

Решемский пастырь серьезно отнесся к Рониным признаниям на исповеди. Понял он главное: у мальчика нет духовной опоры, чтобы одолеть свои наследственные и провидческие мучения. И, как символ раскрепощения духа из-под власти тьмы, он подарил мальчику афонскую реликвию.

Это был восьмиконечный крестик из кипариса, окованный узкой серебряной лентой. В нижнюю перекладину у прободенных ступней Спасителя вделана была частица мощей преподобного Афанасия. С минуты, когда отец Иван благословил духовного сына этой реликвией, Роня поверил в свое раскрепощение от страхов. Он даже полюбил тишину и величие ночи.

* * *

В середине сентября 1917 года Ольга Юльевна вернулась в свою новую ивановскую квартиру. Марья и Зина не слишком потрудились к приезду хозяйки. Вопреки полученным ими хозяйственным распоряжениям из Решмы, квартира имела почти тот же вид, что и при отъезде семьи на Волгу. Кресла и рояль в гостиной стояли в чехлах, даже с постелей не убрали пропыленных за лето пологов, а на обеденном столе лежало непривычное покрывало с аппликациями, не парадная скатерть, а безобразная зеленая клеенка, как у иных волжских мужиков побогаче. Мама рассердилась было, потом махнула рукой…

И хотя из двенадцати комнат квартиры две отводились Роне и Вике, вместо одной детской в ознобинском доме, жизнь детей, да и всей семьи так и не вошла в старое русло.

Не хватало в новом доме прежней безмятежности, какой-то легкости, налаженности раз и навсегда, всеобщего благожелательства и само собой разумеющейся исполнительности. Не только прислуга, но даже Роня с Викой за это лето разучились жить по расписанию и приспособились хитроумно уклоняться от обязанностей. Жизнь будто скособочилась, как повозка на плохой дороге.

Со двора уже не пахло печеным хлебом — хозяин запер свою пекарню на замок. Два старика-пекаря пошли жаловаться на него в Совет, но там объяснили, что открывать пекарню пока незачем — муки дают по шесть фунтов на едока, женщины варят из нее похлебку, где уж тут хлеба печь из шести фунтов в месяц!

— Сколько крупчатки припасено у нас в погребе? — осведомилась Ольга Юльевна у кухарки Марьи.

— Да не больше мешков шести, — хмурилась та. — За зиму вся подберется.

Новые какие-то пошли словечки о еде — крупчатка, постное масло, отруби (говорили, что их велено подмешивать к муке при выпечке хлеба), конина. Сероватым становилось домашнее бытие…

А в гимназии, где уроки казались Роне томительно нудными, потому что ни разу не услышал он в классе о чем-либо незнакомом, чего не проходил бы с Колей, мамой или Оленькой Кочергиной. Некоторые мальчики из офицерских семей глухо щушукались о корниловском мятеже в Петрограде. Роня стыдился, что в его домашнем бабьем царстве потолковать про это было не с кем, и лишь краем уха доходило до него от одноклассников, зачем генерал Корнилов вел войска с фронта к столице. Судя по словам этих гимназистов, в одних семьях

мятежного генерала осуждали как искусителя на народную свободу, другие же считали действия Корнилова последней соломинкой для утопающей России.

Как-то во время урока русского, когда ученики писали изложение рассказа Толстого «Акула», учитель куда-то вышел из класса. Скоро двери распахнулись резко и на пороге появились старшеклассники, человек до десятка.

— Кла-а-сс! Встать! — скомандовал старший из них. — Кто за сицилистическую революцию — давай за нами! Выходи в коридор!

Из-за парт несмело поднялись и двинулись было к двери пятеро учеников. Среди них — бедный, слабый здоровьем еврейский мальчик Илюша Моисеев, Ронин приятель. Великовозрастные верзилы восторженно приветствовали этого добровольца:

— Тебя-то нам и не хватало! Давай, давай с нами, сицилист!

Один из пришельцев подошел к Рониной парте и вдруг ухватил «за грудки» Мишу Волкова, соседа Рони Вальдека.

— Чего не идешь? Ты же — за сицилизм, а?

Миша, купеческий сынок, с социализмом имел маловато общего, слегка побледнел и начал было слабо отнекиваться от «сицилизма», ибо в поведении верзилы была явная угроза, но тут вернулся учитель, резко погнал пришельцев из класса, а ученикам велел вернуться к занятиям. Оказывается, вся эта операция была придумана несколькими великовозрастными сынками ивановских мясоторговцев. Они выводили школьных «сицилистов» из классов в укромное местечко, где и выколачивали революционный дух из добровольцев, может быть восплачут и покаются. Почему-то у Рони Вальдека возникла тогда совершенно невольная ассоциация между этими усмирителями и неведомыми корниловцами...

Вскоре Роню пригласил директор гимназии и, тоном взрослого, говорящего со взрослым, пояснил третьекласснику, что ему по желанию отца предстоит перевод в Ярославский кадетский корпус.

— Вы — сын заслуженного офицера Действующей армии революционной России, — сказал директор. — Желаю вам успешно кончить корпус!

Через день в квартире Вальдеков появился веселый поручик Чижик, брат решемского священника отца Ивана. Так было договорено в письмах между папой, мамой и начальством Ярославского корпуса, впрочем официально уже переименованного в Военную гимназию. Называли его по-прежнему корпусом.

Все, что потом происходило в течение шести недель в стенах Ярославского корпуса, осталось в Рониной памяти как смутная полоса теней, бегущих словно в тумане, или как неотфокусированный фильм на экране. Было чувство потерянности и полного одиночества в толпе чужих, странно одинаковых мальчиков. Не удались попытки сблизиться ни с одним соседом по спальне, классному помещению или строю. Ответы на уроках вызывали смех учителя и класса — неизвестно, почему. Видимо ответы звучали слишком «штатски» и не отчеканивались как следовало. Подверглась осмеянию небольшая шашка, отлично сработанная папиными солдатами в подарок командирскому сыну и не допущенная здесь даже в раздевалку. Шашку куда-то унесли, а потом просто украли...

Наконец, по истечении шести трудных недель, в корпусе вновь появился поручик Чижик, однако уже в штатском. Мальчика повезли назад, поездом из: Ярославля в Иваново-Вознесенск. И было это через несколько суток после того, как в Петрограде совершилось давно ожидавшееся падение российского Временного правительства Александра Федоровича Керенского.

До корпусных кадетов никаких сообщений об этом событии дойти еще не успело, как в налаженном ходу учебной жизни начались перебои. Воспитатель Рониного класса весьма холодным и недобрым взглядом смерил Роню, когда тот простодушно и во всеуслышание заявил, что ивановские уличные ребята ждали свержения нынешнего правительства и прихода к власти большевиков никак не позднее 20 октября.

Воспитатель переспросил, какую дату большевистского переворота предсказывали ивановцы, и Роня со всей ответственностью повторил, что событие это опоздало на пять суток, но, мол, дивиться этому обстоятельству вряд ли следует, ибо паровоз истории ходит лишь по приблизительному расписанию...

Была ли причиной Рониного поспешного отъезда из корпуса его неудовлетворенность этим заведением, о чем он успел написать домой, или отец в связи с новыми событиями решил изъять сына из военно-учебного заведения, сам Рональд впоследствии не выяснял, но избавлению от корпусной жизни радовался. Он вернулся к ивановским пенатам в те самые дни, когда почта перестала доставлять Ольге Юльевне привычные ей московские и петроградские газеты, а из Москвы пришла телеграфная весть о победе большевиков, силой оружия захвативших власть также и в древней столице. Оказалось, что в этой московской большевистской победе участвовали и ивановцы, ездившие в Москву воевать за новую власть.

Ездившие скоро вернулись, и город Иваново-Вознесенск буквально заполнился слухами и рассказами очевидцев о свежих московских событиях. В отличие от бескровного петроградского переворота 25 октября, в Москве разгорелись серьезные уличные стычки, в которых погибло более тысячи человек за неделю боев, был заметно поврежден древний Кремль и некоторые другие исторические здания, и что сброшены со своих пьедесталов прежние царские памятники. Первым рухнул вместе с троном массивный Александр Третий у Храма Христа Спасителя... Порядок постепенно восстанавливается, жертвы боев похоронены в нескольких братских могилах под кремлевской стеной близ Сенатской и Никольской башен на Красной площади, власть называется советской, вместо министров стали теперь Народные комиссары — и все станет вскорости, именно так, как о том мечтали лучшие умы человечества...

Впрочем, на этот счет мнения довольно резко расходились и у живых очевидцев московских событий, и на газетно-журнальных страницах, доступных семьям обывателей. Так, газета «Новая Жизнь» еще сравнительно регулярно поступала из Петрограда. Вечерами Ольга Юльевна вслух читала статьи Горького под названием «Несвоевременные мысли».

Вот что он писал тогда о революционных событиях сразу после большевистского переворота:

«...Я верю, что разум рабочего класса, его сознание своих исторических задач скоро откроет пролетариату глаза на всю несбыточность обещаний Ленина, на всю глубину его безумия и его Нечаевско-Бакунинский анархизм»...

«...Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт... Может быть, он надеется на чудо? Рабочий класс должен знать, что чудес не бывает, что его ждет голод, полное расстройство промышленности, разгром транспорта, длительная кровавая анархия, а за нею — не менее кровавая и мрачная реакция».

«Ленин — вождь и русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу... Жизнь, во всей ее сложности, не ведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с нею, но он по книжкам узнал, чем можно поднять эту массу на дыбы, чем всего легче разъярить ее инстинкты...»

Так откликнулся крупнейший демократический писатель России, которого впоследствии назовут зачинателем пролетарской литературы и отцом социалистического реализма, на большевистский переворот, в самые первые недели новой

власти народных комиссаров... Все цитаты взяты здесь из тогдашних номеров горьковской «Новой Жизни».

В обывательских же семьях об этой большевистской революции и узнали-то не сразу. В отличие от революции Февральской, прогремевшей на всю страну как весенняя гроза, революция Октябрьская скорее вкралась, чем ворвалась в рабочее Иваново. Она поначалу мало что переменила и даже не воспринималась как действительно исторически значительное событие. Оно было... в ряду тех сейсмических толчков, какие неизбежно ожидаются и действительно происходят вослед первоначальному вулканическому взрыву — российскому февралю, потрясшему планету!

...В конце года у семьи Вальдек не хватало дров, чтобы согревать все двенадцать комнат и кухню. Обе детские и два кабинета пришлось замкнуть — их перестали отапливать. Холодно стало и в гостиной, имевшей общую печь со столовой. Кухарка Марья и горничная Зина простились с хозяевами и уехали по своим деревням. Какие-то женщины из рабочих семейств приходили помогать Ольге Юльевне со стиркой и мытьем полов.

А перед Рождеством в запущенную квартиру вдруг ввалилось до взвода солдат-артиллерстов. Это Ревком расформированной Гренадерской Сибирской артиллерийской бригады выделил эскорт для сопровождения своего командира «до хаты», как выразился бывший денщик, а ныне вестовой Никита, внося в прихожую папину походную кровать в брезентовом чехле, обе папины шашки и собственную, Никитину винтовку.

— Надолго? — только и могла выговорить Ольга Юльевна, рыдая у папы на шее.

— Мабудь, и на завеим! — поспешил утешить ее Никита, делая глазами знаки остальным солдатам, дабы те не мешали жене выплакаться и не слишком гремели отсыревшими сапожищами...

Глава пятая. «УЖ БОЛЬНО БАРЫНЯ ХОРОША»

Какие прекрасные лица!
И как безнадежно бледны.
Наследник. Императрица.
Четыре великих княжны.
Георгий Иванов

1

Поезд-максим из десятка разномастных пассажирских вагонов и стольких же товарных теплушек, оборудованных печками-буржуйками, медленно подвигался к Москве. В апреле 1919 года железнодорожное путешествие в Москву из Иваново-Вознесенска занимало неделю.

Стороннему наблюдателю первых лет русской революции могло бы почудиться, будто вся Россия, презрев неимоверные дорожные тяготы, снялась с насиженных мест и пустилась в кочевье, на колесах, полозьях и даже пешком, совсем как в давнем столетии великого переселения народов.

От своих родителей мальчик Роня Вальдек слышал уже не раз, что еще с самого семнадцатого года начался великий прилив к Москве и губернским городам России еврейских переселенцев из бывшей черты оседлости, в особенности из Белоруссии, Польши, Литвы. Толковали родители об этом между собою скорее одобрительно, но иные взрослые, из тех, кто в дни войны ворчали насчет немецкого засилья, ныне опасливо качали головами по поводу засилья новых приезжих. А Ронин сосед по парте, купеческий сынок Миша Волков, тот и вовсе затосковал, уверяя, что они непременно доведут матушку Россию до полной беды. Будто, мол, повинуясь тайной команде, накатывают они широкими приливными волнами на прежде недоступные столичные берега, получают ордера на вселение в буржуазные квартиры, или, поначалу, снимают клетушки по окраинам, быстро заполняют приемные залы и аудитории средних, а то и высших учебных заведений, вспомогательных курсов и краткосрочных политшкол, где их принимают особенно охотно.

Из разговоров обывательских юный Вальдек слышал, будто еврейский переселенческий поток устремился и в русло военно-политическое, в канцелярии военкоматов и в органы ЧК. Попутно оседают эти пришельцы на товарных складах, в продовольственных базах, в аптеках, лечебницах, равно как в банках и кассах. Но это еще что! Ибо одновременно с внутрироссийским потоком евреев наблюдается прилив их единоплеменников из-за рубежа! Эти иностранные единоплеменники уже начали, мол, обживать просторный серый дом, отведенный на улице Моховой, за Манежем и кремлевской башней-Кутафьей, под некое вовсе неведомое прежде учреждение — «Коминтерн».

Классическое здание Манежа, занятое под кремлевский гараж гостиницы «Гранд-Отель» и «Континенталь» с окружающими их

строениями, да еще прославленная своими звонарями церковь Параскевы Пятницы отделяли серый дом коминтерновцев от полуразгромленного старомосковского Охотного ряда. Уцелевшим охотнорядцам новое соседнее учреждение казалось не то всемирным кагалом, не то вавилонским столпотворением, воскрешенном в красной Москве после первой неудачи в допотопные времена... Сказывали, что и в кремлевских помещениях, лишь недавно освобожденных от монахинь Вознесенского и старых иноков Чудова монастырей, равно как и от царских чиновников, ныне хозяйничают еврейские комиссары в кожаных куртках, и нет больше ходу в Кремль ни к российским святыням, ни к царь-пушке и царь-колоколу. Заперлись там комиссары с Лениным и Троцким во главе!

К негодованию старых москвичей нынешняя столичная речь стала быстро приобретать новые провинциальные акценты и новую лексику. Это ощутимо и в газетах, и в лозунгах уличной пропаганды, наносимых краской на глухие каменные стены, и особенно — в агитках пролеткульта. Про все это со священным ужасом писала Вальдекам в Иваново-Вознесенск тетя Аделаида Стольникова из Москвы, и письма ее вызывали у Ольги Юльевны дрожь.

Носители новомосковского жаргона теперь грубо теснят или вовсе сменяют прежнюю российскую интеллигенцию, еще так недавно жаждавшую демократического преобразования России. Ныне же эта старорусская интеллигенция отвернулась от жестокой действительности преображения большевистского! Она не приняла и осудила Ленина с Троцким, их кровавые декреты, их безжалостную диктатуру. Осудил их поначалу и неоинтеллигент Максим Горький, выходец из социальных низов и в прошлом — близкий друг Ленина, Луначарского и других нынешних вождей. Вот потому-то, на смену прежним столичным и губернским интеллигентам получившим презрительную кличку гнилой интеллигенции, и хлынул доброхотный прилив из провинции.

Вместе с такими искателями революционного счастья стремится к большевистской Москве и великое множество товарищей командированных, военных и гражданских, одиноких и семейных. А попутно текут и текут в столицу дельцы-спекулянты в чаянии поживы. В Москву они тайком доставляют запретные яства и пития для черного рынка, назад же увозят иностранные банкноты (их стали называть «валютой»), золото и бриллианты. Самые смелые из дельцов тоже оседают в красной столице, пристраиваются к каким-нибудь комиссариатам или комитетам, чтобы вскоре перейти к различным тайным махинациям и предприятиям, в расчете на политические

перемены.

Ленинский лозунг «кто не работает, тот не ест» превратил всех взрослых горожан в работающих по найму, за вычетом одной человеческой категории — домохозяек. Возникло новое слово иждивенцы. Однако дамы-иждивенки награждались соответственно их малым гражданским заслугам и столь мизерным пайком (тоже неологизм революционной поры), что и они норовили скорее записаться в разряд совслужащих, чьи пайки были все же чуть ощутимее иждивенческих. Их нормы называли издыхательной.

Шли из столиц и потоки «отлива».

Тихо утекала российская интеллигенция, вслед тем, кто еще до волны красного террора поспешил под трехцветное знамя корниловцев, калединцев, красновцев, деникинцев, либо уже двигался по Сибири за чехословацкими легионерами и колчаковцами, или же пробирался на холодный Мурман в надежде эвакуироваться в Европу на британских и французских военных кораблях. Это, стало быть, утекала из России голубая кровь, инженерная мысль и гуманистические идеалы, так обогатившие Европу, не слишком-то щедро принимавшую своих новых пасынков — из, эмиграсион рюс!

Но самый мощный поток отлива из столиц вызван не прямыми политическими мотивами, а самой элементарной борьбой за существование. Голод в больших городах сделался как бы непременным условием новой жизни. И когда отцам и матерям становится уже непосильно видеть угасание детских глаз и впалые рты их родителей, смельчаки-горожане любых сословий вытаскивают из сундучного нафталина все, что может представить меновую ценность, и начинается отчаянное мешочное путешествие по «провизионке», т. е. особому билету, с правом провести столько-то фунтов провизии. Многие из этих путников заболевают в дороге и оставляют сирот своих на холодную погибель, как щенят в покинутой самкой норе. Иные же мешочники, судьбой посчастливее, ухитряются разжиться мучкой или зерном. С билетом-провизионкой прорываются сквозь кордоны и успевают спасти от голодного конца свои семьи...

Такими вот пассажирами, всех родов, потоков и разрядов был переполнен и тот поезд-максим, что тащился в Москву из Иваново-Вознесенска апрельскими днями 1919-го года.

В одном из средних купе пассажирского вагона размещалось по двое на одной лавке семейство командированного в Москву военспеца Алексея Вальдека и еще одно семейство, тоже командированного, но штатского спеца, инженера Благова. Сверх этих восьми пассажиров ехали в том же купе еще два пожилых

красных командира, попутчики Вальдекам и Благовым до самой Москвы.

Поезд уже достиг станции Александров и стоял здесь в ожидании паровоза вторые сутки. До Москвы оставалось уже немного, одно паровозное плечо, стало быть не более суток пути, если без непредвиденных происшествий. Спали на лавках по очереди, еду потихоньку готовили на керосинке, продукты везли из Иваново-Вознесенска, кое-что выменивали на остановках. Проводником вагона был седой, усатый железнодорожник, более всего заботившийся о сохранности свечных огарков в обоих фонарях перед тамбурами. За легкую продовольственную мзду он не замечал ни керосинки, ни обильной ручной клади, ни относительно малоуплотненного купе (в соседних ехало не по десяти, а по двенадцати человек).

В Александрове Роня с папой и пожилым командиром-попутчиком прогуливались по каменному перрону. Поглядывали на свой, без паровоза вовсе жалкий состав, похожий на обезглавленную гусеницу. Командир, тоже из старых офицеров, по образованию историк, многозначительно толковал о слободе Александровой, времен опричнины и земщины. Роня уже успел про себя отметить, что с самой революции немало досужих умов в России стали вновь обращаться к поре Ивановой, а также петровой. Папа прочитал сыну вслух «Князя Серебряного» и «Медного Всадника». Балладу «Василий Шибанов» Роня давно помнил наизусть.

— Вы, как я чувствую, тоже ощущаете странную близость этих картин нашим дням, — говорил папин собеседник. — И вот нынче сама она перед нами, столь страшная некогда слобода Александровская! Разгуливали здесь и Малюта, и Басманов, и их подручные... Видите монастырские стены и купола? Там, на этом месте, некогда стояли царские терема, и опричный двор был, и подвалы с дыбами... Самое для меня удивительное — до чего же всегда много, под рукою любого жестокого правителя России, таких вот заплечных дел мастеров! В какую угодно эпоху! Иногда палачи — наемные, вроде загадочного Бомелия-отравителя, но по большей части все-таки это свои, доброхотные! Как же мало у нас во все времена Адашевых, Сильвестров или тем паче таких, как митрополит Филипп! При том, заметьте, — ведь ПОСЛЕ-то, в веках отечественной истории, всякая там опричнина, усердие палачей и несправедливость судей представляются нам одной темной безликой тучей, звездами же светят в народной памяти лишь Филиппы и Сильвестры! Таков суд памяти в веках.

— Зато в самый момент свершения властительных расправ тот же народ неизменно рукоплещет властелину и не прочь

закидать камением праведника и смельчака, — заметил папа.

— Ну, это уж скорее чернь городская рукоплещет. Мерзкая, жадная до зрелищ площадная толпа. Едва ли такая толпа сопоставима с понятием «народ». Чернь и народ — вещи разные. Чернь рукоплещет правителю, народ его судит. Однако же, вот уж и паровоз наш подают, стало быть — прощай пока, слобода Александровская... Подадимся поближе к слободе... Лубянской, не к ночи будь помянута!

Про себя Роня знал, что завтра — Вербное Воскресенье, нынче — Лазарева суббота, день последнего чуда, свершенного в земной жизни Иисусом Христом. В первые дни великого поста в одном из Иваново-Вознесенских театральных залов устроен был открытый кинопросмотр заграничного фильма «Жизнь Иисуса» по книге Ренана. Роне особенно запомнилось именно воскрешение Лазаря во избавление любящих сестер Марии и Марфы от непоправимого, казалось бы, горя. Христос одолел смерть Лазареву, а всего неделей спустя скончался сам в смертной муке. Некоторым ивановским приятелям Рони это казалось настолько противоречивым, что не укладывалось ни в какие рамки разумного.

Роня же скорее сердцем ощущал, нежели умом постигал правду. Заключалась она в том, что Христовы муки были добровольны.

Именно Голгофа стала наивысшим примером жертвенности, а смысл жизни человека на Земле, видимо, в том и состоит, чтобы самому не устрашиться страдания, когда совесть подскажет: так нужно людям! Наградою же за труд и скорбь будет ни с чем не сравнимая радость чистой совести, исполненного долга и приобщения к воскресшему Христу.

Примерно так Роня усвоил поучения решемского отца Ивана. Почему-то и эти мысли в нынешнюю пору казались удивительно нужными и важными.

Тряский путь от Александрова, сквозь ничем не озаряемую мглу длился уже долгие часы. На каком-то перегоне пассажиры узнали, что топлива в тендере больше нет. Роне осталось неизвестным, было ли последовавшее мероприятие заранее предусмотренным, или, так сказать, проявлением стихийной пассажирской инициативы, но ему очень запомнилась сама операция, в которой участвовал и он.

Оказалось, что невдалеке от места вынужденной (или предусмотренной) стоянки эшелона находится лесосека со штабелями сосновых дров. Пассажиров попросили выйти из вагонов и построиться в длиннущую цепь, от лесосеки до паровоза. По этой цепи весьма быстро и до удивления споро

пошли дрова. Труднее всего было подавать их на тендер, где тоже распоряжались и работали пассажиры, под присмотром машиниста и помощника. Через час или полтора гора дров над тендером выросла до нужной высоты, паровоз задышал ровнее и сильнее, люди разошлись по вагонам, вытряхнули снег из валенок и ботинок, разместились по своим полкам и... тронулись дальше еще до света.

Кое-как уснув, Роня еще несколько раз просыпался от чужого махорочного дыма, наползавшего в купе со стороны или от перебранок кондуктора с толпами чужих, желавших тоже втиснуться в вагон. Кстати, дольше всего такая жестокая перебранка кипела еще перед Александровом, на станции со сказочным названием Берендеево...

Впрочем, для ночных тревог и тяжелых сновидений были у Рони и свои причины, совсем новые, поважнее прежних, уже забытых...

Дома, в Иваново-Вознесенске, в этот раз не было обычной предотъездной радости. Не дорожные трудности страшили Рониных родителей, — как известно, Господь милостив и к плавающим, и к путешествующим. Но отъезжало семейство Вальдек в предвидении опасностей почти апокалиптических, связанных с переменой местожительства всех тех людей, кто мог быть причислен к бесправным париям страны коммунизма, к так называемым бывшим...

Роня осторожно ворочался на своей верхней полке, чтобы не потревожить безмятежно спавшую Вику. В полусне и наяву мальчик опять переживал день отъезда...

...Уже все было уложено. Против ожидания, ручной клади оказалось все-таки много, хотя бывший папин денщик Никита уехал вперед с частью вещей, а с собою брали в вагон лишь самое необходимое. Все остальное имущество, даже мамину инкрустированную шкатулку с «движимыми ценностями» пока оставляли в Иваново-Вознесенске, только не на прежней большой головинской квартире, а в двух комнатах соседнего, прокофьевского дома. С семьей Прокофьевых Вальдеки успели подружиться и оставляли имущество на их попечении. Роня трудно расставался с 14-летней прокофьевской девочкой Нюрой — они друг к другу привыкли и о многом думали одинаково.

Знакомый татарин подал к прокофьевскому крыльцу большие ломовые сани и поехал с вещами на вокзал, а вся семья Вальдек простившись с друзьями, медленно направилась к поезду-максиму пешком. В последний раз они все вместе прошли знакомыми окраинными улицами Иваново-Вознесенска.

Вот тут-то, на этом трехверстном пути, родители кое-что

приоткрыли Роне и Вике.

Папа начал про это так:

— Детки! Вы у нас еще маленькие, одному — одиннадцать, другой — семь всего. Мы с мамочкой хотели подольше скрыть от вас многое, что вас очень огорчит и опечалит. Но больше скрывать нельзя: в Москве вы все равно узнаете обо всем этом...

Мама перебивала папину речь предостерегающими словами: — Лелик, тише! Уж если мне слышно, значит другим — тем более! Бога ради, не так громко, осторожнее. Господи, Господи!..

Оказалось...

В Москве Вальдеки не найдут и половины знакомых, близких и друзей. Одни тайно расстреляны просто так, из «классовой предосторожности». Например, многих папиных сослуживцев-офицеров вызывали повестками в здание Манежа — никто после такого вызова не вернулся к семье, хотя жены провожали некоторых до входа, и дежурный встречал вызванного с почтительной приветливостью: «Входите, товарищ дорогой, это — совсем ненадолго... Но вам, мадам, (или гражданка) все-таки лучше не ждать на холоду... Супруг ваш (или жених, или «папенька ваш» или «товарищ такой-то») быстро вернется...»

Вывозили их из Манежа в крытых грузовиках, говорили, что больше в сторону Лефортова, а, может, и сразу по-соседству, на Лубянку. Еще шептали, что в Андрониковом монастыре, внутри ограды, приспособили длинное монастырское строение под стрелковый тир, где днем обучают призывников, а ночью... стреляют людей. Примерно то же говорили и про Ново-Спасский монастырь у Москва-реки, где потом долгое время, по слухам, была одна из загадочных «неофициальных» московских тюрем.

Шли расстрелы и по судебным делам о каких-то контрреволюционных заговорах, большей частью будто бы офицерских. Приговоры оглашались в газетах вместе со списками расстрелянных. Множество знакомых арестовано агентами ЧК, задержано при уличных проверках, просто уведено из дому без объяснения причин. Печатались в газетах длинные списки расстрелянных заложников. Каждый такой список повергал маму чуть не в обморок — казалось, газетные строчки пропитаны кровью одноклассников, коллег, родственников, соседей по квартирам, товарищей по службе, по университету, по армейской бригаде... Красный террор, начатый властями Республики в 1918 году, и теперь, весной 1919-го продолжает выкашивать российскую «гнилую» интеллигенцию старательнее, чем мужики выкашивают свои делянки на поемных лугах.

Жертвами красного террора стали и все члены царской семьи. Ольга Юльевна поминутно глотала слезы, пока папа, слегка

охрипнув от волнения, рассказывал детям о случившемся в Екатеринбурге…

В этом далеком уральском городе, отныне навеки отмеченном печатью Каиновой, как вскользь, во время папиного рассказа, вставила мама, совершилось злодеяние в ночь с 16 на 17 июля 1918-го года… Есть догадки и слухи, что сделано это с телефонного разрешения товарища Свердлова (не потому ли потом и город переименовали, назвав этим именем?). Воровски, тайком, без суда были расстреляны царь и царица — отрекшийся от престола Николай Второй и супруга его, бывшая императрица Александра Федоровна, больная и пожилая женщина. С ними вместе убили выстрелами в упор всех детей — тринадцатилетнего цесаревича Алексея и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, в возрасте от 22-х до 16 лет. Приняли смерть и старые слуги, сохранившие и в несчастье верность последним Романовым.

После этого стало ясно, что нравственные устои в народе сокрушены. Если все это МОГЛО случиться и именно так, как оно произошло, значит отныне в России дозволено ВСЕ, моральных препон ни для чего не существует и удержу никаким преступлениям больше нет! Впрочем, вся эта трагедия пока еще держится в тайне, русскому народу не сообщено ни слова, слухи носятся самые противоречивые, многие надеются, что вести о гибели царской семьи окажутся ложными. Но в семействе Вальдек этих сомнений уже не было!

Еще в августе 1918-го Ольга Юльевна узнала некоторые подробности убийства от человека, который принимал участие и в расстреле, и в заметании следов. Он очень скупо передал подробности на словах, но показал страницу из французской газеты, где все это было напечатано под жирными заголовками и с прибавлением крупных фотографий. Помещен был в газете снимок уединенного городского дома с роковым подвалом, и портреты всех членов царской семьи, снятые незадолго перед революцией, а может быть, даже и после нее. Описывались последние минуты перед убийством: царь прижал к себе цесаревича, великие княжны встретили выстрелы, обнимая царицу-мать. Напечатана была и фотография подвальной стены со следами пуль и бурыми пятнами на штукатурке. Ольга Юльевна успела разглядеть на этом снимке, что веер пуль в одном месте особенно част на высоте лица — кто-то из мучеников, одна из княжон, или цесаревич, — долго не падал под выстрелами убийц… Сами же убийцы явно были присланы заранее: они откуда-то появились в городе и, незадолго до роковой июльской ночи сменили охрану арестованных

Романовых... Держались они с холодной вежливостью, сразу напугавшей узников.

Передал рассказчик также о том впечатлении, какое на заседании Совнаркома, где в тот миг шел доклад наркомздрава Семашко, вызвало оглашенное Свердловым сообщение. В воцарившемся тяжелом молчании раздался холодный голос Ленина: «Может быть, вернемся к прерванной работе, товарищи?»...

Коснулся красный террор и семьи Стольниковых.

Погиб Саша, милый кузен.

Из артиллерийской бригады он, по настоянию папы, ехал в Москву в солдатской шинели, но под ее грубым сукном прятал свой офицерский мундир с новыми погонами поручика, которыми страшно гордился.

В этом мундире с погонами он разгуливал по квартире и даже по двору. В сентябре 18-го в квартиру, видимо, по доносу, явились из ЧК, человек шесть, с грузовиком. Обнаружив офицера в погонах, потребовали документы, начали проверять, учинили поверхностный обыск. Спрашивали оружие, ценности, ордена. Интересовались, не прячутся ли в квартире иностранцы. Документы бригадного ревкома, составленные не без участия Алексея Вальдека, как будто должны были успокоить подозрительность чекистов. Кстати, Саша Стольников уж не мечтал больше о кавалерии (тем более, о кавалерии красной!), а решил вернуться к наукам естественным, в университет…

— Ну-ка, спори ему погоны! — грубо приказал старший одному из своих спутников.

Этого Саша стерпеть не мог!

— Не ты мне их нашивал, не тебе и спарывать! — заявил он с мальчишеской лихостью, пользуясь тем несчастливым для себя обстоятельством, что Стольниковых старших дома в ту минуту не оказалось и урезонить неосторожного юнца было некому...

— А ну, выходи во двор!

Его вывели на задний двор, глухой, окруженный кирпичным забором с трех сторон. Домочадцы и соседи слышали в этом дворе два выстрела, почти одновременных, потом третий, глуше... Кто-то из соседей видел из окна, как группа усаживалась в кузове грузовика и как туда было заброшено — Сашино тело, по-видимому, уже бездыханное. Под кирпичной стеной, на асфальте двора, оказалась свежая кровь.

Однако старших Стольниковых уже с того же вечера стали шантажировать некие работники ЧК, предъявлявшие какие-то чекистские мандаты, вероятно, фальшивые. Даже в газетах появлялись предостережения Дзержинского против такого рода

благодетелей. Эти благодетели требовали от Стольниковых денег и продуктов, чтобы облегчить участь арестованного сына, якобы живехонького («мы стреляли в воздух для острастки и вразумления прочих»). Вот так, с полгода еще, тетя Аделаида «посылала сыну» через этих мошенников и деньги, и продукты, пока визиты посредников-чекистов внезапно не прекратились сами собой. На официальный же запрос пришел ответ весьма лаконичный:

«Расстрелян на месте преступления при сопротивлении органам ЧК».

Много подобного услыхали еще в тот день Роня и Вика Вальдек. Однако у малолетних членов семейства папины рассказы и мамины дополнения особого удивления вызвать уже не могли. Дети были ко всему подготовлены! Они и сами насмотрелись и наслышались немало!

Ведь лето 1918 года они провели в той же Решме, откуда 22 июля папу пригласили в город Ярославль давать показания о запасах военного снаряжения, сданных 12-ой армией, при папином участии, в начале года на ярославские и рыбинские склады.

Папины показания уже мало кого интересовали, опросили его довольно быстро и отпустили восвояси, потому что занимал он немаловажный выборный пост в Иваново-Вознесенске, организовал профсоюз текстильщиков, исполнял личное задание М. В. Фрунзе — старался кое-где восстановить производство на запущенных и расхищенных ивановских фабриках. Совесть по отношению к родному народу не позволяла ему отойти в сторону от дел, участвовать в молчаливом «саботаже интеллигенции», то есть в злопыхательском умывании рук и ничегонеделании, под видом совслужбы за паек...

В Ярославль он ездил не один — брал с собой Роню, потому что вызов папы в Ярославль совпал с вызовом мамы в Кинешму, ответчицей в суд, по обвинению в подстрекательстве толпы к... сопротивлению органам власти! Вальдеки успели вызвать из Иваново-Вознесенска в Кинешму адвоката Корадьджи. Он встретил Ольгу Юльевну перед зданием Кинешемского нарсуда и за час до судебного заседания прочитал обвинительное заключение. Нашел он его довольно серьезным, сулящим маловато хорошего!

По обвинительному заключению выходило, что она возбуждала толпу на волжской пристани, призывала утопить в Волге охранителей революционного порядка и при этом даже сама вступила в единоборство с часовым на посту.

Адвокат Коральджи удачно выступил в защиту подсудимой.

Под его умелым руководством Ольга Юльевна смогла убедить судей в несправедливости обвинения. Она пояснила им, что долго ждала очереди на пароход с двумя детьми, из коих один заболел животом. Ей удалось пройти на пристань, где начальство дало разрешение сесть на ближайший пароход. Однако, когда пароход причалил, солдат у трапа в последний миг грубо оттеснил ее, решив, что эдакая барыня может и погодить. В расстройстве и волнении Ольга Юльевна закричала:

— И чего это народ смотрит на них! Издеваются над матерями как хотят! Неужели некому спихнуть этого дурака с трапа?

Вот тут-то ее сразу пропустили на пароход, однако, на палубе два полувоенных должностных лица подошли к ней, проверили документы, старательно записали решемский и ивановский адреса, осведомились, кто ее муж и где он находится, а напоследок с недобрыми ухмылками обещали «еще напомнить ей о сегодняшнем происшествии»...

Вот, недельки через две и напомнили! Как раз в то время, когда и папу вызвали давать объяснения в Ярославле.

Адвокат Коральджи построил защиту на том, что подсудимая никак не могла предположить в «нагрубившем ей вооруженном мужчине» — часового! Ибо она, мол, знает понаслышке требования устава караульной службы! Данный же товарищ сквернословил на всю пристань, курил цигарку, непотребно лапал женский пол, а отставленную в сторонку винтовку схватил только для того, чтобы толкнуть прикладом обвиняемую, каковая в сущности является пострадавшей. К счастью Ольги Юльевны две свидетельницы обвинения простодушно показали, что подсудимая говорит сущую правду. Судьи вынесли гражданке Вальдековой общественное порицание и отпустили с миром.

А тем временем папа с мальчиком Роней ходили по разрушенному, еще горящему Ярославлю. Насмотрелись такого, чего не на всякой войне увидишь.

Однажды под босыми ногами Рони из приречного песка близ берегового устоя железнодорожного моста через Волгу вдруг выдавилась кровавая жижа... Проступив между пальцами, она, слегка еще пузырясь, быстро засохла и смыть ее со ступней в волжской струе оказалось не так-то легко... Это они с папой ступили на присыпанные песком недавние окопы, ставшие могилами расстрелянных лишь вчера участников восстания. Свидетели потом говорили им, что расстреляли здесь многие сотни юнцов, зеленых мальчишек — гимназистов, студентов, юнкеров и кадетиков, в возрасте от 14 до 18 лет. Закопали до 800 тел. Вся эта молодежь поддалась социалистической демагогии

Бориса Савинкова, идейного вождя «Союза защиты Родины и Свободы». Руководители этого Союза, в том числе Савинков и полковник Перхуров, военный глава мятежа, бежали в глубь страны, когда восстания в Ярославле и Рыбинске провалились. А их геройская армия из нескольких сотен обманутых пропагандой мальчишек, осталась брошенной на произвол судьбы. Кровь этих мальчишек теперь и пузырилась под Рониными ногами, а были многие из них почти ровесниками ему, возможно, даже однокашниками — ведь Роня и сам недель шесть ходил в кадетах...

Получилось так, что папа с Роней из Ярославля и мама с адвокатом из Кинешмы прибыли в Решму одним пароходом.

Коральджи погостил у Вальдеков дня два и посоветовал впредь «не забывать о тех классовых чувствах, кои неизбежно вызывает один вид Ольги Юльевны у представителей органов пролетарской диктатуры»...

Однако Ольга Юльевна так и не вняла адвокатскому предостережению!

Подошел однажды к Решме буксирный пароход, превращенный в подобие канонерки. Группы красноармейцев рассыпались по слободе. Одна группа явилась в домик, снятый Ольгой Юльевной, и учинила обыск, якобы по какому-то ордеру или особому полномочию. Искали, как обычно, спрятанное оружие. Во время осмотра красноармейцы незаметно прихватили в чулане головку сыра и круг колбасы, ценности по тем временам немалые и доставленные из Иваново-Вознесенска. Сберегались они к маминому дню рождения.

Обнаружив кражу, Ольга Юльевна, вопреки папиному запрету, собрала со всего села Рониных приятелей-мальчишек и велела им орать хором с берегового откоса:

— Красная армия, верни колбасу! Отдай сыр! Отдай сыр!

Пока мальчишки упоенно скандировали на разные лады эти колкости, стали выходить из слободских домиков взрослые крестьяне. Одни смеялись, другие, посмелее, стали даже поддерживать мальчишеский хор. И тогда с парохода дали поверх крыш короткую пулеметную очередь — может, решили, что дело запахло бунтом? Зевак и крикунов будто ветром сдуло с откоса, а какой-то красный командир, в ярости потрясая наганом, кинулся с парохода вверх по ступенькам крутой лестницы. Папа схватил было за руку не в меру разошедшуюся супругу, но тою, как это случилось не впервой, овладел бес непокорства.

Высокая, статная, хорошо одетая, она неторопливо двинулась своей плавной походкой- навстречу взбешенному командиру и в самом презрительном тоне стала бросать ему оскорбительные

слова:

— Ну, что, торопишься с мальчишками воевать, а? Или меня застрелить решил? Ах ты сопляк несчастный! Ну, беги, беги, да скорее стреляй, убей мать двоих детей, которых обокрал! Стреляй, сопляк, чтобы все видели! Пусть народ на тебя полюбуется!

...Истошно вскрикнули бабы, глядевшие из окон. По-щенячьи завизжала маленькая Вика, когда бегущий, уже достигнув кромки откоса, навел свой наган на Ольгу Юльевну. Роня закрыл лицо руками, а услышав выстрел, завопил и чуть не забился в судорогах.

Он побоялся верить слуху, уловив после выстрела резкий мамин смех и еще какие-то ее слова, насмешливые и злые. Однако, и в ней самой, видимо, напряжение уже спадало... А еще слышался оглушительно громкий, быстро удаляющийся собачий визг: оказалось стрелок в последний миг дернул наган в сторону, и, чтобы сорвать злость все же на чем-то живом, послал пулю пробегавшей мимо хозяйской собаке Вольнику.

Еще двое военных с парохода взбежали по стремянке, вслед за своим командиром. Передний кивнул в сторону Ольги Юльевны, взошедшей на крылечко, и спросил командира с иронией:

— Чего же не застрелил, а?

А тот, пряча наган в кобуру, ответил как бы в оправдание:

— Да, понимаешь, рука будто сама дрогнула. Уж больно барыня хороша!

Злосчастному Вольнику, сыгравшему плачевную роль громоотвода, перебило пулей бедро и задело крестец. На другой день папе пришлось из охотничьего ружья сердобольно прекратить его мучения. А мама потом не без гордости рассказывала об этом случае...

Ронины дремотные мысли прервал папа. Поезд-максим остановился на станций Сергиев-Посад. Мальчик отрезвел от сна и стал одеваться.

Паровоз все-таки опять отцепили. Папа позвал сына на перрон. Ронино место на верхней полке тотчас же заняла Ольга Юльевна, до тех пор дремавшая внизу, на папином плече.

Отец с сыном совсем недалеко отошли от станции с ее шумами, и сразу же обоим стал внятен праздничный колокольный перезвон. Да, ведь Вербное же! После холодного еще, но уже какого-то зеленоватого утреннего дождика небо прояснело. Главы Троице-Сергиевой лавры явились богомольцам в озарении первого настоящего весеннего солнца. Роне показалось естественным, что и папа, лютеранин, снял фуражку,

перекрестился по-русски и так, с обнаженной годовой, ничего не говоря, глядел неотрывно на сумрачную, уже несколько запущенную лавру и слушал ее медные голоса. Толпы народу с обеих сторон обтекали стоящих, стремились к монастырским воротам мимо приземистых посадских домиков и знаменитых Блинных рядов.

Отойти подальше от поезда было сегодня рискованно, отец с сыном так и простояли на одном месте в молчаливом преклонении Прохожая старушка, глянув в лица обоим, вдруг вернулась, подошла к ним и подарила каждому по пучку вербы-краснотала с розоватой корой и пушистыми сережками-шариками. Пучки эти доехали до Москвы и потом даже корни пустили в стакане на подоконнике.

В Москву прибыли вечером. Простились с семьей Благовых — им тоже было недалеко, московская их квартира находилась в Сыромятниках, близ Курского. Папа долго искал подводу для вещей и пролетку для семьи. В советской столице извозчиков осталось мало!

Ехали шажком, опять мимо знакомых Красных Ворот с золоченым ангелом, по-прежнему, как в добрые времена, трубящем в свою фанфару; потом — сумрачной, притихшей Покровкой, где на самом углу Земляного Вала в двух освещенных витринах выставлены были рисованные плакаты со стихами про белых генералов. Прочие магазинные окна-витрины по всей Покровке оставались темными, а во многих и стекол не имелось вовсе — их кое-как заменили деревянными щитами или просто забили окна досками.

К бывшей Артемьевской булочной, откуда, бывало, доставляли поутру в стольниковскую квартиру горячие калачи, уже устанавливалась очередь за завтрашним хлебным пайком. Толпился народ и на папертях обеих церквей в Барашевском переулке — Воскресенской и Введенской. В них кончалась вечерняя праздничная служба.

В знакомом подъезде стольниковского дома (стиль «модерн», узорные балконные решетки, цветная облицовка по фасаду), у многокрасочного витража, изображающего лягушек среди лилий-кувшинок, папа переглянулся с мамой, оба вздохнули... А тут уж горничная Люба открыла дверь, обрадовалась, побежала в комнаты.

Прямо из передней одна дверь вела в охотничий кабинет Павла Васильевича. Сбоку, как всегда, стояла вертушка для тростей и зонтов, а под вертушкой по-прежнему лежало лисье чучело, клубочком. Левая дверь вела из прихожей в гостиную и смежную с ней столовую.

Приезжие стали раздеваться в холодной прихожей, размотали шарфы, стащили с детских ног отсыревшие ботики, достали сухую обувь, причесывались долго, — а из хозяев дома все еще никто не появлялся. Потом первым из семейства Стольниковых дал узреть себя кузен Макс, По-прежнему красивый и ухоженный, похожий на андерсеновского принца с вьющимися по плечи локонами а ля лорд Фаунтлерой. Ольга Юльевна расцеловала Макса, но он еще некоторое время оставался каким-то нерастаянным, сдержанным и очень серьезным. Улыбнулся он только маленькой Вике, а Роне суховато подал руку.

В гостиной заметны стали перемены. Появилась высокая чугунная печка с никелированным орлом на чугунной крышке. Роня помнил эту нарядную печку в охотничьем имении Стольниковых на станции Мамонтовка. Значит, теперь ее перевезли сюда, обогревать гостиную. А из прежней столовой сюда же переставили обеденный стол со стульями — значит, гостиная превращена теперь в столовую, по совместительству? Оказалось, что в столовой поселился женатый старший кузен, Володя Стольников со своей худой и хрупкой Эллочкой, будто бы увезенной им из родительского дома на гоночном мотоциклете.

В квартире ощущался холод — большие голландские печи топить было нечем. Как все москвичи, Стольниковы обогревались только печками-буржуйками, а их на все комнаты не хватало.

Только в конце коридора, ведущего в глубь квартиры, приезжие увидели наконец тетю Аделаиду. В ее строгом домашнем наряде, прическе, движениях, как будто ничего не переменилось. Все та же сдержанность, достоинство, приветливость, спокойствие манер. Она двинулась навстречу гостям, но как только папа обнял сестру, в ней будто что-то надломилось и выдержка ей изменила. Тетя прижалась к папе, плечи ее стали вздрагивать, но из последних сил старалась она не зарыдать, не испортить встречи с близкими...

Вышел и дядя Паша в теплом суконном френче. Детям Вальдек показалось, что тетя и дядя за два года разлуки стали ниже ростом и лет на двадцать старше.

— Полно, мать! — сказал дядя Паша. — Дай им с дороги в себя прийти. Мы вас неделю дожидаемся, беспокоиться начали.

Вальдекам отвели хорошо знакомую им Сашину комнату. Некогда стоял у него тут человеческий скелет, с университетских времен. Мрачноватое учебное пособие пугало и Роню и Вику. Теперь скелет был убран. По соседству находилась комната Жоржа, чемпиона по теннису, отбывающего ныне воинскую повинность в 8-ой армии где-то на Кавказе, поэтому Жоржину комнату тоже предоставили Вальдекам. По соседству с ними спал

и Макс, в бывшей детской.

От него Роня узнал, что семье Стольниковых грозит уплотнение. Надо сдать государству десять процентов жилой площади, то есть практически уступить две комнаты под заселение по ордерам Московского Совета. Заселяют обычно рабочими семьями, до тех пор обитавшими в бараках или подвалах, либо командированными из провинции. Роня уже слышал, что рвущиеся в Москву еврейские семьи тоже массами поселяются на конфискованной у буржуазии жилой площади. При этом часто оказывается, что эти семьи стремятся в Москву вовсе не от убожества прежних провинциальных условий. Напротив, они нередко оставляют на родине хорошее жилье, выгодную привычную работу, близких родственников и даже бросают кое-какое имущество, мирятся в Москве с теснотой, неудобствами и вселением в чужую, часто враждебную им среду, — только ради того, чтобы не опоздать в столицу, заявить себя в ней кандидатами на новомосковское, советское, еврейское счастье!..

Это были новости от Макса. А Роня поведал Максу самую главную тайну о папиной судьбе, о случившемся с папой совсем-совсем недавно.

Ведь папа вернулся с фронта после расформирования бригады с наилучшими документами от ревкома: «отец солдатам», «верен делу революционного народа», «решительный и волевой командир». Кое-что все-таки значили и пять боевых орденов, полученных хотя и от царского режима; но все же за храбрость в сражениях с немцами. Конечно, теперь немцы уже не считаются главными врагами Советской России. Врагами стали прежние союзники — англичане и французы. Это они снабжают оружием и снаряжением белые армии, наступающие с юга, востока и запада, правда, с переменным успехом... Впрочем, в Прибалтике и сегодня, по слухам, воюют против Советов еще и какие-то немецкие части вместе с белогвардейскими. Словом, Красной Армии позарез нужны надежные командиры...

Вот поэтому-то в Иваново-Вознесенске Рониного папу сразу вызвали к товарищу Фрунзе и поначалу, как говорится, проверили на делах мирных — избрали в руководство профсоюза текстильщиков, облекли доверием, убедились в его крупных инженерных знаниях. Вскоре губернский военный комиссариат снова потребовал бывшего полковника Вальдека в свое распоряжение...

— Понимаешь, Макс, — рассказывал Роня своему кузену, — папа до того времени не участвовал ни в каком саботаже, работал не покладая рук, и все его любили. А тут ему говорят: берите под свое командование стрелковую дивизию против Колчака... Папа

им и отвечает:

«Посылайте против любого внешнего врага России, — но против русского человека, в этой вашей гражданской войне, я с пулеметами и пушками не двинусь! Там, у того же Колчака — мои сибиряки-гренадеры встретятся, офицеры его — мои боевые товарищи. В братоубийственном самоистреблении народа я участвовать не могу».

Всех подробностей этого разговора папы в Губвоенкомате Роня, конечно, не знал и передать Максу не мог, но папа тогда исчезал на три недели из дому, в квартире последовал обыск. Нашли старый револьвер. Верно, папа о нем просто забыл, потому что оружие свое он, по приказу властей, давно сдал, даже наградное, холодное.

На матери в те ноябрьские-декабрьские дни 18-го лица не было. Похоже было, что папу судили и приговорили к смерти как злостного дезертира и классового врага. Приговор послали на утверждение Военного Комиссара Округа, товарища Фрунзе. А может, тот каким-то образом сам проведал об этом суде и удивился — ведь инженер Вальдек доказал себя полезным специалистом и лояльным гражданином Красной Республики. Выяснив подробности дела, товарищ Фрунзе, перед самым своим отъездом в 4-ю армию, потребовал отмены приговора, а затем вызвал папу к себе.

— Какой, же я дезертир? — удивлялся Алексей Вальдек. Не отказываюсь ни от военной, ни от гражданской службы своей родине. Только честно предупредил, на что способен, а на что нет.

— Если мы используем вас на военно-хозяйственной работе? — спросил Фрунзе. — Мы знаем вас как сильного командира и организатора.

— Готов служить где прикажут и положить все силы на пользу доверенного мне дела, — ответил Ронин папа по-военному.

— Надо обеспечить топливом Москву. Создаем военизированные лесозаготовительные дружины из мобилизованных нестроевиков. В лесах поныне скрываются массы дезертиров, их необходимо побуждать к явке с повинной и тоже брать на работу в дружины. Ну, а вместе с тем придется налаживать подсобные производства, так необходимые Москве. От дегтя и смолы до кирпича и теса... Как бы вы отнеслись к такому предложению?

— Думаю, что все это мне посильно.

— Тогда помаленьку собирайтесь в путь-дорогу. Здешние дела сдайте комиссии. Командируем вас в город Богородск[30]

под Москвою. Ведь вы, помнится, коренной москвич? Вас уже ждут. Скажите, а инженер Благов, как специалист гражданский, подойдет там для такой работы?..

...Вот так-то, обе семьи, Благовы и Вальдеки, спустя месяца три, покинули Иваново-Вознесенск и Кинешму и выехали в Москву на поезде-максиме согласно военной и гражданской командировкам.

Предварительно папа успел списаться со Стольниковыми, чтобы московские жилищные органы разрешили Павлу Васильевичу «самоуплотниться» командированным военспецом Вальдеком, сдав обязательную 10-процентную норму жилой площади членам семьи вышеупомянутого командированного лица. Разрешение Московского совета было получено — и вот семейство Стольниковых теперь смогло наконец самоуплотниться семейством Вальдек, притом, по самым строгим нынешним правилам!

2

К месту Леликова назначения под городком Богородском Ольга Юльевна с детьми отправилась в первые послепасхальные дни. Папа выехал туда раньше и обещал жене подать к ее приезду лошадку на станцию.

На площади у Курского вокзала, в низком сером здании справа, работала железнодорожная электростанция. Отчетливо и громко чихал дизель-моторный двигатель, вращавший динамо-машину. Синеватые дымки, похожие на выстрелы, вылетали в небо из толстой железной трубы после каждого вздоха дизель-мотора.

Сразу же за этой электростанцией, вправо от вокзального здания, с обеими его башенками и двумя тоннелями, начинались тупики Нижегородской железной дороги, одной из старейших в Подмосковье. У этих тупиков не было ни перронов, ни платформ, и пригородные пассажиры забирались в вагоны с междупутий. По замыслу строителей предполагалось отправлять пригородные поезда нижегородского направления тоже с главной курской платформы под навесом, однако она бывала постоянно занята поездами курской линии, и для посадки «нижегородцев» служили боковые тупиковые пути. Весной 1919-го ходили между Москвою и Богородским главным образом теплушки: в пассажирских возили граждан поважнее. В теплушку едущий не садился, а влезал. Мужики подсаживали баб, а потом помогали друг другу взобраться с междупутья на без малого саженную высоту в двухосный красный товарняк.

Сопровождать Ольгу Юльевну и детей к папе поручено было Никите Урбану. Бывший папин денщик прижился в семье и обещал не покидать ее до полного устройства на новом месте. Он тоже был зачислен в штат лесозаготовительной дружины и считался военнослужащим. Хотел потом вернуться в родную Черниговщину, откуда, впрочем, получал не очень утешительные вести. Его родным не только не прирезали помещичьей пахотной земли, но, напротив, грозили убавить и собственную, якобы избыточную для семьи Никиты, которую сам он называл «справной».

На этот раз поезд до станции Богородск состоял из товарных вагонов безо всякого отопления. Отойти он должен был в 8 утра, но наступил уже десятый, паровоза же все не было. Ольга Юльевна с детьми и Никитой, тепло одетые, седели на чемоданах и портпледе у открытой вагонной двери. Прочие пассажиры были крестьяне с обильной кладью, бидонами, узлами, мешками. Все дремали, покорные судьбе и властям. Никто не возмущался, не протестовал, не удивлялся. Пойдет поезд — хорошо, не пойдет — стало быть, начальству так сподручнее. Наше дело маленькое — сиди, дожидайся.

А ведь дома у этих баб и мужиков — брошенные дела, недоенные коровы, ребятишки в пустых избах...

Роня Вальдек очень рано стал задумываться над этим чисто русским крестьянским долготерпением. Что это? Мудрость или глупость? Сила или слабость? Как согласовать это с духом разинской нетерпеливой вольницы, с действительностью нынешней российской революции? Где грани, разделяющие христианское долготерпение и пугачевское бунтарство? Где конец крепостническому рабьему молчанию, холопскому равнодушию? Когда же в сих душах появляется пафос «Варшавянки» и «Песни о Соколе?» Что глубже и более свойственно душе русской: вера, долготерпение, любовь или же слепая ненависть отчаяния, завистливая злоба (по мнению инженера Благова — главный двигатель революции), голодное вожделение чужого добра?..

...Ехать предстояло не до самого города Богородска, а поближе, до станции 38-ая верста, того же Богородского уезда Московской губернии. Дети Вальдек слышали, что будут жить до осени в одиноком имении Корнееве[31], среди обширных лесов и торфяных болот, несомненно столь же загадочных, как гримпенская трясина в «баскервильской собаке» Конан Дойла.

Тронулся поезд в одиннадцатом часу дня.

Роня и Вика старались запомнить все станции на своем маршруте — пригодится на будущее!

После Курского остановились в Москве-Рогожской, около

металлургического завода г-на Гужона, старинного приятеля дедушки Юлия Карловича. Как странно, что кроме просто Москвы есть, оказывается, еще и Москва-Рогожская! Потом была Чухлинка — верно, в честь чухающего дизель-мотора? За Кусковым, где, оказывается, жили еще до основания «крепостцы Москов» бояре Кучковичи, последовало Новогиреево, куда татарский хан Гирей некогда переселился из Москвы в новую летнюю резиденцию. Дальше было Реутово с прядильной фабрикой папиного знакомца Людвига Рабенека, а за Реутовым пошли сплошь недорогие дачные места — Никольское с нарядной церковью и погостом, Салтыковка с прудами и парком, и Кучино, куда дядя Паша Стольников, бывало, езживал с таксами и фокстерьерами охотиться на барсуков — здесь, в Кучино, был их подземный «городок», охраняемый охотничьим обществом «Диана»...

За Кучиным был мост через веселую речку Пехорку, уже сбросившую ледяной панцирь и мутно-быструю под мостовой аркой. Рядом с аркой сидели терпеливые рыбаки с удочками... Про следующую станцию, Обираловку[32], Роня давно слышал от взрослых Это здесь кинулась под товарный поезд толстовская героиня, а в трех верстах от станции виднелась труба Саввинской фабрики. Туда однажды папу приглашали на совет и предложили такой гонорар, что он отказался, опасаясь замаскированной взятки...

В Обираловке, собственно, и кончалось дачное сообщение. Дальше, до Богородска и Петушков ходили более редкие местные поезда. За Обираловкой оставалась теперь только одна остановка — тихая платформа с красивым названием Купавна, а в семи верстах от нее надо было уже сходить. Вот и она, станция 38-ая верста!

Никита, первым выскочив из вагона, осторожно принял на руки Ольгу Юльевну, детей и пожитки. Туг же сходили и многие соседи-мужики.

По виду глухой провинциальной станции трудно было и поверить, что до Москвы нет и четырех десятков верст. В стороне поднимались закопченные трубы кирпичного завода и еще какие-то грязные, обшарпанные корпуса кирпичной кладки. Напротив убогого станционного строения с пакгаузом серел не совсем еще оттаявший пруд. Рядом — маленькая школа и длинная придорожная коновязь. Только обещанной папиной лошади тут не оказалось, и у Ольги Юльевны стало портиться настроение. Пошел мелкий сеяный дождичек, будто осенний.

Ольга Юльевна послала Никиту в село нанять крестьянскую лошадь, раскрыла зонтик, а детей заслонила с помощью портпледа. Когда же расторопный Никита явился с мужицкой

клячонкой, вдали показалась парная упряжка и через минуту папа лихо подкатил на служебной бричке. Кучер сдержал ее возле горки сложенных у дороги вещей. Мужичка с клячей отпустили и тронулись в пятиверстный путь. На всем его протяжении мама тихонько пиявила папу за опоздание. Он же, оказывается, подъезжает уже в третий раз, а ждать не мог, были поблизости служебные дела. Попало Алексею Александровичу и за скучную станцию, и за порчу погоды, и за то, что мог сегодня отвлекаться на дела служебные.

Проехали торговое, в прошлом — село с белой церковью, березовой рощей и круглым прудом. За селом пошли строения и службы крупного, прежде хорошо налаженного поместья, теперь превращенного в госхоз. Тут, в красивой двухэтажной даче, помещался и штаб папиной военизированной лесозаготовительной дружины Москвотопа. От «госхоза» и «Москвотопа» мамино настроение еще ухудшилось.

Дальше, за поместьем-госхозом, мощеный булыжником большак завернул в красивое старолесье. Лес был смешанный, явно грибной, манящий!

Придорожным соснам и ракитам с грачиными гнездами можно было дать на вид лет по триста, и никакая порча не коснулась этих деревьев — сюда не доходили промышленные стоки и газы. Снегу у корней оставалось мало, земля дышала и слегка парила; после легкого весеннего дождика запахло прелью и хвоей. Полторы версты по этой лесной дороге несколько утешили Ольгу Юльевну, а тут уж кучер свернул с булыжника влево, на подъездную аллею к имению Корнеево. По грунту колеса пошли мягко. Осталась позади одинокая сторожка с палисадником и хлевом. Показались службы: погреб: хлев, конюшня, дровяной навес, колодец-журавль. Заднее крыльцо небольшого, уютного дома с теплым мезонином. Приехали!

Дети усмотрели, что большой участок разделен на одичавшую парковую часть со старыми хвойными великанами и на собственно сад, где бросались в глаза изобильные, хотя пока и голые фруктовые деревья, цветочные клумбы и целые заросли кустарников-ягодников. Изгородь из колючего барбариса отделяла сад от огорода, граничащего с лесом.

В доме детям понравилось сразу.

Из сеней они попали в большую прихожую с железной печуркой (на всякий случай — что-нибудь согреть или просушить на скорую руку), дальше шла обширная столовая в три окна и с висячей люстрой, а из столовой вела дверь в детскую. Там стояли две застеленные кровати, а главное — уютное огромное кресло, куда можно было обоим забираться с ногами и слушать Конан

Дойля на русском или Карла Майя на немецком.

Другая дверь из прихожей вела в спальню родителей, с окнами в парковую часть сада. Главными примечательностями дома были: пианино хорошей немецкой марки в столовой и красивая изразцовая печь, обогревавшая сразу все три покоя и топившаяся из прихожей. И еще очень радовала огромная застекленная терраса, примыкавшая к столовой. Дверь на террасу была еще по-зимнему заклеена, но конечно там, на такой великолепной террасе, и пойдет вся летняя домашняя жизнь Роника и Вики! Кухня отделена от комнат сенями. Нанята из соседней деревни, что в трех верстах, приходящая прислуга Дуня. Она сразу же показала хозяйке большую кухонную плиту, огромную деревянную лохань о трех ножках и обильную утварь, расставленную и развешенную по стенам. Кухню, оказывается, легко превращать и в баню, и в прачечную.

Все это было просто прекрасно! Но…

Чем больше радовались дети новому жизнеустройству, тем горше думалось о… прежних обитателях. Тут ведь тоже жили дети, а с ними кися, собака, может, и какие-нибудь комнатные пичуги… Лошадка у них тоже была, своя, любимая… Кажется, они были землевладельцами и заводчиками? Должно быть, мелкими: дом-то невелик и не роскошен, вещи уютные, ухоженные, но не богатые. Верно, люди любили свой дом, и террасу, и печь… Где они теперь?

Как слышали от папы, он здесь, по приезде, не застал уже никого — прежних владельцев успели «забрать и выселить». Так выразился по дороге кучер, человек тоже новый. Теперь здесь все новые: и начальник дружины Москвотопа военспец Вальдек, и его «помощник по рабочей части» Соловьев, занимающий верхний теплый мезонин, и сторож Корней Иванович Дрозд, поселившийся в домике-сторожке у подъездной аллеи, все — пришлые, чужие. Хозяева-же — где-то далеко.

Мимоходом дети разобрали, что мама будто вскользь вызнавала про все это у словоохотливой Дуни, вперемежку с вопросами о кастрюлях.

Оказывается, прежним владельцем имения Корнеево принадлежало в округе 500 десятин лесных угодий и кирпичный заводик у станции, а более состоятельные обладатели соседнего поместья, где теперь госхоз, приходились здешним хозяевам родственниками. Тех помещиков тоже «забрали и выселили». За что? Очень обыкновенно, «как они все — бывшие!» Впрочем, здешних «бывших» Дуня хорошо знала: люди, мол, хорошие. Мужиков особливо не прижимали, разве что рассчитывались с опозданием, когда самим приходилось туго насчет разных прочих

платежей. Простые были, одной своей семьей за стол не садились, вечно кто-нибудь с ними трапезу делил, бывало, что и поважнее хозяев, а то заглянут и самые неказистые гости, из тутошних, — все равно, к столу зовут, запросто. Жили дружно. Барышня у них была очень красивая. Только гимназию в Москве кончила, домой сюда вернулась — тут-то их и забрали всех. И — выселили! Куда — Бог весть, разве мало развеяли народу!

Запомнилось это Роне: развеяли народу! Надо же так!

Но самой Ольге Юльевне уж не терпелось крупно поговорить с папой. Только не хотелось, чтобы разговор этот услышали посторонние. Дуню она отпустила пораньше. Никита устраивался в отдельной комнате около кухни. В прошлом эта комната, как потом узнали, называлась «людской».

Семья Вальдек наскоро отобедала за чужим столом, под чужой люстрой (своя осталась в Иванове). После первой трапезы на новом месте дети пошли обживать свое кресло. По следам заметили, что и в той семье это кресло служило именно детям и залезали они на него тоже с ногами. Наверное, тут выросла и та красивая гимназистка... Возможно, ее-то рост и отмеряли на дверном косяке: тут были отметки совсем низенькие, потом две выше, и одна — ближе к верхнему косяку, у притолоки.

Дети глядели на знакомые домашние одеяла и на свои подушки в изголовьях чужих кроватей. Вдруг Вика сказала:

— У нас ведь потом все это тоже отберут, правда?

Роня подтвердил;

— Конечно! И наши ивановские вещи тоже, наверное, отберут...

Этого требовала успокоенная детская совесть! Слишком тревожили ее следы чужого загубленного благополучия. Еще у Рони на языке вертелись слова: «и выселят нас отсюда тоже как тех», но вслух произнести такое он не решился, чтобы и в самом деле не накликать беды. Он помнил немецкую поговорку бабушки Агнессы: «ду золлст ден тойфель нихт ан дёр ванд мален», дескать, не малюй черта на стене (а то, мол, и в самом деле явится в дом)...

И когда из родительской спальни дошел до детской истерический мамин плач, Роня и Вика сперва было тоже приписали его родительскому сочувствию чужому несчастью. Ибо сквозило оно изо всех углов этого уютного дома! Наверное, и маму терзают муки жалости и неясного чувства стыда как невольной соучастницы большой общей вины...

Но плач Ольги Юльевны был непривычного тембра, сначала какой-то басистый, перешедший потом в капризный визг, не совсем даже натуральный.

Рыдания чередовались с возгласами:

— Как ты мог меня сюда?.. Как ты посмел?.. Что мне тут делать? Ведь я думала о Москве, о родных… А здесь даже вонючее Иваново вспоминается как Санкт-Петербург!…

Такая реакция была непостижимой! Среди всей этой прелести, отравленной лишь ощущением соучастия в грабеже добрых людей…

Первый раз за всю свою 11-летнюю жизнь Роня ощутил неприязненное, недоброе чувство к матери. Ведь папины старания просто трогательны. Его нежные заботы ощутимы здесь в любой мелочи!

Легко ли было привести все в такой порядок, после того, как дом полгода пустовал? При всей бдительности Корнея Ивановича, тайные воры все-таки ухитрились попортить и расхитить половину имущества. Даже стекол в окнах не хватало; с чердака унесены были зимние рамы. По словам Дуни, матрасы все были вспороты, полы искорежены, видно, в доме искали спрятанные ценности. Делали это лесные дезертиры, либо деревенские подростки, а может, кто и посолиднее, не очень страшившийся сторожевой берданки Корнея Ивановича… Все это папа успел наладить, встретил семью в чистом, убранном доме. Немало постарался и Никита Урбан.

Роня не выдержал. За руку он привел Вику в спальню, к злобно рыдавшей матери. В тоне взрослого, очень серьезно произнес:

— Если тебе, мама, здесь не понравилось, можешь уезжать назад, к Стольниковым, в твою Москву. А мы с Викой остаемся здесь и будем помогать папе. Здесь так хорошо, как мы и не думали!

У Ольги Юльевны (она сама потом в этом признавалась) явилось сильнейшее желание избить сына до синяков, за непочтительность.

Но инстинкт материнский подсказал ей, сколь глубока детская обида за папу. Крупный разговор, может, и в самом деле вышел слишком… гиперболичным? Мама перестала всхлипывать и вытерла глаза. Хмурый папа чуть-чуть улыбнулся непрошенным адвокатам.

* * *

Три летних сезона и все зимние каникулы в имении Корнеево были, пожалуй, лучшим временем всей Рониной жизни.

Привыкла к Корнееву и Ольга Юльевна. Нашлись поблизости партнеры для преферанса зимой, а летом наезжало столько

родственников, что порою Корнеево напоминало светский пансион прежних времен или патриархальное поместье в тургеневском духе.

Вальдек-младший же все больше увлекался здесь чтением, в тишине зимних покоев или под ровный шум июльской листвы. Поэзия ему открылась — Тютчев, Пушкин, акмеисты и Блок. И был у него вкус к историческому прошлому России. Но вот истории, творимой сегодня, он никакого «вкуса» не ощущал, хотя рано понял, в какие роковые минуты довелось ему посетить сей мир...

Он и сам тоже полагал себя поздним путником, застигнутым на дороге «ночью Рима», Рима третьего, российского. Но средь бурь гражданских и тревоги он не ощущал высокой воли богов, а напротив, скорее видел в этих бурях проявление демонов зла. Героическими казались ему отнюдь не оголтелые матросы и пролетарии, якобы бравшие штурмом совершенно беззащитный Зимний дворец, а та горсточка отчаянных женщин из стрелкового «бабьего» батальона и те юнцы из юнкерского училища, что до последних минут, по чувству долга, пытались противостоять потоку раскаленной докрасна человеческой лавы...

Болезненно переживал мальчик события гражданской войны. Одинаково ужасали его и красные, и белые потери. Он понимал, что и те, и другие — одинаково невознаградимы для нации, для русского народа. Ведь по обе стороны фронтов гибли самые здоровые, самые молодые, ко всему доброму пригодные!

Что до исхода этого избиения, то Роня был твердо убежден в конечной победе красных. Мальчик видел, что народ не сочувствует белому движению, хотя и напуган жестокими крайностями большевиков. Но они умели убеждать граждан в человечности и справедливости своих идей. У контрреволюции же идей, похоже, не было вовсе. По крайней мере любой красноармеец мог легко разъяснить Роне, за что воюет и борется Красная Армия, а вот дядя Паша Стольников, человек умный и образованный, искренне желавший победы белым, никак не мог растолковать мальчику, каковы же их лозунги. Получалось, что Белая армия воюет просто с отчаяния — больше, мол, все равно делать нечего, вот и приходится драться! Обещания красных: земля — крестьянам, заводы — рабочим, мир — хижинам, война — дворцам явно были по сердцу большинству рядовых граждан и в селах, и в городах.

Правда, в глубине ума и сердца Роня чувствовал, что эти идеи большевизма лишь кажутся столь простыми и ясными, на самом же деле они иллюзорны. Ведь самым главным в них было — создание нового человека, более совершенного, чем люди

прошлых времен, испорченных рабством, жестокостью, эксплуатацией, лицемерами, хищническим хозяйничаньем в буржуазном обществе. Но высокие нравственные идеалы революции, заимствованные из христианского вероучения о царстве Божием на Земле, покамест светят людям издалека, как звезды небесные, на Земле же по-прежнему царят страх, жестокость и ложь. Достичь высоких целей хотят самыми низкими средствами!

Эти средства — насилие, кровавая диктатура, попрание общечеловеческих ценностей, кощунство, поругание святынь — так портят и развращают исполнителей, что едва ли темные эти люди смогут сберечь в очерствелых душах чистоту отвлеченных, далеких философских идеалов. Получается, будто чистое белье сможет выйти из грязных окровавленных рук. Покамест оно и выходит из большевистской прачечной именно кровавым и грязным. Участвовать в этом никак не тянуло! И мальчик радовался, что средь бурь гражданских и тревоги жизнь его походит на некий зачарованный остров, обтекаемый ветрами времени. Бывшее имение Корнеево действительно походило на заповедник мирной старины среди океана революционной действительности...

Лето проходило в играх со сверстниками — Максом Стольниковым, Толей Благовым и Мишкой Дроздом. Вдвоем с Максом они наловчились ездить верхом — это стало любимейшим занятием мальчиков. Сперва они уходили по соседству в госхоз и помогали выгонять в ночное чесоточных госхозных кляч (до того бывших отличными выездными, хозяйскими лошадьми). В итоге этих ночных поездок Роня схватил-таки чесотку, хотя врачи уверяли, будто лошадиная к человеку не пристает. Пристала, да еще как!

Пользовали от нее тогда перуанским бальзамом и серной мазью, а самих кляч папа вылечил с помощью курной серной камеры. Алексей Александрович часто брал сына в интересные деловые поездки по окрестным селам, торфоразработкам, фабрикам. Ездили даже на узкоколейном паровозе, а еще несколько лет спустя Роня устроился работать на этом паровозе помощником машиниста. В декабре 1920 года, при служебной поездке, оба они, Вальдеки — старший и младший, очутились по стечению обстоятельств в одном вагоне с Лениным, видели и слушали его совсем рядом, лицом к лицу, в самой непринужденной обстановке. Оказалось, что портреты и бюсты не совсем верно передают живой облик Ленина, но об этом — попозже..

Папа для поездок обычно пользовался служебными

лошадьми, но считал, что возить гулять собственную семью на казенных лошадях неприлично. Потому, для надобностей личных Алексей Александрович приобрел собственную лошадь по кличке Надька, и купил заграничный шарабан. Лакированный, с иголочки новенький и несколько вычурный экипаж этот папе с охотой продал мужичок-середнячок, которому шарабан достался при грабеже какого-то барина. Купил папа и два седла — английское и казачье. Роне разрешалось (после многих испытаний и проверок) седлать себе Надьку, а Максу — служебную папину Зорьку, когда папа уезжал верхом на служебной же Передовой. Мальчикам разрешалось ездить от завтрака до обеда (в свободные от занятий дни), а иногда и после ужина пасти лошадей на сочных лесных лужайках. Изучили они все окрестности, бывали и на Бисеровом, и на Луковом озерах, одолевали болота и дебри, чуть не по звериным тропам, для всадника небезопасным.

Еще удили рыбу на торфяных карьерах, плавали на лодке по реке Клязьме, тогда еще кристально чистой, богатой сомами и налимами. Только питались тогда не по-старинному!

В 20-м году лакомствами считались супы из солонины, предварительно отмоченной и отмытой от дурных запахов и налетов, картошка на рыбьем жире, конские котлеты, кашица из пайкового пшена, уха из воблы. Вместо чая или кофе пили морковный напиток, сдобренный сахарином, а коровье масло считали такой редкостью, что Роня признавался: «Будь я царем, мазал бы каждый кусок белого хлеба сливочным маслом со всех сторон — сверху, снизу и с боков тоже!»

Впрочем, о яствах и разносолах особенно и не думалось. Любое варево уплетали быстро, чтобы снова бежать в лес, строить индейские вигвамы, либо продолжать на речке Купавне морские сражения, либо читать в гамаке лучшие книжки из дяди-Пашиной библиотеки, на которых выросли все стольниковские сыновья.

Были, конечно и трудности, и беды.

Случались страшные лесные пожары, совсем рядом с Корнеевым, так что однажды ночью пришлось выносить на большак вещи из дому и выводить из конюшни лошадей, напуганных дымом и близким заревом, однако имение отстояли от огня мужики из окрестных деревень.

* * *

Необычайное даже для России 1921 года происшествие надолго смутило Рональда Вальдека. Случилось это на рождественских каникулах, дня за два перед сочельником.

Зимой Роня жил у Стольниковых и ходил вместе с Максом в ту самую «Петрипауликнабеншуле», где за четверть века до того учился и Ронин папа. Родители по переезде в Москву отдали было Роню в третью группу (так тогда назывались школьные классы), но сами педагоги быстро выяснили, что делать ему там совершенно нечего и перевели в следующую, четвертую группу. Зимой 1921 года Роня и Макс были в шестой-А или, по-тогдашнему, уже во «второй ступени» (первая ступень кончалась пятой группой).

Летом в тот год Роне сильно не повезло: схватил на ночлегах в болотистых лугах жестокую малярию. Поначалу ее принимали за тиф, и лишь потом стали лечить зверскими дозами хины, притом безо всякого успеха. Роня оглох и ослаб, врачи советовали уколы и полный отдых, при усиленном питании. Мальчишку на месяц оставили дома, в Корнееве, а на уколы возили раза два в неделю на станцию 38-ая верста, в бывшую земскую больницу. Попутно, чтобы мальчик все же не вовсе отстал от математики (за прочие дисциплины папа не тревожился), ему разрешили посещать в «больничные» дни пристанционную школу, тоже некогда земскую, и брать дополнительные уроки по алгебре и геометрии. Все эти дисциплины вела в той школе молоденькая красивая Надя Смирнова, квартировавшая верст за восемь от школы, кстати, в той самой деревне, откуда ходила в Корнеево, к Вальдекам, их прислуга Дуня. Учительницу Надю Смирнову каждый день привозил на станцию в санках-розвальнях и увозил домой, в деревню, крестьянин дядя Еремей. У него в избе она и квартировала, тщетно ожидая давно обещанной комнаты в пристанционном поселке.

И вот, перед рождеством, в пору зимних школьных испытаний, Роня Вальдек ехал домой в Корнеево после дополнительного урока, в одних санях со своей учительницей: папин вестовой Никита уговорился с мужиком Еремеем, что тот высадит Роню по дороге, у подъездной корнеевской аллеи, не заезжая к Вальдекам, а сам, вдвоем с учительницей продолжит привычный путь до их деревни.

На повороте к Корнееву Роня простился с учительницей и ее возницей. Больше он уж никогда не видел Нади Смирновой.

Перед рассветом следующего утра кто-то постучал в окно корнеевской спальни. Роня разобрал разговор старших о каком-то несчастье на дороге, в полутора верстах от Корнеева. Обо всех местных происшествиях сразу сообщали папе, начальнику дружины. Никакого другого начальства поблизости не было — только в пристанционном поселке жил милиционер.

Папа сразу оделся, послал Никиту за сторожем Корнеем

Ивановичем, и через несколько минут запрягли в санки папину служебную лошадку Передовую. Корней Иваныч сходил за ружьем, папа вынул из кобуры и сунул в карман револьвер, а Роня так ловко пристроился в санях, что на него и внимания не обратили. Это было большой ошибкой взрослых!

Уже по дороге Роня понял, что несчастье произошло с учительницей. Будто за переездом через узкоколейку, на крутом косогоре с поворотом влево, целая стая волков напала на одинокую упряжку. Лошадь рванула, девушка не удержалась в санях и выпала... Мужик Еремей удержать лошадь не смог, и та понесла его карьером до деревенской околицы, где и грохнулась оземь замертво. Кучер же без памяти вбежал в свою избу и голосил невнятное, пока его не отпоили холодным квасом. Никто однако не отважился ехать сразу на место происшествия. Лишь через три часа, под утро, деревенский староста спросил Еремея, запряг сани и с двумя мужиками поехал посмотреть...

В темноте мужики ничего толком не разобрали, однако поняли, что беде уже ничем не пособишь. Решили с дороги не сходить, место не затаптывать, а ехать в Корнеево, к Алексею Александровичу. Выслушав через форточку в спальной сбивчивый их рассказ, начальник дружины велел им поскорее отправляться на станцию за милиционером, сам же, вместе с Корнеем Иванычем, уже разглядывал из саней придорожные сугробы за переездом...

...Крупные волчьи следы стали видны даже издали. Опытный волчатник, Корней Иваныч смог определить, что зверей было не менее семи-восьми. Роня тоже глядел из задка саней на следы. Видел он их не впервой. Зверя много развелось за годы войны и революции. Рыскали волки даже по корнеевским огородам, за барбарисовой изгородью. Однажды пропала у Корнея Иваныча собачонка По следам усмотрели — волчица задавила и утащила. С тех пор прислугу Дуню никогда не отпускали домой одну, а Роне и Вике запретили дальние лыжные прогулки без старших. Роня, правду сказать, частенько нарушал этот запрет и пытался даже по следу отыскать логово. И вот теперь множество таких же крупных следов петляло по левую сторону узкоколейной насыпи.

Довели они затем к придорожной канаве, а дальше — прямо к дороге.

Роня хорошо знал косогор с поворотом влево. Сколько раз сиживала вся семья, летней порой, на этом косогоре! И тут-то, на этом знакомом месте, еще даже не присыпанном снежной пылью, открылись следы ночного побоища.

Казалось, снег старательно, будто сквозь сито, кропили-осеивали мелкими брызгами кровавой росы. Кругом валялись

обрывки светлой овчинной шубки, белые, чисто обглоданные кости. И как витиеватый росчерк пером по бумаге — длинная, почти нерасплетенная коса. С затылочной костью. Из побуревшего снега...

Не доехав до верха косогора, папа выскочил, резко велел Корнею Иванычу отправить домой мальчишку. Сторож мигом развернул лошадь в другую сторону, чтобы Роня не успел осмотреться, но привез он мальчика к матери онемевшего, чуть не в обмороке.

...С той поры минули десятилетия. Капитан войсковой разведки Рональд Алексеевич Вальдек видел картины ленинградской блокады. Под Норильском он стоял в безмолвном строю зеков[33], когда начальники демонстрировали результаты группового побега блатарей в тайгу: они вырезали ягодицы у своих жертв, тоже сманенных в тайгу, а затем использованных в качестве живой ходячей пищи на время побега. Трупы этих людоедских жертв с отрезанными частями тела привезли показать зекам для устрашения и в знак предостережения. Взрослому Рональду Алексеевичу доводилось наблюдать сцены резни и массовых убийств, уж не говоря о переднем крае Ленинградского фронта.

Однако и после фронта, лагерей и ссылки видел он в горячечных бредовых снах не сцены войны, а волчьи следы и Надину косу под заснеженным косогором...

А Надин возница, мужик Еремей, уже отбывший наложенное на него священником церковное покаяние за оставление ближней безо всякой помощи, вдруг взял да и повесился на чердаке своей избы. Нечаянно ли выпала из его саней учительница Надя Смирнова? Кто знает? Бог ему судья!

* * *

В мужской Петропавловской гимназии Октябрьская революция совершилась не в 1917 году, а значительно позже, и притом далеко не сразу, — так крепка была старинная кукуйская закваска этой школы.

Потрясшая Россию война с Германией, падение царизма, большевистский переворот, голод, бло террор, — ничто не смогло сразу взорвать железобетонный уклад московско-немецкой педагогической твердыни.

Для постепенного ее разрушения потребовались длительные подкопы, бурение шурфов, бомбардировка извне, сокрушение директората, разложение учительского состава, разбавление его инородной средой, смена педагогов и программ, разрыв прочных

нитей между школой и немецкой церковью.

В первом своем московском школьном сезоне, в 1019 году, Роня застал самое начало этой войны властей с упорной гимназией. Власти закрыли Петрипаулимэдхеншуле, т. е. женскую гимназию, а ее учениц распределили по группам мужской. Красное здание гимназии женской, в углу церковного двора, отобрали для новых государственных нужд. Впрочем, отобрали и большую половину мужского гимназического корпуса, в Петроверигском. Этот огромный красивый учебный корпус выстроен был в основном на деньги миллионера Кнопа (чью контору на Варварской площади отобрали под здание ВСНХ)[34] А возглавлял строительный комитет Ронин дедушка, Александр Вальдек, дипломат и юрист[35]. Так как одних кноповских денег на постройку и оборудование гимназии полностью недостало, дед и сам внес крупную сумму и призвал москвичей-немцев жертвовать на школу. Пожертвований поступило много, и пошли они на оборудование новейших кабинетов и лабораторий, гимнастических залов в особой пристройке, на устройство обсерватории с телескопом и вращающейся вышкой. Словом, к 1914 году Петропавловскую гимназию закончили с размахом, уже после смерти Ронииного деда. Считалась она одной из лучших школ Москвы, отдавали туда и русских детей, чьи родители дорожили знанием иностранных языков. Учителя в Петропавловске были первоклассные, как водится, несколько либеральные.

После того, как большая и лучшая половина мужского гимназического корпуса была передана другому, вполне взрослому учебному заведению (получившему необычное наименование КУНМЗ!), а бывшие Петропавловские гимназистки переведены в урезанный корпус к мальчикам, директором новой «Единой Советской Трудовой школы № 36 Первой и Второй ступени» осталась прежняя директриса Женской гимназии фрейлейн Ретген. Это была старая, серьезная и неуступчивая фрейлейн!

Однако переименованная, стесненная в трех полуэтажах бывшая Петропавловка под управлением фрейлейн и не подумала сдавать свои привычные позиции из-за какой-то там большевистской революции! В классах все осталось по-старому, хотя их и называли группами. Преподавание продолжалось на немецком языке в Первой ступени и частично, для некоторых предметов, сохранялось и в ступени Второй. Там лишь добавляли еще один обязательный иностранный язык — французский. Учителя остались все до единого прежними (исключая, разумеется, тех, кто угодил в чрезвычайку или не перенес

голода). Обращались к учителям по-прежнему: фрейлейн Ретген, герр Зайц, месье Понс, фрау Вайс...

Ронин классный наставник герр Зайц был в конце прошлого столетия классным наставником еще у Вальдека-старшего, т. е. у папы! Он близко знал Рониного дедушку, некогда учил отца, и теперь вот у него же учился сам Роня — три поколения Вальдеков. Тут ощущалась стабильность и традиция!

Математику в Первой ступени, на немецком языке, вела мамина одноклассница, фрейлейн Соня Фрайфальд. Историю всеобщую и русскую преподавал — притом смело, изящно, остроумно — месье Понс, одаренный лектор, романтически любивший страну своих предков, Францию.

Самой же выдающейся учительницей в Ронькином классе была прелестная Вера Александровна Ляпунова, пришедшая в школу неполных двадцати лет от роду. Учила она Роньку и его сверстников русской литературе, работала увлеченно, меньше всего считалась с официальными программами или одобренной методикой, и оставила глубокий след не в одной Рониной душе! Ольга Юльевна Вальдек, наслушавшись рассказов сына, пригласила Веру Александровну в Корнеево, и та два лета прожила у Вальдеков, расцвела на свежем воздухе, успела поддержать в сердце своего ученика священную страсть к поэзии и... скончалась от скоротечной чахотки после неожиданного для всех брака с пожилым, избалованным женщинами сыном знаменитого адвоката Плевако.

Еще один педагог гимназии имел к Вальдекам весьма близкое родственное отношение — преподаватель географии, Ронин дядюшка, муж тети Эммы, герр Густав Моргентау. Сюда, в мужской корпус, он перешел вместе со своими ученицами после закрытия женской гимназии.

Зимой школу отапливали плохо. Немного пособлял Ронин папа — отгружал, вопреки разнарядке, то по одному, то по два тяжелых санных воза березового швырка, и даже пильщиков присылал, но это грозило служебными осложнениями, да и выручало школу ненадолго. Дети сидели по классам в шубах и валенках, герр Зайц в морозы укрывал лысину вязаным шарфом, ученические руки выглядели так, будто только-только готовили блюда из свеклы.

И все-таки школа работала, и дисциплина в ней держалась особая, какая-то тоже прежняя, основанная на почтительности к старшим и уважении к младшим. Все будто признавали друг в друге единоверцев и единомышленников, носителей одной традиции, от директора до последнего двоечника. Кстати, эти отметки продолжали выставлять старые учителя Петропавловки,

хотя в других школах ставили теперь только «уд» или «неуд».

Если же случались дисциплинарные нарушения и особые происшествия, то теперь они стали совсем иными, чем прежде. Само время вторгалось в детские жизни, развлечения и занятия. То появится в классе револьвер, а то и выстрел грянет (был такой случай как раз в Шестой-А, притом не без Рониного участия). Однажды учитель истории месье Понс вовремя заметил у мальчиков ржавую «лимонку» — ее притащили с чердака и уже принялись было ковырять…

Случались прямо в школе голодные обмороки — у детей и педагогов. Поступали иногда жалобы от властей городских — мол, вашего ученика сняли с трамвайного буфера. Это бывало с теми учениками, кто, не успевши вдавиться на площадку, пристраивался на «колбасе» или буфере, а после остановки проигрывал состязание в беге с каким-нибудь блюстителем революционного порядка. Впрочем, трамвайные линии оживали в тогдашней Москве не так-то часто.

Дома же ученики делали уроки при коптилках и свечах, и нельзя сказать, что учителя смягчали строгость требований. Роньке не раз снижали оценку за пятно копоти на чертеже или за неудачное «мерзлое» слово в сочинении. Вера Александровна шутливо называла плохо написанную фразу «мерзлой», а ведь подчас и вправду попадала на бумагу из оледенелой чернильницы, что дома, что в классе.

Так и шли школьные дни и дела в 20-м, 21-м и в начале 22-го…

Сильно постаревшую и ослабевшую фрейлейн Ретген сменил на посту директора герр Густав Моргентау, Ронин дядя; но и при нем существенных перемен в устоях и традициях школы не произошло, несмотря на все усилия Бауманского РОНО, партийных органов и Наркомпроса.

Однажды Нарком Луначарский на совещании «шкрабов»[36] прямо заявил, что в обеих бывших немецких гимназиях, Петропавловской и Реформатской, по сей день, мол, воспитываются «змееныши наших классовых врагов». На другой день это стало известно самим «змеенышам» и многие гордились своей опасной славой… Иные же понимали, что дни Петропавловских традиций сочтены по пальцам … одной руки!

Входило, кстати, в эти традиции и участие в церковной жизни. По твердо установленному правилу запрещенные в школе уроки Закона Божьего преподавались в церкви. Прямо в класс приходила помощница органиста и уводила всех детей-лютеран в ризницу-сакристию, на занятия Законом Божиим, по-немецки, разумеется. Ходили, правда, на эти занятия не все Ронькины

сверстники, потому что в классе стало уже немало детей иудейской веры, или учеников из семейств православных. Занимались у пастора каждый раз человек по сорок-пятьдесят — около половины общего состава двух-трех параллельных групп.

Еще не вовсе развеялось в детской среде влияние запрещенных, прекративших официальное существование скаутских организаций. Пытались было сохранить отряд «красных скаутов», но слишком несовместимы были моральные требования скаутизма с тем, чего требовала от детей сегодняшняя революционная действительность. Скаутские правила были благородны и требовали силы характера. Руководители скаутов учили своих питомцев таким вещам, как презрение к доносу, взаимопомощь до самопожертвования, выносливость, вежливость друг с другом, развитие особой чуткости и настороженности при опасности (например, скаут должен уметь просыпаться от взгляда товарища), тренировка воли, умение противостоять соблазнам вроде курения или ругани...

...После закрытия скаутского отряда, других детских организаций в бывшей Петропавловской гимназии не создавали, вплоть до полной перемены декораций в ней, вернее, уже только в ее перекрашенных стенах...

А тем временем прибыл в Москву, рождественской порою 1922 года, новый, уже послерапалльский[37] германский посол граф Брокдорф-Ранцау, и занял тот же особняк в Леонтьевском переулке, где четыре года назад предшественник его, граф Мирбах, посол императорской еще Германии, был убит сотрудником московской ЧК, эсером-провокатором Блюмкиным.

И уж полной неожиданностью для Рони Вальдека было открытие, что его папа, в прошлом — полковник российской армии, ныне — начальник военизированной дружины Москвотопа, Алексей Александрович Вальдек, знает посольскую канцелярию в Леонтьевском переулке не хуже, чем собственную квартиру. Папа мог по памяти безошибочно описывать любой зал или комнату особняка со всем убранством, правда, не теперешним, а таким, каким оно было, верно, 20—30 лет назад, в последние годы прошлого столетия и начальные годы нынешнего.

— Откуда ты все это знаешь? — недоумевал Вальдек-младший. Все, что связывалось в его уме с понятием «немцы», «Германия» вызывало двойственное чувство: к ощущению уюта, чистоплотности, некой кровной связи с такими людьми, как тетя Аделаида, герр Зайц, фрейлейн Берта (он все еще не мог забыть свою хорошенькую гувернантку), господа Юргенсон или Циммерманн, примешивалось и явно недоверчивое, настороженное отношение к усатому кайзеру, к его офицерам,

генералам и дипломатам... Папа, столько лет стрелявший в немцев из своих пушек, в прежние времена бывал, значит, в их главной цитадели — германском посольстве? Впрочем, может быть, в те времена они еще не думали воевать с Россией?

Папе пришлось пояснить сыну многое. Но попросил он Роню никому до поры до времени эти объяснения не пересказывать.

Оказывается...

Ронин дедушка — портрет его украшал папин кабинет — недаром играл столь видную роль в постройке новой большой кирхи и немецкой Петропавловской гимназии в Москве. Не меньшую роль играл Александр Вальдек и в мире дипломатическом. Был он канцлером и драгоманом германского Генерального Консульства в Москве.

— А что это такое, «канцлер и драгоман» — дивился Роня.

— Не перебивай! — хмурился папа. — Дослушай и все поймешь.

...Ронин дед, Александр Александрович Вальдек, происходил из старинной российской офицерской семьи со скандинаво-немецкими корнями, восходившими будто бы к самому королю Улафу III. Немало таких офицеров описано Толстым на страницах «Войны и мира». Иные до конца дней своих коверкали русский язык (как, впрочем, и многие дворяне с чисто русскими фамилиями), но были ревностными служаками, российскими патриотами, верными царю и отечеству. Кстати, Ронин прапрадед был смертельно ранен в Бородинском сражении на батарее генерала Раевского. Молодая вдова похоронила мужа на Введенских горах, в Лефортове.

Сын и внук заслуженных российских офицеров, Александр Вальдек пошел однако же по штатской части: окончил Дерптский Университет, потом служил присяжным поверенным при Московской Судебной палате, имел чин надзорного советника и приобрел известность тем, что выиграл несколько крупных гражданских дел, так сказать, с легким политическим привкусом.

Защищал он интересы целых групп инородцев и колонистов на юге России, где местные заправилы подчас покушались ограничивать этих инородцев в правах или присваивать себе их достатки. Одна из защитительных речей Александра Вальдека по иску немецких колонистов в Крыму была пространно опубликована в газетах, создала ему репутацию большого либерала, и, по-видимому, привлекла внимание немецких дипломатов в России.

Германский посол, прибывший в Москву из Петербурга по случаю коронации Александра III, пригласил адвоката Александра Вальдека на прием в Генеральное Консульство. После

весьма любезной беседы посол предложил Александру Вальдеку сменить сюртук российского присяжного поверенного на дипломатический мундир германского посольского драгомана. Словом «драгоман», несколько вычурным и с намеком на ориентальность российской державы, именовалась должность дипломатического переводчика на ответственных приемах, царских аудиенциях и при государственных актах.

Перейдя на службу в Генконсульств, Александр Вальдек принял германское гражданство, сохранив однако и подданство российское. В те времена такое двойное подданство граждан Германской империи допускалось и не являлось диковиной.

Вскоре драгоман Вальдек сделался душою Генерального консульства, получил должность посольского канцлера, т. е. управляющего делами, вершил протокольную часть, ведал всей дипломатической перепиской, пользовался полным доверием Посла и Генерального Консула, называвшего Канцлера Вальдека своей правой рукой и лучшим личным другом. Свою первую германскую награду — Железный крест канцлер Вальдек получил прямо из рук императора Вильгельма Первого.

Бывший адвокат Александр Вальдек на долгие годы вошел в состав московского дипкорпуса, обменивался письмами с Канцлером Империи графом Бисмарком, пережил его закат, а свой второй Железный крест, рыцарский, с дубовыми листьями, принял уже от Вильгельма Второго. Двумя орденами наградило его и русское правительство.

Посольский Канцлер Александр Вальдек скончался в этой должности в конце 1910 года, в возрасте 67 лет, искренне оплаканный теми москвичами и россиянами, кого мало радовали политические события в Европе после отставки великого канцлера Бисмарка. Антигерманские настроения императора Александра Третьего и некоторые его поступки в антинемецком духе усиливали опасные антирусские настроения императора Вильгельма Второго и в свою очередь поощряли его к поступкам антирусским. Дипломаты и военные медленно подталкивали обе державы к столкновению.

После московских революционных событий 1905 года либерализм Александра Вальдека сильно поблек. И он, и его сын Алексей, ощутили слабость глиняных ног российского колосса. Ощущение надвигающейся катастрофы стало угнетать канцлера Вальдека тем сильнее, чем яснее он видел и чувствовал полнейшее непонимание близких перспектив в среде своих коллег — германских дипломатов. Столь же трагическое отсутствие политического предвидения даже на самое непосредственное будущее усматривал он и в тех кругах

российского дворянства и высшей интеллигенции, где он по-прежнему оставался своим человеком.

Лишь в одном сановном деятеле России, бывшем министре внутренних дел, а впоследствии Члена Государственного Совета, Петре Николаевиче Дурново, он всегда находил зоркого, глубоко встревоженного судьбами России собеседника. И можно предположить, что ставший впоследствии известным меморандум Дурново, поданный им на высочайшее имя в 1914 году, был главным образом навеян мыслями, которыми эти два старых человека, Александр Вальдек и Петр Дурново, обменивались при встречах друг с другом.

Оба они прекрасно понимали, что столкновение России с Германией может привести только к взрыву русской революции, чьи, пока еще подземные, вулканические толчки уже ослабили постамент колосса. Как последствия этого взрыва неизбежны: падение двух династий — Романовых и Гогенцоллернов (как бы по закону сообщающихся сосудов), крушение двух империй, двух мировых держав. Так, в самый год начала преступной войны, за три года до трагедии российского февраля, повлекшего по неумолимой инерции октябрьский переворот, предсказывал события Петр Николаевич Дурново в своем пророческом меморандуме Николаю Второму.

Предлагал же он (а эти мысли Алексей Вальдек слышал от своего отца-дипломата на протяжении всей их жизни!) союз России с Германией, против созревшей для распада Британской империи. Мол, одряхлевший британский лев наложил лапу на такую гигантскую тушу, с какой ему никак не оправиться! Вдохнуть в эту полумертвую тушу новую жизнь — такая задача, что ее осуществление на полвека погасило бы все революционные искры, тлеющие в народе, отвлекло бы его внимание и силы от разрушения к созиданию...

Никто при российском дворе не прислушался к одинокому голосу бывшего министра. Неизвестно, был ли вообще меморандум доложен царю...

Посольский особняк в Леонтьевском Ронин папа хорошо знал потому, что часто посещал его при жизни отца, танцевал здесь на дипломатических балах, сиживал званым гостем на дипломатических раутах, усвоил посольский этикет и хитрости дипломатического протокола, умел выбрать цветы для дипломатического стола и знал множество анекдотов из жизни московских и петербургских дипломатов.

По рекомендации отца он, перед окончанием Университета, поступил вольноопределяющимся в артиллерийскую бригаду генерала Бросова и вышел из бригады прапорщиком запаса, при

отличных оценках и рекомендациях. На повторных сборах был аттестован поручиком — в этом чине и начинал войну.

Когда пришел для Алексея Александровича Вальдека час решения, какое подданство выбирать, он без колебаний выбрал российское, от двойного же отказался.

...Университетский профессор Зелинский возлагал на Алексея Вальдека немалые надежды, оставил его было своим ассистентом при кафедре, но за резкий протест против убийства революционера Баумана, ассистенту пришлось покинуть кафедру и Университет... Он уехал в Иваново-Вознесенск, откуда профессор Н. Д. Зелинский настойчиво звал его назад, на кафедру, пока сам не покинул ее в 1911 году, тоже в знак несогласия с жестокой политикой по отношению к студентам и всему делу высшего образования в России. Проводником этой неразумной, неудачной политики, глушившей народные творческие силы, был прежний адвокат и профессор юстиции Лев Аристидович Кассо, назначенный Министром просвещения. Это назначение совершилось в самый год смерти канцлера Александра Вальдека, очень не любившего своего процветающего коллегу, в прошлом тоже специалиста по гражданскому праву, как и адвокат Вальдек.

После ухода старого своего благожелателя, профессора Зелинского из Московского университета, Алексей Вальдек окончательно оставил мысль о столичной научной деятельности. И вернулся он к ней лишь много позднее, всего за какое-нибудь десятилетие до своей гибели в 1938-м...

А покамест, в революционном 1922-м, под затихающие залпы гражданской войны, последних массовых расстрелов на Лубянке, новых артсалютов с Тайницкой башни Кремля в честь Октябрев и Маев, начальник военизированной лесозаготовительной дружины Алексей Вальдек, некогда так близко знавший старых германских дипломатов в Москве, теперь, после долгого, многолетнего перерыва, неожиданно получил приглашение возобновить встречи с дипломатами сегодняшними...

* * *

...Раньше, до войны и революции, создать в Москве немецкое общество певцов вроде «Лидертафель» или Клуб гимнастов «Турнферайн» было проще простого — никто этих обществ не боялся, никто им не мешал. Конечно, поговаривали в те годы о «немецком засильи», но, по наблюдениям Рониным, такие разговоры среди интеллигенции пресекались и хорошим тоном не считались. В войну они, конечно, усилились, стали более

злобными, закрылись многие немецкие общественные организации, но все три церкви и обе немецкие гимназии продолжали действовать почти как раньше. Оставались в неприкосновенности знаменитая аптека «Ферейн», по-прежнему пользовались уважением немецкие лечебницы вроде клиники хирурга Симана у Яузских ворот, восстановили свою деятельность пострадавшие от погрома нотные издательства Циммермана и Юргенсона, продолжала выпускать лучшие в России ситцы фабрика Циндель на Москва-реке близ Симонова монастыря, красовались и неприкосновенности богатые особняки таких семейств, как Вогау или Кноп, никто не валил на кладбищах немецкие кресты и памятники, словом, даже в войну московским немцам не мешали на их языке молиться, отпевать мертвых, учиться и музицировать.

Ныне же, в условиях революционного 22-го или 23-го года вер это, по мнению властей советских, таило гору опасностей. Хотят петь? А ну как их на контрреволюцию потянет? Долго ли спеться против Рабоче-крестьянского Правительства?

Посему ходатайства немецких любителей хорового пения Моссоветом и партийными инстанциями пресекались, а ходатаев стращали карами, невзирая на все права, обещанные национальностям в новой Конституции РСФСР. Нельзя сказать, чтобы Роня со вниманием относился к этим разговорам старших: он считал себя русским и не любил, когда хитровские ребята дразнили его немчурой.

Однако дома папа и мама все больше рассуждали именно о делах немецких. Слово Германия зазвучало как-то по-новому, и все чаще стали проскальзывать у мамы вольные и невольные замечания и намеки, что, мол, Вальдеки — люди родовитые, старинной фамилии и место им — в культурной и демократической стране, а не в царстве диктатуры, насилия, лжи и голода. Тем временем ленинская Россия, уже на грани голодной гибели, совершила поворот к НЭПу и пошла на сотрудничество с послевоенной Германией.

Появились в Москве, на Ходынском поле, немецкие аэропланы общества Дерулуфт, а коммерческим директором этого смешанного русско-германского общества стал старинный папин приятель г-н Кликкерман. Кстати, он изъявил готовность прокатить Вальдеков-мужчин по воздуху и к Рониному восторгу действительно устроил им воздушное путешествие в Харьков и обратно. Первый в Рониной жизни полет потребовал двое суток времени и четыре промежуточных посадки, но любовью к авиации Роня проникся на всю жизнь.

В нескольких городах России, на Западе и Юге, без особенной

шумихи стали строиться немецкие заводы, в том числе и явно военного значения. Создавались крупные концессионные предприятия, куда брали лучших русских рабочих. Ими командовали немецкие мастера и инженеры. Работали предприятия немецкими машинами на русском сырье, платили рабочим хорошо, но по слухам и работу там спрашивали не по-нынешнему!

Вот при этих-то послерапалльских веяниях, да еще веяниях Нэповских, сменивших героически-голодную пору военного коммунизма, отпали препятствия и для немецких хоровых обществ! Подобно тому, как НЭП ознаменовался для мальчика Рони Вальдека видением круга колбасы за оттаявшим уголком лавочной витрины на Покровке, так возрождение «Лидертафель» обозначилось появлением г-на Мильгера и нотных пюпитров на школьной сцене!

С каждой репетицией собиралось в здании Петропавловки все больше старых членов довоенной «Лидертафель». Это общество считалось в Москве самым фешенебельным. В нем состояли сливки немецко-московской, кукуйской интеллигенции. Но одна «Лидертафель» как вскоре выяснилось, не смогла принять всех желающих петь и общаться друг с другом на родном языке. Вскоре возродилось еще два прежних больших хора — мужской, или «Меннергезангферайн» и женский или «Фрауенкор». Спевки «Лидертафель» так и пошли в бывшей Петропавловке, где учились почти все дети певцов. Оба других хора собирались то в кирхе, то в каких-то пустующих клубных залах. Еще создан был небольшой симфонический оркестр. Дирижер его, пианист и композитор Ненсберг, совмещал эти обязанности с ролью главного капельмейстера всех трех немецких хоров.

Нельзя сказать, чтобы власти относились благожелательно к этим немецким общественным организациям. Их лишь кое-как, со стиснутыми зубами, терпели... Под всякими предлогами репетиции срывали, собрания запрещали, участников вызывали для неприятных разговоров и предупреждений. Отклонялись все попытки учредить, кроме хоровых обществ, любые другие — спортивные, молодежные, профессиональные. Впоследствии стало ясно, что вся деятельность «Лидертафель» с самого начала находилась под строгим тайным контролем, а участие в ее спевках априори расценивалось почти как государственное преступление! На всех участников всех трех хоров уже заводились в надлежащем ведомстве особые дела. Из состава всех трех хоров выискивались люди запуганные, неустойчивые, слабые. Их вербовали в секретные сотрудники, делали тайными осведомителями. Кое-кто об этом уже догадывался, но

успокаивали себя люди тем, что ничего противоправительственного или дурного не замышляли. Санкта симплицитас — святая простота!

Положение нисколько не облегчалось тем, что в музыкальном отношении хоры и оркестр немцев-любителей с их классическим репертуаром, были просто превосходны.

В надежде заручиться поддержкой музыкальных корифеев и этим несколько укрепить шаткое положение «Лидертафель», капельмейстеры ее, Ненсберг и Боргман, ободренные композитором Мясковским, симпатизировавшим и хору, и его инициаторам, добились права на ответственное публичное выступление: хору разрешили исполнить со сцены бывшей Зиминской оперы ораторию Шумана «Манфред». Произведение сложное, романтическое, несомненно созвучное байроновской поэме, но... созвучное ли вкусам Главреперткома?

Выбор удивил и самих участников хора. Иные полагали, что концерт разрешили в расчете на провал немецкой самодеятельности. Тем более, что достойного исполнителя главной теноровой партии приходилось искать на стороне. С этим предложением обращались и к Народным, и к Заслуженным, ради кассового успеха, но никто из великих не согласился: партия сложна, маловато репетиционного времени, да и спеть «Манфреда» придется всего раз или два. Явно не стоит!

Тогда руководители хора, по совету того же Мясковского, пришли к Рониному папе: выручайте! Самые верхние пики чуть срежем. Положение хора критическое — до концерта всего две спевки. Спасайте своих-то!

Пришлось спасать!

...В переполненном серебряно-голубом зале бывшей оперы Зимина, превращенной в филиал Большого Театра, московская публика с восторгом слушала в исполнении хора «Лидертафель» (на афише впрочем не обозначенного этим именем) концертную постановку оратории, и партию Манфреда спел Алексей Вальдек. Газеты его похвалили, но всего приятнее был ему отзыв певицы Катульской. Она пришла из зала на сцену поздравить Алексея Вальдека такими словами: «Вы мне сердце будто в колыбели укачали голосом вашим».

Устроители, гордые и счастливые, искали в газетах хоть мимолетного упоминания, что самодеятельность — немецкая, наивно ожидали в заметках слово «Лидертафель» или легкий намек насчет нацменьшинства. Все напрасно! Как раз это-то самым тщательнейшим образом и замолчали. Только из программок печатных, изобиловавших фамилиями исполнителей, становилось очевидным, что ораторию спели люди не русского

происхождения!

Подходил к папе на сцену, среди прочих, и г-н Мильгер, советник посольский. Он дружески тряс папе руку и выразил удивление, почему Алексей Вальдек не бросит всякую техническую деятельность и не посвятит себя всецело искусству. При таком голосе и диапазоне!

Папа отвечал только грустной улыбкой.

Потому что не ведал г-н Мильгер главного: никакой технической деятельностью инженер Вальдек уж не занимался! На протяжении нескольких трудных месяцев он безуспешно пытался найти в Москве работу и подрабатывал, по тогдашней моде, мелкими биржевыми спекуляциями, всегда для него неудачными. Семья жила в двух маленьких стольниковских комнатах, летом снимала чердак на 38-ой версте.

После упразднения лесозаготовительной дружины Москвотопа, инженер Вальдек был демобилизован и представлен собственной судьбе. Правда, его звали назад, в Иваново-Вознесенск, только Ольга Юльевна наотрез отказалась возвращаться к разбитому корыту.

В Москве же текстильные фабрики оживали медленно. Иные, поменьше, переходили в управление концессионное, чужое, а концессионеры обычно не нуждались в русских инженерных силах. Некоторые, совсем мелкие фабричонки оказались теперь в руках частников-нэпманов, обычно еврейских; идти на поклон к этой советской необуржуазии папе претило. Семья жила впроголодь, хотя витрины магазинов уже блистали и ломились. Окорока и балыки, шелка и шевро, афишки с оголенными красотками и автомобильные клаксоны заполнили, озарили, оглушили московские улицы, где еще так недавно гуляли одни ветры и исчезали в метелях за заборами таинственные грабители-попрыгунчики...

Вальдеки, папа и мама, продавали старье. Перебивались каким-то маклерством, но вечно прогадывали — в негоцианты они решительно не годились. Безработица угнетала папин дух, чувство уверенности в себе, грозила, если затянется, утратой профессиональной квалификации.

Ольга Юльевна впадала в отчаяние и жарким шепотом (чтобы не подслушали стены) твердила мужу изо дня в день:

— Лелик! Долго ли нам еще так мучиться? Почему ты ничего не делаешь, чтобы тоже оказаться там, где все порядочные люди, чуть не все родные, Стольниковы, Донатовичи, Любомирские, Вогау, Ливены, ну, все, кто еще на что-то в жизни пригоден... Обещал г-н Мильгер... Ты же инженер, Лелик! Нечего тебе тут делать!

— Знаешь, Оленька, боюсь, что я уже отстал от настоящего дела. Девять лет сплошной паузы... Жил как будто в антракте. А спектакль-то шел! Не знаю, кому я там нужен. Да и без России... Что за жизнь?

— Сантименты! Уби бене — иби патриа[38]. Когда ты понесешь, наконец, прошение, чтобы выпустили?

И через несколько дней Роня догадался, что прошение папа понес. Запахло отъездом в Неизвестное. Ведь если очень хотеть чего-либо, человек добивается! Так всегда утверждал папа. И добавлял: ну, а коли человек чего-то не добился, значит просто не очень хотел!

Рассуждал об этом Роня и с мамой, почти откровенно и по-взрослому. Она не посвящала сына в подробности, в формальную сторону этих хлопот, но объясняла цель возможного отъезда: уйти от классовой мести, ненависти, дикости, убожества и произвола — к благополучию, устойчивости и безопасности жизни в правовом, цивилизованном, свободном государстве.

Показывали Роне и некоторые письма тети Аделаиды Стольниковой, полученные через г-на Мильгера. Нельзя сказать, чтобы она прямо приглашала Вальдеков на Запад или горячо советовала бросать все и рваться за рубеж. Она к такому обороту судьбы как бы в раздумий склонялась, решительно на этом не настаивая. Ибо она знала привязанность брата ко всему русскому, к природе, народу и языку российской родины, популярность Алексея у простых русских людей, их любовь к нему, много раз его спасавшую, вызывавшую в нем радостное чувство гордости. А там, на Западе?..

Там свои трудности, немалые, особенно для эмигрантов. Есть и безработица тоже, и волнения рабочих, и разорение фермеров, и презрение богатого к бедным, и национальная рознь, и угнетение слабого сильным, цветного — белым. Все это когда-нибудь тоже может привести к взрывам и бедам. Может, мол, то, что у России уже позади — там еще только предстоит? Переживать все заново? Революцию и террор?

Заколебалась в душе и сама Ольга Юльевна. С мужем она говорила по-прежнему решительно, с Роней позволяла себе и сомнения. Не угодишь ли, чего доброго, из кулька в рогожку?

А тут навалилось еще событие, семейного масштаба.

Из Иваново-Вознесенска спешно приехал хозяин последней ивановской квартиры, старик Прокофьев, сообщил, что местные деятели милиции и райсовета сфабриковали постановление об изъятии имущества у классово-чуждого царского офицера-сатрапа Вальдека, чьи вещи обнаружены при осмотре покинутой им квартиры.

Проще говоря, измыслили предлог, чтобы забрать и поделить якобы «бесхозное» имущество. Забрали все, от мебели до заветной шкатулки Ольги Юльевны. Последний материальный резерв, тот небольшой оборотный капитал, который мог поддержать семью в чужой стране, если бы семья там очутилась, попал в чужие руки.

Адвокат Коральджи, тем временем тоже перебравшийся в Москву, посоветовал поискать справедливости у высших советских руководителей. Ведь у Алексея Вальдека были встречи... ну, хотя бы Фрунзе?

Обсудили с друзьями этот совет, нашли его правильным, надо, мол, обращаться выше, но... стоит ли давать в руки явным злоумышленникам старый следственный материал о мнимом дезертирстве Вальдека? Тут возможны столь грубые подтасовки, что разбирательство затянется на годы и вряд ли имущество удастся как-то компенсировать. Стали думать о других высокопоставленных лицах, с кем сводила судьба Лелика Вальдека.

Может быть, сам товарищ Ленин?

Тут вспомнили тот эпизод, когда старший и младший Вальдеки очутились прямо-таки лицом к лицу с ним. ...В декабрьскую стужу 1920 года папа, начальник москвотопской дружины, приказал снарядить в путь железнодорожную дрезину для служебной поездки на Октябрьскую, бывшую Николаевскую железную дорогу, до станции Поварово. Роню папа взял с собой, потому что была у него тайная надежда добраться до Клина и навестить дом Чайковского, где в юности бывал и даже брал аккорды на шредеровском рояле Петра Ильича.

До Поварова доехали на дрезине, тут она и отказала. Механик остался чинить ее, а папа уладив все служебные дела, решил съездить в Клин поездом.

Дом Чайковского встретил их сумрачно, еле протоптанными в снегу сада дорожками. Родственники Петра Ильича, обитавшие тут, бедствовали как и все простые смертные, мерзли в очередях, спали всегда тревожно. Их особенно не притесняли, но и не баловали заботой. В кабинете композитора царил могильный холод, казалось, на роялях вот-вот проступит изморозь. Папа шагал на станцию, опустив голову.

Наступил вечер. Стемнело. Папа предъявил военный мандат, узнал насчет оказии до Поварова, где моторист все еще возился с двигателем, как выяснилось по телефону. Вот-вот ожидался товарный состав на Москву из Твери.

Состав подошел, папе указали на служенный вагон в середине поезда. Он пропустил Роню вперед на узкую лесенку в тамбур и оба вошли в вагон, где все было привычно Роне, как и в

других таких служебных вагонах, с печуркой, скамьями, слезящимися маленькими окошками под самым потолком и висячей лампой «Молния», всегда тусклой и закопченной. В тепле они расстегнулись, от печки отсели чуть в сторону, чтобы не теснить хозяев и не вспотеть перед выходом из вагона. Роня стал было дремать, не обращая внимания на разговоры старших. Состав был транзитный, шел, как сказали, прямо из Финляндии, что в ту пору было диковиной, и вез лекарства и аптекарские товары. Дали поезду отправление...

Но перед самым свистком, в вагоне произошло какое-то движение. Начальника эшелона вызвали из вагона. Затем через минуту он вернулся, пятясь, а следом за ним вошли в вагон три хорошо, очень тепло одетых человека. На последнем Роня различил каракулевый воротник и черную зимнюю шапку. Оказалось, что эти трое — высшие руководители революционной России: Председатель Центротекстиля Ян Рудзутак, управделами Совнаркома Владимир Бонч-Бруевич и сам Предсовнаркома Владимир Ильич Ленин. Они заехали на аэросанях в окрестности Клина, чтобы поохотиться, застряли в трех верстах от Клина, дошли пешком до станции, где отказались вызвать особый поезд и сели в служебную теплушку первого попавшегося состава на Москву.

Ленин уселся против печки и молчал чуть-чуть смущенно. Спутники его быстро оценили взглядом всех сидящих на скамьях, по-видимому, успокоились и тоже присели к огню.

Верно, в вагоне не сразу узнали Ленина в лицо, но папа, слыхавший Рудзутака на совещаниях, шепнул Роне:

— Это вожди! Ленин, Рудзутак и секретарь Ленина. Ты подвинься!

Потом и всем прочим в вагоне стало ясно, кто сел к ним на станции Клин. Укутанные в шали женщины стали разматывать платки, чтобы лучше видеть и слышать. Это были какие-то аптечные работницы, отвечавшие за груз. Мало-помалу завязался тихий разговор, и начальник эшелона стал жаловаться на беспорядки и беззакония в пути, на станциях. Оказалось, у эшелона где-то незаконно отцепили два вагона с грузом лекарств, оплаченных золотой валютой.

Отнявшие сослались на то, что фронт там ближе, чем к Москве. Ленин исподлобья вскидывал на говоривших проницательные глаза и, казалось, знал наперед лучше всех то, что ему скажут. Но верил он сказанному или нет, было трудно понять. Роне казалось, что главная его черта — усмешливое недоверие.

— Когда государство поручает вам такой ценный груз, —

картавя сказал он начальнику поезда, — надо быть решительнее с теми, кто под шумок готов урвать народное добро. Прощу Вас, Ян Эрнестович и Владимир Дмитриевич, возьмите это происшествие на заметочку. Вагоны надо найти!

Роне будто по какому-то внутреннему проводу передавалось папино волнение. Сколько зависит от этих людей, на вид столь обыкновенных, не более строгих, чем гимназические учителя и, — по их чертам и мимике — уж не таких-то выдающихся умом и талантами!

Как многого можно бы через них добиться! Но папа, как он потом сам сознавался сыну, считал слишком маловажным вопросы лесозаготовительные, чтобы на них отвлекать внимание главы государства. О научных же проблемах, о судьбах русской химии он не взялся бы сейчас говорить ответственно и компетентно.

Тем временем, разговоры с Лениным все больше отклонялись на транспортные происшествия, вмешиваться папе в них было бы неловко. Так, до самой станции Поварово, двое Вальдеков только пристально вглядывались в лицо Ленина, читали его. В Поварове надо было сходить, ради подмерзшего машиниста-мотористa.

Когда они ступили на снег, целая гурьба рабочих — сцепщиков, смазчиков, машинистов и кочегаров, отработавших смену, ринулась безо всякого приглашения прямо в служебный вагон! Оказалось, рабочие из селекторных переговоров Клина с Москвой поняли, что в вагоне должен проехать Ленин и кинулись к нему с наболевшим. Да, эти были решительнее Рониного папы! Как они поговорили с Лениным, Роня уже знать не мог.

Теперь, три года спустя, Алексей Вальдек вспомнил этот эпизод Но опять не возникло желания похлопотать о личной беседе: слишком незначительный повод, слишком... усмешливые глаза!

А идти к кому-то было надобно, жена настаивала, да и случай безобразный, дай таким повадку...

Пошел папа ко всесоюзному старосте! Сослался перед ним на знакомство с Фрунзе, на боевые отличия против немцев уже после революции. Михаил Иванович Калинин слушал папу внимательно; сорок минут длился этот прием. Пошла в Иваново-Вознесенск бумага о возвращении отобранного и расследовании беззакония.

Потом Роня и Вика веселились, слушая родительский рассказ, как старые фабричные рабочие-понятые ходили по домам мелких милицейских начальников, сопровождая Алексея Александровича и Ольгу Юльевну. Как те опознавали свои вещи, выносили их для отправки в Москву. Вернулось семейное серебро, хрусталь и

бронза, кое-что из более ценной мебели и посуды. Но с имуществом из шкатулки дело запнулось. Поди, докажи!

Начали договариваться «по-хорошему»: отдайте хоть часть, подобру-поздорову!

Поворчали, погрозили, но...

Пришлось милицейским подругам снимать прямо с пальцев, воротов и запястий те предметы, что казались Ольге Юльевне заветными или особенно любимыми. Выдали «реквизиторы» и кое-что свадебное, памятное. Про остальное, поценнее, получше упрятанное, сказали:

— Бог делиться велел! Имейте сознание. Чай, не пролетарии, еще наживете! И... мотайте-ка из города, пока целы!

В Москве супругов ждал еще сюрприз: подвернулась выгодная работа. Три состоятельных нэпмана-еврея (Бравый, Эренбург — кстати, племянник писателя, — и некто третий, чью фамилию Роня забыл) решили создать кондитерское производство и открыть роскошное кафе. Фирму нарекли «Флоркос» — сокращение «Флора» и «Космос», двух прежних, дореволюционных предприятий гражданина Бравого, дельца опытного и старого. Компаньоны арендовали бывшую шоколадную фабрику Флей на Цветном бульваре и пригласили химика Вальдека переоборудовать ее под кондитерское производство. Папа и его товарищ, инженер Витте, которого компаньоны тоже согласились привлечь, обложились справочниками и... Фирма «Флоркос» скоро прославилась на всю Москву. Кафе этой фирмы с помпой открыли в Кузнецком переулке, рядом с фотоателье Свищова-Паоло. Заручились владельцы еще одним уникальным сотрудником — личным кондитером царя Александра Третьего. Кондитер-старик был сух, жилист, свиреп и неутомим. Его потрясающие торты скоро стали украшать столы правительственных банкетов, вызывая восторг дипломатов.

Тем временем инженер Благов достиг административных высот в Текстильном Синдикате и получил иностранную командировку. Перед отъездом он долго совещался с папой. Потом Роня увидел красивую подарочную коробку, полную шоколадных конфет причудливой формы, и сразу узнал руку талантливого мастера-царедворца. Но когда он потянулся было за конфетой, Благов зашипел, а папа засмеялся: «Не бойтесь, здесь хватит и пустых!»

Провожая Благовых на поезд, Роня увидел эту коробку небрежно открытой на столике мягкого купе. Сразу вспомнился старый мамин рассказ о сватовстве г-на Амбар-Магомедова и шоколадном камуфляже его даров.

— Он повез туда свои... камешки? — осведомился Роня у папы.

— Не надо, мальчик! Много знать — скоро состариться! НЭП имеет свои законы, свой риск, своих конквистадоров. Закономерность времени!

...В те дни, или чуть позднее, папу вызвали в приемную ВЦИК. Говорил с ним секретарь Калинина, вспомнивший и про недавний прием инженера Вальдека у «всесоюзного старосты».

— Так вот, уважаемый Алексей Александрович, в вашим ходатайстве насчет выезда на Запад, вам... отказано! Мотивы: вы — военнообязанный, красный командир и крупный технический специалист, очень для нас ценный.

— Позвольте! Мне никто не дает работы по специальности, а из армии я уволен.

— Не уволены, а переведены в з а п а с. И все это — лишь временно, поверьте! Вам и у нас будет совсем неплохо! Да я вижу, вы и не очень огорчены!..

Правда! Коли человек чего-либо не достиг, значит, видно, он и не очень хотел!

Глава шестая. В МИРАХ ЛЮБВИ НЕВЕРНЫЕ КОМЕТЫ

1

Это было еще в двадцать втором.

Его станут называть потом героическим (как впрочем и любой другой революционный год), неповторимым, победным, переломным, пятым ленинским. Станут величать годом ленинского торжества — политического, военного, хозяйственного... Но в живой памяти Рональда Вальдека год этот, а вместе с ним и следующий, тоже еще целиком ленинский, сохранится как небывалая фантасмагория, доходившая в иррациональном своем неправдоподобии до мистики, до роковой дьяволиады. Именно так сумел первым оценить эту начальную полосу российского НЭПа Михаил Булгаков.

Москва еще голодала, и Москва уже пировала, развлекалась, оголялась, пьяноватая от вина и расправ. И для того, и для другого служили московские подвалы, подчас даже одни и те же. Кстати, огромная система подвалов Лубянских, где ходы XVII века соединялись с коридорами XVIII и тоннелями XX, служила не только местом тайных казней. Тут не только стреляли людей, тут убивали и память о них, запечатленную в их книгах и трудах. Через люки сбрасывались в подвалы под Лубянской площадью и соседними дворами, переулками и строениями многие сотни тысяч изъятых книг неугодного содержания — церковных, философских, богословских, юридических, исторических, часто весьма редкостных и ценных. По недосмотру или умыслу в эти книжные склады проникла сточная вода. Она превратила подземную лубянскую Голконду в бумажное месиво, так сказать, научное папье-маше.

Над Кремлем, маковицей Руси, еще отливали нетускнеющей позолотой двуглавые византийские орлы. Они венчали надвратные и угловые башни Кремля. Москва — Третий Рим — унаследовала этих державных птиц в XV веке при государе Иване Третьем, символически породнившимся с царственным родом византийских Палеологов. В ту пору искусство греческое и итальянское навеяло нашему Кремлю его архитектурные формы. Но душа московского Кремля, воплощенная в этих, по-своему воспринятых чужеродных формах, оставалась глубоко русской душой. Вероятно, это острее других ощущал зодчий Казаков, возводя близ Спасских ворот ордерное, во вкусе екатерининского классицизма, Сенатское здание, уже как бы предвосхищавшее знаменитый московский, александровский ампир. Особенно

удался зодчему купол, вознесенный над красной кремлевской стеной с ее гибеллиновскими зубцами...

Именно в этом здании выбрал себе квартиру Ленин.

Говорят, он сам распорядился водрузить над Казаковским куполом красное знамя и осветить его лучом софита. Ниспадая алыми шелковыми складками в прожекторном луче, это знамя революции пламенеет над куполом как бы противостоя коронованным орлам низверженной империи.

…С обшарпанных московских стен исступленно взывал — «ПОМОГИ!» человек-призрак в рубахе, похожей на саван. Этот помголовский[39] плакат снабжался еще дополнительной наклейкой: «Всякий, кто срывает или заклеивает настоящий плакат, творит контрреволюционное дело!»

Но Рональду Вальдеку запомнилось, как отечный, в струпьях и чирьях расклейщик со злостью замазал клейстером и человека в саване, и наклейку, чтобы через миг заботливо разгладить на этом месте веселую афишу с голыми красотками — объявление о новом кабаре с шансонетками. Постепенно, сперва робко, потом все нахальнее и откровеннее, возрождались старомосковские рестораны — Ампир, Савой, Метрополь, Прага, Гранд-Отель. Некоторое время процветал даже столь одиозный некогда Яр на Тверской-Ямской, только в нем уже не колотили зеркал... Впоследствии в этом здании помещался Межрабпомфильм, а затем оно горело и было перестроено под гостиницу «Советская». Любители сильных ощущений ждали, что вот-вот откроется казино с «золотым» рулеточным столом. Несколько прибавилось на улицах электрического света и появились рисованные афиши-объявления частных кинотеатров, зазывавшие москвичей на сеансы «Ню — женщина гостиных», «Индийской гробницы» и жутковатого фильма «Носферато», где Конрад Вейдт создал мистический образ божества Чумы. Картина шла с подзаголовком «Безмолвный ужас», и москвичи со стесненным сердцем шли на эти сеансы, воспринимая конрадвейдтовскую символику как нечто близкое тому, что творилось дома. Воскресли на афишах и русские имена — Иван Мозжухин, Владимир Максимов, Вера Холодная, студия Ханжонкова.

Возвращались из западных столиц первые русские реэмигранты, клявшие Париж и Берлин, лобызавшие фонарные столбы любезной московской отчины и остерегавшие ближних от напрасных надежд на зарубежную планиду, коли нет у вас в наличии ни банковского чека, ни американского дядюшки.

Они возвращались, считая преувеличенными страшные слухи о голоде в Поволжье, на Украине, на Дону, да почитай, по всей матушке-России, обескровленной свирепыми комбедовскими

изъятиями хлеба у крестьян. Теперь, в 1922-м, «изъятие излишков» приняло другую форму и перешло в другую сферу — церковную. С самой весны, под флагом помощи голодающим, шло форменное ограбление церковного имущества, наиболее ценного. Только из одного Исаакиевского собора изъято было по официальным данным около тонны золота, серебра — 2,2 тонны, и 980 драгоценных камней (правда, эти изъятия из собора обнародованы лишь в 1927 г.). Официальная статистика этих реквизиций просто смехотворна: будто бы из церквей изъято ценностей на семь миллионов золотых рублей. Сколько получили отсюда голодающие — Ты, Господи, веси!..

По дороге из Суздаля в Иваново-Вознесенск запомнилась Роне одна высокая колокольня, в селе Афанасьеве. С этой колокольни кинулся прямо на булыжник шоссейной дороги батюшка-настоятель Афанасьевской церкви, сразу после изъятия ее святынь и ценностей.

Впоследствии ходил слух, будто и первоначальный замысел знаменитой коринской «Руси уходящей» был связан с изъятием церковных святынь. Будто задумывал Павел Корин изобразить на полу Успенского Собора в Кремле груду сваленных дароносиц, крестов, чаш, кадильниц и блюд у ног двух чекистов в кожанках, а поодаль, на фоне иконостаса и клиросов, расставить священнослужителей и прихожан, чьи портретные эскизы прославили мастера, потрясли Максима Горького и вызвали столь восторженные отклики в Нью-Йорке, в 1964-м. Этот первоначальный замысел картины, возможно, и возникал у мастера, однако был им отброшен как слишком элементарный и слишком «жанристекий», не свойственный философскому духу Корина; однако, сами обстоятельства беспощадной реквизиции церковных ценностей не могли не волновать такого знатока русского искусства, как Павел Корин.

Если слух о коринском замысле и не достоверен, то вполне достоверна секретная инструкция В. И. Ленина исполнителям церковной экспроприации: проводить ее беспощадно, брать в церквах все, сколько-нибудь ценное вне зависимости от эстетических достоинств и религиозного значения. При сопротивлении действовать решительно и считать факты сопротивления даже желательными, поскольку такие факты давали повод к немедленной расправе на месте... Думалось ли при этом о голодающих... кто знает!

Но вот кто практически спасал тысячи жизней от голода, так это американская организация АРА. Никто из семьи Вальдек, далекой от закулисных махинаций с продовольствием, не взялся бы судить, бескорыстной ли была эта помощь американцев

голодающим в России, но, когда многие знакомые семьи, в том числе Стольниковы, получали солидную продовольственную посылку со сгущенным молоком (кажется, до этого его в России вообще не знали), галетами, детской питательной смесью, сахаром и маслом, лярдом, маисом, белоснежной мукой и какао, было просто трудно себе представить людей, способных отрывать от себя такие сокровища, и получатели преисполнялись чувством восхищения и благодарности.

Одним из популярнейших имен было тогда имя норвежского полярника и дипломата Нансена. Его связывали с продовольственной помощью России. Сочувствовали ее страданиям многие на Западе, но не многие претворяли сочувствие в реальные дела.

Очень затрудняла помощь русским блокада, дипломатическая изоляция, разруха на транспорте. Одолев все эти трудности, добралась до Москвы танцовщица-босоножка Айседора Дункан. Роне довелось видеть ее революционную программу на сцене Большого Театра. Под музыку «Интернационала» она исполнила хореографический этюд, выражавший в пластике идею пролетарского гимна.

Айседора изобразила скованного неволей раба, постепенное его пробуждение, распрямление, порыв к свободе и апофеоз торжества, освобождение от оков и приниженности. В конце этюда танцовщица замирала на авансцене в позе статуи, с красным знаменем и полуобнаженной, грудью (шептали в кулуарах, что оркестранты однажды устроили ей обструкцию за эту гордо выпяченную нагую грудь). Но, не танцевальную программу Айседоры запомнил Роня Вальдек в тот вечер 22-го года: по рядам зрителей, сидевших из-за холода в пальто, прошелестело, что в правительственной ложе над оркестром присутствует Фритьоф Нансен. Люди стали вглядываться пристальнее и вскоре узнали знакомую по портретам благородную седую голову и обветренное, почти кирпичного цвета, лицо путешественника. Загремели рукоплескания, и Нансену пришлось на минуту выйти из-за кулис на сцену. Овации были сильнее, чем Айседоре! И сама она с чувством пожимала руку великому норвежцу. Впрочем, печать наша тогда же нацепила ему ярлык «типичного пацифиста», ибо по его инициативе помощь оказывалась не только голодающим в стране, но и миллионам российских эмигрантов, получавших за границей знаменитые нансенские паспорта.

...В Страстную субботу этого уникального 22-го, перед полуночью, Алексей Александрович Вальдек шел с сыном по Красной площади мимо погруженного во мрак Кремля. Лишь алое

знамя над казаковским зданием трепетало в луче света. Они вышли Александровским садом к Большому Каменному мосту.

Тяжелый купол Храма Христа Спасителя венчал город, служил Москве золотой шапкой. Крест его, некогда поразивший Льва Толстого, своим размером, плыл среди звезд в глубокой полуночной синеве, среди разорванных облаков. Шла предпасхальная служба при настежь распахнутых вратах собора. Звучали оттуда голоса певчих и протодьяконский бас.

На площади же перед белокаменным собором, у самых стен, происходил безбожный комсомольский шабаш. Обряженные попами и монахами, ангелами и чертями, ведьмами и русалками, комсомольцы изо всех сил кривлялись, свистели, визжали, скоморошничали с площадок агитавтомобилей и прямо в саду, на спуске к реке и на широкой дорожке к уцелевшему постаменту от памятника Александру III.

Охальнее других вел себя здоровенный детина, изображавший Бога Саваофа с электронимбом вокруг низкого лба. Детина кощунствовал грубо, изрыгал в рупор похабные угрозы ведьмам и даже пытался достать посохом молодых прихожанок на паперти.

А служил в храме Патриарх всея Руси Тихон, уже оклеветанный, подвергнутый злобным гонениям и травле в печати, со стороны так называемых церковных обновленцев. Самые разные московские люди сейчас, в Страстную субботу, будто в последней надежде теснились ближе к главному алтарю, похожему на высокую беломраморную часовню. Десяти лет не пройдёт, и алтарь этот, и самый храм, стоивший русскому народу сорокалетних стараний, по сталинскому приказу взлетит в небеса посредством тщательно дозированного союзвзрывпромовекого аммонала. Эта обреченность и храма, и самого Патриарха, вскоре подвергнутого аресту, право же, будто уже предчувствовалась и тогда, в последние минуты Страстной... Вдали ударили полночь куранты Спасской, и крестный ход с пением пасхальной стихиры «Воскресенье Твое Христе-Спасе» двинулся с иконами и хоругвями от храма. Почти на пороге шествие было встречено дикой свистопляской антирелигиозников. Впечатление получилось такое, будто в чистое течение луговой реки вдруг прорвалась откуда-то грязевая лавина.

Кое-кто из верующих рванулся было в сторону — за кирпичиной, палкой, булыжником. Но вышел вперед облаченный в золотую ризу священнослужитель, может быть, и сам Патриарх. Высокая митра делала его фигуру крупнее и величавее. Повелительным жестом он потребовал тишины и произнес с четкой ораторской дикцией:

Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики гарантировала трудящимся-верующим свободу совести, то есть беспрепятственного отправления религиозных культов в местах, указанных властью. Сегодня у нас самый большой и светлый христианский праздник, и никто не давал вам права мешать богослужению и оскорблять чувства верующих. Освободите проход! Удалитесь от храма!

В эту минуту детина, с нимбом на лбу, оскользнулся на платформе грузовика и слетел вниз. Нимб его погас. Раздались смешки, и чей-то неуверенный подголосок пискнул:

— Нам тоже разрешено нашу красную пасху праздновать! Даешь песню, ребята!

Но в настроении активистов что-то сломалось, их крики сделались тише, и они уступили дорогу крестному ходу. Машины их отъехали в сторону, к улицам Волхонке и Ленивке, где молодежь снова сгрудилась в поредевшую кучку, чтобы продолжать кривлянье. Крестный же ход уже без помех проследовал мимо затейливого строения Цветаевской галереи на берег Москвы-реки и по каменной лестнице с шарами, минуя царский постамент, снова поднялся к соборной паперти, медленно втек в храм и растворился там среди тех, кто оставался внутри слушать чтение у алтарей…

…Тот же 22-й год был для Алексея и Ольги Вальдек праздничным, годом их медной свадьбы. Празднование это супруги решили отложить до зимы и тогда отметить сразу две даты: 15-летие супружества и 40-летний юбилей главы семьи — Алексея.

Тетя Аделаида загодя стала готовить стольниковскую квартиру к большому приему, кажется, первому после революции.

Квартира, правда, потеряла и блеск, и прежнее тепло, но все еще оставалась просторной. Ибо трех стольниковских прислуг — кухарку Аннушку, горничную Любу и молодую прачку Анфису домком числил полноправными жилицами трех хозяйских комнат. На самом же деле они по-прежнему обитали втроем в полуподвальных «людских» каморках между кухней и прачечной.

Это таинственное полуподвальное царство темных кладовых, начищенных кастрюль и медных тазов, пылающей плиты, жгутов мокрого белья в хлопьях белопенного прибоя и заповедных дверей к Анфисиной каморке с канарейкой и взбитыми подушками в ситцевых наволочках, — все это царство обозначалось одним кратким словом: внизу.

И вот этот семейный праздник, к которому долго готовились и внизу, и вверху, наконец наступил. И в разгар его стало казаться Роне, будто никакой революции и не бывало в России!

По-прежнему сервирован стол, прежние гости в прежних нарядах непринужденно и весело, как прежде, беседуют за бокалами прежних вин...

Среди гостей именитых была величественно-спокойная Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, изредка навещавшая с давних пор семейства Стольниковых и Вальдек. Была за столом и еще одна начинающая артистка, очаровательная Лиза Марлич, занимавшаяся в студии при Театре Мейерхольда. С великолепно разыгранным профессиональным интересом Ольга Леонардовна расспрашивала Лизу об актерских занятиях биомеханикой, которую Мейерхольд противопоставлял системе Станиславского. Лиза сдала свои Мейерхольдовские позиции без боя. С обезоруживающей улыбкой молодая актриса так предательски тонко высмеяла и принципы, и надежды, и репетиционную практику своего режиссера, приправив рассказ и несколькими пикантными персональными деталями, что сострадательная вначале улыбка Ольги Леонардовны быстро превратилась в поощрительную.

Общество за столом с суеверным почтением прислушивалось к жрицам сценического искусства. Повеяло тенями великих... Беседа сама собою соскользнула на драматургию Блока, на футуристов, Маяковского, имажинистов, Есенина. Отрицательная оценка этих явлений XX века была почти единодушной. «От всего этого слишком припахивает серой!» — вынесла приговор госпожа Алма Шварц, певица из «Лидертафель», папина партнерша и солистка церковного хора... Лишь для есенинской лирики нашлось несколько сочувственных реплик.

Морщился и кривил лицо от неприкрытого отвращения «ко всему этому бедламу» военный инженер Владимир Эдмундович Вальдек[40] , папин двоюродный брат. Сперва он нехотя рассказал, как ему удалось уберечь свою квартиру от вселения посторонних — пожалуй, самая модная тема у старомосковских интеллигентов в 1922 году. Оказывается, вместо того, чтобы уплотнится, как было приказано, Владимир Эдмундович просто отрезал капитальной стенкой отнятые у него комнаты, и, благодаря военным охранительным грамотам, получил разрешение превратить бывшую свою прихожую в кухню и ванную с прочими удобствами. Эти детали никого не смутили за ужином, напротив, вызвали одобрение и острую зависть: как же, инженер не стоит по утрам в очереди к уборной!

Этот родственник, лишь недавно возобновивший дружбу с Рониным отцом, заглохшую было в военные и первые революционные годы, поразил даже бывалого Роню своей открытой, непримиримой ненавистью ко всем нововведениям

Октября без разбора! Даже в застольном тосте он расценил российский февраль как освободительную революцию во имя чести и процветания нации и государства российского. Октябрь же он определил как жесточайшую контрреволюцию, чьи вожди, кучка авантюристов, играя на развале страны и усталости народа, разогнав отвергнувшее ее Учредительное собрание в Таврическом, создали демагогическую олигархию типа джек-лондонской Железной Пяты. И ни одно уважающее себя западное правительство никогда не признает юридическую законность этой олигархической власти, разве что за исключением немцев, поскольку они, мол, сами и суть главные закулисные режиссеры большевистской победы, которую потом и помогли упрочить миллионными тайными субсидиями исключительно в собственных эгоистических интересах... Бокал свой инженер осушил со словами: «за лучшие времена, за Россию!»...

Речь смутила всех, даже Стольниковых, гости оглядывались друг на друга, опасаясь тайного доноса... Ольга Леонардовна сделала вид, что она ничего и не слышала, мало ли застольных демосфенов обретает голос после старой смирновской водочки из стольниковского запаса!

В заключение вечера гости слушали музыку и чтение. Макс продекламировал напевно, под рояль: «А над озером пение лебедя белого, точно сердца несмелого жалобный стон!» Папа пел Шуберта, Листа и Рахманинова, Ольгу Леонардовну уговорили прочитать «Соловьиный сад», что и было исполнено с истинным блеском. Борис Васильевич Холмерс, старый поклонник Ольги Вальдек, показал несколько эстрадных номеров столь острых, беспощадно злых и сугубо сегодняшних, что гости опять было испугались. Тогда с величайшим спокойствием Борис Васильевич заметил, что всего год назад выступал с этой программой... в Кремле, перед вождями, как он выразился. На вопрос: кто же это слушал? — он спокойно ответил: все! И добавил, что взамен гонорара привез домой на легковом автомобиле целый багажник дорогой и вкусной снеди, о какой давно и думать забыл!

И все-таки для Рони все эти впечатления были второстепенны, потому что внимание его все время привлекал один, сейчас главный для него человек. Он казался Роне самым примечательным среди гостей и уже был любимейшим из них. Звали его Заурбек. Пожалуй, ни в одной человеческой судьбе не воплощался так символически русский иррациональный двадцатый век!

* * *

...Он лежал у каменистой дороги, прикрываясь телом убитого на скаку кабардинского коня. Падая, конь придавил простреленную левую ногу всадника. Второй пулей его задело, пока освобождал ногу и доставал из седельного торока оружие для ответного огня. У него была на этот раз не винтовка, а недавно привезенный из Оберндорфа, не вполне еще привычный немецкий автоматический пистолет, изделие фабрики братьев Маузер. Пистолет тяжел и устойчив, можно стрелять с упора. Но запас патронов маловат, а противников впереди — несколько.

В ущелье быстро темнело. Заметнее стали вспышки из винтовочных выстрелов. Рядом щелкали о камень пули. Стрелки-ингуши, с ними у отца — старая вражда. Напали из-за скал, прикрывающих дорогу на Владикавказ. До ближайшего слева стрелка — сажен сто. Для пистолета, даже крупнокалиберного, далеко; для их винтовок — в самый раз!

Вообще-то неважно бьют... Давно могли бы покончить с Заурбеком, как два года назад покончили с его старшим братом Борисом, выпускником Петербургского университета. Убили брата на этой дороге, только поближе к Кизляру и к отцовским землям по Тереку, ниже города. У отца, осетинского князя Каурбека, две тысячи десятин пашни, виноградники и леса, по соседству с обширными угодьями барона Штейнгеля. Младший сын барона и младший сын Каурбека, Заурбек, — близкие друзья, почти братья, вместе выросли здесь, охотились на родовых землях, вместе и при дворе представлялись...

Нога отяжелела, сапог стал больно жать простреленную икру. Наверное, задело большую вену, кровь проступает из-за голенища и хлюпает в носке сапога. Иногда чуть мутится сознание... Забываться нельзя! Те, осмелев, наверное, подползут сейчас поближе Так и есть: ползком двинулся левый, а те, что справа, отважились даже на короткие перебежки. Не знают, что взгляд у Заурбека соколиный, видит и в сумерках почти как днем!

Левый приподнимает голову из-за камня. Подобрался смело, шагов на полтораста. Его пуля взвыла над головой Заурбека, рикошетом отскочила от камней, зажужжала шмелем, ткнулась рядом, расплющенная, горячая.

Только теперь выстрелил, целясь, и Заурбек. Четыре ингушские винтовки ответили справа. Левая промолчала. Заурбек еще не понял, что уложил противника наповал, прямо в лоб...

После двухчасовой перестрелки еще один ингуш простился с жизнью. Три его сородича отползли, тоже оставляя на камнях кровавые следы.

Заурбек различил слабый конский топот, ржание. Эго ускакали нападавшие, заметив на дороге приближение двух

казаков и подводы с какой-то воинской Кладью. Они двигались к Гудермесу.

Истекавшего кровью от четырех пулевых ран, Заурбека казаки довезли до гудермесской больницы.

На операционный стол его положили уже без признаков сознания. Щуплый доктор в золотом пенсне только головой качал, диктуя, после извлечения пуль, сведения о больном. Записывала их сестра милосердия.

— Пишите, — говорил доктор. — Рост — два аршина десять вершков (около 187 см). Вес — шесть пудов ровно. И заметьте, сестрица, ведь ни одной жириночки! Одни кости, кожа да чугунная мускулатура. Вот атлет! Ну, и князек осетинский, нечего сказать!

* * *

Московский полицмейстер Дмитрий Федорович Трепов, сын Петербургского градоначальника, некогда раненного пулей революционерки Веры Засулич, счел необходимым заблаговременно приехать на званый ужин в Купеческом клубе, да еще и принять особые меры — для охраны самого клуба и наблюдения за порядком по всей Большой Дмитровке[41]. Ибо цвет губернской промышленности, торговли и науки вкупе с военными чинами занимали места за длинными банкетными столами в клубе. Деятели Москвы и губернии устраивали неофициальный прием генерал-инспектору кавалерии, великому князю Николаю Николаевичу, по случаю его кратковременного пребывания в древней столице: он возвращался с Кавказа, где отдыхал и охотился в царских и соседних угодьях.

Среди его свиты интерес дам вызвал атлетического сложения кавказец в черкеске. В росте он почти не уступал Великому князю, но двигался с мягкой легкостью горца. Широкий в плечах, узкий в талии, он, казалось был создан для лезгинки. Издали одежда его выглядела подчеркнуто скромной, и лишь вблизи можно было рассмотреть, что отделка газырей, пояса и кинжала стоила кубачинским мастерам загадочного Дагестана многих недель безупречной работы.

Застольной своей соседке, супруге московского профессора Сергея Муромцева, он успел отрекомендоваться Николаем Николаевичем Тепировым. Было замечено, что Великий князь обращался с ним дружески-покровительственно и называл либо тезкой, либо Заурбеком. Соседке он пояснил, что одно имя — национальное, осетинское, а другое — на русский лад, полученное при православном крещении. Отца, мол, тоже звали и

Каурбек, и Николай Тапиров. Они — старинные осетинские беки, признанные также и русской властью князьями.

Дамы заметили, что кавказец слегка прихрамывает, и волновались, станет ли танцевать — уж очень завидным казался он кавалером. Чуть подвыпивший Трепов, с несколько излишней фамильярностью, явно не понравившейся гостю, заявил, что тот, мол, «исправно спляшет». Эта реплика чуть не испортила все дело, но в конце концов, под дружным дамским напором, Заурбек смилостивился, вернулся в танцевальную залу и блеснул в мазурке, краковяке и венгерке, а в полонезе был просто величественен.

Покидая общество, Великий князь любезно предложил младшим своим спутникам не уезжать с бала и дождаться ужина, сам же отправился с адъютантом и остатком свиты на Николаевский вокзал. Заурбеку он ласково улыбнулся и шутливо погрозил пальцем: смотри, мол, не переусердствуй, чтобы не разбередить недавнюю рану!

В разгар бала Трепов, проводив князя до вагона, вернулся в клуб. Дама его упоенно вальсировала с Заурбеком. Когда же шеф полиции ангажировал другую даму, оказалось, что и тут Заурбек перешел ему дорогу — она обещала следующий тур преуспевающему осетинскому беку! За ужином Дмитрий Федорович выразил довольно грубо свое неодобрение по адресу неожиданного соперника. Кто-то переспросил, о ком это он так резко?

— Да вон о том кавказском осле! — во всеуслышание ответил Трепов.

— Вы бы полегче, Дмитрий Федорович! Великий князь на его землях охотился! Осетинский бек. Князь, как-никак!

— Подумаешь, князек! У них там, кто десяток баранов имеет, тот и князек!

Дальнейшее не сразу успели понять даже сидящие за ужином.

Громко упал стул, а через длинный банкетный стол перемахнула, будто подброшенная пружиной, фигура Заурбека. Совершая этот почти цирковой прыжок, он лишь на миг оперся рукою о стол, а в следующее мгновение вырос перед полицмейстером и нанес ему пощечину. Потом грозно завертел кинжалом и, не подпуская к себе никого, проложил путь к выходу. Никем не задержанный, он покинул клуб.

Однако, на вешалке остался его плащ, а на банкетном столе нечто куда более ценное — выпавший из черкески во время прыжка золотой портсигар с великокняжеским вензелем и надписью: «Николаю Николаевичу Тепирову-Заурбеку на добрую память от его гостя. Николай Николаевич Романов». По визитной

карточке, врученной за ужином соседке, было нетрудно установить московский адрес владельца плаща и портсигара. Оказалось, он недавно снял или купил квартиру в Камергерском переулке.

Трепов счел за благо отправить с полицейским чином и плащ, и дарственный портсигар по этому адресу, вместе с письмом, в коем требовал удовлетворения Заурбек велел устно передать, что давать удовлетворение полицмейстеру не собирается.

Этот ответ кое-где не очень понравился, и, хотя историю замяли, Заурбеку настойчиво посоветовали оставить Москву и коммерческие дела, начатые им в древней столице. Почувствовав охладелый и недружелюбный тон своих знатных покровителей, Заурбек махнул на них рукой и решил совершенно изменить и среду, и образ жизни. Вопреки воле отца, пошел учиться на паровозного механика и довольно скоро, к недоумению близких, надел железнодорожную форму и стал за реверс зеленого пассажирского локомотива «СУ» на линии Баку-Тифлис. По вине службы пути попал в аварию, был оштрафован и понижен в должности, чуть не угодил под суд. Глубоко возмущенный произволом и фальсификацией, оставил службу на железной дороге, записался добровольцем в кавалерийский полк, отправлен был на театр русско-японской войны, получил ранение и Георгиевский крест. Из Владивостока подался в Канаду и там за несколько лет сумел удвоить унаследованные от отца средства какими-то поставками для русского военного ведомства через порт Ванкувер...

Если сравнить человеческую судьбу с лестницей или горным склоном, все это можно считать, все-таки фазами восхождения, ибо энергия его кипела и не иссякала

И, шагая через две-три ступеньки крутой лестницы заурбековой судьбы, попытаемся лишь бегло оглянуться на эти фазы восхождения.

Он снова побывал в Германии, и дела его там окутаны тайной. Дольше всего задерживался в живописных местах Южной Германии, где в Вюртемберге закупил несколько партий современного оружия для своих единоплеменников, притом с ведома и поощрения некого политического деятеля, о котором ниже последует еще несколько штрихов[42].

Один из основателей знаменитой оружейной фирмы в городке Оберндорфе, господин Пауль Маузер пригласил уже привычного кавказского гостя на обед и во время застольной беседы выразил ему свое уважение, присовокупив, что всегда усматривал в России немалые перспективы для сбыта оберндорфской продукции, какой бы политический строй не

восторжествовал в империи Романовых и кто бы с кем там ни враждовал — племена, народы, нации или партии! При любых осложнениях ни одна воинственная сторона в России не должна, мол, забывать о надежных оружейниках в городе Оберндорфе. «Чтобы моя скромная фамилия превратилась в нечто приятно-нарицательное, будящее определенные ассоциации для русского уха!» — дальновидно закончил свое слово г-н Пауль Маузер. Происходило это уже на пороге мировой войны...

Когда же она разразилась, Заурбек, владеющий искусством быстрой ориентировки, белым военным билетом (девятнадцать ран!) и полутора миллионами капитала, вошел в полное доверие того самого большевистского политического деятеля, о коем выше вскользь упоминалось.

В тот час, когда ложились на бумагу эти строки (год 1976-ой), указанный деятель благополучно продолжал еще здравствовать на правительственных пенсионных хлебах, изредка публиковал мемуары, однако почел за благо не вспоминать печатно о Заурбеке, коему некогда дал совет приобрести под Москвою небольшое тихое именьице, вероятно учитывая интересы своих революционных коллег, подвизающихся в Москве. Осталось неясным, был ли этот совет решающим для Заурбека в деле с имением (сам Заурбек это утверждал), или же тут сказалась настойчивость супруги, пожелавшей тишины и покоя, но во всяком случае именьице было Заурбеком куплено, вскоре после женитьбы. В брак он вступил с девицей Масленниковой, встреченной на деловом ужине в Славянском базаре, куда Масленников-папа, компаньон Заурбека по делам коммерческим, привел и дочку Анну Александровну. Полюбить ее или просто привыкнуть к ней Зарбеку было решительно некогда — он вел крупные дела с военными поставщиками и промышленниками. Оставив жену хозяйничать в имении, он по горло увяз в так называемом «Земгоре», то есть Союзе земств и городов. Участвовал в перестройке фабрик и заводских предприятий на военное производство, тратил много сил на контроль железнодорожных перевозок, стараясь ускорять движение военных грузов, ибо чувствовал, что война начинает грозить основам империи.

У него происходили споры со знакомым революционером, который упрекал Заурбека в том, что его деятельность лишь продлевает агонию обреченного царского режима. Однако, как политик, революционер ценил, что Заурбек держит его в курсе крупных военно-промышленных, транспортных и снабженческих операций: эта осведомленность была выгодна деятелю большевистской партии. Впрочем, после отставки

Главнокомандующего, Великого князя Николая Николаевича, поощрявшего деятельность Заурбека в Земгоре, Заурбек и сам стал склоняться к мнению, что царь Николай Второй безнадежно проигрывает и трон, и войну, и не так на внешнем фронте, как на внутреннем.

Только после Февральской революции Заурбек нашел время навестить жену в подмосковном имении Сереброве[43], по Нижегородской дороге, на станции «38-ая верста». Имение Сереброво отстояло от железнодорожной линии на таком же пятиверстном расстоянии, как и имение Корнеево, только по другую, правую сторону. Мимоходом, буквально проезжая мимо, Заурбек Тепиров арендовал еще одно имение, ближе к станции, на краю села Каменка, на берегу большого пруда с каменной плотиной. Звали его «Белая дача».

Большой двухэтажный каменный дом с классическим фасадом, круглыми окнами в мезонине и обширными подвалами он, опять-таки мимоходом, приспособил под ремонтную мастерскую, привез сюда станки, моторы и локомобиль, протянул к зданию силовую линию от ближайшего Сажевого заводика, построил котельную и к концу 1817 года открыл небольшое предприятие для починки железнодорожных механизмов, аппаратуры и оборудования. Назначил заведующим своего двоюродного брата Мишу, довольно сумрачную личность, до тех пор изнывавшую от безделья в московской квартире, а затем в имении старшего своего кузена Заурбека.

В этих хозяйственных хлопотах и застала Заурбека Октябрьская. И тут, на первый взгляд, все дальнейшее еще можно было тоже принять за новую фазу восхождения, ибо конфисковали имущество и банковский вклад Заурбека не сразу, и не все. Некоторое время ему оставляли и квартиру в Камергерском, и имение Сереброво, и арендованную Белую Дачу, и Ремонтные мастерские в ее подвалах. Заурбек даже собирался построить мельницу в своем Сереброве, а то мужикам соседней конокрадовой Марфинки-деревни далековато, мол, ездить с зерном «на помол»... Сохранялись и связи с деятелем, игравшим уже роль государственную и проявлявшим благожелательность к Заурбеку. Поощрительство его, или другие, еще более таинственные обстоятельства привели Заурбека точнее, гр-на Тепирова, Ник. Ник., по национальности — осетина, имущественное положение — госслужащий, недвижимости не имеет, происхождение — из нацменьшинств (!), — к должности, ныне уже трудно вообразимой, еще труднее произносимой — уполномоченный ОРТОЧЕКА Курской железной дороги. Полномочия его распространялись на область техническую, а в

какой мере это сопрягалось с функциями политическими, и какими именно — выяснимо теперь лишь посредством спиритического сеанса с вызовом духа Н. Н. Тепирова!

...Весной 1922 года Ольга Юльевна Вальдек познакомилась с ним на берегу высохшего Каменского озера, под стеной «Белой дачи». Ее арендатор, руководитель мастерских, владелец соседнего Сереброво (там пообрезали пахотные земли, а парк и усадьбу с барским домом оставили во владении «товарища уполномоченного»...) и деятель транспортного ЧЕКА, в прошлом — князь и паровозный машинист, — задумчиво ковырял тросточкой (набалдашник в виде головы борзой) щебень и прах свежевзорванной крестьянами озерной плотины.

Ольга Юльевна, ахнув при виде сухого бассейна на месте некогда живописной водной глади, подступавшей к парку Белой дачи, спросила, зачем было взрывать такую хорошую плотину?

На что товарищ уполномоченный дал вразумительный ответ:

— А зачем было взрывать такую хорошую Россию?

Разговор заинтересовал обе стороны, продолжался уже в парке Белой дачи, а затем последовал визит Ник. Ник. Тепирова в скромную чердачную резиденцию семьи Вальдек в селе Каменке. Оказалось, что имя Алексея Вальдека, недавнего руководителя москвотопской дружины Ник. Ник. Тепирову отлично известно, а Ольга Юльевна вспомнила, что «товарищ уполномоченный» в свое время оказывал помощь противопожарным мерам Алексея Александровича, в бытность того здешним лесным начальством.

С той поры завязалась дружба семейная, и больше всех членов семейства Вальдек привязался к загадочному Заурбеку ученик Петропавловской бывшей гимназии, Рональд Вальдек.

Дело в том, что уже сблизившись, подружившись, даже чуть не породнившись с этим человеком, взрослая часть семьи Вальдек более чем скептически относилась к поразительным рассказам Заурбека об ингушах под Кизляром и индейцах под Ванкувером (с одними он дрался, с другими — «кунаковал»), о великокняжеских охотах на собственной земле и укрытии там же политического деятеля, за которым гнались жандармы, о взрыве паровозного котла при крушении и чудом спасенном машинисте Тепирове и о чаепитии в обществе Великой княжны Ольги в стенах Ипатьевского монастыря; о любовной связи со знаменитой балериной и кавалерийской атаке под Мукденом... Рональд чувствовал, что рассказы эти не только не выдуманы, а напротив, сухи и деловиты, до неинтересности. Память Заурбека сохраняла краски, детали, имена, но он передавал эти эпизоды и факты протокольно и даже скучновато, их надо было уметь извлекать. Кроме того, он начал показывать Роне и предметы, которыми

дорожил и втайне гордился, однако же никогда не показывал их скептикам. Их было очень много, и все — уникальные, по использованию и стоимости. Среди них очень запомнился тот самый золотой портсигар с надписью от Великого князя, подаренный Заурбеку самим Николаем Вторым; огромная декоративная курительная трубка из цельного слонового бивня, с крышкой в виде серебрённого орла, и с богатейшей резьбой: на трубке были исполнены все гербы российских городов и губерний, в центре же красовался наибольший — московский Егорий на коне, с копьем и драконом. Были уникальные часы с репетициями, огромный аквариум для тропических рыб более крупного размера, чем их держат простые любители (он был разбит при переезде из Камергерского), были картины, статуэтки, мундштуки, трубки, стаканы из серебра и золота, сервизы, бинокли, ружья, словом, целые коллекции раритетов, и большая их часть была подарена знатными особами или историческими личностями, либо самому Заурбеку, либо его отцу.

И, кажется, последней любовью этого человека стал Рональд Вальдек.

Он передарил мальчику сотни своих диковин. Стал хлопотать о форменной передаче имения Сереброво (дом и сад, как значилось по документам, на самом деле — дом и парк размером в шесть десятин, остаток Серебровской усадьбы с тремя прудами и вековыми елями) Рональду Вальдеку, как «моему наследнику и приемному сыну». Хлопоты эти почти увенчались успехом и верно, приведи они к желаемому для Заурбека результату, судьба Рональда Вальдека стала бы на полсотни лет короче и заверилась, как и для всех таких «кулаков», где-нибудь в лагерях Кузнецкстроя или Магнитки...

Но тогда, в начале, а тем более потом, в разгар НЭПа, люди как-то верили ленинским утверждениям, будто НЭП введен всерьез и надолго, для экономического соревнования двух главных укладов в стране, частно-собственнического и государственного. И казалось тогда, что, унаследовав имение, Рональд еще успеет приложить руки к Серебровским садам и прудам, и что они отблагодарят молодого хозяина сторицей. Рональда тянуло «к земле», к ниве, и он никогда не сочувствовал нерачительным чеховским героям.

Однажды, почти на вечерней заре, в зимний день, Заурбек, уже принятый в семье как родной ее член, с натугой снимал в московской, маросейской квартире Вальдеков левый сапог. Роня сидел у письменного стола, и вдруг рядом ударила почти черная струя — это хлынула внезапно кровь Заурбека из той, стародавней, еще ингушской раны 1902 года. Открылась рана, как

выяснилось, от нервного : перенапряжения.

Скупой на слова Заурбек, перевязанный Рональдом, ибо никого из старших в тот момент в квартире не оказалось, сознался, что все последние полгода жил как бы под дамокловым мечом: его жена помешалась. У нее мания преследования в какой-то особенно агрессивной форме. Она должна защищаться от тайных сил, ее подстерегающих. К этим тайным силам стал, видимо, относиться и сам Заурбек.

Он давно перевез ее в Белую дачу (в Сереброве несколько лет подряд проводили все летние месяцы Вальдеки и их друзья), где преимущественно жил и сам наблюдая за работой мастерских.

В последнее время он не раз пробуждался оттого, что жена с ножом в руках подкрадывалась к спящему, перерезать ему горло. Дело шло к отправке жены в заведение для умалишенных, а это — несовместимо с обычаями старины у осетина! И он, воротил назад уже присланную за больной специальную подводу.

Кончилось дело плачевно: больная отравилась. От волнений, связанных с следствием, открылась Заурбекова рана. Тогда Роня и понял, отчего в доме ощущалась уже несколько дней такая угнетающая, тяжкая атмосфера. Но и родители знали, оказывается, не все!

Лестница Заурбековой судьбы с тех недель повела вниз. Началась полоса его нисхождения, по нынешней советской жизни. В 1930 году он угодил под раскулачивание. Кинулся поначалу за поддержкой к высокопоставленному большевистскому деятелю, кого некогда выручал из злых бедствий, а потом держал в курсе государственных событий. Пока околачивал эти московские кремлевские пороги, остался нищим и бездомным. Жилье его в Сереброве было разграблено, дом сожжен, а Белая дача просто взята в казну.

Роня звал его переселиться к ним насовсем, но Москва угнетала его дух и он, тоскуя по сгоревшему дому, искал приюта в соседних деревнях. Эти дни безрадостного угасания, нищеты и скитания по чужим углам чуть-чуть окрасили те подарки, что Рональд свято хранил до черного дня! Крест над могилой этого Чертопханова наших дней Роня Вальдек смог соорудить осанистый. Отпевали новопреставленного в Каменской церкви, тоже вскоре взорванной, как и Каменская плотина... Как и страна Россия!

2

До 30-х годов всю Москву, в любом направлении, можно было пересечь на лыжах, из конца, в конец: дворникам предписывалось

оставлять на мостовых слой снега и наледи толщиною сантиметров в двадцать.

Все школьные годы Рональд Вальдек с другом своим и соседом по парте Германом Мозжухиным, или попросту Геркой, становились, после уроков и домашней обеденной трапезы, на лыжи, встречались обычно у храма Христа Спасителя, спускались на лед Москва-реки и скоро оказывались среди зарослей Нескучного сада, а то еще подальше, уже в Ноевом саду, на задах и огородах деревни Потылихи. Затаив дух, слетали с высоких обрывов, рискованно лавировали между деревьями, вовсе не подозревая, что упражняются в слаломе (так мольеровский герой не подозревал, что разговаривает прозой).

Мальчики любили навещать в Нескучном заброшенные гроты, ротонды, павильоны и почерневшие статуи, будто всеми позабытые среди сугробов и кустарника. Сиротливые остатки старомосковского паркового зодчества, сильно пострадавшие от превратностей последних лет, трогали мальчиков своей грустью, загадочностью, беззащитностью. На их стройных колоннах, классически покатых плечах, или в павильонных окнах медленно гасли отсветы малиновых закатов. Потом статуи и ротонды одевались в прозрачно-синие шелка сумеречных теней, зябко в них кутались, как старомодные дамы в нетопленых гостиных... Легкий снежок и зимняя мгла глушили лишние звуки и убирали из парка немногочисленных, и все-таки лишних попутчиков, пока мальчики не оставались одни, наедине друг с другом.

Две пары лыж шуршали согласно, ни души не было вокруг и наступал для Рони и Геры час мужской беседы о тайном, задушевном: кто чем дышит, у кого что в памяти, какие родительские или семейные секреты надлежит уберечь от всего мира, паче же — кому отдано сердце и каковы виды на ответ! Тут уж обсуждалось все! Тончайшему анализу подвергался каждый шаг, слово или поступок избранницы, взвешивались шансы и готовились встречные шаги, слова и поступки. Обсуждались приемы тактики наступательной, а то и оборонительной, коли возникала угроза соперничества с каким-нибудь видным старшеклассником за сердце избранницы!

Уже на полпути школьного бытия, на пороге возраста любви, оба друга решили внести в эту тонкую область элементы порядка и классификации.

Весь прекрасный пол планеты сам собой, чисто эмпирически, распался на две категории: значащих и незначащих. Естественно, что в обиходе мальчишеском последние играли ту же роль, что азот в атмосфере. Категория же значащих делилась на знакомых и незнакомых. Из всего обилия знакомых девочек путем

таинственного отбора до прихоти судьбы и вкуса, обособлялись этуали, и из этой элиты надлежало высматривать себе избранниц, главных и запасных, как у игроков в футбол,.. целях джентльменской конспирации друзья-лыжники обозначали девочек-избранниц только в мужском роде, например «южанин», «непир», «Монте-Кристо», «именинник», а то уж и вовсе кратко: «твой» и «мой». Вычитанное Геркой слово «этуаль»[44] показалось друзьям нарядным, не для всех понятным и в обиходе удобным.

Тот же Герка решительно противился выбору этуали (тем более главной!), среди одноклассниц. Нельзя, чтобы при ней какой-нибудь замухрышка-педагог ставил тебе двойки или шпынял за грязь в тетради. Куда лучше, мол, обращать взоры в сторону знакомых, а еще вернее, отдаленно-родственных семей. Ибо родство, хотя бы почти теоретическое («нашему забору двоюродный плетень»!), все-таки помогало Герке преодолевать природную застенчивость. А сама обстановка семейных праздничных встреч, даже и скромнейших, придавала известную приподнятость знакомству с негаданной родственницей. Именно в кометном хвосте дальних сородичей знаменитого кинематографического актера, Геркиного дядюшки, племянник обрел свою главную этуаль, сероглазую Лизочку Турову, будто сбежавшую с английского рекламною проспекта: «Блондинки! Требуйте мыло Раллей!»

Роня же стремился держать свою «главную», что называется, всегда на глазах, влюблялся он ревниво, пламенно и, конечно, всякий раз на всю жизнь. День, когда ОНА бывала вне его поля зрения, Роня считал безнадежно потерянным. Поэтому избранницей его могла стать либо соседка по дому, либо соученица. Он и отдал свое сердце Клерочке Орловой, самой красивой однокласснице. Застенчиво-нежное чувство к ней он сохранял потом в чистоте, на протяжении долгих лет; как Петрарка после замужества Лауры.

Кстати, и для Рониного кузена Макса Стольникова, как случайно выяснилось спустя годы, Клера Орлова тоже была «главной» сама того и не подозревая. Может быть, если бы семья Стольниковых не покинула Москву, Роне предстояла немалая сердечная скорбь, ибо шансы Макса были, пожалуй, серьезнее Рониных!

В классе ученица Клера Орлова с двумя подружками — Олей Переведенцевой и Таней Пантелеевой занимали камчатские парты в дальнем от окон ряду. О борьбе районных и наркомпросовских властей с либерально-буржуазными традициями бывшей Петропавловской гимназии ученики знали не хуже учителей и держались сплоченно, как мальчики, так и

девочки. Начало 20-х годов ознаменовалось в советской школе знаменитыми педагогическими опытами над кроликами-учениками. В этом смысле упрямая фрейлейн Ретген, равно и сменивший ее герр Густав Моргентау не отставали от модных западных веяний своего прогрессивного педагогического века! В бывшей гимназии насаждались и педология, и эвристика, и Дальтон-план, и евгеника, и бригадный учебный метод.

Ученикам предлагались тесты и всевозможные психологические испытания, например, на внушаемость (в старой Петропавловке о таком и слыхом не слыхать было!). Роня Вальдек оказался в числе трех или четырех мальчиков, не подверженных внушению. Им заинтересовались, и назначили ему дополнительные испытания в психофизической лаборатории, помещавшейся в Б. Златоустинском переулке (впрочем, уже переименованном в Б. Комсомольский). В лаборатории результат испытания на внушаемость вновь подтвердился — на Роню будто бы почти или вовсе не действовали обычные приемы рекламы, пропаганды, агитации и прочих видов современного массового или индивидуального внушения... Впоследствии войдет в обиход понятие «массовая информация» — во времена Рониной юности она только зарождалась в виде ленинской монументальной пропаганды, агитплакатов РОСТА, однобоких газет, унифицированных журналов, кинофильмов, чуть позднее — общедоступного радио. Впоследствии к этим средствам «массовой информации» прибавились столь могучие рычаги психической обработки как телевидение, круглосуточные радиопрограммы на всех волнах и диапазонах, потрясающие воображение тиражи газет и иллюстрированных изданий, работа издательских концернов и точно нацеленные ораторские выступления политических деятелей.

С помощью этого арсенала средств «массовой информации» Адольф Гитлер воодушевит националистической социальной демагогией, широкими обещаниями и реальными угрозами всю великую стомиллионную германскую нацию и бросит ее, сплоченную до монолита, в смертельную войну за осуществление национал-социалистических идей. Заметим мимоходом, что этим он сыграл на руку именно мировому коммунизму, тем, что подарил последнему сперва самых неожиданных союзников, а затем — победные лавры. С помощью тех же средств «массовой информации» (на деле — просто оболванивания) Сталин натравит чуть не весь народ Страны Советов, все двести миллионов душ, на мнимых внутренних врагов. И завоют толпы митингующих и демонстрирующих: смерть им! — чтобы лет через двадцать эти казненные были тихо и почти скрытно признаны

лучшими сынами страны и народа, а их смертная участь просто замолчена, опять-таки теми же средствами «массовой информации».

В те, уже далекие 20-ые годы, ленинская партия, впервые в истории мирового тоталитаризма, еще только училась приемам «информации», то есть массовой и обязательной лжи, возведенной в систему, в государственную догму. Замалчивание всего «неугодного», невыгодного или стыдного, превозношение и раздувание малейшего успеха, и, наконец, грубая подтасовка фактов, извращение событий, наглейшая прямая ложь — стали законом советской прессы. Вот эту ложь, внедряемую в массовое сознание методами ежедневного и ежечасного внушения, Роня Вальдок органически принять не мог. Бесчисленное множество «голых королей» буквально мельтешило перед его глазами, но никаких мантий, никакого нового платья Роня на этих голых королях не видел.

Ежедневных примеров было столько, что трудно их и привести.

Скажем, на диспуте между наркомом Луначарским и митрополитом Введенским красноречие и логика митрополита явно одерживала верх над наркомовской, и аудитория награждала рукоплесканиями находчивость и элоквенцию архиерея. Газеты же непременно напишут, что победил в споре нарком, осыпанный цветами и аплодисментами. Где-нибудь закрывали церковь, под стоны и слезы верующих, — газеты же рассказывали, как единодушно народ потребовал ликвидации очага мракобесия. Производились выборы в какой-нибудь комитете или совет — выступал представитель партийного губкома или ячейки и прочитывал список «рекомендуемых» кандидатов. Разумеется, кандидат избирался поднятием рук единогласно, и газеты всерьез писали об энтузиазме и восторге избирателей, отдавших голоса (точнее, руки) за верных ленинцев. А уж про загнивание и маразм буржуазной демократии писали так, что оставалось ждать падения западных буржуазных порядков буквально на следующей неделе.

При новой серии педологических проверок у Рони нашли некоторую замедленность реакций, устойчивость вкусов и черт характера, правдивость, и еще: слабую подверженность панике и «психозу толпы» (прежде это качество называли хладнокровием, но, вероятно, такие элементарные термины не отвечали современному уровню психо и педологии). Еще у него констатировали «вышесреднюю» память и фантазию, склонность командовать и увы! — резко выраженное тяготение к «отвлеченной», а это значит, страшно сказать! — внеклассовой

справедливости..

Все это не помешало педологам Рониной школы после «комплексного обследования» признать Роню Вальдека лишенным прилежания, трудолюбия, целеустремленности, внимания и почти всех видов способностей и дарований.

— Просто не ученик, а почти законченный идиот! — недоумевал дома папа, Вальдек-старший, рассматривая сложный график педологической проверки. Мама же просто несознательно хохотала.

После введения бригадного метода и дальтон-плана, Роню, несмотря на неутешительные выводы педологов, назначили бригадиром сразу по нескольким учебным дисциплинам. Практически это означало некоторую личную ответственность за общебригадные грехи. Как раз тогда Роня узнал, что в древней Иудее существовал праздник очищения от грехов — оказывается, грехи всего народа возлагались на выбранного для этой ноши козла отпущения. После возложения первосвященником всеиудейских грехов на рогатого избранника, носитель грехов изгонялся в пустыню, под улюлюканье всей толпы. Когда на Рональда Вальдека возложили бригадирство по литературе, немецкому, французскому, физике, обществоведению и политграмоте (две последние дисциплины, с присовокуплением к ним еще особого курса советской конституции, долженствовали заменить упраздненный курс истории), Роня понял, что пустыни ему не миновать!

Числилось в бригаде десять-двенадцать человек, и могли они мирно бездельничать, пока бригадир потел над очередным отчетом. Это называлось коллективно-индивидуальной подготовкой. Отчет же заключался в том, что бригадир прочитывал доклад на заданную по данному предмету тему, а учитель потом задавал еще несколько дополнительных вопросов бригадникам. Искусство бригадира в том и состояло, чтобы спрошенные сумели ответить!

Учителя, более дальновидные, да и просто более добросовестнее и честные, только притворялись, будто придерживаются прогрессивной методики. На деле же они учили по-старинке, а спрашивали строго. Так было с математикой и естествознанием. Прочие терялись в новшествах, и испытывали прямо-таки симпатию к тем ученикам, кто выходил из проверок с клеймом отсталости либо неспособности. По загадочной аномалии именно эти неспособные заканчивали школьный курс наиболее благополучно!

Перед экзаменом по русскому языку новый учитель Добролюбов, уже третий после Веры Александровны (ни тот, ни

другой, «сменив, не заменили ее» в ученических сердцах!), подверг учеников очередному тесту. Он пояснил, что должен проверить остроту обоняния у всех учеников класса. Достал из портфеля три флакона с разноцветными жидкостями, пояснил, что это духи из весенних цветов, всем известных. Потом по очереди открывал каждый флакон, подносил флаконы близко к испытуемым, спрашивал, какие запахи. Почти единодушно 38 учеников и учениц признали в первом флаконе ландыш, во втором — сирень, в третьем — фиалки. Роня не почувствовал ничего.

Его сосед и друг, Герка Мозжухин, посмотрел на Роню презрительно, через плечо, и фыркнул: — Ну и нос у тебя! Сиренью за версту несет, а он не слышит!

Опыт оказался вовсе не на обоняние, а снова на внушаемость. Во флаконах была обыкновенная вода из водопровода, чуть подцвеченная чернилами. Учитель глянул на Роню как-то странно и сказал: — Вам, Вальдек, предстоит в жизни нелегкая судьба!

Нелегкая судьба настигла Роню уже на школьном пороге: его бригадирство привело к тому, что по математическим дисциплинам он почти не готовился и излишне понадеялся на своего бригадира. Однако, учитель назначил не бригадные, а самые настоящие испытания, и легко установил, что ни за 8-ой, ни за 9-ый классы Роня математики не знает. Класс закончил программу, а Роне и Герке назначили переэкзаменовки через месяц. И тут выручил неожиданный и нелицеприятный благодетель!

В самый год окончания школы (1924-ый) Ронины родители твердо решили вернуть Роню хотя бы формально в лоно лютеранской церкви Зарубежные планы не были еще окончательно оставлены, а ведь там обязательно потребуют «конфирмационсшайн» — свидетельство о конфирмации! Роня не очень ясно понимал смысл конфирмации, и ему пояснили что это — торжественный обряд первого причастия, совершаемый у лютеран на пороге сознательной, самостоятельной жизни. Он требует сознательного отношения к вопросам веры и хотя бы элементарных знаний самых основ христианства. Поэтому обряду конфирмации должны предшествовать учебные занятия.

Между тем советские власти официально запретили все виды религиозной подготовки детей и подростков, в том числе школьные, или церковные, уроки Закона Божьего. В бывшей Петропавловской гимназии совершилась, наконец, в 1923-м году столь давно подготовлявшаяся пролетарская революция. Появился в ней «красный директор», а Ронин класс, за год до окончания, вообще расформировали, разбросали учеников по

классам параллельным. Главное же, школу слили с другой, разбавив прежний состав учащихся пополам и убрав половину учителей, разумеется, лучших.

Бывшие петропавловцы сидели теперь в новых классах с незнакомыми ребятами, не знавшими немецкого языка. Сам Роня оказался на одной парте с беленькой худенькой девочкой. Шурочка Есенина побила Ронин рекорд «младости» — она была еще года на полтора моложе. Девочка трогала своей скромностью, ясной голубизной очей, незлобивостью души, крестьянскими словечками в разговоре и наивной преданностью учебным заботам. Была в этой девочке доброта и чистота. И приходил изредка за нею в школу красивый, белокурый, элегантно одетый молодой человек, похожий на Шурочку чертами лица. Шурочка, стесняясь, показывала ему в коридоре, на подоконнике, свои, не слишком безупречные тетрадки. Автором только подписанного ее фамилией немецкого сочинения был сосед по парте и шурин бригадир Роня Вальдек. Он однажды проходил мимо сидящей в коридоре пары и заметил Шурины затруднения. Соседка познакомила его со своим собеседником:

— Это — мой старший брат, Сергей Александрович Есенин. Может слышал?

Да, Роня слышал. И читал. И любил. С того дня началось это знакомство, но о нем — попозже.

Разумеется, в обновленной, точнее, умерщвленной Петропавловской гимназии, ставшей рядовой совтрудшколой, прекратилось преподавание на немецком («забота о нацменьшинствах»), связи с соседней Петропавловской церковью («забота о воспитании юношества»). Водить детей-лютеран в сакристию на уроки строго запрещали.

Желающих же конфирмироваться тою весной оказалось поболе полусотни юных отпрысков хороших немецких фамилий старомосковского происхождения. В двух других московских лютеранских церквах — Реформирте-кирхе в Трехсвятительском и Михаэлис-кирхе — на Немецкой улице — происходило примерно то же самое.

Выход нашел епископ Майер, глава всероссийской лютеранской епархии и Петропавловского прихода в Москве. Он строго обязал будущих конфирматоров посещать церковь в течение всей зимы во все дни службы. Пастырские проповеди будут посвящаться программе для конфирмантов. Перед Рождеством и накануне Вербного Воскресенья («Пальмзоннтаг») состоятся проверочные испытания, насколько конфирманты усвоили курс духовных наук из проповедей. Роню Вальдека, как и других конфирмантов, записали еще с осени. Он был этим немало

смущен. Ведь десяток раз он уже причащался Святых Тайн в русских храмах, у русских священников, испытывал очищающую радость исповеди. Он считал себя принадлежащим к апостольской православной церкви. Посещение пасторских проповедей требовало очень много времени, что грозило еще больше осложнить неважные дела с математическими предметами в школе. Уже чувствовалось, что к старым петропавловцам комиссии будут особенно придирчивы. И наконец, сам конфирмационный праздник в церкви и дома сулил крупные осложнения в школе и на будущих испытаниях в вуз. Роня прекрасно знал, какая слежка , ведется за всеми, кто как-то связан с церковью и священнослужителями. Ведь власти только кое-как терпели в стране деятельность церквей, уже сокращенных, казалось бы, до минимума. Не навлечь бы новые бедствия на семью, и без того сомнительную по классовому и национальному признакам!

Эти колебания помог пресечь папа. — Доверься нам с мамой, мальчик! — сказал он сыну, — и все будет хорошо! Пойми: то, что ты узнаешь на уроках-проповедях, ты больше нигде изучить не сможешь. А не будешь этого знать — навек для тебя останется непонятным и мировое искусство скульптуры, и вся высокая классика, и вея христианская мысль. Ты станешь богаче духовно, о последствиях же думай! Бог поможет!

Так и выпала Роне Вальдеку судьба слушать весной 24-го года сразу пять учебных программ: школьную — в бывшей Петропавловской гимназии; химическую — в кружке при техникуме «Физохим», по настоянию папы; литературную — в семинаре при Высшем Литературном институте имени Брюсова, в качестве вольнослушателя; музыкальную — дома, у пианистки Александры Сергеевны Малиновской, приглашенной давать Роне и Вике уроки рояля по курсу музыкального училища; и, наконец, духовную — у епископа Майора, в Петропавловской лютеранской кирхе.

При таком грузе школьных и дополнительных учебных забот, Роня убедился, что в одни сутки можно, при желании, утрамбовать уйму полезного, если вовсе не давать минутам утекать впустую. Интересовали его одинаково химия и литература, а чему отдать предпочтение он долго колебался. Отец склонял выбрать профессию химика, на литературу же взирать как на гуманитарное развлечение или разновидность побочного заработка.

— Музам служить — не мужское дело, — говорил папа. — Музы сами должны служить настоящему мужчине!.. К тому же, Роня, по моим наблюдениям, может быть, поверхностным,

литераторы всех жанров, от переводчиков до драматургов, — самые голодные ныне кустари, беднее холодных сапожников и татар-старьевщиков. Их жалкие гроши малы даже для приработка, уж не говоря об основах существования. Их труд — подчас подвижничество, но ты-то сам, Роня, готов ли на подвиг? Притом под крики: «смотрите, как он худ и беден, как презирают все его».

Ронины впечатления в Брюсовском институте скорее подтверждали папины наблюдения, нежели опровергали их. Вникая пока что со стороны в литературно-учебные будни, Роня поражался наглядной, трудно скрываемой бедности известных профессоров-словесников, поэтов, романистов, критиков. Стоптанные, чиненные-перечиненные башмаки профессора-классика, Сергея Ивановича Соболевского, сложная мозаика заплат на штанах Виктора Борисовича Шкловского, фантастические обличия Ивана Сергеевича Рукавишникова или профессора Голосовкера — первого с кавалерийско-цирковым пошибом (сапоги и галифе), второго — в несколько театрализованном франк-масонском, розенкрейцерском стиле верхней одежды (старый черный плащ, звезда-застежка вместо пуговиц, шляпа астролога) неопровержимо свидетельствовали, что папины опасения насчет тернистого пути, ожидающего литературного неофита, отнюдь не беспочвенны.

Но не эти меркантильные соображения заставили Роню призадуматься, музы ли должны служить мужчине или мужчина музам. Папин довод о нелитературных профессиях таких писателей, как Гарин-Михайловский (инженер путей сообщения), Станюкович (морской офицер), Куприн (офицер пехотный), Джек Лондон (старатель на золотых приисках и фермер), А. Н. Островский (юрист в Совестном суде), — как будто прямо свидетельствовали о пользе химического пути для Рони. Однако, жизнь решила иначе.

Выпускник-школьник впал было в уныние, когда обрушилась на него переэкзаменовка по всему курсу математики. Представились ему зыбкие болота давно забытых арифметических правил, вроде тройного, неодолимые джунгли алгебры, безмолвие формул в ледяной пустыне бегущих куда-то линий, громоздящихся кубов, цилиндров и прочих стереометрических абстракций, далеких от реалий жизни. В ушах повторялось двустишие:

И возбуждают мой испуг
Скелет, машина и паук.

Впоследствии выяснилось, что это — ранний Волошин.

Думать же о продолжении образования без школьного аттестата вообще не приходилось. Его отсутствие стало бы поперек любым путям в высшую школу.

Ронин душевный упадок заметил один наблюдательный человек, будто посланный самим провидением!

Его звали герр Гамберг, и был он помощником епископа Майера. Именно ему епископ поручил время от времени проверять, как слушатели проповедей усваивают этот элементарный богословский курс, ибо сам герр Гамберг был ученым богословом-протестантом, а к тому же и крупным математиком. Курс математики он читал одно время в частно-нэповском институте Каган-Шабшая, куда за невысокую плату мог поступить чуть не любой желающий, чтобы получить специальность электрика и усовершенствоваться в практической физике.

Попутно хочу заметить, что выражение «частно-нэповском» употреблено здесь отнюдь не в осуждение. Политика Нэпа открыла кое-какие полукоммерческие, полублаготворительные пути к высшему образованию также и людям, обездоленным революцией, диктатурой и произволом. Говорили, что физико-математический институт Каган-Шабшая принимает, разумеется, с соблюдением элементарных требований маскировки вроде фиктивных справок, детей служащих, не прошедших конкурсов по классовому признаку, и прочих молодых изгоев, виновных в том, что их родители служили в церквах, подверглись расстрелам, высылкам и лишению прав. Студенты вносили умеренную плату — институт на нее и существовал, — или отрабатывали стоимость учения натурой, подвизаясь гардеробщиками, уборщиками, лаборантами, слесарями, монтерами. К сожалению автор этих строк, всерьез помышлявший постучаться в двери Каган-Шабшая, никаких точных сведений об атом интересном училище не имеет, однако убежден в благородстве помыслов его создателей и в их полном бескорыстии. Вот в этом-то институте и преподавал герр Гамберг, математик и богослов. Последнее, впрочем, едва ли было известно его студентам у Кагана-Шабшая!

Его глаза, темно-карие, чуть близорукие, просто светились добротою к людям и строгостью к себе. Конфирмантам он прощал все, кроме плохих знаний пройденного из Евангелия и Ветхого Завета. Он так располагал к доверию, что Роня после первых же расспросов о причине уныния рассказал ему о всех своих школьных заботах.

— Что же вы намерены предпринять за пять недель до переэкзаменовки? — так четко был сформулирован последний вопрос Гамберга.

— Надобно бы подзаняться, — неуверенно ответил завтрашний выпускник. Он все еще мысленно не оставлял надежд как-то выкрутиться за счет своих бригадирских заслуг. К счастью, Гамберг решительно эти надежды пресек.

— У вас на счету каждый час, — сказал он. — Сейчас вам надо забыть все прочее — и семинар в Литературном институте, и химический кружок, и музыку, и даже конфирмационные занятия — их вы догоните с моей помощью после переэкзаменовки. Помогу вам и с нею, если вы решитесь заниматься серьезно. За пять недель — повторить или пройти девятилетний курс. Это трудно, но мыслимо. Дорогу осилит идущий.

Роня решился.

Впоследствии в его жизни выпадали еще две или три полосы такой же безудержной, запойной математической переподготовки. И все-таки первая, гамбергская, была самой трудной. Потому что он не сразу отважился поверить, будто постичь биномы и синусы ему вполне посильно. Под конец курса у Гамберга он уже дивился собственному недавнему страху перед математической логикой. Оказалась она, эта школьная математика, плебейски-элементарной.

На переэкзаменовку он пришел совершенно спокойным. Письменную работу выполнил быстро и без помарок. Учительница Смирнова, обозленная двухлетним Рониным бездельем в классе, села на экзамене рядом с ним и не сводила глаз с испытуемого. У доски Роня отвечал сразу по курсу алгебры, геометрии и тригонометрии. Экзамен затянулся на два с половиной часа. Держали его четверо, Роня оказался лучшим. Член комиссии Успенский под конец спросил:

— Вальдек, почему вы так долго валяли дурака в классе и притворялись математическим кретином? У вас не только приличные способности, но и приличные знания. Извольте объяснить ваше поведение!

— Я считал, что человеку не следует отвлекаться от главного своего пути. Математика представляется мне излишней дисциплиной для литературоведа. Я занялся ею, когда доводы мои были отвергнуты. И убежден, что мог бы потратить время на вещи, более мне полезные.

— Например?

— Скажем, на изучение греческого или латыни, старославянского или любого современного языка. Это дало бы мне гораздо больше.

— А мне кажется, — говорила учительница, — Вальдек вообразил, будто математическая одаренность вредит гуманитарной, скажем, лингвистической одаренности, или

несовместима с нею. Вот он и кривлялся. А мог бы...

— Что же, вы отняли немало времени впустую, у себя, и у других Вальдек, — заявил, вставая, председатель комиссии. — Неужели за девять лет вам не встретился умный человек, чтобы разуверить вас в этих несовременных и жалких теориях? Будто математик глух к поэзии, а поэт — к математике?.. Впрочем, экзамен вы выдержали. Аттестат получите вместе со всеми.

Что ж, умный человек встретился Роне, за пять недель до переэкзаменовки!

Роня уехал на Волгу готовиться к вступительным экзаменам в Институт и уж только после зачисления в студенты навестил глубокой осенью своего педагога. Шел он со смутным предчувствием недоброго.

Заплаканная мять Гамберга сообщила, что сына взяли три недели назад. Судили его потом за религиозную проповедь среди детей и молодежи. Он погиб медленной смертью на лесоразработках в Карелии, в том самом 1931 году, когда газета «Правда» с негодованием отвергала буржуазную клевету насчет принудительного труда в советской лесной промышленности, на лесосеках. Смерть Гамберга в лагерях произошла на седьмом году его срока наказания за порчу молодежных умов, в том числе и Рониного.

После школьной аттестации произошла у Рони памятная размолвка с отцом из-за выбора профессии. Поэтому уехать на Волгу пришлось на свой страх и риск. Жил сперва в знакомой Решме, потом в уютной в ту пору Кинешме, и прикармливался около кинопроката. Практиковался в Решемском сельском клубе сопровождать на разбитом пианино старые кинобоевики. Несколько набив себе руку, был взят тапером в кинешемское «Совкино» и два месяца кряду бренчал на рояле некие музыкальные иллюстрации ко всему, что мелькало на экране. Шли картины «видовые», где требовались сентиментальные пассажи для морского штиля или пассажи возвышенные для снежных гор и ледяных пустынь, но лучше всего напрактиковался он сопровождать бурными аккордами кинотрюки Дугласа Фербенкса, приключения Гарри Пиля с поездами и самолетами, смешные выходки Пата и Паташонка, Монти Бенкса и Гарольда Ллойда. В артистку Женни Юго он влюбился, и может, благодаря этому Ронин аккомпанемент к фильму «Жена статс-секретаря» публике особенно понравился. Девушки награждали тапера аплодисментами и звали в гости. Таким успехом Роня не слишком обольщался, самокритично сознавая, что его дилетантская музыка не многого стоит рядом с блистательным сарказмом Эмиля Янингса в роли провинциального статс-

секретаря и неотразимым обаянием Женни Юго. Играла она его неверную супругу, согрешившую с очаровательным обольстителем — герцогом той немецкой земли...

Один дневной сеанс и два вечерних оставляли достаточно простору для зубрежки учебников. Роня терпеливо долбил историю мировой литературы, советскую конституцию, политграмоту и еще какие-то вовсе новые книжки, называвшиеся «Рабочими пособиями». От них веяло необоримой скукой и строгим марксистским духом. Пушкин там значился представителем разложившегося дворянски-помещичьего класса царской России. Обалдевая от такой социологии, Роня читал еще западных классиков в русских переводах и повторял точные науки. Чего он не делал вовсе — не дотрагивался ни до одной любимой книги! Он не позволял себе открывать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Тютчева, Блока, Чехова, Куприна, раннего Горького, ибо полагал, что, любя и помня их с детства, достаточно вооружен для экзамена. Эта уверенность чуть не стала роковой для абитуриента!

К августу месяцу он так нагрузил свою голову всякой премудростью и схоластикой, что просто физически ощущал, как мозг его потяжелел. У него было ощущение, будто голова стала похожей на перегруженный чемодан, готовый вот-вот раскрыться и растерять накопленное добро по дороге.

В Москве его ждало разочарование: приемная комиссия отказала допустить к экзаменам. Возрастом, мол, не вышел — 16 лет! Однако сероглазая секретарша Приемной комиссии, цыганочка родом, шепнула огорченному: — Протекцию поищите! Вам на вид— не меньше 18!

Пришлось обратиться к Наркому просвещения. Дело в том, что он мог вспомнить юного Вальдека. Весной директор Рониной школы отважился пригласить Наркома, чтобы тот смог лично убедиться, насколько переменилась к лучшему Петропавловская гимназия, где в прошлый раз, под конец 1922 или в начале 1923 года приехавшего Наркома ученики освистали, а на репетиции хора отказались спеть «Интернационал».

Теперь же, мол, нет и следа прежних реакционных учебных традиций с экзаменами и двойками в журналах, нет и старых педагогов-либералов, в том числе и в профессорском звании, как Понс, покойный Крюгер и некоторые другие гимназические учителя Петропавловки. Бывшее гимназисты, змееныши классовых врагов, заканчивавшие курс, раскассированы среди свежего пополнения из другой школы, а частично арестованы и ликвидированы за связи с иностранцами, церковью или баптистской общиной (Котик Майер, Янис Лятс и еще немало

товарищей Рональда Вальдека). Новый идеологический дух в школе соответствует и новой методике, достойной Наркомовского внимания!

И нарком, — как заведено, с небольшой свитой, — приехал вновь в бывшую Петропавловку, словно в крепость, взятую долговременной осадной войной.

На первой же лестничной площадке его приветствовали два военизированных пионера у бюста Ленина на алом сукне. На втором этаже еще два пионера дежурили у знамени и у современных регалий, пожалованных школе пролетарскими шефами. Снова последовал салют по всей форме.

Теперь здесь никто и не поверил бы, что четверть века назад герр директор этой школы ответил отказом Попечителю учебного округа, когда тот предложил установить перед входом в Актовый зал бюст царя Александра III. Тогдашние реакционные педагоги нашли такое мероприятие непедагогичным, дающим стимулы фанатизму или политической угодливости. Вероятно, Попечитель принял в расчет и прямую антипатию к царю-руссификатору среди малых народностей Империи — финнов, эстов, поляков, немцев, чьи дети и составляли большинство учеников этой гимназии. На своем предложении он больше не настаивал.

Нарком же нашел весь декорум и приветствия вполне педагогичными и торжественно проследовал в рекреационный зал, который теперь исполнял обязанности Актового, как рассказывалось, отданного в распоряжение КУНМЗа.

В зале же на этот раз были собраны ученики старших классов II ступени; Рональд Вальдек должен был повторить перед ними отчетный доклад за свою литературную бригаду из 9-ой «Д» группы, в чем и заключалась обновленная методика преподавания бывшей «изящной словесности». Доклад Рональда Вальдека был посвящен новейшему роману «Города и годы» — эту тему дал Рониной бригаде учитель литературы тов. Добролюбов. Никто из бригады даже прочесть романа не успел, Роня же проницательно рассчитал, что в случае экзаменационных вопросов бригадники сумеют что-то промямлить из только что прослушанного перед опросом доклада.

Нарком занял место, уступленное ему директором с тошнотворной угодливостью, совершенно непривычной для старых петропавловцев. И Роня прочитал свой доклад, изредка сверяясь с тезисами. Классу этот доклад был уже известен, учителю литературы тоже — он-то и подсказал директору идею вынести доклад на общешкольное обсуждение и пригласить Наркома, чтобы похвалиться такой явной новацией!

К огорчению и даже испугу директора, Ронин доклад вызвал

у Наркома не вполне положительную реакцию. Ибо нарком сперва слушал в весьма свободной позе, взирая на гипсовую спартанку, готовую к соревнованию в беге — ее второпях забыли убрать с подиума после занятий кружка по рисованию. Затем нарком, слушая Рональда, как-то подобрался, стал записывать что-то в блокнот и переглядываться с директором. Роня же вел речь издалека, начал с немецкого экспрессионизма, Оскара Вальцеля, Казимира Эдшмидта, Франца Верфеля и его поэмы «Дершпигельменц», уже переведенной Зоргенфреем на русский язык. Герой поэмы — человек из зеркала, то есть как бы внешнее отражение самого авторского «я», его зеркальное альтер-эго, олицетворяющее алое начало в душе человеческой. Роня усмотрел в этом образе прямые аналогии с гетевским Мефистофелем и генетическую связь с есенинским «Черным человеком» — Роня-то знал, что связь эта — самая прямая! Ибо сам подарил Есенину, брату своей одноклассницы, зоргенфреевский перевод поэмы Верфеля... Затем докладчик добросовестно изложил творческие установки немецкой группы «Акцион» и охарактеризовал Фединский роман как реализацию именно этих установок. Тем самым он как бы изъял это произведение из рамок литературы советской, определив его как произведение, весьма типичное для немецкого экспрессионизма, ни в чем не отступающее от этих рамок, разве лишь тем, что написано на русском языка по новым немецким стилистическим чертам. Оно и немудрено: докладчик пояснил, то автор романа с 1914 года жил в Германии и Австрии, был там интернирован с первых дней войны и действительно тесно сблизился с группой австрийских и немецких писателей-экспрессионистов, оказавших на него большое влияние. В Россию он смог вернуться лишь в начале гражданской войны, под конец 1918 года.

Лишь только докладчик умолк, нарком встал, как бы подавая сигнал прекратить аплодисменты. И если доклад продлился минут пятьдесят, то наркомовская критика длилась едва ли не дольше, была строгой и не улучшила настроений Директору школы. Он казался подавленным и раздосадованным своим промахом. Нарком отверг Ронин тезис о близости романа к группе «Акцион», назвал ее буржуазно-формалистической, а Фединский роман оценил как выдающееся произведение советского литературного искусства. Он сказал, что три четверти доклада были не по существу, что надлежало больше говорить о самой вещи, а не рыться предвзято в ее предыстории и не строить сомнительных гипотез...

Однако, уже надевши пальто, нарком, прощаясь с педагогами, несколько приободрил павшего духом учителя литературы и

заметил, что он поступил правильно, не побоявшись поставить на обсуждение спорный, но не безынтересный ученический доклад (кстати, подавленные авторитетной критикой, ученики и педагоги про обсуждение вовсе позабыли, и никто не пытался высказаться после наркомовской речи). А самому докладчику нарком мимоходом пожал руку и дал совет поступить в Высший Литературный Институт, впервые в истории созданный поэтом Брюсовым и носящий его имя. Институт был Роне хорошо знаком, он уже учился там в семинаре... Вот этот-то эпизод Роня Вальдек и надеялся воскресить в памяти наркома и найти у него ту самую «протекцию», которую в дальнейшем стали называть блатом, совершенно не мысля без него никакой карьеры, от гардеробщика до министра!

Вместе с Роней пыталась просочиться за протекцией еще одна девица — претендентка на критический факультет Брюсовского института. Ее отвергли по тем же мотивам, что и Рональда — не вышла годами! Роня ссылался в своем заявлении (написанном под диктовку матери, Ольги Юльевны) на рекомендацию самого наркома, а девица — на печатный сборник стихов, уже имеющийся на ее боевом счету. Благожелательный к поэтессам нарком начертал ей резолюцию: «Прошу допустить к коллоквиуму», а для Рони нашел формулу пожестче: «Считаю возможным допустить»... Но и это звучало достаточно протекционно, и единственный червь сомнения мучил Роню по поводу слова «коллоквиум». Ведь он просил допустить к экзаменам... Может, коллоквиум — что-то построже? Он вздохнул с облегчением лишь на медкомиссии у доктора Бонч-Бруевича (брат Владимира Дмитриевича) в Мыльниковом переулке. Освидетельствовав Рональда, доктор сказал: «Жених высшего разряда, ступайте, экзаменуйтесь, выбирайте любой факультет, но я бы определил вас в... боксеры, а не в какие-то там критики-нытики!»

Роне показалось, что поступающих хватило бы на пять институтов. Он сразу подружился еще во время экзаменов с Арсением Тарковским, Володей Крейниным, Сергеем Морозовым, Виталием Головачевым, Володей Браилко, Жоржем Кофманом, Юлечкой Нейман; в группах старших студентов, чем-то помогавших испытуемым, он узнал Юрия Гаецкого, хромого Леонида Тимофеева, Илью Марголина, Макса Кюнера, многих товарищей по своему семинару. Успокаивал волнующихся Н. Н. Захаров-Менский; экзаменовали по разным предметам Г. А. Рачинский, И. П. Лысков, К. С. Локс, И. С. Рукавишников, поэт Николай Минаев, проф. Г. Г. Шпет. Участвовали в коллоквиуме такие светила, как А. А. Грушка, С. И. Соболевский, М. П.

Неведомский (Миклашевский), Н. Д. Каринский, С. С. Мстиславский, С. А. Поляков. Атмосфера приемных испытаний была волнующей, торжественной, многозначительной и глубоко символической. Именно во время этих испытаний профессор Г. Г. Шпет (известный ранее родителям Рональда, в том числе и по Петропавловскому церковному приходу) представил совсем растерявшегося Рональда Вальдека Сергею Александровичу Полякову, «старому Скорпиону», как его ласково называли в глаза и за глаза. Голова кружилась от мысли, скольким блистательным талантам Поляков открыл дорогу в литературу, скольких поддержал, с кем дружил и сотрудничал, от Брюсова и Бальмонта до Чехова и Толстого[45]!

К испытаниям «у Брюсова» Рональд был уже морально подготовлен, ибо держал их, правда, в менее торжественной обстановке, но почти в том же объеме, годом раньше, когда записывался вольнослушателем в литсеминар. Тогда профессор Рачинский благожелательно потолковал с неофитом о Мильтоне, Захаров-Менский потребовал обрисовать черты Дюка Степановича из былин Новгородского цикла, а профессор Лысков экзаменовал нового семинариста по синтаксису. Ответ же по русской литературе пришлось держать тогда перед самим Валерием Брюсовым.

Выглядел он больным. Лишь за две недели до начала занятий в институте приехал он из восточного Крыма, где гостил у Макса Волошина, простудился и никак не мог поправиться от какого-то новомодного зловредного гриппа, который еще не называли вирусным, но уже знали его коварство и приравнивали даже к испанке, легкой форме бубонной чумы, как характеризовал ее доктор Бонч-Бруевич. Эта испанка скосила в революционной России сотни тысяч людей всех возрастов, соперничая с тифом и холерой — с той, как говорят, бороться было даже проще. Злодействовала испанка и за рубежами страны, в частности, в Японии от нее вымирали целые деревни и городские улицы.

Брюсова уговаривали идти домой, но он упрямился. Когда листок с пометками Рачинского, Лыскова и Захарова-Менского очутился у него в руках, он сурово глянул на испытуемого и вдруг задал Роне неожиданный вопрос:

— Ну-с, молодой человек, из нашего семинара вы, верно, думаете перейти в студенты. Литературой, стало быть увлечены... А вот Пушкина вы читали?

Роня решил, что его ожидает некий опасный подвох. Сказать, что Пушкин — для него божество? Смело ответить: да, читал! А вдруг экзаменатор выкопает такой вопрос, что поставит в тупик троих мудрецов? Ведь задает-то вопрос не кто иной, как редактор

пушкинского собрания... Или скромно заявить, будто читал плохо, урывками? Чего доброго, Брюсов тогда и разговор прекратит? И Роня пустился в дипломатию:

— Кабы мне кто другой вопрос этот задал, я бы знал, что сказать! А что ответить Вам, Валерий Яковлевич, просто не знаю!

Брюсов насупил брови еще строже. На свои портреты он похож в точности!

— Говорите, что есть. Не в дипломаты поступаете, а в будущие литераторы... Ну, как звали, к примеру, по батюшке Татьяну Ларину?

Господи! Сейчас, сейчас! «Смиренный грешник, Дмитрий Ларин, господний раб и бригадир...», — Роня прочитал эту строфу на память.

— Дмитриевна, стало быть, — подтвердил Брюсов. — Скажите-ка, дорогой коллега, как называется речка в Михайловском? Помните?

Какие-то обрывки бессильно кружились в голове. Речка не вспоминалась, а ведь Роня ее даже видел, был с отцом в этом имении, помнил карету Пушкина, его биллиард, смутный облик его родного старшего сына — 32-х-летнего Александра Александровича, приезжавшего тогда в родительское гнездо из Москвы. Дело было в июне или июле 914-го, перед маминым отъездом на Кавказ. Однако имя речки будто провалилось на самое дно памяти...

Подсказал тихо Захаров-Менский:

— Ну, как не, припомните: «И берег...

«Сороти высокий!»— дополнил Роня с огромным облегчением. Ему все это показалось шуткой тогда. А от исхода шутки зависела судьба.

— Пушкина юноша сей читал. В семинар, по-видимому, подходит! — сказал тогда Брюсов, приподнимаясь со стула. Все это продлилось минуты полторы, не более!

...Теперь, на коллоквиуме, экзаменовал академик А. С. Орлов. Рональд получал за пятерку. Сергей Александрович Поляков и поэт Тимофеев, есенинской школы, повели абитуриента выпить кофе. Из всех стихов поэта Тимофеева Рональд потом сохранил в памяти одну строфу:

А там за дощатой стенкой,
Жутко скрипит кровать:
Это в поганом застенке
Из девушки делают мать.

Поэт Тимофеев терпеливо дожидался, пока Роня Вальдек

поглотит свой стакан кофе со слойкой и поверит, наконец, что он — студент! Когда оба эти процесса завершились, поэт и студент вышли на Тверской бульвар, представлявший в те годы довольно яркий иллюстративный материал к стихам Тимофеева в духе вышеприведенной строфы. Оказалось, что Тимофеев самоотверженно решил посвятить все свое творчество, весь запас жизненных и поэтических сил одной-единственной цели — проповеди целомудрия и безбрачия среди молодежи. Он доказывал, что рождение каждого нового человека есть наивысшее преступление перед всем миром живого на планете, ибо человек родится только для умножения в этом мире скорби, боли и смерти. Если земное население увеличивается на одну человеческую единицу, значит, неизбежен рост новых несчастий, пороков и бедствий, предначертанных ему непреложной судьбой. Спасти обреченное человечество можно лишь одним средством — прекращением деторождения. Если молодежь перестанет заключать браки и вершить греховную любовь — человечество безболезненно и постепенно вымрет, что и спасет его от многоликого социального зла, классовой борьбы, войн, убийств, жестокого кровопролития, ужасов насильственных смертей, страданий и мучений. Не рожать, не воспроизводить себе подобных несчастных — и нынешнее зло мира само собой прекратится. Как просто! Этой философии он был предан до фанатизма, обдумал давно все возражения и отметал их с полемическим блеском.

Эту свою философию он развивал в звучных и довольно убедительных стихах и даже целых поэмах. Иные удавалось ему печатать в каких-то небольших сборниках, большинство же читал устно, в том числе и на публичных вечерах. Как потом узнал Роня, его хорошо знали в литературной Москве, он был членом ВСП (Всероссийский Союз Поэтов), председателем коего был И. И. Захаров-Менский, а секретарем — Е. Г. Сокол. Эти поэтические руководители уважали Тимофеева и посылали выступать в составе поэтических бригад...

Но в тот осенний вечер на Тверском бульваре, когда Роня Вальдек под напором доводов собеседника уже почтя окончательно убедился в абсолютной спасительности безбрачия и воздержания, поэт-философ вдруг будто весь просиял. На его лице появилось выражение просительное и улыбчивое. Роня не сразу понял, что поэт узрел знакомых! Тимофеев резво устремился к двум девицам, сидевшим на скамье в довольно свободных позах, не самых изящных.

— Лидочка! Что же ты меня вчера обманула? Так и прождал тебя напрасно до самого утра... Сегодня-то придешь?

Та снисходительно кивнула, и обе резко захохотали. Рассмешили их, по-видимому, два солдата, торчавшие за спинкой скамьи. Поэт, будто вовсе и позабыв о Ронином присутствии, присел рядом с Лидой, пошептался с нею, что-то ей передал не то записку с адресом, не то горстку мелких монет, как-то неуклюже боднул ее лбом в плечико и, несколько успокоенный, воротился к Роне, на середку аллеи. Гадать о целях приглашения не приходилось!

На недоуменный Ронин вопрос поэт пояснил!

— Видите ли, вся проблема в том, чтобы то дело не начинать! Если попробуешь — перестать трудно. Надо не пробовать!

— Значит, сами вы практически... не следуете своему учению?

— Куда там! Я-то сам уж втянулся, привык... А вот вам, юным, начинать ни в коем случае нельзя! Иначе не остановиться, а тогда — человечество погибнет от катастроф и катаклизмов, неизбежных, коли оно не перестанет плодиться!

Так, в первый же вечер знакомства, поэт-философ несколько подорвал эффект собственной проповеди своим же примером! И если, выслушав стихи, Роня заколебался, следует ли ему самому вкусить от плода познания добра и зла, то прощаясь с Тимофеевым, явно уже торопившимся на свидание, он подумал, что едва ли предпочтет тимофеевскую теорию тимофеевской же практике! Разве что несколько требовательнее будет выбирать... объект для грехопадения!

3

В советской Москве двадцатых годов жизнь людская текла так, как текут в одном русле, еще не перемешавшись, воды двух сливающихся рек. Кто видел в старину, еще до плотин и электростанций, слияние Камы с Волгой, наверное, помнит, коли наблюдал в ясный день, как быстрая темная Камская вода, ударившись о желтоватую толщу волжской, поначалу бежала рядом с той, будто отделенная незримой стенкой. Так старомосковский быт еще на протяжении доброго десятка лет после революции не смешивался с новым советским, а шел сам по себе, как бы в разных социальных плоскостях.

Пережила Москва террор, холод и голод военного коммунизма, все виды кощунства над святынями старой России, но не могли пионерские барабаны и горны заглушить колокольного благовеста к заутрени. Когда Пасха совпадала с Первым Маем, заводские колонны бедновато одетых рабочих шествовали в сторону Красной площади, навстречу им

попадались на рысаках молодые люди в расстегнутых пальто, черных костюмах и крахмальных сорочках, торопившиеся отдать как можно больше праздничных визитов старшим родственникам и добрым знакомым.

Были гостеприимные, интеллигентные дома, где никогда не произносились советские неологизмы, никто не желал знать слов «ЦУМ» или «Мосторг», а говорил с аппетитом: «у Елисеева» или «Мюр-и-Мерилиза». Фамилии советских вождей неизменно заменялись насмешливыми кличками, вроде «лысый», «очкастый», «бороденка», «кепочка», «пенсне». Под неписаным, но железным запретом находились все переименования, и назвать в застольной беседе Варварку «улицей Разина» или Николаевскую дорогу — «Октябрьской» означало бы политическое, эстетическое и моральное предательство дома сего, и всей России вообще, с ее мучениками, традициями и заветами.

Три таких московских дома стали для Рони почти родными: большая семья Орловых на Таганке, семейство одноклассника Герки Мозжухина на Остоженке и еще один дом, в Басманном переулке, где чудом сохранилась от разгрома семья Эрвина Брунса, друга Рониных родителей.

Семья эта свято блюла кастовую честь и клановые устои российского инженерства, а происхождение свое вела издалека, чуть не от бельгийского королевского дома, правда, не по мужской линии, а со стороны Лидии Георгиевны Брунс, супруги инженера. За их единственной дочерью Антониной, слека болезненной, изнеженной и воспитанной в правилах прошлого века (ее, например, вовсе не отдавали в совтрудшколу), Роня Вальдек принялся было влюблено ухаживать, но ему четко объяснила сама Толя, — такое сокращение своего имени девушка Брунс предпочитала общепринятому, — что родители уже просватали ее за инженера путей сообщения, очень представительного, надменного и родовитого. Инженер нарочно ходил на службу пешком мимо Толиного дома, чтобы раскланяться в окне с Толиной матерью, а заодно поймать и шутливый воздушный поцелуй невесты.

В доме Брунс общались либо на французском, либо на чистейшем и строгом, как в Малом Театре, старо-московском наречии, певучем, протяжном, акающем, «штокающем» и «сердешном». После долгих трапез здесь много музицировали — у Толи был голос, у Лидии Георгиевны хорошая фортепианная техника, а гостями бывали тогдашние инженеры, люди воспитанные и многосторонние. Инженер-путеец Эрвин Брунс нес в НКПС[46] столь солидную ответственность за состояние отечественного транспорта, что его жалования доставало кормить

жену и дочь, не жертвуя их досугом ради совслужбы. Вечерами у Брунсов всегда читали Фета, Мея и Бунина, играли Сен-Санса, пели романсы Кюи, выражали презрение к декадентам (начиная от Брюсова и Блока), показывали младшим гостям старинные фигуры в вальсе и составляли гороскопы для гостей по французскому изданию «Мануэль астроложик»[47]. Дамы перед праздниками говели, гадали под Крещенье, ездили на кладбище в Родительские субботы, на Пасху христосовались, перед Троицыным днем убирали дом березками и посыпали полы травкою, а, справляя именины, раздвигали столетний дубовый стол персон для тридцати-сорока.

Толина свадьба была назначена на июнь 1928 года.

Однако, по таинственному охранительному закону или Божьему промыслу, Толя Брунс, слегка простыв перед свадьбой, сгорела в трое-четверо суток от молниеносной чахотки. В гробу казалась спящей и несказанно прекрасной. Мать повторила Рональду последнюю Толину фразу: «Муттер, их штербе райн»[48]. Так она закончила свою 26-летнюю жизнь, словами на немецком языке, хотя прежде не очень его жаловала…

Ни отец, ни более сильная духом мать не смогли вынести этой потери и в том же году последовали за дочерью на Введенские Горы. Было в те годы нечто поистине мистическое в уходе целых семей, на протяжении коротких месяцев. Побывайте на российских кладбищах, присмотритесь к могилам тех, двадцатых годов, накануне третьей, самой роковой и кровавой революции в России — так называемой коллективизации!

И жених Толин, носитель традиций фон Мекков и Пальчинских, вскоре встретил невесту в нездешних кущах, ибо разделил судьбу всех больших российских инженеров: был расстрелян по одному из неоглашенных процессов. Так и развеялась бесследно еще одна молекула России — семья Брунс.

В те же примерно времена, верно за год до Толиной смерти, Роня Вальдек, частенько забегая в Басманный переулок, мимоходом наблюдал постепенные этапы сноса Красных ворот, бывших для всех Вальдеков неким эталоном благородной, талантливой московской старины.

У самого Рони, его близких, верно, да у всех чутких к родовой символике коренных москвичей именно снос Красных ворот, — первое в условиях НЭПа беспощадное жертвоприношение социалистическому молоху, первая большая архитектурная казнь в древней столице. — вызвала тревожное предчувствие худших надвигающихся потрясений. Будто вынесла чужая тайная воля смертный приговор всему, что составляло духовную сущность и духовную ценность российского народа. Будто и в самом деле уже

начало сбываться мистическое пророчество о Грядущем и Торжествующем Хаме.

В доме Брунсов Рональду Вальдеку дали прочесть ту пророческую статью Мережковского, написанную перед войной, в неясном ощущении великих катаклизмов, грозящих религиозной основе русской души. А ведь именно и только на этой основе и создавалась веками вся русская национальная культура! По статье выходило, что писатель ожидал пришествие Хама на Святую Русь не извне и не снизу! Его, Торжествующего, Грядущего, должна была родить российская буржуазия. Та, что уже была так звучно проклята Блоком, кое в чем осмеяна, а в иных отношениях принята и ободрена Чеховым, выходцем из ее низов, поэтически романтизирована Гумилевым... Та, что так жадна была до чужой экзотики и так равнодушна к подлинным национальным сокровищам, этическим, эстетическим и потенциальным, сокрытым в неиспользованных талантах народа.

Пророчество оказалось, однако, ложным!

Правильно угадав приближение опасности для духовных основ нации, писатель дал ее не с той стороны, откуда она и впрямь явилась. А масштабы реальной угрозы превзошли все предвидения поэтов и философов!

...Место казни, как водилось исстари, огородили дощатым забором. За ним сияли Ворота, лишь недавно красиво реставрированные. Их стали медленно опоясывать ярусами деревянных лесов. Они с каждым днем тянулись все ближе к трубящему Ангелу. Все москвичи заметили тогда, что золотая фигура Ангела будто выросла, сделалась крупнее и ближе. Поражала небывалая красота этой привычной окрыленной фигуры. Человеческого страдания в ней было больше, чем ангельского терпения! Обреченный Ангел выглядел живым в своем долгом единоборстве со взломщиками, и в прохожих чувство покорности соседствовало с желанием поспешить ему на помощь. Но помощи Ангелу не было ниоткуда, и лишь свалив его на помост, палачи смогли приступить к рассечению и четвертованию самих Ворот, начиная с прочного арочного замка... Когда забор разобрали, на месте казни еще долго таяла уродливая груда развалин.

Как-то незаметно для молодого Вальдека, видимо, уже после Толиной смерти, исчезла, следом за Красными воротами, и соседняя с ними, выходившая абсидами на площадь, старинная церковь Трех Святителей. Но оба эти сноса, вопреки расчетам планировщиков, не только не расширили красноворотскую площадь, а напротив, полностью ее уничтожили: вместе с обоими архитектурными «дирижерами» ансамбля площади, исчезла и она

сама, ставши неудобным и уродливым перекрестком. Еще лет через шесть, по сталинскому приказу исчезла и Сухарева башня. Так был расчищен асфальтово-автомобильный путь для Грядущего и Торжествующего, здесь, на отрезке Садового кольца Москвы!

* * *

Другой, тоже очень близкий Роне Вальдеку дом был еще с конца прошлого столетия хорошо знаком Москве ученой и Москве художественной. Находился он на Таганке, в приходе Мартына Исповедника, невдалеке от фабрики купцов Алексеевых, родителем К. С. Станиславского, дружившего с Орловым-старшим, отцом Рониной одноклассницы Клеры. Именно Орлов-старший расширил фамильный особняк на Таганке, перестроив здание для своих ученых и меценатских нужд. Был он видным деятелем русской науки и богачом-коммерсантом, сродни одаренной плеяде Строгановых и Демидовых, а позднее — Морозовых, Мамонтовых, Прохоровых, Алексеевых, Бурылиных, Вахрамеевых, успевших встать на собственные ноги после 1861-го, но не сумевших удержаться на ногах после 1917-го.

Однако в личной судьбе Орлова-старшего интересы научные явно преобладали над коммерческими: он был крупным русские химиком, выдающимся нумизматом и отчасти археологом, одаренные музыкантом и щедрым, отзывчивым, живым меценатом. Именно нумизматическая коллекция Орлова поныне составляет ядро основного фонда одного крупного московского музея; на двух его «Страдивариусах» еще играют советские виртуозы-лауреаты, а дом на Таганке с мраморной лестницей и чугунным каслинским литьем перил и каминных решеток до сих пор исправно служит государственным нуждам.

Сразу после революции в этот дом тоже пришли люди в кожанках и для начала конфисковали оба «Страдивариуса» и все собрание старинных золотых монет. Чуть попозже был конфискован и весь дом, с мебелью и обстановкой, а семье Орловых — самому ученому, его жене и четырем детям — Владимиру, Николаю, Марии и Клеопатре, — предложили поискать себе пристанище поскромнее. После хлопот со стороны ЦЕКУБУ[49], семье оставили в собственном доме холодный чердачный мезонин. Там пришлось выгородить и утеплить несколько десятков метров под жилье. В этом утепленном и выгороженном от остального чердака мезонине с низким потолком под самой крышей и шаткими лестницами, чьи скрипучие ступени могли бы привести в умиление самого Сент-

Экзюпери, продолжали до последних дней жизни свои ученые труды Орловы-старшие и младшие, — сам senior-химик, и его старший наследник Владимир, ставший заслуженным деятелем науки, прославившийся замечательными сочинениями и закрывшим очи в этом же фамильном мезонине, на некогда собственном чердаке. Владимир Орлов посвятил себя истории отечественной и мировой науки, труды его выходят в Риме, Париже и Лондоне. Мощный музыкальный дар отца он унаследовал тоже, но будучи замечательным пианистом, из скромности никогда не выступал публично. Профессиональным музыкантом сделался зато его младший брат, Николай Орлов, прослуживший всю недолгую жизнь в оркестре Большого театра, в качестве скрипача-солиста. Две сестры Орловых, Мария и Клера, мирно соперничали друг с другом в женском обаянии, красоте и уме. Они совсем не походили друг на друга, но казались Роне непревзойденными образчиками русской женщины — породистой, ласковой и терпеливой. Всегда наполнявшая орловский мезонин молодежь, студенческая, артистическая, театральная, поляризовалась на обоих женских магнитах этого дома. Любители красоты более строгой и классической, греко-античной, тяготели, подобно Роне, к младшей, Клере, а поклонники красоты менее правильной, но более живой, веселой и острой, группировались вокруг старшей, Марии.

В следующем поколении Орловых, столь же счастливо одаренном, как и оба предыдущих колена, наследницей семейных традиций, центром и блюстительницей орловских лавров, азиатов и порядков сделалась «хранительница семейного огня», юная художница, ученый искусствовед и гостеприимная хозяйка классического московского мезонина, дочь Владимира Орлова — Шурочка, затмившая собственную очаровательную мать, свою тетку и бабушек.

Вот в этом доме, в этой семье, где по-родственному гостил и академик Александр Сергеевич Орлов, и куда в старину «без чинов» приходил Станиславский, верно даже сам Александр Николаевич Островский мог бы немало почерпнуть для языка русской сцены!

Возможно, еще глубже тронула бы русского драматурга благоговейная преданность его памяти и заветам в семье Герки Мозжухина. Отчим Герки Мозжухина, профессор Никодим Платонович Кашинцев, был основоположником отечественной науки об Островском, — драматурге, театральном деятеле, режиссере, критике, переводчике, актере.

Российская образованная публика, подчас излишне ослепленная блеском парижской комедии, миланской оперы,

английской драматургии, далеко не вся и далеко не сразу постигла, чем обязана она перу и сердцу Александра Николаевича Островского. И уж вовсе далек от понимания был простонародный московский зритель при Островском, не читавший больших газет и журналов, но уже несколько приобщенный к театру. Этот-то пробел «самопонимания» у русских зрителей помогли восполнить труды профессора Кашинцева, его книги, лекция, статьи, выступления.

Рональд Вальдек проводил у Герки Мозжухина больше время, чем дома, на Маросейке. Никодим Платонович неутомимо водил мальчиков по старой Москве, посвящал в тайны ветхих домов Замоскворечья, заставлял вслушиваться в пение нищих слепцов на храмовых папертях, в причитания московских плакальщиц. Роня и Герка участвовали в заседаниях общества «Старая Москва», чувствовали себя в Малом театре как дома и чуть не ежедневно могли, хотя бы вскользь общаться со знаменитыми учеными, актерами, художниками, писателями, зодчими, от Н. Андреева и Аполлинария Васнецова до Собинова и Ермоловой. Смерть этой великой артистки в 1926 году, по силе вызванного ею в семье Кащинцевых-Мозжухиных горя, сравнима разве что лишь с гибелью Храма Христа Спасители, кончиной Есенина, расстрелом Гумилева, сносом московских седин и подобными актами большевистского убийства России. Кажется, тогда и появился в западной печати термин «культурбольшевизмус», как будто бы и не имевший отрицательного оттенка, однако, от этого слова у русского холодела спина.

Был у Рони еще один дружок и собрат по школьному классу, сынок табачного фабриканта. Осип Розенштамм. «Эллин во Иудее» — так звала его Ольга Юльевна, любившая этого мальчика.

Черт угадал и его, на беду, «родиться с умом и талантом в России». От того, что через сотню лет после этой горькой пушкинской фразы и на одиннадцатом году Осиной жизни, Россия сделалась советской, для самого Оси ничего не изменилось к лучшему. Едва ли не наоборот! Ибо он был евреем из московских двухпроцентников, стало быть, из состоятельных и упрямых людей.

Старая еврейская мама, интеллигентная, насмешливая и острая на язык, строго соблюдала традиции иудейства и даже квартиру подыскала поближе к синагоге в Спасо-Глинищевском переулке.

Весьма пожилой папа, инженер по профессии, сконструировал первые в России автоматы для изготовления папирос и стал совладельцем табачной фабрики. Однако

несколько ранее, году в 1912-м, он неожиданным для всех образом, провел несколько месяцев в Десятом павильоне Варшавской цитадели, то есть в политической тюрьме, за излишнюю темпераментность в публичном изъявлении антимонархических чувств на еврейском митинге в Варшаве. Попал он в камеру, где содержался большевик Феликс Дзержинский, поражавший даже бывалых узников смелостью и требовательностью к тюремному начальству, правда, этому помогало дворянское звание, польский гонор, привычка повелевать. «Весьма порядочный и вполне приличный господин, к тому же понимает толк в нашем табачном деле», — так характеризовал Соломон Розенштамм Феликса Дзержинского по впечатлениям дореволюционным. После же революции, когда порядочный и вполне приличный господин Дзержинский, посадив половину акционеров фабрики, послал вторую половину на принудработы, Соломон Розенштамм, стоя по грудь в мокрой канаве, тяжко кряхтел, ворочал пудовой лопатой, почесывал вспотевшую под шапчонкой лысину и уныло приговаривал: «Нет, ну кто бы мог все это тогда подумать!»

Осина жизнь была априорно предрешена неудачным выбором родителей-лишенцев. После школы, оконченной блестяще, все пути к образованию были ему закрыты по классовому признаку. Шутка сказать — сын фабриканта! Лучше бы и вовсе не родиться! А родился-то он с талантом живописца и графика. Талант был велик, сомнений в этом ни у кого не было. А толку-то?

Влюбленный в импрессионистов от Манэ до Уистлера, бредивший таитянками Гогена, Осип Розенштамм пошел чернорабочим на строительство Центрального телеграфа, а вечерами усердно посещал студию художника Рерберга на Мясницкой. Он быстро стал любимцем метра (это был брат известного архитектора Ивана Рерберга, строившего здание Центрального телеграфа и отнюдь не подозревавшего, что подносчиком раствора работает у него любимый ученик брата!). Осю стали называть лучшей надеждой всей студии. Его экзаменационное полотно «Фауст и Маргарита» было представлено в Строгановское. Там поразились свежестью красок, оригинальностью замысла и силой чувства, однако зачислить в студенты не отважились. Тогда автор картины впервые задумался о смерти. Месяца за три до того он похоронил отца и на обратном пути с Дорогомиловского кладбища говорил Рональду Вальдеку:

— Знаешь, у меня нет охоты возвращаться оттуда. Лежали бы там вместе, поджидая мать! Пора, пора и мне туда! Нечего тут делать!

Позже мысли эти окрепли, ибо «подошла неслышною

походкой, посмотрела на него Любовь». В эту Любовь вложил он всю душу, израненную и разочарованную. Стал было оживать, да ведь любви-то не прикажешь! Девушка была своевольна и капризна. Звали ее Нонна. Быстрая, черноглазая и насмешница. Приласкала было и... вскоре оттолкнула. Предпочла другого, попроще и покрепче.

Явилась поначалу Осипу Розенштамму решительная мысль наказать изменницу. Вдруг попросил Роню научить, как без промаха стрелять из револьвера. Ничего не подозревая, даже поощрительно отнесясь к столь явному Осиному возмужанию, Роня с готовностью отправился на чердак маросейского дома, укрепил мишень в слуховом окне и позволил Осе расстрелять весь барабан. Мишень, несмотря на все наставления, осталась девственно чистой. Досадуя, Роня в сердцах взял револьвер из нетвердой руки друга в ту злосчастную минуту, когда в слуховом окне показался соседский котенок. Он собирался спрыгнуть с крыши на чердак и заслонил мишень. Роня, уверенный, что барабан пуст, вскинул револьвер и спустил курок. Последним патроном, еще оказавшимся в барабане, котенок был поражен в голову и забился в предсмертных судорогах. Ося подошел к теплому зверьку, погладил осторожно окровавленную шерстку, уложил мертвого зверя на доске и сказал невольному убийце:

— Знаешь, наверное, это мне что-то вроде знамения. Теперь я знаю, как мне поступить. Слава Богу, что я видел это непоправимое прегрешение. Подари мне эту штуку, я понял, как надо с ней обращаться и не употреблю во зло другим! Можно, я унесу его с собой? Ведь ты легко достанешь себе другой, правда?

Под каким-то благовидным предлогом, Роня не доверил другу оружия, и взялся отвлечь Осю от его черных помыслов. Часами уговаривал увидеть жизнь по-новому, брал к себе в институт, пытаясь отвлечь лекциями Рачинского, Локса или Орлова. Переговорил с деканом и добился, чтобы Осю зачислили платным вольнослушателем — занять его живой ум чем-то новым и высоким. Но 28 сентября 1926 года Ося дождался Роню в коридоре, между лекциями, и сел с ним на задней парте, в самом уголке. В продолжении всей лекции о русском фольклоре писали они записки, в вопросах и ответах. Потом вместе пошли домой — один на Маросейку, другой — в Спасо-Глинищевский переулок, совсем рядом Вечерняя нэповская Москва косо улыбалась им на всем пути от Третьей Тверской-Ямской до самого дома. Шли принаряженной Тверской, Столешниковым переулком с угловым кафе «Сбитые сливки», мимо витрин Кузнецкого моста, а потом — Фуркасовским и Златоустинским переулками. Тогдашняя Москва завлекала вкуснотами, рысаками, девочками, доступными по

цене; соблазнительными афишами, сговорчивыми дамами и юношами, а чуть в стороне от того ежевечернего Рониного маршрута после лекций, — манила еще притонами, тайными курильнями и прочим сатанинским столичным соблазном, порождающим растраты и хипес. Но Осю все это уже не интересовало, скорее, напротив, терзало, утверждало в решении.

— Нечего мне здесь делать, — повторял он уже знакомые Роне слова. — Этот мир стал мне отвратителен. Я хочу прочь. Лучший мир есть только там, за Порогом сознания. Там есть Бог. А этот мир покинут Богом навсегда, на погибель. Здесь царит только Ложь... Отдай мне то, что обещал тогда, на чердаке!

— Я вернул его владельцу, Герке Мозжухину. Вместе со шкуркой того бедного кота. На этой шкурке он повесил портрет своей любимой. Он платонически обожает артистку Белевцеву из Малого Театра.

— А та об этом знает?

— И не подозревает. Он хочет любить ее молча, тайно и бескорыстно. Поэтому не боится ни измен, ни лжи.

— Счастливец, коли сумел этого достичь. Тем менее ему нужно оружие. Ты бы попробовал выкупить его у Герки. Отец перед смертью подарил мне эти золотые часы. Может, он согласится на такой обмен?

— Твои часы он знает и сразу поймет, в чем дело.

— Так, давай, продадим часы и... помоги мне купить... Нужную вещь.

— Я надеюсь, что ты опомнишься. Замысел твой слишком жесток. О матери подумай. На кого ты ее оставляешь? Вторые похороны... спустя менее полугода!

— Знаю! Все продумал. Мог бы — протянул бы еще. Но уж не могу! Решил завтра кончить. Отступление себе отрезал. Написал Нонне, чтобы навещала мать. И не осуждала меня. Я иначе не могу! И если ты мне не поможешь, я брошусь под поезд, и ужас этой смерти останется на твоей совести. Завтра лягу на рельсы на станции Красково. Если есть у тебя сердце — бери часы и избавь меня от такой участи. Коли откажешь — помни: в полдесятого вечера меня задавит поездом. А вздумаешь помешать или предашь — прокляну! И кинусь с крыши дома Нирензее.

Утром, в среду 29 сентября, телефонный звонок поднял Роню Вальдека из постели: Ося требовал ранней встречи, прежде всех дневных начинаний. У ларька с сельтерской он напомнил другу, что уже через несколько часов Нонна получит смертное и может всполошить Осину мать. Поэтому, он до вечера скроется, и еще не потерял надежды, что Роня; все-таки найдет в себе мужество и решимость избавить его от колесования. А для этого, прежде

всего, надобно продать часы.

Вдвоем друзья изъездили пол-Москвы. В ломбарде у Сухаревки им предложили восемь рублей. Из нэповских лавчонок их либо сразу гнали, либо цинично давали- на папироски. Почти отчаявшись и едва не угодив в милицию, они, наконец, смогли внушить некоторое доверие двум еврейским негоциантам, владельцам небольшого магазина писчебумажных товаров на Мясницкой. Старший, тучный, настроенный более скептически, поначалу заявил, что часы не золотые, а липовые. Напротив, второй совладелец, маленький, худенький и веселый, пристально осмотрел Осин «Мозер» и шепнул толстому:

— Эхтес голд... Алзо: вифил гебен? («Настоящее золото... Сколько дать?»)

— Цвонциг! — подсказал толстый, колеблясь. («Двадцать!»)

С этими комментариями покупающая сторона небрежно пихнула часы в конторку, а оттуда выкинула две бумажки по червонцу.

— Гиб цурюк! — решительно потребовал Ося. («Давай обратно!»)

— Ист генут! — настаивала покупающая сторона. («Достаточно!»)

— Цурюк майне гольдур, — свирепо прошипела сторона пропадающая. («Назад мои золотые часы!»)

— Нит гедайге! («Не унывай»), — засмеялся тонкий коммерсант и нехотя приоткрыл конторку. Вылетела оттуда пятирублевка.

— Драйсиг! — решительно потребовал Ося. («Тридцать!»)

И когда конторка приоткрылась в третий раз, и явилась на свет Божий еще одна пятирублевка, друзья поняли, что спор окончен. Ибо следы улыбки стерлись с физиономий покупающей стороны. Брошено было уже со злобой:

— Вег! Вег! Унд шнелл! («Прочь, прочь! Быстро!») — с этим напутствием Ося и Роня удалились.

На улице друзья условились, что Роня, купив на эти деньги револьвер, встретится с Осей на Казанском вокзале, у пригородного семичасового поезда. Задняя площадка третьего вагона, от головы...

Роня наугад отправился на 8-м трамвае в Марьину Рощу.

Неуверенно заглянул Роня в крошечную кустарную мастерскую «Чиню посуду, изготовляю ключи». Мрачный грузин решительно не понял тонких Рониных намеков, а начав смутно догадываться, зачем явился посетитель, посоветовал ему убираться побыстрее, притом по самому популярному всероссийскому адресу! Вдобавок, по выходе из мастерской Гоня

столкнулся с милицейским. Тот, как показалось, излишне пристально поглядел Роне вслед.

Одолев еще несколько марьинорощинских кварталов за фабрикой, Роня испытал прилив надежды при виде вывески китайской прачечной (по слухам именно в них-то функционировали тайные опиумокурильни). Вдобавок, широкое лицо владельца так излучало, казалось, дух таинственного аферизма. Однако склонности посекретничать не проявил и китаец. Он очень хитро сощурил узкие глаза и снабдил Роню примерно тем же напутствием, что и грузин. Из-за клубов пара стали видны двое помощников владельца, тоже китайцы, голорукие, потные и насмешливые...

А время шло к вечеру, к роковому пределу...

Близкий к отчаянию, искатель оружия позвонил с автомата Герке Мозжухину, встретился с ним в Еропкинском переулке. С его сбивчивых слов Герка полностью охватил умом всю ситуацию.

— Его уже не остановишь, — сказал Герка. — Он отрезал себе все пути. Остается только помочь... Тот, из которого ты стрелял на чердаке, чей же?

— Однокурсника. Зовут Сергеем. Не продаст — самому нужен. Да и больно ненадежен.

— Ладно! Придется, видно, залезть в тайник!

Роня давно знал, что Теркин брат Александр, белый офицер, долго отстреливался с собственного чердака в октябрьские дни 17-го. Перед бегством зарыл именной браунинг и офицерский «Смит и Вессон» в укромном чердачном уголке, переоделся в квартире своей возлюбленной и в штатском платье благополучно миновал красногвардейский пикет. Добрался, похоже, до Парижа... Тем временем, Герка тайник отыскал, вычистил оружие и уже сам берег пистолет и револьвер брата. Он будто думал вслух, делясь соображениями с Роней:

— Браунингом рисковать нельзя — еще имя не стерто, да и номер именного может быть где-то зарегистрирован. Придется взять «Смит». Но тут вот какое осложнение: у него чуть коротковат патронник, и приходится подпиливать патроны от браунинга. Калибр тот же, но надобно снимать напильником полтора миллиметра пулевой оболочки. Что-то вроде «дум-дум» получается... Для данного случая в самый раз... Ну как, решено?

— Думаю, можно пожертвовать «Смитом». Он заряжен? Так давай!

Через полчаса Герка передал Роне небольшой тяжеловатый пакет.

— Пришлось наспех подпилить еще три патрона. И, знаешь, очень мне эту братнину штуку жаль! Оружием раскидываться

нынче не след бы! Тем более таким заветным! Ведь, понимаешь, если выбрать вам местечко поглуше, и у тебя хватит нервов... Впрочем, как знаешь, так и поступай, не маленький! Коли решишься, можешь считать тогда уж своим, а то ведь ты безоружен пока...

Роня, до того часа еще и не пытавшийся представить себе реальную картину того, что должно было свершиться на станции Краснове, вдруг осознал все до конца, будто увидел Осю лежащим на траве, рядом с выпавшим из рук револьвером. Значит, Герка намекает, что этот револьвер можно поднять и... унести? А потом считать уже своим?

— Я тебя понял, Герка. А если застукают? Заметят, схватят?

— Да, тогда — дело дрянь. Будет обвинение в убийстве. Письмо тут не доказательство, может, мол, оно было под принуждением. Уж смотри сам в оба, коли ввязался в эту затею. Кстати, когда у тебя лекции кончаются?

— Обычно в 22.15.

— Хорошо бы поспел хоть напоследок. Непременно запишись у дежурного. По дороге на вокзал забеги, отметься, оставь это пальтишко в гардеробе. Пусть висит весь вечер. А коли дежурный удивиться, что на лекциях не видал, скажешь, бегал курить или в чужих группах слушал любимого профессора. Понял? Усвоил?

— Вполне

— Ну, с Богом! Обними его от меня. Скажи, все там будем.

...С поезда они сошли на платформе Красково уже в густеющих сумерках, моросил осенний дождик Лезли вверх, на темный откос. Шли тропами мимо опустелых дач. Не встретили ни живой души. В лесу их поглотила почти полная тьма. Ося знал этот .нес — они с матерью прожили здесь на даче все лето. Теперь он искал знакомую полянку.

Путались в потемках недолго — полянка возникла вдруг из-за расступившихся елей. Над вершинами открылся овал высокого беззвездия.

Осин голос:

— Здесь! Пора! У тебя, Роня, будет интересная и непростая жизнь. Не то что моя недотыкомка! Обнимемся! И поклянись мне Богом, что ты выстрелишь мне в голову еще раз, для верности. Я себе не очень доверяю!.. Прощай, Роня! Не забудь клятву!

В смутном сумраке Осина рука поднялась к правому виску. Прошла вечность, прежде чем мигнула голубоватая вспышка, отдавшаяся в Рониных ушах слабом толчком. Ося мягко, бескостно, опустился на мох.

Секундант нагнулся над упавшим. Уловил слабый, будто облегченный вздох. Зажег спичку. На полных, мягких осиных

губах чуть пузырилась розовая пена. Из полуоткрытых очей исчезло страдание. На лицо нисходил покой. Поразительно было это утешение смертью. Револьвер из руки выпал.

Рональд Вальдек поднял его и, при догоравшей спичке, исполнил клятву. Перекрестив тело, вышел к реке Пехорке, поднялся на пасыпь, постоял минуту на железнодорожном мосту, прикидывая, не утопить ли улику. Но все было тихо, «Смит и Вессон» покоился в кармане брюк эталоном дружбы. Секундант решил сберечь его. На станции Томилино уцепился, уже на ходу дачного поезда, за поручни последнего вагона и быстро прошел вперед, в голову состава.

Часом с четвертью позже он уже слушал лекцию В. М. Лобанова о древнерусском искусстве, искоса поглядывая на страничку группового журнала, уже заполненную дежурной: было отмечено его присутствие на всех лекциях. В вестибюле отлучка его тоже осталась незамеченной: гардеробщики могли бы подтвердить, что владелец пальто — на улицу в нем не выходил весь вечер!

После занятий, уже около одиннадцати, он встретился с Геркой Мозжухиным. Решили укрыть «Смит и Вессона» снова в прежнем тайнике, а неистраченные червонцы под каким-нибудь благовидным предлогом вернуть матери покойного.

* * *

Тяжесть подозрений легла на девушку. Муровские шерлоки-холмсы с поразительной точностью установили картину преступления! Оно, мол, произошло в половине десятого (на деле — в начале девятого), ибо некто слышал по-соседству с дачным поселком три выстрела — два подряд, один — после паузы (в действительности оба выстрела были практически бесшумны: их поглотила сырость, мгла, деревья и сама земля). Оба попадания — безусловно смертельны, одно в правый, другое — в левый висок. Стреляли двое, одновременно, с небольшого расстояния (оба выстрела были в упор). Цель убийства — по-видимому, ограбление, ибо при покойнике не оказалось золотых ручных часов фирмы «Мозер», каковые были на нем при выходе из дому. Участников преступления — минимум было трое, одна из них женщина. След ее туфли остался на кротовой норке у тела. Перед смертью Осип Розенштамм находился в половом общении с женщиной, оставившей этот след, а бутылочка коньяку в кустах и след коньяка в желудке жертвы свидетельствуют, что ее пытались напоить перед концом. Письмо же, мол, ничего не доказывает — влюбленные и не таким грозят! Кстати, из-за ошибки в адресе оно

пришло подозрительно поздно, уже после похорон и начала следствия.

Свежую Осину могилу украсил пышный холм живых цветов и шелковых лент от товарищей. Эти цветы, венки и ленты почти полностью поглотили вырученные за часы деньги. На пути с кладбища кто-то сказал:

— Лег-таки Ося рядом с отцом, в ожидании матери!

Та прожила еще несколько лет. Выводы следствия ее смешили!

— Ему кто-то пособил! — говорила она уверенно. — Кому-то было интересно посмотреть, как он примет смерть, умереть он желал, эта жизнь ему опротивела. Но тот, кто исполнил его просьбу, пусть сам переживет то, что вынесла я! Пусть и он будет наказан в детях своих, этот ницшеанский эстет, этот лицемерный Осин друг и благодетель!

Следователь взял под подозрение всех Осиных товарищей, уделив особое внимание Нонне, а когда девушка смогла доказать свое алиби, счел целесообразным взять подписку о невыезде из Москвы у самих близких друзей Осипа Розенштамма, в том число и у Рони Вальдека. Впоследствии об этой подписке видимо просто забыли, и «Дело об убийстве на станции Красково» пришлось прекратить, ничего не выявив и не раскрыв.

Однажды, на прогулке вдоль Москва-реки у Храма Христа Спасителя, Роня, в приливе ненужной откровенности взял и покаялся близкому товарищу, впоследствии профессору психиатрии. Рассказал тому обо всех подробностях Осиного самоубийства. Будущий психиатр и психолог, выслушав все, сказал:

— Знаешь, и у меня являлся соблазн как-то по-своему объяснить эту смерть и приписать себе некую роль в ней, заслугу, что ли, соучастие, во имя, так сказать, облегчения Осе его поступка… Будь твой рассказ правдив, я бы сказал: как же мало ты вынес из такого замечательного переживания! Кроме того, ты не совсем точно осведомлен обо всем: ведь следователи все же кое-что уточнили и установили. Словом, прости, не серчай, но я не верю ни единому твоему слову!

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Падшие ангелы

Глава седьмая. В ОЧИ БЬЕТСЯ КРАСНЫЙ ФЛАГ

1

Ноябрьским вечером 1917 года во временный лазарет уездного города Ельца" Орловской губернии доставили простреленную в грудь навылет восемнадцатилетнюю дочь петербургского инженера Беркутова Катю, всего неделю назад обвенчанную с сыном генерала Григорьева Вадимом.

Часом позже в другую Елецкую больницу привезли и Вадима с тяжелым огнестрельным ранением в голову.

Вскоре после перевязки Катя очнулась и нисколько не обрадовалась перспективе остаться живой. Это ласково и ободряюще обещал ей врач-хирург. Больная же прошептала, что стрелялась с отчаяния из отцовского револьвера. А сейчас просит только об одном; кроме матери и младшей сестры Тони никого в палату не допускать. О ранении Вадима она еще ничего не знала.

Как потом выяснилось, он, узнав о поступке Кати, стрелялся из того же револьвера, в том же двойном гостиничном номере, где семья остановилась проездом из Петрограда на юг, к донским степям и белым казачьим формированиям. В Петрограде осталась пустовать богато обставленная квартира инженера путей сообщения Беркутова под малонадежной охраной дворника. С собой семья взяла только самое необходимое: по твердому убеждению Беркутова, большевики, захватившие власть в Петрограде, не смогут удержать ее дольше двух-трех месяцев, пока народ не опомнится и не восстановит завоеванные в феврале демократические порядки, свободную печать и нормальную хозяйственную жизнь. Тогда можно будет вновь вернуться домой на Мойку, к родным пенатам. Соглашалась с супругом и Анна Ивановна, и младшая дочь Беркутовых Тоня. Однако Катя думала совсем по-иному.

Унаследовавшая острый отцовский ум аналитического склада и его математическую одаренность, старшая дочь резко расходилась с отцом в политических взглядах.

...Пройдут десятилетия, а немногие уцелевшие Катины близкие все еще будут недоумевать, как могли возникнуть у юной аристократической девицы, воспитанной с дворянской строгостью, ее крайние, прямо-таки большевистские настроения!

Родилась и росла девочка в Доме Государственного Контроля

на Мойке, среди роскоши почти дворцовой. Дед Иван с материнской стороны — сенатор и глава Государственного Контроля — внушал почтение и страх огромному числу людей в России. Но в свободные часы он любил заниматься науками с внучками — Катей и Тоней, был мягок и терпелив к шалостям. Руководила всем воспитанием девочек строгая бабушка, Катерина Николаевна Беркутова, сноха сенатора. Ее литературные четверги на Мойке помнил дворянский Петербург на рубеже столетий.

Своему сыну Георгию Георгиевичу и обеим внучкам Катерина Николаевна старалась внушить убеждение, что важнейшим событием отечественной истории было освобождение крестьян и остальные Александровские реформы, превзошедшие, как она верила, по судьбоносности даже реформы Петра и победу над французами при Александре Первом. Бабушка охотно рассказывала внучкам, как народ принял свое раскрепощение, и добавляла, что самой роковой ошибкой революционеров-народовольцев, чтимых ею за личный героизм, была насильственная смерть Царя-Освободителя: российский либерализм и общественный прогресс несовместимы, мол, с актами террора и насилия!

Инженер Беркутов и его подраставшие дочери мнений бабушкиных не оспаривали, но более чем холодно относились к царствующему дому. Катины детские представления о нем складывались из неодобрительных отцовских реплик при чтении газетных известий да еще из кое-каких личных наблюдений.

В распоряжении вдовствующего сенатора и семьи Беркутовых был хороший сад. Летом, в ясные дни, листва его отражалась в Мойке. А по-соседству жил в небольшом дворце, окруженном парковыми липами, один из младших великих князей Романовых. Папа Беркутов решительно запрещал девочкам заводить не только добрососедские отношения с обитателями дворца, но даже бросать тайные взгляды через решетку липового парка. Девочки не всегда соблюдали запрет, и однажды маленькая Катя стала свидетельницей неприятной сцены: после попойки с однополчанами молодой Романов выбежал в парк без мундира, размахивая шашкой, и нанес страшный удар вдоль спины любимому своему бульдогу, когда тот подластился было к хозяину. Великого князя увели, а животное, рассеченное чуть ли не надвое, ухитрились потом сшить. Впоследствии девочки Беркутовы не раз видели эту собаку, слегка напоминавшую пару сросшихся бульдогов-близнецов.

Бабушка Катерина Николаевна запрещала французу, гувернеру девочек, возить или водить их на прогулки по тем улицам, где обычно проезжали царские экипажи.

Недоумевающему педагогу бабушка, болезненно морщась и понижая голос, поясняла:

— Знаете, мсье, там вечно что-то взрывается или кто-нибудь обязательно стреляет… Нет, нет, избегайте этих мест!

В иные зимние дни папа позволял дочерям почти сказочное удовольствие: в маленькие санки запрягали Неро, могучего папиного сенбернара черной масти. Собака по очереди везла маленьких хозяек в гимназию Шаффе, на Средний проспект Васильевского острова. Поблизости находилась и известная мужская гимназия К. Мая, где учились братья девочек из гимназии Шаффе. Вот тут-то и обрелся ключ к Катиной душе!

Кончал гимназию К. Мая младший отпрыск обедневшего баронского рода из Прибалтики Валерий фон Кестнер, а его двадцатилетний старший брат

Валентин учился на третьем курсе Восточного факультета Петербургского университета, изучал филологию, самые диковинные языки и готовился к дипломатический деятельности. Ту же карьеру собирался избрать и Валерий, одноклассник генеральского сына, Вадима Григорьева. Вадим уже в гимназии готовился к старшим классам Лицея ради наук юридических. Братья фон Кестнеры — гимназист Валерий и студент Валентин дружили с Вадимом Григорьевым и, по старой памяти, младший брат фон Кестнер приводил еще на гимназические танцевальные вечера старшего Валентина[50].

На одном из таких танцевальных вечеров, весьма частых в обеих гимназиях, высокий, несколько надменный студент Валентин фон Кестнер обратил благосклонное внимание на полненькую, с персиковым цветом лица и темным пушком на щеках большеглазую девочку, мило вальсировавшую с обрусевшим шведским бароном Тавашерна, тоже из гимназии Мая. Девочка бесспорно обещала стать в ближайшем будущем настоящей красавицей в духе итало-испанского романтизма. После первого же разговора с нею оказалось, что бывалый Валентин Кестнер на целых два года ошибся, определяя возраст этой восьмиклассницы: девочке было всего неполных пятнадцать, а фон Кестнеру она показалась умнее, образованнее и физически развитие прочих старших гимназисток Шаффе…

Выяснилось далее, что, по примеру иных именитых петербуржцев, в частности, таких университетских профессоров, как Менделеев и Бекетов, семья фон Кестнеров тоже приобрела себе усадьбу не близ Петербурга, а под Москвою. В чудесной местности Гривна, под Подольском, хорошо дышалось петербуржцам после сырого балтийского климата.

Немало московской родни было у Кати Беркутовой. Ибо, по

ее выражению, восхитившему молодого фон Кестнера, «люди живут в Петербурге, а их родственники — в Москве». Так и случилось, что среди подмосковных кущ, а затем на беркутовской даче в Саблине сплелись в один узел судьбы Кати Беркутовой и Валентина фон Кестнера. Роман был тайный, жгучий, ранний и роковой, усугубленный плохими вестями с фронтов, прибытием в столицу эшелонов с ранеными, патриотическим угаром среди мещанства, купечества и мелкого служилого люда, скоропалительным испечением новых офицеров, ежедневными отъездами на войну или в тыловые части вчерашних гимназистов, партнеров по танцам и чьих-то женихов. Отцы и старшие братья уехали сразу по мобилизации раньше... Валентину фон Кестнеру не улыбалась офицерская лямка на фронте; он одновременно, с четвертым курсом Университета поступил в Николаевское кавалерийское, надел сногсшибательную форму, ронял кавалерийские остроты и сочинял афоризмы, смущавшие Катю, типа: «У меня, как у хорошего барона-наездника, ноги обязаны расти прямо из горла», «Как всякий германец, твой Тавашерна должен быть жесток и сентиментален» и тому подобное. Наконец, он понял, что теряет этим шутовством уважение своей возлюбленной, решил открыть ей правду и признался в тайной революционной деятельности во имя грядущего социализма.

До той поры Катя слышала о революционерах больше от бабушки Катерины Николаевны и от самого деда Ивана, сенатора. Он рассказывал о высокой честности и полном самоотречении этих людей, читал главы о Рахметове из романа «Что делать?» Еще кое-что Катя вычитывала из газет, а то и слышала от подруг. В квартире у одной из младших гимназисток жандармы учинили ночной обыск, а к утру увели ее папу в тюрьму. Потом стало известно, что этого чужого папу ссылают в Сибирь. Вся гимназия открыто выражала девочке сочувствие и старалась облегчить ее горе.

Читала Катя и о самых левых партиях, эсерах и эсдеках, большевиках и меньшевиках, знала, что в Швейцарии выходила революционная газета «Искра», однако мама не желала допускать в дом «нелегальщину». Кате Беркутовой были понаслышке знакомы такие имена, как Маркс, Каутский, Плеханов, Ленин, Лассаль, Жорес, Бланки, Бакунин, Герцен, Нечаев — иные из них взрослые произносили с уважением, иные — с ужасом (особенно последнюю из перечисленных фамилий, связанную с жестоким убийством товарища, задушенного и утопленного в пруду). Однако ни одного живого революционного деятеля Катя еще в глаза не видела и представляла их себе по образу и подобию Рахметова.

Папа Беркутов ни к какой партии не принадлежал, политикой интересовался мало, но придерживался либеральных взглядов и принципов. Знакомств с «политиканами» он не водил, однако настолько презирал существующий самодержавный строй, что наотрез отказывался поступать на государственную службу. «Что? — кричал он друзьям. — На службу к такому правительству? Которое терпит охранку, жандармерию, невежество низов, разложение верхов, казенное православие и живет за счет водочной монополии? Нет и нет!»

А был он весьма крупным инженером путей сообщения, построил несколько частных железных дорог (в том числе весьма сложные участки Туапсинской), спроектировал и возвел десятки крупных мостов, виадуков, тоннелей, создал даже уникальный проект городской подземной дороги для Санкт-Петербурга. Этот проект был в штыки встречен Святейшим Синодом, ибо тот не мог допустить, чтобы под Исаакиевским или Казанским соборами, Александро-Невской Лаврой и прочими столичными святынями посмело бы ползать сатанинское подобие электрического кита, таская в чреве православный люд... Рассерженный автор проекта, положенного, как водится, под сукно, уехал на Урал достраивать особенно трудный участок горной дороги. Там Георгий Георгиевич поразил самых бывалых дорожников смелым поступком ради спасения многих жизней. На крутом подъеме разорвался пассажирский состав. Три оторвавшиеся вагона пошли назад, набирая скорость. Пролетели станцию, откуда дали знать о беде соседям. Начальник участка уже приказал пустить вагоны в тупик и там попытаться притормозить их чем-нибудь. Георгий Георгиевич слышал это распоряжение, бросился к стоявшему под парами локомотиву, сам встал за реверс и тронулся навстречу вагонам. На открытом участке он дождался появления впереди вагонов, дал задний ход и стал уходить от мчавшегося навстречу состава, чуть притормаживая. Он маневрировал так умело, что удар буферов о буфера был не сильным и никто из пассажиров не пострадал, кроме тех, что выбрасывались на ходу.

Управление дороги наградило инженера Беркутова золотым жетоном, дававшим право ездить на всех поездах в особом служебном вагоне. В политике же мужественный инженер предпочитал умеренность и постепенные реформы.

...Катя была потрясена признанием своего возлюбленного и стала обдумывать некоторые свои прежние наблюдения. Теперь они прояснились, хотя Валентин фон Кестнер смог приоткрыть ей немногое, не называя ни имен, ни адресов, ни деталей. Мол, сперва, еще на первом курсе, сошелся он со знающим и заслуживающим доверия товарищем, стал с его помощью читать,

изучил основы революционного марксизма, увлекся Лениным, убедился в его правоте и решил всей дальнейшей жизнью доказать свою преданность ясной и прямой большевистской идее. Партийного билета пока не имеет (таковы соображения вышестоящих лиц), но живет как бы не принадлежа себе и считая любое партийное указание приказом, подлежащим безоговорочному выполнению. Внешне, однако, он обязан сохранить и мундир кавалергарда и ученое звание и идти по дипломатическому пути. Катя знала, что Валентин уже провел несколько месяцев в Японии, будучи в научной командировке, но выполняя, как стало ей ясно, и особые задания своей революционной партии. Теперь Валентину предстояла еще одна поездка, такая же дальняя и ответственная.

Настоящий Рахметов! — восхитилась Катя про себя, а вслух произнесла обычное, самое женское:

— Хорошо, Воль, но... как же я? Об этом ты подумал? Или со счетов революции принято такую мелочь просто списывать?

— Не надо так о революции, Катя! Если в августе и снова отбуду в свой ориентальный вояж, то бишь в Японию, — у тебя как раз хватит времени опомниться на краю сего омута...

— Пожалуйста, говори серьезно! Оставь кавалергардский стиль...

— Сударыня, перехожу на инженерно-технический: Георгий Георгиевич терпеть меня не может и ни при какой погоде не благословит нас — как это по-железнодорожному? — состыковаться! А с папашами юным девицам надобно считаться, тем более, если они своих папаш любят! И не пожелают окончательно выводит их из себя. Ибо твой отец давно прочит тебе в женихи Вадима Григорьева. Тому это, кстати, тоже весьма по душе! В присутствии некой сеньориты он просто тает, подобно воску!

— Вадим давно догадывается... И не раз намекал, что готов нам помочь. Знаешь, его сестра Лена — очень милая, застенчивая девица — лечит сейчас в Ялте перелом ноги, попала недавно в автомобильную катастрофу. Слушай, кажется, я нечаянно набрела на гениальную мысль...

— Отпроситься у родителей в Ялту к Вадимовой сестре? А мне, в роли Демона, лететь тайком к Тамаре, по дороге убрать Вадима черкесской пулей и сделать тебя... царицей ялтинского ми-и-ира? Все это было бы мне, ну прямо-таки zuschon[51], одна беда: времени маловато! Впрочем...

— Да ведь тебе уезжать в твои ориенты не раньше августа, а теперь еще июнь! У меня — последние экзамены в «Альянс франсэз» (Высшие курсы французского языка), а ты бы ехал

вперед, подождал бы меня недельку-другую, набираясь сил и бодрости! Все это можно устроить очень недорого. Папа, конечно, помог бы... Но не хочу обманывать его так грубо! Возьму немножко у мамы, она, кажется, давно все понимает.

— А как отнесется к этому сам Вадим? Именно ему-то и не вырваться: выпускные в Лицее плюс уже начатая министерская служба!

— Вадим добрый и благородный. И уже не раз намекал, что ради моего раскрепощения готов даже...

— Догадываюсь! Мол, готов подставить собственную выю под ярмо фиктивного бракосочетания! Эту светлую идею он, не очень прямо, развивал и мне. Ибо не без основания считает, в отличие от моей кандидатуры, более приемлемой для твоего батюшки, кандидатуру собственную. Однако же... .

— Какое «однако» вы предвидите, мсье барон?

— Бывший, сударыня! А бывшую баронскую фантазию чуть-чуть щекочут реальные картины этого романтического супружества, если г-н благодетель вздумал бы войти в роль и в супружеские права. Ситуация легко могла бы приобрести драматические краски.

— Господь с тобой! Какие пустяки! Он друг и твой, и мой. А у меня поистине развязались бы путы на руках и спали бы оковы с ног!

...Собеседник с великим сочувствием взялся врачевать эти скованные невидимыми узами девичьи ножки и в принципе одобрил идею раскрепощения.

* * *

Кроме экзаменов на Высших французских курсах «Альянс Франсэз», было у Кати еще одно препятствие для отъезда: она уже второй год исполняла обязанности сестры милосердия в госпитале для раненых, устроенном в бывшей клинике профессора Отта. Там, однако, посочувствовали Кате и просили только приготовить замену. Две недели Катя учила молоденькую сестру искусству госпитальной сиделки. Еще несколько дней спустя на ялтинском пляже возбудила всеобщее внимание красивая молодая чета. Она — еще розовая от первых солнечных атак на кожу северянки, восемнадцати весен от роду, он — несколько уже посмуглевший. Они лакомились поздней черешней и абрикосами, играли в крокет, но охотнее всего уезжали на целые дни в горы, верхом. Классический ялтинский проводник-татарин без опаски доверил дипломированному кавалеристу пару верховых лошадей и вскоре убедился, сколь мало они устают за

договорное время!

Владелец коней легко угадывал, что его лошади мирно стоят себе часами где-нибудь в холодке, расседланные и разнузданные заедают родниковую воду овсяными хлопьями «Геркулес», а спешенные Адам и Ева на полной свободе., в истинно райском окружении, вкушают самые сладостные плоды от древа познания Добра и Зла...

...Кризис миновал уже на третьи сутки в госпитале. Катя погрузилась в спасительно долгий сон, будто ушла в некие бездонные морские глубины, куда не доходят ни отсветы, ни отзвуки, ни приливы, ни отливы мыслей, болей, желаний, надежд.

Вынырнув из этих сонных глубин, она медленно повернула голову и поняла, что находится в новой палате, — значит, во время сна ее койку осторожно перенесли в другое помещение. Здесь было свежо — видно, только что закрыли форточку после проветривания. Пахло уже зимой — снегом и дымком. За окном розовело небо в облаках, смеркалось, но свет в палатках еще не зажигали, Пить хотелось уж не с такой ненасытной жаждой, как вначале.

— Вы проснулись? Пора бы вам и подкрепиться...

Соседка была из ходячих. Крупнолицая, сероглазая, приветливая. Лет на десять постарше Кати. Косынка повязана, как у сестер милосердия, только без креста на лбу. И не поймешь, волосы темные или светлые.

— Попробуйте куриного бульона. Еще теплый. Сразу окрепнете.

Катя поняла, что очень хочет есть. Послушно выпила бульон, заела слоеным пирожком — угадала материнскую заботу, но не обрадовалась ей. Зато обрадовалась всему остальному вокруг — вечернему свету в окне, белой двери, остальным пяти койкам в палате. На ближайшей сидела сероглазая собеседница. Она сразу заметила, что сбившаяся повязка режет Кате под мышкой, разбинтовала повязку, быстро ее восстановила, взбила подушки, помогла раненой тихонько на них опуститься. Еще полуобнимая Катю, шепнула:

— Сама была на волосок от этого. Все у вас образуется, милая вы моя беляночка-смугляночка! Я умею судьбы угадывать, только не собственную...

Видимо, мама или сестричка Тоня пооткровенничали с этой соседкой. Господи, как же нелегка даже самая нежная забота близких, когда она связывает, а вся натура хочет одного: воли в поступках, свободы в чувствах, самостоятельности в выборе. Знают ли и остальные в палате, почему она тут. Катю все время

подсознательно терзал тайный стыд за то, что с нею так возятся, так о ней заботятся, когда вся вина — на ней самой! Вокруг так непомерно велика нужда в заботе и уходе. Искалеченные войной — сколько их! Пострадавшие за революцию... Просто обездоленные, увечные, больные... Она, Катя, занимает здесь место одного из них, когда тот или та корчится в муках где-нибудь на полустанке, бредет, спотыкаясь, в поле, изрытом окопами...

Однако женщины с соседних коек поглядывали на Катю скорее сочувственно и без особого насмешливого любопытства. Значит, еще не знают, иначе взгляды их по адресу барышни-белоручки, неправомерно угодившей в палату военного эвакогоспиталя, были бы более укоризненными; из обрывков их бесед Катя сообразила, что все они — сестры милосердия, раненые или заболевшие в действующей армии. Значит, Катю сумели определить сюда по ее прежним документам: сестра из госпиталя-клиники профессора Отта.

На следующий день Катя потихоньку попробовала встать, не дожидаясь врачебного позволения. Сероглазая соседка и тут пособила: она уже поняла, как велико Катино рвение к самостоятельности и что домой она ни за что не вернется. Сероглазую соседку звали Дашей, и было в судьбе ее что-то отдаленно родственное судьбе Катиной. Это позволило обеим стать откровенными друг с другом.

От напуганной Тони-сестрички Даша уже знала почти всю историю, Кате осталось Досказать немногое....

...Октябрьский переворот 25—26 октября 1917 года застал Катю в прежней роли сиделки в госпитале Отта. Уже в темноте, всего за несколько часов до взятия Зимнего, ей пришлось пересечь дворцовую площадь, пустынную и безлюдную, но сплошь заставленную штабелями дров. Защитники дворца возвели на них длинную баррикаду с «амбразурами» для винтовок, пулеметов и пяти-шести трехдюймовок — стволы их, впрочем, глядели в небо: Обороняющие правительство войска скрывались за баррикадой, а наступающие, как говорили, медленно накапливались за ближайшими строениями и во всех дворах — поэтому Катя ни тех, ни других рассмотреть не могла. Но стрельба изредка возникала — по баррикадам стреляли из винтовок, а оттуда время от времени раздавались пулеметные очереди, никого не задевавшие. Бухнуло и орудие, но выстрел был холостым. Тем не менее, стрелявшие на баррикаде куда-то спрятались поглубже, потом, уже дома, кто-то рассказывал, как орудийные расчеты сдались, а их примеру в конце концов последовали георгиевские кавалеры и юнкера. Этим безусым мальчишкам вовсе не

улыбалась судьба погибнуть во имя безвластного и обреченного Временного правительства. Дольше всех сопротивлялся Ударный Женский батальон, но разоружили и его, а над безоружными женщинами, как передавали, матросы учинили жестокую расправу, но уже далеко от мест главных событий...

— Вы сказали «расправу», Катя? — странным голосом переспросила соседка. — Мало кто про эту правду знает. С обезоруженными женщинами лихо матросики управились. Пробовали бы на винтовочки наши наскочить!

— Как «наши»?.. Разве и вы тоже... из тех ударниц?

— Тс-с-с! Тише! Об этом громко пока не надо... Попозже расскажу. Только сначала вы мне объясните, Катя-смугляночка, почему, сочувствуя большевикам, вы от них все-таки бежите, да вдобавок еще и замуж пошли против воли? Тут я чего-то еще не поняла.

— Жила в петербургской семье, с мамой и папой. Они — против большевиков, непримиримо против! А мой Валентин послан красными за границу, с заданием...

— Постойте! Валентин — это жених ваш, что ли?

— Да уж считайте — муж! — Катя сильно покраснела.

— Вот оно что! И вас насильно заставили выйти за этого Вадима?

— Нет, Даша, никто насильно меня не заставлял. Просто Валентин должен скоро вернуться в Питер. И там я его дождалась бы. Но после октябрьского переворота начались перемены. Папу невероятно разозлило закрытие всех привычных ему газет. Их запретили сразу после переворота, выходить стали газеты только большевистские, да еще воззвания декреты, приказы... Папа решил увезти нас на юг. Вадим же — школьный друг и мой, и Валентина, служит в Министерстве Иностранных дел, тоже не захотел сотрудничать с большевиками. Папа прочил его мне в женихи уже давно и пригласил ехать с нами на юг. Тогда я сама предложила ему оказать мне и Валентину дружескую услугу (он и раньше об этом поговаривал) — вступить со мною в юридический брак, чтобы обеспечить мне независимость от родителей. Ведь все мои бумаги у них... Само собой разумелось, что брак будет фиктивным, ради моей свободы. Родители сразу дали согласие, нас обвенчали еще в Петрограде и мы сыграли очень скромную свадьбу, весьма, впрочем, для меня мучительную, я ведь неумелая комедиантка!..

— И добрались сюда, до Ельца? И официальный супруг, небось... перестал церемониться?

— Не совсем так, но... близко. Сами обстоятельства к этому вели. В здешней гостинице нам дали с ним отдельный номер с

единственным ложем... Широченное такое, ужас! Днем было мучительно выслушивать папины проекты войны против красных узурпаторов, а ночью еще мучительнее лежать одетой и слушать стихи, мольбы и даже угрозы самоубийства. Впала в отчаяние и решилась сама на то, чем он только на словах угрожал. Вот и все. Но теперь я поняла, что делать: вернусь в Питер. Устроюсь куда-нибудь на службу, стану дожидаться Валентина. Покаюсь в своей слабости, своей ошибке...

— Уж не очень-то кайтесь! Должен сам понять, каково вам было, если действительно любит вас. А вас не любить просто невозможно! Вы еще и глаз своих загадочных не открывали, а я, женщина, уже была в вас по уши влюблена... Однако отдадут ли вам документы, деньги какие-нибудь дорожные, вещички необходимые?

— Не знаю; боюсь, что нет. В особенности именно документы. Они у папы все.

— Я научу вас, как быть. Уйдите отсюда с маршевой ротой, с документами из госпиталя по общему списку. Скорее всего, попадете в действующую армию, куда-нибудь поначалу в запасной полк. Оттуда и выбирайтесь, хлопочите, проситесь в Питер. Покамест вам хоть бы до Москвы добраться — оттуда легче в Питер уедете... Знаете, я даже завидую, у вас цель такая ясная и что опять Неву и мосты увидите. Это — город моей юности, моего счастья. А уводит судьба все дальше.

— Почему же?

— Уж так, видно, карты легли или кости упали! Была в Ораниенбауме учительницей гимназии, чудесно вышла замуж. И через год — война. Жизнь в письмах и вечном страхе. Стала сестрой милосердия, сами понимаете, почему. В прошлом году мужа не стало. И когда Керенский объявил нынче летом, что создан Ударный Женский батальон смерти для защиты Родины — я сразу записалась. Командиром была Мария Бочкарева, с георгиевским крестом и в чине прапорщика. Боевая! Прошли мы под ее командой такую подготовочку, что иному мужику не под силу. Остригли нас, присягу приняли... Чучело штыком колола... В мишень без промаха садила... И бросил нас Александр Федорович в самое пекло, на Западный фронт. Под Молодечно, чтоб его никогда не видеть! Прямо под германскую шрапнель и пулеметы, безо всякого разума и толка! Половина моих подружек стриженых в землю тогда легли А я уцелела на той атаке безумной, и даже ранена не была. Только все во мне онемело, и сама не рада жизни стала, как подруг закапывала близ местечка Сморгонь...

— А что же дальше?

— Вернули опять батальон под Питер, пополнили. Стояли в Левашове, обучали новобранок. Женщины, девушки — шли и шли к нам, кто с горя, кто со злости на немцев, кто просто скорой смерти искал.

— А образованные вступали?

— Пожалуй, образованных было даже больше, чем фабричных работниц, прислуг, крестьянок. Командовала нами тогда некая Гусева, построже Бочкаревой.

— А с той, что же произошло?

— Выбыла из строя в той атаке... Так и не поправилась, говорят. Но дух ее в батальоне царил. Брали с разбором. Чуть кого в легком поведении заподозрят — сразу в шею. Дисциплина железная была. Вот потому и вызвали батальон в Питер, защищать правительство в Зимнем дворце... Что там получилось, вы сами, Катя, знаете.

— Говорят, только ваш батальон и отверг сдачу?

— Да, отверг. Держались мы до последнего часу. И не ради правительства, а ради нас самих, чтобы от насилия защититься. Я потом доподлинно от одного эсера услышала, как по казармам большевики солдат и матросов агитировали оставить нейтралитет: мол, три сотни баб голыми руками захватите в полное ваше распоряжение! Потом нас обманули. Но при мне весь батальон еще держался во всей строгости. Кто с площади к решетке или к дровяной баррикаде лез, — выстрелами отгоняли. Тут меня пулей в плечо и ранило.

— Вы потеряли сознание?

— Нет! Все помню. Приближалось к полуночи на 26-е число. Весь город уже был у большевиков. Один дворец — как на острове в половодье! Повели меня в какие-то внутренние покои. Тут я сразу поняла, что правительству придет конец буквально в считанные минуты! Никакой реальной защиты у него теперь не было — даже во внутренних покоях Зимнего агитаторы стали открыто уговаривать охрану не допускать кровопролития и сдаться «народным силам». Провожать меня взялась какая-то сердобольная тетушка средних лет, говорила, что горничная. Тайком шепнула мне, что почти вся мужская дворцовая прислуга к этому времени сбежала, а свои форменные ливреи, расшитые костюмы и лакейскую справку отдали агитаторам. Облачившись в эту форменную дворцовую одежку, те свободно входили во дворец через бесчисленные запасные входы и выходы. Это я и сама заметила, догадалась еще до ранения...

— А как вы вышли в город? Ведь Зимний был оцеплен...

— Меня провожатая спросила, хватит ли сил моих поискать спасения в городе? А то, мол, поймают стриженую ударницу, —

не сдобровать ей у большевиков! Отвечаю, что на ногах пока держаться могу, а первую перевязку мне подружки сделали, — ранение было сквозное, крови много ушло… Повыше, чем у вас, Катя… Так вот, с этой временной повязкой, пропитанной кровью и уже кое-где заскорузлой, довела она меня дворцовыми закоулками до Певческого моста. Там, за Мойкой, во дворе бывшего Придворного певческого корпуса жила сестричка моего мужа, пианистка при одном из хоров… Мы с ней переписывались… Но я проглядела, как из девочки-консерватории успела вырасти женщина. И вот судьбе понадобилось, что забежал к этой молодой женщине ее приятель, эсер, артиллерист, командир бронепоезда. Оба они очень сочувственно ко мне отнеслись раненой, окровавленной, стриженной и абсолютно одинокой в этом новом мире. Выхлопотали они мне какие-то документы и вместе с ранеными сестрами милосердия очутилась я в лазарете. А там оказался врач-хирург… Тот самый, кто вас вчера перевязывал. Живет он на юге, где-то в Чернигове. Вот почему мне… верно, не скоро придется опять увидеть Невские берега. А вам, Катя, он пособит и с документами, и с направлением в Питер!

2

В нетопленом доме Министерства Иностранных дел отвели комнату новой переводчице Екатерине Георгиевне Беркутовой-Григорьевой, 18 лет, недавно выписанной из Елецкого эвакогоспиталя после перенесенного пулевого ранения. Бывшую сестрицу милосердия охотно приняли на должность переводчицы и машинистки. Заполняя опросный лист для вновь поступающих, она в графе «происхождение» указала: «Дворянка», однако беседовавший с ней пом. наркома Евгений Дмитриевич Поливанов[52] посоветовал ей зачеркнуть это слово и написать: «Из трудовой интеллигенции».

— Это будет понятно, — сказал Евгений Дмитриевич, — и никому не бросится в глаза…

Он бегло проверил ее знание французского, английского и немецкого. Остался весьма доволен, и против соответствующей графы собственноручно подтвердил: знание трех языков отличное. В дальнейшей беседе он, уже вполне деловым тоном, посулил Кате быстрое повышение по должностным ступеням, интереснейшую жизнь, как он дословно выразился, «у самой плиты дипломатической кухни», и подчеркнул государственную важность Катиной работы под его непосредственным Поливановским руководством, присовокупив, что саботаж

интеллигенции все еще создает большие помехи в работе наркомата. Спросил, нет ли у Кати знакомых молодых людей, лояльных к большевистскому руководству и готовых пойти на работу в Наркоминдел.

Так как еще при вступлении в новую должность Катя упоминала о своем близком знакомстве с Валентином Кестнером, Поливанов расспросил и о нем, проявив немалую проницательность насчет Катиного отношения к этому товарищу. Поливанов сделал вид, что вполне осведомлен о заданиях, выполняемых Кестнером в Японии, и заметил, что в Токио ему сейчас нелегко приходится, ибо его родной брат Валерий враждебно относится к большевикам, равно как и весь штат русского посольства в японской столице. Все они продолжают считать свергнутое временное правительство единственной законной властью в России...

— Впрочем, — закончил он беседу с Катей, — Валентин Кестнер — человек не только хорошо знающий Японию, но и весьма надежный товарищ. Советское правительство ему полностью доверяет. Скоро он вернется в Петроград.

Эта обнадеживающая похвала так обрадовала Катю, что воспылала она к Евгению Дмитриевичу Поливанову почти родственно теплыми чувствами, потому что с самых летних крымских дней уже не могла отделять себя от Валентина Кестнера. Даже упоминание вскользь его имени вызывало в сердце болезненно-сладкий укол

А ей самой впервые пришлось жить одной, зарабатывать на хлеб и самостоятельно хозяйничать, поначалу без посуды, утвари, мягкой мебели и с одной сменой белья. Купить что-либо в магазинах уже было нельзя, а для черного рынка не было денег. Меблировку ее комнаты составляли стол, табуретка, и остов железной кровати. Все прочее прежний жилец употребил на нужды отопительные.

Для первого ночлега Катя выбрала стол. Поверх набросила свое пальто, укрывалась платьем. Мерзла отчаянно, но давала себе приказ не унывать.

Действительно, по указанию внимательного Евгения Дмитриевича, устройством Катиного быта занялся заведующий хозяйственной частью НКИД. На первый случай он, выделил новой переводчице четверть сажени березовых дров для голландской печи, кушетку с постельными принадлежностями, самовар с трубой, набор разнокалиберной чайной посуды, пакет угля и пять сырых картофелин.

— Лучины для самовара наколите себе пожарным топориком во дворе, где сложены доски, — сказал заведующий, когда Катя

расписалась в получении всех этих благ.

Дома она вполне успешно справилась с самоваром — помнила манипуляции прислуги на даче в Саблине, где любила подбрасывать в самоварную топку сосновые шишки. Она по-домашнему заварила чай из этапного пайка и решила сварить картошки, полагая, что для этого будет достаточно положить их сверху на самоварную крышку. Все это наблюдала соседка по коридору, добрая женщина из старых служащих министерства.

Еще днем она пособляла Кате перетаскивать дрова, унесла к себе ненужную более кровать, снабдила новую жилицу сковородкой и кастрюлей, научила варить картошку, взяла постирать Катино батистовое исподнее, а взамен подыскала что-то нехитрое, не больно казистое, но чисто глаженое и, главное, почти впору.

По протекции этой женщины нашлась для Катиной комнаты и печка-буржуйка. Ее трубу вывели в отдушину голландской печи, которая поглотила бы весь дровяной паек за трое суток. А на новой «буржуйке» Катя научилась варить обеды из пайковой крупы и подмороженных овощей. Когда электричество выключали, Катя ухитрялась даже читать в отблеске красноватого пламени своей печурки.

Катины обязанности в советском ведомстве иностранных дел еще даже точно не определились, как посыпались на нее со всех сторон всевозможные задания, поручения и распоряжения. Отделам не хватало грамотных машинисток — Катю сажали за «Ундервуды» и «Ремингтоны», благо был у нее некоторый опыт перепечатки папиных объяснительных к его проектам. Ей случалось просиживать за машинкой до глубокой ночи, осовело тыкать озябшими пальцами мимо клавишей, править грубые ошибки новых начальников, менять неуклюжие обороты, а подчас еще и оспаривать сущность документа, если он не соответствовал Катиной революционной принципиальности. К ее мнению стали прислушиваться весьма ответственные товарищи, ей стали поручать редактирование документов государственного значения и в один прекрасный день Кате было сделано официальное предложение отправиться в Брест-Литовек в качестве правительственного переводчика на мирных переговорах с немцами. Она попросила несколько дней на размышление и призналась, что намерена дожидаться в Петрограде возвращения из Японии Валентина Кестнера.

Пожелание ее, что называется, учли, командировку в Брест-Литовск отложили, но отнюдь не поскупились на новые, общественные поручения в самом Петрограде. Катю включили в число вооруженных добровольных помощников ВЧК. Она стала

участвовать в ночных обысках и арестах, прямодушная, неподкупная, ненавидящая и безжалостная.

Однажды совсем молодой матрос, участник такой вооруженной дружины, во время обыска в доме табачного фабриканта машинально взял папироску из открытой пачки, брошенной хозяином на стол. Матрос еще и зажигалкой чиркнуть не успел, как остальные участники группы накинулись на него с руганью и упреками. Яростнее всех налетела на матроса неумолимая Катя:

— Как вы смеете, товарищ матрос, пачкать руки об эту мразь? Что могут подумать о нас, революционерах, вот эти... элементы?

— Нельзя ли унять эту... свирепую барышню? — бледнея от злости, обратился владелец квартиры и папирос к начальнику группы, чекисту. Но тот смерил его таким взглядом и так ободряюще-ласково подмигнул Кате, что бедный фабрикант понял: уймут эти молодые люди только его самого! Ни человеческих, ни божественных законов для этих людей нет, и рука юной революционерки с огромными, фанатически свирепыми глазами, не дрогнув, нажмет на спусковой крючок...

Был случай, когда обыск учиняли в доме старых знакомых бабушки Екатерины Николаевны. Сама бабушка доехала с семейством Георгия Георгиевича до Москвы и там осталась в родственной семье Волконских, старых москвичей, отговаривавших бабушку ехать на юг, в гущу военных событий. А бабушкины петроградские друзья — семья знаменитого адвоката, уже арестованного, — попала под подозрение петроградских чекистов: по их данным, адвокат собирал деньги и драгоценности в фонд освобождения царского семейства. Катя не задумывалась насчет виновности этих людей, а лишь выполняла полученный приказ — со всей тщательностью обыскать квартиру.

Чекисты и их помощники вели эту работу с обычной революционной суровостью, молча, уже чисто профессиональными приемами, наметанным глазом. Вскрывались укромные домашние тайнички, просматривались девичьи дневники, прощупывались книжные переплеты, исследовались каблуки. Две красивые хозяйские дочери, поднятые среди ночи из постелей, обретали дар речи и способность к сопротивлению.

— Скажите, наконец, что вы ищите! — настаивали они. — Зачем портить книги и обувь? Про политику я в дневнике не пишу, оставьте, пожалуйста, его в покое!

Эти слова относились именно к Кате. Возвращая владелице ее безобидный гимназический дневничок, доброхотная помощница чекистов прочла во взгляде вчерашней школьницы такое презрение, что проглотить его молча стало невыносимым. И Катя

было разразилась гневной тирадой о тихих омутах мещанства, где гнездятся черти контрреволюции. Остановил Катин порыв тихий голос хозяйки дома, матери обеих девиц:

— Боже мой! Да вы ли это, мадемуазель Беркутова? Катенька... Я, простите, глазам своим поверить не могу! Или я так ошиблась?

Начальник искоса глянул на помощницу. Смутится ли? Скажется ли в ней прежняя буржуазная закваска, в виде сочувствия классово близкой ей семье? Не дрогнет ли в исполнении революционного долга, не протянет ли руку помощи врагам революции? Или, наоборот, останется тверда и самой ей понадобится его товарищеская поддержка, чтобы смогла выстоять в столь сложных обстоятельствах. Пока рассуждать о чем-либо подобном начальник группы, разумеется, вслух не стал, но неприметным образом сосредоточил все внимание на Катином поведении. Тем более, что ничего подозрительного в квартире обнаружить не удалось, хотя перерыли ее основательно.

Между тем хозяйка дома рискнула перейти на французский язык и негромко, как бы в сторону собственных дочерей, задала несколько вопросов:

Ma chere Catherine, comment peut-on expiquer votre participation a cette injustice? Ou sont vos parents? Sont-ils vivants? Qu'est — ce qui pouvait Vous obllger...[53]

Извольте говорить по-русски, гражданка! — сухо отвечала Катя. — Вы спрашиваете, где мои родители? Отвечаю: этого я не знаю и знать не хочу, потому что они бежали из революционного Петрограда. А мое участие в защите революции объясняется очень просто: на стороне пролетарской диктатуры, служу ей и ненавижу ее врагов... Товарищ начальник! Мне необходимо сказать вам несколько слов наедине.

Старший чекист вывел Катю в коридор. Приоткрывая дверь, она отчетливо различила брошенное ей вслед: «Инфам трансфюг»! — то есть проклятая перебежчица! Мать или кто-то из дочерей это произнес — она не поняла.

За дверью начальник похвалил ее за реакцию на попытку врагов склонить прежнюю знакомую на свою сторону.

— Давно вы их знаете, товарищ Беркутова? Главу этой семьи мы уже прощупываем на допросах. А что представляют собой жена и дочери?

— Знаю давно, но поверхностно. Ручаться за их лояльность советской власти не могу. Пожалуй, скорее наоборот, судя по репликам.

— Да, дышат ненавистью. Аж спина их взгляды чувствует — вот-вот прожгут... Но обыск кончен. Либо прячут далеко, либо в

другом месте собранное держат. Ну, пошли оформлять акт...

Все это как будто должно было только укрепить Катину репутацию в группе содействия ЧК и на службе, однако она вернулась в ту ночь к себе в смутном состоянии духа. Ночью во сне плакала, утром не хотелось вспоминать молящие французские фразы, девичьи взоры, исполненные презрения к перебежчице...

Следующие дни были напряженными на службе. Новый германский императорский посол граф фон Мирбах пригласил на деловой ужин группу советских дипломатов. Кате пришлось не только переводить беседу с ними, но и сидеть рядом с Мирбахом за изысканным столом. Свобода и безупречность ее манер, безошибочное знание всех тонкостей вечернего застолья при скромнейшем наряде и весьма давнем маникюре, многое открыли наблюдательному дипломату... Евгений Дмитриевич Поливанов, кажется, не пришел в восторг от того обстоятельства, что посол все время находил поводы беседовать с переводчицей, а не с ним непосредственно, хотя по-немецки он кое-как изъяснялся.

Через два дня наркоминдельцы дали ответный ужин Мирбаху, причем, первый заместитель Наркома поручил лично Кате озаботиться о сервировке стола и убранстве покоя. Он намекнул также некоторым ответственным товарищам проконсультироваться с Катей по части «хорошего тона» и иных застольных условностей. Граф держался за ужином с так называемой «подкупающей простотой», то есть самым острым и безошибочным оружием настоящих дипломатов. Он шутил, говорил намеками, осторожно и умело подчеркивал роль своей державы и ее коронованного главы в установлении новых отношений между двумя столь долго воевавшими друг с другом странами и немаловажность заслуг своего правительства и военного командования перед новыми властями в России. Впрочем, он тут же обращал свои слова в застольную шутку, будто, мол, лучшие качества российских прежних дипломатов достались в наследие дипломатам нынешним, и поэтому присутствующие здесь советские господа в чудесном своем гостеприимстве ничуть не отличаются от бывших светских господ.

Разгадал он до тонкости и всю подоплеку госпожи переводчицы. В ее революционном фанатизме он ощутил отголоски недавно познанного ницшеанства, возможно, уже отброшенного, но наложившего отпечаток на стиль и вкус... Поэтому он несколько раз, сияя лучезарной улыбкой, обращался к переводчице не иначе, как:

— Mein gnadiges Fraulein!..[54]

Это было сверхметко, и Кате ничего не оставалось, как

расточать любезные улыбки и парировать тончайшую отравленную стрелу ответными остротами, например, что оценить заслуги графа и его правительства перед миром будущего сможет лишь победоносный германский пролетариат…

Катин начальник на этот раз решил проводить свою переводчицу домой после всех этих дипломатических пикировок и тостов. Катя чуть-чуть выпила вина, ей было весело, и совсем не приходило в голову, что ответственный товарищ, тоже изрядно вкусивший от даров Вакха, может питать на Катин счет некоторые надежды… За порогом ее покоя он проявил их довольно грубо, недвусмысленно и страстно. Катя отвечала столь же решительными контрмерами. Дверь отлетела в коридор. Евгений Дмитриевич проследовал туда же, шапка его описала воздушную параболу, а дверь покоя захлопнулась и замок щелкнул нарочито громко.

На другой день Катю вызвал к себе доселе неизвестный ей начальник… Лет тридцать-сорок спустя Катя назвала бы его завкадрами, но в те времена — весной 1918 года — она такого слова еще не ведала.

Неизвестный начальник имел вид несколько сонный, как бы отрешенный от сегодняшнего дня с его будничными событиями, ради того, чтобы слушать некую ему одному звучащую музыку, на ультразвуках или столь тонкого тембра, что иным ушам она оставалась неуловима. Начальник предложил Кате сесть и минут пять прислушивался к той внутренней или внепространственной музыке сфер. Потом он задал несколько вопросов о Катиной работе, иностранных связях и родительском доме. При этом он раскрыл опросный лист, заполненный Катей в первый день работы в Наркоминделе.

Она спокойно отвечала, что связей иностранных не имеет, рассказала про отца, мать и свой фиктивный брак, теперь расторгнутый ею в одностороннем порядке, по праву свободного советского человека.

Начальник долго взвешивал Катины ответы и наконец спросил несколько зловещим тоном:

— По какой причине скрыли свое дворянское происхождение?

— Я ничего ни от кого не скрывала. Написала в опросном листе то, что продиктовал мне Евгений Дмитриевич Поливанов, мой руководитель.

Склонив голову набок, начальник, не мигая, глядел в Катины глаза добрых пять минут. Затем осведомился, будто невзначай, принимала ли она участие в работе оперативных дружин, помогавших ВЧК. Катя подтвердила.

— Случалось ли вам при оперативных заданиях встречать в числе классово чуждых элементов своих бывших друзей?

Задав этот вопрос, начальник снова прислушался к одному ему звучащей музыке. Он даже не обратил никакого внимания на недоуменные Катины междометия, всхлипы и полупроглоченные от негодования попытки что-то объяснить, рассеять, оправдаться...

И тут ее озарила догадка: оскорбленный ночным происшествием Евгений Дмитриевич приходил сюда с доносом, неимоверно подлым, неимоверно гнусным, хитрым и коварным. Ведь он один знал, с Катиных слов, подробности недавнего обыска в адвокатской семье.

Катя гордо откинула голову и поднялась со стула.

— Ну-с, дорогой товарищ, с меня хватит этого спектакля! Мы с вами поговорим об этом в другом месте!

Чтобы хоть как-нибудь дать выход своим чувствам, она со всего маху так хватила кулаком по столу начальника, что даже чернильный прибор слегка подпрыгнул. Странным образом, сонное выражение начальнического лика не только не оживилось, но, напротив, обрело еще большее спокойствие. Перед Катей восседало прямо-таки изваяние Будды, только не в японском, а скорее в прибалтийском, точнее, латышском вкусе. А Катино бешенство нарастало, но тоже было ледяным, стылым, вроде сполохов полярного сияния. Ее лицо было бледно, глаза сверкали холодным гневом, горячие токи сердца удерживались где-то в глубине, не затмевая разума. Отчеканивая слова, она повторила:

— Я протестую против этого издевательского допроса. Вызываю вас к Народному Комиссару, чтобы вас привлекли к ответу за поддержку интриги, за содействие гнусному доносчику. Вы ответите за все вместе с ним!.. Дверь хлопнула так, что весь коридор содрогнулся. Но сил вернуться в свой отдел не было. Да и служебное время истекало — вызов к начальнику состоялся во второй половине дня, когда автор доноса доспел сочинить его, а начальник — прочитать. В отделе осталось пальто, но в воздухе пахло сырой приморской весной, и Катя решила добежать до своего жилья в одном платье.

Она удивилась, что в двери торчит ключ. Ее собственный был в сумочке, всегда при ней. Запасной находился у соседки. Она, уже не чая ничего доброго после только что пережитого разговора, открыла дверь, ожидая встретить в комнате либо оперативника, либо самого доносчика, намеренного повторить вчерашнее покушение...

...Ярко-желтый чемодан с наклейками японских отелей стоял на табуретке открытый. На столе разложено было нечто

упоительно-шелковое и еще красовались экзотические яства в нарядных коробках и бутылках. А на Катиной кушетке, прикрытый шинелью, спал Валентин Кестнер!

* * *

Мартовским утром 1918 года у Владивостокской пристани Добровольного Флота в заливе Золотой Рог дал первый гудок к отвалу японский пассажирский пароход «Такара-мару».

К отплытию этого судна очень торопилась чета петроградских молодоженов, Валентин и Екатерина Кестнеры. Они немного задержались, сдавая коридорному свой номер в гостинице «Тихий Океан» на Светлянской, и не сразу дозвались извозчика. Потом этот возница неверно свернул с Алеутской улицы — не прямо к пристаням, а пораньше, к вокзалу, и долго путался в проездах между складскими зданиями, угодил в тупик, снова разворачивался и заставил молодых людей изрядно поволноваться.

Подъехали они уже ко второму гудку. Утишая сердцебиение, поднялись по чисто промытому трапу, получили от холодно-вежливого вахтенного ключ от своей двухместной каюты, а вместе с ним и приглашение в салон, к завтраку. Их соседями за столиком оказались тоже русские, генерал Адамович с супругой. И у тех было позади десять тысяч железнодорожных верст от самого Петербурга, и тоже служебная командировка... Путь их лежал пока в Цуругу, им совершенно неведомую.

Из первого разговора за завтраком Катя вынесла впечатление, что супруги Адамовичи несколько настороженно изучают своих российских земляков, стараются разгадать за общими фразами настоящие цели и мысли собеседников. Собственно, то же самое делают и они с Валентином, однако Кате непривычно уклоняться и отмалчиваться от естественных в дороге вопросов, Валентин же, как всегда, сосредоточен и вроде бы соревнуется с генералом в многозначительно-молчаливой сдержанности... Блюда на «Такара-мару» оказались из американских продуктов — добротные, обильные и безвкусные.

Среди отплывающих и провожающих оказалось много местных дальневосточных японцев и корейцев. Перед самым отплытием с борта судна и на его палубу с берега полетели длинные, пестрые ленточки бумажного серпантина. Пассажиры на борту и провожающие на берегу держали эти ленточки за концы, пока пароход, осторожно работая винтом, тихо отдалялся от причала. Ленточки рвались, концы их, свисая, с борта и пирса, падали в бурлящую хлябь. И та медленно, неотвратимо

ширилась...

Всего через час пароход был уже в заливе Петра Великого, лег на курс зюйд-зюйд-вест и за кормовыми надстройками, суживаясь и утрачивая четкость красок и очертаний, таяла последняя полоска суши на зыбкой грани между серыми облаками и белыми барашками.

Потом и вовсе не осталось там, на горизонте, — никакой тверди, и только сизые тучи, медленно поднимавшиеся в зенит с норда, были еще нашинскими русскими тучами, напитанными испарениями талого снега с родных низин и таежных сопок.

* * *

Небольшой порт Цуруга в заливе Вакаса на северном берегу самого большого из японских островов, Хонсю, благополучно принял судно «Такара-мару» в ночную штилевую погоду.

При высадке пассажиров на береговой причал пароходная прислуга — стюард, две горничные, официанты из классных салонов и даже часть подвахтенных матросов выстроились перед судовым трапом, низко кланяясь и претендуя на доброхотные даяния. Валентин Кестнер заранее шепнул Кате об этих феодальных пережитках в островной империи и предусмотрительно запасся, да и Катю снабдил, мелкой монетой. Поэтому проводы с «Такара-мару» обошлись им недорого. Напротив же, чета Адамович, застигнутая врасплох, совала направо и налево бумажные банкноты, хоть и некрупного достоинства, но в изрядном количестве! Буквально заслонившие им дорогу пароходные служащие удостоили их за это княжеского титулования. Потом оказалось, по словам Валентина, что название судна означает «Сокровище».

— И впрямь, черт подери, настоящее сокровище! — ворчал русский генерал, сходя на японскую землю.

Порт и городок встретили вновь прибывших скупыми огнями. Тем не менее, Катю, как всякого непривычного иностранца, поразила толпа рикш, предлагавшая свои услуги на площади, примыкавшей к порту. Легкие тележки рикш, рассчитанные на одного седока, выглядели довольно заманчиво (высокие, велосипедного типа колеса, удобное сиденье с подножкой), если бы не... живой, худощавый, измученного вида человек в упряжи! Поэтому обе русские четы предпочли на первый раз автомобиль «Форд», чтобы доставить чемоданы и собственные персоны на железнодорожную станцию.

Поезд на Токио отходил через час, шофер взял иностранцам билеты в какой-то особый туристический вагон. Большого смысла

это не имело — в ночной темноте обещанные рекламой пейзажи были все равно невидимы, но японец-шофер заверил приезжих, что уже на рассвете их ждет необыкновенное зрелище далекого Фудзи-сан в розовых лучах зари. А это видит не каждый турист!

Фудзи-сан или, почтительно, «Господин Фудзи» — более привычное для японцев наименование знаменитого потухшего вулкана, священной горы, известной европейцам из учебников географии под названием «Фудзияма».

«Туристический вагон» оказался в самом хвосте состава и несколько походил на оранжерею или теплицу, почти сплошь стеклянную. Даже звездное небо приоткрывалось едущим. Разместились удобно, в четырех мягких креслах, лицом друг к другу. Локомотив плавно взял с места и сразу развил такую скорость, к которой русские у себя не привыкли.

Наружные фонари, красные, зеленые и фиолетовые железнодорожные сигналы, редкие мягкие огни из полупрозрачных японских жилищ, рождаясь из тьмы и в нее уходя, прочерчивали цветные золотистые нити в густой, уже чуть синеющей мгле... Ритм быстрого движения убаюкал утомленного пароходной бессонницей генерала Адамовича. Уснул в кресле и Валентин Кестнер, совершавший этот путь едва ли не в восьмой раз. А обе дамы, взволнованные новизною и необычностью страны, дремать не могли и тихо переговаривались между собой.

— Вы, наверное, не впервые за границей? — спросила старшая дама. — Ваш парижский прононс, вероятно, там и обретен вами?

— Нет, как раз языки мы учили дома, с немкой-бонной и гувернером-французом. Английский выучили в гимназии Шаффе и на курсах «Альянс-франсэз» как второй язык. В Европе только несколько совершенствовалась, когда жила там с родителями в юности. Три раза они брали меня с собой во Францию, Германию, Италию... Начало этой войны застало нас в Швейцарии. Ведь папа совсем не интересовался политикой и привез нас в Цюрих в июле 14-го...

— Да, в июле 14-го никто не знал, что война уже на носу. Как же вы воротились в Россию?

— Кружным путем. Отношение к нам после начала войны стало в Цюрихе весьма прохладным, неласковым. Все-таки это немецкая Швейцария. Еле перебрались в Италию. В Генуе застали русский пароход «Курск», старенький, грязный, но свой! Плыли Гибралтаром, ужасно качало в Бискайском заливе. Помню, в Портсмуте дня три наш бедный пароходишко торчал прямо борт о борт с великолепной «Лузитанией», госпитальным судном. Вместе и покидали порт. Через несколько часов «Лузитанию» пустила ко

дну германская субмарина, а наш пароходик проскочил, видимо, немцы просто не обратили на нас внимания. Потом — мимо норвежских шхер, мыса Нордкап, до Белого моря. И, верите ли, даже там, в закрытом море, нас уже не покидало чувство неуверенности — все ждали торпедной атаки. Пугались каждой крупной белухи, когда выныривала. И вот, наконец, Мудьюгский маяк с левого борта и — порт Архангельск.

— Ужасный город! Кругом — болота, улицы грязные, рыбой все пропахло. Это супруг мне рассказывал. Говорят, мостовые деревянные...

— Господи! А нам он показался таким родным, что хотелось те деревянные мостовые целовать, каждый домик бревенчатый был милее флорентийских дворцов! И река там величавая. Когда мы ее переплыли на катере, наш пароход «Курск» показался нам прямо игрушечным с противоположного левого берега, где железнодорожная станция. Оттуда поездом, через Вологду, прямо домой в Питер.

— Да, целое путешествие... Слушайте, Катюша, а сейчас-то вы зачем в Японию?.. Впрочем, давеча ваш супруг вскользь упоминал, что брат его Валерий служит там драгоманом в нашем посольстве. Значит, братья решили быть поближе друг к другу?

За короткие месяцы своей дипломатической деятельности в НКИД Катя поняла, что в любом разговоре никогда не надо спешить с признаниями и откровенностями Мол, главным источником излишней осведомленности посторонних о наших тайнах являемся... мы сами! Нужно ли открывать этой даме правду об антагонизме братьев? Ибо Валерий молод, может еще изменить свои нынешние антисоветские взгляды, понять благородство и высшую человечность революционных идей и очутиться на стороне брата. Она уклончиво ответила:

— Валерий слишком еще незрел, чтобы принимать серьезные жизненные решения. Он находится в Токио временно, просто для языковой практики. Нет, нет, наша поездка совсем не зависит от его драгоманетва.

— Но сами вы, Катюша? Что же вы-то будете здесь делать?

— Сначала только бы управиться с секретарскими обязанностями при муже. Я ведь тоже, как и он, получила жалованье за год вперед как секретарь-переводчица. Придется быстро подучиться обиходному японскому, знать хотя бы счет, вежливые обращения, бытовые слова... Дел много!

— И вы действительно рассчитываете пробыть здесь целый год? Не боитесь соскучиться по родным, по России? Раз уж вы так остро переживали разлуку с ней, будучи в Европе... Здесь-то — как на Луне!

— Думаю, соскучиться просто не успею. А он — тем более.

— Не сочтите нескромной просьбу объяснить… каковы же его планы?

— Ну, их не назовешь «его планами». Ведь он — Особоуполномоченный Высшего Военного Совета. Ваш муж, вероятно, знает, что речь идет о некоторых заказах, уже оплаченных японцами. Дело Валентина, а значит, — и мое, как его помощницы, — принять эти поставки, проверить качество и проследить за транспортировкой их в Россию морем и сушей.

— Это все я знаю… Даже газеты про это писали. Поставки чисто военные: винтовки, патроны, снаряды… Ведь так? Я совсем о другом. Знаю, что до Кестнера был направлен из России в Японию старый дипломат, кажется, барон Б., с той же задачей. Он на все эти поставки махнул рукой и решил просто остаться за границей. Наше посольство в Токио, насколько я знаю, поддержало его. По-моему, барон Б, состоит теперь уже в штате посольства. Вероятно, эти обстоятельства вам, Катюша, тоже известны… А главное, посольство, кажется, уже приняло поставки и само ими распорядилось. Значит вам с мужем останется только убедиться в бесполезности вашей миссии. И… сделать выводы!

…В осторожных намеках собеседницы, моложавой еще, очень породистой-светской женщины еще не прозвучало прямое приглашение раскрыть карты: мол, взаправду вы такие красные или только притворялись до поры, до времени? Катю настораживало лишь частое повторение фраз о «нашем посольстве». Ибо еще в Петрограде замнаркомвоенмора товарищ Эфраим Склянский в беседе с отъезжающей в Токио четой Кестнеров предупреждал, что главной помехой их миссии явится, по-видимому, именно русское посольство в Токио. Увы, оно было отнюдь не «нашим» для Кати и Валентина!

Ах, как хотелось тогда Кате продлить беседу с товарищем Склянским, в его суровом кабинете! Были там карты фронтов, прямые телефоны, телеграфный аппарат, кучка сводок на столе. Но в самом хозяине кабинета, несмотря на строгую военную форму, угадывался тонкий интеллектуализм, сознательно подавляемая природная мягкость, любовь к поэзии, искусству. Замнаркома не мог позволить себе надолго отвлекаться от деловых тем, но богатство ассоциаций, свобода в выборе литературных сравнений, осведомленность о культурных ценностях Японии — все это остро и радостно ощутили Валентин и Катя. Склянский посоветовал им:

— Вам придется нащупать, кто в посольстве или в его русском окружении сможет проникнуться идеями пролетарской революции и помочь вам, явно или тайно. Мне кажется, что тут,

товарищ Кестнер, ваша молодая супруга сможет быть вам весьма полезной... Кстати, успели ли вы оформить ваш брак? В порядке ли ваши бумаги?

— Только вчера, наконец, все сделали и... расписались! Бумаги в полном порядке!

— Что ж, поздравляю, совет да любовь! И... до скорого свидания!

Уже на пороге кабинета Склянский еще раз остановил своих гостей:

— Товарищ Кестнер, а вы убеждены в отрицательном отношении к нам вашего младшего брата, посольского драгомана?

— Пока стойко убежден... Но некоторые надежды питаю насчет другого лица: Евгения Николаевича Волжина[55]... Со студенческой скамьи его знаю и близко дружил с этим человеком. Он в беде не оставит!

— Вы имеете в виду того молодого русского исследователя Формозы[56], которого тамошние горцы-аборигены в джунглях считают своим богом? Мне о нем говорили, как о выдающемся ученом-этнографе, однако политически совершенно индифферентном.

— Все это именно так. Но с годами, знаете ли, умнеют и ученые-этнографы, особенно столь одаренные, как Волжин!

Склянский расхохотался, помахал приветливо рукой и взял телефонную трубку...

...А поезд тем временем миновал озаренный огнями вокзал Нагои и летел к тихоокеанскому побережью. В Хамамацу совсем рассвело когда вагоны почти висели над водами: под виадуком серебрилось широкое устье реки Тенрию, берущей начало в снежных горах близ озера Суза. У берегов и портовых причалов картинно дымили небольшие пароходы и двигались на парусах игрушечные рыбачьи суда. Потом рисовые поля пошли чередоваться с заводскими корпусами и бедноватыми поселками, сплошь из чистеньких японских домиков под красной черепицей. Перед Иокагамой проплыли в легкой дымке чайные плантации, и вдруг с какой-то совсем небольшой высотки, куда очень плавно поднялся состав, приоткрылся слева, вдали, среди зеленеющих гор царственно-великолепный Фудзи. Его снежно-белая, строго коническая вершина божественно и недоступно сияла в холодном серебре весенней зари. Молодая японская чета, замеченная Кестнерами еще на пароходе «Такара-мару» во Владивостоке, поднялась с кресел, изящно, будто танцуя, упала на колени и отвесила Божеству Красоты и символу страны низкий поклон, полный достоинства и восхищения.

...На вокзале в Токио оказался почти весь средний персонал посольства. Катя сразу узнала Валерия Кестнера. Тот приветливо ей улыбнулся и уж было бросился навстречу, раскрыв объятия брату и гимназической подруге, но Валентин сурово отвернулся, демонстративно никого из посольских не узнал и, не кланяясь дипломатическим чинам, с Катей под руку неторопливо прошел следом за своим носильщиком на привокзальную площадь.

Тем временем генеральша Адамович уже обнималась с женами русских дипломатов, а сам генерал, перекрестившись, истово подошел под благословение отца благочинного, посольского батюшки...

Глава восьмая. ПОЭМА О СТРАНСТВИИ

Не встретиться звезде на небе со звездой,
Но звездных две судьбы летят она к другой.
Из восточной лирики

1

Рональд Вальдек, главный герой нашего романа, лежал на верхней полке в мягком купе поезда «Москва — Нижний Новгород» и сумрачно подводил итоги первых двух десятилетий своего существования.

Для бессмертия, право же, маловато!

Из трех дружб — Герман Мозжухин, Заурбек Тепиров, Осип Розенштамм — уцелели две. Но Заурбек взял к себе в подмосковное Сереброво великовозрастного племянника Мишу, занят его перевоспитанием и уже не может уделять Роне столько внимания, как прежде, когда они вдвоем по месяцу живали в лесном охотничьем шалаше. Здоровье Заурбека стало сдавать, а достатки — убывать. С пустыми руками, как бывало, теперь к нему уж не поедешь в Сереброво, а ублажать яствами и питьем Мишу не просто. Герка же Мозжухин все более отдаляется. Утратилась общность интересов — главное, что связывает друзей. Он всерьез занимается радиотехникой и подумывает о кинематографии, предвидит в недалеком будущем кино говорящее, цветное и объемное.

Сам же Роня уже кончил все четыре курса своего вечернего литературного института, но пренебрег выпускными экзаменами. Не защитил почти готовую курсовую о Гоголе, словом, не выхлопотал себе диплома.

Уже третий год полагался Роне месячный отпуск за вредность производства, а еще месяц разрешалось брать за свой счет.

На институтской практике в издательствах Роня изучил работу очеркистов и решил, что она ему посильна. В редакции журнала «Экран» Рабочей Газеты сам Главный, товарищ Афонин, заказал Роне серию очерков о Волге, с пароходного борта.

— Ты мне особенных чудес там не накручивай, — говорил главный редактор своему спецкору, — а дай мне самые вкусные картинки, доступные с борта каждому едущему. Чтобы мой читатель-рабочий мог сказать: вот, через месяц и я поеду, тоже все это увижу! Ну и, конечно, малость эдакого, ранне-горьковского, колорита тоже дашь! Так сказать, из области пережитков!.. Ну, ступай. Я велел выписать тебе кой-какой аванс, чтобы писалось веселее. После твоего материала о рабочих столовых я в тебя поверил! Остро получилось и зорко! Только материал с дороги ни на час не задерживай — буду пускать в ближайшие номера. И фото присылай — они у тебя неплохие.

По правде сказать, фотоснимки Роня до сих пор представлял редакции не собственные, а Теркины. Действительно, неплохие! Теперь придется приноравливаться самому...

Однако в нынешней своей журналистской поездке Роня решил не ограничиваться только заказом от «Экрана». В очерках для Афонина романтики будет маловато! А душа ее требует!

Поэтому обратился он еще и в редакцию приключенческого журнала «На суше и на море». Предложил серию будущих рассказов «По глухим тропам Кавказа». Тут у Рони уже имелся некоторый опыт. В прошлом году третьекурсник Роня Вальдек был включен в группу авторов, работавших, для интуристовского путеводителя по России. Роня писал популярные информационные статьи о Дагестане, Балкарии и Восточной Грузии. Побывал ради этих статей в Хевсуретии и Сванетии, фотографировал даже таинственный р е к о м — полуязыческий храм местных охотничьих племен, старательно оберегаемый от недобрых и праздных посторонних взглядов.

Редакция на этот раз предложила Роне присоединиться к группе альпинистов Общества Пролетарского туризма из Грузии, готовых к восхождению на Казбек около 5—6 июня. Еще интереснее и труднее была следующая задача этой грузинской группы: по поручению комсомола и профсоюзов альпинистам предстояло помериться силами со страшной Ушбой, проклятой горой высшей сложности, чтобы развеять суеверный ужас местного населения перед злыми духами, якобы обитающими на вершине и в ущельях Ушбы. Это они насылают лавины на смельчаков, дерзающих нарушить покой горы.

Ронин отпуск начался в июне, до восхождения на Казбек

оставалось недели три. Роня и решил использовать их для отдыха на Волге и для очерков о великой реке. Затем побывать в Махачкале, чтобы прибыть к Казбеку к сбору всей группы... После спуска с Казбека тифлисская группа должна была решить, кто из альпинистов будет штурмовать Ушбу. Тогда выяснится, примет ли журналист Вальдек непосредственное участие в этом штурме или же он проводит группу лишь до опаснейших карнизов, чтобы потом получить от вернувшихся победителей Ушбы самый свежий материал для журнала «На суше и на море». Свой альпинистский опыт Роня Вальдек несколько лет подряд накапливал в Восточном Крыму на склонах Сокола, Пер-Чема и Альчака, а в 1927 году побывал на Эльбрусе.

Во всех этих небезынтересных журналистских делах Роня пока тоже не видел особых шансов на литературное бессмертие. Казбек — это все-таки не Гиндукуш, да и бытовая серия про Волгу — не мировая сенсация! Для Памира же — коротковато дыхание и маловат отпуск!

...И вот он на пути к Волге. В поезде Москва-Нижний Новгород. Не спит. Терзает какая-то незаполненность души, неудовлетворенность, потеря неких вечных ценностей, разочарование в них...

...Кто-то в вагонном коридоре произнес внятно: «Гороховец».

Это слово-название последним прозвучало в сумеречном Ронином сознании. Ночные раздумья оставили его. Отпускник Рональд Вальдек, внештатный сотрудник двух журнальных редакций и мастер трех цехов красильной фабрики — уснул, так и не сумев подвести полный итог под своим двадцатилетним балансом.

* * *

Он переплыл Оку на пароходе-пароме вместе с носильщиком и его тележкой. На тележке путешествовал по Нижнему Новгороду могучий ронин чемодан зеленой кожи. Чемодан вмещал все имущество очеркиста и альпиниста. Только альпеншток и ледоруб были привязаны к чемодану снаружи.

На пристани Роня увидел свой пароход «Наманган» товаро-пассажирской линии. Линию эту он выбрал еще в Москве, у кассы в «Метрополе», несмотря на малую комфортабельность товаро-пассажирских пароходов: у них нет первого класса, ванн, некоторых удобств; проходы и даже палубы заставлены обычно грузами, расписание соблюдается лишь приблизительно. Зато — стоянки многочасовые, удобные для журналиста, ищущего впечатлений в приволжских городах. Вот Роня и приобрел билет

на «Наманган» заранее.

Действительность оказалась мрачнее посулов. Пароход уж больно не понравился! Грязен, мрачен, шумен, многолюден... Многочасовые же стоянки сплошь приходились только на ночные часы! Уж какие там впечатления! Наши Самары и Саратовы — не Гамбург или Сан-Франциско с ночными притонами!

— А нельзя ли... переменить пароход? — спросил Роня у бывалого матроса-носильщика на пристани. Выслушав Ронины пожелания, тот указал рукой на нечто белоснежное и прекрасное, маячившее посреди Волги...

— Пароход «Воронеж». Вон на якоре, видите? Бывшая «Императрица Мария» общества «Кавказ и Меркурий». Прежде богатые купцы ездили, им простору на пароходе много требовалось... А теперь — почтовой линии пароход. Видите, синее кольцо на трубе? Пойдет нынче в первый рейс. Ровно в шесть вечера отвал.

— Он кажется совсем новеньким... Будто только с верфи.

— А оно почти так и есть. Только-только из капитального... Как раз то, что вам нужно, давайте, я продам ваш билет, а вам возьму на «Воронеж». Вам одноместную?

— Да!

— Первого класса?

— Да!

— Все будет в порядке. Чемодан оставьте в камере, а жетон — у меня. Найдете вещи уже в вашей каюте. Тогда и рассчитаемся за услугу. Пока давайте только доплату... Приезжайте без десяти шесть. Я буду здесь, у сходен.

* * *

И он действительно ждал у сходен, а Ронин чемодан уже покоился в шкафу каюты № 1 первого класса почтового парохода «Воронеж». Ронин папа в этих случаях говорил: «Es hat geklapt![57] Тип-топ!»

Перед сдачей клади в камеру, а жетона — носильщику, Роня, достал из чемодана некий опасный предмет. Это был тот самый роковой «Смит и Вессон» офицерского образца, что сослужил последнюю службу Осипу Розенштамму.

Герка снова прятал его с той сентябрьской ночи в прежнем тайнике. А перед нынешним Рониным отъездом, прощаясь с Роней, говорил:

— Маршрут у тебя сложный. Главное — Кавказ. Туда безоружным не следует и показываться, тем более, в горы. Это тебе не курортное побережье! Я достал для тебя «Смит» с чердака.

Почистил, перезарядил. Нашел и те две пустых гильзы. Почему-то тогда, после той ночной чистки, сразу их не выбросил. Вчера зарыл их в песке. Возьми еще пяток запасных патронов. От моего браунинга. Подпилить напильником по своему патроннику. Ну, счастливо тебе, бачари!

Словом «бачари», они привыкли обращаться друг к другу. Кажется, это было название папирос в Германии. Почему-то оно привилось и вошло в их обиход.

Кобуры у «Смита» не было. Роня просто завязал, револьвер при своих дорожных сборах в носовой платок, крепко стянув узелки, чтобы не развернулся. На случай чьего-либо нечаянного взгляда в чемоданное нутро... В этой невзрачной оболочке он и сунул «Смита» в карман брюк перед тем, как временно расстаться с чемоданом. Об остальном его содержимом он абсолютно не тревожился.

Кажется, все устраивалось очень ладно. Так он думал, медленно ступая по пристанским мосткам. Под ними, как всегда, качались на волне лодки, а у бережка рыбачили юные волгари. Почти у самого схода с мостков, где они затеняли береговую гальку, спал под дощатым настилом человек, укрыв голову и обнаженную спину под досками настила. Брюки его были задраны, приоткрывая лодыжки. А на голой пятке была четко выведена химическим карандашом цифра «12».

Шел десятый час утра и стоявший у этой пристани «Наманган» уже заканчивал погрузку перед отвалом. По мосткам грохотали сапоги грузчиков: с поклажей — бегом, обратно — шагом. Роня спросил у шагающего:

— Что это за номер у того на пятке? Очередь, что ль, какая?

— А тебе пошто? Кому надо — тот знает...

Грузчик, не оборачиваясь, пошел своей дорогой.

Зато другой, помоложе, шагавший чуть позади, задержался, спросил у Рони закурить московскую «Яву» и объяснил, показывая вниз, на спящего:

— Он — вроде артельщика у зимогоров. Эвон, трое их в холодке сидят, перекуривают. А цифра — чтоб задешево его не будить. Разбудил — давай работу не менее, как на двенадцать целковых...

Тяжелые шаги загрохотали по мосткам.

— Па-а-зволь! Па-а-зволь! — орали грузчики громче обычного.

Роня отскочил с дороги. Смельчак-такелажник, Ронин ровесник, нес на спине пианино. Груз весил пудов двенадцать-тринадцать. Двухвершковые доски мостков пружинили, чуть подаваясь под каждым шагом грузчика. Роня был почти прижат к

перилам, когда пианино слегка покачнулось на весу. Еще миг — и оно «сыграет», круша перила и рядом стоящего... Роня инстинктивно махнул через перила и спрыгнул прямо рядышком со спящим. Наверху грузчик, видимо, справился, сбалансировал свою ношу и бухал сапогами уже по настилу пристани.

Артельщик зимогоров, мужик с запущенной рыжей бороденкой, сел, зевнул, спросил спросонья:

— Чего тебе?

— Гляжу, простынешь в сырости! — Роня придал своему простонародному тону некоторую иронию и благодушие. — Тебя ж сейчас чуть было не задавило. Еще бы немножко — груз бы через перила на тебя повалился!

— Да-к ты меня, значит, спасать сиганул? — в тоне артельщика тоже звучала насмешка. — Ну, спасибо! Чай, знаешь: нашего брата зря не будят! Аль вещей у тебя к пароходу много? Сам-то кто будешь? Приезжий?

— Приезжий. Учусь еще. Какие мои вещи! Чемоданишко!.. Ты, брат, про Максима Горького слыхал?

— Слыхал. Он нашу жизнь зимогорскую правильно понимал.

— Вот и я хочу понять.

— Ишь ты! Чтобы понять, надо пуп понадрывать! Максим-то сам грузчик. А ты? Нешто сдюжешь пианину на пупе поднять?

— Не подниму. А вот написать про это, может быть, и сумею. Коли поможешь... Хочу тебя и тех ребят про вашу жизнь расспросить.

Мужик зевнул шире, перекрестил щербатую пасть и стал расправлять на себе полосатую матросскую тельняшку — она вся собралась у него на шее, была узка и коротка. Кое-как натянув ее сверху до пояса, он неторопливо собрал свои пожитки, служившие ему ложем: брезентовый дождевик, совсем прохудившийся; пиджачишко с надорванными карманами, войлочную шляпу на все сезоны. Ею он прикрывал лицо в часы сна.

— Стало быть, интересуетесь поговорить с нами о жизни? — заговорил он уже более книжно, вроде гоголевского кузнеца Вакулы у запорожцев. — Однако же это для нас — пустой расход времени. Пора самая горячая.

— Но люди просто сидят, отдыхают? Вот бы пока и побеседовать?

— Почему ж не побеседовать? Однако всухую — какой же разговор? Ты, барин, водочки нам поставишь? На четырех зимогоров с хозяином в придачу — это с вами, барин, — четверть и будет в самый аккурат. Ну, там еще на табачок, на хлебушко, на лучок зеленый прибавьте — тогда потолкуем! Ладно!

Трое сидевших в холодке имели вид нищих бродяг. Компания подбиралась веселая. Артельный староста давал четкие команды, как в бою.

— Барин! Пожалуйте обещанное Семе. Ты, Сема, пойдешь в казенку. Вот, на четыре бутылки... Василий, дуй на рынок, принесешь лучку, редисочки самую малость и табаку покрепче. Хлеба каравай покрупнее. Петро! А тебе, лохань достать оттуда, где прошлый раз прятали... Ложки то при вас? То-то же! И всем потом за нами следом, в дом Корзинкина. Ай-да-те, барин!

В те годы между набережной Оки, Нижневолжской набережной, Софроневской площадью, Рождественской улицей и пониже, почти до начала Александровского сада, особенно же вблизи пристаней, сохранялись еще целые кварталы каких-то замызганных складских «каменных мешков», полуразвалившихся лабазов, лавок, сараев с подвалами, трапами, крутыми лестничными ступенями, ставнями, железными задвижками. Все это пряталось за ветхими деревянными или кирпичными заборами, создавшими ложную путаницу ходов и обходов, тупиков и лабиринтов.

Автор будущих очерков раннегорьковского колорита бодро пробирался по этим лабиринтам вслед вожатому. Да и спутник походил скорее на пугачевца или разинца.

Пришлось перелезть через деревянный забор, в захламленный и тесный, но отовсюду совершенно закрытый дворик. Справа там оказалась лестница в два марша и вела она вниз, в полуподвал, плохо освещенный и грязный. Это-то и был, оказывается, дом Корзинкина, как его называли зимогоры между собой. В углу полуподвального помещения стояли две пустые бочки. К стене были прислонены доски, оторванные от забора, и деревянный щит — им некогда загораживали на ночь лабазное окно.

Вся компания очень быстро оказалась в сборе. Щит уложили на бочки. Роню посадили в самый угол и придвинули к нему этот «бочкощитовый» стол. Из бочек и поленьев соорудили скамьи. В огромный эмалированный таз (это и была «лохань») стали дружно крошить черный хлеб, зеленый лук и грубо нарезанную редиску. Затем были с профессиональной ловкостью выбиты пробки из четырех бутылок и водка залила приготовленную массу так, что та всплыла; четыре ложки опустились в эту тюрю. Роне, как человеку еще непривычному, вежливо предложили жестяную кружку чистого напитка, без ингредиентов тюри..

— Ну, будем здоровы! — возгласил староста, и все четверо принялись дружно хлебать ложками тюрю, будто это был суп-лапша или щи. При этом раздавались тихие вздохи и замечания,

вроде: «Эх, кабы ты, родимая, в Волге-матушке текла, чтоб хоть разочек всласть тебя напиться!» или «Замастырили мы тюрю, хлеба в ней невпроворот, суха ложка рот дерет, эх, и трезвый наш народ, водку в рот не берет, тюри требует»... В несколько минут таз был осушен, Ронины собеседники вытерли ложки и снова их спрятали — кто за голенище, кто в карман. Но пора было и начинать рассказы... Будущий очеркист попытался задавать наводящие вопросы, но напрасно — собеседники только вяло перебранивались и рыгали.

Кончилось все это приключение бурно. Старший из зимогоров, будто желая начать серьезный разговор и даже документировать его справками и бумагами, полез за пазуху и вытащил связку документов, перехваченную резинкой.

— На, товарищ-барин, погляди, как несправедливо ваша власть со мной поступила. Читай вот эту бумагу! Видишь, какой документ? Я с ним с гражданской войны воротился. Читай! Гляди сюда!..

Спецкор журнала «Экран» с любопытством сдернул резинку. Перебрал документы Бумажки оказались пустые: копии квитанций, мелкие счета, рекламки, использованные чеки, пароходные билеты.

Разочарованный корреспондент, подозревая, что его водят за нос, сердито вернул бумажки владельцу. Но тот вдруг грозно нахмурился и стал проверять пачку.

— Постой-ка, товарищ дорогой, куда ж это ты мой воинский документ девал?.. Эй, робя! Ощупайте его! Барин, да ты фокусник!

Трюк был, знать, не раз проверен на простофилях. Работали слаженно: двое ухватили Роню за рукава. Артельщик, распахивая Ронин легкий плащ на груди, тянулся к лацканам и карманам пиджака.

Гость же помнил о своем правом кармане в брюках! Вскочил, опрокинул стол с пустой «лоханью» на обоих визави, крикнул, уже отступая к ступеням: «Руки вверх!» Выхватил из кармана револьвер, сдернул с него платок.

Один из нападающих нагнулся к пустым бутылкам.

— Не робей! Пугач у него!

Бутылка угодила Роне в живот. Не разбилась!

И он выстрелил. Поверх голов так и брызнули ошметки кирпича.

Те замялись, и Роня выскочил во двор. Подбегая к забору, выбрал неудачное место: перед ним были высокие гладкие доски. Пока одолевал, выскочили и те. Будучи уже поверх забора, Роня ощутил скользящий удар по темени остроугольным камнем.

Сгоряча достиг ближайшего угла, завернул в глухой проулок, выскочил на Кооперативную. Он помнил ее исстари как Рождественскую...

В аптеке ранку промыли перекисью, посоветовали все же сходить к врачу. Дали адрес хирурга Жукова. Мол, особняк, не доходя корпусов городской лечебницы. Очень добрый врач, не откажет... Корреспондент же вспомнил, словно в озарении, что в семье Брунс он не раз встречал милую, интеллигентную и очень хорошенькую девушку Тамару из Нижнего Новгорода. И она была дочкой тамошнего хирурга Жукова... Бывает же такое!

Прием, оказанный ему в доме доктора, превзошел все ожидания! Он пробыл в этой радушной семье весь день. Рану доктор признал пустяковой и заклеил пластырем, совсем малоприметным. Девушка Тамара пошла проводить Роню на пароход. И команда, и пристанская обслуга хорошо знали в лицо дочь доктора Жукова. Ей ласково кланялись, уговаривали доехать до первой пристани — Исады, чтобы вернуться оттуда попозднее пригородным пароходиком. Она колебалась, посматривая на Роню. Стояли они на верхней палубе.

И вот, перед третьим гудком к отвалу, подкатил к пристани извозчик. У лошади ходили бока от быстрого бега. Из пролетки вышла дама в черном и повела за руку мальчика лет семи или восьми. Извозчик следом потащил объемистый чемодан с разноцветными наклейками японских отелей.

Позвонил колокол на пристани. Трижды взревел пароходный гудок-свисток. Дама, чуть ускоряя шаг, подошла к окошечку пристанской кассы, протянула билеты. Ей что-то на них отметили.

Тоненьким свисточком пароход просигналил: «Убрать сходни! Отдать носовой!» Пристанские матросы подняли вверх правую сходню. Даме и мальчику оставили одну левую. Матрос вбежал на пароход с чемоданом отплывающей, а сама она смело повела мальчика по узкой полосе трапа над водой, уже взбурлившей от ударов колесных плиц.

Сходя по трапу, мальчик выронил из рук шелковый японский платочек. Дама глянула на сына укоризненно, свела его на пароходный борт, а затем, неуловимо легким движением повернулась к трапу, наклонилась и достала платочек, уже свесившийся над бездной. Даже успела послать матросам извиняющуюся улыбку — мол, простите за эту задержку... И Роня потерял ее из виду с палубы.

Будто заколдованный, он с этого мига напрочь забыл о провожавшей его милой барышне, не огорчился, заметив ее уже на берегу. Значит, не поехала до пристани Исады...

Всей интуицией и всем сознанием он ощущал и понимал необыкновенную значительность всего явления, только что представшего его глазам. Он постиг, что поведение, интонации, манеры дамы в черном — это нечто недосягаемо высокое, плод векового труда над шлифовкой каждой грани того великолепнейшего из алмазов, что именуется человеческой личностью. Не пустяковина ли? Наклонилась за платочком, взглядом упрекнула мальчика, взглядом же просила у матросов извинения... А нужна-то для этой «пустяковины» работа поколений не меньше, чем за пятьсот-шестьсот лет. И никаких эрзацев этой многовековой шлифовке нет! Как нет иного рецепта для английских футбольных газонов, чем выращивание и уход... на протяжении столетия!

Но неужто же наша эпоха кладет шлифовке человеческих алмазов конец? И коли так, то неужто удел дамы в черном — ходить по Земле одною из последних могикан?

2

«Только вспомни, как мудро и смело
Заплелась неразрывная цепь,
Как река под солнцем горела
И на поручнях плавилась медь...»
Из поэмы Рональда Вальдека

Она и не помышляла о пароходных знакомствах. Кроме волнений с посадкой, оказалось еще, что мальчик слегка простудился. Пришлось уложить его в каюте, давать лекарство, читать ему вслух «Белый клык». Целый день она не покидала каюты, при опущенных жалюзи. В спешке ей дали трехместную, очень просторную — пассажир мог в ней прохаживаться. И помощник обещал никого не подсаживать... К тому же взят в дорогу и срочный перевод и еще корректура статьи, посмертной, мужниной... Вдова! Какое жестокое, горькое, пугающее слово! В двадцать девять лет! Вдова? Не в романе, не у чужих, не у классиков... Сама! Она! Вдова!

...Изо всех пассажиров «Воронежа» она лишь мельком обратила внимание на одного, молодого, кажется, с человеческим лицом. Среди рож… Может, тоже петербуржец? Одежда — не вычурная и к лицу. Что-то есть от северо-германца. Как и в покойном муже было. Нет, прямого сходства — никакого. Однако некоторая общность в складе, манере, самом типе... Впрочем, уж больно обожающим взглядом взирала на него сбоку та девица, с которой он стоял на палубе, наблюдая весьма сочувственно за драматическим приездом неизвестной дамы с мальчиком.

Билет-то у дамы был на пароход «Наманган», а плыли они от самой Москвы на «Мантурове». Тот на целых полсуток опоздал, «Наманган» утром ушел, а на следующий пароход, «Воронеж», поспеть удалось только-только, по доброте извозчика и пристанских. И вот уже вторые сутки в пути по Волге-реке... Все тот же ком под сердцем. Та же боль.

* * *

Дама в черном? Почему же не видно ни ее самой, ни мальчика? Не было их ни в салонах, ни на палубе, ни у пристанских мостков, где велась бойкая торговля живыми стерлядями, земляникой, топленым молоком, парниковыми огурцами и свежезасоленной черной икрой, божественным российским «кавиаром»[58], который на этих пристанях шел за

бесценок?

Нынче ночью — Жигулевские горы. Погода чудесная, будет луна. Переживать всю эту поэзию в одиночестве непривычно. Хочется делиться, а не с кем. Неужели она где-то сошла и он навсегда потеряет даму в черном из виду?

Пожалуй, пора бы и за работу. Для афонинского заказа материала хватило бы на два очерка. Хорошо бы первый послать из Ульяновска — до него еще часов пять. Но очерку непременно надо найти завлекательное, броское начало. Если первые строки привлекут внимание, понравятся — читающий углубится в текст. Нет, — и журнальная страница будет перевернута в поисках чего-нибудь поинтереснее. Это Роня знает по собственному читательскому опыту.

Можно бы начать с живописного показа нижегородских зимогоров, в прошлом и — настоящем. Ну, настоящее-то придется в журнале сильно подсластить, — рвутся, мол, в социалистическое завтра, будущие города-сады цветут на месте еще не вполне выкорчеванных трущоб. На деле же нынешнее положение их незавидно. Доктор Жуков, Тамарин отец, серьезный знаток своего края, пересказал за обедом немало красочных историй об артельных обычаях у бурлаков и их нынешних потомках, сезонных пристанских чернорабочих, грузчиков. Прозвище их — зимогоры, то есть люди, горюющие зимой, с окончанием навигации.

Чаще всего попадают в этот клан выбитые из колеи, обездоленные мужики, кто порвал с сельским хозяйством, кого смыла с земли первая, еще ленинская волна раскулачивания в преднэповские годы — восемнадцатый-двадцатый. Неприкаянные, бездомные, бессемейные, живут они со дня на день, часто безо всяких документов, без теплого ночлега и куска хлеба на завтра. Когда физическая сила оскудевает и ноги от непомерных тяжестей обмирают, — остается одна участь: христарадничать до успения под забором.

А много таких сейчас? В нашем цветущем 1928-м?

Много. Если по всей Волге — десятки, сотни тысяч. Биржи труда на учет их как безработных не ставят. Мол, сельские вы, идите, откуда пришли. Или же предъявите бумаги о рабочем стаже и профессиях. Фабрики, заводы — их близко не подпускают. Ведь нынче безработица такая, что любых мастеровых людей, каких угодно квалификаций, вы на бирже наберете сколько вам потребуется. Вот одна Волга-матушка своих горемык и выручает. Пристани, да склады, да базары, да станции... Ну, и на темные делишки идут, вроде как с вами здесь получилось. Голод — не тетка!

«Воронеж» отвалил от пристани Тетюши. Один из севших там пассажиров авторитетно доказывал, что именно Тетюши послужили Ильфу и Петрову прообразом городка Васюки в романе «12 стульев». Пассажир, кажется, склонен был гордиться этим обстоятельством.

Когда с карандашом и блокнотом Роня пришел на корму, где стоял удобный столик, плетеное кресло и можно было, работая, поглядывать на оба берега, столик и кресло оказались занятыми: та самая дама, что садилась в Нижнем, — только сейчас она была не в черном платье, а в легком, сиреневом, — выписывала что-то в тетрадь из японского журнала американской вечной ручкой. Ронино сердце так и прыгнуло от радости: нашлась! Никуда с парохода не делась!

Он прислонился к перилам и стал измышлять повод для разговора. Выразить удивление, как быстро она читает иероглифический текст? От своего институтского преподавателя, Романа Николаевича Кима, читавшего в Брюсовском историю японской литературы, студент Вальдек имел некоторое представление о японской письменности и о ее большой трудности для европейцев... Или рискнуть произнести японское приветствие? Он помнил только «сайонара», но забыл, прощаются так или здороваются.

— Простите, нет ли у вас спичек?

Господи, это она сама заговорила с ним! Подняла голову от своих книг и обратилась к нему (год спустя созналась, что в сумочке лежало два коробка).

Роня услужливо заслонил ладонями огонек и помог даме зажечь ее японскую сигарету... Плотина молчания тут же и рухнула.

Через полчаса он знал, что Екатерина Георгиевна Кестнер совсем недавно лишилась мужа-профессора и выбрала для короткого отдыха маршрут Москва-Астрахань-Москва. Едет с осиротевшим мальчиком. Отец много занимался с сынишкой и звал Ежиком.[59] Сейчас приходится отвлекать его от недавних переживаний и направлять мысли на другое. Слава Богу, на пароходе мальчик стал крепко спать, лучше, чем дома. Они уже пригласили к себе в Москву мать Екатерины Георгиевны, Анну Ивановну[60], и скоро она приедет к ним откуда-то с юга...

Словом, своего очерка Роня так перед Ульяновском и не написал!

Куда больше тревожила его мысль: удастся ли поладить с мальчиком? Победить столь естественную детскую ревность?

Далеко впереди показался огромный железнодорожный мост. Дама вывела мальчика на палубу. Мужчины пожали друг другу

руки.

— Скажи, пожалуйста, — осведомился новый мамин знакомый, — ты нисколько не боишься громких свистков?

— Немножко побаиваюсь, — произнес Ежик с похвальной откровенностью.

— Сейчас будут три долгих — это сигнал мосту. И, знаешь, раньше пассажирам не разрешали быть на палубе, пока пароход идет под мостом.

Оказывается, не разрешают и ныне! Вахтенный помощник спустился с мостика, потребовал, чтобы все разошлись по каютам и салонам. Но он уже знал, что Роня — журналист и пишет о Волге. Даже предложил подняться на мостик — оттуда, мол, виднее.

— Хочешь со мной на мостик?

Мама и сын, конечно, не отказались. Сыну дали трижды потянуть за рукоять свистка, просигналить наплывающему мосту. При этом еще один, только незримый мост, перекинулся от детского сердца к взрослому.

В Ульяновске, тихом, зеленом, очень провинциальном и скромном городке, родине Ленина, они втроем больше часа бродили за пристанями, поднимались высоко в гору, где в садах еще доцветали яблони, а у дороги к городу висели на щитах рекламы и афиши.

Обоим взрослым участникам этой экскурсии понравилось, что соблюдалась известная скромность в объявлениях о музее Ленина и прочих местах, связанных с его детством и семьей. Получалось, что столь крупный земляк все-таки не задавил собою весь город и он остается чуть не таким же, каким его знал сам Володя Ульянов. Только льстивое переименование резало ухо, свидетельствуя о чисто бюрократическом, мещанском мышлении тех, кто воображал, будто они возвысили Ленина, город и самих себя тем, что переменили привычное русское слово Симбирск на непривычное — Ульяновск. В еще большей степени это относилось и к Царицыну-Сталинграду, однако там было хоть то оправдание, что нынешним властителям хотелось стереть память о властителях прежних. Подумать только, как же скучна станет наша старая Европа, коли вместо звучных своих тысячелетних названий запестрит на карте Марксштадтами, Энгельсбургами, Ленинградами и Сталиногорсками!

Мальчика Ежика очень заинтересовало объявление Ульяновского кожевенного треста («продает шевро, хром, полувал, подошву, моставье, барана дубного»). Но самым интересным Ежику показался адрес треста: Сызрань, Жареный Бугор, № 4.

— Почему бугор — Жареный? — недоумевал ребенок.

Роня-то знал, почему. Это объяснил ему доктор Жуков. Таких «бугров» было на Волге несколько, самый известный — у Юрьевца-Поволжского, повыше Нижнего Новгорода. Был Бугор и под Сызранью. А Жареными их звали бурлаки потому, что тут открывали навигацию и «жарили» новичков. Их загоняли на вершину бугра ударами ременных лямок и молодцы эти взбирались по крутому, часто мокрому, скользкому склону под градом звучных шлепков. Роня постарался изобразить этот бурлацкий обычай в комическом виде, представил Ежику воочию, как убегал новичок от преследователей. Мальчик хохотал. Установившийся контакт явно укреплялся...

Рядом с Ульяновском кожтрестом разместил огромный щит и «Союз кустарно-промысловых кооперативов Немреспублики»[61].

Немцы-кооператоры предлагали покупателям-ульяновцам не только сарпинку, трикотаж, обувь, корзины и плетеную мебель, но имели в своем ассортименте и кое-что посолиднее: большой выбор машинвеялок типа «Колонистка», сеялок фирмы «Шульц», сортировочных машин типа «Ривьер» и «Клейтон»... Немецкие кустари-кооператоры (конторы в Саратове и Покровске[62]) гарантировали покупателям качество машин, «не уступающее довоенному». Это и был в действии НЭП Ленина... Недаром редактор Афонин называл, отправляя Роню в поездку, Республику немцев «жемчужиною Поволжья» и требовал про нее отдельный, пространный очерк.

Екатерина Георгиевна была на Волге не впервые и тоже радовалась предстоящей уже нынче ночью встрече с Жигулями в знаменитой Самарской Луке. Особенно радовала ее нетронутость природы в этих малообжитых живописнейших местах — три—четыре селения попадаются здесь на протяжении многих десятков верст. Пароход прижимался, как она помнила, чаще к правому берегу Луки, и сегодня должны пройти под полной Луной обрывистые скалистые берега, густые зеленые заросли, ущелья, знаменитые дикие утесы — Молодецкий Курган, Девья Гора, Два Брата, Соколья Гора на левобережье... Ни о чем не сложено в нашем народе столько песен, сколько пелось их в старину о Волге в Жигулях!

— Вот и приходите сегодня после ужина сюда, на корму, — попросила Роню Екатерина Георгиевна. — Я рада, что увижу Жигули... не в одиночестве.

В Ставрополе[63], где пристань далеко от городка, у песчаного откоса, поросшего ивняком, Роня быстро сбегал на берег, надеясь на встречу с одним юным журналистом, соседом по московской квартире, проводившем лето здесь. Роня дал ему в дорогу

телеграмму... Но уже начинало чуть смеркаться, в окнах пристанских служб появился свет и бакенщик приплыл на своей громоздкой лодке, загруженной запасными фонарями, со стрежня, где затеплили красные и белые огни бакенов, обозначающих фарватер. Стоянка «Воронежа» была короткой, он дал подряд всю серию свистков, и Роне пришлось прыгать на его борт уже после отдачи чалок...

Тут он решил взяться за дело и быстрехонько сочинить гениальный очерк, чтобы отправить Афонину хотя бы из Сталинграда! Ведь до него — двое суток!

Ужин он велел принести себе в каюту. И еще не зажигая света, оперев голову руками, он позволил себе чуточку вздремнуть — ведь минут через десять горничная разбудит, когда явится с подносом и двумя блюдами... Ласковая, щекочущая волна дремоты понесли его куда-то в теплую синеву.

...Он очнулся, трезвея, пугаясь, в ознобе. Из-за опущенных жалюзи бил дневной свет. Роня в ужасе выскочил на палубу.

Матрос мыл ее шваброй. Все скамьи и столики громоздились на перилах, как бы оседлав их. Слева по борту тянулись безрадостные сырые низины. Примерно тот же вид был и справа. Колесные плицы беспощадно и ритмично отбивали что-то насмешливое. Он все проспал! И Жигули, и свидание, и Самару, и даже собственный очерк! Боги судьбы! О, коварные!

* * *

Утром 19 июня, хмурый и заспанный, ибо ухитрился «добрать» остаток ночи уже на койке, спецкорреспондент «Экрана» опасливо выглянул на палубу. И тут же, нос к носу, столкнулся с мальчиком Ёжиком.

— А мама вчера подумала, что вы отстали от парохода в Ставрополе!

Блестящая возможность выкрутиться! Мол, в журналистской горячке опоздал к пароходу и всю ночь мчался на моторной лодке вдогонку!

— Где мама? Пойдем к ней!

Он увидел ее в окне. Нет, глядя в такие глаза, лгать просто немыслимо! Покаянно поведал он всю правду и получил приглашение к чаю. Она крепко заварила незнакомый Роне зеленый японский чай в крошечном металлическом чайничке, оплетенном соломкой. Столик в каюте укрывали два бело-синих полотенца с иероглифическими письменами. Сласти и печенье были токийские и иокагамские. Пили чай из массивных фаянсовых чашек без ручек.

— Знаете, больше всего я опасалась услышать какую-нибудь фантастику. Дело в том, что соседка по каюте услужливо доложила мне — отстал, мол, ваш знакомый, сама видела... Я решила присмотреть за вашими вещами и каютой. Подумала, что по примеру Стеньки Разина, вы сумеете пересечь посуху Самарскую Луку раньше, чем наш купеческий пароход обогнет ее, и что в Самаре вы нас догоните... Пошла, глянула и в отблеске из верхнего оконца увидела вашу тень на жалюзи. Спит за столом! Махнула рукой на Жигули и дочитала Ежичке «Белый Клык». Все к лучшему, Рональд Алексеевич.

— Постучали бы, Екатерина Георгиевна! Жаль Жигу лей-то!

— Немножко я полюбовалась ими. С Ежичкой. Погасили свет и смотрели из окна. Луна была... Кстати, горничная с ужином пробовала стучать. И — бесполезно!

— Должно быть, воздух здесь такой усыпительный. Уж простите меня! Я боялся, что вы и говорить-то со мной после этого не станете.

— Повинную голову меч не сечет! Вот чего и впрямь не простила бы — вранья! Тут всякому товариществу был бы конец!

— А вы, значит, все-таки верите в товарищество между... как бы это сказать... Ну, промеж мусью и мадам?

— «Промеж мусью и мадам» не очень верю. Но если они — личности независимые и достойные, то... могут стать и товарищами.

— Ну, а ежели он ее вдобавок при этом и полюбит? И рамки товарищества станут тесноваты!?

— Тогда... Уж не знаю, что тогда.

Ему показалось, что он нечаянно прикоснулся к чему-то, о чем ей сейчас нехотя вспомнилось и над чем раздумывать не хотелось. И принялся он всеми средствами искупать свою давешнюю вину.

Малейшие желания заранее угадывались и исполнялись. Было начато чтение сыну повести «Зов предков». Испрошено у капитана позволение использовать верхний дек в качестве солярия для мамы и сына. Когда мальчику надоело жариться на солнышке, спецкорреспондент привел его в свою каюту, разложил все альпинистское снаряжение и позволил даже, при условии соблюдения строгой тайны, потрогать барабан «Смит и Вессона», предварительно разряженного.

А для мамы был доставлен с какой-то пристани за Сызранью огромный ворох сирени, куплена глиняная миска, доверху наполненная великолепной осетровой икрой.

Пришла его очередь пригласить маму и сына на совместную трапезу. Она согласилась отобедать с ним в его салоне. Мало

того, что все блюда он выбрал по ее вкусу, помимо того, его сосед по столу, сибиряк и большой гурман, при виде Рониной дамы растаял, расцвел и обещал, что сверх уже заказанного он велит подать к столу нечто необыкновенное и вкусное.

Оказывается, он еще в Сызрани купил на рынке две крупных стерляди, фунта по три каждая, сам отнес их к повару в камбуз, поручил сварить на пару и подать к обеду!

В предвкушении они вчетвером сидели за столиком, и мальчик, при всей своей воспитанности, уже поигрывал прибором и трогал пальцем изморозь на охлажденных бутылках... Кристальная влага томила взоры мужчин, свежая икра отливала антрацитовым блеском. Ждали только обещанных стерлядей. Горничная же передала ответ повара, будто он никакого заказа на стерлядей не получал, рассерженный сибиряк тотчас сам ринулся вниз, урезонить и поторопить забывчивого кока...

Воротился он с тем же выражением лица, какое было у Рони после Жигулей... Увы! У Сызранской пристани бок о бок стояли два парохода: шедший вниз «Воронеж» и — вверх — «Парижская коммуна». И сибиряк ухитрился поручить своих стерлядей... повару «Парижской коммуны»! Значит, плыли сейчас его стерлядки, совсем как при нересте, против течения! И, верно, уж миновали всю Самарскую Луку! Возможно кто-нибудь уже дегустирует это блюдо, так долго не требуемое хозяином!

Салон тихо сотрясался от смеха. Утешить расстроенного пассажира-сибиряка пытались тем, что даже чеховская фантазия не смогла изыскать столь траги-гастрономической ситуации!

...Вечером капитан разрешил Роне пригласить даму на верхнюю палубу. Для них поставили там скамью на корме, далеко позади капитанского мостика и дымовой трубы. Угольный дым и копоть почти не ощущались и никого вокруг не было. Медленно угасал закат, повторенный в размашисто-широких нижневолжских плесах двух или трехверстного простора!

Огни индустриального Вольска отсвечивали далеко позади, а по правому берегу поднялись под луною темные гряды Змиевых гор, как бы восполнял вчерашнюю потерю Жигулей. Не надо было тревожиться о мальчике — для него нашелся товарищ, и та мама, тоже одинокая, обещала нынче пасти обоих...

— Вы, Екатерина Георгиевна, верно, совсем недавно из Японии?

— О, нет, давно. Мои японские угощения — от артистов театра Кабуки. Сама я уже прошла все стадии разлуки с нею: острую к ней ненависть, безразличие, тоску по ней и возрождение столь же острой к ней любви. Это для европейца — обычная схема... Мы оттуда вернулись в двадцать третьем. Едва спаслись

от Великого землетрясения.

— Вы мне уже объяснили, что послали вас туда с мужем выручать заказанное Керенским оружие. Но чем дело кончилось и почему оно так затянулось — с восемнадцатого по двадцать третий — я еще не знаю. Или вам еще что-то поручили?

— Ну, с оружием нам очень мешало белое русское посольство. Но все-таки японцы признали наши полномочия от Высшего Военного Совета РСФСР более вескими и летом восемнадцатого отгрузили эшелон с винтовками и боеприпасами в счет полученных от правительства Керенского денег. Приемщиком, притом весьма придирчивым, всего груза был Валентин Кестнер. Японцы были уверены, что эшелон по дороге перехватит их же ставленник, атаман Семенов, но ошиблись! Нам передали, что оружие попало Красной армии, а точнее, партизанской армии Сергея Лазо. И пришлось весьма кстати!

После этого покладистость наших поставщиков сменились полной неуступчивостью; следующий эшелон они наотрез отказались грузить! Нас же с Валентином газеты стали беспощадно травить как опасных иностранцев, большевистских агентов, зловредных агитаторов. Требовали выслать из Японии опасную чету Кестнеров!

И вдруг — новая волшебная перемена! Осенью, уже в сентябре-октябре, нас вдруг приглашают в высокие сферы, нам улыбаются, нам кланяются, нас выслушивают с почтением, вновь смотрят наши бумаги — а им, этим нашим полномочиям, уже вот-вот приходит конец! Тем не менее, полномочия признаются действительными, нам приносят на подпись новый акт — мол, второй эшелон оружия отгружен и следует в Сибирь. Японские обязательства выполнены! Семь миллионов в золоте компенсированы полноценным оружием и боеприпасами...

За газетами мы следили весьма пристально и отлично знали, что семеновцы и японцы в сентябре захватили Читу... Вот кому предназначалась новая партия винтовок, пулеметов и патронов! Притом за русское золото.

Мы категорически запретили отгрузку. Подписать акт отказались. И всеми путями пытались восстановить связь с Москвой или хотя бы с советскими властями в Сибири. Все было напрасно — Москва находилась в кольце блокады, да и мы с мужем, в сущности, тоже жили как осажденные. Потом, кстати, узнали, что одно из наших писем, которые мы посылали разными путями, дошло до самого Склянского в Реввоенсовете. Это письмо тайком взял у меня брат нашей горничной, японский коммунист Фукуда, служивший матросом на грузовом судне. В каком-то порту он вручил наше письмо одному советскому дипломату, а

тот переслал его прямо в Реввоенсовет товарищу Склянскому, нашему адресату. Склянский телеграфировал правительству Дальневосточной республики, чтобы оно приняло меры к спасению особоуполномоченного Высшего военного Совета РСФСР Валентина Кестнера и его жены путем дипломатических переговоров с японцами. Удалось это, как вы понимаете, лишь много позднее, когда в Японию прибыл первый представитель ДВР и корреспондент РОСТА[64] товарищ Антонов...

А у нас кончились и официальные полномочия, и командировочные деньги. Мы с мужем превратились из официальных представителей просто в нежелательных иностранцев. Переехали из роскошного «Эмпириор-отеля» на Гинзе в нищее предместье японской столицы. Там, в девятнадцатом родился Ежичка — он у нас уроженец Токио!

Муж пытался устраиваться на службу в частные фирмы и всегда это удавалось лишь ненадолго. Горек был его опыт с одной конторой по торговле насосами. Владельцы конторы, бывшие одесситы, решили, что внешность Валентина, его дипломатический опыт, манеры и свободная японская речь поднимут вес фирмы и привлекут чужие капиталы. Валентин приложил все силы на это привлечение капиталов, убежденный в серьезности предприятия. Но когда немалые деньги притекли, эти господа и не подумали пускать их в насосное дело, а просто поделили между собой и объявили себя банкротами. Эта жульническая афера оттолкнула Валентина от попыток искать заработка на путях коммерческих. Он просто углубился в чистую науку и помогал ему в этом его друг по университету, Евгений Николаевич Волжин, великий труженик и подвижник в науке и малое дитя в политике...

— А что же в это трудное время пришлось делать вам, Екатерина Георгиевна? Верно, ребенок отнимал много сил, но были же у вас и дела иные, литературные или тоже исследовательские? Наверное, и на какую-нибудь службу надеялись?

— Да, надеялась, и нашла себе дело. Меня взял к себе на французские курсы один веселый парижанин, осевший в Иокагаме. Он мне прямо сказал: «Мадам, если ученики к вам пойдут и останутся довольны — я готов вам платить по высшей ставке, ибо всегда был альтруистом. Но курсы — мой хлеб!» И ученики пошли. И остались довольны. Я кормилась этими французскими уроками сама, кормила сына и подкармливала мужа...

— Скажите, а этот Волжин... так и остался в Японии!? Я слышал о нем. Ведь он расшифровал таинственные таблицы из

мертвого города Хара-Хото?

— Да, он действительно их прочел, ибо открыл и исследовал древнейшую тангутскую письменность, нашел на Формозе потомков этих древних тангутов. Впрочем, это слишком специальная область... достаточно сказать, что Евгений Волжин — гордость русского востоковедения. Сам он не считает себя ни белым, ни красным, предан одной науке, пользуется огромным уважением даже у японских ученых, уже не говоря о кругах эмигрантских. Приходит он на помощь всем, кто в ней нуждается. Белые все надеются, что он окончательно примкнет к ним, красные же в нашем лице старались уберечь его от неверных шагов и лишних эмигрантских связей. Он сохраняет советское гражданство, а недавно Академия наук за огромные его заслуги пригласила в Ленинград на серию докладов...

— Вы с ним переписываетесь?

— Да. Послала ему последние, предсмертные снимки Валентина. И те посмертные статьи, что я, уже одна, редактировала. Ведь когда японская полиция все-таки арестовала Валентина, я осталась бы без всякой поддержки, если бы не Волжин. Посадили Валентина за попытки установить связь с Москвой. Только Волжин и поддержал меня тогда, и морально и материально. Мы были добрыми товарищами, но я понимала, что... не безразлична Евгению Николаевичу. Когда спасение пришло, в лице прибывшего из ДВР Антонова, Валентина выпустили из заключения при условии, что мы покинем страну в 24 часа. Провожал нас один Волжин. И на прощание сказал мне, что по одному моему слову будет там, где я ему велю быть, коли это мне понадобилось бы. После смерти Валентина я написала Волжину большое дружеское письмо, описывала свое одиночество, свои трудности с редактированием посмертных трудов. Теперь я больше всего боюсь, чтобы он не истолковал это письмо как... призыв сюда, в Россию, на помощь мне. Это может поставить под угрозу всю его тамошнюю ученую деятельность! Ему ведь покровительствуют даже японские власти. За ним и полицейского надзора нет!

— А за вами был?

— Господи, да еще какой! За мною и Валентином совершенно открыто ходили полицейские шпики. Если мы встречались с Валентином на улице, то наши шпики здоровались между собой. Был даже случай, уже после ареста Валентина, когда я осталась в нашем жилище только с няней Ежика, и мой шпик помешал вору ограбить наш дом...

— Откуда же он знал, что вор собирается это сделать?

— О, в тех глухих предместьях Токио еще существуют чисто

феодальные, патриархальные традиции, в частности, насчет воров. Они там живут на особых правах (надо думать, с ведома полиции). Ночью вор идет по улице и громко кричит: о-к-и-р-о-о-о! Окиро! По этому крику жителям полагается отпереть свой дом и отвернуться, как будто ничего не происходит. Вор войдет, возьмет не более, чем ему нужно для личных потребностей, и удалится. Это — как своеобразный налог, что ли! Лишнего он брать не должен. И вот, когда такой «окиро» появился у моего жилища, — мой шпик запретил ему входить ко мне! А я стояла с маленьким револьвером в руке, готовая стрелять, если он подойдет к ребенку... Уж не знаю, что бы из этого вышло! Слава Богу, окиро, ворча, убрался. Потом при отъезде, мы подарили нашим шпикам много мелочей... Валентин отдал своему все галстуки. Думал, что в красной Москве их больше носить не принято...

— А землетрясение застигло вас еще в Токио?

— Между ним и Иокагамой... Мы видели свежие следы цунами — выброшенный за три версты от берега морской пароход. И улицы без домов — был только асфальт. Зданий — никаких! Но сама полиция помогла добраться до Цуруги и сесть на русский пароход. Там я заболела дизентерией и была на краю... А Валентин с тех пор так и не оправился от кошмарных условий японской ямы-тюрьмы... От последствий и умер через шесть лет. «Правда» писала в некрологе о профессоре Кестнере, что эта потеря долго не сможет быть восполнена... Наша «Правда» такими словами, как знаете, не разбрасывается! Он, кстати, постоянно в ней сотрудничал.

— А сами вы?

Веду занятия разговорным японским языком. И работаю в Академии наук. И еще в Международном конъюнктурном... Ну, и пишу, конечно... Смотрите, а там, на левом берегу — пристань!

Это была пристань бывшего Екатеринштадта или Баронска — городка, основанного здесь неким голландским бароном еще при матушке Екатерине, поселившей, как известно, в Поволжье немецких колонистов из Южной Германии и Швейцарии, чтобы те дали россиянам пример доброго хозяйничания на плодородных, но плохо освоенных степных нивах волжского Понизовья.

Теперь поселение и пристань поименованы Марксштадтом — то ли для приумножения славы самого городка, то для возвеличения отца и творца социалистической теории, столь успешно реализуемой в Немецкой республике на Волге. Отсюда недалеко и до самой столицы этой республики — города Покровска, лежавшего напротив Саратова, куда пароход «Воронеж» должен прибыть под утро...

...Слушая эти слова — Марксштадт, Мариенталь, Базель, Блюменфельд, Бальцер, Цюрих, — спецкорреспондент «Экрана» втайне волновался и тревожился... Однако беспокоили его отнюдь не сами редакционные задания, а лишь мысль, как бы не вспомнила про них строгая Екатерина Георгиевна. И, вспомнив, не оставила бы спецкора наедине с рабочим блокнотом!

Никакая работа на ум не шла! Ему, может, впервые в жизни стало безразлично все, что не имело прямого касательства к Екатерине Георгиевне. Эта женщина заслонила ему весь мир. Весь Божий Мир был прекрасен только тогда, когда озарялся ее улыбкой. Но он переставал существовать, когда надежда заслужить улыбку — гасла. Вне этой женщины не было для Рони ничего — ни реки, ни парохода, ни облаков. Только она давала всему глубокий смысл и открывала Рональду бесконечную прелесть бытия.

Уж какие там очерки, Немреспублики и Кавказы! Что ему теперь Казбек без нее?

...Он под руку водил ее вокруг безлюдной палубы «Воронежа», пока тот принимал в свои просторные трюмы сотни ящиков с табачными изделиями фабрики имени все того же Карла Маркса...

Роня, сердито, Екатерине Георгиевне:

— Ох! Не ведает, видно Владимир Владимирович, что кроме бебелевского пива и «имени Лассаля блинов» вполне зримо существует на Руси реальный, притом низкосортный табачок имени Маркса![65]

Екатерина Георгиевна, грустновато улыбаясь:

— Знаете, Ронни, боюсь, как бы в единоборстве с товарищем Клопом-Присыпкиным[66] не осталась бы побежденной стороной особа самого автора!

Пароход коротенько прогудел отплытие. Снова замерцали впереди огни фарватера, и будто еще шире раздвинулись темные просторы. Когда теплый ветер с низовьев сильнее обдувал пароходный нос, а плечи женщины чуточку подрагивали, каким наслаждением было накидывать на эти плечи собственный легкий пиджак!

Где-то «Воронеж» почти прижался к высоченному берегу, и на мостике зажгли фонарь. Луч озарил глинистую почву, сонные листья мать-и-мачехи, лестницу-стремянку по откосу...

О прошлом больше не говорили. Теперь они читали стихи. Он — любимых поэтов русского серебряного века, она — вперемежку — Пушкина, Расина, Бодлера, сонеты Эредиа. Ее память на стихи была неиссякаема. Роня мог сравнить с нею только Валерия Брюсова.

Делалось все прохладнее. Ночь шла к перелому. За кормовой шлюпкой, на севере, у облаков стало заметнее легкое, серебристое свечение.

— Там сейчас — логовище Солнца, где оно спит по ночам, как все звери.

— Правда? — Он ободряюще погладил ее по руке.

Хотите согреться чашечкой чая? У меня в каюте «заряжен» термос. Мы можем даже капнуть в чай по капельке коньяку. У меня припасено немножко. Сейчас проведаю Ежика и принесу...

Когда они выпили чаю с коньяком в его каюте, ему стало чудиться, будто в женском оке появилось то же загадочное, влажное свечение, виденное ими там, на северной стороне купола мира...

Он отважился поближе рассмотреть этот мерцающий свет и понял, что тот не гаснет от его близкого взгляда!

А перед тем, как совсем уйти в блаженное небытие, он еще успел различить у нее на груди маленький, круглый, аккуратный шрамик пониже косточки-ключицы, как раз против живого женского сердца, ему отныне отдавшегося.

Саратов, а с ним и Покровск, они теперь проспали оба!..Так, за одну ночь, двадцатилетний Роня Вальдек почувствовал себя главою семьи. Он еще не строил реальных житейских планов ничего не говорил вслух, но внутренне исключил из своего лексикона местоимение «я». Чисто интуитивно он стал мыслить понятием «мы». О длительной разлуке для него и речи быть не могло. Чтобы «мы» разъехались — кто назад, тем же пароходом в Нижний Новгород, а кто другим пароходом — в море и к берегам Кавказа? Ни за что!

На одной из пристаней перед Сталинградом «Воронеж» разминулся с красивым пароходом скорой линии «Максим Горький». Екатерина Георгиевна ждала эту встречу, потому что путешествовал по Волге этим пароходом близкий друг ее и Валентина профессор Константин Адамович Винцент[67].

Один пароход причаливал, другой отходил, пассажиры толпились на падубе. И все-таки Екатерина Георгиевна углядела белый костюм профессора, а он тоже смог отыскать ее глазами в чужой толпе; улыбался и кланялся. Роня мог различить, что лицо его приветливо, красиво и необыкновенно располагает к себе. Он послал Екатерине Георгиевне воздушный поцелуй и еще долго махал шляпой...

Она призналась Роне:

— Я загадала: если увижу Винцента — все будет хорошо... Даже очень хорошо!

Роня понял, что гадала она про него! И она не должна ни о

чем пожалеть! Конечно, все будет хорошо!

Ни слова не оказав Екатерине Георгиевне, он из Сталинграда телеграфировал редактору «Экрана» Афонину: «Заболел. Врачи запретили работать. Отправляют лечение потом отдых Кавказ. Шлите Волгу другого корреспондента».

Для редакции «На суше и на море» Роня еще надеялся что-то послать с Казбека, ибо эта редакция его не торопила. Вдобавок одна Ронина новелла под названием «Алая метель» с полгода уже пребывала в редакционном портфеле, и поэтому небольшой аванс, взятый в счет кавказского материала, не тревожил Рониной совести. Притом кавказское задание его очень увлекало, сулив интересные поиски. Он стал уговаривать Екатерину Георгиевну ехать с ним на Кавказ.

— А как же с пароходными билетами до Москвы? С пересадкой в Нижнем?

— Продадим!

— А все дела, статьи, корректуры, педсоветы, кафедры, совещания?

— Отложим!

— Куда же мы все денемся в Астрахани?

— Узнаем, когда пароход на Махачкалу и дождемся его. В гостинице.

— Господи! А потом?

— Потом — Владикавказ и... Казбек! А еще дальше — какая-нибудь дикая щель, утонувшая в лесном плюще! На береге черноморском!

— Боже, какой соблазн! «Но смерть, но власть, но бедствия народны...» Вы лишили меня покоя, сеньор! Мне безумно хочется в дикую щель! Конечно, если все обсудить здраво, — это нереально, но... восхитительно!

Разговор происходил, когда с борта «Воронежа, после крутого поворота Волги, вдруг неожиданно открылся изумительный вид на Астрахань, с кремлевскими башнями, стройной колокольней, пятиглавым собором и огромным портом, какого Роня еще не видал на Волге.

У трамвайной остановки они восхитились афишей астраханского цирка: «Только один день, проездом в Париж, даст представление знаменитый Ампер-старший, Человек-Молния!» Стало ясно, что школьный мсье Андре Мари Ампер был младшим и не знаменитым!

Именно у этой так запомнившейся им афиши Екатерина Георгиевна приняла и объявила собеседнику окончательное решение:

— Роня! У меня нет запаса душевных сил ждать ваших

возвращений с Казбеков и Ушб! Ставлю перед вами выбор: или я, или горы! Во всем остальном я готова безоговорочно подчиниться. Но пока мы вместе — о восхождении и речи не будет! Решайте сейчас же!

Он, не раздумывая, условие принял.

* * *

Только вспомни, какими долинами
Разверзался под нами мир!..
Из поэмы Рональда Вальдека

Они продали билеты с большой уценкой и устроились не в гостинице, а на постоялом дворе «Каспий» близ базара. Трехкоечный номер в «Каспии» стоил совсем дешево! Но тут чуть не произошел большой конфуз! У них взяли документы — записать в книгу приезжих. С другого конца коридора он увидел растерянное выражение ее лица. Когда подоспел на помощь, оказалось, что татарка-дежурная никак не разберет фамилию главы семьи, а супруга... никак ее не вспомнит!

Часами бродили в Рыбном порту, что в устье реки Кутум. Там и воды не видно было за великим множеством парусных и моторных рыбачьих судов. Жизнь на этих судах шла увлекательная!

Величавый издали астраханский кремль оказался запущенным, ободранным и мрачнейшим. Часовой с винтовкой даже близко не подпустил к Пречистинским вратам, встроенным в колокольне. Пришлось просто обойти кремль снаружи по Октябрьской и Желябовской улицам. Встречный астраханец объяснил, почему не пускают:

— Там давно уже военный городок. До прошлого года был имени товарища Троцкого. А теперь — не знаю, должно быть, переименовали...

Потом в течение целого дня плыли дельтой Волги на полуморском судне с открытой палубой до 12-футового рейда среди почти нетронутой природы — в царстве птиц, сочной зелени и заповедной рыбы. Когда проходили мимо береговой тихой заводи, смогли различить на воде бело-розовую крапинку и узнали, что это царственный цветок лотоса, а чуть позади, на берегу, заметили силуэт одинокого фламинго, тоже изысканного бело-розового оттенка.

Судно шло навстречу морскому ветру. Берега неприметно отступали, отставали, превращались в далекие полоски, потом — в марево. На 9-футовом рейде слегка покачивало. А на 12-

футовом посадка на видавший виды «Спартак» линии Астрахань-Баку происходила уже в штормовую погоду. Казалось просто невероятным, чтобы морякам Каспия удалось благополучно перебросить пассажиров и их кладь с одного танцующего борта на другой, повыше, но столь же бурно пляшущий. Однако милостивый Нептун ограничился невысокой данью — в воду упал всего один-единственный сундучок молодой цыганки, что только развеселило ее спутников и супруга.

Маленький, грязный и храбрый «Спартак» поднял якоря с 12-футовой глубины и упрямо потек навстречу высокой волне.

...Втроем они лежали около своих чемоданов на укрытой парусиной горловине носового трапа. Цыгане азартно играли в карты прямо на тигровом пледе, прикрывающем ноги Екатерины Павловны, но странным образом она, не выносившая фамильярностей, заигрывания или грубости, отнеслась к этому довольно благодушно. У нее, по отцовской линии, текло в жилах некоторое количество крови молдаванских господарей и, возможно, это чуть-чуть отражалось на ее внешности, придавало смуглость и роднило с южанами. Во всяком случае, цыганка, оставшаяся без сундучка, попросила:

— Красивая, счастливая, подари что-нибудь на память о тебе!

Екатерина Георгиевна достала из сумочки небольшой японский веер, искусное изделие из душистого дерева и проклеенной бумаги.

— Возьми его, обмахивайся в жару! Он из сказочной страны, а держать его в руке надо так. Это — по-японски. А так — по-испански.

Подарок произвел сенсацию. Курчавый муж одаренной сказал:

— Слушай, если захочешь пройтись с твоим молодым, — иди куда хочешь, хоть на всю ночь! Мы за твоими вещами и за мальчиком присмотрим. Он у тебя на наших похож... Ничего у тебя не пропадет!

За бортом выныривали тюлени, глянцевито-черные, усатые, с удивленными глазами...

Роня задремал было. Очнувшись, увидел ее: сидящую рядом, с очами удивленными и круглыми, как у тюленей. Повернул голову и ахнул!

Там, на юго-западе, уже поднялся в небо, вынырнув из морских пучин, весь Кавказский хребет, в синих прожилках ущелий, в лиловых тенях и с розовеющими снегами вершин. Легко угадывались Эльбрус и Казбек...

Осторожно обошли они, держась за руки, спящих палубных пассажиров, стали у бугшприта и очень долго, в молчании,

принимали от неба, моря и гор благословение нерукотворною красотою...

...В Махачкале поднимались на отроги длинной, вытянутой вдоль моря горы Таркитау, а в просторной лощине, у подножия горного массива, видели уборку сена. На огромном стогу работал аварец, как им сказали, 112 лет от роду, принимавший снизу копны, что подавали ему на вилах 90-летний сын и 70-летний внук. У пристани они ужинали перед поездом в маленьком духане, где на двери изображен был подмигивающий горец с перекрещенными руками. Вытянутые указательные персты его рук давали направление входящим. Надпись уточняла: «Здэсь — буфэты. Там — кабинэты». При этом лицо горца лукаво улыбалось.

...Еще сутками позднее, на берегу Терека, в пригороде Владикавказа, им показали домик осетина-шофера, владельца четырехместного «Форда». Теперь, когда Екатерине Георгиевне больше не приходилось опасаться за Ронины похождения среди ледников и карнизов, она с удовольствием согласилась проехать без спешки по Военно-Грузинской дороге. Общие автобусы проделывали этот путь за 7—8 часов — это утомительно, бегло и неинтересно. Шофер-осетин согласился ехать трое суток, с ночлегом в гостинице «Европа» у подножия Казбека. Роня только вздохнул, ибо эта гостиница и была местом сбора его альпинистской группы.

Через знаменитое Дарьяльское ущелье прибыли они сюда за пять суток до назначенного срока...

* * *

В ресторанном зальце этой двухэтажной, тогда еще частной «Европы», Роня пересказал спутникам эпизод, пережитый именно в этом зале его матерью, Ольгой Юльевной. Году в 12-м или 14-м оказалась она здесь за одним столиком с писательницей Тэффи. Приезжий кавказец мучительно искал предлога, чтобы подойти и познакомиться с дамами. Наконец, он вкрадчиво обратился к писательнице:

— Скажите, вы не мамзель Баринская из Киева?

Со всем хладнокровием находчивая дама подтвердила:

— Да. Я... именно мамзель Баринская. Из Киева!

— Врешь! — воскликнул изумленный кавказец. — Она же совсем не такая! Блондинка она!

...Два дня бродили они втроем среди предгорий, подходили к Девдокарскому леднику, приносили в гостиницу эдельвейсы, побывали в древнем грузинском храме, едва видимом снизу, из

селения. Показали им вблизи Гвилетского моста в Дарьяльском ущелье аул Гвилети, а в нем — домик осетинского семейства Бусуртановых — лучших и, кажется, единственных проводников до вершины Казбека.

Однажды на крутом подъеме в гору Екатерина Георгиевна приотстала. Вдруг, откуда ни возьмись, накинулись на нее три-четыре овчарки — молчаливые, мохнатые, злобные. Роне и Ежику было сверху видно, что она попала в опасность, даже револьвер свой Роня выхватил из кармана, но сама женщина ни волнения, ни испуга не проявила. Псы, поурчав около нее, убрались как будто даже пристыженные.

— Что ты им такое сказала? — удивился Ежик.

— Я им сказала: «Эх вы, злые собаки, драчуны-забияки, на гостей напали, волков прозевали!» Им стало совестно и они убрались!

...Ночью ушли облака с Казбека, он открылся весь, будто вычеканенный из лунного серебра по холодной звездной эмали, нечеловечески огромный, недоступный и нездешний. Даже видимый ясно, он как бы отсутствовал, не принимал ни восторгов, ни поклонения. Он был попросту... не из здешнего мира. Мог общаться лишь с равным себе космическим титаном. То, что козявки по нему изредка ползают, оставляют свои пометки, забывают рюкзаки или теряют ледорубы, — ничего это не меняло! Козявки заберутся и в космос, но никогда не возвысятся до общения с ним на равных...

В ту минуту, когда Роня пытался все это шепотом высказать женщине, а мальчик, умаявшись, крепко спал, в номер к ним постучал хозяин отеля.

— Господа! Я извиняюсь! Ночью на вас может быть маленький нападений. Вы, пожалуйста, прошу вас, не пугайтесь! Пожалуйста не запирайте дверей! А то... будут сильно стучать!

Заснуть после такого предостережения было трудно. Обнявшись, они вслушивались в ночные баллады Терека. Под подушку положили рониного «Смита».

И действительно, на рассвете постучался к ним незнакомый, бедно одетый горец в старинной черкеске с газырями и в бешмете. Эта национальная одежда попадалась на Кавказе все реже, как и чадра.

На ломаном русском незнакомец начал длинное славословие, видимо, адресованное Екатерине Георгиевне. Голос был мягким, просящим и очень напоминал Заурбека. От него Роня усвоил лишь одну осетинскую фразу и сейчас тихонько подсказал ее женщине. Та смущенно произнесла:

— Аз ау уаржин! (Я люблю вас!)

Незнакомец, верно, очень удивился: услышать такое от дальней московской гостьи! Прямо в дверях он опустился на колени и в этой позе двинулся было в сторону дамы, благосклонной к нему! В коридоре появились в это мгновение другие люди с хозяином во главе. Они увели незнакомца вниз, упрекали его тихими, незлыми словами...

Утром, за прощальным завтраком, хозяин пришел просить прощения за своего ненормального брата, прозванного «Дон Кихотом» за платоническое пристрастие к проезжим дамам. За ним невозможно уследить — он пролезает то с чердака, то прямо с крыши или балкона, а если двери заперты — поднимает страшный шум и будит всю гостиницу. Но он безобиден, если приезжие терпеливы и не очень пугаются.

...В дорогу они тепло оделись, поделив на троих Ронины альпинистские доспехи, шерстяные, вязаные и суконные. На перевале простились с узеньким ручейком — Тереком, только-только начинающим свое стремление к Дарьялу и Каспию... Поиграли в снежки у придорожных почерневших сугробов. Пили освежающий нарзан прямо из источника в скале. Потрясенные раскинувшейся перед ними бездной, угадали, что серебряная ниточка в туманных недрах и есть Арагва. Екатерина Георгиевна сказала, что японцы недаром говорят о горах не «высокие», а «глубокие».

Увидели и Куру близ благородной Мцхеты, помянули Лермонтова и вздохнули о дивном некогда ландшафте, загубленном электростанцией и особенно статуей, изображающей Ленина покорителем стихий среди скал, у водяного каскада, электрических проводов, мачт, дальних монастырских стен, рядом с силуэтом собора Светицховели; лысый крепыш в пиджаке и при галстуке отнюдь не привносил сюда поэзию и идею величия. Тем более, что в иных ракурсах указующий вниз, на воду, жест воспринимался уж вовсе не поэтически: мол, отошел Владимир Ильич к речке по малой надобности...[68] Было просто поразительно, насколько маленький храм Джвари — лаконичный, скромный и древний — лучше воплощает идею величия и вечности, чем шадровский монумент!

Екатерина Георгиевна, относившаяся к Ленину, по примеру покойного мужа, с огромным уважением, любившая его как вождя революции и как человеческую личность, глубоко страдала при виде нынешних потуг такого рукотворного возвеличивания этого образа. Притом ведь памятник над Курой при слиянии ее с Арагвой — не из самых худших изображений Ленина. О потугах «массовых», откровенно халтурных, гипсовых и алюминиевых она и слышать не могла, отворачиваясь при виде их.

Уже изнемогающие от пережитого, окунулись они, наконец, на своем пыльном «Форде» в накаленный зноем, как электрическая печь, недвижный воздух Тифлиса. Пристанище нашли в древнейшей из гостиниц — «Гандже», в Старом Тифлисе, недалеко от крепости, по другую сторону Куры, против Мётехского замка. О существовании живописной и экзотической гостиницы «Ганджа» ныне уже не помнят самые страстные ревнители грузинской старины!

Гумилевское стихотворение «Эзбекие» читали под платанами Ботанического сада. Пили кахетинское в маленьком духане под трехрублевой вывеской работы старого Пиросмани, еще не подозревая, что этим раскрашенным железным листом через два десятилетия могла бы гордиться любая картинная галерея мира! А на прощание с лучшим из городов Кавказа Роня, несмотря на призывы спутницы соблюдать вынужденную суровую экономию, купил для своей дамы сердца где-то в конце проспекта Руставели в частном магазине под названием «Солей д'Ор» букет невянущих цветов. Владельцем магазина был, ставший впоследствии знаменитостью садовник Мамулошвили. Умер он в середине 70-х годов в столетнем возрасте. Главным подвигом его жизни было создание во Мцхете, на собственном участке, уникального цветочного сада, который пощадил от разгрома даже Сталин в трагические годы сплошной коллективизации сельского хозяйства. Сады Мамулашвили и Мичурина — единственные в России, не разделившие гибельной судьбы всех других частных садов нашей горестной Родины.

* * *

...В Батумском порту оставалось всего полчаса до отвала парохода «Севастополь». Он мог высадить их на рейде Адлера. Там, где-нибудь на берегу, в Хосте, им хотелось недели на три осесть...

Накануне, в батумской гостинице, довольно подозрительной даже с первого взгляда, среди разношерстных жильцов чувствовалась некая нервозность. У подъезда фланировали или таинственно шныряли какие-то темные личности — не то контрабандисты, не то сыщики. В грязном столовом зале, в прокуренном воздухе носились обрывки фраз: «Бывает ли обыск при посадке на пароходы?», «У него нашли прямо в номере...», «Наша покупка законна, чего они пристают?» и тому подобное. Кто-то вслух возмущался строгостью таможенных осмотров при отъезде из Батума.

— Ах, как хорошо иметь чистую совесть! — смеялась

Екатерина Георгиевна.

Роня же про себя вздыхал: «Совесть-то, конечно, чистая, да вот...» Наконец набрался решимости и поведал спутнице все, связанное со злополучным «Смит и Вессоном». Она была подавлена и плакала.

— Господи, чего только не случается с нашими глупыми сынами! Хорошо, что я все это теперь знаю. Но от револьвера надо избавиться. Ведь ты давал обязательство не выезжать без разрешения из Москвы? Значит, коли эту вещь у нас найдут, — последствия даже угадать трудно. Делать нечего — я сейчас пойду и утоплю его в дамской комнате.

Вернулась она в номер очень серьезная, побледневшая.

— Ронни, за нами уже следят. Вполне откровенно. Когда я вошла в эту мерзкую «дамскую», оказалось, что она отделена от соседней «мужской» низенькой стенкой, чуть повыше глаз. И оттуда через верх, выглянула рожа. Какой-то субъект, наверное, стоя на цыпочках, стал смотреть, что я делаю. Прогнать его не удалось. Он заявил: «Гражданка, не стесняйтесь, делайте, что вам надо, у нас тут такой порядок»... Понимаешь, тут хуже, чем в Японии. Пришлось просто-напросто уйти.

Изложение осложнилось тем, что самого Роню вывел из строя внезапный приступ аппендицита. Сутки он пролежал в номере с болями, в лихорадке, однако врача так и не добился. В конце концов они решили, что на корабле с этим будет, возможно, попроще, — там же судовые врачи какие-то раньше полагались?

А револьвер... надумали просто получше спрятать среди ручной клади, Екатерина Георгиевна сделала это с тонким психологическим расчетом. Она упаковала оба больших чемодана строго единообразно. В уголке каждого чемодана поставила по никелированному чайнику — случайно оба они были новы, одного типа, размера и выпуска — хозяева различать их не умели. На дно Рониного чайника положили чайные серебряные ложечки. Их прикрыли круглой мочалкой. Поверх мочалки уложили туалетные мелочи — носки, аптечку, словарик, сувениры. В другой чайник, прямо на дно, положили «Смит и Вессон» рядом с парочкой ложек из нержавейки и тоже накрыли все это круглой мочалкой. Поверх мочалки тоже тщательно и плотно набили чайник мелочами — носовыми платками, письменными принадлежностями, японскими баночками, косметикой... Чемоданы еле закрылись. Пришлось и на Ежика надеть рюкзак из Рониного снаряжения. Уложили туда свитера и дождевые плащи. Ронины боли под вечер отпустили, извозчик доставил троих пассажиров прямо к причалу за полчаса до отвала. В этом, кстати, тоже был свой расчет.

Он оправдался как будто бы: на пароход их пустили без осмотра вещей, однако все же под пристальными, недоверчивыми взглядами милиционеров и агентов ОГПУ в штатском, стоявших у трапа.

Почти сразу после отвала начался шторм. К полуночи вечер достигал десяти баллов, и «Севастополю» приказали взять курс наперерез волне, в открытое море, подальше от береговых скал и рифов.

Роня со спутницей стояли у основания утлегари, держались за леерную стойку и орали друг другу в ухо строфы из гумилевских «Капитанов». Впереди поднимались из мглы белогривые горы-волны. «Севастополь» кланялся им так низко, будто каждый раз готовился нырнуть в самую глубь водяной горы. Но она все-таки поднимала его на уровень гребня и только кипящая пена шумно обдавала стоящих с головы до ног, силясь совсем смыть их с боковой полупалубы... Наконец, ставший на вахту капитан послал матроса предостеречь отчаянную парочку, что ветер переходит в ураган, команду вызывают всю наверх, и пассажирам лучше удалиться.

В каютах, салонах и в нижних классных помещениях все лежали во власти морской болезни. Ни одного бодрящегося или оживленного пассажира они на судне не встретили. Страдала и часть экипажа — проводницы, буфетчицы, даже иные молодые матросы. Сильно мучился в этот раз и Ежик, не встававший с подвесной койки.

К утру снова шли вдоль побережья при неприятной бортовой болтанке на мертвой зыби. Даже для Рони это было испытанием, давал знать себя и притихший аппендицит. Вообще-то он с детства приучал себя к морю и с помощью качелей в Корнееве...

И вот, наконец, долгожданный адлерский рейд!

Волнение еще не улеглось, пассажиров брали две шлюпки с кормового трапа. Тяжело нагруженные, шлюпки не могли подойти близко к берегу. Матросы переносили кладь, детей, стариков, женщин на руках, по пояс в воде. Потом чуть подтянули шлюпки поближе и высадили мужчин.

У берега стояли красноармейцы-пограничники в зеленых фуражках и служащие таможни. Опытным взглядом они оценивали людей и багаж, но никого не останавливали и не осматривали. Только Роню и его спутников они сразу же отозвали в сторонку. Те пожали плечами, приняли недоумевающий вид и стали ждать окончания высадки и выгрузки.

— Эти чемоданы и рюкзак — ваши? Все ваше выгружено... Тогда пройдемте! — И пока длинная цепочка пассажиров с «Севастополя» змеилась по тропе к поселку, их троих — мужчину,

женщину и мальчика — повели берегом к одинокому домику Морагентства, еще даже не совсем достроенному. Был там необжитый зал с бетонным полом и скамьями вдоль стен. Среди пограничников и таможенников оказалась одна пожилая женщина в форменной морской куртке. Было заметно, что вся эта группа была собрана к прибытию парохода и четко действует по приказу.

— Приготовьте багаж к осмотру. Игнатьев, Голендо, Торбаев — приступайте! Товарищ Зеленина, проверяй гражданку...

Начался обыск, да такой, что по тщательности превосходил все, о чем Роня прежде читал и слыхал. Пытались развернуть каждое звено бамбукового альпенштока. У ледоруба развинтили все крепления, отняли рукоять. Мешали спичкой в зубном порошке. Ежичкин рюкзак исследовали особенно заботливо. Шилом протыкали подошвы, каблуки, ковыряли пуговицы. Тем временем старший отошел к окну с документами задержанных, исследуя с лупой подписи, печати, бумагу. То и дело кидались сразу по несколько человек, к обнаруженной «контрабанде».

— Ага! Японские!.. Вот, шелковые, уже ношеные... Опытная... Надевала! Белье на ней какое, товарищ Зеленина?

— Заграничное. Стираное, товарищ начальник.

В этом зале еще не было столов. Осмотренные мелочи бросали на скамьи — скоро и пол, и все скамьи оказались заняты разбросанными предметами дорожного обихода. Ничего серьезного пока не обнаружили. Ронино корреспондентское удостоверение и ученое звание Е. Г. Кестнер вызвали, однако, полнейшее недоверие.

— Кто это из вас якобы московский корреспондент? — с явным скепсисом в голосе спросил начальник. Обыск, тем временем, еще шел своим чередом.

— Разве вы не видите? — Вот он! — женщина показала на Ежика. — Что мы напишем про этих дядей? Я думаю, что они испортили нам отдых, а у себя отняли зря массу времени! Вот так и напишем!..

Далее выяснилось, что «гражданка» еще и внештатная переводчица Совторгфлота, а недавно работала с артистами театра Кабуки, была их гидом по Москве, переводила для зрителей тексты пьес по ходу спектаклей.

Но обыск, порядка ради, надо было все-таки довести до конца. Дошла очередь и до обоих чайников... Первый, безобидный, вынул из чемодана один из обыскивающих. Второй чайник, как бы помогая осмотру, достала и открыла сама Екатерина Георгиевна. Она смотрела, как заботливо агент перебирает в своем чайнике каждую мелочь. Под конец он вытряхнул мочалку, высыпал ложечки и обратил взор на второй

чайник в руках хозяйки.

— Вынимайте сами!

Остальные теперь смотрели на агента и женщину с чайником.

Вещицу за вещицей она доставала, выкладывала, добираясь до дна. Вот и мочалка... Под ней уже отблескивает никелем револьвер и пара ложечек.

— Ну, все. Тут мочалка и две ложки... Высыпать, или так убедитесь?

— Да, ладно.

Пограничник махнул рукой. Женщина стала бережно укладывать мелочи назад, в чайник. Платочки, баночки, носочки...

Начальник группы вздохнул:

— Что ж, граждане, вы свободны... — и, обращаясь к своим: — Значит, сигнал из Батуми был ошибочным. Повторяю: граждане, можете собирать вещи и ехать дальше!

— Слушайте, вы нас продержали здесь понапрасну столько времени, мы опоздали, можем не найти ночлега. Уж теперь мы никуда отсюда не пойдем до утра!

— Холодно же, граждане! Впрочем, я не возражаю. Игнатенко, утром запрешь Моргентство на замок, как эти уйдут! Вы, граждане, на нас не обижайтесь. О вас сигнал еще из Батума был. Но, как говорится, лучше десять раз пересмотр, чем один — недосмотр! Будьте здоровы, и счастливого вам дальнейшего пути в Хосту!

* * *

Ну, а там... Был глинобитный домик почти на берегу, невдалеке от устья реки Хосты. Выше по этой речке был самшитовый лес, произошла там встреча с медведицей и медвежонком. Протекли три недели тихого счастья, не омраченные даже наступившей полосою безденежья. Екатерина Георгиевна ждала из Москвы перевод из своей сберегательное кассы, но не очень на него уповала, потому что, телеграфируя, не смогла вспомнить ни адреса кассы, ни номера собственного счета.

Кормила же все семейство добрая хозяйка пансиона «Оливье», войдя, как говорится, в их положение. Когда Катины деньги пришли, спасенные хозяйкой от голодания москвичи явились с букетами роз и коробкой шоколада благодарить «мадам Оливье» за долгий кредит! Позднее, с государственными столовками, бюрократами-завами и полным равнодушием к людским судьбам — на чужбине такая трехнедельная выручка была бы абсолютно немыслимой!

…По дороге в Москву повторился Ронин приступ аппендицита, уже потяжелее первого. Она привезла своего больного с Курского прямо домой, в Малый Трехсвятительский[69] и, как выяснилось, Роня попал в ту самую комнату, где некогда жил его дед и где Ольга Юльевна произвела Роню на свет… Осмотревший Роню врач потребовал немедленной операции. Ее сделали в Яузской больнице и заодно выявили всяческие осложнения в Рониных внутренностях. Их устранили под общим наркозом. Роня видел в снах хостинские дни и слышал музыку XVIII века… Пробудившись, придя в себя, он из газет узнал удивительную новость: его альпинистская экспедиция, после удачного подъема на Казбек, пыталась штурмовать Ушбу, но попала там в беду и потеряла несколько человек погибшими. Траурный митинг по ним состоялся в Большом зале московского Политехнического музея.

Вальдеки-старшие с Викой, уже окруженной поклонниками, еще не возвращались из отпуска, и Екатерина Георгиевна опять поселила Роню у себя. Тем временем успела приехать Анна Ивановна, Катина мать, с юга, и Роня остался на полном попечении Екатерины Георгиевны. Он уже чувствовал себя мужем и главой семьи, это скоро признала и Анна Ивановна, не очень жаловавшая покойного профессора. Ежик стал называть своего отчима «папой Ронни». Старшая прислуга семьи Беркутовых, баба Поля, помнившая еще покойного сенатора, тоже благословила Катю на это замужество. Они решили пойти в ЗАГС после полного Рониного выздоровления.

Но однажды, поздним вечером, раздался звонок и чужие шаги. Это прямо с вокзала появился Евгений Николаевич Волжин, приехавший из Японии. Письмо Катино он истолковал именно так, как она опасалась!

Глава девятая. ЦВЕТ СТОЛИЦЫ

1

С улицы явственно донесся перезвон кремлевских часов.

— У вас, оказывается, Спасскую прямо из окна слышно! — констатировал Волжин. — Два пробило. Пора мне куда-нибудь в гостиницу. А завтра утром в Питер.

Сутулясь, он сидел в любимом кресле покойного профессора Кестнера, держал на коленях старого кота Панкрата и ерошил ему шерстку. Зелень кошачьих глаз усиливалась отблеском в них настольной лампы под зеленым колпаком. Сбоку от стола висела

в рамке фотография Ленина, читающего «Правду», Валентин Кестнер говорил друзьям: «Когда чувствую, что меня куда-нибудь заносит, — это помогает сориентироваться».

За ширмой лежал выздоравливающий после операции. Он мало участвовал в разговоре, больше слушал, терзаемый укорами совести и ревности. Неужели он стал помехой человеку на таком его высоком творческом пути? Нарушил содружество этого ученого с возможной, желанной ему соратницей, помощницей и спутницей?.. Угадав ход его мыслей, она склонилась над ним — ободрить! Он горячо зашептал ей на ухо:

— Кити! Будь я здоров, рванул бы куда-нибудь... хоть к Пушкину, хоть в Самарканд, хоть на Сихотэ-Алинь... Оставить бы вас с ним вдвоем на годик-полтора! Вот тогда бы все и решилось!

— Я непоправимо люблю тебя, Ронни! И все будет хорошо у нас!

Обернулась к гостю, будто вовсе пропустила мимо ушей его попытку уйти. Тоном, не допускающим возражений, сказала:

— Я постелю вам здесь, на диване. Утром сама провожу на вокзал. Однако: сенсей[70], где же ваши вещи? Не с одним же этим чемоданчиком вы явились из Токио?

— Вот именно, с одним! Остальное поручил отправить следом.

— Боже мой! Ужас какой! Ну, — утро вечера мудренее. Покойной ночи!

Утром они ушли из дому раньше, чем выздоравливающий проснулся. Волжин предложил позавтракать в «какой-нибудь кофейне». Спутница остановила проезжавший автомобиль с желтой полосой вдоль кузова, велела ехать в Столешников.

— Мне трудно представить себе, что с самой революции вы не видели Россию!

— А мне еще труднее представить себе, что увидел вас уже не одну! Неужели это так серьезно?

— Вполне серьезно!

Они сели за столик в кафе «Сбитые сливки». Долго ждали официантку — целая кучка этих полнотелых накрашенных девиц разного возраста окружила пустой столик и, полулежа на нем, сблизив лица, горячо обсуждала какую-то свою животрепещущую проблему. Длилось это не менее четверти часа. Наконец, с видом оскорбленной невинности, официантка записала в книжечку их заказ.

— Екатерина Георгиевна, я чувствую, что вы приготовились к решительному разговору. Вчера я просто застал вас врасплох. Да и сам был слишком ошеломлен открывшейся мне ситуацией. Скажите, когда вы писали мне, вскоре после похорон, вы

допускали мысль, что такая ситуация сможет наступить столь быстро? Словом, простите, прямой вопрос: зачем же вы меня обнадеживали? Еще раз простите и, Бога ради, не глядите на меня, как на обвинителя! Откинем совершенно вопрос «кто виноват», спросим себя: «Что делать?» Но для этого мне надо все же кое-что понять! Для вас не новость, что лучшие мои надежды связаны с вами. Мне кажется, что и на свет-то Божий я родился с чувством любви к вам! И что оно — высшее во мне чувство.

— А я всегда считала вас лучшим своим другом и большой опорой в любой беде. Но это как бы иная плоскость отношений. Такая же, как была между вами и Валентином... Я не думала, что вы все это понимаете по-другому. И что для вас это так решительно важно. Если я действительно виновна в вашем... срыве из Японии, то отвечу за это, как говорят, перед Богом, людьми и собственной совестью! Всего важнее сберечь вас как ученого. Дать вам возможность завершить все начатое. Даже я, все же специалист-японовед, не в состоянии оценить значение ваших работ и открытий. Это — мирового значения труды! Но как помочь этому? По моим ли это силам? Вот о чем надо говорить и думать! Поистине, «что делать». Мне не очень это ясно!

— Можно я сейчас буду звать вас Катей? Попроще так...

— Извольте, зовите как угодно, хотя я и не очень люблю это уменьшительное!

— Катя, не работы ради я сюда примчался. Меня, как понимаете, сорвало с места ваше письмо... Расстался с Монтани-сан, оставил дочь, погрузил книги и рукописи в товарный вагон, бросил квитанцию и коносамент первому попавшемуся студенту (их грядущую судьбу един Бог ведает!), потребовал немедленно въездную визу. Получив, в тот же час сел в поезд. Лишь бы не опоздать, лишь бы застать вас... одну! Ну, и все-таки опоздал!

— Боже, Боже мой! Я понимаю, что там, в Японии, понятие о семье иное, что «японская жена» есть там у каждого европейца. Была такая, говорят, даже у митрополита Сергия, нынешнего патриарха. Перед японской женщиной, этой самой, «те-те-сан», или как у нас уродуют, «чио-чио-сан», обязательства мужа-европейца по традиции носит чисто материальный характер, не нравственный. Вы обеспечили ее материально?

— О да, вполне. Она хочет на эти деньги открыть игорный дом в ма-джонг. Вот это, действительно, как вы сказали, иная плоскость отношений. Не будем отвлекаться! Еще раз: как это случилось… столь скоро? Чем вас победил этот юноша? Знаете, это просто какое-то колдовство!

— А знаете, что Винцент нас благословил?

— Когда? Где? Как? Ушам своим не верю!

— После нашего приезда в Москву, еще в августе. Они вернулись с Волги и задержались в Москве. В общежитии ЦЕКУБУ[71], на Москва-реке. И я привела его к ним. И он, и Надежда Иосифовна[72] приняли его, как говорится, сразу. Именно как своего, нашего! Проговорили они часа два, я почти не вмешивалась. Когда мы уходили, мудрый Винцент шепнул мне: «Катерина Георгиевна, не бойтесь его молодости. Он сдюжит!» Заметьте, что ему самому я даже об этом не сказала. Мне совсем не хочется никакой «принуды». Впрочем, едва ли Винцент думал при этом о вашем близком приезде.

— Ага! То-то же!.. Только не буду тут хитрить. О приезде он знал. Хотя и без подробностей. Я написал ему в Ленинград, еще ожидая визы. И давайте, Катя, не ссылаться на друзей, авторитеты и советы. Наша дружба давнишняя, и я давно вас люблю. Все это — вещи самодовлеющие. Только из них и будем исходить. Работы наши, — судьбы наши — только наше дело! Мое и ваше, Катя! Вы так мне и не ответили: что вы в нем нашли?

— Это объяснить не так-то просто! Поразила меня в нем духовная одинаковость, что ли, вернее, соразмерность его души с моей. Да, пожалуй, и Валентиновой. Чем-то они друг другу близки — и мне кажется, что Валентинов дух не возмутился появлению его в доме...

Наконец им принесли кофе с коньяком, булочки и закуски. Она с аппетитом принялась за еду. Он едва к ней притрагивался — сервировка, сами блюда, грубость официантки — все это было, ему слишком непривычно. Но его радовало, что она спокойно ест и внимательно слушает. Он снова заговорил:

— Вчера, перед сном, я видел в зеркало то, что давно, с тревогой, пытался вообразить: насколько схожи мое и ваше лица. И оказывается, несмотря на эстетическую неравноценность, они гармонируют друг с другом... А потом вы наклонились к этому юноше и что-то доброе прошептали на ночь, и поцеловали ласково. Луч лампы лежал на его лице и немного скользил по вашему. Нет, Катя, это не лица супругов. Это — какая-то романтическая ситуация из Флобера или Стендаля! Мальчик — учитель детей в доме и — хозяйка дома, не погасившая вовремя своей женской страсти и нежности к этому новому герою. Все это сулит ей только страдания впереди... Станет трагедией или комедией, смотря по жанру! Не губите себя, Катя! Просто умоляю вас! Независимо от собственных видов. Слушайте! Хотите — я вовсе отрекусь от вас? Добровольно, навсегда уйду в сторону, только не делайте непоправимых шагов! Это я — ради вас прошу, уж не ради себя!

— То же самое предложил мне вчера и он. Только… чтобы вы

именно не уходили. Сказал, что готов уехать и оставить нас с вами вдвоем года на полтора. Вот тогда, мол, и решится все!

— Насколько я оцениваю ситуацию, этому более всего обрадовались бы его родители! Ведь они-то категорически против? Так? Я их понимаю. Роль их сына при вас — едва ли возвысит его в глазах добрых знакомых. Во всяком случае, на первых порах. И особенно — среди людей, мыслящих по-обывательски. С мещанской точки зрения, ситуация — по меньшей мере сомнительная. Было такое словечко в старину в мещанском обиходе: интересан. Или интересант. Дескать, вошел в ее дом, будучи интересантом! То есть — корыстно заинтересованным.

— Наверное, мещан и обывателей вмешивать в наши судьбы стоит еще меньше, чем Винцента, Евгений Николаевич! Ведь и я — не девочка. Формально — это мой третий брак. Кое-что из двух предыдущих я вынесла. Наша жизнь с Валентином не была усыпана розами. Как раз там, в Японии, она материально была самой трудной, а сердечно — самой счастливой. Тут, в Москве, пошли у нас большие осложнения. И по моей вине, и по его. Он меня дразнил, притворялся, будто у него есть женщины и вне семьи. Я поверила, решилась отомстить. Тот, кого я выбрала, понял, что не мил мне и попробовал меня отравить из ревности. Дал мне яду в бокале и муж еле смог спасти меня Понял, в чем дело, был неутешен, сказал, что только притворялся, но отныне чувствует себя свободным... Мы даже разъехались по разным городам, а потом он просил меня вернуться, и началась хорошая полоса, но поздно уже было: он таял на глазах и был обречен, сам того не зная. А мне профессор Плетнев даже срок приоткрыл: месяц... Так оно и было!

— Скажите мне, Катя, где он похоронен? Вы не писали и не говорили мне об этом. Может, поспеем еще до поезда к нему на могилу? Я бы хотел!

— Могилы еще нет. Он... дома. В урне. В потайной нише. Институт хотел похоронить в саду, власти отказали. Так урна у меня и осталась. Сам он могилы не хотел. Я думала развеять по Волге — мне отсоветовали.

— Катя, а как относится ко всему этому ваш сын, мальчик Ежик — будущий Игорь Валентинович? Где он сейчас?

— Спал в столовой, за шкафами и занавеской, вместе с бабушкой. Вы вчера пришли слишком поздно, они уже легли. А нынче утром — еще не вставали.

— Вы писали, что у вас — три комнаты. Что же теперь в третьей? Почему бабушка и внук так стеснены?

— Третью у нас отобрал Институт Востоковедения, как

только прошло кремирование. На другой же день завхоз опечатал ее и вручил ордер другому лицу, преподавателю истории партии. Правда, мы свои меры приняли, комната им не досталась, нашлись претенденты повыше и посильнее, но мы-то все равно ее потеряли. Пришлось отгородить угол в столовой для бабушки и внука, как вы выразились.

— Да, для приезжего все эти вещи мало понятны. Как же воспринял мальчик вашу... новую дружбу?

— Ежичка очень ревнив. Весь в маму. Он ведь близко ко мне не подпускал коллег, старших студентов. А Рональда стал звать «папа Ронни». Без него скучает и нудится. Полюбил его как-то сразу. Пожалуй, даже раньше, чем...

— Договаривайте! Раньше, чем полюбили его вы? Так?

— Так. Именно так.

— Ну, а коли так, — значит, возможно, я во всем кругом ошибаюсь. Не посетуйте, у любви, мне кажется, есть какие-то особые права, даже у неразделенной... Пора эту беседу заканчивать. Если налицо не бзик, не увлечение, не мелкая страстишка, а большое чувство и уже начинает складываться семья, — значит, совет вам да любовь! Поезжайте-ка домой! А мне уж пора и на поезд. Поеду к Винценту. Кланяйтесь там дома всем!

* * *

Вскоре после отъезда Волжина мастер отбельно-красильно-аппретурного цеха Рональд Вальдек, воротившись на свое фабричное производство, по неосторожности так надышался хлорным газом, что очнулся в приемном покое Сокольнической больницы имени Русакова. Оттуда напуганная Катя привезла его домой, услыхав от врачей, что отравление довольно серьезное и может остаться не без последствий. Пришлось снова на целых две надели возвратиться к полупостельному режиму по больничному листу. Екатерина Георгиевна настаивала, чтобы Роня с фабрики уволился:

— Есть у тебя литературное образование, педагогический опыт, пусть и небольшой, навыки журналистские. Можешь идти в редакторы, литсотрудники, стать хоть переводчиком, хоть учителем, наконец, экскурсоводом где-нибудь в Совторгфлоте или Интуристе, ведь тебя там знают и уважают! А сейчас у тебя положение меж двух стульев: красильщики считают тебя поэтом, а поэты — красильщиком!

— Кити! Но полтораста в месяц, идущие столь регулярно... тоже ведь на улице не валяются. И конторка там у меня есть,

один бываю полсмены, почитать могу, да и написать...

— И опять в хлор угодить по несобранности! Нет уж, пора тебе, по совету твоего дяди-моряка, «выбирать свой курс»!

— Есть у меня еще одно сомнение, Кити! Ведь сейчас «я ломаю слоистые скалы в час отлива на илистом дне...»[73] Ты же заманиваешь меня в свой волшебный соловьиный сад. Видишь, хижину свою я уже бросил, теперь еще оставляю лом и осла... То есть фабрику, и обязанности в ее коллективе. Погружусь в соловьиную нирвану — да и очнусь потом на песке, чтобы глянуть, как чужой рабочий погоняет чужого осла...

— Ох, Ронни, да ведь все как раз наоборот! В соловьином саду ты сейчас, а тернии его тебя цепко держат за платье! Я терпела для начала, думала, та догадаешься сам и примешься за настоящее дело. Вот что: завтра я поеду в «Вечерку» и дам от твоего имени объявление, мол, читаю курс немецкого языка для небольших групп в учреждениях. Давай-ка составим текст. Это — для начала, пока ты ослаблен операцией и дурацким этим хлором...

...После публикации объявления, уже через четверо суток, у него были три интересные группы: на московском спирто-водочном заводе — для химиков-лаборантов, на курсах Внешторга — для работников крупной экспортной конторы и на других курсах, готовящих молодежь к поступлению в вузы. Да еще в издательстве «Мысль» получил он перевод романа на русский, а для одной известной театральной студии взялся инсценировать смешную, остроумную английскую повесть. Постановка эта осуществилась, дала Рональду неожиданный крупный гонорар, а затем была вскоре снята с репертуара после уничтожающей газетной критики и самой повести, и спектакля — за пустое развлекательство, безыдейность и приукрашение буржуазной жизни.

За всеми этими трудами как-то незаметно подошел следующий Катин отпуск. И они, снова втроем, решили повторить свое прошлогоднее путешествие — Волга, Кавказ. Те же пейзажи, те же картины прошли перед ними, только теперь уже не проспали они Жигули, плыли по Каспию не среди цыган, а в первоклассной каюте на «Александре Коллонтай», жили в Тифлисе не в «Гандже», а в семнадцатирублевом номере гостиницы «Ориант» на проспекте Руставели, вблизи от храма Георгия Кашвети. Из Сухума в Сочи доставила их комфортабельная «Грузия», и лишь в Хосте они поселились в прежней хижине и кормились снова у «мадам Оливье». Но эта хорошая и отзывчивая женщина больше вздыхала и тревожилась, полная недобрых предчувствий за судьбу своего пансиона, ибо

уже началось гонение на «частника», разгоралась жуткая газетная травля «кулака» (на самом деле речь шла о намеченном уничтожении середняка, объявленного «кулаком», ибо кулаков настоящих уничтожила первая волна репрессий, еще ленинская, в годы гражданской войны). Вернулась семья в Москву со смутным чувством катаклизмов, надвигающихся на страну не извне, а изнутри.

Между тем, в Катином Международном Конъюнктурном институте[74] сотрудники ее отдела так привыкли к появлениям Рональда Вальдека, что стали звать его в глаза и за глаза вторым мужем Екатерины Георгиевны. В своей второй поездке по Волге и Кавказу они, конечно, всюду записаны были супругами, а кое-где отсутствие регистрационной отметки в документе создавало им некоторые трудности — неохотно пускали в один гостиничный номер, пытались разъединить даже на пароходе «Грузия» и еще где-то на пляже. Пошли житейские неудобства и дома: то в Ежичкиной школе, то в амбулатории, то в домовом комитете. Появлялся даже участковый милиционер в квартире. Потребовал документы «гражданина», просмотрел их, ничего не сказал, откозырял и ушел.

Видимо, в милицию поступил «сигнал» от некоего бдительного уха и глаза...

Однажды после очередных Рониных занятий с одной из групп, они шли с Катей пешком по малознакомой и не очень интересной улице, и вдруг обе приметили вывеску «ЗАГС». Заглянули, чтобы эдак теоретически осведомиться насчет формальностей, требуемых для регистрации. Было это после обеда 25 октября 1929 года,.. Вышли они из этого учреждения законными советскими супругами! Настолько все оказалось несложно и даже мило!

После скромного домашнего пира, где главным угощением девятерых гостей служило блюдо соленых груздей, молодая чета, по старинной традиции, уехала в «свадебное путешествие» к Заурбеку в его Сереброво на трое суток! Было там еще тихо, прекрасно и сохранился порядок и стиль, присущий Ольге Юльевне Вальдек: она прожила здесь не один летний сезон. Ночью молодые бродили в парке над Длинным прудом и над Черным прудом, и около пруда Купального... Были облетевшие вековые липы и двухсотлетние сосны, луна в просветах аллей, вечера у камина и рассказы Заурбека. Кате казалось, что она волшебством перенесена в собственное детство, в имение деда Ивана или в кестнеровскую Гривну... Она жарила добытую охотниками дичь — тетеревов, рябчиков и уток, находила последние грибы, уже тронутые заморозками, рвала бруснику и с

наслаждением пила родниковую воду — Роня носил ее через весь парк...

Воротившись в Москву, они узнали, что Рональд Алексеевич Вальдек приглашен посетить Генерального Секретаря НЕСИД товарища Флоринского.

2

Барственного вида господин расспрашивал Рональда о родителях, домашнем воспитании, знании языков, переводил беседу на современные литературные темы, задавал вопросы об искусстве, архитектуре, русской старине. С оттенком мечтательной меланхолии перебирал вслух, на память, парижские достопримечательности, названия улиц, бульваров, кафе и театров. Спросил, на какой площади стоит Триумфальная арка и какова была судьба дворца Тюильри. По-видимому, ответы удовлетворили важного собеседника, ибо он вызвал секретаря и велел приготовить анкетный бланк на четырех страницах.

— Вы, Рональд Алексеевич, конечно догадываетесь, что мы хотим предложить вам работу по нашей линии. Рекомендовал вас один из ваших слушателей на курсах Наркомвнешторга. Полагаю, что предложение вам подойдет, и убежден, что ваши знания, склонности и способности найдут лучшее применение, чем на красильной фабрике... Впрочем, значение некоторого производственного стажа в здоровой пролетарской среде я отнюдь не преуменьшаю! Тем не менее, пора браться за свое настоящее дело! Заполненную анкету благоволите оставить секретарю... Скажите, еще, кто заведовал у вас в Брюсовском институте кафедрой художественного перевода?

— Не кафедрой, а всем отделением художественного перевода руководил профессор Григорий Алексеевич Рачинский. Он читал еще и историю западной литературы на первом и на втором курсах института.

— А, Рачинский! Как же, это имя европейское. Философ, редактор Владимира Соловьева и полного Ницше на русском... И кажется — председатель Русского религиозно-философского общества?.. Считаю, Рональд Алексеевич, вашей большой жизненной удачей, что вы успели пройти институтский курс у таких светил науки, каких вы мне назвали — Соболевский, Грушка...

— Иван Никанорович Розанов, академик Орлов, Константин Сергеевич Локс, Виктор Михайлович Лобанов, профессор Эйхенгольц, профессор Волькенштейн, профессор Голосовкер, Густав Густавович Шпет... Неведомский...

Товарищ Флоринский прервал Рональда, увлекшегося перечислением поистине блистательной плеяды своих учителей, позвонив снова и заказав завтрак на две персоны. Рональд сообразил, что это не простая любезность, но нечто вроде дополнительной проверки: мол, умеет ли кандидат на некие дипломатические функции хотя бы прилично сидеть за столом? Скоро появилась горничная в наколке с полным подносом в руках. Она очень ловко накрыла маленький столик и расставила кофейные чашки, молочник, парящий кофейник, булочки, рижский хлеб, яйца всмятку, ветчину, сыр и копченую севрюгу. Оставила на подносе бутылку нарзана и целый набор хитроумных инструментов — колющих, режущих и загребающих.

Хозяин кабинета выплыл из-за своего письменного стола и пригласил Роню разделить трапезу. Тон не допускал возражений. Пришлось повиноваться.

По-видимому, от Рональда требовалось — не ошибиться в назначении всей этой малой механизации пищеглотательного процесса! Он угадал, что широкий нож, лопаточкой, — рыбный; им, видимо, можно положить себе севрюги. Гнутый ножик с зубчиками — сырный. Рюмки и костяные ложечки — для яиц, а стаканчики — для минеральной воды. Узкая пилка — для нарезания хлеба, двухзубая вилочка — для лимона. Не совсем ясно назначение тяжелых, остро наточенных ножей.. Масло намазывать, что ли? Зачем же такая острая наточка?

Пока Роня управлялся с завтраком, товарищ Флоринский, успокоенный насчет манер испытуемого, раскрыл, наконец, карты. В неком, как он выразился, «нашем дочернем учреждении» требуется референт по Центральной и Северной Европе. Работа интересная, позволит непосредственно общаться с зарубежными деятелями культуры, изредка бывать за границей и притом располагать еще свободным временем для педагогической и литературной деятельности.

— Итак, ваше решение, Рональд Алексеевич?

— Склонен согласиться, но просил бы все же два-три дня на более спокойное размышление. Все-таки я и посоветоваться должен...

— С родителями? Или с друзьями? Или с невестой! В ваши 21 год вы ведь, конечно, еще не женаты?

— Напротив, женат. Весьма счастливо. И воспитываю сына, девяти лет отроду.

— Ах, вот как! — Хозяин кабинета, кажется, был разочарован. — Это существенно для наших видов для вас! Стало быть, вошли в другую семью, потерявшую своего прежнего главу? Кто же эта дама? Она разведена? Или овдовела? — В тоне генерального

секретаря звучало уж некоторое раздражение.

— Я женат на вдове профессора Валентина Кестнера.

— Что-о-о? Вы муж Екатерины Георгиевны Кестнер?

— Да. Именно муж!

— Чего же вы мне битый час тут голову морочили? Почему сразу не сказали? Я ему тут турусы на колесах развожу, а он помалкивает о самом главном! Нехорошо, молодой человек! Несерьезно! Припомним вам когда-нибудь этот розыгрыш!.. Ну, что же, почаще советуйтесь с вашей женой, человеком большой культуры, такта и опыта. Вот и работайте вместе! Вы — молоды, присматривайтесь к ее манерам, они — безупречны. Чтобы воспитать даму в этих правилах в этом непринужденном и естественном стиле поведения, нужно, как говорится, всего каких-нибудь полтысячи лет!

— Это и было моим самым первым ощущением от ее облика.

— Верно поняли! Учитесь, перенимайте! Кстати, яйца всмятку не разбивают ложечкой, а срезают тупую часть вот этим острым ножом. Чик! И яйцо вскрыто, можете вкушать содержимое ложечкой... Так вот — чем скорее поступите туда, тем лучше. Ибо там, в Учреждении, ушел ценный работник, получился завал в бумагах и некому взяться. Непосредственным вашим начальником будет Август Иоганнович Германн — через два «н». Личность интересная, глубоко принципиальная и достойная всяческого уважения. Кланяйтесь жене, будьте здоровы и счастливы!

* * *

Август Иоганнович Германн (через два н!)[75] навсегда остался в памяти Рональда Вальдека единственным образцом так называемого кристального коммуниста. Он был неприхотлив как спартанец, скромен как монастырский послушник, беден как дервиш и абсолютно неспособен извлекать из своих немалых служебных прерогатив хотя бы ничтожную личную выгоду. Родился он в Восточной Пруссии (в городе Гольдапе, на пути к Кенигсбергу), с детства знал нужду, учился на медные пфенниги за домашние уроки, рано вступил в «Союз непьющих студентов», участвовал в создании «Союза Спартака», из коего впоследствии образовалась КПГ[76], дружил с Кларой Цеткин, знал Розу и Либкнехта, Эрнста Тельмана и Фрица Геккерта (причем, последнего не любил). Был членом правительства Баварской Советской Республики в апреле-мае девятнадцатого года, заочно приговаривался в Германии, при Штреземанне, к смерти через расстрел, до двадцать второго года вел партийную работу в

глубоком германском подполье, после чего тайно был транспортирован в СССР, работал в Исполкоме Коминтерна, перешел из КПГ в ВКП(б), а с 1929 — возглавил Отдел внешних сношений того «дочернего учреждения» НКИД[77], куда Флоринский направил Рональда Вальдека. Вот таким-то образом Роня и очутился под руководством немецкого кристального коммуниста товарища Августа Иоганновича Германна...

Произошло это как раз в ту пору, когда в «нашем дочернем учреждении» начали поговаривать о предстоящей партийной чистке. Провели ее чуть позже, но даже готовясь к ней, партийные сотрудники становились неузнаваемыми для сотрудников беспартийных: утрачивали свою тугую слоновость, обретали терпимость к чужим суждениям, переставали грубить и понукать, снисходили до шутливо-благожелательного тона с беспартийной сволочью и буквально горели на работе, засиживаясь у своих бюро чуть ли не до полуночи. В течение же нормального служебного времени больше шушукались между собой с таким загадочным и значительным выражением лиц, что беспартийные не могли не ощущать всеми фибрами своих низших организмов всю глубину собственного ничтожества и непосвященности в суть вещей.

Товарищ Германн тоже шушукался и тоже засиживался, чтобы не выделяться среди прочих начальников и членов партбюро, но надо было двигать и запущенные служебные дела, ибо уже начали приходить письма с жалобами на инертность и равнодушие сотрудников Учреждения, оставляющих, мол, безо всякого внимания запросы иностранных друзей СССР. Поэтому занятый делами сугубо партийными, товарищ Германн предоставил Рональду Вальдеку довольно широкое поле для самостоятельной деятельности. Новый референт принял дела от своей предшественницы, пожилой умной дамы еврейской национальности. Она откровенно обрисовала новому товарищу внутриведомственную обстановку, подводные течения, рифы и мели на пути учрежденческого корабля, потрясаемого интригами внутренними и внешними, борьбой за влияние, неясностью общих установок, целей и задач Учреждения. Оказывается, руководители Исполкома Коминтерна смотрят на это по-разному. Первые хотят, чтобы Учреждение активно и беззаветно помогало раздувать пожар мировой пролетарской революции, вторые же видят в учрежденческом аппарате лишь умелых вербовщиков душ иностранной интеллигенции: заполучив их на сторону социализма, Учреждение должно помогать практическому использованию этой интеллигенции для нужд советского социалистического строительства в любых отраслях и областях.

Во главе Учреждения еще числилась старая большевичка — родная сестра виднейшего, уже глубоко опального революционера, да к тому же еще и жена другого революционера, пока еще не снятого со своих государственных постов, однако давно стоящего в открытой оппозиции к генеральной линии ЦК партии[78]. На всех последних съездах ВКП(б) муж руководительницы Учреждения подвергался самой резкой критике и не раз выступал с покаянными речами. Родной же брат руководительницы, исключенный из партийных рядов, покинул страну и пытался там, за рубежом, создать собственную партию. Одно лишь упоминание вслух его имени, некогда самого популярного в красноармейской массе и среди советской левонастроенной интеллигенции, теперь грозило гонениями и наказаниями. Поэтому, хотя руководительница не раз отмежевывалась публично от антипартийного брата, громогласно осуждала его взгляды и вовсе не поддерживала оппозиционных выступлений мужа, роль ее в Учреждении была окончена, отставка и замена уже предрешены и оставалось только гадать, с какими новыми установками придет после чистки будущий председатель учрежденческого правления.

Тем временем референт по Центральной и Северной Европе Рональд Вальдек трудился засучив рукава. Уже подтаяли в его шкафах завалы неотвеченной иностранной корреспонденции. Иные запросы и заказы из-за границы удавалось срочно удовлетворить: кому посылались нужные книги, кому — наборы плакатов, кому — комплекты журналов и серии фотографий. На имя Вальдека все чаще стали приходить благодарственные письма и трогательные изъявления признательности. Между тем подошла и партийная чистка.

В те времена партийные организации нескольких близких «по профилю» учреждений и ведомств были как правило объединенными: Ронино учреждение проходило чистку вместе с Наркоминделом и Секретариатом Председателя ЦИК и ВЦИК,[79] Калинина. Именно в помещении Приемной «всесоюзного старосты» и происходили в послерабочие часы открытые партсобрания всех трех объединенных коллективов, где и «чистили» партийцев.

И тут-то, в третий раз, чуть не сыграл в судьбе Рональда роковую роль злополучный «Смит и Вессон».

Перед тем как идти на собрание, посвященное как раз проверке самой руководительницы Учреждения, Роня решил передать на улице, перед входом в Секретариат Калинина, свой револьвер Герке Мозжухину, чтобы тот снова припрятал оружие в старом тайнике. Екатерина Георгиевна давно настаивала, чтобы

опасная вещь исчезла из дома. Свидание же с Геркой Роня непредусмотрительно назначил по телефону у входа в Приемную. Герка легкомысленно опаздывал, а Роня с опасным предметом в кармане околачивался у входа, злясь на Герку. Сам Калинин должен был появиться с минуты на минуту — он был председателем комиссии по чистке.

...Вместо Геркиного лица перед Роней внезапно возникло бледное и злое лицо Екатерины Георгиевны. Она из телефонного намека Рони вдруг поняла, куда и с чем направляется ее муж для встречи с Геркой.

Она схватила Роню за руку и потащила по Моховой, от угла Воздвиженки к Румянцевскому музею. Тут-то навстречу им и попался Герка Мозжухин. Она заслонила собой молодых людей в каком-то темном уголке, велела Герке убираться со свертком подальше — понезаметнее и, главное, побыстрее — а мужа поволокла назад, к Приемной, где и покинула его, тихо приговаривая:

— Два патентованных идиота! Господи, помилуй этих несмышленышей!

И пока он глядел ей вслед и докуривал папироску, у приемной затормозил автомобиль Калинина. Несколько штатских мальчиков оттеснили Роню и один из них вполне откровенно ощупал Ронины бока и карманы. Случись это тремя минутами раньше — и можно было бы, вероятно, полагать законченной и Ронину карьеру, и вообще его жизнь, по крайней мере, для мира внешнего. А в мире лагерей и тюрьм, возможно, еще некоторое время доставлял бы хлопоты надзирателям, конвойным и нарядчикам осужденный по статье 58-8 террорист Вальдек, схваченный прямо за руку при попытке...

С того дня злополучный «Смит и Вессон» в Рониной судьбе более не возникал, но сослужил еще последнюю службу самому Герке Мозжухину, уже после Второй мировой войны. Ее ужасы убили Герку, убили нравственно. Он не справился с грузом пережитого на фронте и, воротясь в осиротевший дом, откуда уходил на войну с напутствиями отчима и матери, уже не застал никого в живых. Никодим Платонович покоился на Новодевичьем, а бывшую солистку Большого театра провожали до могилы все балерины ее поколения... И через несколько дней, ранним утром, в отдаленном уголке Сокольнического парка, нашли тело демобилизованного инженера связи Германа Мозжухина, покончившего с собой выстрелом из револьвера системы «Смит и Вессон».

Вместо записки он положил рядом, на сухом пне, переломанный надвое крестик — благословение матери, и

аккуратно разорванный пополам партийный билет. Письменным комментарием своего поступка он пренебрег... Мотивы явствовали из вещественных свидетельств: дескать, не помогло ни то, ни другое!

3

Рональд Алексеевич Вальдек подружился со своим суровым шефом: руководителем отдела внешних сношений Учреждения, кристальным коммунистом Августом Иоганновичем Германном. Человек этот сыграл немалую роль в дальнейшем идейном и деловом воспитании Рональда: он выбирал для него марксистские книги, проверял, насколько глубоко Рональд вникал в самые трудные главы, подкреплял новыми доказательствами из собственного политического опыта, требовал ясного понимания каждого внешнеполитического шага советского правительства. В качестве руководителя кружка текущей политики поручал Рональду самые трудоемкие доклады и помогал их готовить.

Какие только события не обогащали Ронины опыта!

Однажды явился к нему пожилой посетитель писатель с характерным мягким семитским профилем. Сбивчиво и взволнованно писатель рассказал, что немецкий профессор Обер готовит запуск ракеты, нацеленной на луну, с территории какого-то горного курорта в Центральной Европе. Писатель просил переслать профессору Оберу письмо, где он предлагал себя в качестве пассажира космического снаряда, когда тот сможет доставить на луну человека-космоплавателя...

Озадаченный Роня вежливо осведомился, не опасается ли товарищ писатель стосковаться на луне по своей старой планете.

— Да, — ответил писатель с оттенком грусти, — действительно, проблема обратного спуска на Землю еще не решена. Поэтому, возможно, пребывание на луне может затянуться... дольше желательного срока. Тем не менее можно серьезно рассчитывать на то, что техника спуска вскоре тоже будет продумана. Пора заблаговременно готовить экипаж. Поэтому я прошу вас предложить Оберу мою кандидатуру как молено скорее!

Другой раз студент-физик принес свое решение некой принципиально новой, так сказать, «предкибернетической» конструкции перпетум-мобиле. Студент желал послать эти расчеты на апробацию самому Эйнштейну. Роня посоветовался с товарищем Германном, и тот санкционировал отправку Эйнштейну студенческой работы. Не прошло и пяти недель, как

великий физик ответил подробным письмом на нескольких страницах с приложением длинного математического расчета, доказывавшего студенту ошибочность его построений. Однако Эйнштейн ободрял своего советского корреспондента, желал ему успеха и обещал дальнейшие советы и помощь.

Роня ходил с этим письмом по всему учреждению и с сожалением убедился, как немного значит для его коллег имя Эйнштейна и весь этот маленький подвиг доброты гения «к малым сим»...

* * *

Году в 1931-м, во время мирового экономического кризиса, был случай, который опять-таки мог стоить Рональду Вальдеку свободы...

Москва пригласила концертировать дирижера М., сына тогдашнего премьер-министра одной из североевропейских стран. В это время Наркомвнешторг закупил у этой страны огромную партию сельди по кризисно низкой цене. Московское гостеприимство к дирижеру должно было ознаменовать расцвет культурных связей между Советским Союзом и родиной музыканта, чтобы несколько подсластить северянам явно невыгодную для них селедочную сделку.

Заведующий художественным отделом Учреждения товарищ Б., умный и одаренный деятель искусств, созвал совещание музыкальной секции, на котором обсудили программу концертов и порядок репетиций. Утвердили и Ронин план времяпрепровождения дирижера в советской столице. Решено было, что он продирижирует симфоническим оркестром филармонии (бывшим Персимфанс), где скрипач-концертмейстер настолько опытен, что с легкостью, незаметно для дирижера, нейтрализует любой его промах

Рональда попросили заранее выбрать и проинструктировать авторитетного музыковеда-журналиста, дабы в его рецензию о гастролях не вкрались какие-нибудь дипломатические бестактности. Вальдек остановил свой выбор на товарище Е. Брауде из редакции «Известий». Рецензия, ему заказанная, была готова и набрана суток за пять до концерта. Таким образом «эмоциональная, глубоко прочувствованная, глубоко современная трактовка дирижером произведений Грига, Сибелиуса и русских симфонистов покорила аудиторию...» несколько раньше, чем эта покоренная аудитория узрела над пультом фигуру господина М. Сын премьер-министра мог быть априори спокоен за московских исполнителей, слушателей, читателей и критиков.

Он прибыл в Москву, концерты прошли по намеченному расписанию. Дирижер оставался в восторге от советских музыкантов и чуткой московской публики. Под конец гастролей филармония учинила роскошный банкет с приглашением дипкорпуса.

Чрезвычайный и Полномочный королевский посол северной страны — родины дирижера — устроил ответный дипломатический прием. Пригласил известных «великосветских» деятелей культуры и дипломатов. Он заранее попросил Рональда подготовить для этого званого ужина небольшой концерт, способный ублажить самые изысканные вкусы. По совету заведующего художественным отделом товарища Б., Рональд выбрал четырех артистов: своего ровесника скрипача О — будущую знаменитость; солиста баса М., поражавшего красотою и мощью голоса при довольно-таки тщедушном телосложении; уже известного пианиста С. и исполнительницу народных песен Я., женщину умную и обаятельную. Он предложил ей самой выбор песен и та назвала четыре вещи на разных языках. Еще две песни приберегли про запас, на случай бисирования. Все, отобранное артисткой, было политически нейтрально и никого не задевало.

Прием происходил на бывшей Поварской, в посольском особняке. Гости, всегда опаздывающие на приемы в советских учреждениях, однако, прибыли сюда строго вовремя, долго толпились в кулуарах и возвышенно беседовали о скучном, с тайным вожделением ожидая приглашения к столу. По случаю победоносного хода первой пятилетки продукты питания были строго нормированы, выдавались по карточкам, в больших очередях, или распределялись тайно из правительственных фондов. Молодых артистов или средних служащих, вроде Вальдека и его коллег, к таким распределителям не «прикрепляли» — то была прерогатива лишь высшей элиты, партийной и «умственной», но круг этой элиты в те времена был предельно узок и привилегии держались в строгом секрете. Роня и Катя тогда об этом и не подозревали! Страна же терпела настоящее голодное бедствие, которое тоже держалось в тайне, хотя все чаще и чаще московские дворники находили в подъездах, на улицах и во дворах тела умерших с голодухи крестьян откуда-нибудь с Днепропетровщины, с Волыни или из-под Ростова, кто ухитрялся доплестись до Москвы и здесь терял последние силы. Черный рынок, жестоко преследуемый, выручал только тех москвичей, кому было чем платить за недозволенную свежатину, а среднему советскому служащему он был недоступен. Спасали подчас магазины Торгсина[80], учрежденные для выкачки золота и драгоценностей у населения: с помощью этих магазинов можно

было за обручальное кольцо недели две-три кормить ребенка настоящим маслом, сыром или вкусной колбасой.

Что же до северных иностранных посольств в Москве, то они предпочитали не пользоваться ни закрытыми правительственными распределителями, ни валютно-золотым Торгсином, а получать свое пропитание прямо из родной Скандинавии.

Каждую неделю отбывал из кризисного Копенгагена мощный пульман холодильник с великолепнейшей снедью дипломатов, благоденствующих в бескризисной Москве. Вагон-пульман шел через Хельсинки в наш пограничный Белоостров, менял здесь колесные скаты с более узкой европейской колеи на уширенные русские, цеплялся вечером к московскому скорому и утром разгружался на подъездных путях к Ленинградскому вокзалу.

Посольские гости знали, сколь добротны эти иноземные яства и предвкушали серию скандинавских блюд с большим нетерпением, нежели серию отечественных концертных номеров.

У посла были две милые, очень неглупые дочки. Рональд общался с ними свободно, тем более что одна из них помогала отцу, вела часть его переписки и изредка обращалась к господину Вальдеку за какой-либо книгой, нотами или билетами. В этот раз вместе с Рональдом приглашена была и «мадам Вальдек». Он прохаживался по залам под руку с Екатериной Георгиевной, оживленной, модно подстриженной, веселой и будто помолодевшей. Ему было легко и хорошо с ней. Но сама она скоро напомнила ему про его служебные обязанности:

— Поди-ка узнай, кто твоя дама за столом!

Уже наступала пора шествовать попарно в столовую залу. Оказалось, что карточка «м-сье Рональд Вальдек» соседствует с «г-жой баронессой Ю.», женой другого скандинавского посланника в Москве. Сам посланник временно значился «эбсент» (отсутствующим).

Баронесса Ю., молодая дама необычайного изящества, будто вся выточенная из полупрозрачного теплого мрамора, казалась Роне счастливейшим образцом северной красоты, притом не надменной, не монументальной, а грациозной, миниатюрной и приветливой. Смотреть на нее, танцующую, улыбающуюся или просто сидящую за столом с чашкой в руке было истинным удовольствием. Теперь Рональду предстояло занимать ее застольным разговором во время трапезы, быть ее кавалером... Кому же достанется в соседки Катя?

Вот и ее карточка у тарелки: «м-м Рональд Вальдек», справа от прибора «м-сье Борис Пильняк...»...Ага! Посол желает блеснуть тонким знанием советского общества: ученая японовед посажена

бок о бок с писателем, опубликовавшим книгу «Корни японского солнца» по возвращении из поездки по Стране восходящего солнца. Увы, господин посол не мог вникать во все нюансы взаимоотношений московских «ориентальных» кругов и, очевидно, не ведал, что никто иной, как Екатерина Кестнер, опубликовала жестоко насмешливую рецензию на книгу Пильняка, ужасно обидевшегося... Рональд мельком наблюдал, как несколько надутый Борис Андреевич усаживается рядом с коварно-улыбчивой Екатериной Георгиевной. До чего же она показалась Роне в этот миг неотразимой! Лучше всех женщин, краше роскошной соседки-баронессы, милее всех южанок и северянок за этим большим чинным столом!

Он принялся ухаживать за баронессой и по мере сил поддерживал разговор о том, как велика страна Россия и как интересно совершать по ней автомобильные поездки. Весьма оживляли баронессу и бытовые московские темы, но то была уже скользкая почва и лавировать на ней допускалось инструкциями лишь в тесных рамках между дорогими дамскими парикмахерскими и валютными интуристскими ресторациями. Рональд с таинственным видом выдавал заинтересованной соседке тайны рецептов грибных жюльенов, почерпнутые, впрочем, не у валютных поваров, а у покойного Заурбека в дни их совместных охот в Петушках...

Тем временем отзвучали и тосты. Чуть подвыпивший дирижер произнес взволнованную речь и назвал Москву «музыкальным шлараффенландом»[81] Господин посол благодарил за сердечность приема, оказанного в Москве его музыкальному земляку. Ответное слово, предусмотрительно согласованное Рональдом с НКИД, держал музыкальный критик Ю. (тот, что написал рецензию о концертах, до того как они прозвучали). Поднял тост за укрепление связей дружеских между нашими странами и Рональд Вальдек. Ему похлопали, а баронесса очень мило улыбнулась оратору.

Начался будто бы импровизированный, а на деле тщательно и всесторонне подготовленный и согласованный концерт. Сытые и подвыпившие гости, чуть отодвинув стулья, тихо и деликатно доглатывали остатки яств и питья под проникновенные звуки Грига и Сибелиуса. Настала очередь и народных песен.

Немолодая, но пикантная, острая на язык и веселая певица поразила всех необыкновенным разнообразием репертуара и проникновением в самый дух тех народностей, чьи песни она так мастерски воспроизводила. После четырех песен публика, дружно потребовала: «бис!» Певица исполнила оба запасных номера, но слушатели не успокаивались. Энергичнее всех хлопал посол и

северные дипломаты. Они желали еще! Певица искоса глянула на Валь дека: можно? Тот незаметно кивнул в знак согласия. И кивнул себе на беду!

Неизвестно почему, но исполнительница выбрала острый, вызывающе сатирический сюжетец. Запела она песенку на идиш — языке, понятном чуть ли не каждому северо-германцу и скандинаву. При первом же куплете посол потупился, а остальные северяне явно смутились, ибо песенка начиналась так:

В одной маленькой, маленькой стране
Жил длинный глупый король...

Что и говорить! Прямо по заказу королевского посла маленькой страны! Ибо высокий рост ее северного монарха отмечался не только фоторепортерами, но и карикатуристами! Дальше в песенке рассказывалось, как ловкий еврейский пройдоха-портной обманул глупого длинного короля с помощью сухой селедки.

Еще не вполне веря ушам, Рональд уже ощущал всю глубину пропасти, так неожиданно разверзшейся под его ногами! Маленькая страна... Глупый длинный король... И хитрый еврей, обманувший короля на селедке! Боже правый!

Задорный голосок певицы отзвучал. Посол глядел куда-то в сторону, промаргивая око. Дипломаты задвигали стульями и лишь один из русских гостей пьяновато хохотал и еще требовал бис! А Вальдек, чуть не прыгая через стулья, покинув соседку, ринулся к солисту-басу, стал просить его и аккомпаниатора снова к роялю. Те, видно, что-то сообразили, ибо безропотно приготовились продолжать концерт, хотя их номера уже прошли раньше.

Певец-бас выбрал русскую народную. Аудитория мгновенно затихла. Певцу хлопали благодарно. Затем молодой скрипач снова достал свой волшебный инструмент (это был, кажется, подлинный Страдивариус), сыграл вариации на тему цыганских напевов Сарасате... Инцидент забылся. И чтобы загладить его окончательно, сам Рональд Вальдек продекламировал восторженные стихи о Гамсуне и фьордах, написанные малоизвестным поэтом Борисом Бриком[82] — они случайно попали к Роне во время недавней поездки с Катей в город на Неве. Аудитория благосклонно приняла стихи, а дочь посла даже пожелала записать их текст.

Публика стала собираться по домам. В прихожей, у вешалки, к Рональду быстро подошел невысокий элегантный мужчина в сером, с лицом интересным и твердым. Это был заместитель

Флоринского, бывший барон Штейнгель. Он прошипел:

— Вы давали санкцию на ту песенку?

— Конечно, нет.

— Придется ответить за такую выходку.

— Это же вышло у нее случайно.

— Какие претензии могут быть к артистке? Ваше дело было проверить!

Дома, еще с лестничной площадки, супруги услышали долгий телефонный звонок. Это был все тот же Штейнгель. Теперь он лаялся в телефон отборным матом, чего не мог сделать в посольском вестибюле. Рональд спросил, помнит ли он Заурбека Тапирова.

— Что-что? — телефонный мат затих. — Помню ли Заурбека? Ну, конечно, помню. К чему это сейчас?

— К тому, что перед смертью он велел непременно отыскать своего кизлярского соседа и друга юности Штейнгеля и передать ему поклон и просьбу: в случае чего, не слишком строго относиться к ошибкам друзей!

— Так Николай Николаевич умер? — глухо осведомилась трубка.

— Месяц назад, в полном бедствии... Я его похоронил.

— Ну, ладно... О нынешнем инциденте напишите завтра объяснительную и подадите вашему председателю правления... Пойдет она ко мне, а я подумаю, насчет меры взыскания... Впредь лучше проверяйте репертуар в подобных случаях.

Объяснительной записки Рональд так и не подал. Пойди она по инстанциям — никакой Штейнгель не смог бы предотвратить крушения Валь дека, а может быть, и самой артистки. Штейнгель больше не звонил и ничего не требовал. На том опасный случай и исчерпался.

Глава десятая. ОСТРИЕ КИНЖАЛА

1

Той осенью Рональд Вальдек впервые побывал за границей — сопровождал выставку Советской детской книги. До поездки он маловато в ней смыслил, и лишь там, в чиновной Гааге, где выставка имела серьезный и заслуженный успех, Рональд и сам научился ценить все то, что дали детям такие мастера, как Чуковский, Маршак, Чарушин, Ватагин... В области книжной они совершили в России самую подлинную революцию во имя детей, едва ли не самую благотворную изо всех революционных российских преобразований. И голландская публика оказалась до

удивления чуткой к этим скромным по внешнему виду, небогатым книжкам, напечатанным на неважной бумаге и совсем не в парадных обложках. Но были эти книги не просто талантливы и умны, они безо всякого нажима и тенденции учили любить, радоваться и узнавать. Учили удивляться обычному и отвергать пошлое.

Там, в Голландии, все было не похоже на привычную московскую жизнь. Людям тамошним и в то кризисное время жилось несравненно легче против нашего, но Москва, со всеми ее трудностями, казалась отсюда высокой, чистой, человечной и разумной. Сразу ушли, испарились из памяти черты российского бескультурья, невежества, варварства, бедности, озлобленности... Помнились и внутренне котировались лишь черты советского патриотизма, благородства, самоотречения, целеустремленности к светлому завтра, сияющему для всего человечества как единственный и неповторимый пример. «Москва — необманный и надежный светоч для трудящихся всего мира, хотя близкого рая мы никому не сулим! Знаем лишь, что он — на Земле»!.. Так учил Рональда товарищ Германн.

Рональд сильно затосковал здесь по Москве, по России. Из окна гостиницы «Роза» на Схидамм, уже в Амстердаме, куда переехала из Гааги выставка, он видел трамвайную остановку и толпу одинаково одетых людей с одинаковыми черными глянцевыми зонтиками. В стороне вдоль улицы проходил канал. Старик широкой сеткой снимал с воды налет зеленой ряски и тины, чтобы зацветшая вода не распространяла зловония. Медленно проплывали буксиры и барки, небольшие парусные суда с серыми и коричневыми гротами, кливерами и стакселями. И странно: в этих парусниках не было ни грана романтики, ни капли поэзии. Они, как и люди под зонтами, там, на скучной чужой улице, навевали лишь одну тоску. Тоску по России! Как, впрочем, и здешние женщины, энергичные, деловые и полностью лишенные обаяния женственности. «Das ewiq weibliche»[83] в них начисто отсутствовало, притом совершенно одинаково во всех слоях общества — от батрачек до принцесс. Кстати, наследную кронпринцессу Юлиану, довольно миловидную девочку лет четырнадцати, Вальдек смог разглядеть лишь весьма приблизительно из-за чугунной парковой ограды королевского дворца в Гааге. У принцессы были крепкие, еще полудетские ножки, а из-под короткой (разумеется, по тогдашним понятиям!) юбки сверкали на бегу белизной панталончики с кружевными оборками. Принцесса играла в мяч со взрослой фрейлиной.

Запомнился еще в Гааге очень старый подъемный мост через канал, множество готических черепичных крыш и еще вокзальная

площадь, где владельцы велосипедов оставляли их у особых стоек. Рональд с его московским опытом, не скоро смог привыкнуть к мысли, что воротясь к велосипеду, хозяин найдет его в целости, на месте, причем, не только седло, насос и инструментальную сумочку, но даже оставленные там гульдены и кроны.

Тем удивительнее, что при такой поголовной честности граждан, Рональду пришлось констатировать исчезновение с выставочных стеллажей некоторого количества детских книг-экспонатов. Пропадали, например, красочные издания «Мухи-Цокотухи» и «Кошкиного дома», а также и детгизовский Киплинг с рисунками Ватагина. Однако ни одно парадное издание про Ленина, Москву и счастливое советское детство не только не пропало, но и вообще не вызывало никакого интереса посетителей. В отчетах же Рональд, как ему велено было, писал нечто прямо противоположное. Это слегка отягощало совесть, но зато гарантировало в будущем такие же интересные поездки.

Пока выставка переезжала из Гааги в Амстердам, а затем в Роттердам, Рональд получил от редакции задание ознакомиться с большим осушительным строительством на Зойдерзее. Этот морской залив, отделенный от Атлантики грядой Западно-Фрисляндских островов, осушался голландцами под сельскохозяйственные культуры, особенно под пшеницу. Об этом большом строительстве, вскоре, однако, временно оставленном из-за кризиса, он через год выпустил книгу очерков под названием «Морская целина»[84]. Почти весь ее тираж закупили строительства каналов Москва-Волга и Беломорского...

В небольшом поселке Медемблик Рональд пережил необыкновенной силы грозу. Молниями были разрушены и подожжены обе насосные станции, откачивавшие назад, в море, воду с поверхности польдеров, то есть осушаемых земель. Уровень воды на польдере стал быстро подниматься и там, где накануне проезжал автомобиль, той ночью можно было опять плавать на лодках. Одна из таких спасательных шлюпок вовремя подобрала и Рональда с его блокнотом и дорогим казенным фотоаппаратом...

Месяц спустя Екатерина Георгиевна, на последних днях беременности, обняла его на перроне Белорусско-Балтийского вокзала, а еще через двое суток родила ему сына-первенца, нареченного Теодором, в просторечии Федей[85]

* * *

До весны 1938 года Рональду Вальдеку по ходатайству

Учреждения перед наркомом обороны товарищем Ворошиловым предоставлялась отсрочка от призыва на действительную службу в Красную Армию. Но в ту весну сам Ворошилов ответил председателю правления отказом: мол, на сей раз отсрочка от призыва товарищу Вальдеку Р. А. как специалисту предоставлена быть не может — армии он тоже нужен.

Вскоре пришла повестка из райвоенкомата: призывнику Вальдеку явиться со всеми документами на медкомиссию. Глава этой медкомиссии охарактеризовал призывника кратко: «жених первого сорта!», а кое-кто из членов комиссии сочувственно осведомился:

— В каком роду войск хотели бы послужить?

— В любом, кроме связи. Потому что маловато в ней смыслю, — признался испытуемый. — Вот в кавалерию пошел бы с душой. Коня люблю!

Стоит ли гадать, почему начальство решило зачислить Вальдека именно в Н-ский Отдельный батальон связи? Ирония? Педагогика? Разве у начальника угадаешь? Батальон входил в состав территориальных войск Московского гарнизона.

За день до мужниного отъезда в территориальную часть на четырехмесячный призыв, Екатерина Георгиевна пошла с ним, уже обритым наголо, к знаменитому фотографу Наппельбауму, и тот сделал несколько снимков супружеской пары. Он — в профиль и прямо, бритый, грустный, с опущенным лицом, она — с горящим взором, напряженная, готовая стоять насмерть за свою выстраданную, вырванную у грядущих — и прошедших — дней радость и любовь.

...Утром во дворе казармы, когда обмундированных новобранцев построили в походный порядок, чтобы вести в расположение летних лагерей, один призывник из Рониной части кивнул сперва на Роню, потом указал взглядом на Екатерину Георгиевну и заметил сочувственно соседу: — Гляди-кось, как евонная мамаша по сынку тоскует! Того и гляди — упадет!

За всю их совместную шестнадцатилетнюю жизнь с Катей такая реплика осталась единственной, но по сердцу ударила больно. Рональд больше всего боялся — не услышала бы Катя, но опасение оказалось, слава Богу, напрасным. С тротуара Катя еще долго махала строю и ротному правофланговому — Роне.

В походных колоннах совершили призывники марш-бросок через весь город, от Матросской Тишины до Ходынских лагерей. Поселились в палатках, занимались по восемь часов воинскими науками, строем и физкультурой, да еще два часа — самоподготовкой. Руководить этой самой самоподготовкой в своем взводе поручили Рональду, в особенности —

политзанятиями.

По воскресеньям всем батальоном водили строем в Краснопресненские бани, по мосту-виадуку и мимо Ваганьковского кладбища. Комбат желал, чтобы на марше непременно звучала песня. Для этого требовался запевала, по коему в строе могли бы подхватывать припев шестьсот остальных пехотинцев. Запевала никак не находился. Тогда комбат объявил:

— Если запевала отличится и весь батальон его поддержит — дам ему на сутки увольнительную в город!

Никогда раньше Рональд Вальдек не участвовал ни в каком хоре, но про себя, особенно в лесу, уединенно, немного пел, жалея, что не унаследовал красоты отцовского голоса. Но — ради такой награды! Набравшись храбрости, он напросился в запевалы. Его тотчас же завели вглубь строя — слышать должны были и передние, и задние. Ну, была не была!

Запел он для начала флотскую — ее помаленьку уже разучивали повзводно, перед вечерней поверкой, под командой ротных старшин. Шагалось под нее легко... Припев: «По солнечным, солнечным реям...» — батальон исправно подхватил, подтянулся на ходу и даже люди на улице стали соразмерять свой шаг с марширующими ротами. На обратном пути Рональд осмелел, изрядно сорвал голос, перетрудил связки, но батальон почти непрерывно пел все песни, разученные во взводах, и бойца Вальдека Р. А. уволили с обеденного часа до утренней поверки в понедельник. Жену он нашел на даче в Салтыковке, ночевать они поехали в московскую квартиру, просыпались сто раз за ночь, снова чуть задремывали, страшно опасаясь опоздать к поверке, что навлекло бы на Рональда гнев начальства и запрет увольнений.

Так ценою сорванных голосовых связок Рональд Вальдек чуть не каждую неделю проводил дома счастливую ночь с женой, и лишь во время летних учений, похожих на крупные маневры, Катя приезжала к лагерной ограде, ждала его в гарнизонном клубе «Красная Кузница» и целовались они в каких-то клубных закоулках.

В конце лета председатель правления выпросил-таки у товарища Ворошилова краткий отпуск для тов. Вальдека на предмет его консультационного участия в работах XII Пленума Исполкома Коминтерна. На некоторых пленарных заседаниях в здании Ленинской школы у Калужской заставы Рональд присутствовал. Слушал большое выступление Эркели (он же — Пальмиро Тольятти), консультировался со скандинавскими представителями Третьего лендерсекретариата (секретарем его был немец Мюллер) и с голландским коммунистом товарищем

Реезема. Однажды в кулуарах Пленума, пока Рональд беседовал со шведским товарищем Иогансеном и его хорошенькой женой, Эвой Пальмер, проходивший мимо югославский деятель товарищ Вальтер (впоследствии известный как Иосиф Броз-Тито) не очень осмотрительно чиркнул спичкой недавнего советского производства. Головка этой спички оторвалась, вспыхнула на лету и догорела... как раз на правом веке товарища Вальдека. Пострадавшего тут же втолкнули в уборную, глаз промыли и завязали, но веко все же несколько воспалилось. Это позволило Роне почти неделю провести дома, а для идейной закалки бойцов его батальона он смог уговорить свое командование и коминтерновское начальство устроить в батальоне несколько зажигательно-революционных выступлений участников пленума — немецких, австрийских, голландских и норвежских коммунистов.

Бойцы батальона таращили глаза на этих хорошо одетых буржуазного вида деятелей, слушали их пламенные призывы к солидарности с рабочим классом порабощенных капитализмом стран, а после этих речей кое-кто тихонько спрашивал у Рональда, какого рожна им еще надо, коли нет у них ни колхозов, ни госпоставок, ни соцсоревнования за перевыполнение норм... Рональд горячо разъяснял этим несознательным слушателям, какое счастье строить социализм для будущих поколений, но в ответ порой получал на прочтение строки писем, полученных с какой-либо оказией от родных из колхозов дальнего Подмосковья, из Смоленщины или с окских берегов. Читая о голоде, жестокостях, произволе и бестолковщине в хозяйстве, он мог только разводить руками и выражать мысль, что, мол, все это — чисто местные неполадки.

Привез однажды Рональд в батальон немецкого коммуниста, рекомендованного Коминтерном для интернационального воспитания красных бойцов. Настроение этих бойцов было в тот день слегка подавленное; им только что успели объявить о новом законе от 7 августа 1932 года насчет суровой ответственности за хищение социалистической собственности, ротные политруки уже успели разъяснить бойцам, что все органы судебные, административные, исполнительные — от милиции до ОГПУ, от нарсуда до суда Верховного, вся советская общественность, партийные, комсомольские и даже пионерские организации — отныне обязаны бросить все силы на охрану государственного и колхозного имущества от посягательств подрывников и жуликов. За кражу сколько-нибудь ценного предмета полагалось теперь нё менее десятка лет тюрьмы и лагерей, и воровство приравнивалось к активной контрреволюционной деятельности. Осужденные по

закону от 7 августа не подлежат ни амнистированию, ни поблажкам! Где-то уже, мол, готовится процесс по делу о краже телефонного аппарата — это преступление подошло под новый закон. Виновный получил десятилетний срок. Спустя два дня Ронин сосед по спальне, точнее, по нарам в палатке, прочел Рональду письмо, что отец его за попытку унести старую шпалу, выброшенную путеукладчиками в канаву под насыпью, «отхватил» 20 лет тюрьмы по новому закону. Люди чувствовали, что закон этот ударит по многим тысячам обреченных, и шли на собрание слушать немецкого оратора с неважным настроением...

Оратор заговорил, сильно грассируя, и Рональд Вальдек готовился перевести на русский язык первый абзац этой речи. Но успел лишь открыть рот, как по всему лагерю загремел сигнал боевой тревоги. Завыла сирена, ей вторили радиорупоры клуба, и сразу же командиры взводов и рот, вскочив с мест, стали подавать команды к построению, однако без оружия. Минут в пять-семь весь наличный состав бойцов и командиров батальона стоял в строю, а на Всехсвятском шоссе уже вибрировали заведенные моторы полутора десятков тяжелых немецких «Бюссингов», грузовых автомобилей с железными шариками на отсечках по концам бамперов. Бойцов батальона пригнали к машинам, мигом погрузили и повезли в Тушино, где, оказывается, горели ярким пламенем неоконченные корпуса по всей огромной строительной площадке треста «Заводстрой».

...С пожаром боролись более суток, но огонь одолели. Смогли отстоять провиантские склады, покрытые толем и уже сильно тлевшие. Вся работа велась без воды, только в самом начале тушения подали на площадку, по рельсам, паровоз серии «Э»; к его насосу присоединили шланги, протащили их чуть ли не с километр к месту пожара, а другой — «заборный» рукав опустили в единственный водоем на площадке — небольшой пруд под двумя ветлами. Паровоз фыркнул, сильно задышал, высосал весь пруд за пять-десять минут. И больше ни капли воды на стройке не оказалось.

В полевой штаб тащили каких-то задержанных. Шептали кругом, что это вредители, поджигатели, схваченные, мол, с поличным, прямо с бутылями керосина под одеждой.

Взвод Рональда дольше всех боролся с огнем, держал оцепление, проверял подозрительных, помогал погорельцам, таскал оборудование в безопасное от огня место. Комбат объявил благодарность особо отличившимся в тушении. Среди них — и Вальдеку.

В лагере комиссар отдельного батальона вызвал Рональда к себе и без обиняков велел подавать заявление в партию. Отпустил

на двое суток за характеристикой и рекомендациями с фабрики. Из Учреждения комиссар пригласил товарища Германна как члена партбюро, — дескать, не будет ли возражений со стороны этой партячейки?

Товарищ Германн дал ответ осторожный, но положительный. И Рональд подал в свою ротную ячейку заявление со всеми надлежащими бумагами. Ячейка постановила: принять!

Батальонное Бюро постановило: решение ротной ячейки УТВЕРДИТЬ. Рональду Вальдеку дали партнагрузку: руководить в батальоне школой партийного просвещения... Взялся он за это дело с подлинно фанатичным пылом неофита. Впервые в жизни он почувствовал всю сладость оказанного ему высокого доверия. О каких-то выгодах и преимуществах своего нового положения он совсем не думал. Напротив, был готов к любому самопожертвованию, лишь бы оправдать доверие.

Счастлива была и Екатерина Георгиевна. Она безмерно гордилась тем, что ее муж будет членом самой великой и победоносной организации мирового пролетариата — Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, основанной Владимиром Лениным и ныне ведомой Иосифом Сталиным.

Сам «неофит» старался теперь смотреть на все явления жизни с партийной точки зрения, воспитывать в себе любовь к вождю партии и подавлять любые остатки и пережитки своей прежней, буржуазной идеологии, воспринятой в домашней среде с раннего детства. В душе Рональда жила вера в Бога и любовь к Христу. Это нужно было подавить в себе, как того требовала партийная совесть. Но рядом с этой партийной совестью жила и давала непрестанно о себе знать совесть христианская, привычная с детства. Некий компромисс, быть может, заключался в том, чтобы принять блоковского Христа, шествующего впереди двенадцати революционеров? И допустить, что Бог-Отец благословляет страждущих и обреченных на смертный бой с угнетателями? А церковь и все гонения на нее? Может быть, она не угодна Богу в том виде, в каком она ныне существует? Эти раздумья, сомнения и поиски компромисса не оставляли Рональда в часы ночных дежурств, в минуты одиночества и за письмами близким. Но наступал рассвет, наваливались дела и в будничной сутолоке внутренние голоса стихали, практическая жизнь брала свое.

Между тем, в ту засушливую осень 1932 года пожары охватили не только леса Подмосковья, но и большую часть новостроек первой пятилетки. Взвод Вальдека участвовал в тушении крупных пожаров: на Первом Шарикоподшипниковом заводе, автозаводе АМО (впоследствии имени Сталина, затем Лихачева), на Шатурской электростанции, где целую неделю

одолевали огонь в окрестных лесах и торфяных болотах. Горели и подсобные строения близ самой станции, и лишь ее главные здания удалось сохранить в неприкосновенности.

Из-под Шатуры приехали в полном изнеможении, и в ту же ночь Рональд Вальдек был назначен ночным дежурным по батальону. Чтобы не уснуть, он каждые четверть часа прохаживался по передней линейке. Напротив через поле, помещался клуб «Красная Кузница». Четыре года назад здесь читал стихи Маяковский перед бойцами гарнизона... И вдруг там, позади клубной сцены, утренние сумерки стали будто розоветь. Показался белый дымок... Языки пламени на миг взметнулись под ветерком вдоль столба, стоящего рядом со стеной клуба. Пожар мог перекинуться на соседний аэродром.

— Тревога! Горит клуб «Красная Кузница», напротив!

— Первая рота! Тревога! — подхватили дневальные — и лагерь ожил...

Пожар потушили, вернулись в лагерь, командование даже разрешило лишний час поспать, объявить подъем попозже. Из первого сна Рональда опять подняли: прибыла комиссия, установила факт поджога, понадобились показания дежурного, заметившего огонь и забившего тревогу. Командованию Отдельного батальона связи, комиссия рекомендовала отметить ценным подарком поступок дежурного по батальону... На общем собрании отличившемуся вручили мелкокалиберную винтовку с надписью и двадцатидвухтомное собрание сочинений В. И. Ленина.

...До сентябрьских дождей Отдельный батальон связи жил тревожной, полупоходной жизнью с частыми выездами по пожарным сигналам. На одном из больших пожаров в Талдомских лесах понадобилось держать радиосвязь с командованием в Москве. Командиром походной радиостанции назначили Вальдека. Сам он маловато смыслил в радиотехнике, но догадался взять в свой расчет лучших ротных радистов. Связь действовала и расчет снова премировали. Лишь глубокой осенью батальон вернулся в казармы, бойцов продержали здесь еще неделю и распустили, наконец, по домам, до следующих сборов.

* * *

В судьбе Рональда Вальдека этот преждевременный роспуск по домам сыграл роль важнейшую, роковую для всех его видов на будущее. Продлись сборы 1932 года всего на месяц дольше — и армейская комиссия, на правах райкома, утвердила бы товарища Вальдека Рональда Алексеевича кандидатом в члены ВКП(б). Но

товарищ Вальдек был отпущен «на гражданку» раньше, чем комиссия приступила к работе, и партийные документы были выданы ему на руки для передачи в партбюро по месту гражданской службы.

За месяцы Рониного отсутствия Учреждение стало неузнаваемым.

Товарищ Германн с работы был снят — ему поставили в вину частые заболевания, а главное — поддержку чрезмерно «коминтерновской» линии в практической деятельности отдела внешних сношений.

Сняли с должности и председателя правления, весьма уважаемого старого большевика, обвиненного в барстве, либерализме, поощрении подхалимства и в притуплении классовой бдительности, что привело, оказывается, к засорению аппарата Управления неподходящими и даже чуждыми элементами.

Так говорилось в докладе нового председателя, присланного свыше. Это начало сулило мало доброго сотрудникам Учреждения, тем более, что каждый руководитель имел обыкновение приводить с собой собственную свиту, с которой сработался где-то раньше; предлог «засоренности аппарата» открывал тут большие возможности для разгона неугодных и насаждения угодных людей. Новый Председатель правления, тоже из числа старых большевиков, отличался от своего предшественника буквально по всем статьям, начиная с пола: это была женщина-большевик, очень сварливая, несколько даже истеричная, скорая в решениях, весьма упрямая и склонная все переиначивать по-своему, лишь бы все стало по-другому, чем было до нее. Она с ненавистью относилась к предшественнику, всякое упоминание о нем вызывало взрыв, и особую антипатию она питала к тем сотрудникам, кто ранее считался ценным и нужным. Лишь запрет увольнять призванных на сборы помешал ей заочно уволить Рональда Вальдека вместе с Августом Германном.

Разумеется, при такой перетасовке дела Учреждения пошли из рук вон плохо. Замирали иностранные связи, уходили лучшие зарубежные работники, жаловались заграничные уполномоченные, сократилась переписка, книгообмен и работа выставок. Вероятно, недовольство таким развалом дела дошло до ушей высокопоставленных — ибо свыше прицыкнули! Потребовали прекратить внутренние распри и делать дело!

У Рональда появился новый начальник, товарищ Шлимм. Аккуратный, маленький, чистенький, пошлый до тошноты немчик. Откуда и когда он взялся в Москве — никто не ведал, но

новая председательница его превозносила на всех собраниях. Он почитался первым ее фаворитом. Даже обиходного языка почти не понимал, презирал почти открыто все русское, сразу завел новшества в учете, велел перекраивать картотеки и журналы, люто возненавидел Рональда и чуть не ежечасно бегал в кабинет председательницы «за указаниями»...

Но пополнился аппарат и людьми положительными. Должность Генерального Секретаря занял товарищ А., мягкий, образованный и очень умный человек. Художественный отдел Учреждения возглавил товарищ Ч., видный журналист, хороший организатор и очень знающий дипломат. Работать с ними обоими было легко. Они быстро поняли цену товарищу Шлимму, и акции Рональда пошли было в гору... Но тут-то и грянуло постановление ЦК ВКП(б) о новой чистке партии: прием в кандидаты отменялся вплоть до окончания чистки, более чем на год. И райком вернул Рональду Вальдеку его партийные документы не рассмотренными. Тем самым они превращались в пустые бумажонки...

Так и остался Рональд вне рядов. Вероятно, это было для него самым тяжким ударом за всю его общественную жизнь. Теперь на вопрос о партийности он с горечью отшучивался: я, мол, ВКП(б)! И пояснял: ВРОДЕ КАК ПАРТИЙНЫЙ. В скобках: беспартийный.

А юный сынишка Теодор — Федя, как и старший сынище Ежичка, помаленьку подрастали, умнели, хорошели и терпеливо сносили полуголодное существование. Ранние детские годы Феди и школьная учеба Ежика пришлись на самую тяжелую пору сталинской коллективизации. Семья получала по карточкам убогие пайки. Родительских окладов едва-едва доставало на молочишко и карточные продукты, а они не прикрывали и трети потребностей семьи — четверых взрослых и двоих детей. Отрывая для мальчиков куски от собственного рта, недосыпая у Фединой детской кроватки вместо работающей матери, бабушка Анна Ивановна надорвала собственные силы, заболела и в течение одного месяца отошла в те миры, где ждал ее муж, Георгий Георгиевич, отец-сенатор и весь ангельский сонм расстрелянных, замученных и умерших от голода родственников. Старушка, баба Поля, хранившая удивительную фамильную преданность этой семье, вела теперь все хозяйство, ворчала на «молодых», но помогла им вырастить Федю ухоженным и не слабым.

2

Все то, о чем будет поведано здесь дальше, нелегко понять сегодняшнему читателю. Это трудно уложится в сознании нынешней молодежи, в особенности в демократических западных странах. Еще труднее воспримут все дальнейшее романтические поклонники Че Гевары, люди, увлеченные нынешними, модными ультралевыми революционными теориями. Но их, левонастроенных романтиков, в первую очередь, конечно, юных, неустоявшихся и легко увлекаемых, стерегут и поныне те же опасности, те же волчьи ямы и пропасти, что искалечили судьбу моего героя и его исстрадавшихся близких. Причем, кажется, доселе еще никто не отваживался откровенно поговорить об этом, описать историю этого темного пути...

* * *

...Начиналось с малого. В общем-то — с романтики, как многое в революции...

Попалась однажды Кате и Рональду книжка в коричневом переплете.. Автор Николай Смирнов. Заглавие звучало дешево: «Дневник шпиона».[86] Издательство «тиснуло» ее «под детектив». На самом же деле все это оказалось горькой и талантливой повестью о родовитом английском офицере Эдуарде Кенте, романтически возмечтавшем «стать острием кинжала, входящего в грудь врагу» (собственно, честнее было бы сказать: «в спину врагу»...). Этот сэр Эдуард Кент с благословения аристократического дядюшки, который коллекционирует «повадки» попугаев (так метко и скупо автор характеризует героев), поступает в разведку Интеллидженс Сервис, проходит полный курс шпионских наук, подвизается успешно в России, а при повторной переброске в страну большевизма погибает. Его дневник теперь, мол, стал достоянием читателя!

Английские писатели, от Киплинга до Честертона, давно научились создавать романтический ореол вокруг британских лазутчиков. Кстати, мировая литературная критика именно в этом усматривает как бы подтверждение и доказательство агрессивных устремлений британского империализма. Впоследствии, уже в наше время, советская литература занялась тем же возвеличением своих разведчиков, правда, с меньшим стилистическим мастерством, но явно с теми же тенденциями, о коих мировая критика почему-то помалкивает... Книга Николая Смирнова отнюдь не такого рода, но она разбудила в Роне и Кате

самые романтические страсти к тайной стратегии!

Им обоим приходилось сталкиваться на работе с иностранцами, вести переписку с заграницей. В таких особо доверенных учреждениях, как оба Катиных научных института и как Ронино Учреждение, партийные организации усиленно налегали на идеологическую подготовку своих сотрудников. Почти через день шли занятия либо кружка, либо текущей политики (им после товарища Германна руководил сам генеральный секретарь), либо более углубленного семинара по марксизму-ленинизму. На этих занятиях, обязательных, как сама служба, руководители и члены проникновенно толковали о политической бдительности, о зоркости и бескомпромиссной борьбе с вражескими влияниями и тайными вылазками.

В стране вершился общественный переворот, от которого у самых смелых перехватывало дыхание. Рушился весь строй крестьянской жизни. Мужик-хозяин отдавал свое имущество, земельный надел, скот, инвентарь, подчас и свой сарай в колхоз. Вел туда коня, выращенного из жеребенка, вел корову, овец, кое-где и кур, чтобы потом отводить глаза, не видеть худобу Буренки и измочаленные бока лошади в чужих руках... Ибо этот мужик проникался сознанием под могучим воздействием партийной пропаганды, будто иным путем не создать всеобщего счастья.

Новые индустриальные центры рождались среди тайги, в горных долинах и по берегам великих рек. Эти новые города строители соединяли друг с другом железными путями — через пустыни, болота и леса. Рылись каналы, задуманные еще Великим Петром на благо России. Электрические провода загудели над степью, как некогда гудели дальние колокола. Тогда не думали о том, какой ценою народ оплатит эти свершения и преобразования. Они захватывали дух, вызывали восторженный энтузиазм и вдохновляли на подвиги даже таких людей, от которых трудно было ждать активной поддержки. Но, конечно, были и сомневающиеся, были прямо или тайно сопротивляющиеся.

Такие высокие умы, как Станиславский, Павлов, Винтер, Графтио, Крылов, Нестеров, Вернадский, Вавилов, Семенов-Тянь-Шанский, Шокальский, Карпинский, Бах, Зелинский — цвет старой русской интеллигенции, — иные колеблясь, другие безоговорочно и с воодушевлением, не за страх, а за совесть отдавали силы и талант этой небывалой стройке новой жизни. Они поверили в рождение нового человека и жадно всматривались в его черты, искали их в трудах и днях строительных будней. Уже появлялись об этом первые талантливые книги — Оренбурга, Катаева, Леонова, Шагинян,

Паустовского... Театральные спектакли поддерживали в людях энтузиазм и надежду. В газетах звуки победных фанфар перемежались с барабанной дробью боевой тревоги, когда где-то происходил прорыв, и промфинплан оказывался под угрозой. И в такой прорыв устремлялись энтузиасты — от девочки-топографа до седовласого академика или артиста с мировым именем... Все то, что тормозило движение к цели, вызывало гнев и презрение народа, и это чувство негодования еще больше разжигалось всеми средствами массового воздействия, от прессы до театральной сцены, от кинофильмов до радиоинсценировок... Пламя небывалого энтузиазма полыхало над всей страной, испепеляя сомнения, оправдывая жертвы, вселяя веру.

Стоит, мол, среди кризисного капиталистического мира единственный гордый утес социализма — Советская держава. Трудящиеся мира видят в нем единственную надежду. Тем он и страшен врагам прогресса, давно отказавшимся от прямых атак, но готовым на любые тайные хитрости и козни, чтобы подорвать, ослабить оплот мирового пролетариата. А потому для работников советского идеологического фронта нет более святой, более высокой обязанности, как помогать органам пролетарской диктатуры распознавать вражеские происки, активно проявлять идейность и бдительность. Быть изобретательным, разгадывать коварные замыслы, разбивать их, не пускать врага ни в какую щелку — высший долг ленинца, строителя социализма в одной стране, окруженной стихией капитализма...

Все это убедительно внушалось всеми идеологическими источниками. А тут еще и талантливая книга, попавшаяся Роне и Кате. Прочитав ее раз пять, возмечтали и они «стать остриями кинжала, входящего в грудь врагу».

На ловца, как известно, и зверь бежит!

Однажды вечером звякнул на столе телефон. Просили Екатерину Георгиевну. Из НКИД. Говорит, мол, третий Восточный...

— Из Японии приехала корреспондентка от литературно-политического журнала «Кайдзо». Знает ли товарищ Кестнер этот журнал?

— Да, это известный и крупный журнал. Так что же?

— Видите ли, корреспондентка желает встретиться с вдовой писателя Чехова, Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой... Не будет ли тов. Кестнер так любезна взять на себя функции переводчицы в этой беседе? Из-за особой сложности и ответственности беседы. Ведь о Чехове! Кстати, оплата труда переводчицы — в бонах Торгсина; такое условие можете поставить корреспондентке!

Встреча японской корреспондентки Саку-сан с Ольгой Леонардовной прошла очень интересно. Втроем долго сидели в ее типичной старомосковской квартире, тесно заставленной старинной мебелью, среди мягких пуфиков и подушек, множества картин, бронзы, мрамора, книжных полочек и остекленных шкафов, набитых музейными редкостями. Величавая и строгая Ольга Леонардовна привыкла к таким интервью, вела их прекрасно, но в этот раз под конец все же расстроилась и прикладывала к глазам платок с артистической грацией. Повод беседы действительно оказался нелегок, японка благодарила и великую артистку, и тонкую переводчицу. Она почтительно назвала Катю Кестнер-Вальдек словом «сенсей», записала ее домашний телефон и выразила надежду, что, может быть, в будущем «учитель» не откажет ей в уроках русского языка, ибо она устраивается в Москве надолго в качестве сотрудницы японского посольства… Катя пожала плечами и сослалась на крайнюю служебную занятость. На том они и расстались; японка высадила Катю из такси перед самым подъездом дома в Малом Трехсвятительском переулке.

* * *

В следующий же вечер после интервью появился в квартире молодой, скромно одетый, очень вежливый и тихий товарищ.

— Могу я видеть Екатерину Георгиевну?

В кабинете он попросил разрешения курить (явно уловив, что он здесь этим не нарушит домашних правил!), тонко намекнул, что присутствие при разговоре хозяина дома излишне, и пробыл с Катей наедине два с половиной часа. Минуя уже перед полуночью столовую, очень вежливо извинился за беспокойство, очень дружески кланялся и улыбался, тщательно и долго оправлял перед зеркалом шарф на шее, вмятинку на шляпе и не до конца надел перчатку на правую кисть, как бы оставляя ее в готовности принять рукопожатие. Раздраженный Роня от рукопожатия воздержался, полагая поведение гостя слишком уж бесцеремонным. Екатерина Георгиевна проводила посетителя.

— Кто сей? Откуда? И… пошто он?

— Ронни, он… оттуда! Зовут Володей. Пришел по поводу вчерашнего. Велел подробно записать содержание всей беседы. Весьма заинтересовался просьбой насчет уроков. Пригласил меня на завтра в Большой Дом. Говорит, это лишь на первый случай, для беседы с Большим Начальством. Дальше будет частный адрес. Квартира либо номер в гостинице.

— Чтобы встречаться с этим… Володей?

— Очевидно. Но, Ронни, знаешь, он ведь запретил говорить тебе, кто он и откуда, и пошто!

— А ты безропотно согласилась молчать? Чего ж не молчишь?

— «Дурачина ты, простофиля!» Сказала, что без ведома мужа никуда ходить не буду и ничего делать не стану.

— Умница! А он на это как?

— Сказал, что об этом надо завтра поговорить с начальством. Сам он не вправе дать такое разрешение.

— Слушай, ну а все-таки... к чему же все это?

— А к тому, Ронни, что, кажется, и мы с тобой будем... остриями кинжалов, входящих в грудь врагу!

Катя, видно, была рада этому визиту и новому обороту событий, какой сулило завтрашнее приглашение в Большой Дом... А по Рониной спине забегали холодные мурашки. И тихий внутренний голос внятно сказал ему:

«Это — пропасть. Она бездонна».

3

Вот тут, с этих строк, необходимо оглянуться.

В сценарном, прагматическом строе моего повествования ради цельности выбранных эпизодов и кусков опускались многие судьбоносные события в стране и в целом мире, влиявшие на общественную структуру и на внутренний мир действующих здесь персонажей.

Порою характер целого десятилетия определялся смертью исторической фигуры (так отозвалась на истории Европы смерть Николая Первого в прошлом столетии). Решающим властелином нашего века был, конечно, Ленин. Его физический уход действительно стал гранью исторического излома в судьбе России. Правда, не сразу — сама его кончина вызвала лишь первую трещину, по которой потом, через пять лет, и прошел разлом. Ибо, несмотря на немощность, парализованность и умственное бессилие самого вождя в последние годы, его окружение вольно или невольно должно было следовать в политическом русле, именуемом ленинизмом.

Только историки далекого будущего разберутся, много ли в этом посмертном ленинизме было подлинно ленинского, завещанного самим Владимиром Ильичом. Но уже одно его имя, ставшее подобием религиозного символа, обязывало преемников соблюдать хотя бы на словах завещанный им курс. Именем Ленина клялись, именем Ленина проклинали. Но его смерть развязывала руки обоим сильнейшим претендентам на роль

диктатора-преемника, Сталину и Троцкому.

Сейчас даже представить себе трудно, что в те годы группы Каменева и Зиновьева всеми силами поддерживали Сталина против Троцкого. Это именно они подсадили Сталина в седло и некоторое время как бы держались возле стремени, опасаясь, что приход к власти Троцкого быстро свел бы на нет их политические роли и вообще вывел бы их с партийной авансцены за кулисы. Но Сталин, азиатски злопамятный и скрытный, никогда не забывал своей временной зависимости от этих людей. Он достоверно знал и зиновьевские кулуарные и закулисные уговоры прочих партийных руководителей, членов ЦК, делегатов конференций и пленумов ВКП(б): «Конечно, Джугашвили пороху не изобретал и звезд с неба не хватает. Но он будет творить нашу волю. А приход Троцкого к власти, эту волю пресек бы!» Эти аргументы Сталин хорошо помнил и впоследствии по-кавказски рассчитался с былыми покровителями.

Сталинисты искусственно прервали ленинскую политику НЭПа, основанную на реальном внеадминистративном соревновании сильно ограниченного частного предпринимательства со всячески поощряемым предпринимательством государственным. Ленин стремился развивать у советских хозяйственников эту реальную конкурентоспособность. Соревнование велось в торговой сфере, в области легкой и пищевой индустрии (тяжелая и при НЭПе была всецело государственной монополией), в сельском хозяйстве (единоличные крестьяне и государственные совхозы) и отчасти на транспорте (государственные железные и шоссейные дороги, флот, самолеты, но при сохранении частной собственности на некоторые вспомогательные виды транспорта: наемные такси, частные автобусные линии вроде известного «Крымкурсо», мелкие частные суда, бравшие пассажиров на короткие рейсы. Ходил, например, такой частный катер из Феодосии в Алушту. На нем прибыл в Судак в 1926 или 27-м году писатель Михаил Булгаков. Роня Вальдек работал в то время экскурсоводом в Восточном Крыму и ездил встречать Булгакова по просьбе хозяйки пансиона Морозовой.

Искусственно (притом с применением самых бессовестных мер, вроде прогрессивно-возраставших налогов на мелких торговцев и предпринимателей) прервав ленинский НЭП, сталинисты приняли на вооружение несколько чисто троцкистских идей, объявив их ленинскими. Прежде всего немедленная ультра-милитаристская сверхиндустриализация с упором на тяжелую промышленность военного назначения. Одновременное террористическое уничтожение крестьян-

середняков, догматически объявленных кулаками (настоящих кулаков уничтожил Ленин вместе с помещиками), означало фактическую ликвидацию большей части производителей сельскохозяйственной продукции России и обрекало деревню на голод, городам же обеспечивало приток голодных крестьян на промышленные новостройки пятилетки. Это был отказ от ленинского кооперативного плана, основанного на строго добровольных началах и до конца не разработанного Лениным даже в теории. Вопреки Ленину Сталин взял курс на зверски насильственную коллективизацию. Сопротивляющиеся были с безмерной жестокостью обречены на голодную гибель — это стало участью миллионов крестьян. Подверглись раскулачиванию и переброске в необжитые районы лучшие мастера земледелия, охотничьего и всех других промыслов, и огромные массы этих сосланных или высланных крестьян стали промышленными, строительными или сельскохозяйственными рабочими на дальних окраинах. Разумеется, в печати, литературе и в кино все это изображалось по-иному, шли судебные процессы над «кулацкими выродками, убийцами и поджигателями» и велась разнузданная война против церкви, обвиненной в поддержке кулацких элементов. Тысячи храмов были разрушены или загажены, десятки тысяч священников и верующих ссылались или попадали в заключение.

Делали все это, скорее, троцкистскими, сверхлевыми приемами, но ссылались на Ленина. Затрещали вековые экономические и национально-культурные основы страны России. Индустриализация, военизация и коллективизация были объявлены генеральной линией партии и освящены именем мертвого вождя.

Однако простой народ в России уважал этого вождя, чтил его память прежде всего как руководителя первых побед революции. Это он, Ленин, мол, устранил помещика и фабриканта, дал людям мир и землю, а главное — ввел НЭП, благодаря которому народ ожил, вздохнул после тягот гражданской войны, приоделся, поправил хозяйство и зажил сытно. Так думали крестьяне-середняки, квалифицированные рабочие, средние служащие и часть творческой интеллигенции — то есть в целом, добрых четыре пятых населения!

Но спокон веку хватало в России и бунтарей! И недовольных, и завистливых, да еще и тех, кому тесно в собственной шкуре. Для левонастроенных партийцев, особенно же для всего левого фланга интеллигенции, НЭП был невыносим и ненавистен. Именно в угоду этим кругам и левым силам, близким к правящей верхушке и всегда готовым к дворцовым переворотам, Сталин и

пожертвовал нэповским благополучием и круто взял лево руля! Этому сочувствовали и круги военных, в особенности носители «ромбов» в петлицах. Индустриализация сулила им целые армады танков, самолетов, пушек и новые миллионы винтовок, а от лозунга «вести войну на чужой территории» сладко трепетали ноздри! Коллективизация же практически передала им в руки весь хлеб страны. О таком не мечтал даже Троцкий!

Воспрянула духом левая творческая интеллигенция. Рушился ненавистный, пошлый, сытый НЭП, казавшийся возвращением к буржуазному мещанскому благополучию, подлому и низкому, ко всему, что было так невыносимо гнусно в дореволюционной России и должно сгореть в очистительном пламени революции. Это очищение пламенем от скверны и есть главный пафос блоковских «Двенадцати»! А тут вдруг НЭП! Первый сигнал тревоги, связанный с введением НЭПа, отчетливо прозвучал у Маяковского в стихотворении «О дряни»:

И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?

Поэта мучило предчувствие, что мерзкий нэповский клоп, сумев осоветиться, превратится в Клопа-Победителя, Клопа-Победоносикова.[87] Действительность неумолимо вела энтузиаста революции Маяковского к выстрелу в сердце. Он раздался через 8 лет после написания строк «О дряни», и все эти 8 лет прошли в неустанной борьбе с Победоносиковым и с Клопом, в итоге проигранной поэтом! Но его «реквием», вступление к поэме «Во весь голос», звучал над миром Клопов и выжил как призыв не сдаваться перед бытом и верить в победу революционных пятилеток.

К левой творческой интеллигенции, ненавидящей Клопа и ненавидимой им, принадлежал весь круг новой домашней среды Рональда Вальдека. В еще прежнем, родительском доме преобладала «технократия» — инженеры, врачи, изобретатели, творцы технического прогресса, политически безразличные или наивные. Круг друзей Екатерины Георгиевны, куда вошел и ее второй муж, был иным, «идеократическим» — филологи и философы, ориенталисты, юристы, переводчики, институтская профессура, дипломаты, литераторы. Это общество мало смыслило в технике, но проблемы социальные обсуждало

страстно. Эти лица буквально жили в будущем, легко терпя «временные трудности» настоящего. Среди них, кажется, один Роня соглашался с гумилевской молитвенной формулой: «Боже! Возьми настоящее ради будущего, но помилуй прошедшее!»[88] Большая часть друзей Екатерины Георгиевны, не задумываясь, жертвовала и прошедшим!

Они часто и углубленно обсуждали, какими же путями и по каким главным внутренним эмоциональным побуждениям приходили к принятию идей революции столь, казалось бы, разные люди, как сама Екатерина Георгиевна — в прошлом стародворянская девица, или бывший барон Валентин Кестнер, а позднее, по-своему, и герой этой книги, как-никак тоже имевший некогда право на частицу «фон» перед фамилией...

И вывод был один: привела их всех к революции не любовь к коммунистическому будущему, а тяжелая ненависть к буржуазному настоящему или прошлому, отталкивание от него.

Именно так очутились в революционном лагере, а не среди контрреволюционной эмиграции и поэт Блок, и будущий академик Винцент, и такие интеллигенты, как Виктор Шкловский и Корней Чуковский, артист Станиславский и физиолог Павлов. Два последних вовсе не виноваты в том, что революционные власти вскоре сотворили из них обоих подобие кумиров, а вернее, диктаторов для искусства и науки. Власти просто злоупотребляли их именами, очень мало смысля в том, кто они действительно такие! И чего хотят.

Однажды за вечерним чаем Роня развивал перед собеседниками свое понимание поэтических предтеч и пророков русской революции. Обращение к ней, мол, ярче всего воплощено в певучей гибельной серебряной лире Блока. По своему мировому эху ее можно сравнить только с пушкинской. Ибо без Пушкина, настроившего поначалу и лиру молодого Лермонтова, этот второй поэтический гений России просто не успел бы за свой космически краткий век создать то, чем он обогатил нас благодаря распаханной Пушкиным словесной целине.

И как без Пушкина не явил бы себя нам Лермонтов, так без Блока не было бы пришествия в поэзию Маяковского, самого трагического поэта революции. До того как эта революция свершилась, Блок возвестил вселенскую катастрофу:

О, если б знали, дети, вы,
Холод и мрак грядущих дней!

Мужественный голос Брюсова тогда же подтверждал:

Бесследно все сгинет, быть может,
Что ведомо было одним нам,
Но вас, кто меня уничтожит,
Встречаю приветственным гимном!

Брюсовская струна звучала глуше и тише, не умея так властвовать над сердцами, как дано было лебединой блоковской строфе. Ведь поэзию делает музыка, внутренняя музыкальная структура стиха. Все волшебство поэта — в его музыке. Блоковская лирика — это таинственное, еще никем не разгаданное по книгам мудрецов слияние пушкинского ямба и его александрийского стиха с мятежной скорбной и тяжкой музыкой зрелого Лермонтова. Стих Блока, настроенный вместе Пушкиным и Лермонтовым, стал новой ступенью в русской поэзии. И сразу за Блоком по его поэтическому следу, будто иное эхо в горах, широко шагал и глубоко торил этот след дальше самый громкоголосый глашатай революции — Владимир Маяковский. У одного народа четыре гениальных поэта за столетие — это неслыханная щедрость богов! Ибо эти четверо — лишь главные регистры многоголосо-гудящего органа русской поэзии.

Двое из этих гениальных поэтов — Ронины современники. Он видел и слышал обоих. Горестно переживал их гибель. Но смерть Блока в дни братоубийственной гражданской войны, красного террора и космического развала ощущалась тогда близкими Рональда и им самим как падение еще одной заветной звезды с черных небес, где, казалось, уж не взойти и самому Солнцу! А зловещая гибель Маяковского указала на моральное поражение революции в ее главной задаче — преображении человека! Это был удар нежданный, и не все от него морально оправились, несмотря на правительственную дезинформацию о подлинных причинах смерти поэта. Роня и Катя старались убедить себя в том, что эта смерть попросту от неосторожного обращения поэта с оружием, но боль и тревога чувствовались даже в застольных беседах с друзьями, в горьких недомолвках некрологов.

Подбадривая себя, они подавляли голоса сомнений, чтобы идти с революцией дальше, как повелевает «ум, честь и совесть эпохи». В этом их посильно поддерживал и душевно укреплял немецкий друг, Август Германн, бывший Ронин начальник, сохранивший дружбу с Вальдеками и после своего ухода из Учреждения.

Убеждая других, он, человек наблюдательный и в глубине сердца народолюбивый, старался постичь величайшую антиномию эпохи, связанной с именем Сталина: всенародное

искусственно вызванное бедствие, миллионы и миллионы трупов, оставляемых на пути, и... всенародный энтузиазм, ведущий страну вперед по трупам к осуществлению коммунистических идеалов. Этот непостижимый российский феномен еще ждет своих философов и истолкователей.

* * *

Уроки с Саку-сан начались с той же недели и пошли регулярно. Либо на даче, снятой Катей с Роней в Салтыковке, либо прямо в квартире Саку-сан, что было рискованно: Катю мог заметить в дверях кто-нибудь из сослуживцев. Объяснить, зачем она ходила в жилище посольских иностранцев, было бы невозможно — тут не помог бы никакой Володя или Николай Иванович! Этот Николай Иванович сменил Володю на встречах с Катей и велел ей подписывать свои доклады каким-нибудь условным именем. Спросил: «Где вы в детстве жили на даче? Ну, вот и подписывайтесь: Саблина!» Катя с Роней потом смеялись: «Мечтала о клинке и стала им в письменном виде!»

Благодаря торгсиновским бонам от Саку-сан стали исчезать приметы недоедания на детских щеках и попках. Это было, конечно, хорошо, но домашнего покоя вся эта Катина эпопея не прибавила: не исчезало ощущение некой двойственности в жизни». К тому же у Рони на службе атмосфера ухудшилась. Казалось, товарищ Шлимм своим высокомерием, неверными распоряжениями и прямыми несправедливостями разрушает все, сделанное за годы работы учреждения.

— Не посоветоваться ли мне со своими? — тревожилась Катя. Она уже добилась у начальства позволения говорить мужу о своих встречах с Володей и Николаем Ивановичем, уроках с японкой и «азных» заданиях. Эту кличку, слово «азы», Катя придумала для своего нового начальства. Большой Дом она звала «азницей», а себя — «подазком». Название пришло из детского сна: Кате приснилось, что в ее детскую спальню вошел трубочист, черный и страшный. Он искал кого-то, но еще не видел Катю. Она же знает, что в образе трубочиста за нею явился самый главный и страшный черт из ада. И зовут его Аз. Девочка пробует уговорить себя: «Вот я как-нибудь от него отшучусь, он меня и не тронет!» И черт, угадав ее мысли, поворачивает к ней свой страшный, угрюмый лик и грозно говорит: «Ну, с Азом-то ты не пошутишь!»

Сегодняшних «азов», впрочем, Катя нисколько не страшилась. Отговаривала их от некоторых начинаний, часто спорила с Володей и Николаем Ивановичем, возражала против отдельных предложений и советов. Такое поведение лишь увеличивало там

уважение к ней. Но, конечно, «в случае чего» шутки с этими «азами» были бы плохи! Однако конфликтных ситуаций пока не возникало, требований неисполнимых или бессовестных они не выдвигали и просили лишь об одном: всемерно расширять связи с японцами!

Тем временем в отделе внешних сношений на Рониной службе Шлимм превращался в маленького диктатора. С референтом Вальдеком у него происходили частые и бурные стычки. Наконец референт потребовал себе полной автономии, и начальство пошло ему навстречу: отдел внешних сношений расформировали. Роне поручили самостоятельный сектор скандинавских стран. Пристегнули к ним еще Голландию и Чехословакию.

Однажды в Ронином кабинетике, где он сидел вместе с секретарем своим, миловидной девушкой Клементьевой, телефонный звонок почему-то показался особенным. Вкрадчивым и настойчивым. Роня сам взял трубку.

— Это вы, товарищ Вальдек? Говорят из Большого Дома. Только не повторяйте вслух! Понятно вам? Пусть никто не обращает внимания. Притворитесь, будто вам какой-нибудь дружок звонит. А теперь внимательно слушайте: мы хотим с вами побеседовать лично. Вам удобно сегодня вечерком? В 20 часов, хорошо? Пропуск будет в окне номер три, по Кузнецкому мосту, 24... Знаете?

— Знаю, конечно! Я тебя понял! Если найдешь, что выпить, — приду непременно! Сервус!

Слова эти вызвали у трубки одобрительный смешок и поощрительное:

— Отлично, отлично! Люблю понятливых!..

* * *

Обыкновенная канцелярия. Шкафы, столы, стулья. Ничего таинственного. В комнате несколько человек. Один занимается с Роней. Другие не обращают на него никакого внимания. Ронин собеседник — молодой, жизнерадостный, нагловатый, но благожелательный. Очень простые, прямые вопросы о семье, о родителях, о круге знакомств. Роня намекает, что жена его — человек им известный. Собеседник пропускает это будто мимо ушей. Пристрелочные вопросы окончены. Начинается огонь на поражение. Взгляд собеседника косо целит в блокнотную запись.

— Как вам работается в Учреждении? Какие трудности?

Роня отвечает осторожно. Выражает сожаление, что ценный знающий и верный человек, товарищ Германн, был незаслуженно

снят с поста.

— А кто на его месте?

— Некто Шлимм.

— Ну — как?

— «Шлимм» по-немецки значит «плохо». «Скверно». Так и есть.

Собеседник хохочет.

— Не в бровь, а в глаз имечко! Так вот, учтите, товарищ Вальдек, этот Шлимм — агент германской разведки. Крупный немецкий шпион. Ясно?

Роня Вальдек опешил от неожиданности. Шпион?! Ну, это уж слишком пожалуй. Бездарность, мещанин, дерьмо... Но шпион? В доверии у председателя правления, старого, пусть истеричного, но большевика, хоть и женского пола! Уж отличить коммуниста от шпика она, верно, умеет? Нет! Нет!

Он выражает сомнение в такой огульной характеристике. Собеседник сразу мрачнеет.

— Это уж нам виднее! А ваше дело, товарищ, помочь его разоблачению. Но... мы вот сейчас доверили вам государственную тайну. И вы должны нам дать письменное обязательство о неразглашении. Сами понимаете — несоблюдение тайны строго карается. Подпишите, что соответственные статьи вам известны... Какой псевдоним вы себе выберете?

— Псевдоним? А зачем он мне?

— Для будущих материалов о деятельности иностранной шпионской агентуры. Мы вас научим ее распознавать. Вот, к примеру, этого Шлимма вы еще не раскусили как следует. Куда он гнет вы поняли, а на кого работает — еще поймете... Или вы колеблетесь защитить Родину от врага?

Роня молчит, не знает, всерьез ли с ним говорят или проверяют, как он себя поведет. Насколько он легковерен и насколько устойчив.

— О чем же вы задумались? Заколебались?

— Нет, не колеблюсь нисколько. Родине я принесу любую жертву. Не пожалею и жизни, но... с толком! Думаю, мог бы стать... острием ее кинжала, входящего в грудь врагу!

— Ого! Звучит красиво! Кинжала, говоришь? Молодец! Вот тебе и псевдоним: Кинжалин. Расписывайся. Разболтаешь — ответственность внесудебная. Ясно?

— Нет, пока далеко ничего не ясно. Хочу немедленно встретиться с вашим Большим Начальством. Мне надо кое-что оговорить и уточнить. Потому что весь этот разговор с вами я мыслил себе... совсем иным. О моих задачах перед Родиной я хочу услышать нечто более конкретное и весомое. Словом, мне

нужны серьезные и веские разъяснения. И притом сразу. Нынче.

— Ну хорошо. Подождите.

* * *

...Коридоры. Двери. Двери... Крупные золоченые номера-цифры. Этаж, помнится, пятый... И все цифры с пятерки начинаются.

Просторный кабинет. За большим столом — коротко остриженный еще не пожилой, но уже чуть поседевший человек с крупным приятным лицом, выразительными темными не злыми глазами. Начальник отделения.

Предлагает вошедшему садиться. Закончил писать какую-то докладную и стал просматривать бумаги Рональда Вальдека. Эти бумаги — небольшую пачку — принес начальнику сотрудник, бравший у Рони подписку.

— Меня зовут Максим Павлович. Познакомимся поближе. Ваши личные обстоятельства мне известны. Биография вашей жены тоже известна. Знаю, что вы подавали в партию, человек наш, цельная натура, инициативный, энергичный работник, а жена ваша — серьезный ученый и глубоко преданный Советской Родине человек, доказавший это многими делами внутри страны и за ее пределами. Вот все это вышесказанное и побудило нас привлечь вас обоих, хотя и по разным линиям и заданиям, к нашей трудной чекистской работе. Более благородного и святого труда современность не знает! Мы — передний край революционной борьбы.

Над столом начальника висел портрет Дзержинского в профиль. Волевое, суховатое, очень красивое лицо. Рисовала его англичанка лепившая романтический, тонкий, проникновенный портретный бюст этого революционера.

— Вы так на него глядите, товарищ Вальдек, будто с вами не я беседую, а сам Феликс Эдмундович. Что ж, это хорошо! Он, верно, сказал бы тоже самое. Итак, мы вас проверили. Вы отлично показали себя в армии, жена ваша — на большой заграничной работе. Известен ли вам наш главный принцип в работе? Тот принцип, который завещан нам прямо Железным Феликсом? Вы понимаете, о чем я толкую?

— Нет, пока не понимаю. О каком принципе вы говорите?

— Принцип номер один для нас заключается в том, что советская разведка должна вестись только чистыми руками! Это запомните раз и навсегда! Вы и представить себе не можете, какие люди входили сюда до вас и еще войдут после вас. И в этом — наша сила. Поэтому мы привлекаем к сотрудничеству и вас.

Однако, если я верно понял, вас как будто что-то смутило в беседе с нашим сотрудником? Давайте разберемся!

— Мне не понравилась легковесность беседы. Я ждал разговора о серьезных общих вопросах, а все свелось к рассуждениям о товарище Шлимме и моих формальных подписках. Мне кажется, что говоривший со мной товарищ просто-напросто ожидает от меня каких-то мелких кляуз о моих сослуживцах. Учтите, что я на это совершенно не способен. И в столь безоговорочную оценку Шлимма я тоже серьезно верить не могу.

— Ждем от вас служебных кляуз? Боже сохрани! Для этого у нас предостаточно людей помельче вас! А что касается Шлимма, могу со всей ответственностью подтвердить, что это втершийся к нам в доверие иностранный агент. Очень ловко сумевший опереться на некие партийные связи высокого порядка, однако кое-что мы уже о нем проверили, и лично вам, товарищ Вальдек, делает честь ваше недоверчивое и осторожное отношение к этому лицу. В наших оперативных интересах однако, нельзя его настораживать и пугать. Чтобы в будущем использовать его каналы для разоблачения сообщников и прочей агентуры.

— В теории я все это готов понять и одобрить. Лично мне он представляется просто мелкой, пошлой, эгоистически-мещанской дрянью, вредящей нашему делу не потому, что он — враг идейный или подкупленный, а потому, что не умеет работать, тем более с интеллектуалами. Он прежде всего просто глуп. И смешон. Помните, у Пушкина: «Он слишком был смешон для ремесла такого...»?

Начальник засмеялся. Роня продолжал:

— Но ведь вы меня тоже лично не знаете. Ваше знакомство со мною чисто анкетное. Оно, мне кажется, дает очень мало! Вреда от него — больше, чем пользы. Я, к слову, довольно откровенный и прямой человек. Весьма доверчивый, как большинство людей, желающих быть правдивыми. Ибо другие, привыкшие врать сами, не склонны верить и доверять чужим словам. Умение молчать и хранить секреты — главная профессиональная способность врачей, священников и разведчиков. Своего рода талант этих людей.

Оба чекиста все более оживлялись. Мол, не ошиблись в выборе человека! Парень как будто занятен и не так-то прост!

— Вот я и должен сказать, что лично во мне эта профессиональная способность развита еще слабо. Я в ней отнюдь не натренирован. А вот этот товарищ...

— Василий Николаевич, — подсказал начальник.

— ...с места в карьер, с бухты-барахты огрел меня обухом по

голове: мол, товарищ Шлимм, ваш сослуживец, просто-напросто германский шпик! Вы это только что подтвердили. Да еще открыли передо мной кое-какие ваши оперативные виды насчет его каналов... Мне это все не очень понятно: то ли вы всерьез, то ли учиняете мне какую-то проверку. Ведь с товарищем Шлиммом мы почти в открытой вражде, он и я. Рассчитывать на откровенность я могу меньше, чем кто-либо. Выходит, что вы оба просто понапрасну вовлекли меня в ваш секрет!

Улыбки мигом исчезли с лиц обоих чекистов, старшего и младшего. Начальство, как известно, не терпит никакой критики! Оно допускает ее лишь по другим адресам. И то больше в теории. Прощаясь, Максим Павлович хмуро проговорил:

— Вы излишне торопливы с выводами. Шлимм — это просто попутная мелочь. Забудьте о нем... Для более серьезного оперативного разговора вас в близком будущем пригласят. Один из моих старших помощников.

Протянул руку к телефону.

— Гараж «Интуриста»? Слушай, старшой, нам с Василием Николаевичем домой пора... Подбросишь? Через пяток минут к нашему подъезду. Бывай!

* * *

Кажется, все хорошо? Катя, пожалуй, довольна, что теперь рядом с тов. Саблиной явился на свет Божий и тов. Кинжалин. Два клинка лучше одного. Но почему же так смутно на душе? Почему не оставляет чувство неправды, греха? Чепуха какая! Ведь все правильно! А? Польза революции? Так? Ну, конечно же, так! Откуда же давящая тоска, безнадежность, чувство бездны?

— Ронни! Это голоса нашего с тобою проклятого прошлого. Мы должны сами выжигать его следы. Надо быть строже, беспощаднее к себе. То, что природные пролетарии всосали с материнским молоком, мы с тобою обязаны еще только вырастить в себе ценою ежедневных жертв, воспитывая в себе всю мудрость и решительность рабочего класса. Самоограничение, волевая тренировка, действие «через не могу». Трудно? Ужасно трудно! А надо.

Все, значит, верно.

Конечно, она права. Все так... Только странная тяжесть налегла на плечи. И от нее — такие темные, глухие и дурные предчувствия...

Глава одиннадцатая. ВОЛЧЬИ ЯМЫ

На службе у Рональда Вальдека прошли очередные перемены. Товарищ Шлимм вдруг торопливо сдал дела и таинственно исчез. Кажется, уехал к себе в Германию. Чьим агентом —- уж ты, Господи, веси!

Теперь прямым Рониным начальником стал генеральный секретарь А. — мягкий, покладистый и разумный. Прошла еще одна партийная чистка. Снова убрали председателя правления: вместо старой истеричной большевички назначили мужчину, тоже из заслуженных членов партии, убранного с высокой дипломатической должности за серьезные ошибки. Насколько логично было такое назначение, где возможность крупных ошибок в дипломатической области еще более возрастала по сравнению с прежним постом, — сие опять-таки остается неисповедимой тайной высшего партийного руководства. Вновь назначенный председатель был груб, капризен, злопамятен и не умен. Притворялся веселым, гостеприимным и играл «широкую натуру», разумеется, за учрежденческий счет. Любил сильно выпить и полагал, что для этого и устраиваются дипломатические приемы и банкеты. К тому же еще и сочинял романы: благодаря крупным своим связям мог их и печатать. Стояли они на уровне обычной барской графомании.

Как всегда при всех переменах руководства в любом учреждении Советского Союза, приходу нового председателя сопутствовало очередное перетряхивание аппарата. Новый убирал «чужих» и назначал «своих». Думаю, что такой порядок ныне утвердился во всех странах социализма как одно из несомненных его преимуществ... Утверждают, что капиталистические служащие не уверены в завтрашнем дне. Могу заверить, что Рональд Вальдек, бывший всю жизнь служащим в социалистическом государстве, никогда не имел уверенности даже в ближайшем часе.

Работать стало еще труднее. Ассигнования срезались, отменялись приглашения тех скандинавских деятелей, чья репутация стояла высоко и кто был способен влиять на общественное мнение в странах, где интеллектуалы играют особенно крупную общественную роль. В этих северных странах Европы все еще не могло улечься тягостное недоумение по поводу советских политических монстр-процессов, потрясших весь цивилизованный мир: шахтинского дела, уголовного процесса Промпартии, дела компании «Виккерс-Армстронг» и всех прочих показательных срежиссированных судебных спектаклей, разоблачавших «вредителей». Из северных государств, как,

впрочем, и из многих других стран Европы, сыпались протесты интеллигенции против этих судебных расправ, против арестов советских ученых вроде Евгения Тарле, спасенного благодаря протестам; зарубежные интеллектуалы были потрясены кровожадными статьями Горького по поводу этих судебных расправ над «разоблаченными врагами».

Несмотря на усиленную контрпропаганду коммунистов и советских органов прессы, в Скандинавские страны стали постепенно проникать сведения о жесточайшем голоде, искусственно вызванном политикой коллективизации прежде всего в основных хлебных областях России. Этот голод по масштабам граничил уже с геноцидом, хотя, конечно, тщательно скрывался советской стороной. Тем не менее редкие сигналы отдельных спасшихся или свидетелей все же попадали в скандинавскую печать, вызывали опровержения с советской стороны, однако, тревожили шведов, норвежцев и датчан; ведь только на Советской Украине в это время погибали сотни тысяч. В иных селах и станицах трупы сгнивали прямо в домах, заражая их тлетворным запахом так, что присланные из российских губерний новоселы не уживались в этих хатах и уезжали обратно. Это были не исключительные, а весьма типичные явления на Днепропетровщине.

Писала скандинавская печать также о небывалом погроме церквей в России, о массовых лагерях принудительного труда, благодаря которым Советское правительство имело возможность диктовать мировому рынку демпинговые цены на сырье, прежде всего на хлеб и лес. Ибо раскулаченные крестьяне были дешевой рабсилой на лесоповале, а хлеб, собранный с их земли, шел на внешний рынок, когда уцелевшие на земле крестьяне вымирали в своих хатах от голода. Сейчас, в наши дни, это трудно понять и в это трудно верить, но именно на такой политике и была победно закончена первая пятилетка, а за нею и вторая! Советская модель имела две стороны: фасадную с «орлом», а точнее, с серпом и молотом, где победно высились Днепрогэсы и Магнитострои, Турксибы и совхозы-гиганты, и вторую, «решетку», причем решетку не геральдическую, а тюремную, за которой томились миллионы обездоленных, заплативших за победы социализма своими жизнями, кровью и детьми. Такие писатели, как Оренбург, Алексей Толстой, Горький, Леонов, Тихонов, Шолохов, Фадеев, Гайдар, и все вообще литераторы-коммунисты умели видеть и живописать только фасад, подчас чуть подпорченный какими-нибудь мелкими огрехами. И лишь много лет спустя один Солженицын сумел показать, какою ценой доставались социалистические победы и на каких костях построен «фундамент

здания социализма» в СССР. Официальный соцреализм эту проблему просто игнорировал либо сознательно искажал, затуманивал.

Однажды зимней ночью Роня споткнулся в подъезде, в начале лестницы, о нечто мягкое и живое. Вдоль стены вытянулось чье-то тело. В луче карманного фонарика оказалось насмерть перепуганное, очень миловидное девичье лицо с голубыми очами, золотой косой и явными приметами полного физического истощения. Вторая женская фигура, сидячая, с низко опущенной головой, замечена была у противоположной стены.

Между тем парадную дверь Роня отпирал своим ключом. Значит дворник, Борис Сергеевич, запиравший парадное перед полуночью, пожалел выгнать этих женщин в ночную метель и оставил их в тепле. Казалось, ни той, ни другой не дотянуть и до утра, если не помочь немедленно. Роня сходил за Катей. Они привели погибавших к себе. Баба Поля, ворчливая и не склонная к сантиментам, на этот раз безропотно затопила дровами ванную колонку. Отрепья с обеих были сожжены, спасенные вымыты и одеты в чистое. Их накормили остатками ужина и уложили на Ежичкиной кровати за ширмой в столовой, ибо сам Ежичка уехал в зимний лыжный пионерский лагерь вожатым. Младшая оказалась Ниной со Смоленщины, старшая пятидесятипятилетней Степанидой из-под Старой Рязани. Друг друга они до нынешней ночи не знали. Дворник же их просто не заметил, «не то бы выгнал, как везде гонят...».

Схема обоих рассказов была одна и та же: до коллективизации жили в достатке. Как загнали в колхоз, работать в нем никто не захотел, не было интересу. Ходили, сидели, глядели на развал, ждали. Ясно было, что урожая не собрать. Люди стали поглубже прятать остатки прежних запасов, еще от единоличных времен. Да разве в деревне мыслимо что-либо спрятать, когда сосед о соседе всю подноготную знает? «Так вот сосед на соседа и доказывал, где евонное зерно зарыто. Приехали, нашли, выгребли все до зернышка и уехали. Даже семфонд кое-где увезли, за госпоставки. А мужиков — кого посадили, кого дома оставили на голодную погибель, сеять велели. А чего сеять, коли государство так и так все себе заберет? Вот и пустились люди в бега...»

— А разве не ловят по дороге, не возвращают назад в колхозы?

— Ловят! По дороге не пройти, не проехать! Без справки, что отпущена общим собранием, беспременно поймают и воротят, еще срок намотать могут... Да ить мы знаем, где леском обойти, где полями, где по задам

Так вот 600 верст от Смоленска дотопала Нина и 300 верст из-под Рязани Степанида. Мол, в колхозе и так погибать, на бригадирскую палочку в тетрадке — колхозный трудодень — надежа плоха! Капиталу у обеих при себе: у Нины — ее семнадцатилетняя девичья честь, у старшей — умение делать любую работу...

Вальдеки обеих пристроили. Старую — к соседям в домработницы, со временем выхлопотали и прописку. Младшую оставили у себя в помощь бабе Поле, уже немощной для всего домашнего хозяйства со стирками, очередями и трехлетним человеком в семье. Потом, годы спустя, выдали Нину замуж за артиллерийского майора. Еще во время войны от них приходили письма и приветы... Но это — забег вперед!

Короче говоря, как ни изощрялась советская пропаганда в сокрытии прорех и просчетов, все-таки истина просачивалась на Запад через затычки и препоны. Это заставляло усиливать все каналы агитации. В России голод? Помилуйте — мы эшелонами продаем излишки хлеба! Этот отобранный у голодных ртов хлеб давал правительству инвалюту и опровергал слухи о голодных бунтах и хлебных очередях.

Западная пресса что-то клевещет насчет принудительного труда? Что же, верите вы, скажем, Ромену Роллану, Бернарду Шоу, Андре Жиду или архитектору Андре Люрса? Вот, мы их пригласили. Они у нас смотрели все, говорили, с кем хотели, убедились, каким энтузиазмом воспламенен весь народ! Они тонули в океане объятий, рукопожатий, банкетов, встреч, визитов, приемов, подарков, гонораров, изъявлений такой любви и такой веры, что их возвращение в Европу всегда знаменовало очередной пропагандистский триумф для устроителей этих поездок. Исключений было мало. Закулисную режиссуру понял Андре Жид, грек Панайот Истрати, еще несколько недоверчивых гостей. А большинство рукоплескало успехам социализма. Поэтому такое приглашение видных людей, как правило, себя оправдывало. Подготовка же этих поездок лежала обычно на Ронином Учреждении.

Однако по Рониным северным странам эти важные мероприятия с приходом нового председателя стали тормозиться. Референт настаивал и писал — начальство налагало негативные резолюции, отказывало в деньгах по такой важной графе учрежденческого плана, как приезд крупных иностранных деятелей, в особенности — писателей.

Смекнув, что плетью обуха не перешибешь, Рональд Вальдек отважился раз поставить начальство перед свершившимся фактом, зная, что лиха беда начало. Заполучить знаменитость в

страну — а уж там достанет умных людей поддержать у гостя хорошее настроение.

Буквально тайком от собственного начальства он послал через своего датского уполномоченного приглашение большому писателю-демократу, уже известному в России не только по переводам его книг на русский язык. Старшее поколение советских людей хорошо помнило, как писатель приезжал в Россию во время блокады одновременно с Айседорой Дункан, чтобы оказать посильную помощь голодающим Поволжья в 1919—22-м годах. Тогда писатель общался лично с Лениным, присутствовал на Конгрессе Коминтерна и числился другом первой в мире пролетарской страны.[89]

На Ронино приглашение приехать он просто-напросто взял билет до Москвы и телеграфировал Рональду, что прибудет с женой завтра, через границу в Белоострове.

Было это еще при старой председательнице истеричке. Та на просьбу референта выделить средства на скромную встречу писателя ответила ругательствами и отказом:

— Откуда он взялся? Да я его и не читала — значит, не так уж он известен! Если он вам так нужен — везите его к себе домой! По плану его приезд не значится, стало быть, нечего с ним возиться!

Положение было невеселое. Научил Роню, как действовать, старый опытный начальник отдела приема иностранцев товарищ Букетов.

— Позвоните начальственным басом в особняк Наркоминдела. Мол, готово ли помещение для великого писателя-демократа? Он, мол, через час приезжает. И везите его с вокзала прямо туда!

Роня еще до приезда дал заметки в несколько газет. Накануне прибытия знаменитости телефоны учреждения надрывали звонки из недавно созданного Союза писателей СССР, писательского клуба на Поварской, из МОРПа (Международная Организация Пролетарских писателей), ФОСПа (Федерация Объединений Советских писателей), «Литературной газеты» и многих редакций. Роня действительно позвонил в Наркоминдельский особняк на Спиридоновке и в тоне строгого приказа произнес:

— Через час к вам прибудет, прямо с поезда, великий западный писатель. Встречайте его скромно, но тепло. Поместите его поспокойнее.

На вокзале, благодаря Рониным газетным сообщениям, оказалась целая толпа встречающих. Были тут и Бела Иллеш, и Бруно Ясенский, и Михаил Кольцов, и Гейнц Коган, и Матэ Залка, и Альфред Курелла, их друзья и жены.

Роня поутру говорил по телефону-автомату председательнице с ледяным спокойствием:

— Я исполню ваше вчерашнее указание и повезу писателя к себе домой. На вокзале собралось пол-Москвы для встречи. Дадите ли вы мне служебную машину или мне везти его на такси, тоже на свои личные средства?

В ответ председательница что-то проклокотала, но Роня своего достиг: она испугалась!

А такси пришлось-таки ловить на улице. Попался старый «рено», истрепанный, как томик Конан Дойла в городской читальне. Пока «скандинавский Горький» со своей очень милой женой усаживались в жуткий драндулет, каких-то американских девок сажали в интуристовские «линкольны». Следом за драным «рено» поехали и морповцы — Иллеш и Коган.

У подъезда наркоминдельского особняка Роня не без тайного трепета вышел из драндулета. Пустят ли? Была бы хоть машина приличного вида, а то сразу видно — липа! Но все сошло, как предвидел Букетов. Пожилая горничная с поклоном встретила прибывших, повела их по парадной лестнице наверх и распахнула двери уютного покоя, обитого желтым шелком. Дюжий Бела Иллеш и худой Гейнц Коган отволокли туда увесистые чемоданы писателя. В столовой уже был сервирован легкий завтрак и чай. В то время на стенах этой столовой залы висели четыре подлинных Врубеля. Кажется, впоследствии их все же куда-то перевесили...

У Рони совсем уже было отлегло от сердца — писатель чудесно устроен, а главное — тронут заботой и радуется великолепию обстановки, созданной, как явствовало с очевидностью, для приема самых важных и высокопоставленных зарубежных гостей Наркоминдела. Однако Гейнц Коган сурово хмурился и, вкусив завтрак, отвел Рональда в сторону?

— Куда это вы, товарищ Вальдек, привезли большого пролетарского писателя? Этот бордельный особнячок предназначен для капиталистической сволочи! Сюда селят магнатов-монополистов и их буржуазных лакеев! Я подам на вас официальную жалобу за оскорбление пролетарского революционного самосознания нашего гостя!

Кстати, угрозу свою он привел в исполнение. В тот же день товарищ Коган подал в НКИД письменную жалобу на товарища Вальдека: мол, оскорблен в своих лучших чувствах революционный писатель! В НКИД долго смеялись над этим антикапиталистическим протестом. Даже враждебная Роне председательница, узнав о жалобе не дала ей ходу и назвала Гейнца Когана «недалеким человеком». Однако тот все же настоял, чтобы писателя перевели в гостиницу «Гранд-Отель», чем

весьма огорчил «скандинавского Горького». К тому же датский посол намекнул ему, что подобный перевод из особняка в гостиницу означает у русских не очень хорошую примету. Значит, предположил посол, русские чем-то недовольны... Писатель вовсе смутился, и Роне стоило немалых трудов убедить его, что никакой дискриминации тут нет. Наконец, когда сам Гейнц Коган намекнул ему, что отель более соответствует пролетарскому духу, чем особняк, гость грустно заметил: «Jch hatte es dort viel besser!»[90].

Тем временем писатель уже погружался в океан московского гостеприимства. Шли приемы, поездки, банкеты, встречи, выступления. Его приглашали заводы, издательства, писатели, студенты, профсоюзы. С ним заключали договоры и в газетах крупно печатали отчеты о его высказываниях и длинные беседы с ним в вопросах и ответах. Однажды на многолюдном собрании был прочитан лестный отзыв Ленина об одной из ранних книг гостя — это вызвало долгую овацию зала.

Наконец и председательница сообразила, что дала маху, и решила поправить дело банкетом в честь писателя. Потребовала у референта справку о книгах «скандинавского Горького», нетвердо усвоив список, произнесла на банкете речь, перепутала все названия, но поклялась, что сызмальства обожала эти книги, читала их запоем и числит с тех пор писателя в строю своих любимых авторов. Встреча с ним — величайший праздник для ее сердца!

Писатель, обласканный и растроганный, уехал домой еще большим другом Советского Союза, чем приехал. Таким образом тактика совершившегося факта, избранная референтом Вальдеком, полностью себя в данном случае оправдала.

Однако начальство, как всегда упрямое, существенных выводов из этого успешного опыта не сделало и по-прежнему скупилось на скандинавских гостей! Рональд Вальдек почти теми же ходами начал свою следующую партию. На этот раз речь шла о другой крупной северной писательнице, чьи книги он знал с юности и любил их[91].

За страницами этих книг чувствовались подлинный талант, широкое сердце и недюжинный ум склада женского, то есть не слишком углубляющегося в философские недра души, но очень наблюдательного по части внешних проявлений этой души. Он решил действовать по оправдавшему себя трафарету: завязал переписку, посоветовал приехать и обещал здесь, на месте, сделать все возможное, чтобы ей понравилось.

Женщина деловая и практичная, она договорилась с большой скандинавской газетой о серии корреспонденций об СССР,

получила аванс, взяла билет и приехала вместе с секретарем-компаньонкой. Все пошло сперва точно так же, как с предшественником-писателем. Сначала — упрямое невежественное сопротивление всем предложениям и просьбам, отказ от всякой материальной поддержки приезда, потом — газетный шум, нарастающая сенсация, десятки статей и корреспонденции, портреты писательницы на первых страницах журналов, интервью с нею, поцелуи, банкеты, объятия и... очередная речь главы Правления, как близка ее сердцу любая книга дорогой гостьи.

Общение с этим автором поистине обогащало! Прежде всего поражали ее работоспособность, дисциплина ее труда, изумительная натренированность воли, чувство ответственности за каждое слово, каждый жест и штрих в статьях и публичных реках. Эта далеко не молодая женщина могла в день осмотреть два больших музея, с поразительной точностью запоминая и выделяя все наиболее существенное. Был случай, когда утром она за четыре часа осмотрела Третьяковскую галерею, а после обеда — Политехнический музей. Рональд попытался ее «проэкзаменовать». Она вспомнила все картины, иконы и скульптуры, на которые обращал ее внимание профессор Сидоров, сопровождавший писательницу по галерее. Безошибочно она называла художника, период и тему вещи. А после Политехнического музея она прочла своей компаньонке такую лекцию об основных отраслях промышленности в пятилетке, что получился ученый инженерный обзор, который сделал бы честь экономической газете.

С этой умной и наблюдательной женщиной Вальдек был на скромном деловом приеме у Надежды Константиновны Крупской, вдовы Ленина. Сперва сидели целой группой в ее служебном кабинете на Чистых прудах, в здании Наркомпроса, где она занимала пост замнаркома (после Луначарского наркомом был Бубнов). Затем обе главные участницы беседы пожелали поговорить с глазу на глаз и на некоторое время уединились в другом кабинете. Вышли они оттуда к остальной группе, утирая слезы. По дороге в гостиницу писательница шепнула Роне:

— Она плакала потому, что вы здесь, похоже, совсем забыли Ленина! Только больше не проговоритесь об этом никому — ведь она может ответить за эти слова!

Под конец беседы имел место еще более характерный и многозначительный случай. Секретарша Крупской извинилась перед беседующими и сообщила своей начальнице, что два приезжих человека из Петрозаводска непременно должны на пять минут видеть Крупскую по очень важному делу. Их поезд отходит

через три часа, и они убедительно просят принять их немедленно. Крупская попросила у присутствующих разрешения прервать беседу ради приема этих двух товарищей. Разумеется, все согласились. Вошли два товарища из Карельской автономной республики. Они, торопясь, просили Крупскую посоветовать, каким памятником Ленину следует украсить главную площадь Петрозаводска. В каком роде и в какой позе должен, по ее мнению, быть этот памятник и из какого материала?

Очень запомнился Рональду ответ Крупской:

— Пожалуйста, дорогие товарищи, — говорила она, — не упускайте из виду, что Ленин ненавидел мемориальные статуи. Во всяком случае, он был решительным противником установки таких памятников ему самому. Рассказ о том, что он позволил это сделать рабочим-глуховцам, основан на недоразумении, ибо ни он, ни другие участники встречи с глуховцами не пожелали обидеть автора той глиняной скульптуры, простого местного рабочего, сделавшего ее для своего поселка из лучших чувств к Ленину. Но руководители большого города должны знать, что памятником Ленину ни в коем случае не должны быть статуи и скульптуры на улицах и площадях. Городские статуи нужны, и Ленин их поощрял, но не для возвеличения собственного образа. Пусть они, эти статуи и фигуры, выражают идеи революции и свершения пролетариата, воплощают ленинские мысли, а не повторяют его физический облик, всегда такой непритязательный... Хотите поставить памятник Ленину? Постройте в вашем городе образцовый Дом Крестьянина, чтобы каждый деревенский труженик, приезжая в город, чувствовал себя как бы в гостях у Ленина!

Северную писательницу растрогал этот интересный совет Крупской. Она горячо поддержала мысль о том, что худшим видом увековечения памяти Ленина служат ремесленные бюсты и статуи.

Вот так, с перебоями, успехами и неудачами шла работа Скандинавского сектора, руководимого Рональдом Вальдеком. Он редактировал журнальные статьи, вел немалую переписку, отвечал на запросы, слал целые библиотеки книг и тонны материалов, помогал зарубежным авторам специальной научной литературой по их темам. Так, например, один из Рониных корреспондентов в Голландии выпустил двухтомную историю русской революции по материалам, полученным через Вальдека, — это были сотни исторических трудов... Многие он послал из собственной библиотеки, когда отчаялся добыть книги иным путем. Но все это была лишь видимая поверхность его деятельности. Существовал еще и некий другой, сложный,

противоречивый, Как бы подводный мир, не менее важный, чем надводный и видимый.

И был у Рони Вальдека в этом подводно-подземном мире свой властитель, свой Плутон и Нептун в одном лице. Он велел называть себя Иоасафом Павловичем, а между собой Роня и Катя звали его не иначе, как Зажеп... Обычно он носил штатское, но в петлицах его форменного чекистского обмундирования красовался «ромб» — знак различия комбрига (по-нынешнему приблизительно генерал-майора). Поскольку человек этот, как позднее смог понять Рональд, был насквозь фальшив, совсем не исключено, что «ромб» вдевался в петлицу лишь для устрашения трусов или вдохновения фанатических простаков: имел ли Зажеп на самом деле столь высокий чин — остается сомнительным.

Сколько ночей не спали из-за него Роня и Катя!

Обработку восторженного неофита Рональда Вальдека начал он с того, что пригласил домой, в Денежный переулок. Потребовал, чтобы Рональд чистосердечно и откровенно страницах на 10—20 написал бы всю подноготную своих дедов, родителей, близких и даже дальних родственников. В следующем разделе Роне надлежало ярко и выпукло живописать не только все собственные изъяны, заблуждения, ошибки, проступки и тайные грехи, но и замыслы подобных грехов...

— Не вздумайте отнестись к этому поручению бюрократически, — говорил Зажеп необычайно веско. — Вы должны понять: мы требуем этого от каждого и преследуем двойную цель. Первая наша задача — проверить степень искренности с нами, вашей честности. Ведь мы знаем о вас ВСЕ, даже то, что вы сами либо забыли, а может быть, даже и не знали вовсе. Например, мы знаем, какие виды на вас могут иметь наши враги. Вот мы и судим по вашим самопризнаниям о степени вашей искренности. Вторая наша цель — застраховаться. То есть получить от вас как бы моральный вексель. Чтобы мы всегда были в состоянии воспользоваться вашей подписью и вашими самопризнаниями в целях обороны вашей неустойчивости или прямой измены нашему делу.

— То есть вам нужен инструмент для шантажа?

— Шантаж, товарищ Вальдек, выражение неприемлемое, когда речь идет о чекистах. Этим занимаются грязные зарубежные разведки. А разведка советская знает лишь необходимые средства обороны на случай неустойчивости этого агента или, скажем прямо, его подкупа врагом... Словом, назначение этого векселя вам ясно! Принесите его побыстрее!

Вот тогда-то они с Катей целую ночь сочиняли вексель в виде разоблачительных самопризнаний. Роня изложил на бумаге все

сокровенное, что когда-либо происходило с ним и с его родителями, упомянул даже о неудачной попытке некоего старика склонить его к содомскому греху. Он перечислил все свои высказанные и невысказанные сомнения и смолчал только об одном: о непреодолимой вере в Бога!

Листы эти Зажеп читал в Ронином присутствии, причем по мере чтения лицо его чернело и все яснее принимало оттенок неудовольствия. Он назвал самопризнания слабыми, половинчатыми, неискренними, стал повышать голос, требовать других признаний, фактов, деяний реальных, лежащих на совести... Под конец беседы он орал, стучал по столу кулаком, требовал правды, грозил немедленным арестом, кричал в телефон: «Готовьте воронка для арестованного», но достиг результата противоположного. Роне вдруг стало совсем не страшно, даже как-то скучно и томительно. Зажеп явно переигрывал.

— Дайте-ка мне трубку! — сказал он вдруг, прерывая крики собеседника. И тот, верно, от неожиданности протянул Рональду трубку.

Роня набрал номер Максима Павловича. Просил принять его по возможности еще сегодня вечером, пусть поздним. Получил согласие и указание, где будет пропуск.

Явился с написанным заявлением-жалобой по поводу стиля работы товарища Иоасафа Павловича. Прием был краток. Начальник отделения заверил, что «допросы с пристрастием» больше не повторятся, однако, выразил неудовольствие по поводу пассивности самого автора претензии.

— Чем с руководителем своим препираться по-пустому из-за чепухи, помогли бы нам лучше разоблачить немецкий заговор в Москве.

— Какой заговор? — удивился Вальдек.

— Ну вот, рядом ходите, а никак не нащупаете! — был ответ. — Оглядитесь получше, вдумайтесь и будьте подлинным коммунистом, притом русским коммунистом-ленинцем! А на Иоасафа не обижайтесь, он, бывает, зарывается, но работник он прекрасный! Берите пример с его инициативности!

2

Все-таки при всей своей инициативности Зажеп, видимо, взбучку получил, ибо стал приветливым и спокойным. В глаза и по телефону, наедине и при Максиме Павловиче стал называть Рональда Вальдека своим лучшим международным консультантом, все чаще обращался по сложным проблемам,

прося уточнить детали, всегда требовал немедленных характеристик той или иной зарубежной организации, состава ее членов или руководящих лиц. Его, например, интересовали общества вроде «Клярте» или «Мот даг», «Союз норвежских студентов», а иногда вдруг нужны были сведения о какой-нибудь коммерческой фирме, в чем Роня помочь ему не мог, разве только в самой общей форме, из официальных справочников. Просил Зажеп приносить ему отдельные номера западных газет или журналов, находил там нужные места, делал вид, будто углубляется в текст, а затем спрашивал значение слов, фраз и даже целых абзацев. В результате Роня переводил ему вслух всю интересующую его статью. По их нейтральному содержанию Роня понимал, что Зажепу нужны эти перевода отнюдь не в мнимых оперативных целях, а попросту для каких-нибудь учебных курсов, где он, видимо, сильно отставал по иностранному языку.

Особенно его интересовали сведения о немецких жителях Москвы, о «немецкой колонии», как он выражался. Потребовал письменно изложить все что известно Рональду, о таких обществах, как «Лидертафель»[92], «Турнферейн»[93], Церковный хор, немецкие гимназии в Москве — Петропавловская, Реформатская, и обо всех остатках немецких концессионных предприятий.

Консультант отвечал, что все это — не по его части, и узнать какие-либо подробности можно только через представителей старшего поколения, например, через собственных родителей. Но не может ли, мол, эта информация, самая объективная, все-таки повредить всему указанному кругу лиц, общественно весьма полезных, политически нейтральных или безобидных и, как правило, технически образованных и профессионально ценных?

Зажеп улыбнулся дружески.

— Слушайте, неужели вы еще не поняли, что мы просвечиваем людей вовсе не для того, чтобы им вредить или мешать! Но мы должны держать руку на регуляторе! Чтобы предотвратить соскальзывание в пропасть, вовремя вмешаться и помочь... избежать ошибок. Правдивый и объективный отчет ваш спасет всех невиновных, когда мы нащупаем среди них и выявим вражескую организацию, то есть реальный заговор. Вот тут ваша революционная совесть, коммунистическая убежденность помогут нам определить, где их наивность переходила в преступность... Тут вы проверите себя, какой голос в вас звучит громче: голос коммунистической совести или голос крови...

— Вы намекаете, что мои родители могут быть замешаны…

— Нет, нет! Мы знаем профессора Вальдека и верим ему. Но мы убеждены, что такие люди могут стать объектом вражеского

шантажа и обмана. Мы тщательно следим за его окружением, чтобы вовремя отвести вражескую руку. За одно я вам ручаюсь: с головы ваших родителей не упадет ни один волос, если через них самих или через их посредство мы получим реальный материал о вражеских происках. Он послужит им защитой, даже если бы обнаружились бы какие-то их собственные ошибки... Мы умеем прощать ошибки старых людей. Не прощаем мы только ложь и утайку!

— Что же практически вы мне предлагаете? Я с юных лет уже отошел от их круга. Возвращение в него было бы слишком неестественным, как сами немцы говорят, «ауффалленд»[94]. Кроме того, я абсолютно убежден в полной честности моих родителей и их круга друзей.

— Согласен, но... луч света никогда не вредит всему здоровому и нормальному! Я полагал бы, что вам надо приглядеться к церковной общине. Вы не поете? Лучше всего было бы поступление в церковный хор.

— Невозможно. Условия моей службы это исключают, да и голос мой не для хоралов!

— Жаль! Ну, хорошо, свяжитесь с органистом. Вы ведь любите органную музыку?

— Конечно, люблю! Там прекрасный орган. В детстве заслушивался.

— Ну вот видите, как хорошо! Органист репетирует всегда в пустой церкви. Попросите его, чтобы разрешил вам присутствовать на репетициях. Войдите к нему в доверие, кое-что выясните с его помощью, а там... Словом, лиха беда начало! И помните: фашистский паук плетет густую сеть! А немецкий церковный хор — очень жирная муха для этого паука...

3

В пустой церкви Петра и Павла он слушал Баха, Моцарта и Гайдна в исполнении сравнительно молодого болезненного с виду музыканта, сумевшего сменить фортепиано на орган, быстро переучиться. Это были приятные и грустные часы, обычно довольно поздние.

Сквозь четыре цветных витража с изображением евангелистов Матфея, Луки, Марка и Иоанна слабо пробивался отблеск уличных огней. На алтаре золотело распятие, а над ним уходило вверх, к дубовой панели и своду абсиды, большое полотно «Моление о чаше». Коленопреклоненный Иисус Христос, Сын

Божий, Богочеловек, взывал к небесному Отцу о миновании грядущей муки. Лик его, написанный с вдохновением известным

академиком живописи, излучал свет, ощутимый в полутьме храма, при потушенных люстрах и светильниках. Только органную клавиатуру робко озарял матовый плафон. Звучали фуги Баха, одна за другой. Слушатель грезил о море, видел катящиеся волны, слышал ветер и уплывал в лунную зыбь... Или возникал перед ним снова снежный Казбек среди звезд.

И Рональд Вальдек в эти часы молился Господу Богу: во имя Христа, во имя всех нас, детей Твоих человеческих, научи, просвети меня, дай мне быть орудием Твоим, не допусти моей ошибки, ложного шага, грехопадения рокового. Не ради выгоды и корысти, а для блага моего отечества и всего страждущего и обремененного человечества сподоби меня, Господи, поступить по высшей правде и справедливости... Ведь с самого детства моего, с блоковской поэмы, ты, Христос Спаситель, шествуешь в белом венчике из роз впереди темной, грешной, но всепобеждающей и очищающей Революции... Подскажи мне, Господи, верно ли я ей служу, и укрепи дух мой!

Дважды они были тут с Катей. Роня под музыку органа, шептал ей на ухо слова таких вот импровизированных молитв и они оба сидели с мокрыми глазами и мучительно силились крепить в себе революционную веру, будто лик Спасителя и лицо Зажепа не противоречат друг другу и указуют человечеству одну и ту же цель — спасение от скверны и царство Божие на земле...

* * *

...Еще несколько раньше, в апреле 1933 года, произошел в работе Рональда Вальдека один, но очень значительный и почти случайный эпизод, имевший много позднее не очень приятные для него последствия.

Из-за кратковременного заболевания товарища Шлимма Рональду пришлось ненадолго заменить его по Германскому сектору. Было это в первые месяцы после прихода к власти нового рейхсканцлера Адольфа Гитлера. В Берлине спешно восстанавливали монументальное здание рейхстага — творение зодчего Пауля Валлота в духе итальянского ренессанса, утяжеленное немецкой основательностью. Это здание, построенное в конце XIX века и ставшее символом крушения Германии в 1945-м, тогда, в феврале 1933-го, сгорело по тайному приказу Геринга, чтобы послужить сигналом для расправы с коммунистами. Их лишили парламентских мандатов, Тельмана посадили в Моабит, а рядовых коммунистов — в концлагеря. Немецкие юристы уже готовили лейпцигский процесс, эсэсовцы изобретали ритуал ночных книжных аутодафе, а безобидные

прежде названия старинных городков, вроде Дахау или Бухенвальда, превращались в зловещие символы смерти...

Тем временем в Москве официальная пресса не жалела красок на описание зверств фашистского террора, режима концлагерей и тюремного палачества. Однако правители страны строящегося коммунизма, особенно руководители партии и государственных органов подавления и устрашения, с пристальным вниманием и живейшим интересом присматривались к новой практике гитлеровцев. В их карательных и воспитательных акциях поражали целеустремленность, строгая дисциплинированность, завидная исполнительность и надежность. Весьма примечательны были четкая структура штурмовых и охранных отрядов, поистине тотальный размах акций, стремительное и успешное подавление всякого инакомыслия и оппозиции и не менее успешная унификация прессы, парламентских партий и профсоюзов. Там, в Германии, несомненно был хорошо учтен и творчески развит опыт становления ленинской диктатуры! И, в свою очередь, она сама, то есть ленинская марксистская партия, создавшая советский строй, могла теперь черпать свежие идеи и приемы из наглядного опыта вновь возникшего по-соседству тоталитарного режима. В его молниеносном успехе сыграло свою роль и богатство технократического элемента. В реальной практике гитлеризма имели немаловажное значение такие достижения западноевропейской цивилизации, какие могли быть вполне приемлемы и для тоталитарного Востока!

Это уже носилось в воздухе... Некие правительственные флюиды 1939 года! Начались и кое-какие реальные взаимные авансы. Несмотря на основные положения книги «Майн Кампф» и ежедневные порции антифашистского материала в «Правде» и «Комсомолке»!

...Учреждение получило письмо из Берлина от вновь созданной фашистской полунаучной-полупропагандистской организации с просьбой прислать обстоятельный материал («книги, брошюры, плакаты, газеты, кинофильмы») о советском опыте воспитания фюрерства, то есть вождизма, среди пионеров, комсомольцев, коммунистов и беспартийных. Немцев-пропагандистов интересовало, как выращиваются в Советском Союзе пионервожатые, комсомольские ораторы, секретари первичных партийных организаций, вожди покрупнее, каков их жизненный и партийный путь, как движутся они по эскалатору карьеры, каковы их моральные требования, как они воздействуют на массу «ведомых» и с какого, примерно, возраста выявляются их фюрерские качества...

Рональд Вальдек, к сожалению, не узнал, как ответил товарищ Шлимм на эту просьбу, но, читая впоследствии журналы, типа «Вожатый», «Воспитание школьников» и множество других, часто вспоминал запрос из Германии 1933 года, и в душе полагал, что вопрошавшие получили бы исчерпывающие ответы из этих журналов и прочих наших «Блокнотов агитатора».

Однажды заместитель наркома Литвинова товарищ Н. Н. Крестинский[95] попросил к телефону работника по Германии. Трубку взять пришлось Вальдеку — товарищ Шлимм лежал дома с сильнейшим московским гриппом. Крестинский знал Вальдека, по крайней мере по фамилии, и просил приехать во Второй Западный.

Там Рональду был вручен печатный текст небольшой речи, написанной на русском языке. Текста было странички на полторы. Рональда попросили к завтрашнему дню сделать очень точный и притом литературно безупречный перевод речи на немецкий. Референт Второго Западного предполагал, что перевод сделает блестящий стилист, товарищ Германн. Оказывается, сотрудник НКИД не знал еще, что товарищ Германн больше не работает в отделе внешних сношений Учреждения.

На другое утро Рональд Вальдек по дороге на службу заехал в НКИД и оставил на имя Н. Н. Крестинского пакет с переводной речью. А перед обедом сам Крестинский вызвал к телефону Вальдека. Он похвалил перевод, назвал его «элегантным», велел исправить одно слово и выучить текст наизусть. А нынешним вечером произнести эту вычурную речь на небольшом приеме в доме германского посла фон Дирксена. Прием приурочен к одиннадцатой годовщине Рапальского договора от 16 апреля 1922 года.

Смысл приготовленного и переведенного текста заключался в том, что, мол, политические перемены в Германии, вызывающие глубокий интерес и пристальное внимание у нас и у соседних стран, не должны препятствовать продолжению полезного и плодотворного сотрудничества во всех областях экономики и культуры. Задача состояла в том, чтобы уловить тональность и окраску ответной реакции немецкой стороны. Скромная должность и не вполне дипломатический статус оратора придали этому пробному шару характер как бы неофициальной и почти частной инициативы, поэтому ни в коем случае нельзя было пользоваться шпаргалкой!

В доме посла Рональд старался представить себе, какие предметы мог бы узнать здесь его дед, Александр Вальдек, долголетний канцлер и драгоман этого посольского заведения... Сам особняк, лестницы, парадный вход, часть залов, а может

быть, и часть меблировки, возможно, были еще прежними. Может быть, в этой люстре некогда тлели нити первых электроламп, и при их свете дед, не исключено, что и за этим столом, беседовал с великими людьми прошлого. В таких мыслях была какая-то сладкая горечь, но их тут же перебивали иные мысли — о великой доктрине Маркса-Ленина, о классовой сущности дипломатии, о святой и глубоко человечной чекистской работе, для которой нужны только безупречно чистые и верные руки...

Прием был очень узкий, шел несколько натянуто и продолжался недолго. Кстати, на пригласительной карточке стояло чернилами слово: «Штрассенанцуг», то есть, переодеваться и принимать парадный вид не нужно. Реакция германской стороны на заигрывания и авансы была холодной. Пробный шар встретил холодные струи политической метеорологии!

На этом приеме Рональд Вальдек узнал и господина Мильгера, дальнего родственника Стольниковых. За столом они обменялись кое-какими незначительными любезностями, но в беседу не вступали, Рональд разговаривал весь вечер с каким-то пожилым журналистом, хорошо знавшим Москву и москвичей.

Вечер этот относился к разряду «мальчишников», когда отсутствие дамского общества компенсируется обычно двойными или тройными количествами спиртного и веселящего. После своей маленькой речи и прохладного ответного слова первого советника, Рональд предложил еще тост, посидел с полчаса и счел уместным откланяться.

Господин Мильгер провожал его до порога вестибюля. Как бы мимоходом, без посторонних ушей, он осведомился, как поживают те или иные солисты, музыканты и хористы «Лидертафель», не будет ли повторена оратория «Манфред», как чувствует себя господин Вальдек-старший и пишут ли ему Стольниковы из Польши (они тем временем обосновались там, близ здания собственной текстильной фабрики в Лодзи).

Рональд Вальдек отвечал, что, мол, все прекрасно и восхитительно, Стольниковы пишут минорные письма, а все москвичи — в неизменном мажоре. «Лидертафель» процветает, а насчет оратории... пока, как будто, повторение не планируется (часть исполнителей уже пребывала в ссылках и нетях, о чем Рональд Вальдек, естественно, умолчал дружественному дипломату).

Затем, в соответствии со своими привычными инструкциями, Рональд на приеме у Зажепа обстоятельно изложил своему негласному патрону события и встречи, равно как и все подробности посольского приема, и вскоре в гуще дел совсем позабыл о нем.

Отношения с церковным органистом тем временем укреплялись. Слушатель Баха отблагодарил исполнителя тем, что доставал ему билеты на выступления иностранных музыкантов, а органист постепенно знакомил слушателя со своими коллегами и товарищами. Среди них Роне понравился молодой певец-бас, Денике. Тому показалось лестным Ронино присутствие на семейной вечеринке. Собрались почти сплошь московские немцы, Ронииного поколения. Эти молодые люди оказались хорошо воспитанными, весьма музыкальными, вежливыми, воздержанными и, по-видимому, технически образованными и при всем том — веселыми и общительными. Вечеринка было организована превосходно — четко шла обдуманная программа, столь же неприметно, быстро и споро работала кухня. Снявши переднички, молодые хорошенькие девушки и дамы мгновенно преобразились из кухарок и горничных в хозяек, мило танцевали, весело пели и умело реагировали на попытки мужской стороны развлекать их: проявляли интерес к рассказам и анекдотам, смеялись в положенных местах и просили продолжать... У Рони сразу вырос круг московских знакомств в этой почти забытой им среде, к тому же возраста не родительского, а весьма близкого к его собственному. Последовали новые приглашения ко дням рождения, к «Вайнахтен» и «Сильвестерабенд», то есть к Рождеству и новогодней встрече...

К одному крупному архитектору немецкого происхождения Роня получил приглашение вместе со своими родителями, точнее, они передали приглашение и сыну. За огромным столом оказалось не менее шести десятков людей, преимущественно старшего возраста. Это были старинные московские интеллигенты XIX века, специалисты во всех областях — музыканты, инженеры, врачи, архитекторы, математики, педагоги. Рональд узнал многих папиных друзей: молчаливого профессора Вихерта, инженера Коппе, органиста Гедике, профессора Ауэра, автоконструктора Бриллинга: иных он знал в лицо, но запамятовал имена. То были руководители научных кафедр в институтах, проектировщики известных зданий, технические руководителя крупных производств. Один из известных московских врачей, доктор Кронеталь, произнес на вечере большую вступительную речь.

Оратор сравнил московских немцев кукуйского происхождения со средневековой швейцарской гвардией. Дескать, в некотором роде мы, кукуйские немцы, тоже наймиты у здешних коренных властителей, ибо мы — нацменьшинство. Но советские власти, которым мы служим как бы на правах ее преторианской гвардии, подобно гвардии швейцарской на службе у иноземных,

например, французских королей, никогда не будут иметь повода к неудовольствию! Дело нашей немецкой чести — ни в чем не подвести своих советских хозяев! Наш труд, наши знания мы отдаем щедро и трудимся с вдохновением, хотя и не очень верим в конечную цель такого эксперимента, который осуществляет советская власть.

— Можно не разделять некоторых политических концепций, — продолжал доктор Кронеталь. — Можно сомневаться в правильности и оправданности тех или иных практических шагов правительства. Не буду перечислять тех мер, какие лично мне и большинству здесь присутствующих кажутся не только хозяйственно вредными, неразумными, но и социально неоправданными. Мы их отвергаем в своей среде и, даст Бог, не будем иметь с ними ничего общего. Например, со всем тем, что творится сейчас в деревне. Последствия мы ощущаем столь же остро и тяжело, как все в России, но вины за эти события не несем. Итак, повторяю, можно далеко не все правительственные меры одобрять, но любому из нас надо честно и любовно делать свое дело на порученном участке. Честно работать — наш девиз! Приносить пользу этой стране, где мы родились и выросли, где многие из нас учились, завершив образование в иностранных университетах или у лучших русских профессоров, — таков наш долг и наша честь! Если же мы бываем поставлены в плохие условия и видим, что наши силы тратятся впустую — тогда надо заявить об этом хозяевам громко! Мол, требуем человеческих условий, либо — открывайте нам ворота из страны! Ибо мы — мастера своего дела, нам цена — везде высокая. Однако, до таких крайностей у нас, слава Богу, доходит дело не часто, ибо русские наши начальники-партийцы обычно умеют ценить нашу преторианскую гвардию, а мы сами, швейцарские гвардейцы, сердечно любим свое российское отечество, когда оно разумно использует наши знания и опыт!

Когда Роня пересказал эту речь Зажепу, тот пожал плечами и буркнул:

— Что ж, так оно и есть. Форменные наймиты! Неглупый медик! Однако, ничего интересного в этой речи нет. Вот если бы вы, Вальдек, в отчете немножко повернули бы текст, переставили акценты, то могло бы зазвучать острее... Впрочем, как знаете!

Но чем дальше длились встречи Рони с Зажепом, тем нетерпеливее тот становился. Он опять делался грубым и придирчивым.

— Слушайте, Вальдек, вы совсем не способный к нашей работе человек. При вашем-то происхождении, ваших связях, встречах, обязанностях — могли бы горами двигать! А вы ничего

существенного не делаете для нас, не помогаете нам. Ну, консультации. Для этого есть и специальные ведомства. Получили бы и без вас! Ну, мелкие фактические справки, кое-какие рекомендации... А где организация? Где разоблаченные враги-антисоветчики? Эх, Вальдек, Вальдек! А еще хотели быть острием кинжала, входящего в грудь врагу! Вот ведь и Максим Палыч вами давно недоволен. Да проснитесь вы! Я вам разрешаю несколько стимулировать ваши объекты... в направлении большей откровенности.

Зажеп любил выражаться замысловато.

— Объясните, что значит «стимулировать»?

— Ну, завести, скажем, осторожный наводящий разговор. Показать свой интерес к внутригерманским проблемам. Пусть мелькнут, в конце концов, будто невзначай, какие-нибудь портретики в вашем блокноте или бумажнике. Ну, там Гитлер, Гинденбург или хоть Николай Второй, что ли... Пусть где-нибудь будет наклеена крошечная свастика... Да слушайте, неужели вы сами ничего не можете придумать, чтобы расположить к доверию тех, кто всерьез мечтает о свастике и фюрере! А таких около вас — ого-го! Вот увидите, еще как клюнут! Крючок без наживки — плохая надежда. А с наживкой — оглянуться не успеете, почувствуете интерес врага.

— Иоасаф Павлович, поймите, что все это не для меня! Я ношу портрет Сталина и притворщик из меня — никудышный.

— А ваша жена?

— Тоже, как и я. Она — открытый и правдивый человек.

— А между тем, успешно работает. И продуктивно. Ею мы довольны.

Но ведь ей ни в чем не приходится притворяться, не надо разыгрывать то, что ей не свойственно. Значит ее руководство просто правильно сумело использовать такого работника. А вы, на мой взгляд, совершенно не умеете, простите за прямоту! Вы меня то дергаете, то торопите, то пугаете. Я лично все это представлял совсем иначе. Мою позицию никак не используете и навязываете круг людей мне чужой и поручаете разыгрывать из себя то, что мне чуждо. Все это просто невыносимо для меня. Времени я трачу много — толку вижу мало.

Ну, уж не так все черно, как вы обрисовали. Прошу вас, не принижайте значения вашей работы. От нее зависят прямые государственные интересы. Мы с вами еще поговорим об этом подробно. А пока — исполните то, что я вам посоветовал. Вас и Максим Павлович просит быть поактивнее.

В свежем номере «Гамбургер Иллюстрирте» Рональду попался снимок фюрера при очередном выступлении. Его физиономия

вызывала у Рони чувство, близкое к тошноте. Одутловатая, мещанская физиономия, свиные тяжелые глазки, косо подрезанная челка на низком лбу... Держать при себе такую вырезку было мерзко, но он положил ее в блокнот. Назвался груздем — полезай в кузов!

На следующей же встрече с друзьями церковного органиста, во время танцев, Рональд стоял поодаль вместе с певцом Денике. Органист, вальсируя, как бы вручил Рональду его партнершу по танцам в ту минуту, когда он записывал в блокнот новый телефон Денике. Из блокнота выпала вырезка из «Гамбургер Иллюстрирте». Органист и Денике так и кинулись: «Покажи! Покажи!» Органист даже затрясся от восторга, впрочем искусственного:

— Ах, фюрер, фюрер! Какой это великий германец! Главное, хорошо, что я теперь тебя понял, Рональд! Ведь я не был в тебе уверен. Думал — ты искренний коммунист.

— А кем же ты считаешь самого себя? — насмешливо спросил Роня.

— Себя? Я — вот! — и собеседник, органист, изобразил быстрым движением руки невидимую свастику на своей груди. Роню передернуло от отвращения. Он ненавидел все, связанное с коричневой чумой, заразившей, затопившей великую европейскую страну. Рональд понимал, что там, в послеверсальской Германии, гитлеризм мог иметь успех среди тех немцев, кто страдал от национального унижения и мечтал о реванше. Но здесь, в России, где у немцев есть своя социалистическая республика на Волге и свои церкви в городах и селах, и своя большая центральная газета, и обширные колонии на юге, где выходцы из Германии давно создали свой устойчивый жизненный уклад, кажется немыслимым сочувствие «величию фюрера», автора «Майн Кампф», исполненной человеконенавистничества и национального эгоизма... Может, и органист притворяется в тех же целях, что и Рональд? Катя уже не раз высказывала о нем такое предположение...

А певец? Который тоже сочувствует фашизму? А может, и он притворяется? Вспомнился Честертон, «Человек, который был четвергом». Там все сыщики гонятся за таинственными адептами тайной организации, все эти адепты в конце концов оказываются тайными агентами полиции.

Но певца уже попросили к роялю, так как публика устала от танцев. Он запел «Гармонии стиха божественные тайны» Римского-Корсакова. И в один миг Рональд забыл и Зажепа, и свастику, и Гитлера. Мягкий, ласковый бас Денике проникновенно вливал в Ронину душу заветные слова и заветную

мелодию. Как теплый ветер в ночную стужу ласкала душу мелодия... Все в нем замерло, как при наркозе, и с горечью ему подумалось, что похож он на кобру, зачарованную мелодией хозяйской флейты, но готовую, пробудясь, тут же уничтожить и певца, и органиста-аккомпаниатора.

Тем временем настала его очередь занять чем-то аудиторию. И он прочел старые свои стихи, времен институтских, не очень самостоятельные, с чужими заимствованными кусками, но пришедшие на память и показавшиеся, пожалуй, подходящими в тех целях «стимуляции». Стихи назывались «Кинжал». Речь шла о человеке, забывшем про свой кинжал, когда

Тот страшный год пришел... На черных небесах
Призыв последний загорался,
Но пламенный кинжал ржавел в чужих ножнах
И солью гнева покрывался...

Но клятве верности, я робкий, изменил,
Но я ушел за чуждым станом!
И друга предал я... И глубоко зарыл
Кинжал на берегу песчаном...

Ты не найдешь его! Теперь владеет им
Морей пустынная подруга,
И сталью звонкою под небом голубым
Поет соленый ветер юга.

Эти стихи были простительны семнадцатилетнему поэту. Писались они в Восточном Крыму среди киммерийской волошинской пустыни, и, кстати, нравились самому Максимиллиану Александровичу. Роня Вальдек познакомился с ним в 1926 году и затем общался еще в следующем своем крымском сезоне, работая экскурсоводом по Восточному Крыму, от Судака до Феодосии, пока не подался на Кавказ...

В немецкой же аудитории, уже более зрелой годами, он прочел их в состоянии лирической экзальтации после пения Денике, как бы приоткрывая вместе с тем свою нравственную изнанку, свою печаль по утраченным гражданским чувствам, некогда звавшим хозяина кинжала «занести его над веком». Как показалось Роне, стихи особого впечатления не произвели и остались малозамеченными. Публика уже была в изрядном подпитии.

На Рониной службе интриги и междоусобица так разделили весь состав Учреждения, что каждая группа боролась за своего

босса. У Рони была уйма служебных дел и забот, он барахтался в них, отбиваясь от интриганов, тянущих то в одну, то в другую «партию», от нудных посетителей, от собственных невеселых мыслей, от Зажепа, от текущих кампаний и сезонных праздников, всегда осложненных всяческими обязательствами «по выполнению и перевыполнению»...

В такую пору приехала в Москву молодая шведская журналистка. Вскоре она оказалась соседкой Рональда на каком-то банкете. Звали ее Юлия Вестерн, муж был знаменитым архитектором, а сама она — лево настроенной, предприимчивой и любознательной особой, стремящейся все познать, испытать и описать. Была очень хороша собою, и даже на том банкете мужские взоры в ее сторону были ищущими, жаждущими и улыбчивыми.

При очередной встрече и Зажепом выяснилась его необыкновенная осведомленность о Рониных делах и знакомствах. Он важно спросил:

— Вы принесли мне докладик о встрече с Юлией Вестерн? Рональд не сразу смог вспомнить, кто это.

— Как это вы не можете вспомнить? Просидели с нею весь вечер, а мне про это — ни намека?

— Это еще что такое? — возмутился Рональд. — Когда я вам обязывался докладывать о любом пустяке? Тогда мне работать некогда будет. И вообще, я давно хочу просить вас, Иоасаф Павлович: увольте вы меня от этой вашей опеки! Не сработаемся мы с вами! Я не согласен со всей вашей линией моего использования, а вы меня терпеть не можете! Это у нас взаимно. Право же, увольте!

— Эт-то мне нравится! Только начинают развертываться перспективные дела, только шагнули через порог — и уже: «Ах, до свиданья, я уезжаю, кому что должен — тому прощаю»!? Не пойдет так, Рональд Алексеевич! Но вернемся к Юлии Вестерн. Вспомнили ее? Вашу банкетную собеседницу с красивой мордашкой? Так вот, к вашему сведению: это разведчица. И вы должны...

Роня уже привыкал к этим характеристикам. Они больше не ошарашивали его. И он начинал думать, что при его участии происходит тихая охота за призраками, тенями и фантомами. Пока это безвредно для объектов — пусть! Но если Зажеп, при своем честолюбии, возьмет и раздует кадило? Как бы тут чужими судьбами и головами не рискнуть! Поэтому Рональд Вальдек очень тщательно выбирал выражения в своих докладах и донесениях. Все, что он писал, было правдиво и покамест никого не очерняло, не ставило под удар... Ибо членов тайных обществ,

участников заговоров или активных антисоветчиков, лазутчиков и контрреволюционеров пока в Ронином поле зрения еще не бывало. Что до органиста, осенившего себя свастикой, то Роня решил подождать новых симптомов и уже тогда сделать какие-то более зрелые выводы. Впрочем, к этому человеку у него возросла антипатия. Катя же, узнавшая органиста поближе, высказывала твердую уверенность, что он — такой же «подазок», как и они с Рональдом. Она советовала Роне непременно в беседе с Зажепом про свастику упомянуть, учитывая, что органист, может быть, уже написал Зажепу, как Роня, мол, сочувственно улыбнулся показанной ему свастике… О, Честертон!

Роня никак не догадывался, что в условиях социализма, строгого планирования и рационализации промфинпланы составлялись везде, на всех участках, по всем объектам и ведомствам. Планировались рождения и смерти, количество ясельных мест и похоронных принадлежностей, свивальников и «могилоединиц». В ведомстве Зажепа, очевидно, планировалось определенное количество разоблаченных заговоров, изловленных шпионов, диверсантов и вредителей, а в лагерях уже рассчитывались все виды принудительного труда для исправления или наказания этих запланированных преступников. Всего этого Роня взять в толк и представить себе железное чиновничье мышление никак не мог. Он лишь начинал чувствовать, что его доклады и донесения вызывают все большее неудовольствие начальства.

— Эх, какой мелочью вы занимаетесь, Вальдек, — вздыхал Зажеп, читая очередной доклад, связанный с Рониной служебной деятельностью: как функционирует техника книгообмена, степень интереса получаемой литературы, какова пресса о тех или иных сторонах советской жизни, какие антисоветские кампании ведутся в западных и северных газетах, как на них реагируют те в стране, кто эти газеты читает…

Если такой материал был особенно обилен и трудоемок, стоил многочасового труда, Зажеп, кряхтя, лез в денежный ящик, доставал конверт с небольшой денежной суммой, велел расписаться в ее получении и хмуро: — Все это фигня! Фекалики! А могли бы давать нам ценный, подлинно оперативный материал! И получали бы настоящие суммы! Были бы вам и автомобили, и радиоприемники, и такая жратва, что закачаешься! Послушайте серьезно: я говорю про эту Юлию Вестерн. Вот, сумейте подойти к ней так, чтобы она вас… завербовала! И будет вам…

— Автомобиль?

Зажеп презрительно усмехается:

— Не верите? Плохо вы понимаете, по какому золотому дну

ходите в обтрепанных брюках! Нехорошо, товарищ дипломат, кстати говоря!

Он презрительно кивал на Ронины штаны, действительно, не самого безупречного вида и состояния. Так сказать, прилично скрытая бедность...

— Короче, Вальдек, я вам приказываю, в порядке нашей дисциплины, которая построже воинской, обратить самое пристальное внимание на Юлию Вестерн. Она приехала под видом редакционного задания от газеты «Стокгольме дагбладет». Почтенный буржуазный орган...

— Я смотрю, вы неплохо усвоили мой материал.

— Не шутите, Вальдек! Я продолжаю. Возможно, именно она обратится к вам за помощью. Вы ей ни в чем не отказывайте и держите меня в курсе ее малейших пожеланий. Постарайтесь сблизиться с ней покороче... Это сулит многое. Вы сами скоро в этом убедитесь, если войдете к ней в доверие!

Словно по тайновидению Зажепа, Юлия Вестерн на другой буквально день пришла к Рональду на прием. Говорила, мешая шведские, немецкие и русские слова:

Я очень много хочу сделать в интересах Советского Союза. Например, делать интервью с некоторыми писателями: Вера Инбер, Исаак Бабель, Никита Огнев, кое-кто из близких Сергей Есенин, Владимир Маяковский... И еще я хочу делать очерки Москвы. Хочу работать сама субботник! Могу водить грузовик! Пусть это будет материал не глазами гостя, а изнутри! Как оно делается для себя! Для этого мне, главное, надо получше выучить русский. Посоветуйте мне, пожалуйста, кто знал бы немного шведский и немецкий...

Всего часом позже Роня имел уже распоряжение Зажепа вести эти уроки самому. Занятия начались на другой же день. Это был четверг.

* * *

Она делала быстрые успехи. Он находил, что для языковой практики полезно после занятий слушать в театрах современные пьесы. Актерская дикция отчетлива, а смысл он будет ей подсказывать, когда не все будет ясно. После очередного урока они пошли на «Чудесный сплав» Киршона, на Малую сцену МХАТа.

В эти самые дни Роня был днем занят работой со знаменитой северной писательницей, что побывала на приеме у Н. К. Крупской, поэтому в его распоряжении с утра до вечера был интуристовский «Линкольн» — семиместный лимузин с борзой у

радиатора. Он велел подать машину к театру и лихо доставил свою ученицу домой, в Самотечный переулок. Наверху, в квартире, остался его рабочий портфель — он не захотел таскаться с ним в театр. Шофер «Линкольна» уже перерабатывал свои часы, Роня отпустил его и решил ехать на Курский автобусом. Семья жила на даче в Салтыковке.

Лифт в доме не действовал. Они поднимались на пятый этаж пешком.

— Отдохните минутку, — предложила она. — Хотите стаканчик хорошего белого вина? «Барзак», говорят, полусухое, к десерту. Интересно попробовать, но одной не хочется. А вот яблоки — ведь русские должны обязательно что-то съесть после вина, будто боятся его аромата! По-моему, это равносильно умыванию после того, как надушишься...

Рональд откупорил бутылку и, под разговор, они как-то незаметно ее выпили. Только тут он как следует понял, что у собеседницы очень красивые длинные ноги, белые плечи и синие-синие глаза, а губы улыбчивые, чудесно вырезанные и манящие... Яблоки кончились...

— Как это слово: закуска, да? Вот нам немножко закуска к последнему глотку «Барзак-вина»...

Она шутливо протянула ему губы для легкого мимолетного поцелуя. Но поцелуй не получился легким.

Он затянулся, и прервался... лишь на другой день, под утро, когда в полном изнеможении она прикрыла наготу простыней, а он отправился в ванную.

По возвращении оттуда он уж начал было одеваться, как из-под простыни его, будто невзначай, поймали за руку... Он снова ощутил под ладонью божественную крутую округлость и очень ровные удары человеческого сердца. И еле уловимый шепот:

Aber du bist wirklich erotisch hoch begabt. So gut und slip war es noch me nie Leben... Ich bin ganz glucklich! Und habe dich sehr lieb. [96]

* * *

Возвращение домой было ужасно, встревоженная Катя ночью не сомкнула глаз. Спали только дети — семиклассник Ежичка и трехлетний Маська — так между собой родители называли Федю.

Он обнял жену, старался выдержать ее взгляд и... не мог. Не мог он и приласкать ее по-прежнему: весь опустошенный, выпитый, он выпустил Катю из объятий и всячески делал вид, будто смертельно заработался.

— Где ты ночевал? Тебя вчера ждал Сережа П-в. Поехал в

Трехсвятительский: я туда звонила с автомата — никого там не оказалось. Ты что-то умалчиваешь! Первый раз в жизни, Ронни, я тебе не верю! И для меня это — гроб!

* * *

— Вальдек! Как у вас дела со шведкой? Учтите, что она...

— Знаю. Агент всех разведок мира и его окрестностей.

— Послушайте, Вальдек, уж не шутить ли вы со мною вздумали?! Не зарывайтесь! Мы с вами — на службе таких органов, где...

— ...Дисциплина прежде всего! Повторенье — мать ученья! Я усвоил.

— Вы что-нибудь принесли важное? Что-то уж очень многозначительны...

Роня пока решил повременить с признанием, что ситуация между учителем и ученицей изменилась. Пусть эта перемена не будет расценена как «самотек». Пусть вообразят, будто это произойдет по их «плану».

Зажеп бросил бумагу на стол.

— Слабо, Вальдек! Тоже мне Кинжалин! Так вот вам приказ: если вы не хотите крупных неприятностей от Максима Павловича, давайте работать со шведкой серьезно! Вы должны ее уконтропупить, подчинить себе, сделать послушной и раскрыть!

— Уконтропупить? Позвольте, я женатый человек...

— Бросьте, Вальдек! Вы — на службе революции, Вальдек! Наши оперативные дела не касаются ни семейных, ни сердечных обязанностей, поскольку мы исполняем государственные. Война, наша война — все спишет. Жена про это ничего не узнает, это ее не коснется. Повторяю: тут служба и приказ! Я вам приказываю — эту шведку...

Последовало грязное матерное словцо.

— Знаете, Иоасаф Павлович, служба — службой, но даже при наших с вами служебных отношениях я требую давать указания не по-скотски. Задача овладеть женщиной — не самая простая. Она требует хотя бы симуляции определенных чувств и эмоций, не совместимых с вашими словечками. Я вам не жеребец, а вы мне — не конюх! Женщина, о которой идет речь, умна и, как мне кажется, скорее доверчива, чем коварна. Кроме того, она жена очень крупного и важного для нас человека. Поэтому прошу вас доложить Максиму Павловичу мои соображения и получить от него прямое указание: добиваться ли мне этой связи. Одного вашего распоряжения мне, признаюсь, мало!

— Х-о-р-р-о-ш-о! — глаза Зажепа сделались как у

киплинговского Нага[97]. — Приказ Максима Павловича вам будет. Но, Вальдек, тут ваш последний шанс. Эту Юлию мы поджидали давно. И догадываемся, с какими заданиями она явилась. Так вот: если вы и на этот раз вытянете пустой номер, как с московскими немцами, то докажите мне, что пришли к нам не с целью помочь стране, или, как выражались, быть острием кинжала, а с обратным намерением: запутать и дезориентировать органы советской разведывательной службы! Это, Вальдек, не пустые слова! Вы сами понимаете, какова будет ваша учесть, если задание сорвется!

— Иоасаф Павлович! Извольте раз и навсегда прекратить политику кнута и пряника! Вы смешны с вашими угрозами Я настаиваю, чтобы мне был дан другой руководитель! С вами у нас ничего не получится, так и передайте Максиму Павловичу. Не знаю, с кем вы работали, но уверен, что лишь с запуганными, трусливыми и нестойкими людьми. Мне кажется, что вы нисколько не верите в завет Дзержинского о людях с чистыми руками! Я не уверен, что вы сами относитесь к таким людям! Передайте Максиму Павловичу о моем отказе работать с вами. Пусть он позвонит мне на работу! Во всяком случае сюда, в эту вашу квартиру, я более не приеду! Тот, кто вас заменит, пусть назначит новое место и время встречи. Передайте, что пока я продолжу уроки, но иметь дело с вами больше не намерен.

Мельком, пока шел через проходную комнату из кабинета Рональд увидел бледное женское лицо и маленького ребенка, похожего на Зажепа. Наверное, женщина эта привыкла, что муж ее орет на посетителей. Явление противоположное ее очень смутило.

Глава двенадцатая. НЕ ИУДИН ЛИ ГРЕХ?

1

Женщина эта становилась ему все более необходимой, желанной, своей, неотвратимой. И она привыкла к нему. Знала его привычки, ждала нетерпеливо, встречала в легких, просвечивающихся платьях, поила, кормила, целовала, гладила ему руки еще во время урока, под конец занятий пересаживалась на широченную застеленную тахту, просторную как футбольное поле... Квартиру эту она сняла у друзей, уехавших в Сибирь на полгода.

Однажды, утомленные и разомлевшие от июльской жары и бурных ласк, они сидели, обнявшись, на этой тахте, разметав постельное белье. Попивали сухое винцо, пока на кухне грелся чайник и бифштекс для Рони.

— Есть у меня к тебе маленькая, но деликатная просьба, — устало сказала любовница. — Деликатная потому, что попросил меня об этом... наш военный атташе.

Роня насторожился, но не подал вида. Военный атташе — это, в его представлении, откровенный, официальный разведчик, имеющий дипломатический иммунитет, пока не провалится на попытке добыть нечто официально запретное. Иметь дело с военным атташе — значит быть причастным к его делишкам! Неужто она и в самом деле... с начинкой?

Он с беспечным видом продолжал обнимать ее, но внутри все словно напряглось. Ее шелковистая, очень нежная кожа стала вдруг противной ему, лицо — чужим и ненужным, голос — лживым и обманным. И в один миг — он понял, что спал с ней и мог ласкать ее, только доверяя ее дружеским чувствам к себе и всем русским людям. Если же она и впрямь враг — никакая необходимость не заставит его даже дотронуться до нее. Оказывается, оперативные, служебные задания такого рода он совсем не сможет решать. Вероятно, это еще увеличивало его вину перед Катей. Все это неслось и крутилось в мозгу, и руки делались липкими Собственный голос ему уже казался фальшивым:

— О чем же он просил тебя?

Уже становилось трудно скрывать быстро нараставшую неприязнь к возлюбленной. И как потянуло домой, к Кате! Зачем он здесь, на этой тахте, с какой-то чужой и нечистой бабой!

А Юлия, не замечая в партнере никакой перемены, уточнила просьбу.

— Понимаешь, ему очень нужна... фотография одного русского танка.

Роня испугался, что она различит, как тяжело бухнуло его сердце. Вот оно что! Значит, прав не Рональд Вальдек, а его руководитель, Иоасаф Павлович. Лоб горел, спина холодела, немели пальцы. Неимоверный стыд душил горло, сдавливал горло... Шпионка! Вражеская лазутчица... А ты, Рональд Вальдек, простофиля и нюня! Сколько нежности отнял, украл у Кати ради этой.» Но служба — так служба! Сразу ли делать вид, будто ради твоих прелестей Родину продам? Нет, надо сперва поломаться, дать себя уговорить, цену набивать...

А вслух, не глядя ей в глаза, тихонько ослабляя объятия:

— Какого танка? Я ведь не военный и таких фотографий у меня нет. Кроме того, ты ведь знаешь, что это — темное и опасное... нечистое дело.

— Нет, нет, не думай ничего дурного. Что ты! Разве я толкнула бы тебя на противозаконное действие! Однако фотоснимок очень нужно достать. Ты спрашиваешь, какого танка? Того, который шел на последнем майском параде в самом конце... Это новый танк, наверное, последней конструкции. Но поскольку его вывели на парад, он уже не может считаться особенно секретным, правда милый? Поэтому уж ты постарайся, мой дорогой, достать такой снимок.. Тут, может, окажется подходящий кадр у ваших газетных фоторепортеров, что снимали парад? У них, наверное, можно будет за не очень высокую цену купить такой снимок. Мне очень важно задобрить этого атташе. Он, кстати, старый друг моего отца.

— Твой отец был военным?

— Да, военным. В чине генерала. Теперь уже в отставке. Он с нашим атташе вместе кончал военную академию.

— А зачем ты так хочешь задобрить его?

— Он может помочь моей следующей поездке. Мне хочется в Китай.

— Что ты там собираешься делать?

— Гнаться за сенсацией во имя собственной журналистской славы. Представляешь себе в «Стокгольме дагбладет» серию очерков от собственного корреспондента Юлии Вестерн? «Из партизанских районов Китая». Беседа с Чжу Де или Мао Цзэдуном, а? Полевые будни восьмой армии, стычки, хитроумные тактические уловки... Это уникальный материал! Жаль, конечно, что я маловато смыслю в военном деле, да уж как-нибудь. Вот куда бы махнуть нам с тобою вместе! Подышать настоящим революционным романтизмом! Разве это невозможно? Если очень захочешь — убеждена, что сможешь уговорить свое Учреждение или какой-нибудь печатный орган — газету, журнал, издательство — послать тебя на годик в Китай! Будем там делать

мировую революцию и... любовь.

— Но при чем тут военный атташе?

— А при том, что именно он-то и может поддержать мое ходатайство, может даже прямо рекомендовать мою кандидатуру для командировки, если я внушу ему деловое доверие. Ты понимаешь, такое предприятие, как посылка корреспондента в Китай, даже для большой газеты трудновато. Тут надо привлечь еще какие-то заинтересованные стороны. Вот, например, военные или коммерческие. Ведь корреспондент может попутно поработать еще в какой-нибудь области, это даже прибавляет ему подчас веса. Можно подумать также и о нескольких заданиях для печати, то есть сочетать работу для большой газеты, скажем, со специальными заданиями профессионального порядка, ну, там, женского журнала, военного вестника и т. д. Понимаешь? Потому мне и важно заслужить одобрение этого старого атташе — он все время сотрудничает с военной прессой. И он к тому же друг отца. Пусть увидит хоть в каком-то пустяшном деле мое усердие.

— Хорошо. Я подумаю, как это сделать.

— Подумай и про Китай. Я хочу еще долго быть с тобой. Слышишь? Но сегодня ты уж очень какой-то озабоченный! Улыбнись мне скорее!

* * *

Может, это и есть шпионская вербовка?

Во всяком случае, нужно немедленно поставить в известность обо всем руководство. Положение осложняется бунтом против Зажепа. Но ведь другого руководителя у Рональда пока нет. Максим Павлович позвонить не соизволил, формальной жалобы Рональд пока подать не собрался; не исключено, что начальник отделения еще ничего не знает о конфликте с Иоасафом. Ситуация же слишком серьезна...

Прошлый раз Максим Павлович просил более не пользоваться его служебным телефоном. Значит остается одно: звонок к Зажепу.

— Есть важные новые обстоятельства. Сообщение очень срочное! Я вас прошу связать меня непосредственно с Максимом Павловичем!

— Его сейчас в Москве нет. Временно замещаю его я. Что там у вас случилось?

— Это — не телефонный разговор.

— Хорошо. Встретимся в гостинице «Метрополь».

— В таком случае потрудитесь пригласить еще кого-нибудь. Например, хоть Василия Николаевича. Ум — хорошо, два —

лучше.

После этой беседы втроем ясности у Рональда не прибавилось. До возвращения начальника надлежало вести по-прежнему занятия русским языком с Юлией, проявляя при этом всемерную осторожность и бдительность. Оба чекиста заявили единодушно, что заказ фотографии танка — бесспорный шпионаж. А вот исполнять ли просьбу, добывать ли такой фотоснимок, все трое решить не могли. Рональд высказал предположение, что снимок найти надо и именно у газетных репортеров, или, может быть, даже в витрине ТАСС. Зажеп колебался и ничего решить не мог; Василий Николаевич высказался против: зачем, мол, сами будем помогать врагам?

Беседа продлилась час и шла «под кофеек». Рональд покинул метропольский номер первым и вышел на Никольскую. Здесь, в каком-то невзрачном помещении, в первом этаже, находился отдел распространения фотохроники ТАСС. Он вошел в эту убогую контору, попросил снимки последнего первомайского парада и перебрал их все. Было там несколько сотен фотографий, многие повторялись, очень полно был представлен военный парад. К оборотной стороне каждого фотоснимка на папиросной бумаге была подклеена надпись с обозначением цены. Тяжелые танки были сняты в строю, неразборчиво. Двух самых тяжелых, шедших на параде отдельно и вызвавших интерес атташе, в этих наборах не было. Рональд на всякий случай осведомился у сотрудницы, был ли здесь снимок самых тяжелых машин.

— Был, был, да раскупили! Если хотите, можно заказать. Вот этот снимок...

И она указала на фотовитрину, висевшую в простенке и не замеченную Рональдом. Внизу, крупно, был показан мощный многотонный танк с открытым люком, откуда, придерживая флаг, выглядывали два человека в черных шлемах.

— Да, это как раз то, что нужно. Можно его заказать?

— Пожалуйста. Платите шесть рублей. Зайдите дня через два-три...

Черт возьми, если можно купить снимок на улице за шесть рублей и он выставлен в уличной витрине!.. В самом деле, шпионаж ли это? Однако Рональд не имел при себе и шести рублей. Неловко, что заставил сотрудницу зря перебирать такую кучу фотоснимков.

— Так будете заказывать снимок?

— Благодарю вас... Пока не буду.

Отдохнуть бы от всей этой пакости! Завтра воскресенье. Надо будет пораньше встать, забрать с собой Федю и поехать в Кучино, на большой пруд, взять там лодку, прихватить винчестер

старенький на случай встречи с каким-нибудь ошалелым селезнем... А к обеду — домой!

С вокзала он позвонил Юлии. Та заявила, что давно хочет посмотреть, как он живет на даче, — похожи ли эти дачи на шведские.

— Что ж, приезжай. Адрес ты знаешь, представлю тебя под каким-нибудь соусом своей жене... Не испугаешься? Ведь она — человек умный и наблюдательный!

Нет, она не из пугливых — и умеет держать себя, как надо.

Рональд не придал значения этому разговору. Думал, шутит, рисуется.

Вечером Катя учинила ему профессиональный допрос: отчего он так заметно переменился в последнее время? Что его гнетет? Что он скрывает, притом с определенного дня, вернее, с определенной ночи — 23 мая? Он отнекивался все слабее, молчал, не глядя ей в глаза, и в конце концов совсем уж было признался, но снова отрекся от своих полупризнаний, испугался за ее надорванное сердце, отвернулся в сторону и оставил ее утром в слезах и почти уверенной в беде.

На пруду в Кучине они с Федей взяли лодку и поплыли вверх по реке Пехорке, среди лесной чащи. Он — в охотничьей своей кожаной куртке, Федя — в черном пальтишке по случаю прохладного утра. Плыли до тех пор, пока коряги и мелководье вовсе не преградили им путь. Здесь побродили по лесу, послушали птиц, нарвали цветов, попробовали винчестер: Рональд, не слишком-то педагогичным образом, использовал в качестве мишени толстую лягушку. Часа три он ни о чем не думал, будто пребывал в неком отпуске от совести и тревоги... Когда в послеобеденный час они вернулись домой, Рональд увидел свою Катю в домашнем, у садовой клумбы под террaской, в живейшей беседе с Юлией Вестерн... Он, кинув винчестер и куртку, устремился к гостье, а мать, заметив Федины мокрые ботинки, взбежала с ним на терраску и, на ходу, вполголоса бросила мужу:

— Спровадь ее побыстрее! И до калитки! Эта дурища призналась мне во всем и даже просила уступить тебя годика на два, порезвиться. Если ты с ней задержишься хоть на лишнюю секунду... ты меня живой в доме не найдешь! Иди, но дай слово, что больше эту тварь не увидишь!

В растерянности он шел за гостьей по тропе к калитке, чтобы приоткрыть хитроумный запор. Она глянула, на него с упреком и сказала:

— Aber sie ist doch viel schoner als ich? Wie ist denn das alles gekommen und was wird denn weiter aus uns alien werden? Hast du

sie denn gamicht mehr lieb?

— Es ist mir schwer mit ihr wegen des Betruges! — вымолвил Рональд.

— Ach Gott, ja was habeich alles angerichtet! — и пошла по улочке к станции. Обернулась и спросила: — Werden wir uns nochmal mit dir sehen?[98]

Молча он стал запирать калитку. Что ответить ей, он не знал.

В маленькой спальне Катя лежала на постели лицом вниз и совсем по-кошачьи сжимала и разжимала кисти рук, как бы впуская ногти в собственное тело. Это была примета самой жестокой, самой невыносимой душевной муки.

* * *

За ночь она как бы продиктовала ему условия безоговорочной капитуляции:

— во-первых, немедленно доложить руководству, что он влюбился в шведку и не может продолжать исполнение своих «азных» обязанностей;

— во-вторых, никаких встреч и прощаний. Может написать краткую записку и вернуть уплаченные вперед деньги (в этот раз, по Катиной просьбе, он взял с ученицы советскими деньгами за пять уроков вперед для покупки велосипеда Ежичке);

— в-третьих, пока эта женщина в Москве, он должен уехать подальше, либо взявши на работе отпуск, либо даже пожертвовав и службой, и своей деятельностью у «азов».

В этом случае сохраняется семья и могут быть залечены все раны, а ему из-за всей этой катастрофы надо и в московских условиях переменить работу и пойти учиться, совершенствовать свою педагогическую квалификацию.

Утром он проводил жену на работу в Международный конъюнктурный институт и немного опоздал в собственное Учреждение. Там, в отделе приема иностранцев, уже сидели ранние гости — северная писательница со своей компаньонкой. Председатель правления, случайно приехавший рано, заметил Ронино опоздание и очень грубо, в присутствии обеих дам обругал его, заодно указав на невнимание к столь драгоценным посетителям.

На тех это произвело действие обратное — они очень долго извинялись перед Рональдом за то, что нечаянно навлекли на него начальнические громы, ибо приехали они без всякого предупреждения и с чисто личной просьбой, чуточку даже щепетильной.

Дело в том, что, бродя утречком по соседним с гостиницей

магазинам, писательница приметила в Мосторге роскошный соболиный палантин ценою в десять тысяч советских рублей. У нее примерно такая сумма уже накопилась — из гонораров за статьи, интервью, радиорассказ и договорные книжные переиздания. В своей стране она с советскими деньгами ничего предпринять не сможет, поэтому покупка чудесного мехового палантина была бы наилучшим выходом, если бы не въездные северные пошлины. Облагаются меха такими суммами в долларах, кронах и прочих валютных единицах, что обходятся едва ли не дороже, чем купленные в стране. Так нельзя ли отправить эту покупку каким-нибудь неофициальным способом, минуя таможенные рогатки? Например, с выставкой какой-нибудь или просто со знакомым дипкурьером?

Разумеется, по закрытым каналам Учреждения сделать это можно было без труда, однако только с разрешения председателя. Рональд, предчувствуя очередные осложнения, скрепя сердце отправился к нему. Тот долго и нудно выговаривал Рональду, что такая операция не имеет ничего общего с задачами Учреждения, что нечего вмешивать его, председателя, в частные делишки какой-то иностранки, что закрытые каналы существуют для совсем иных, высших целей. Долго молчал, колебался, мял в руках бумажку, в которой Рональд изложил дело, наконец, скривив лицо, начертал слово «разрешаю». С этим разрешением Роне предстояло идти в Особую часть и предупредить, что вечером будет готов не совсем обычный пакет в адрес нашего северного уполномоченного. С пометкой: для г-жи N...

Обе дамы сидели еще в зале приема. Услыхав, что разрешение получено, писательница просияла и на радостях бросилась в кабинет председателя — выразить ему личную признательность. У того мигом исчезла с лица вся мрачность. Он расцвел в улыбке, изобразил на лице подобие смущения, мол, стоит ли вообще говорить о таком пустяке! Пожимая обе протянутые ему руки, сказал:

— Для наших искренних друзей мы во всем готовы идти навстречу! Не стоит благодарности! Мы рады, что доставили вам небольшое удовольствие!

Рональд Вальдек уже давно перестал удивляться начальническим метаморфозам. Если бы «искренняя подруга СССР» слышала бы все слова по ее адресу, сказанные тем же вельможным председателем пять минут назад, она, верно, решила бы, что в председательском кресле сидели два разных лица!

Вместе с писательницей Рональд отправился в банк, снял деньги с ее текущего счета, отвез их в магазин и купил ей вожделенный палантин. Вещь действительно была уникальной —

из темных, самых дорогих баргузинских соболей с серебряно-седоватым отливом. Покупку отвезли в Учреждение.

Пожилая писательница трогательно радовалась обновке, как умеют радоваться только дети, или самые высокие духом, самые умные взрослые. Их интуристовский «Линкольн» двигался по Воздвиженке к гостинице «Метрополь». В небе полыхали зарницы близкой грозы. Все потемнело и полиловело над крышами и Троицкой башней Кремля. Первые капли грозового ливня разбились о стекла автомобиля. И вдруг Роня увидел Катю. С потерянным лицом она шла по тротуару.

— Вот моя жена, — показал Роня дамам.

— Так давайте ее скорей в машину! — закричала писательница. — Она же намокнет сейчас ужасно!

Дождь уже хлестал, по улице понеслись потоки. Писательница в машине обняла Катю.

— Мадам! Вы сейчас — как лучшее русское вино: вы полусухая! Немедленно едем в гостиницу пообедать и вспрыснуть нашу покупку!

Обед заказали в номер. Катя позвонила на работу, что промокла и пошла домой переодеться.

К концу вечера писательница призналась Кате, что влюбилась в нее по уши.

— Знаете, — говорила она проникновенно, — ведь я давно наблюдаю тех русских, кто походит на вас своими манерами и воспитанием, но страстно ненавидит все, что сейчас творится в вашей стране. Я — не идеалистка. Я видела у вас много прекрасного и много отвратительного. Видела прямые остатки крепостничества, рабства и нищеты, но и реальные победы во всех решительно областях. Не понимаю, зачем вы так старательно уничтожаете остатки вашей старины, церкви, башни, стены, защищавшие ваших предков и вдохновлявшие их на отпор татарам, полякам, французам... Вероятно, вы сами потом об этом горько пожалеете. А вместе с тем вы столько создали замечательного, что о вас безумно трудно писать, не возбуждая в западном читателе чувства недоверия и не вызывая подозрений, будто я куплена коммунистами для пропаганды их идей... Вы, госпожа Вальдек, первый для меня в России человек, в ком эти идеи так благородно слиты со всем тем высоким, что было всегда присуще русской дворянской интеллигенции.

Катя пила вино, улыбалась хозяйке и с легким смущением слушала ее речи. А за окном «Метрополя» становилось все сумрачнее, грозовой ливень перестал, но сеялся неотвязный, скучный дождичек, превращавший июль в подобие позднего сентября...

— Вам невозможно ехать под таким дождем в одном костюме! — заботливо сетовала хозяйка. — Я привезла с собой этот легкий плащ-дождевичок. Накиньте его сейчас, смотрите, как он вам к лицу. Это ваш цвет! И пожалуйста, не присылайте мне его с мужем обратно, оставьте себе в знак моей сердечной симпатии к вам. У меня было тайное намерение подарить его самой милой женщине, какую здесь встречу. Значит, он по праву ваш. Милее вас в России я никого не знаю!

Плащик был будто по заказу изготовлен для Кати. Сидел ловко, а в нынешнюю погоду прямо-таки выручал. В продаже таких не было, а с рук, из-под полы на черном рынке они стоили очень дорого, как все заграничные изделия, весьма ценимые московскими спекулянтами.

— А чтобы вы, Рональд, не ревновали меня к вашей чудо-жене, — повернулась она к Катиному супругу, — примите в дар от меня вот эту мою рабочую самопишущую ручку. Она мне хорошо послужила, побывала в Америке и теперь — на Волге, пусть-ка отныне послужит и вам... Кстати, мадам Вальдек, вы должны настоять, чтобы ваш муж непременно начал писать сюжетные вещи. Я давно поняла, слушая его устные рассказы, что у него хорошая способность закручивать сюжетные пружины. Это ведь большой дар, очень выгодный. Заводите его как часовой механизм и пускайте раскручиваться. Сами увидите, как хорошо получится. На вашем месте, Вальдек, я писала бы детективы! Вроде Агаты Кристи с ее «Тайнами каминов»! Ах, если бы я умела это делать! Разбогатела бы, как индийский раджа!

— То, что умеете вы, гораздо лучше! — тихо смеялась Катя. — Ваши книги написаны в мужской манере, и сказать по правде, она мне кажется привлекательнее, чем манера женская, но с необыкновенным пониманием женской души. Русскому читателю, особенно читательнице, ваши книги очень близки. Их у нас любят.

Катя сердечно распрощалась с писательницей, и та настояла, чтобы Роня отвез жену на вокзал.

Вся эта неожиданная интермедия его порадовала. Она отвлекла Катю от черных ревнивых мыслей по поводу вчерашних открытий. Однако, Ронино отсутствие на службе исключало возможность негаданного приезда Юлии в Учреждение для встречи с возлюбленным на нейтральной почве. Он думал про себя, что такая встреча, последняя, все-таки нужна. И она не должна быть при посторонних третьих лицах.

Все, что в нем покамест замерло, теперь начинало оттаивать. Словно при слабеющем наркозе нарастала в сердце ноющая, тревожная боль; он еще и сам не понимал толком, что это за боль,

но сквозь все ощущения дня, разговоры, дела, впечатления, она пробивалась все явственнее, заполняя сердце. Неужели он и впрямь любит эту женщину? Как же это совмещается с любовью к Кате? Может, к этой Юлии тянется только тело? Нет, ему еще и жаль ее! Он страшится, как с нею поступят те, что сменят его, Рональда, у ее рабочего столика и в ее постели. Ведь без мужчины-спутника ей здесь не обойтись! Об этом думать было трудно. Трезво поразмыслив, он, в глубине души, не верит, будто ее романтизм вражеский и черный. Не похожа она на шпионку! Слишком много в ней еще полудетского, незрелого авантюризма. И излишней доверчивости. Вырвалась в трудную поездку — вот и хочется ей всласть насладиться свободой, романтикой, авантюрами вдали от родителей, мужа и детей. Их у нее двое — мальчик и девочка. Очень милые. Она их любит, но... видно, не дожила, не испытала всего, чего хотелось, потянуло на простор, на волю, на приключения с привкусом тайны и опасности. Как бы не обожглась на этом красном огне!

— Пожалуйста, на Курский, — сказал он шоферу. Он хотел потом вернуться на работу и может быть, сговориться о прощальной встрече?

Катя будто прочла его мысли:

— Сначала — в Денежный переулок, — заявила она решительно и по-хозяйски. — Там, товарищ водитель, вам придется совсем немного подождать. Остановитесь пока у телефона-автомата... Позвони, Ронни, дома ли твой Иоасаф? Если нет — поедешь к нему на работу.

Роня позвонил. Тот оказался дома.

— Тем лучше! Поехали!

У Кати созрел какой-то свой план. Потребовала высадить их у Никитских ворот. Очень четко приказала шоферу:

— В Денежном переулке вы дождетесь моего мужа. Когда он освободится — отвезете его на Курский, к тоннелю номер два. Ронни, там я буду тебя ждать на нашем всегдашнем месте. У Иоасафа очень долго не задерживайся, но имей мужество сказать ему правду — от этих функций ты должен отказаться: они тебе не по характеру. Поцелуй меня и будь правдив с ним.

— А ты куда?

— Мне надо кое-что купить домой и позвонить на работу. Если ты окажешься на Курском раньше меня — стой и жди. Никуда не девайся!

Ах, как все нелепо и трудно складывается!

Рональд, давая жене обещание отказаться от встреч, был искренен. Он был готов действительно доложить все, как есть, Максиму Павловичу. Но говорить с Зажепом о такой вещи, как

любовь? Признаваться в этом чувстве, глядя в циничные, оловянные глаза? Сказать ему, что не считает ее врагом? Значит, опять выразить недоверие к мнению руководства...

Конечно, теперь, когда жена вмешалась и дело загублено, поздно рассуждать, как бы следовало его повести. Ну, будь Роня, скажем, Максимом Павловичем, — чтобы предпринял он с самого начала?

Уроки? Бесспорно, это ход правильный.

Физическая близость? Пожалуй, тоже правильный ход.

Заказ фотоснимка? Надо было бы достать и посмотреть, что получится.

Встреча Юлии с женой? Надо было энергично предотвратить! И, по-видимому, продолжать занятия. Усиленно контролировать каждый ее шаг, одновременно наводя дополнительные справки о всех ее связях там, на ее родине. Дополнительно окружить здесь, в Москве, доверенными людьми, спокойными и осторожными, способными довести проверку до конца. Установить, враг она или, скорее, друг. Если первое — тихо удалить из страны и предостеречь настоящих тамошних друзей СССР о ее истинном лице. Если второе — направить все стремление и порывы в нужное русло... Эх, Рональд, вам бы столько ума, сколько у русского бывает... после!

Все это вертелось у него в голове, пока он поднимался по лестнице в ненавистную зажеповскую квартиру. Хозяин встретил его с удивленно-недовольным лицом:

— Мне сейчас некогда. У меня другой прием. Надо подождать. Идите пока в детскую.

— Я не могу ждать. У меня служебная машина внизу.

— А что за пожар? Какие-нибудь новости насчет танка?

— Нет, о танке пока речи заново не заходило. Просто нужно серьезно поговорить о сложившемся положении.

— Ну об этом послезавтра поговорим, поскольку завтра меня не будет. Уезжаю на сутки. Будьте здесь послезавтра в это же время.

...За десять минут «Линкольн» домчал Рональда на Курский. Кати на условленном месте не оказалось. Она пришла только через полчаса, в своем новом красном плащике. Он был ей к лицу.

— Ронни! Ты видел Иоасафа?

— Да. Но...

— Ты все рассказал ему, что обещал?

— Невозможно было. Я видел его мельком. Он торопился. Был занят.

Катины глаза горели как у раненой кошки. В лице ее не было

ни кровинки.

— Ты погубил себя, Ронни!

— Чем же? Я буду у него послезавтра и все доскажу, что не успел.

— Поздно, Ронни! Я сейчас была в Большом Доме и говорила с твоим Максимом Павловичем. Он со вчерашнего дня опять на месте. Я доложила ему, что ты сейчас у Иоасафа с официальным заявлением насчет отказа от исполняемых функций. И прежде всего — с просьбой освободить тебя от дальнейшего общения со шведкой Юлией Вестерн в связи с тем, что ты увлекся ею и потерял критическое чутье... Он выписал мне пропуск еще днем и от Никитских я на такси поспела в Большой Дом через десять минут. Полчаса мы с ним разговаривали. Он мне понравился. Сказал, что уже сам замечал твою непригодность к «азной» деятельности. Слишком либерален, некритичен и доверчив! Но то, что ты не набрался мужества все это сказать Иоасафу — может просто-напросто теперь тебя погубить начисто! Это все-таки — государственная работа, а не твои постельные делишки, затмившие тебе все горизонты! Эх ты, горе мое! Теперь главное — не вздумай с ней увидеться! Тогда тебя уже ничего не спасет! И знаешь, что? Под таким дождем не хочется мне на дачу. Останемся в Москве. Там баба Поля и Нина справятся без нас.

* * *

Утром, раздеваясь в вестибюле, Рональд Вальдек лицом к лицу столкнулся с Юлией Вестерн. Она быстро подошла к нему, сунула в руку записку и вышла из подъезда. Записка гласила: «Сегодня, в 17 часов, платформа Никольская». Это была остановка перед Салтыковкой. Они там однажды встречались: ей тогда захотелось побывать в сельской церкви...

Служебную нуду он кое-как протянул до обеда. Потом придумал себе поручение в городе, исполнил его и отправился на Курский...

С Нижегородской дорогой были связаны его воспоминания о Корнееве и Сереброве, он ездил тут в теплушках и на папиной москвотоповской дрезине, позже — в служебных купе с Заурбеком, еще позже — на дальние охоты в Петушки и на охоты ближние, где-нибудь на 38-й версте, а то, вечерком и на тягу в Салтыковке. Здесь издавна дружил с охотником Виктором Артемьевым, натаскивал с ним легавых собак и обычно снимал у него на лето для семьи две комнаты и терраску — в доме близ лесной опушки и глухого, заросшего пруда.

Сейчас он ехал мимо знакомых дачных платформ и

полустанков, где, слава Богу, еще мало что переменилось за годы индустриализации и коллективизации, только поредели леса: сюда, как и в другие дачные местности, стали выселять москвичей из сносимых домов на реконструируемых улицах столицы. Но и поредевшие, немного отступившие от железной дороги леса все еще были полны жизни, силы и красоты. За Реутовым следовала платформа Никольская.

...Юлия Вестерн расхаживала по платформе с дорожной сумкой через плечо. Светловолосая, коротко стриженая, рослая, не по-нашему одетая. Она здесь очень бросалась в глаза в убогом окружении граждан с клеенчатыми портфелями и огородницами в мужских пиджачных обносках.

Они пошли вдоль линии в сторону Москвы. Рональд приметил, что два молодых человека следуют в отдалении по пятам. Свое открытие он решил покамест утаить от собеседницы, чтобы зря не волновать и дать ей возможность высказаться. У них были свои традиции при встречах: сперва говорить о самых важных по работе событиях, неудачах или успехах. Она рассказала, что в эти дни дважды или трижды виделась с писателем Исааком Бабелем и уже работает над интервью с ним. Получилось очень интересно! Виделась она и с немецким писателем-антифашистом и коммунистом, который помог ей своими рекомендациями и связями. Что собирается в Баку, ей там обещан очень интересный для прессы материал об Азербайджанской республике. Там мало кто бывал из иностранцев, это обещает стать сенсацией. И единственное черное пятно среди всех этих удач — ее глупый, неумелый просчет при салтыковской встрече...

— Конечно, твоя жена — необыкновенна, — тихо каялась она Рональду, — она до того проницательна, что я не продержалась с моими тайнами и пяти минут. Она моментально поняла все, что между нами произошло и что я влюблена в тебя до ужаса. Притвориться равнодушной и деловой я не сумела. Но я все равно не могу поверить, будто из-за этого мы должны потерять друг друга. Ты для меня слишком много значишь!.. Wir haben uns doch nicht abgeliebt![99] — закончила она убежденно.

Ох, как они не похожи на нас, русских, эти наши милые гости!

Молодая, вероятно, имеющая от мужа нечто вроде картбланша, привыкшая к западным демократическим свободам, вольная в поступках и решениях, не желающая считаться ни с чем, кроме собственного вкуса, ума и чувства, Юлия Вестерн вовсе не подозревала об огромном государственном аппарате за спиною любовника и не слишком терзалась угрызениями совести

за муки ревности, причиненные другой женщине. Она никак не хотела допустить мысли о неизбежности разрыва после салтыковской встречи с обманутой женщиной. Ведь, мол, любящая семья осталась в Стокгольме! У Рональда тоже есть причины ревновать к прошлому! Она, Юлия Вестерн, была замужем за знаменитым итальянским тенором. Он погиб в Швейцарии в автомобильной катастрофе. Нынешний муж знает, как она любила того певца! И Рональд знает, как мадам Вальдек прежде любила барона фон Кестнера! И она, Юлия, вовсе не хочет разлучать супругов Вальдек навсегда! Он лишь побудет вместе с Юлией, пока любовь их столь пылка и цели столь близки... Может быть, они с Рональдом поедут вдвоем делать революцию в Китай! Или в Индию! А потом он вернется к жене, как и она к мужу. Это будет лишь компенсацией за ревность к Валентину Кестнеру. Нет, нет! Зачем торопить события? Никаких разрывов, пока любится...

Они дошли до густой рощицы на полпути к станции Реутово. Забрались в самые заросли и уселись на крошечной лужайке, окруженной плотной стеной елок и кустарников. Роня пытался проверить, где та пара молодцов. Будучи сам невидим, он смог различить эту пару в некотором отдалении. Они терпеливо сидели, курили, дожидаясь, по-видимому, выхода «объектов наблюдения» из зарослей. Они извне совершенно не просматривались, но выйти из кустарников неприметным образом было невозможно...

Юлия обняла собеседника, заглянула ему в глаза. Он забыл обо всем на свете и прижался к ней.

Получасом позже они покинули укромную рощицу и начали было прощаться уже на виду у наблюдателей. Теперь и она заметила их. Рональд, путаясь и стараясь соблюсти тайну своей двойственности, попробовал втолковать ей, что их близость отныне может навлечь на нее беду, ибо он не свободен и не волен собою распоряжаться. Она же ничего не сумела сообразить! Ничего не поняла! И эта наивность подтвердила ему, что у самой-то особой подкладки нет! Иначе, будь она сама невольницей некой разведки, — разве не разгадала бы она причи- нуего несвободы? Несвободы распоряжаться собой и своими связями?

Шел седьмой час. Он обещал позвонить жене после работы. Оглянулся, ища телефон-автомат. И в этот миг подошли штатские.

— Не подавайте виду! Гражданин и гражданка! Пройдемте с нами. Садитесь в электропоезд. Надо проехать одну остановку. Постоим на площадке.

Сошли в Кускове. Их завели в какое-то помещение сбоку от станционного строения. Роня вспомнил, что бывал здесь некогда

с Заурбеком, в бытность того уполномоченным ОРТОЧЕКА Курской железной дороги...

— Ваши документы?

Очень удивились, что гражданка — шведская журналистка!

— А ваши, гражданин?

Сотрудник Учреждения... Журналист и дипломат... Так, так, очень приятно! Документы, извините, зафиксируем в журнале. По какой вы здесь надобности?

— Мы просто гуляем, дышим воздухом. Это что, тут у вас запрещено?

— Никак нет, дышите себе на здоровье! И просим нас извинить! Мы обознались. Приняли вас, знаете, за одну пару рецидивистов, очень опасных, работающих в поездах. Еще раз просим прощения. До свиданья! Вы свободны.

Этим эпизодом она была смущена, напугана и что-то почуяла. Впрочем, сделала комплименты «вашей русской полиции»: мол, наша, шведская, гораздо грубее. А что им от нас на самом деле надо было? Почему они за нами следили? На этот вопрос у Рони ответа не было. Он крепко поцеловал ее, дал несколько торопливых советов и видел из будки-автомата, как она садилась в такси.

— Откуда ты звонишь, Ронни?

— С Курского уже.

— Почему с Курского? Почему не со службы? Ты ушел оттуда с обеда! Ты опять был с нею. Ты меня опять обманул, Ронни! Ты куда-то с нею ездил. Говори сейчас же, где ты с ней был?

— Я иду домой. Приходи, поговорим. Не кричи по телефону!

Баба Поля привезла детей в Москву. На даче одна Нина. Иди домой и жди меня. Такого дня в моей жизни не было!

— Все кончено, Кити!

— Что кончено?

— То, что тебя тревожило. Мы с нею расстались.

— И деньги отдал?

— Про деньги забыл.

— Сейчас же отошли почтой. Есть у тебя полсотни при себе?

— Да, есть. Я их приготовил. И забыл...

— Ну, конечно! Не до того было! Ах, негодяй и дурак! Горе мое! Отошли сейчас же, не отходя от Курского, прямо с вокзальной почты! Слышишь?

Оформив денежный перевод, он пешком доплелся до Трехсвятительского. Поиграл с сынишкой в солдатики. Дождался жены. Баба Поля принесла им чай в кабинет. Сама с детьми осталась в столовой, шумела, возилась — может, чтобы отвлечь соседские уши?

Он все ей рассказал.

— Значит, она — под постоянной слежкой? Что ж, жди событий! Эта встреча тебе даром не пройдет.

— Так ведь никаких формальных приказаний прекратить работу я не получал еще!

— Они знают главное: ты умолчал о том, что изменил к ней отношение, влюбился в шпионку и не можешь делать порученное тебе дело!

— Я не верю в ее шпионство!

— Да и я не очень верю! Просто дура и... прости господи! На Западе полно таких барынек, взбесившихся с жиру! Знаю я их. Между прочим, пока ты выходил, я спросила у писательницы, знает ли она эту шведку-журналистку. Та сказала, что здесь познакомились.

— Ну, и какое она вынесла о ней впечатление?

— Сказала, что очень хороша собой, но литературное ничто!

— Небось, это ты подсказала ей сама?

— Она достаточно умна, чтобы разбираться в таких! Который час?

— Половина двенадцатого. Все уже спят. Пора и тебе...

— Звонят к нам. Кто бы это так поздно?

Баба Поля пошла в прихожую открывать. В следующую минуту в столовую быстро вошли трое незнакомых, решительных и четких. Позади маячило испуганное лицо управдома — он жил в соседней квартире, на той же лестничной площадке.

— Рональд Алексеевич Вальдек? Ордер на арест и обыск. Приступайте, товарищи. Оружие есть? Документы? Валюта? Запрещенная литература?

* * *

Автомобиль «ГАЗ-А» или в просторечии «козлик», в то время — новинка советской техники — доставил арестанта на Малую Лубянку. Вскользь он уловил, что арестован органами ППМО ОГПУ СССР — значения первых четырех букв этой аббревиатуры он не понял. Про себя звал их по Катиному — «азами», но классифицировать этих «азов» так и не научился.

Для начала его оставили одного в тесном покое без, окон, размером с обыкновенную квартирную уборную. Отъезду из дому предшествовал ночной обыск, грубый и бесцеремонный. Он превратил квартиру в неописуемую свалку рукописей, книг, фотографий, японских альбомов, вперемежку с бельем, предметами обихода и настольными мелочами. Слава Богу, не нашли домашнего тайника с урной Валентина Кестнера — это

избавило Катю от неделикатных вопросов. Из книг конфисковали все тома собрания сочинений Троцкого, полученные по официальной подписке. Два-три ценных миниатюрных издания XVIII века — подарки С. А. Полякова — отнюдь не пахли антисоветской крамолой, однако очень заинтересовали старшего оперативника. Использовав домашнее замешательство, он было попытался их попросту присвоить, но Катя этому резко воспротивилась. Удивительно! Она прекрасно понимала человеческие слабости этих рыцарей, но почему-то продолжала видеть в них все-таки рыцарей и относилась к ним с некоторой долей влюбленности.

Терпеливо сносила она и другие незаслуженные обиды. Ведь, например, не удалось предотвратить изъятия нескольких заветных золотых монет, сбереженных Анной Ивановной. Оперативники унесли и торгсиновские боны, полученные за уроки с Саку-сан и еще не потраченные на продукты. А самого Роню огорчила конфискация его охотничьего снаряжения. В том же «козлике», вместе с арестованным хозяином везли и его ружья: Заурбековы подарки — малокалиберный винчестер и ружье-тройник марки «Кеттнер», а с ними — премиальная винтовка и охотничья двустволка-тулка. Особенно жалел Роня винчестер — в ста шагах не знал промаха по токующему тетереву на ветке или зимнему рябчику...

Роня хотел даже помочь выгрузить эти предметы вместе с запасом патронов, но его остановили: мол, не гоже, чтобы арестант нес свое оружие, хотя и зачехленное! Он молча наблюдал, как приемщик отобранного лихо хлопал стволами и щелкал курками ружей перед тем, как унести их в особую кладовую.

Все эти предметы Рональд отнюдь не рассматривал как ценности материальные. Они напоминали о близких, дорогих людях, о лучших полосах жизни, воскрешали заветные места на природе. Такое отношение к любимым вещам и предметам искусства он воспитывал в себе, как нечто возвышающее душу. Это не имело ничего общего с накопительством, жадностью к вещам. Ему казалось, что при социализме, при всеобщем благосостоянии, чувство собственничества ослабнет, уступит место совершенно иному этическому чувству, высокому и сильному, прежде недоступному бедняку и рабу, задавленному нищетой, ненавистью, завистью. Они с Катей надеялись, что новый социальный строй должен привести к нравственному перерождению и обогащению человека, научить его ценить бытие, открыть неизведанные ранее эстетические глубины и подарить каждому человеку то главное, что составляет смысл бытия:

богатство ума и чувства. Ум человеческий будет развит путем широкого гуманитарного образования, параллельного техническому, а чувства расцветут под влиянием изобилия и широкого выбора возможностей. Человек будущего постигнет, что любовь к женщине должна стать, как в поэме Мояковского «Про это»:

Чтоб не было любви — служанки
Замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
Чтоб всей вселенной шла любовь.

Он будет сказочно богатым, этот счастливый человек будущего, творимого ныне! Он-то научится уважению, чуткости и любви к окружающим людям, ибо среди них не будет высших и низших, подавляемых и подавляющих, эксплуатируемых и эксплуататоров. В человеческом обществе будут встречаться везде только товарищи по совместному творчеству, только сотворцы!

...Города-сады вместят деятелей промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Одни будут уезжать на подземные фабрики и заводы, другие — в обширные поля, сады, огороды. И все вместе будут охранять и беречь мать-природу! Чистые реки, изобильные рыбой и пернатой дичью по берегам, потекут среди густонаселенных дубрав и кедровых заповедников. Люди научатся почти молитвенно почитать заповедные рощи и озера с лебедями, преклоняться перед всем богатством жизни в морях и лесах, в горах и долинах. А входя в музейные залы, старинные соборы, кремли и замки, они постигнут скорбь врубелевского Демона, загадку его Пана, духовную красоту нестеровских отроков, могучую силу рублевского Спаса и свет от Сикстинской Богоматери... Все то, что некогда было богатством избранных, не должно исчезнуть, кануть в безвременье, а стать достоянием каждого человеческого сердца. Ради этого — все жертвы, весь черный труд, вся нынешняя тяжесть.

...Но почему эти мысли пришли в голову теперь, в одиночестве и темноте каменного мешка, озаренного негаснущей лампочкой? И сколько предстоит провести здесь времени? Часы? Недели? А может, годы?

Ну, вот дождался перемены! Повели в баню!

Остригли очень коротко. Пока мылся под душем, почти холодным, одежду подвергли строгому обыску. Срезаны были

почти все пуговицы, стяжки, петли. Отобрали ремень.

Когда оделся — испытал неприятную неуверенность — не упали бы штаны! Потом как-то приспособился ходить, не держась за пояс брюк. Выдали ему после бани соломенный тюфяк и постельные принадлежности, повели коридором с одинаковыми дверьми. В каждом — глазок и окошечко, плотно прикрытое. Одну из дверей надзиратель отомкнул, пропустил арестанта с матрасом и постельными принадлежностями вперед, в камеру, и закрыл снаружи дверь. Роня очутился среди полутора или двух десятков человек.

Его спросили, с воли ли он. Стали требовать новостей. Он же весь внутренне напрягся, ощетинился: ведь это преступники собраны, враги Родины, схваченные, обезвреженные, но все еще опасные и, конечно, темные, скользкие... Боже упаси о чем-то проговориться, чем-то помочь им в обмане следствия и суда. Он молчал и затравленно озирался.

Состояние его, видимо, поняли безошибочно.

— Дайте парню в себя придти, опомниться, — сказал кто-то мягко. — А который сейчас час, не знаете, товарищ?

— Спать, спать, — раздалось с нескольких коек. — Утро вечера мудренее!

И вновь прибывший быстро устроил себе постель на пустующей койке, разделся и лег. Безо всякой надежды уснуть, но с решением придти, наконец в себя и обдумать положение.

...Немного подремать все же удалось. Его разбудил подъем.

Объявил его в окошечко дежурный надзиратель. Люди вокруг Рональда зашевелились, первым вскочил и энергично устремился к параше в углу, при входе, худой паренек лет двадцати, Петя-физкультурник. В проходе между койками он старательно проделал несколько силовых упражнений физзарядки. Остальные вяло поднимались, готовились к совершению утреннего туалета, именуемого оправкой. Ощущение товарищества с ними усилилось при взгляде на лица: ни одно не отталкивало, не имело черт преступных. Люди как люди! Иные — бледны, худы, изможденны, другие — посвежее, но печать беды — на каждом.

Быстрее, чем он ожидал, Рональд Вальдек сблизился с двумя-тремя соседями. Еще двенадцать часов назад он пришел бы в ужас от такого соседства: врач-убийца, злостный троцкист, антисоветчик... Подумать только!

Однако он уже достаточно познал реалии жизни, чтобы сознавать: не бывает у убийц, даже непредумышленных, столь ясного взора голубых глаз! Злостный троцкист оказался командиром взвода в артдивизионе, был добродушен и не высокоинтеллектуален, а москвич-антисоветчик имел от роду

неполных 16 лет, звался Юрка Решетников и проникновенно читал пастернаковского «Лейтенанта Шмидта». Большая часть сокамерников считала тюремный срок неделями, некоторые — месяцами, и лишь «харбинцы» — а их в камере было четверо — сидели дольше. Но у всех уже выработалась неуловимая, а порою и явная ирония при упоминании обвинительных статей и сроков по ним.

— Вам, Рональд, обвинение предъявили? — спросили у новичка.

И даже не получив ответа, но узнав от соседа, где новичок служит, дружно и определенно заявили хором:

— Шпион! Определенно шпион! Натуральный шпион!

— Может быть, КРД, — тоном утешения сказал кто-то.

— А что это такое?

— Запоминай, парень: КРД — контрреволюционная деятельность, КРА — соответственная агитация. Ежели через пункт 17 — значит, намеренно. Ежели через пункт 19 — значит, попытка... Учись, учись, парень!

Так и пошел Рональд Вальдек перебирать костяшки тюремных дней на невидимых четках неволи. Томили его и чужие трагедии, и свои размышления. Думал все о том же — отрицает ли всеобъемлющая коммунистическая идея основы христианской морали? Зажеп сказал: безусловно! По Катиному выходит, что нет, одно другого не исключает. Кто же прав? Не являлся ли он сам, человек с гордым старинным именем Рональд Вальдек, желавший быть «острием кинжала, входящего в грудь врагу», пустым доносчиком и стукачом, о которых здесь в камере, товарищи говорили с таким невыразимым презрением? Ибо каждый из этих людей, честных и добрых, приведен сюда стукачом-доносчиком, как правило, трусливым, подлым и лживым провокатором (а может быть и стимулятором), тоже бегавшим к какому-нибудь Зажепу? Эта мысль была ужасна, невыносима, самоубийственна! Нет, нет, нет! «Товарищ Кинжалин» не предавал, не лгал, не доносил! Он лишь информировал органы о том, что их интересовало! И никто, никто от этого не пострадал!

Действительно, истории про стукачей, услышанные в камере, ничем не напоминали собственный опыт. Вот артиллерист-троцкист. Вел во взводе политзанятия, рассказывал про гражданскую войну. Один из бойцов спросил, кто был Троцкий. Командир сразу же сказал, что это — злейший враг революции, изгнанный из страны, пробравшийся некогда на руководящий пост в Красной Армии, чтобы подрывать ее изнутри, и имевший некоторое влияние на красноармейскую массу благодаря своему

краснобайству. Через несколько дней командира арестовали за злостную троцкистскую агитацию. Предал его запуганный стукач-еврейчик с девятью классами школы, очень боявшийся нэпманского прошлого своих родителей и завербованный полковым уполномоченным ОГПУ.

Врач-убийца служил в детском приюте. В часы его ночного дежурства возник пожар. Во главе всего немногочисленного дежурного персонала врач выносил детишек из двухэтажного корпуса. При проверке двоих недосчитались. Предположительно, они ночью бегали в уборную, потому что постели их в спальне пустовали, когда поднялась тревога. Врач разбил окно в нижнем этаже и пытался искать пропавших там, но в огне и дыме чуть не погиб сам. Потом, в обгоревших развалинах, следы тех двух обнаружены не были — возникло предположение, что эти двое сбежали. Но эта спасительная версия отпала, ибо одна из медсестер дала показания против врача, обвинила его в антисоветских высказываниях. Ему инкримировали вредительство, поджог и убийство по халатности. Медсестра была известна как старый сексот[100] и давнишний стукач. В ночь пожара в спасении детей она не участвовала вовсе, хотя дежурила и даже вынесла из канцелярии какие-то служебные бумаги.

Юрка Решетников, еще школьник, прочитал товарищам цикл стихов, составленный им самим из опубликованных произведений Павла Васильева, Бориса Корнилова, Пастернака, Ахматовой, Гумилева и Мандельштама. Об этом узнала учительница его класса, ненавидевшая Юрку именно за любовь к поэзии и за недоуменные вопросы при классных занятиях. Отец другого ученика служил в органах и учительница пошла к нему, получила указания и подала куда следует бумагу с цитатами из стихов, читанных Юркой одноклассникам. Арестовали Юрку за контрреволюционную агитацию, хотя стихи были, по его мнению, именно революционные.

Самого Рональда Вальдека никуда не вызывали больше недели. Он втягивался в камерную жизнь, жертвовал хлебный мякиш из пайки на изготовление шахмат, освоил азбуку для перестукивания и, перебравшись на другую койку у стены, принял первую «стукограмму», которая гласила: «Есть у вас харбинцы?» В ответ он передал четыре фамилии своих однокамерников. «Дело харбинцев» было в те месяцы одним из самых модных. Это были русские служащие КВЖД[101]. Всеми силами их агитировали за репатриацию, особенно с 1932 года, когда японцы заняли Манчжурию. Уговорами, угрозами и посулами русских служащих сманили в СССР, а саму железную дорогу уступили чуть позднее, за бесценок японцам. Привычные к усердному труду харбинцы

быстро освоились, устроились и ценились как отличные специалисты. Утверждают, что Сталин лично приказал отыскать по всей стране этих выходцев из Манчжурии и посадить до единого как потенциальных японских шпионов. Началась беспримерная акция — только в Москве, где осело их мало, все тюрьмы переполнились этими пасынками двух стран. Настроение большинства людей было беспросветным: старшие уже не сопротивлялись следователям и подписывали все, что те требовали; младшие, в том числе и Ронин сосед — Петя-физкультурник — энергично противились произволу и шантажу следователей (Петя все грозился «дойти до самого товарища Сталина»), теряли силы и здоровье в бесплодной борьбе и в конце концов выходили из нее сломленными, полуживыми, окончательно разуверившимися в государственной справедливости. Под конец Рониного пребывания в камере Петя почел за лучшее подписать признание в преступной деятельности и в тишине ночи глухо рыдал в подушку, видимо, окончательно хороня свои былые честолюбивые мечты о комсомоле и дальнейшем росте на партработе.

По доносившимся звукам Рональд уже читал и расшифровывал простейшие алгоритмы тюремной жизни. Думал он при этом, сколько сотен книг он переслал в подведомственные ему страны о преимуществах пенитенциарной системы СССР в сравнении со странами буржуазными! Теперь ему открылась неожиданная возможность самому, на личном опыте, познать эти преимущества!

Сначала Рональд сориентировался в пространстве внешнем и определил, что их камера выходит на улицу Малая Лубянка. Через каждые четыре-пять минут часовой прохаживается по тротуару как раз на уровне самой верхней части зарешеченного камерного окна у притолоки. Значит потолок камеры находится примерно на уровне уличного тротуара. Если кто-нибудь из прохожих вздумал бы лечь на тротуар, то смог бы заглянуть через мутное стекло в Ронин подвал и увидеть всех сокамерников на койках. Теперь Рональд знал и значение букв ППМО: полномочное представительство Московской области ОГПУ СССР. Это «представительство» имеет собственную областную тюрьму на Малой Лубянке для государственных уголовных преступников, то есть — политических, если пользоваться буржуазной терминологией. Терминология же социалистической страны в таком термине не нуждается: свободы ее граждан столь обширны, что преступления политические здесь просто немыслимы. Их не бывает! Бывают лишь антигосударственные уголовники. Непонятно лишь одно: зачем при такой благодати внутри страны

еще надобно Объединенное Государственное Политическое Управление? Эту несообразность впоследствии учли и переименовали зловещее учреждение в безобидное Министерство, а затем даже в простой Комитет Государственной Безопасности, словом, чистейший гуманизм последовательно прогрессировал в стране победившего социализма!

Вышеупомянутое ППМО вспомнило, наконец, об арестанте Вальдеке и вызвало его из малолубянского подвала наверх, на допрос к следователю.

Напуская на себя суровость, непреклонность и глубочайшую осведомленность обо всех грехах арестанта, следователь долго записывал Ронины ответы на пункты анкеты и перешел к устным расспросам о друзьях, знакомых и родных. Про служебные дела, о шведке Юлии Вестерн — ни звука! Интересовали следователя лишь Ронины связи с немецкой церковью, хоровыми обществами, органистом и кругом немецкой молодежи, куда ввели Роню органист и певец.

— Расскажите, при каких обстоятельствах вы попали на вечеринку в доме певца Денике и как она происходила?

Роня пояснил, что подробностей не помнит, ибо все это детально известно Иоасафу Павловичу и Максиму Павловичу. Следователь же изо всех сил старался как бы вовсе исключить из своих записей факт, недобровольного появления Вальдека на этой вечеринке. И лишь с крайней неохотой записал он телефоны, адреса и служебные координаты Рониных «азных» начальников. На этом допрос кончился. Снова наступила долгая пауза в тюремной Рониной жизни: о нем опять будто бы забыли.

При следующем вызове тон допроса заметно изменился. Он стал помягче, в нем появились ноты отеческой укоризны и даже некоторого недоумения. На этот раз следователя волновал вопрос, зачем Вальдеку понадобилось носить при себе портретик фюрера и декламировать в компании стихи про кинжал, зря не поднятый над слабым веком... Задавая эти вопросы, следователь заглядывал в какие-то бумаги, и Роня, благодаря острому зрению, смог различить в них почерк церковного органиста. Более того — он безошибочно установил справедливость прежней Катиной догадки насчет органиста — тот был давнишним, опытным сексотом. Даже его псевдоним смог прочесть Рональд, пока следователь переворачивал бумагу: Кемпфер. Таким же сексотом оказался и певец Денике. Ох, недаром Рональду и Кате вспомнился честертоновский «Человек, который был четвергом»!

Следователь предложил Рональду подписать протокол и признать, что ношение портрета Гитлера и чтение стихотворения «Кинжал» были политической ошибкой. Подследственный

настаивал, чтобы тут были прибавлены слова: указанная ошибка совершена по указанию руководящего товарища с тем, чтобы, по его расчету, развязать языки вражеским элементам, кои, мол, строили планы завербовать в преступные ряды своих сообщников также Рональда Вальдека. Такие слова следователь в протокол не включил, но картина для Рональда окончательно прояснилась! Все это значило, что Максим Павлович и Иоасаф-Зажеп лишь испытывали своего неофита Вальдека в среде проверенных стукачей! Какая масса убитого времени! Какое нелепое применение сил человека, столь искренне желавшего стать острием кинжала! Господи! А может, так-то оно и к лучшему?

После составления этого протокола Рональд Вальдек уже недолго пробыл в стенах на Малой Лубянке. Однажды, поздно вечером, его вызвали из камеры с вещами.. Никто из товарищей и опомниться не успел, как Роню уже вывели в коридор и проводили в дежурку. Тут ему дали подписать бумагу о неразглашении, обязательство не поддерживать связи с сокамерниками и не выполнять их поручений, просьб и пожеланий.

Рональд больше всего жалел, что действительно вынужден будет соблюдать эту инструкцию: слишком быстрым и неожиданным было его освобождение и никаких поручений от товарищей он и вправду взять не мог!

В летнем сумраке шагал он по знакомым улицам со свертком своих камерных пожиток. Ему обещали, что прочее конфискованное отдадут потом. В это уже и не очень верилось. Вольный ветерок овевал виски — это было главным ощущением свободы. Теперь он знал: дороже ее в мире нет ничего. Смерть за свободу, оказывается, легче, чем жизнь без нее.

На ходу он размышлял о причинах своего ареста и освобождения. Выходило, будто история со шведкой никак не повлияла на арест «по немецкому делу». Может быть, две «азные» инстанции не сговорились, и ведомство Максима Павловича и Зажепа просто не ведало, что ППМО ведет параллельную работу и получило ордера на аресты? Судя по документам в руках следователя, одновременно с Рональдом было арестовано еще несколько человек из церковной среды. Или же, наоборот, учитывая строптивость и недисциплинированность своего консультанта, Зажеп и Максим санкционировали органам ППМО арест Вальдека, чтобы принудить его к покорности на будущее, припугнуть и показать, почем бывает фунт лиха? А может быть, Рональда посадили, чтобы отвести от него подозрение насчет сотрудничества с «азами»? Все это было туманно и тревожно. Жизнь скособочилась. Из прямой и ясной она становится все

более похожа на нечистый, путанный бульварный роман. Жанр низкопробного детектива Рональд органически ненавидел, и про себя решил положить «всему этому» конец.

Вот и темный церковный двор. Крошечный, бесконечно милый остаток Кукуйской слободы времен Иоанновых и Петровых, хотя и лежащий чуть в стороне от Яузского притока Кукуя, в пределах Белого Города Москвы, близ Иванова монастыря. Он — рядом, чуть пониже…

Двор Петропавловской церкви издавна был проходным, между Петроверигским и Колпачным переулками. Освобожденный арестант пересекал его наискось, от часовни с моргом для упокоенных до выходных железных ворот со ступеньками в Колпачный, против Снегиревской глазной больницы.

Слева — здание кирхи с цветными витражами, высокий неоготической колокольней и широкими ступенями главного портала, всегда закрытого, молящиеся входили в кирху рядышком, через боковой вход… Здание оканчивалось стрельчатыми сводами санкристии близ алтарной части. Здесь Альма Шварц, папина партнерша, репетировала под фисгармонию с младшими гимназистами рождественский хорал: «O, du froliche, o du selige, gnadenbringende Weinachtszeit!»[102]

Во дворе справа — двухэтажный дом с квартирами епископа, кюстера и органиста. Оказывается, он подписывается Кемпфером… Неужто он — идейный? Или просто пригрозили и заставили? И втянулся, попривык? Значит, и он также «стимулировал» Рональда, лишь случайно оказавшегося тоже «с начинкою»? Иначе этот музыкант предал бы в руки ППМО своего человека, носившего гитлеровский портретик и прочитавшего лирические, довольно безобидные и печальные стихи. Что ж, может для победы коммунизма и пришествия на землю царства Божия так оно и надо? А… не Иудин ли грех все это? Который, подобно греху против Духа Святого, не прощается? Так гласит, во всяком случае, мудрость народная, хотя и не каноническая. А сам он, Рональд Вальдек, свободен от этого греха? Если он прямо не продавал и не доносил, то… все же привлекал внимание и к прошлому своих родителей, и к настроениям их друзей и знакомых. Свободен ли он от Иудина греха? Не запутался ли в хитросплетениях диалектики и не принял ли за революционный романтизм служение бесам зла и ненависти?

У выхода в Колпачный темнеет красное здание женской Петропавловской гимназии. Ее окончила мама, Ольга Юльевна Лоренс. И по сей день не может она смириться с тем, что такое прекрасное школьное здание, построенное на пожертвованные

всем немецким населением города средства, отобрано у них под совсем иные государственные нужды.

Атмосфера чего-то издавна родственного, но уже слабого и обреченного, обдала Рональда Вальдека в этом почти заповедно-немецком уголке старинной Москвы. Если рассуждать без запальчивости и с фактами в руках, старая столица кое в чем все же обязана устроителям здешнего лютеранского храма, молящейся в ней пастве и выпускникам обеих петропавловских гимназий. Конечно, помнить о прошлых вкладах граждан в государственный фундамент свойственно отнюдь не каждой правительственной системе, и, по-видимому, менее всего свойственно это деятелям социалистического госдепартамента, каковой, по Ленину, должно строить лишь на развалинах взорванной государственной машины прошлого. Посему, видимо, вклады и взносы граждан в ту прежнюю машину как бы аннулируются? Доктрина, ошибочная и сама по себе, да и забывающая притом о гражданских заслугах гуманитарного порядка, прямо не связанных с поддержкой прежней государственной системы

Но до чего же они хороши, все эти старо-московские переулочки — кривые, изогнутые, малоэтажные, в зелени тополей и лип, полные очарования и уюта: Петроверигский, Колпачный, Подкопаевский, Хохлов, Подколокольный, Хитров, Большой Трехсвятительский и, наконец, заветный — Трехсвятительский! Малый!

Родной порог... Чугунные ступени на второй этаж... «Вальдеку и Кестнер — ДВА звонка»...

Катя, оказывается, не ходила нынче вовсе на службу. Ждала целый день. Ей сказали, что освободить его должны с утра. Она все грела кофе и пирожки. Все здоровы... Маська стал лучше говорить, и в зоопарке у клетки львов спросил:

— А папа сейчас сидит тоже в такой?

2

Человек часто сам не замечает, сколь многому может научиться всего за какой-нибудь месяц. Так случается на войне, в тюрьме, в больнице, в экспедиции или ином дальнем странствии. Бывает это и при деквалификации, когда специалист попадает на какие-нибудь дельные курсы усовершенствования, проходит всего месячную учебу и сам потом дивится; сколь же многому ухитрился он уделить внимание, как много успел познать важного, прежде почему-то упущенного, неведомого! Кстати, это и вообще признак добрый: значит, человек еще умственно свеж,

восприимчив и способен возвышаться, расти!

Часто в такой ситуации человек открывает в себе и новые качества. И хорошие, и дурные. Если наберется решимости, особенно, когда не очень молод, одолеть обнаруженные в себе слабости — совсем хорошо. Странно, но этому решению всегда сопутствует не просто успех, а прямо-таки… Божье соизволение!

Все это и произошло с Рональдом Вальдеком в подвале на Малой Лубянке. За месяц он будто прочитал двадцать два современных романа — по числу своих товарищей в камере. Двадцать два жизненных пути, совершенно не похожих один на другой, с неизбежностью приводили… на Малую Лубянку! И общей приметой всех этих судеб было одно: люди эти родились или стали советскими гражданами! И в начале пути поколебались они не в своей советской идеологии, а в вере в абсолютные, точнее, христианские духовные ценности. Ими и пожертвовали во славу торжества социализма и оказалось ни с чем! Рональду слабо забрезжило озарение, что человек, в отличие от змеи, меняет не кожу (вопреки роману Бруно Ясонского), не тело, но душу (вполне по Гумилеву!)[103]. Высшие же ценности, завещанные человеческой душе, неизменны, и все попытки сменить, сбросить или обойти их во имя якобы самых светлых политических и социальных целей ведут к одному: к полной их утрате!

Еще он постиг: уж коли насильно не станешь мил, то подавно не станешь через насилие счастлив, и никого через насилие к счастью не приведешь! Цель, оказывается не только не оправдывает средств, но, напротив, низкие средства компрометируют и самое цель! Впоследствии он нашел эту мысль и у молодого Маркса и даже печатно ее цитировал. Но вот странно: почему в двенадцатилетнем возрасте он сию истину очень ясно понимал, а к собственному четверть вековому юбилею пришел вновь к этому открытию лишь на Малой Любянке и на столь тяжком чужом и собственном опыте?

Главное же, в чем он теперь безусловно и окончательно разуверился, была романтическая легенда о чистоте рук и средств в Большом Доме. Нет там ни чистых рук, ни чем-то якобы оправданных средств, ни рыцарских сердец. Есть чиновники ведомства, коим разрешены и рекомендованы все низости, выгодные для властей предержащих. Есть целая система лжи, подкупа, коварства, лицемерия, запугивания, растления, цинизма, тайны и тьмы. Есть широчайшая практика доносительства, провокации, клеветы и шантажа, бесправия жертв и абсолютного произвола властителей и начальников, носящих «ромбы» в петлицах. Принадлежать ко всему этому сонмищу злодеев,

завистников и карьеристов позорно и бессовестно! Рональд Вальдек решил любою ценой освободиться от всех видов сотрудничества с лубянской мафией.

Недаром в мудром детстве слово «чекист» всегда представлялось ему синонимом слов «палач и убийца».

...Максим Павлович принял его с веселой непринужденностью. Рональд явился на эту встречу с намерением сделать ее последней. Он принес сухое, краткое заявление на одной странице с претензией против примененной к нему политики кнута и пряника, вместо разумной и неторопливой тактики использования всех его служебных возможностей. Устно он попросил принять свою полную отставку.

Начальник в мягком тоне стал его отговаривать.

— Вы сейчас раздражены, а ведь мы вами очень дорожим! Пожалуйста, Иоасаф Павлович, — обратился он к сидевшему поодаль Рональдову шефу, — продумайте хорошенько такое применение сил и знаний товарища Вальдека, чтобы он почувствовал от сотрудничества с нами полное удовлетворение. А как сейчас ваши дела в Учреждении? Ведь вы, Рональд Алексеевич, как будто задумывались о переходе оттуда?

— Пока, после такой паузы, я ничего сказать о работе не могу. Я не уверен, что еще числюсь в штатах своего Учреждения. Я там еще не был.

— Не тревожьтесь. Там никому не известно, где вы пробыли этот месяц. Вашей супруге, Екатерине Георгиевне, мы передадим завтра больничный лист. Дадим вам, сверх отбытого месяца, недельку полного домашнего отдыха. А потом подумаем, как пойдет ваша дальнейшая служебная и иная деятельность. Ваше заявление, Рональд Алексеевич, я еще перепроверю: отпускать вас совсем мы отнюдь не намерены. Вы сами понимаете, что арест ваш был сделан отчасти в целях оперативных, отчасти же по недоразумению. Не огорчайтесь лишнему опыту, мы его еще используем вместе с вами!

Товарищ начальник, увы, не ведал еще, что дни его самого уже сочтены. И трех лет не минет, как смертный приговор над ним будет приведен в исполнение. Тоже, наверное, «в целях оперативных», и в тех же лубянских подвалах! Рональд Вальдек тоже, разумеется, не мог еще предвидеть такого оборота событий, выходя из кабинета в коридор Большого Дома, но в своих намерениях нисколько не поколебался, связь с этим заведением прекратить. Покамест просто не являться на встречи и вызовы, а при случае снова повторить прошение. И — больше никаких справок, консультаций и донесений!

На службу Рональд явился через неделю, с «листком

временной нетрудоспособности», в просторечии — с бюллетенем, выданным Петровской амбулаторией, к которой никакого отношения не имел. Однако, в бухгалтерии никто не обратил внимания на эту несуразицу. Через неделю он втянулся в обычную деловую круговерть и начал вспоминать о своей бывшей ученице. Мысль о ней была мучительна — что там с нею, где она? Но была в этой мысли еще и сладость, тревога и горячая острота.

Как-то нечаянно он смог узнать, что уехала она в Баку и осенью должна вернуться в Москву. То, что ее нет — смирило его, избавляло от соблазна увидеться. Но однажды, в дождливый сентябрьский полдень, садясь в автобус на Арбатской площади он был последним из очереди, кого кондукторша допустила в набитую машину. И как раз следом за Рональдом кинулась к автобусной дверце с мостовой женщина. Кондукторша грубо столкнула ее с подножки и захлопнула дверь. Женщина оказалась Юлией Вестерн, загорелой, оживленной и еще больше похорошевшей.

На другой день он из автомата позвонил по старому телефону. Женский голос сказал, что Юлия после Баку остановилась в гостинице, но этой ночью улетает в Стокгольм.

Он решил увидеть и проводить ее.

Авиапассажиры с ночи собирались тогда у главного входа в ресторан «Метрополь». Автобус из аэропорта приходил за ними в четыре часа утра.

С самой полуночи Рональд, сойдя с трамвая, слонялся у входа в «Метрополь». Денег у него было маловато, букет хризантем наполовину опустошил его финансовый запас, пассажиры самолета на Стокгольм и с других рейсов являлись поодиночке, с малой кладью и стандартными остротами: «От хорошей жизни не полетишь», «где кончается порядок, там начинается авиация» и т. п. Никогда еще время не тянулось для Рональда столь мучительно и медленно. Но прибыл и автобус с надписью «Аэропорт», люди уселись в кресла, ждали опаздывающих... Юлии все не было и не было. Автобус побежал по Тверской улице, миновал Белорусский вокзал и ресторан «Яр» с вывеской Межрабпомфильма, село Всесвятское, летние Ронины лагеря... Серое здание аэровокзала было почти пустынным. Где-то на летнем поле жужжал авиационный мотор. Может, она приехала прямо сюда?

Пассажиров, отлетающих самолетом на Стокгольм, пригласили на посадку. Нет, Юлии не было и в этом зале. У Рональда сердце стучало тревожнее и тяжелее. Пассажиров повели.

В окошке у диспетчера он осведомился, числится ли среди

пассажиров Юлия Вестерн.

— Вестерн, Вестерн, — стал вспоминать диспетчер. — Вроде, помню такую. Была ведь такая фамилия. Вот она!.. Вестерн Юлия... Улетела вчерашним рейсом... Вчера она улетела, товарищ!

Кате он сказал, что надеялся увидеть и проводить Юлию. Поэтому ночевал у входа в «Метрополь», ездил в аэропорт и в Учреждении чувствовал себя как сонная муха.

— Когда Бог хочет наказать человека, Ронни, — сказала Катя, — он отнимает у человека разум. Это с тобой и случилось! Думаю, что тебя нужно как-то спасти... Отправить тебя, что ли, на Дальний Восток, года на три? Я попробую!

— Что ж, я не против, — сказал он вяло. — Мне даже как-то... все равно! Но я очень люблю и очень жалею тебя, Катя!

— Интересно, как же это у тебя получается? Сердце-то одно, его же не разделишь?

— Знаешь, Катя, а мне кажется, что оно, вроде морского корабля, разделено на отсеки. В сердце ведь тоже есть какие-то доли — предсердия, желудочки... Наверное, у меня в одном предсердии живешь ты, а в соседнем...

— Я тебя ненавижу! Полюбила святого, гордого, чистого! Ты бы мне тогда про свои отсеки популярно разъяснил! Горе ты мое! И до чего же ты ничего не смыслишь в женщинах. А вот если бы ты в ту писательницу втюрился, я бы могла и простить, и понять! А тут! Дешевая авантюристка, ты же ей и меня, и Маську под ноги бросил! Спасибо, сама смылась вовремя, на грех не навела. Но это уж — точно Бог тебя уберег!

* * *

Через несколько дней товарища Вальдека спешно вызвали в кабинет главы правления. Рядом, в судейских позах восседали прочие руководящие товарищи Учреждения. Выдержав значительную паузу, председатель начал произносить нечто вроде обвинительного заключения.

В преамбуле он говорил очень веские слова, сколь высоким должен быть моральный уровень тех советских людей, кто имеет дело с иностранцами.

— А вы, товарищ Вальдек, уронили свое советское звание тем, что совершили неэтичный поступок!

— Какой же?

— Не спешите! Ответьте, каковы были ваши отношения с писательницей, госпожой N?

— Отношения были дружественными. Узнав ее ближе как

человека, я преисполнился к ней еще большего уважения, чем прежде, когда знал лишь ее литературные заслуги.

— Это к делу не относится! На какой почве возникли ваши отношения с нею? В качестве кого вы перед нею выступали? В качестве лица частного или служебного? Я прошу прямого ответа.

— Разумеется, в качестве лица служебного. Так что же?

— Имели вы право, будучи лицом служебным, принимать от нее ценные подарки?

— Подарков ценных я не принимал ни от нее, ни от других иностранцев. Бриллиантовых перстней, собольих шуб или золотых часов, словом, никаких ценностей от иностранцев ни я, ни другие наши сотрудники никогда бы не приняли. А простой обмен сувенирами или какими-нибудь мелочами естественен, когда люди долго общаются и дружески расстаются. Впрочем, я не знаю, что именно сейчас имеется в виду.

— Какие подарки вы все же от г-жи N приняли?

— Вот эту самопишущую ручку. Как видите, она недорога и подержана. Это было подарено символически, как благословение писать сюжетные вещи!

— А еще какие были сделаны вам подарки госпожой N?

— Мы попали к ней в гостиницу с женой под дождем и промокли. Писательница сама надела на жену мою легкий дождевичок на обратную дорогу. Мы тоже ей подарили какой-то пустячок — коробку с парфюмерией и русские матрешки, помнится...

— А вот мы, руководители Учреждения, считаем этот ваш поступок неэтичным и влекущим за собою ваше увольнение.

— Знаете, если бы я даже предвидел это, то не поступил бы иначе. Мне упрекать себя в данном случае не в чем!

Кто-то вмешался:

— Не думайте, товарищи, что это единичный случай в практике Вальдека. Он систематически получал подарки от иностранцев. Вы это подтверждаете, Вальдек?

— Напротив, категорически отрицаю. Таких дружеских и сердечных отношений, как с писательницей N у меня ни с кем не возникало. Соответственно, не бывало и обмена сувенирами.

— А это что же такое? Товарищи, обратите внимание на надпись!

На свет божий была извлечена книга — голландско-немецкий словарь, присланный Вальдеку из Амстердама. Надпись действительно гласила:

«Дорогому товарищу Вальдеку за его верную помощь нашему обществу Советско-Голландской дружбы». 21 марта 1933 года.

— Значит, получили в подарок эту книгу?

— Получил. И был ей очень рад. И, кабы можно было вернуть прожитое вспять, снова принял бы эту книгу, и снова радовался, гордился бы таким отношением зарубежных друзей и дальше служил бы делу дружбы!

— Товарищи! Вы все это слышали? — обратился председатель к ареопагу.

Все молча кивнули, смущен был лишь генеральный секретарь А. Он был явно на стороне обвиняемого, но помалкивал!

— Итак, товарищ Вальдек, можете считать себя уволенным. Дела сдайте до вечера товарищу Ласло, документы получите сегодня же. Все свободны!

За три часа передача дел была окончена. Множество начатых и многообещающих мероприятий обрекалось на провал, оставалось незавершенным, безнадежно брошенным на равнодушных чиновников, застревало в инстанциях, чужих ведомствах... Товарищ Ласло был поражен:

— Никогда не думал, что у вас такой размах работы. Слушайте, не обжаловать ли повыше всю эту дикую несправедливость? Жаль дела... и вас!

Но товарищ Вальдек слишком ясно чувствовал за всей этой историей руку своего шефа, Зажепа. Действительно, тот позвонил на другой же день:

— Слушайте, Вальдек, у вас там неприятности на работе? Что же вы вовремя нам ничего не сообщили? Приезжайте-ка сейчас ко мне в гостиницу «Метрополь». У меня есть для вас вполне приемлемое предложение!

...Предложение, вполне приемлемое, было нехитрым: Рональда Вальдека пожелали сосватать на должность директора этой гостиницы. Он отказался решительно и резко. Зажеп разыграл крайнее удивление.

— Послушайте, вы же отказываетесь от золотого дна!

— Если уж выбирать дно , то предпочел бы... почище!

— Итак, я вижу, что вы действительно решились на разрыв с нами?

— Об этом я сказал вам сразу по выходе с Малой Лубянки.

— Хорошо. Я вас вызову. Это не так просто, как вы воображаете!

Но вышло это довольно просто! Зажеп пригласил Рональда домой, долго листал папку с какими-то документами, взял снова следовательский тон и опросил зловеще:

— Скажите-ка мне, Вальдек, зачем вам понадобилось свидание со шведской гражданкой Вестерн после того, как получили указание о прекращении работы с ней?

— Знаете, Иоасаф Павлович, вдаваться в эти детали мне

сейчас что-то не хочется. Тут дисциплинарных нарушений не было, я могу это доказать, но не имею на то ни желания, ни времени.

— Вальдек! Вот текст, который согласован с Максимом Павловичем. Это подписка о неразглашении. В случае нарушения вы отвечаете.

— Знаю! В несудебном порядке! Извольте. Диктуйте ваш текст!

В бумажке были ссылки на «недисциплинированность и допущение самовольства». Зачеркивалось имя товарища Кинжалина... Вышеупомянутый Рональд Алексеевич Вальдек освобождался от сотрудничества с Большим Домом. Такой-то день 1934 года. Подпись.

Это был бесповоротный финал Рониной азиатуры! Продлившейся около года... Он еще не ведал, что вырвался из этих клещей буквально чудом, ибо малое время спустя раздался выстрел в Кирова, и страна вползла в полосу репрессий.

Вышел он на улицу, в Денежный переулок, с чувством огромного облегчения. Конечно, щемило сердце от мыслей о множестве полезных начинаний, задуманных и не исполненных им в северных странах; эти дела срывались из-за увольнения с основной работы. Но оставалась еще у Рональда Вальдека работа педагогическая и журналистская, и литературная, если «азы» и тут не сунут палки в колеса.

Дома он застал Катю в беседе с Ольгой Юльевной Вальдек. Мать Рональда принесла неважные известия о близких старых знакомых. Что-то тяжелое висит в воздухе... Поговаривают о закрытии немецкой Петропавловской церкви. Кое-кого вызывали кое-куда... Арестовали известного инженера и двух одноклассников Рональда (они, кажется, служили в немецком концессионном предприятии).

Рональд Вальдек для начала засел за платные переводы. Это принесло финансовую передышку. Кончался ноябрь 1934 года. Последний месяц относительной политической тишины.

3

«1 декабря 1934 г. в Ленинграде, в Смольном, Киров был убит врагом партии. Убийство Кирова, совершенное в обстановке культа личности Сталина, послужило поводом для массовых репрессий, грубейших нарушений социалистической законности».

Советская историческая энциклопедия, т. 7.

Семья Рональда Вальдека, его родительский дом со стародавними связями, их родной город Москва вместе со всей Россией, включая Великую, Малую, Белую и Азиатскую, неотвратимо двигались в одном потоке к зловещему водопаду-порогу, апокалиптическому 1937-му году. Прелюдией к нему было убийство Кирова — провокация, использованная для расправы с неугодными.

Строки эти пишутся сорок лет спустя. Но и по сей день нет не только полного истолкования, нет даже полного описания всего свершившегося тогда в России: вернее, свершившегося над Россией.

Ибо не было потом нюрнбергских процессов, наказанных виновников, фолиантов с оглашенными цифрами потерь. Нельзя, мол, вмешиваться во внутренние дела! Нам — в чужие, впрочем, можно. Им, чужим, в наши — нельзя! Ибо мы друзья человечества, а они — его враги! Этим доводам мир поверил. Мертвые — не встанут, живые — промолчат, юные — не знают!

А ведь этот водопад-порог обошелся народам России не меньше, не дешевле, чем Великая Отечественная война! Стало быть, те же два десятка миллионов.

Частично подсчитаны жертвы среди верхушки ленинской партийной гвардии, высшего командного состава Красной Армии, делегатов XVII партсъезда, то есть тех же партработников и руководящих хозяйственников...

Но можно ли забыть, что расстрелянные и замученные ленинцы, как говорится, «за что боролись, на то и напоролись»! Получили сполна сами то, что в течении двадцати лет готовили другим. Кроме того, не было речи о поголовном уничтожении всего их общественного класса («нового»), как это сами они проделали с т. н. кулачеством (фактически уничтожено было среднее крестьянство по всей России, притом под откровенным лозунгом первой пятилетки: «уничтожить кулака как класс!»). А тут, в отношении высшей партийной бюрократии, расстрелянной сталинистами, дело шло не об истреблении класса, но лишь о смене верхушки: первые ряды партера должны были уступить кресла и портфели тем, кто сидел и стоял до поры сзади, вырастая из-за спин прежней ленинской элиты. Севшие в кресла и взявшие портфели сохраняли их до конца! Мертвые же... посмертно реабилитированы. Просто!

Вся эта смена явилась закономерностью самой природы тоталитарного социалистического строя, породившего новый класс. Режим неограниченного насилия — свойство диктатуры пролетариата (как и любой другой диктатуры). Сам пролетариат никакой диктатуры, разумеется, осуществлять не может — ее

осуществляют от имени пролетариата и, скорее, над ним, ибо сам бывший пролетариат, если он и был эксплуатируемым трудящимся, беря в руки средства насилия и подавления, превращаясь в орудие диктатуры, тем самым перестает быть пролетариатом. Чекист из рабочей среды — уже не рабочий, он, как орудие диктатуры, стоит над рабочим. Диктатура класса (или от имени класса) неизбежно приводит к диктатуре личности, ибо нет диктатуры без диктатора. Борьба за портфель диктатора — закон тоталитаризма. Она ведется тайно, интриганski и карьеристски, чему способствует отсутствие гласности, контроля и прочих элементов демократии. При этом все могучие средства массовой информации и пропаганды целеустремленно работают на оглупление и оглушение народа, заверяя его, что все это и есть подлинный, высший тип демократии. Отношения тоталитарной власти и народа становятся только отношениями верноподданности снизу и демагогии сверху. Рано или поздно тайные интриги приводят к частичной, и подчас почти полной смене властителей: ленинцы убирали прежних союзников — эсеров, сталинцы убирали ленинцев, клянясь при этом его именем, хрущевцы выкорчевывали крайних сталинцев, брежневцы послали на пенсионные хлеба хрущевцев, и ничего в этом калейдоскопе не будет меняться, кроме фамилий, до тех пор, пока тоталитаризм не изживет себя окончательно.

На судьбах нации, народа кровавая расправа 1937 года над верхами и элитой отразилась лишь косвенно («паны дерутся — у холопов чубы летят»), как любая смена привычных вождей, к чьим причудам холопы уже притерпелись, вождями новыми, к кому еще предстояло примериться, чтобы затем раболепствовать и восхвалять уже по-новому, в соответствии с очередными лозунгами и требованиями. Правда, густота елея в холопских речах, статьях, кинофильмах и драмах, радиопостановках и романах изменялась за все десятилетия Советской власти лишь в нюансах, в соответствии с древнерусским правилом: каши маслом не испортишь.

Поэтому, как ни редели когорты верных ленинцев в роковом 37-м, потери нового класса сразу восполнялись за счет задних рядов. В сущности, этим и утешали себя уводимые на расстрел носители ромбов и наркомовских портфелей. Командарм Якир, падая под выстрелами в лубянском подвале НКВД 11 июня 1937 года, воскликнул: «Да здравствует товарищ Сталин!» Немецкая коммунистка Витфогель, близкая приятельница и коллега Кати Кестнер-Вальдек, умирая в камере Бутырской тюрьмы, в ответ на лозунг другой коммунистки: «Der Markxismus ist nicht tot![104] тихонько выговорила: Der Markxismus ist nicht tot, aber wir sind

tot!..[105] Эти люди были честными, их гибель драматична, но... шеренги их диктаторствующего класса не редели, а лишь сменялись.

Где же, однако, статистика всех тех жертв, всего того горя, что затопило народ и страну, когда сталинская партия решила, во имя торжества социализма, уничтожить «кулачество» как класс? Само слово «уничтожить» было сигналом для исполнителей действовать именно методами физического истребления обреченных, а заодно и всех, им сочувствующих или помогающих, в частности, церкви. Кто сочтет миллионы Иванов Денисовичей, его Матрен и Аннушек, чьи косточки раскиданы по всей зоне вечной мерзлоты от Карелии до Чукотки, закопаны в общих ямах вдоль Уральского хребта по обе его стороны, равно как и по берегам всех сплавных и судоходных рек России, словом, сочтет миллионы крестьянских трупов, покоящихся под чужими снегами, песками и водами? Кто поведает правду о страданиях этих людей перед смертью? Об этом ныне часто толкуют у костров строители, геологи, изыскатели, натыкаясь на безымянные захоронения 30-х —г 40-х годов.

Адский мрак этих наших так называемых внутренних дел начал рассеивать величайший гражданин и заступник России Александр Солженицын. Его гражданский подвиг в литературе не имеет себе равных во всей мировой истории художественного слова от Гесиода до Хемингуэя. Его можно сравнить разве что с самоотвержением Антона Чехова на Сахалине, но значение трехтомного «Архипелага» неизмеримо выше, и условия их работы несоизмеримы. Чехов трудился в атмосфере всеобщего сочувствия и поддержки, Александр Солженицын сражался в одиночку с таким врагом, против коего минотавр на Крите — котенок!

Но даже этот подвижник, собравший более двухсот подлинных мартирологов, не претендует в своем художественном исследовании на полноту объяснения всей этой небывалой по масштабам, общечеловеческой по значению и общероссийской по месту трагедии нашего века.

Очевидно лишь одно, главное: первопричина всему — сама теория марксизма-ленинизма, наиболее последовательно и принципиально претворенная в жизнь именно в российской ленинско-сталинской практике. Об этом русском опыте не грех бы вспоминать хотя бы изредка и людям остальной Европы, свободной, пока в их двери еще только скребется все тот же волк в овечьей шкуре, ныне принявший безобидный облик «еврокоммунизма». И пока он еще только скребется в дом Красной Шапочки и бабушки, не худо бы им освежить в памяти

ленинские заветы, изложенные довольно откровенно в его «Государстве и революции». Суть их проста: сначала — опираясь на крупную буржуазию и кулачество — одолеть царя и помещиков. Затем — опираясь на буржуазию мелкую и среднее крестьянство — одолеть буржуазию и кулака. Далее, опираясь на пролетариат и бедняков, одолеть среднее крестьянство и мелкую буржуазию, а затем — остатки сопротивляющихся элементов. И тогда — царствуй, партия пролетариата, и... не давай никому, никакому инакомыслию поднять голову! Руби эти головы, выгоняй из страны философов, коли они не во всем согласны, писателей, коли они не подпевают, политиков, если грозят оппозицией...

...Рональд Вальдек, уволенный из Учреждения, явно в результате закулисного вмешательства «азов» (они предсказали и предлог), решил поэтому, вопреки дружеским советам, увольнение не оспаривать, а сосредоточить внимание на тех сторонах своей деятельности, какие дотоле считал побочным заработком.

Служебной его месячной зарплаты (как у всякого совслужащего) едва хватало семье на неделю существования. Вторую и третью неделю обеспечивали обе Катины месячные зарплаты. Четвертую неделю и остаток месяца приходилось жить на «левые» заработки Рональда. Он активно сотрудничал в «Голосе Советов»[106] — большой газете, куда его давно приглашали на постоянную работу. Он там, дружил с работниками иностранной редакции, давал им «собинфы»[107] из западной прессы, брал для них изредка интервью у знаменитостей (например, у авиаконструктора Фоккера, позднее у Нильса Бора) и составлял обзорные статьи по своим странам.

Участвовал он и в обработке редакционных материалов, особенно, когда в редакции бывал кто-нибудь болен или происходил «завал».

Довелось ему, например, помогать обработке огромного информационного материала о знаменитом Лейпцигском процессе 1933 года и даже участвовать во встрече героев этого процесса весной 1934 года, когда трое обвиняемых были оправданы по суду, приняты в советское гражданство и прилетели в Москву. Это были Георгий Димитров еще два болгарских товарища — Попов и Танев. Четвертый обвиняемый — немецкий коммунист Торглер, получивший незначительный срок, остался в Германии, перешел потом на сторону гитлеровцев (фашисты очень охотно принимали в свои ряды бывших коммунистов, но беспощадно расправлялись с социал-демократами) и стал крупным и активным деятелем германского национал-

социализма. Попов и Танев разделили в Советском Союзе обычную судьбу многих миллионов — были оклеветаны, втихомолку осуждены чрезвычайной «тройкой», получили сроки и, по-видимому, погибли в дальних лагерях или специзоляторах. Избежал такой участи один Георгий Димитров — фигура его была слишком велика, прославлена и популярна. Он сделался главою Коминтерна вплоть до разгона этой организации Сталиным в 1944 году. Впрочем, еще до официальной ликвидации III Интернационала все или почти все его сотрудники в Москве были арестованы и казнены в годы 1937—38-й, включая и бывших руководителей ИККИ[108] — Зиновьева, Пятницкого, Лозовского и многих других. Уцелев в этой передряге, Георгий Димитров вернулся затем на свою болгарскую родину, однако, смерть его во время лечения в СССР (1949 г.) несколько все же загадочна... Во всяком случае Рональда она нисколько не удивила. Однако имя Димитрова овеяно славой. Имена же его товарищей по лейпцигской скамье подсудимых — Попова, Танева и Торглера — запрещено даже упоминать в советской печати, когда в ней заходит речь о процессе. Позволено помнить одного — Димитрова.

Рональду Вальдеку приходилось прямо или косвенно освещать в газете такие события, как XVII съезд партии и Первый съезд советских писателей (скучнейший доклад Горького длился четыре часа, был физически мучителен и докладчику, и аудитории), вступление СССР в Лигу Наций, продажа КВЖД японцам. Рональд был в числе первых пассажиров московского метро, пущенного ранним летом 1935 года. Незадолго до этого радостного для москвичей события Рональд был зачислен в штат газетных литсотрудников и вскоре назначен редактором в иностранный отдел. Приходилось ему много дежурить, работать часто по ночам, на редакционных летучках у главного[109] (или зам. главного), жестоко драться за каждый клочок места на своих полосах. Покровительствовали ему сам главный (один из замечательных людей в новой России) и его очень умный секретарь курчавый красавец товарищ Андерс, летавший по всей стране на красном гоночном «рено» и очень дружески относившийся к Рональду.

А в часы утренние Рональд Вальдек с увлечением отдавался работе педагогической в техникуме текстильной химии, двух академиях и в институте переподготовки инженерно-экономических кадров. Читал он там курс русской литературы и русского литературного языка, руководил семинарами и литературными кружками. В одной из военных академий входил в состав кафедры иностранных языков — вел там занятия по

немецкому и участвовал в редакционной подготовке словарей и разговорников.

Бывало, что ему приходилось оставаться на ногах с шести утра до четырех часов ночи, когда в редакции шли ответственные полосы, а предэкзаменационные консультации назначались до начала занятий. Катю и детей видел урывками, едва успевал готовиться к лекциям, задумывался подчас, не выбрать ли одно из двух — журналистику или педагогику, однако, продолжал как-то плыть по этому быстрому течению, опасался выпустить из рук (и кошелька) любой из налаженных «бизнесов», любил их, предчувствовал, что дела в стране идут к великим внутренним потрясениям, в предвидении коих угадать, какая доля — журналистская или педагогическая — может сама собой для него оборваться и увлечь в бездну. Посему, уповая на благорасположение светил и знаков Зодиака, эмпирически держался в потоке, уже чуя грозный гул водопада-порога впереди... Кстати, его самого всегда влекло и пугало зрелище падающей воды. Может быть, доведись ему вдруг очутиться перед Ниагарой или Викторией на Замбези, сердце его могло бы и не выдержать священного трепета перед этими божествами водной стихии...

К тому же у Рональда начинали портиться взаимоотношения с могущественным шефом иностранного отдела[110], крупнейшим журналистом-международником страны.

Это «острейшее перо Европы» было и острейшей, неповторимой человеческой особью. Злой, маленький, стремительный, лохматый, очкастый, бородатый, веселый, говоривший одинаково плохо на восемнадцати языках, польский еврей по национальности, близкий соратник Ленина, бывший приверженец Троцкого, ставший приближенным Сталина —- этот поразительный человек-коктейль сделался главным международным рупором и трубадуром сталинщины во внешней политике. Разумеется, такой человек, обладая легендарной работоспособностью, эрудицией, публицистическим даром и циничным остроумием, не терпел ни критики, ни малейшего несогласия. Он был членом редколлегии газеты и шефствовал над иностранным отделом. Заведовал же редакцией болезненный, слабый, напуганный старик, не обладавший даже намеком на собственное мнение. Перед шефом он просто трепетал, притом напрасно: шеф был фигурой мирового масштаба, вовсе не претендовал на административную власть над отделом и благодушно терпел покорного и трусливого зава.

Иногда в поздние часы, как бы остывая от дневной и вечерней газетной горячки, «острейшее перо» усаживался среди

сотрудников отдела и рассказывал политические анекдоты или потрясающие эпизоды из своей бурной революционной жизни. Не было тогда магнитофонов, увы, но каждый рассказ шефа так и просился в звукозапись! В присутствии Рональда он, например, рассказывал, как ехал с Лениным в запломбированном вагоне через Германию в марте 1917 года и всерьез раздражал Владимира Ильича размышлениями вслух о судьбе, ожидающей их в России:

«Быть нам с вами, Владимир Ильич, либо с министерскими портфелями, либо... с веревкой на шее!» Ленин, видимо, считал последний вариант далеко не исключенным, поэтому такие пророчества его сердили: мол, нечего рисовать черта на стене!.. От этих рассказов по спинам сотрудников пробегал священный трепет, иные бледнели, но любопытство побеждало! Слушали!

Одетый неряшливо, в каком-нибудь свитере или куртке, рассказчик попыхивал короткой трубкой-носогрейкой с кепстеном — мог бы вполне сойти за боцмана с пиратской шхуны среди восторженных и чуть напуганных салажат-слушателей. Часто он бравировал подчеркнутой нечистоплотностью, предвосхищая стиль хиппи на целые полвека! Например, он сочно повествовал, как ссорится с женой, когда та не позволяет супругу садиться в одну ванну с черным пуделем Чертиком из опасения за чистоту кобеля.

В мае 1935 года в ночь дежурства Рональда Вальдека по отделу, шла в номер большая политическая статья шефа на два подвала о неустойчивом балансе британской внешней политики. Статью приготовил к печати литературный сотрудник, как всегда исправивший лишь чисто стилистические огрехи оригинала. Поправок по существу шеф не любил и встречал их в штыки.

Ночью, прочитав статью, притом уже в полосе, Рональд позвонил в отдел печати НКИД, чтобы согласовать некоторые положения статьи, ибо было ясно, что они расходятся с установками НКИД. Там всполошились. Попросили статью задержать. Рональд позвонил главному, и тот устно одобрил правку, внесенную наркоминдельцами. Кроме того, Рональд сам изменил заголовок исправил стилистическую неточность. Из-за этой ночной кутерьмы газетный номер отпечатали под утро с небольшим опозданием.

Наутро шеф примчался в отдел спозаранку.

— Кто задержал газету? Почему изменен заголовок? Кто менял текст?

Бледный заведующий отделом почти потерял дар слова... Ведь его даже не поставили в известность о ночных событиях! Он бы, конечно, в первую очередь сообщил товарищу шефу обо всех

претензиях к статье. А почему этого не сделал ночной редактор? Спросите у него самого...

— Это вы, Вальдек, подняли на ноги наркоминдел?

— Я. Статья не во всем отвечала наркоминдельским установкам. Одно место решили изменить.

— Почему не поставили в известность меня?

— Санкционировал главный. Ему виднее, все же...

Может, прояви ночной редактор признаки трепета или раскаяния, шеф, поворчав, оставил бы отдельное статус-кво в прежнем состоянии, то есть в неустойчивом равновесии. Но хладнокровный отпор его взбесил. Он ринулся в кабинет главного и предъявил тому решительный ультиматум: он или я!

Разумеется, выбора у главного не было. Будь Рональд Вальдек хотя бы членом партии — у него была бы некая, пусть даже формальная защита. Но он был гол перед бронированным и авторитетным противником. Понимая его правоту, главный, сознававший к тому же шаткость собственного положения (через год он был арестован, а после процесса расстрелян), просто переместил Рональда Вальдека в другой газетный отдел, самый богатый и многолюдный во всей редакции: отдел информации. Он находился под покровительством главного, а заведовал им молодой черноглазый и медлительный человек с многозначительным выражением худого смуглого лица, товарищ З. Именно в его кабинете, где имелся хороший кожаный диван, главный любил потихоньку скрываться от наплыва дел и лиц, соблюдая золотое морское правило:

Если хочешь спать в уюте,
Спи всегда в чужой каюте...

Главного редактора в этом отделе преданно любили, ибо сам он и отбирал сюда надежных и хороших работников. Но любили его, впрочем, и во всех других звеньях огромного редакционного и подсобного аппарата за его непредвзятое, доброе отношение к людям, широкий ум, разящий юмор, полнейшее отсутствие чиновной важности, искренний и звонкий смех. Недаром Крупская называла его, устно и печатно, любимцем Ленина. В свои 47 лет (дожить до пятидесяти ему не довелось), он был физически крепок, коренаст, мускулист, весел и общителен. Характерным движением головы к собеседнику давал понять, что чуть-чуть недослышит — его оглушило взрывом в Леонтьевском переулке 25 сентября 1919 года, при эсерском покушении на МК партии... Главный любил подчас просто помальчишествовать, шутливо подраться, слегка потрепать за уши... Однажды он

пришел в кабинет товарища З., чтобы прилечь «в чужой каюте» и нашел облюбованный им диван занятым — на нем лежал сам З. Главный так энергично сбросил с дивана своего завотделом, что у того случился перелом руки в локтевом суставе. Месяца два он носил руку на перевязи и невероятно гордился, что руку ему сломал сам товарищ главный!

В отделе информации Рональду досталась скучноватая работа литературного редактора. Тянуло его на другое. В 27 лет не слишком весело править и гладить чужие материалы, доставленные с бортов полярных кораблей, из международных аэропортов, из дневниковых записей в агитэскадрилье, из блокнота краеведа и очеркиста. И он вскоре сам получил приглашение перейти на подобные репортерски-корреспондентские дела в редакцию Правительственного Агентства информационной службы («ПАИС»)[111] по Отделу культуры. С благословения главного Рональд распрощался с «Голосом Советов», но сохранил со многими его литсотрудниками дружеские связи надолго.

...Еще весною того же, 1935 года, в самые дни острого столкновения с могучим шефом иностранного отдела, Рональд Вальдек переживал кое-какие волнения и на стезе педагогической: когда ветры приносят первую черную тучу — жди ненастья полосою!

Кафедрой родного языка и литературы в Техникуме текстильной химии заведовал профессор Ш-в[112], российский интеллигент исчезающего типа. Пенсне. Высокий лоб. Седая борода. Строгость. Доброта. Совесть. Интеллект. Знания. И увы, неотъемлемая постреволюционная черта: напуганноеть.

Преподавателя Вальдека заведующий кафедрой выделял среди коллег, да можно сказать, просто любил его. Сам сознавался, что приходит на урок в класс Вальдека, чтобы послушать неискаженную московскую речь и такие мысли о русских классиках, какие сам он не всегда отваживался выражать.

Вкусы Рональда Вальдека во многом совпадали со вкусами Алексея Николаевича Ш-ва. Оба любили барина Герцена и не очень любили семинариста Чернышевского. Оба молились на Пушкина и недолюбливали Некрасова — за низкий поэтический стиль и за некоторые личные качества, житейскую хватку и неразборчивость в средствах. Оба педагога преклонялись перед драматургией Островского, но не очень восторгались чеховской и уж вовсе не обольщались горьковской, полагая, что живописать русскую интеллигенцию сему автору не дано, за полной неосведомленностью об этом, чуждом ему круге людей. Ибо в сферы высшие, тютчевски-фетовские или даже мережковско-

гиппиусские товарища Горького не пускали, так сказать, дальше официальной приемной, средние же и низшие слои интеллигенции понять невозможно, ничего не зная о высших.

Раздумья обоих педагогов над гибелью Гумилева были, пожалуй, острее и болезненнее, чем над смертью Есенина и Маяковского, потому имелась, мол, доля уорькой истины в пророческих строках рано погибшего поэта-брюсовца Макса Кюнера:

Судьба сдержала свое слово,
Свершив таинственную месть,
Чтоб расстрелявшим Гумилева
Своих поэтов... не иметь!

Впрочем, и тот, и другой педагог не склонны были винить вождей революции в этом убийстве; и тот, и другой готовы были верить чекистской басне о якобы опоздавшей телеграмме Ленина и Дзержинского с приказом выделить гумилевское дело в особое производство. Уж очень хотелось им помечтать о том, как высокая гумилевская муза, охваченная пафосом сегодняшней великой стройки, зазвучала бы... со страниц «Нового Мира».

Профессор Ш-в нередко (и справедливо!) упрекал преподавателя Вальдека за методический нигилизм. В этом смысле жаловался на Рональда и старший преподаватель Мария Афанасьевна. Она считалась эталоническим знатоком методики преподавания языка и литературы. Сверх собственной педагогической нагрузки она выполняла обязанности методиста кафедры: контролировала планы уроков, методические разработки, успеваемость групп, всю вообще классную и внеклассную деятельность остальных учителей со студентами техникума. Наибольшие хлопоты доставлял ей Рональд Вальдек!

Во всех этих обязательных для каждого педагога методических (он говорил: бюрократических) делах Рональд Вальдек явно отставал. Заранее составленных, расписанных по минутам планов урока у него никогда не было. Методических разработок по отдельным темам он не составлял. Совершенно несознательно полагался он на собственное вдохновение, эрудицию и интуитивное чутье аудитории.

Самому ему всегда казалось, что двух одинаковых аудиторий не бывает и быть не может, а посему невозможно сочинять планы и разработки в расчете на некую усредненную группу слушателей. Стоит ли бесполезно тратить время на бюрократическое сочинительство? Лучше, мол, сводить студентов лишний раз в Мураново или Абрамцево. Единственное, что

несколько обескураживало Марию Афанасьевну, были экзаменационные результаты в Рональдовых группах: без методик и планов он выводил их на первые места в техникуме, его студенты считались сильнейшими.

Чем он этого достигал? Сам он не мог бы дать этому «методически обоснованное» объяснение. Он просто честно старался разбудить у студентов интерес к искусству слова, к писателям, коих любил он сам. Постепенно оттачивал вкус молодых людей к поэзии. Добивался понимания ими всей духовной и нравственной традиции русского народа, воплощенной не только в слове Толстого и Гоголя, но также в суздальском и новгородском зодчестве, в операх Глинки, симфониях Чайковского, прелюдиях Рахманинова и Скрябина, в нестеровских и васнецовских полотнах или в блоковских белых ночах Петербурга с его чародейными силуэтами и звуками. Всеми силами души собственной он старался воспитать в душах молодых то благоговейно-бескорыстное восприятие природы, что присуще, Иоанну Дамаскину, Сергию Радонежскому или соловецкому настоятелю Филиппу, ставшему митрополитом московским и замученному Малютой.

Такое восприятие противоположно известному тезису: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Именно этот тезис в дальнейшем своем развитии ныне привел к сокрушению работником природы-храма в нашем отечестве. А вот созданные при митрополите Филиппе на Соловецких островах каналы, искусственные бухты и вся система водоснабжения храма-крепости служат людям и поныне, ибо в храме человек ведет себя не только нравственно выше, чем в мастерской, но ведет себя еще и разумнее, практичнее, ибо мыслит в иных категориях, чем мошна и брюхо, и способен поверить, что после нынешнего дня наступит и завтрашний, на что работнику в мастерской глубочайше наплевать! Человеку в мастерской безразлично, не проклянут ли его потомки, а человеку в храме хочется поступать так, чтобы потомки благословили его память! Митрополита Филиппа мы нынче благословляем с его соловецкой природой-храмом, а как потомки помянут нас, сегодняшних-, превративших этот Соловецкий храм в грязную, заплеванную и истоптанную мастерскую, — надо будет спросить у них, у потомков, через четыре столетия!

Вот эти-то мысли и внушал посильно своим студиозусам Рональд Вальдек, обходя сциллы и Харибды программ и методик. Ему казалось тогда, что именно эти мысли — проповедь истинно коммунистическая.

Как-то мимоходом Алексей Николаевич Ш-в заметил

Рональду Вальдеку, чтобы тот обязательно «подтянулся» с планами и методиками, ибо в скором времени ожидается в техникуме текстильной химии инспекция Наркомпроса и Комитета по высшему и специальному образованию, должна прибыть из Ленинграда сама М. А. Р-ва[113], член-корреспондент Академии наук, крупнейший авторитет в области методики преподавания русского языка и литературы. Дело в том, что старший преподаватель Мария Афанасьевна подала заявление об освобождении ее от обязанностей методиста кафедры из-за непосильной перегрузки.

Рональд обещал профессору «подтянуться», а про себя подумал: «Ну, пришла беда — растворяй ворота! Еще только этой инспекции не хватало! Похоже, придется вылетать одновременно и из газеты, во всяком случае из иностранной редакции, и из техникума! Плачевный финиш моей журналистики и моей педагогики! Что же остается? Военная Академия — там четыре часа в неделю, да курсы усовершенствования — там и всего-то два часа... Еще случайный курс в Зооветеринарной, у каких-то вновь принятых монголов, но курс этот что-то никак не начнется... Эдак и семью не прокормишь, черт побери!„»

Потом в редакционной круговерти и в дни предэкзаменационной суеты в техникуме он просто позабыл свой разговор с зав. кафедрой и вовсе не принял во внимание его предостережений.

Уже начались консультации перед экзаменами. Рональд по обыкновению немного отстал с программой — он из года в год давал студентам более полный и широкий материал в своих лекциях, поэтому против других групп всегда заканчивал учебный год попозже, за счет часов, отводимых на консультацию студентов. Саму же консультацию отстающих или догоняющих проводил после лекций, где и когда случится. Так было и в этот раз. Ему надо было за четыре классных часа пройти Чернышевского, тогда осталось бы в запасе еще четыре дополнительных часа, чтобы завершить год.

Как всегда, он торопливо шагал по коридору уже после звонка. Его класс был предпоследним слева. Из-за закрытых дверей других классов уже звучали знакомые голоса коллег-педагогов. Дежурная по его классу студентка стояла в дверях и хотела что-то сказать опаздывающему учителю, но тот жестом отослал ее на место и открыл черный блокнот — единственный свой рабочий дневник на все группы. Там после уроков отмечалось, на чем остановилась группа, что задано и кто в чем отстает. Студенты относились к этому блокноту с почтением и даже слегка побаивались его.

На задней парте он заметил двух пожилых дам и не обратил на это обстоятельство должного внимания, ибо к нему часто заглядывали на занятия коллеги, интересовавшиеся чужим опытом, или просто со скуки, в часы, свободные от уроков. Бывали подчас и совсем чужие педагоги — профессор Ш-в иногда приглашал их на уроки Рональда: они ему нравились.

Он сразу подошел к окну, пошире распахнул обе боковые створки, впустил в класс волну весеннего воздуха, шелест неокрепшей листвы и слабый гул московской окраины. Похлопал себя по карману — опять, оказывается, забыл папиросы в плаще! Тут же заметил на пюпитре кафедры заботливо приготовленную студентками початую коробку «Казбека»: зная рассеянность своего педагога, они держали эту коробку про запас. Педагог поспешно затянулся, выпустил дым в окно и шагнул к доске. Но там был начертан чуть фривольный экспромт, рожденный именно в этом классе на прошлом занятии как пример игры слов или каламбура, притом на местную тему. Кто-то вспомнил его и восстановил на доске перед нынешним уроком:

Уступил бы я кому
Свою старую куму...
Мне утеха — не кума!
Мне б из... техникума!

Преподаватель молча протянул дежурной тряпку, та торопливо привскочила, стерла экспромт и под диктовку Рональда написала:

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.
ИЮЛЬ 1828-го — САРАТОВ ОКТЯБРЬ 1889-го — там же.

И на сем преподаватель Рональд Вальдек начал свою лекцию. Минуты четыре, не меньше, было потеряно. А посему, как только раздался звонок на перемену, Рональд предложил не выходить из класса, а побеседовать по душам об услышанном. Беседа получилась шумноватой, но горячей и взволнованной. Главное — в ней не было молчащих и инертных. Тут выяснилось, кому и что осталось непонятным, и преподаватель смог устранить эти неясности в течение следующего академического часа. От мученической жизни писателя и его взаимоотношений со всем внешним миром, женой и друзьями преподаватель перешел к роману «Что делать?», изложил его интригующую сюжетную конструкцию и дал задание прочесть два «Сна Веры Павловны». В оставшееся время задал несколько контрольных вопросов,

поставил отвечающим две четверки и одну тройку, обещал целиком посвятить следующие два часа роковой теме любви и дружбы в квадратуре круга персонажей у Чернышевского. Чуть-чуть намекнул на недавно вышедший и не известный в СССР роман о Чернышевском русского писателя-эмигранта Владимира Набокова. Сам он прочел его бегло, выпросив у знакомого дипломата еще год назад, был поражен богатством ассоциаций, блеском сравнений и убедительностью красок Набокова, однако, здесь, в классе, был предельно осторожен и лишь намекнул, что это спорное произведение эмигрантской музы не лишено интереса.

Перед самым концом занятий к удивлению своему он заметил у классных дверей взволнованное лицо завкафедрой, профессора Ш-ва. А выходя, еле различил его тишайший, почти неуловимый вопрос-дуновение: «Ну, как?»

— Вы о чем? — недоумевающе переспросил педагог.

— Я спрашиваю: как у вас сегодня все прошло?

— Как всегда, Алексей Николаевич! А что такое?

— Да ведь у вас два часа сидит на занятиях... Мария Александровна! Не вздумайте удирать! Сейчас на заседании кафедры будут обсуждения всех прослушанных ею занятий и заявления Марии Афанасьевны...

— Да мне... в редакцию! — вяло сопротивлялся Рональд.

— Какая там редакция! Судьба кафедры решается! И узнаем, кого пришлют нам методистом, если Мария Афанасьевна будет настаивать на своем отказе от этого дела.

Господи! Не было печали! Ну, наслушаемся сейчас критики... Надо же!

В кабинет языка и литературы он явился первым и выбрал наиболее скрытную позицию между двумя шкафами. С усилием всунул в этот тесный промежуток мягкий стул и уселся так, что из-за «судейского» стола заметен был разве что кончик его ботинка.

Профессор Ш-в усадил на свое обычное место важную гостью. Лицо ее было умно, взгляд строг и принципиален, он чем-то напоминал... старую датскую писательницу. Сходство было, так сказать, интеллектуальное и возрастное, хотя Мария Александровна смотрелась все же лет на десяток моложе писательницы. Досаднее всего было то, что удар должен сейчас последовать от лица, к которому сам Рональд относился с искренним уважением. Он хорошо знал и давно ценил смелые, прекрасно написанные и аргументированные книги этой выдающейся русской ученой женщины, к тому же и одаренной художницы, знатока и ценителя русской старины и фольклора,

ревнительницы чистоты и красоты языка.

А он-то вел себя ныне перед ней с непринужденностью мустанга в прериях! Вернее, просто как разнузданный осел! Опоздал... Курил. Вел урок стихийно, как Бог на душу кладет... На перемену студентов не отпустил. С девчонками шутил насчет того глупого каламбура... Что-то бормотал про Набокова... Ни о чем не догадался, кругом оскандалился! Хорошо, что еще план урока не спросила! Хотя в этот раз он поспел сделать за два часа все, что собирался. Ну, да чем это докажешь, коли писаного плана нет!..

Заседание началось. Гостья довольно сурово оценила урок Марии Афанасьевны. Та, вероятно, от волнения при инспекции проглядела ошибку в ответе студентки, изображавшей на доске синтаксические связи слов во фразе хрестоматийного классика. Студентка написала слова «девушка в пестром платье» и отнесла определение «пестром» к девушке. Инспектриса ядовито заметила, что пестрых девушек не бывало и во времена классиков! Раскритиковала она и урок преподавателя Зайцева, потом уроки еще двух педагогов, обошла молчанием урок самого профессора Ш-ва, но дала понять, что и это занятие ей не очень понравилось, ибо аудитория была вялой и незаинтересованной, тема же — выигрышной! Наконец, подглядывая в самый конец длинного списка своих заметок, заговорила она об отличном уроке, посвященном Чернышевскому.

— Фамилию этого молодого педагога, — говорила Мария Александровна, — я уловила неточно и с ним еще не познакомилась лично, однако, урок его был интересен и хорошо построен. Он привлекает именно с методической стороны. В этом двухчасовом уроке были удачно синтезированы лучшие и самые надежные методические элементы: и метод эвристический, и сократовский, и лекция, притом увлекательно яркая, и живое собеседование, и строгий опрос. Урок шел в хорошем напряженном темпе и в хорошем педагогическом стиле... Вот, Алексей Николаевич, вам и новый методист для вашей кафедры! Поскольку Мария Афанасьевна считает свою нагрузку чрезмерно утомительной. Надо тут пойти навстречу ее пожеланию и заменить Марию Афанасьевну как методиста товарищем... товарищем...

— ...Рональдом Алексеевичем Вальдеком! — услужливо, но не вполне уверенно подсказал зав. кафедрой.

— Да, да! Именно товарищем Вальдеком. Надо и вам, Алексей Николаевич, как и везде сейчас у нас, смелее выдвигать молодые, нами же взращенные кадры! Но я не вижу его на нашем совещании...

Товарищу Вальдеку пришлось смущенно выдвинуться из-за

своего шкафа. Он еще не пришел в себя от полнейшего потрясения. Он методист? Не во сне ли все это пригрезилось? Увы, он ведь не имеет никакого понятия, что такое эвристический метод! Слышал здесь о нем впервые в жизни, хотя, оказывается, уже применяет на практике! Не дай Бог еще расспрашивать сейчас начнет по методике! Он и слова-то эти не все понимает!

Но обрадованный столь неожиданным оборотом дел профессор уже толковал инспектрисе, что, мол, товарищ Вальдек — ценный кадр кафедры! — сильно занят в редакции «Голоса Советов». И бюджет его времени ограничен. Ибо он журналист...

— Журналист? — в недоумении протянула гостья. — Он прежде всего ПЕДАГОГ, а все остальное — потом! Рекомендую его вам как методиста. Рональд Алексеевич, вы согласны принять на себя эту нагрузку? Ну, вот и отлично! И мы с вами еще побеседуем о некоторых частностях и отдельных штрихах, показывающих вашу педагогическую молодость и легко устранимых из вашей будущей практики...

(Как тут же, что называется в сторонке, выяснилось, имелось в виду курение и Набоков. Каламбур же ей самой понравился, «хотя он на грани».)

...Он ехал домой на трамвае № 24, подставляя потное лицо под струю прохлады из открытого окна и сотрясался от тайного смеха. Ну, нашли методиста-сокровище! А дома, когда иронически пересказывал Кате события дня, он поразился ее огорченному лицу.

— Как тебе не стыдно, Ронни! Сколько лет ты читаешь людям лекции и ведешь целые группы и курсы? Как же тебе не совестно даже не ведать, что такое эвристический метод? И что такое методика преподавания твоего предмета? Почему я, окончившая всего «Альянс франсез» в области педагогики, а не Брюсовский институт, считаю долгом своим знать, что такое эвристика, что такое сократовский метод и каковы первоосновы методики преподавания?

— Право, не знаю, — смутился Рональд. — В Брюсовском не готовили педагогов. Мне кажется, просто нужно знать и любить свой предмет. И уметь внушить эту любовь ученику. А как внушить? Это дело совести и твоего собственного искусства, Кити!

— Вот что, г-н барон! Не позднее завтрашнего дня вы отправитесь в Государственный педагогический институт имени Бубнова, что на Девичьем Поле[114], насколько я наслышана, и соизволите подать заявление на заочное отделение! И чтобы я больше за наш методический нигилизм не краснела, милостивый государь мой!

Забегая вперед, скажу, что Рональд Вальдек по настоянию строгой жены, а отчасти и по собственной доброй воле, в институт этот, на заочное, поступил. И усердно сдавал методику, педагогику и ее историю. Иные профессора, помня его со времен брюсовских, дивились, говорили, что в страшных снах видят себя студентами, и недоумевали, зачем после столь сильного института, как Брюсовский, Рональд в зрелых годах подался в столь слабую Альма Матер, как педвуз!

Правда, он с тех пор знал, что такое эвристический метод, и много больше! Но про себя полагал и в аудиториях чувствовал, что собственные его педагогическая техника и методика стали будто посуше, и идет он по стезе учительской так, как шел бы человек, сознательно управляющий своей ножной мускулатурой: вот, двигаю сперва ахиллово сухожилие, теперь — мышцы голени, теперь работаю двуглавой мышцей бедра и полусухожильной мышцей, помогаю ягодичной... Такой пешеход, верно, недалеко бы отшагал по избранному пути! Впрочем, в жизни никакое знание не пропадает даром! И в труднейшие годы, еще неразличимые сквозь магический кристалл вдохновения и воображения, принесли свою пользу Рональду Вальдеку даже и приобретенные им без большой охоты теоретические познания в области педагогики.[1]

Глава тринадцатая. РАСПУТЬЕ

1

А посох — нам и нищенства заветы.
М. Волошин

Летом 1935 года Рональд Вальдек перешел из редакции «Голоса Советов» на должность литсотрудника в Правительственное агентство информационной службы («ПАИС»), совмещая журналистскую работу с педагогической нагрузкой в техникуме, двух академиях и институте усовершенствования. При этом он и сам еще учился в экстернате педагогического института. Впрочем, всерьез готовиться к экзаменам ему приходилось лишь по дисциплинам педагогическим и историческим. Как раз в области истории кое-что новое со времен брюсовских все же появилось. За учебный год он держал экзамены по шести-семи дисциплинам и практически смог закончить все четыре курса за несколько месяцев напряженных занятий на протяжении двух лет. Даже неутомимая Катя дивилась его выносливости в те месяцы. Иногда от напряжения у него пошаливало сердце — он подпортил его на воинских сборах чрезмерной спортивной подготовкой и тяжелой работой на тушении пожаров.

Деятельность в агентстве была ему по душе, сплошные разъезды и по городским окраинам, и по соседним областям, и по всей стране. Главными объектами его заботы были: советская наука, реконструкция Москвы, литературный календарь, отчасти спорт и авиация. Разумеется, как и любого журналиста, Рональда бросали и на всяческие кампании, и на прорывы, и на праздничные парады, и на правительственные похороны с лицемерными речами и некрологами. А когда в его информационных сообщениях появлялись черты подлинного чувства печали, например, при проводах к могиле академика Павлова, президента Академии наук Карпинского или подобных им, всенародно оплакиваемых людей, живые черты эти неизменно из сообщений вычеркивались и заменялись обязательным трафаретом. Впрочем, в иных случаях Рональду давали некоторую свободу повествования, особенно если материал предназначался для заграницы.

Так, с начала 1936 года он был очень занят подготовкой к полному солнечному затмению 19 июня. Академия наук готовила много астрономических экспедиций с новой аппаратурой. Из-за границы сыпались заявки на участие в наблюдениях. Полоса полного затмения была сравнительно легко достижимой,

ложилась в широком размахе на азиатскую часть СССР, время года сулило сухую солнечную погоду, короче, все позволяло рассчитывать на успех наблюдений. Поэтому программа их была многообразна: от проверки «эффекта Эйнштейна» до обычной спектроскопии короны и протуберанцев.

Солидное британское телеграфное агентство решило не посылать в Советскую Азию своего собственного корреспондента, но обещало сверх гонорара за материал уплатить еще 10 тысяч фунтов стерлингов премии тому советскому журналисту или иному источнику, кто сможет обеспечить агентство самой свежей, достоверной и интересной информацией с места событий, притом непременно опережая все остальные органы прессы. Эту задачу возложили на Рональда Вальдека, спецкора советского Правительственного Агентства.

Он узнал, что центром наблюдений будет степной холм-курган в 13 километрах от города Ак-Булак, что на границе Оренбургской области с Казахстаном. Там уже обосновалась экспедиция Пулковской обсерватории и американская экспедиция Гарвардского университета, возглавляемая доктором Дональдом Менцелем. Удалось также узнать, что этот американский астроном весьма замкнутая личность, ненавидит прессу и заранее заявил, что никому никаких информаций о работе американской экспедиции давать не намерен.

Далее выяснилось, что в городке Ак-Булаке телеграфный аппарат имеется лишь на железнодорожной станции, причем аппарат этот тридцатилетнего возраста, системы Морзе, с пропускной способностью 70—90 слов в час, и то лишь при опытном телеграфисте, работающем на ключе со скоростью 120—150 знаков в минуту.

С письмом ответственного руководителя своего агентства Рональд отправился на прием к тогдашнему наркому связи, бывшему (после Ленина) председателем Совнаркома, Алексею Ивановичу Рыкову. Рональд знал его в лицо, ибо благодаря своему поверхностному знакомству с писателем Булгаковым имел возможность присутствовать на генеральной репетиции в МХАТе пьесы «Дни Турбиных». Сидел он в ложе рядом с правительственной, а в той, едва не касаясь Рональда локтем, находился Рыков. Слегка заикаясь, он после занавеса довольно громко сказал Демьяну Бедному: «Не понимаю, почему этот спектакль окружен ореолом мученичества...»

Журналисты, уловившие эту фразу председателя Совнаркома, толковали ее по-разному, но у Рональда сложилось впечатление, что спектакль Рыкову понравился и что «мученическое» его прохождение через Главрепертком и цензуру, равно как и сквозь

прочие критические рогатки, показались Рыкову ненужным бюрократизмом... Отвлекаясь от астрономических задач Рональда, позволю себе тут вспомнить один штрих спектакля МХАТа «Дни Турбиных» до премьеры и год спустя, когда Рональд повторно посмотрел его. В конце первого акта на «генералке», когда со сцены зазвучал царский гимн, зал... встал! Дружно, как один человек! Что происходило в правительственной ложе, Рональд, к сожалению, видеть не мог, но в зале, на взгляд, ни одного сидящего не осталось. Пели актеры всерьез, торжественно и печально, стоя вокруг стола, весь гимн с начала до конца. Когда же Рональд смотрел спектакль вторично, гимн пелся пьяными голосами, кто-то падал под стол, кто-то рыдал, и все, перепившись, тянули не в лад, кто в лес, кто по дрова... Надо сказать, что получалось это неправдоподобно, шло вразрез с образами спектакля и вообще было низко, недостойно, поэтому и недейственно эстетически. В первом же случае гимн казался похоронным, безнадежным и жутким, выразительно подчеркивал трагическую обреченность и одиночество героев. Как всегда, трусливая цензура только подвела хозяев!

Но возвращаемся в 1936 год! В кабинет товарища Рыкова! Лицо его было смуглым, испещренным резкими морщинами, черты — правильными и приятными, но помятыми. Сказывались лишения в прошлом и некая устойчивая наклонность в настоящем, о которой знал и говорил весь мир либо с издевкой, либо с сочувствием... Одет он был в мягкий светло-коричневый костюм с галстуком, вышел из-за стола навстречу посетителю-журналисту, взял письмо, глянул на подпись и улыбнулся.

— Скажите вашему отвруку[115], что я, как всегда, готов и тут ему помочь. Знаете, молодой человек, собирали мы в 1920-м вашего нынешнего отврука, тогда еще просто горячего энтузиаста польского революционного движения, в дальнюю дорогу — думали, в Варшаву...

Что-то очень располагающее было в Алексее Ивановиче — юмор, доброжелательность, легкое заикание, невельможность, общий стиль, напоминающий Бухарина. Они были вдвоем, журналист и нарком, но мало кто из руководящих партийцев мог бы так свободно отдаться течению ассоциаций, вызванных взглядом на знакомую подпись! Притом уже находясь в опале, на пониженной должности! Но он продолжал вспоминать:

— Собирали их, четверых тогда, — его, Мархлевского, Дзержинского и Кона! Вослед за буденовской армией! Должны были возглавить первое правительство красной Польши! До границы доехала наша четверка, и... воротиться им пришлось! Не удалось нам тогда сделать Польшу красной! Пилсудский

помешал! — он засмеялся чуть заговорщицки. — Яркие были времена! Прямо-таки богатырские! Итак, надо вам в Ак-Булаке аппарат буквозаписывающий установить? Сейчас пригласим специалиста и потолкуем, где этот аппарат взять.

Явился инженер, пояснил, что аппарат придется отключить на Оренбургском почтамте. Рыков приказал снабдить корреспондента письмом-предписанием начальнику Оренбургского управления связи, чтобы тот отключил один из аппаратов, снарядил легковую машину для корреспондента с аппаратом и установил бы аппарат в центре наблюдений полного солнечного затмения, там, где это будет удобно корреспонденту.

На этом аудиенция у Наркома связи Рыкова окончилась. Рональд Вальдек еще раз в жизни видел его затылок на скамье обвиняемых в процессе правотроцкистского блока. Глядя из зала на этот затылок, физически ощутил, как он будет размозжен пулей палача, хотя приговор формально еще вынесен не был. По самым достоверным сведениям от чекистов, Сталин приказал дать Рыкову перед расстрелом стакан коньяку. Это было исполнено за минуту до выстрела. Странная монаршая милость! Едва ли в этих условиях алкоголь может подействовать отупляюще! А может, чтобы обреченному не пришло в голову помолиться!.. И призвать кару на убийцу? Сталин был суеверен и не храбр.

И вот спецкор телеграфного агентства Рональд Вальдек уже в мягком купе дальнего поезда Москва-Ташкент с билетом до станции Оренбург. Он обязан давать по телеграфу обычную информацию для внутренней печати, то есть для газет советских, и куда более подробные сообщения, беседы и эпизоды телеграфировать по закрытому каналу, для британского агентства тоже, разумеется, через Москву...

«Спецкор ПАИС», 28-летний москвич Рональд Вальдек отдался во власть своей любимой богини-покровительницы. Музы дальних странствий.

Ни первый классик старой Европы Гесиод, ни даже сам светозарный предводитель муз Аполлон не ведали, что позднейшие века прибавят к девяти каменам древности еще и десятую их сестру! Поэт Гумилев первым представил ее во всем убранстве российскому пантеону муз и открыл людским сердцам ее таинственную магию. Позднее Константин Паустовский, любивший Гумилева, поминал эту музу в своих маленьких поэмах в прозе.

Служение этой нежной, легко ускользающей музе требует особенного состояния духа, приуготовленности его к предвкушению, предчувствию встреч с красотою, к первым

узнаваниям. Чтобы дальняя дорога превратилась бы в многозвездный, синеющий и сияющий храм этой музы, нужна тишина, отъединенность от всего мешающего.

В дороге, овеянной музой дальних странствий, хорошо быть одному или вдвоем с любимым, или с теми из близких, кто умеет или хочет подстроиться тебе в лад. Либо допустит, чтобы ты подстроился в лад ему, если он лучше тебя слышит тайный напев дороги

Страшнейший враг этой музы — пошлость. Это необоримая сила, способная разрушить все приготовленное музой для верных ей душ. Бороться в дороге с пошлостью лоб в лоб бесполезно. Храм обрушится. Надо ухитриться обойти ее стороной, как чумное место, как заразу. В своей стальной броне, под защитой законов и правил, она неуязвима, всегда поддерживается большинством, сокрушает, душит, давит противника телесами, задами, голосами, запахами, звуками, речами... Биться с нею нужно где угодно, только не в дороге! Ибо иначе дорога из услады станет мукой! Уступи ей, шумной и торжествующей свою стезю, благоразумный путник и да овеет муза дальних странствий каждый новый шаг твой на одинокой тропе. Да будут внятны тебе лучшие строки русской поэзии:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Лакированная коробочка вагонного купе до краев наполнена драгоценной тишиной. Она такая влажная, голубоватая, с отливом зелени, в ней растворены настойчивые ритмы колес и постанывания тормозов. Сейчас ее цвет — от настольной лампы, дополнительно накрытой синим японским платком. Незнакомая девушка напротив уже спит. Трогательно, доверчиво, как маленькое дитя. Такая соседка — первый... если не подарок, то все-таки благосклонный жест музы! Пожилой инженер на верхней полке нейтрален. Учтив, благожелателен. Вполне терпим! Полка над Роней пока пустует. В соседнем купе — две пожилые иностранки. Изредка уловимы отдельные слова по-английски.

Сине-зеленая лампада светит на Ронину подушку. И на раскрытый блокнот. Пишется первое письмо Кате. В нем будет все... кроме девушки напротив. После истории с Юлией Вестерн Катино сердце сделалось еще ранимее, еще уязвимее. Но она верит в его решимость не поддаваться искушениям. Боится Катя, кроме женских уловок и хитростей, только коварного бога Бахуса:

мужчину он лишает разума, женщину — остатков совести и осторожности. С Рональда взято обещание: в присутствии женском — ни глотка спиртного!

Перед сном захотелось еще разок поклониться музе: постоять в коридоре у окна, слегка приоткрытого.

Вагон спит. Угомонился на редкость быстро. Проводник, седоусый, медлительный, похожий на ливрейного швейцара в «Гранд-Отеле» проходит мимо Рональда к тамбуру. Ритмы колес меняются, перестук медленнее, толчки резче, сильнее... Множество путей и товарных вагонов. Перрон. Первая остановка.

Против Рониного окна — светлые окна небольшого вокзала и черные буквы:

Голутвин

Это — город Коломна! Невдалеке кончается наша Москва-река, покрикивают на зевак пристанские грузчики, уже ощутима близость Оки. Если погасить в вагоне свет, можно увидеть остроконечные шпили Голутвинского монастыря, напоминающие минареты. Зодчий Казаков придал им это своеобразие, некую изысканность, что-то «не наше», мусульманское. Ибо поистине широкому русскому сердцу внятно все: «Лимонных рощ далекий аромат и Кельна дымные громады...»[116]

Тронулись...

В вагон вошел мужчина с чемоданчиком. Проводник ведет его мимо Рональда к соседнему купе, где едут иностранные дамы. (Пронесло, думает Роня, ибо гражданин ему не понравился).

Проводник, чуть повозившись у двери, отмыкает купе своим ключом и указывает мужчине верхнюю полку. Иностранные дамы занимающие нижние, сладко спят. Мужчина удовлетворенно кивает, быстро раздевается, пока проводник стелет ему наверху. Дамы так и не пробудились, а новый их сосед ловко нырнул под простынку, завернулся с головой и затих.

После черного глянца реки глубоко внизу, под мостом, и звездной бездны вверху, над пролетами стальных ферм, Рональд Вальдек поблагодарил музу за доброе начало, лег и погасил свою электрическую лампочку. Будто слышнее стала от этого работа колес. Потом мрак сменился ровной и светлой небесной голубизной. Среди белых облаков очень четко вырисовывались голутвинские шпили-минареты. Рональд успел им радостно удивиться, прежде чем муза совсем укачала его.

...Разбудил его монотонный, зазывающий крик.

Прислушался. Никак в соседнем купе?

Да, это кричит одна из иностранных дам. С рыданиями в голосе она все повторяет единственную фразу:

«Май гелд из гоон! О! Май гелд из гоон!»[117]

В модной пижаме с застежками из перекрученных шнуров на груди (они походили на шнуры жандармских аксельбантов), он пошел в соседнее купе. Растерянный проводник разводил руками и притворялся, будто ничегошеньки не понимает. Оказывается, у иностранок ночью были похищены деньги, документы и вся ручная кладь, три больших чемодана. Севший ночью гражданин дождался часа, когда дежурный проводник, видимо, против правил прикорнул. Вор либо вынес чемоданы в тамбур и соскочил с ними, либо выбросил в окно, выскочив следом. Случилось это где-то в Рязанской области, на медленном ходу, в пустынном и безлюдном месте. Часа в четыре одна из дам выходила в туалет — сосед и чемоданы были на месте. Обнаружили пропажу в восьмом часу утра. От места кражи поезд был уже в двухстах километрах!

— Вохин райзен зи, мадам? Уот из юр стейшен?[118] — вопрошал плачущую даму спецкор советского агентства, пользуясь, кроме англо-немецкой лингвистической смеси, еще и примитивным языком жестов.

— О! Май стейшен из... Ак-Булак![119]

Спецкор навострил уши, но виду не показал.

— Уот из юр нейм, мадам?[120]

— Мистрис Менцель, сэр!

Рональд наморщил лоб, силясь сконструировать прямой вопрос:

— Из зе доктор Дональд Менцель фром зе астрономикел экспедишн ин Ак-Булак юр мен, мистрис Менцель?[121]

— Иез, мистер Икс, из! Бед... май гелд из гоон! Энд май ретур-тикет фром зе Кукс из олсо гоон...[122]

Вторая американка сносно могла изъясняться по-немецки: училась астрофизике в Германии. Объяснила, что вместе с супругой профессора Дональда Менцеля, руководителя экспедиции Гарвардского университета, она спешит в Ак-Булак с запасными частями к приборам: везут сменные объективы, линзы, фотопринадлежности, точные инструменты. Все это ночью и было похищено. Обе женщины — не простые курьеры, а специалисты-астрофизики, намеревались участвовать в наблюдениях. Тревожит их исчезновение куковских документов на обратный проезд — за них внесена была высокая плата. Однако хуже всего похищение ценной аппаратуры.

Помня о недоброжелательном отношении американского профессора к представителям печати, Рональд решил взять обеих дам под свое покровительство, но не признаваясь, что представляет он и советское, и вдобавок, хоть и косвенно, также британское агентство. Назвался корреспондентом некой местной

газеты, не выходящей за пределы одной области (ему тут даже и лгать не пришлось, ибо такое попутное поручение действительно взял для одной сельскохозяйственной газеты — ее интересовал специфический вопрос: поведение животных во время полной фазы затмения).

Прежде всего он решил выручить американок с питанием в течение двух с половиной суток пути и предложил им взаймы сто рублей. Дамы радостно согласились и тут же отправились с этими деньгами в ресторан. А корреспондент составил телеграмму, но не в свое агентство, а в ближайший по маршруту областной угрозыск. Ближайшим оказался Куйбышевский, еще совсем недавно носивший благозвучное имя Самарского. Оттуда спешно выехал навстречу сыщик, разыскавший автора телеграммы за шесть станций до Куйбышева.

Познакомившись, работник пера и деятель угрозыска сперва дружно обругали переименование Самары в Куйбышев, находя это не только уродливым, антинациональным, но и просто похабным, ибо этимология непристойной фамилии слишком явно восходит к бранному выражению х... бычий! Видимо, высшие деятели, утверждающие и даже поощряющие эти подхалимские переименования, либо просто глухи к русскому языку, либо ненавидят и его, и собственную страну, коли подмахивают такие «красоты», как этот самый-бышев! Или злополучный город Горький, переболваненный из прекрасного имени Нижний Новгород; авторы переименования, прежде всего Сталин, по полному невежеству совсем не приняли во внимание, что псевдоним писателя был избран с иронией, чтобы горько становилось буржуазному читателю! Теперь горько стало безвинному населению целого волжского града!

Отведя душу насчет уродских переименований, корреспондент и сыщик выработали план действий. В отсутствие дам и проводника сыщик сперва повозился в купе (видимо, в поисках отпечатков пальцев вора), затем дамы передали ему полный список пропавших технических предметов и личных вещей, приметы чемоданов и перечень документов: паспорта, куковские туры, фотоснимки, счета, письма... Пришлось попутно удивиться, сколь тщательно составлен куковский тур. В нем предусмотрены и вложены все проездные билеты на все виды транспорта в пути, включая даже трамвайный проезд в каком-то транзитном городе Голландии или Франции! Хотя тур стоит дорого, ехать по нему можно уже без цента денег в кармане: Кук и привезет куда надо, и накормит в пути, и донесет багаж, как у Маршака! Сыщик весьма одобрил действия корреспондента, выразил надежду, что похищенное, удастся найти скоро, и

покинул поезд в бывшей Самаре, которую кстати, Рональд поклялся не именовать новым названием, что долгое время и выполнял устно, печатно и мысленно!

Дальше путешествие шло гладко. В вагоне сделалось душновато, а за окном в однообразных степях важно шествовали задумчивые верблюды. Где-то произошла таинственная метаморфоза времени: на станции Каргала значился полдень, а ручной хронометр мадам Менцель показывал на московский лад десять часов утра.

В Оренбурге спецкорреспондент сердечно простился с американскими дамами — они следовали прямо до Ак-Булака. Там они, мол, и будут ждать новой встречи с таинственным мистером Иксом на площадке для наблюдений...

Служебные дела свои в Оренбургском управлении связи Рональд уладил без труда. Начальник управления оказался учтивым, гостеприимным и деловитым. Буквозаписывающий аппарат уже приготовили в дорогу. Можно ехать следующим утром. Для ночлега корреспонденту предоставлен номер в гостинице. Шофер выделенной машины, газика-козлика, зашел справиться, когда выезжать. Впереди — около полутораста степных километров. Если встать пораньше — по холодку поедем. Так и решили.

Вечером Рональд бесцельно бродил по городу, никого ни о чем не спрашивал. Чтобы сама муза принесла неожиданные дары — она это любит!

Любой старинный город интересен чужеземцу, особенно пока его не коснулась нынешняя нивелирующая антиархитектура, уныло громоздящая бездушную железобетонную стеклотару для человечины. В те времена эта угроза только нависала над городами России и еще не обезличила Оренбурга.

...По этим улицам, берегом этой реки ходили Пушкин и Даль, сто лет назад, в сентябре 1833-го... Где-то здесь намечались, кристаллизовались слова: «Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзла, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи.»[123] Как не поклониться за одно это городу Оренбургу!

Вот и сам этот дом, теперь с мемориальной доской из мрамора — поэт тут останавливался, собирая материал к «Истории пугачевского бунта». Улица прежде называлась Николаевской, ныне, конечно, Советской. Рональд набрел и на старый крепостной вал, вспомнил осаду города пугачевцами, вылазки Петруши Гринева[124] за линию укреплений... Два православных собора на набережной, верно, вмещали некогда в

праздничный день все городское чиновничество, купечество, степенных мастеровых людей и пронырливых мелких торгашей. Легок, не лишен изящества пешеходный мостик через Урал. Против него на берегу — воротная арка со скульптурными изваяниями и гербами, которая ведет, видимо, к подъездному крыльцу губернаторского дома. В конце главной улицы расположен красивый, но совсем запущенный обелиск в память героев 1812 года.

Уже начинало темнеть, когда в заречной части города, на окраине, набрел Рональд Вальдек на остатки Менового двора, похожего на небольшую крепость. Запомнился и живописный караван-сарай с мечетью и высоким минаретом. Все — уже обреченное гибели, нивелировке и обезличке. Чтобы не смело лезть в глаза! Не выделялось, не вызывало эмоций, не наводило на некие мысли... Все они — мысли, эмоции, ассоциации — вредны, чужды, несозвучны! Долой их!

Поистине тогда, в середине тридцатых, уже висело в воздухе все, что ожидает российские грады: переименование, перепланировка, образцовость, линейность, нивелировка, улица Ленина, улица Сталина, улица Маркса, Красноармейская... А памятники культуры должны воплощать для горожан, во-первых, образ Ленина (перед исполкомом), образ Сталина — перед обкомом. В-третьих, допустим, Маркс — перед библиотекой, в-четвертых, надлежащий классик — перед театром. Где надо — Пушкин, где надо — Чернышевский, а лучше все-таки лишний Сталин! Его можно и на новой площади среди однотипных домов, и перед драмтеатром, и перед пивзаводом, и перед входом в горсад! От всех этих слов несло дремучей провинциальной скукой.

Так незаметно добрел Рональд и до горсада. Он был, как везде: пыльные деревья в луче белых фонарей, входная арка с будкой кассирши, киноафиша «Встречный», звуки джаза с танцевальной эстрады. Катя грустнела от этих звуков и вида садовых фонарей среди унылой липовой листвы... Но москвича удивил эстрадный джаз — он звучал не провинциально. И танцевали три-четыре пары, по-столичному одетые, отнюдь не кустарное танго. Тут, в окружении оренбургских степей сразу повеяло... Питером.

И что же? Оказалось, сюда полтора года назад сразу после убийства Кирова, выслали «чуждый элемент» с берегов Невы: последние остатки дворянских семейств, старой интеллигенции, доживавших свой век «недобитых» царских офицеров, домовладельцев, коммерсантов и их семьи — жен, детей, внуков. Всем им здесь живется плоховато: на работу устроиться трудно,

берут только на трудоемкие, грязные, вредные. И работают, и ютятся, где попало, все время под недремлющим оком. «Чуть что не так сказал, и в сумку! Только им и радости, что танцы раз в неделю. Тут они — ив оркестре, и в танцзале, и в публике!»

Все это объяснил Рональду шофер газика, когда ранним утром они покидали Оренбург.

На карте здесь значилось шоссе 4-го класса, но на деле ни шоссе, ни класса не было вовсе. Земля, твердая, укатанная, жесткая, выгоревшая под солнцем и растрескавшаяся от зноя, позволяла в хорошую погоду катить, куда глаза глядят, целиною. Рачительный западный хозяин ахнул бы при виде этих тысяч гектаров неосвоенной, пустой, никчемной степи — не было на ней ни травяного покрова, ни посевов, ни насаждений. Десятки километров этой голой степи ложились под колеса, а кроме телеграфных столбов с сидящими на них кобчиками, да еще множества сусликов около норок на задних лапках, провожающих пристальным взглядом пыльный шлейф за машиной, — ничего не останавливало на себе взгляда человеческого.

Однако уже за первым десятком степных верст стали возникать то поодаль, то поближе иные ориентиры, похожие на поселения. Подъезжая ближе, Рональд убеждался, что это и впрямь некогда были селения, но покинутые, брошенные. Пустовали жалкие руины глинобитных домов, сараи, хозяйственные постройки... Рядом высыхали оросительные каналы, деревья на корню, торчали остатки изгородей. Кое-где даже мелькали одичавшие кошки. Было видно, что ни пожар, ни наводнение, ни иные стихийные бедствия мест этих не касались. Вероятно, так могли выглядеть в старину остатки сел после моровой язвы или чумы.

Оказывается, после раскулачивания и коллективизации уцелевшие люди просто разбежались из этих селений. На пути их попалось три, но в стороне от дороги их было больше, кое-где агонизировала еще и человеческая жизнь. Так сказал Рональду шофер.

С его слов, за отсутствием указателей, он записывал и названия поселков от самого Оренбурга: Пугачевка, Дурнеевка, речка Донгуз, Мертвые Соли...

От Соли Илецкой одна наезженная колея пошла в сторону Мертвецовки (выяснить, старое это слово или новое, официальное или ироническое, Рональд сразу не смог, потом увидел его на карте), а другая колея повела на Угольное и Григорьевку. Именно в этой Григорьевке, у самой железной дороги Рональд вышел из машины размяться и пытался завести беседу с местной девушкой, несшей корзину с бельем. От этой попытки у него осталось

ощущение нечеловеческого ужаса в темных девичьих глазах при виде городского человека, вышедшего из автомобиля. Шофер тронул машину, сочувственно поглядел вслед девушки с бельем и вскользь заметил, что была у него двоюродная сестра, похожая на эту. Померла в селе Изобильном, что на 20 километров юго-западнее Мертвецовки.

— Умерла тоже от... изобилия? — не поднимая глаз, спросил человек с блокнотом человека за рулем.

Человек за рулем качнул подбородком. Он уже несколько раз порывался кое-что спросить у человека с блокнотом, но одолевали сомнения, стоит ли. Наконец, уже перед финишем вопрос свой задал:

— Товарищ корреспондент, а все-таки... нужно ли было так вот делать с людьми? Ведь сестренке-то тоже... жить была охота?

Что он должен был сказать в ответ? Укрепить недоверие к партии и ее вождю? Сознаться, что «так вот делать с людьми» нельзя? Отнять у человека веру в осмысленность жертв? Или, напротив, укрепить в человеке (а заодно и в самом себе) веру в то, что устремленная в будущее великая партия ценою страшных жертв выиграла самое главное — время! А выиграла ли?

Но он тихо сказал: — Да, брат, так было... надо!

* * *

Сразу после прибытия Рональда в Ак-Булак испортилась погода чуть не вдоль всей полосы затмения.

Солнце не выглядывало из-за туч. Азиатский ветер трепал брезент и парусину палаток, поднимав облака пыли и, как нарочно, нес их прямо на приборы. Ученые нервничали, сурово гнали местных газетчиков, никого из посторонних не допускали на площадку. Впрочем, самые настырные журналисты — из центральных газет — в Ак-Булаке еще не появлялись. Прибыл только сотрудник «Последних известий по радио» Петя Шехтер, добрый и умный малый.

Главным человеком на площадке был профессор Герасимович[125], директор Пулковской обсерватории. К прессе он относился помягче своего помощника, сумрачного астронома Тихова, день и ночь хлопотавшего у приборов. Астрономы пояснили Рональду, что плохая погода особенно осложняет дело именно американцам. Ибо их приборы нацеливают прямо на солнце и поэтому и настраивать, регулировать щели спектроскопов возможно при их аппаратуре только непосредственно по солнцу, при ясном небе.

Наша аппаратура — на другом принципе. Мы ловим

солнечный луч на зеркало прибора, именуемого целостатом. Зеркальная поверхность отражает луч в щель спектроскопа. Чтобы во время съемки луч был неподвижен, зеркальная плоскость должна двигаться вслед солнцу, с помощью особо точного часового механизма. Движется светило, за ним — улавливающее лучи зеркало, а отраженный луч неподвижно лежит на фотопластине спектроскопа. Поэтому, для точной наладки и настройки советской аппаратуры можно на худой конец обойтись вместо солнца другим сильным источником света, например, вольтовой дугой. Стало быть, можно уточнять настройку и в непогоду.

Рональд сообщил профессору Герасимовичу, что неразговорчивость его американского коллеги может обойтись советской казне в десять тысяч британских фунтов, если мы не сумеем обеспечить английское агентство самой первой и самой интересной информацией. Профессор нахмурился и пояснил, что сдержанность и неразговорчивость Дональда Менцеля определяется отнюдь не скаредностью его характера, а тем немаловажным обстоятельством, что экспедицию финансирует вовсе не университет, а большой босс американской журналистики, корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» в Москве, знаменитый король прессы, мистер Уолтер Дюранти. Говорили, что Сталин лично рассказывал Уолтеру Дюранти свою жизнь и назвал достоверно источники, откуда можно черпать остальные биографические подробности о нем. Будто бы сам Сталин одобрил и готовую рукопись, начертав на полях: «Более-менее правильно». Рядовому западному читателю все это было известно лучше, чем любому правительственному корреспонденту в СССР. Вообще «лишний» штрих знаний о личности Сталина, да и других тогдашних вождей мог стоить человеку головы...

Профессор Герасимович, как Рональд и ожидал, посоветовал ему действовать через новую знакомую, г-жу Менцель. Ее супруг выразил Рональду признательность за помощь обеим дамам, попавшим в беду по дороге в Ак-Булак, однако на просьбу дать краткое интервью ответил нечто уклончивое. Но Рональд получил приглашение к ним «домой», то есть в стоящие на запасных путях железнодорожные пассажирские вагоны, где обитали американские астрономы. Это были старомодные роскошные вагоны СВПС с мебелью из красного дерева, коврами, зеркалами, бархатными диванами и прочим комфортом XIX столетия. Они, кстати, за долгую службу успели изрядно «заклопиться»!

За несколько дней до затмения, когда прибыли уже и столичные спецкорреспонденты, Рональда Вальдека чуть не среди ночи подняли с постели в его гостиничном номере. Агенты

угрозыска привезли похищенные чемоданы, документы и деньги американских путешественниц! Теперь они могли вернуть свой долг и советскому журналисту! (Он, кстати, уже начал испытывать финансовые затруднения). Дамы долго жали ему руки, говорили на английском языке слова благодарности, вручили ему деньги в пакете, но выразили опасение, что погода сорвет все наблюдения, ибо нет никаких видов на уменьшение сплошной облачности. Встревоженный Дональд Менцель, казалось, тоже мало верил в успех, и Рональду пришлось его утешать и обнадеживать.

Сам он почти не покидал площадки. Поскольку туда не допускали газетчиков, Рональд, по совету Герасимовича, взял на себя некоторые вспомогательные обязанности в советской экспедиции, временно войдя как бы в ее состав, подсобным техником-геодезистом. Поручали ему работы по привязке, нивелировке, вычислению координат фундаментов, сделанных на астрономические приборы. Этим топогеодезическим работам Рональд научился в армии и очень ими увлекался. Между делом кончил еще курсы планировщиков при Моссовете. Ему потом весьма пригодились эти знания в годы Ленинградской блокады и в северной «академии»...

Видя, что человек, выручивший жену в дороге, действительно трудится вместе с астрономами, работает с нивелиром, рейкой и теодолитом, доктор Менцель стал с ним разговаривать откровеннее, однако продолжал ворчать насчет погоды и выражать самые пессимистические прогнозы о всех экспедиционных замыслах и планах. Однако из этих отрывочных бесед Рональд все же составил небольшое интервью, прибавил к нему еще несколько бытовых зарисовок, ухитрился сфотографировать доктора Менцеля верхом на верблюде, служившем для доставки воды на площадку, и вскоре, увы, погибшем от укуса ядовитого паука каракурта. Этот печальный факт, кстати, тоже удалось «обыграть» в корреспонденции Рональда для британского агентства.

Но самым драматичным эпизодом в дни подготовки к решающему событию был налет азиатской саранчи. Это грозило полным срывом работ на площадке!

Рональд как раз заканчивал там утренние геодезические работы (в жару делать это не рекомендовалось), когда на горизонте появилась низкая туча, по цвету легко отличимая от серо-лилового обложенного облаками окоема. Туча тоже была серовато-пыльной и временами как бы отблескивала вроде тускловатого металла. Еще с ночи, как авангардные предвестники этой тучи, стали все чаще попадаться в сухой траве и падали

прямо на землю отдельные крупные насекомые, похожие на кузнечиков. При виде этих насекомых люди бывалые всплескивали руками, ахали, вглядывались в небо над горизонтом и с рассветом заметили серовато-пыльную тучу. Саранча! Целая кулига азиатской саранчи надвигалась с юго-востока и грозила бедами всем молодым всходам злаков, трав и даже овощей.

Но еще худшими бедами грозила она астрономам, всей аппаратуре экспедиций. Хотя окрыленная туча приближалась довольно медленно, значительно отставая в скорости от туч небесных, гонимых ветром, все же количество отдельных насекомых на площадке с часу на час увеличивалось и становились они все назойливее. Саранчу уже скидывали с приборов, стараясь во это бы то ни стало уберечь с трудом налаженную настройку. Чего же было ждать, если бы вся туча обрушилась на холм миллионами насекомых? Жадные твари неизбежно забьют лапками щели приборов — и настройка полетит к черту! Положение становилось драматическим.

— Нужны немедленные предупредительные меры со стороны населения, — сказал Дональд Менцель своему советскому коллеге профессору Герасимовичу. А тот подозвал Рональда, тайком ему подмигнул и заговорил в тоне легкого упрека:

— Видите ли, г-н коллега, тут-то и могла бы помочь наша пресса, чтобы привлечь на помощь ученым общественность. Но вы сами, г-н доктор, проявили к нашим журналистам такую враждебную нетерпимость, что они потеряли интерес к вам. Чтобы теперь их вновь заинтересовать, нужно бы совершенно по-другому с ними поговорить и посоветоваться. А для этого у нас уже нет времени: туча приближается, и надо действовать! Вот, может быть, Рональд Алексеевич пособит нам?

— Да я ведь совсем не против прессы. Просто считал, что в период подготовки господа журналисты... больше мешают, путаются у нас под ногами! Если же от них может быть польза, то я пожалуйста... Можете обещать им, что сочтете нужным с моей стороны.

— Ну, вот и отлично! Будем считать, что Рональд Алексеевич получит интересные интервью г-на Менделя, как только поможет устранить опасность! — и профессор Герасимович, слегка ухмыляясь, пошел к приборам.

На экспедиционном «газике» Рональд тут же полетел в поселок, растолкал мирно спавшего радиокорреспондента Петю Шехтера, и по прямому проводу насели они вдвоем на обком партии Там хорошо знали о налете саранчи, но никак не предполагали, что это создает угрозу и астрономам.

— Если не сбить тучу на подходе, наблюдения будут сорваны, — пояснял Рональд невидимому обкомовскому собеседнику в трубку, — забьются аппаратные щели, расстроится регулировка, собьются с фокусировки фотообъективы. Чтобы все это предотвратить, нужны, прежде всего люди и одновременно химия и авиация. Повторяю: авиация, химия и люди!

Видимо, Оренбургский обком был уже подготовлен к этим вестям и умел распоряжаться по-военному. Через два—два с половиной часа после этого разговора Ак-Булакский райком уже исполнял приказ — вывести на борьбу со стихийным бедствием все поголовное население от мала до велика, оставив пока все прочие заботы. На помощь спешили на грузовых машинах колхозники окрестных сел, рабочие солеварен, оренбургские школьники и студенты, проходившие где-то неподалеку практику.

— Ждите самолетов, налаживайте деревянные цепы, лопаты, грабли, солярку на предмет сжигания собранных куч саранчи...

Петя Шехтер решил действовать в рядах мобилизованного населения вместе с девушками Ак-Булака, Рональд же вернулся на площадку. И оттуда не без восторга наблюдал, как три прилетевших аэроплана кружились над кулигой, уже заметно приблизившейся к холму, думается, до «переднего края» оставалось не более полутора — двух километров. И там, в этом отдалении уже кипела работа. Аэропланы кропили кулигу каким-то ядовитым составом, от которого саранча валилась оземь, и тут ее били цепами, закапывали в канавки, жгли огнем: астрономы у себя на площадке энергично уничтожали прорвавшийся авангард кулиги. Роня сунул в спичечную коробку самое крупное из попавшихся ему насекомых и отослал в свое агентство в виде вещественного доказательства всей этой истории. Этим побоищем она в общем и закончилась, и целую ночь Рональд Вальдек слал волнующие корреспонденции для британского агентства и советских газет. Менцель дал очень сдержанное интервью по поводу перспектив экспедиции, но согласился просто поговорить о своих местных впечатлениях, советских коллегах, которым он искренне симпатизитировал, и о русских девушках, которыми восхищался. Восхитила его и оперативная ловкость угрозыска, так быстро вернувшего похищенные приборы и документы, и лишь годы спустя, когда Рональд лучше узнал приемы МГБ, близкие к уголовщине, с грустью подумал, что супруги Менцель легко могут заподозрить и его самого в соучастии в этой подозрительной краже!

* * *

В редакции союзной информации ПАИС, кажется, в партийно-советском отделе, долгие годы сотрудничал репортер Сергей Р-ский. Его постоянными объектами были авиация, спорт и... государственные похороны

Если выражение «мальчик желтой прессы» родилось в США и относилось к ловцам дешевых газетных сенсаций, к бессовестным шакалам пера, то нравственный колер Сергея Р-ского следовало бы охарактеризовать как оглушительно-оранжевый или ультралимонный. Ибо никакие нравственные устои, принципы и критерии не обременяли его вольного журналистского духа. При необходимости для себя или по требованию начальства он мог делать что угодно: служил рьяным доносчиком на товарищей, устраивал подвохи, розыгрыши, мелкие провокации; мог заниматься слежкой, дезинформацией ближайших друзей, постоянно обманывал других газетчиков, если они по неопытности или неведению пытались уточнить через него какой-либо акт, дату или имя. В этих случаях Сергей давал только ложные справки, с видом знатока буквально ликовал, когда обманутый получал взыскание за допущенную ошибку.

Он постоянно следил за всеми работами товарищей и первым обнаруживал огрехи в чужих заметках и статьях сразу после их публикации. Но не было ни одного случая, чтобы Сережа Р-ский помог бы товарищу обнаружить или поправить ошибку в рукописи раньше, чем та попадала в печать.

Впрочем, к Рональду он относился с некоторой опаской, предполагая, что у товарища Вальдека есть крупные связи и влиятельные друзья, старался войти к нему в доверие, когда оба журналиста встречались еще на «параллельных курсах».

Так, 18 мая 1935 года судьба свела Рональда Вальдека, в тот момент еще сотрудника «Голоса Советов», и Сергея Р-ского, репортера ПАИС, на обширной территории Центрального аэродрома имени тов. Чкалова (близ нынешней станции метро «Аэропорт»), когда буквально вся эта большая территория, а вместе с ней и прилегающий поселок Сокол представляли собой нечто вроде гигантского побоища: в поселке горели два дома, на летном поле пылали кострами 7 авиационных моторов (8-й угодил в дом и спалил его), а на подступах к селу Всехсвятскому, вдоль Ленинградского шоссе, вытянулось, будто в смертной истоме, серебристое тело летающего ящера, самолета-гиганта «Максим Горький»... Его гофрированная чешуя, казалось, еще вздрагивала в агонии. Кстати, раньше обоих советских журналистов поспела на место катастрофы корреспондентка «Ассошиэйтед Пресс». С крыши своего автомобиля она торопилась нащелкать побольше кадров для будущего очерка.

Произошла катастрофа из-за лихачества летчика-испытателя Благина, назначенного в почетный эскорт «Максиму», когда тот принял на борт всю группу инженеров и техников ЦАГИ, спроектировавших и построивших этот самолет-гигант. Вместе с экипажем (во главе с шефом-пилотом Михеевым) самолет в этот роковой день передавался гражданскому воздушному флоту для агитэскадрильи. Два самолета эскорта должны были осторожно подстроиться и совершить с ним круг почета над Москвой. Летчик Благин, пристраиваясь, решил совершить лихую петлю вокруг плоскости «Максима», но не рассчитал скорости и врезался в крыло гиганта[126]. Тяжело нагруженный «Максим», уже разваливаясь в воздухе на части, секунд десять сохранял поступательное движение, и пилот Михеев, видимо, пытался действовать штурвалом (руки Михеева, оторванные от туловища, были обнаружены среди обломков вцепившимися в сектор штурвала). Сорок пять человек, летевших на борту «Максима», включая экипаж, и сам летчик Благин на своем «У-2» — такова расплата за его нерасчетливую лихость.

Сергей Р-ский и Рональд Вальдек написали прямо на аэродроме текст сообщения о катастрофе, ибо скрыть ее, как всегда у нас делается, на сей раз было невозможно: пол-Москвы наблюдало за полетом, тысячи видели катастрофу, иностранные корреспонденты успели сделать много снимков летного поля с трупами, обломками и горящими моторами. В этот же вечер тогдашний нарком внутренних дел Ягода утвердил составленный журналистами текст правительственного сообщения о катастрофе. В несколько сокращенном виде этот текст высечен на стене Новодевичьего кладбища, где похоронены урны с останками погибших. Гибель самолета «Максим Горький», как рассказывают, безмерно огорчила самого писателя и как бы предрекла его скорую кончину, последовавшую через год.

Еще перед весной 1936 года безошибочное воронье чутье Сергея Р-ского подсказало: пожива близка! Горький дышит на ладан. Пора загодя кропать некролог-биографию. Для всех газет Советского Союза. Чтобы слезу вышибало!

А был Сергей Р-ский не только мастером траурно-журналистского жанра, но и безукоризненным знатоком номенклатурной классификации похорон и покойников. Как при их жизни он всегда точно отмерял им дозы аплодисментов, возгласов и прочих проявлений народной любви, так после смерти он дозировал изъявления людской скорби. Например, по инженеру Классону он печатно горевал в совершенно ином стиле, чем, скажем, о Дзержинском. В одном случае «смерть оборвала творческий путь», в другом — «перестало биться пламенное

сердце». Рассуждал он на эту тему охотно и пространно, пока слушателей не начинало мутить...

Покойников и похороны он делил на категории, от первой, или, как он с 1935 года стал называть ее, маршальской, до последней, четвертой, куда скромно и самокритично относил коллег-слушателей и самого себя. Для этой категории, как он утверждал, полагалось по штату лишь пятистрочное объявление в местной газете с соболезнованием семье покойного от коллектива сотрудников. Все остальные 150—160 миллионов советских граждан ни в какие номенклатурные похоронные категории не попадали вообще и следовательно никакого интереса для Сергея Р-ского не представляли, ибо их переход в загробную жизнь происходил без всякого участия органов прессы.

Но сверх этих четырех категорий существовала, по Сергею Р-скому, еще и высшая, чрезвычайная, когда весь газетный лист брался в траурную рамку, а текст сообщения о похоронах начинался словами: «Еще с утра столица оделась траурными флагами...» Эта чрезвычайная категория полагалась членам Политбюро и тем лицам, кого «зал встречал стоя, бурными аплодисментами, переходящими в овацию». Сергей Р-ский заранее готовил некролог для покойников этой чрезвычайной категории и безошибочно угадывал, еще при жизни кандидата в покойники, не только церемониал похорон, но даже состав членов государственной комиссии. Товарищам Р-ского по профессии оставалось только поражаться этой выучке и партийному чутью, так необходимому журналисту ПАИС! Разумеется, размышляя над некрологом по Горькому, журналист Сергей Р-ский заранее относил будущие похороны к наивысшей, чрезвычайной категории, т.е. категории «Еще с утра...»

И вот, днем 18 мая, под пасмурных небом, тревожным для астрономов, ибо до затмения оставалось уже менее суток, Рональд Вальдек, работавший на площадке, уловил краем уха эти самые словеса из черной радиотарелки, что висела в палатке пулковцев. Зазвучала траурная музыка классиков — Бетховен, Шопен, Шуберт, Мендельсон... По ком же это? Сомнений почти не оставалось: по всей вероятности... Горький! Сразу вспомнились и заранее заготовленные Сергеем Р-ским варианты некролога.

Нелегко дались сочинителю эти варианты! Ибо в этот раз при всем сверхчутком метеорологическом инстинкте не мог автор уверенно предвидеть, какой тон некролога будет высочайше одобрен: безудержно хвалебный или сдержанно-общий? С намеками на ошибки в прошлом или без этих уступок западным политиканам? Ведь они, дьяволы, не обучены искусству мгновенно забывать! Они изредка цитируют «Несвоевременные

мысли» и еще кое-какие старые грешки Алексея Максимовича. Да вдобавок, по слухам, в Лондоне хранится завещание Горького... «Вскрыть через 50 лет после моей смерти»... Стало быть, в 1986-м. Не учесть ли тут возможность кое-какого подвоха? И не оградить ли себя, на всякий случай, от возможной превратности в далеком, но все-таки неизбежном 1986-м году!? Р-ский, работая с весны над некрологом, тайком искал горьковские статьи 1917 года, но не получил допуска к засекреченным, хранимым в тайне «Несвоевременным мыслям». Об этих поисках узнала Екатерина Георгиевна, допущенная к так называемому «спецхрану». Она сделала кое-какие выписки из горьковских материалов в начальном периоде революции. Эти выписки подвергли С. Р-ского в немалое изумление, ибо в подлинном звучании слова и мысли Горького были выразительнее и сильнее, чем в жидком пересказе позднейших марксистских критиков.

...Руководство ПАИС одобрило было первый, слегка критический вариант написанного С. Р-ским некролога, загодя посвященного живому и здравствующему писателю. Вариант был в секретнейшем порядке направлен в ЦК партии Вскоре он вернулся оттуда с бранной резолюцией и категорическим указанием тт. Поспелова и Стецкого убрать все намеки на какие-либо расхождения между Горьким и ленинской большевистской партией. Мол, родоначальник социалистического реализма неизменно и всегда шел за Лениным, преклонялся перед товарищем Сталиным и высоко держал знамя пролетарского интернационализма, будучи непримиримым к врагам социализма и единства рабочего класса всего мира!

Этот-то выправленный, стерильный и идеально пустословный некролог теперь и разносился из черного репродуктора далеко над оренбургской степью. Рональд Вальдек, косвенно участвовавший в работе над этим текстом, слушал его обтекаемые формулы, узнавал или вовсе не узнавал ранее знакомые фразы и старался убедить себя, что верно, так оно и нужно для малых сих, дабы не впали в соблазн критического мудрствования.

Между тем в поселке Ак-Булак уже стало прямо-таки тесно от наплыва журналистов. Газетчики советские жили по двое, по трое в комнатенке. Стихийно возникали (а то и рушились) деловые творческие, даже личные «кооперативы» вроде совсем неожиданного альянса московского спецкора правительственной газеты с американской корреспонденткой «Ассошиэйтед Пресс»: только она одна занимала двухкоечный гостиничный номер, а прилетевшему на своем редакционном самолете московскому деятелю пера было уже негде ни главу преклонить, ни машинку

поставить. Американка посочувствовала советскому коллеге и поделилась с ним ак-булакской жилплощадью, отгородившись от соседа ширмой. Он отблагодарил ее тем, что брал на борт своего самолета, обозревать окрестности площадки, а затем, на том же самолете доставил ее в Москву.

Журналисты шушукались, что, мол, закат крупнейшего светила на горизонте литературы — Максима Горького — вовсе затмит на газетных полосах затмение солнечное, и Рональд Вальдек попросил друга, Петю Шехтера, спецкора московского радио, связаться по радиотелефону с агентством ПАИС и освежить инструкции Вальдеку. Редактор Союзной информации мямлил нечто невразумительное, дескать, пока мне не до вас, товарищ Вальдек, а редактор информации на заграницу прямо завопил, чтобы спецкор ни в коей мере не снижал активности и помнил про договор с британским агентством.

— Чем больше передашь, тем лучше, — кричал ино-редактор. — Держись, как держался — премия наша будет!

Однако самой серьезной помехой становилась погода. 18 июня солнце село в сплошную облачность, а 19 июня оно лишь чуть окрасило тучи на востоке, Неполная фаза затмения началась в ранние утренние часы. Небо все гуще затягивалось облачностью. Журналисты взяли в осаду астрономическую площадку, обложив ее со всех сторон, как воинственные орды этих степей некогда осаждали русские крепости, вроде Оренбургской или Белогорской.

И буквально за полчаса до появления на солнечном диске лунной тени, тучи, застилавшие небосвод, неожиданно раздвинулись как раз против солнца, будто нарочно, по театральному пошел занавес перед спектаклем. Утреннее светило явилось людям во всем своем блеске.

Продолжительность всего затмения, помнится, была около полутора часов, а главная небесная сенсация — фаза полного закрытия солнца — длилась минуты три-четыре. И за все это время ни одна тучка, ни одно облачко ни на миг не заслонили солнца от взоров астрономов. Американцы своей автоматикой сделали более двух тысяч снимков короны, пулковцы — около семи десятков, но качество каждого из семидесяти было отличнейшим, у американцев — посредственным, сказалась неточность предварительной настройки. Всех восхитила «любезность» небесных сил, обеспечивших, как по заказу, ясную голубизну в просвете между тучами, как раз против светила. Более того! Когда погас за черным бархатным диском лунной тени последний узенький солнечный лучик, наступила странная дневная мгла, подсвеченная лишь по краям горизонта оранжевым

отблеском от той части земной поверхности, где затмение оставалось неполным, возникло вокруг грозно-черного кружка, скрывшего солнце, свечение жемчужно-серебристой солнечной короны. В следующий миг на краю диска вспыхнул, распустился багровым розаном солнечный протуберанец — на все это было совсем не больно глядеть незащищенным глазом. Самым необычным было, однако, то, что лучи солнечной короны образовали в небе как бы подобие пятиконечной звезды! Все это выглядело какой-то грандиозной торжественной космической режиссурой, которой подвластны силы небесные!

Впоследствии в застольной речи на прощальном банкете доктор Дональд Менцель шутливо благодарил оренбуржцев за идеальную организацию «чисто большевистского» солнечного затмения.

Наблюдали его здесь, в обычно безлюдной степи, несколько тысяч человек, включая все население Ак-Булака и соседних деревень. Кроме того, из Оренбурга и с противоположной стороны, то есть из Кустаная, к рассвету 19 июня 1936 года были поданы два поезда для астрономов-любителей. На однопутной здесь железной дороге оба паровоза встречных пассажирских составов тихо сблизились до тридцати—двадцати метров и стали, попыхивая дымком и паром, друг против друга, как раз против площадки астрономов. А толпы приехавших рассыпались по степи, навели закопченные стекла или целлулоидные дымчатые очки на солнце и следили за фазами затмения. Кое-кто привез животных, посмотреть, как они поведут себя с наступлением негаданной дневной ночи. Говорили, что в поселках куры спокойно вернулись на насесты в сараях, собаки забрались в сторожевые будки, кошки отправились на охоту, как в обычную вечернюю пору, а верблюды волновались, укладывались на покой, но будто понимали, что делают это не ко времени! Этими подробностями особенно интересовалась американская корреспондентка. Рональд впоследствии читал ее телеграмму. Она кончалась словами: «Население спокойно...»

Ее земляки-астрономы остались очень довольны экспедицией, изрядно понервничав за все дни перед затмением. Кстати, при этом Рональд Вальдек невольно получил некоторое представление о крепости нервов американского журналиста и бизнесмена Вальтера Дюранти.

Дело в том, что по просьбе Рональда его друг Петя Шехтер помог и профессору Дональду Менделю связаться по радиотелефону с г-ном Дюранти за час до затмения, когда всем казалось, что провал наблюдений неизбежен. И Петя Шехтер, и корреспондент ПАИС Вальдек уже знали о материальной

зависимости американской экспедиции от их земляка-журналиста, субсидировавшего экспедицию Гарвардского университета.

Рональд и Петя Шехтер слышали, как д-р Дональд Менцель нетвердым голосом докладывал боссу, что перспективы неважные, погода облачная и шансов на успех маловато. На что твердый, спокойный и благожелательный голос босса из Москвы отвечал с редким хладнокровием:

— Не тревожьтесь, профессор, делайте спокойно все возможное и зависящее от вас, положитесь на волю Божию, и я убежден, что все у нас будет окей!

Этот завидный оптимизм короля аккредитованных в Москве иностранных журналистов, мастера большого журналистского бизнеса г-на Дюранти впоследствии проявлялся еще не раз. Наблюдал Рональд и чисто профессиональный стиль работы Вальтера Дюранти. Это было на Щелковском аэродроме во время старта Чкалова, потом и Громова, при их перелетах через полюс в Америку. Изо всех присутствующих на старте, именно Вальтер Дюранти отличался полнейшим хладнокровием и непоколебимой уверенностью в полном успехе труднейших перелетов той эпохи...

...По возвращении в Москву Рональд Вальдек нашел свою фамилию на Доске Почета «за отличную, инициативную работу спецкора ПАИС по солнечному затмению». Агентство британское уже перечислило в Москву договоренные заранее 10 тысяч фунтов стерлингов премиальных. По этому случаю через месяц агентство ПАИС тоже наградило своего спецкора сверх его четырехсотенного гонорара еще и дополнительной сторублевкой в виде поощрительной премии из директорского фонда.

Недобрые предзнаменования наступившего 1937 года напомнили Рональду Вальдеку одно уже забытое ощущение...

Лет за десять до «грозного года» он испытал в крымских горах землетрясение средней силы, вызвавшее панику в Ялте и поэтически описанное Маяковским. С тех пор у него исчезла уверенность в непоколебимости тверди и даже появилась некоторая способность к геотектоническим предчувствиям.

Именно это ощущение неустойчивости почвы под ногами возникло у журналиста Вальдека вечером 5 декабря 1936 года.

Он спешил тогда на служебной «эмке» в редакцию с большого рабочего митинга на заводе, носившем имя вождя. Через четверть часа должна была начаться радиотрансляция из зала Чрезвычайного VIII Съезда Советов, где Сталин читал свой доклад о проекте новой конституции.

Минуя Таганскую площадь, журналист и его шофер Коля увидели толпу у репродуктора и различили шум оваций из зала

Съезда. Уже раздавался негромкий голос с грузинским акцентом, то и дело прерываемый рукоплесканиями. Журналист и шофер вышли из машины, присоединились к толпе и слушали, пока ноги в легких ботинках не одеревенели от холода... Когда прибыли в редакцию, доклад еще продолжался, затем последовало повторение в записи. Вся редакция, отложив дела текущие, слушала и первое чтение, и повторение. Лица светились восторгом, преданностью вождю и преклонением перед грандиозностью события: человечество получало зримый образец самой демократической, самой свободной, самой прогрессивной конституции, которая обеспечивала гражданам великого Советского Союза всю полноту прав человека...

И вот в этот памятный час, именно при слушании Сталина, возникло у Рональда Вальдека то, почти совсем забытое, «крымское» ощущение неустойчивости тверди, близости подземных толчков... Конечно, после 1934-го, кировского года и личного Рониного опыта, его наблюдений в 18-м, 27-м и 34-м годах, такое предчувствие было неудивительно, но ведь сталинский доклад о проекте Конституции скорее успокаивал, чем тревожил! Он как бы укреплял в людях почти утраченное чувство правовой стабильности. Но в Рональдовой душе успокоения не наступило. Было что-то неуловимо зловещее в подтексте доклада и в самом тоне чуть-чуть ироническом, будто отеческом, однако таящем тайную угрозу... И когда поздним вечером Рональд Вальдек поделился своим предчувствием с Катей, он поразился, что точно такое же ощущение возникло при слушании также и у нее! И оба они, два преданных коммунистической идее человека, преисполненных уважения к Вождю Народов и верящих в его непогрешимое величие, при всем том не почувствовали себя ни на йоту вольнее, безопаснее и правомочнее, как то обещала им сталинская Конституция, вступающая в действие после Чрезвычайного VIII съезда Советов!

...Впрочем, во всем, что относилось к Рониным журналистским и педагогическим обязанностям, год 1937 начинался и продолжался целой полосой непрерывных успехов, интересных дел, важных свершений, личного и даже общегосударственного масштаба. У Рональда Вальдека завязалась прежде всего близкая дружба со многими коллегами по работе — репортерами, переводчиками иностранной редакции, работниками смежных пресс-бюро и газетчиками тех органов большой прессы, с кем приходилось постоянно встречаться на конгрессах, конференциях и сессиях, при важных событиях в столице, выезжать на общие задании и брать интервью у одних и тех же знаменитостей.

Как лицо, со студенческих лет причастное к пушкиноведению, Рональд был назначен руководителем пресс-центра, созданного агентством в связи со столетием со дня смерти Пушкина. Через его руки прошли горы материалов (как правило, малоквалифицированных) от иногородних корреспондентов, любителей пушкинистов (тут попадались вещи интересные), и сам он собрал и написал немало статей, для коих черпал материалы из новых приобретений Литературного музея или в поездках по пушкинским местам. Он ездил спецкором в Большое Болдино и открывал там мемориальную доску на музейном доме, где созданы были «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Скупой рыцарь», где дописывался «Онегин» и вынашивалась эпопея о Петре... Побывал он и в Ясной Поляне, где вместе с профессором Павловским слушал голос Толстого, записанный на восковых валиках...

А тем временем дурные предчувствия сбывались!

Уже ходили темные слухи о многих арестах — они начались сразу после принятия новой Конституции победившего социализма. Сенсационно исчез с горизонта наркомвнутдел Ягода. 1 июня Москва услышала о самоубийстве начальника политического управления Красной Армии — Гамарника. В те же дни журналисты ПАИС были потрясены вестью о самоубийстве их собственного руководителя: он пустил себе пулю в лоб в ту минуту, когда в квартиру вломились чекисты. Впрочем, журналисты хорошо знали о близкой дружбе ответственного руководителя ПАИС с арестованным наркомом Ягодой. Вскоре исчез и бывший сосед Вальдеков по Малому Трехсвятительскому переулку — главный архитектор канала Москва—Волга Иосиф Соломонович Фридлянд, шурин Ягоды (Фридлянд женился на Фриде Григорьевне, сестре наркома).

Но в эти же самые черные месяцы и дни свершились в стране великие дела, настоящие подвиги, вызывавшие энтузиазм во всех уголках земного шара...

Рональд смог присутствовать в июне и в июле того памятного года на стартах Чкалова и Громова, улетавших через Северный полюс в Америку. Весь мир радовался этим высшим рекордам безумной храбрости и трезвейшего расчета. Сколько тысяч сердец потянулось тогда к «советским русским» и в скептической Европе, и в занятой бизнесом Америке!

...На разукрашенном теплоходе «Иосиф Сталин» плыл Рональд Вальдек в ночь на 15 июня по новому каналу Москва—Волга, вступавшему в строй. Канал этот со всеми его плотинами, шлюзами, электростанциями и вокзалами создан был, как и все большие стройки первых пятилеток, исключительно

подневольным, принудительным трудом десятков тысяч узников сталинских концлагерей Стройка начиналась невдалеке от впадения в Волгу реки Дубны, и первые лагеря возникли в сырой, заболоченной дубнинской пойме. Затем лагерные зоны протянулись вдоль всей трассы канала к столице. Скрыть их было невозможно, поэтому писали и говорили о лагерных стройках довольно откровенно, подчеркивая удивительные успехи чекистов в перевоспитании преступников. На столичной сцене шла погодинская пьеса «Аристократы», где бандит становится передовым бригадиром. Алексей Максимович Горький оставил человечеству восторженные патетические статьи, посвященные успешной и мудрой чекистской педагогике, благодаря которой даже контрреволюционный инженер-вредитель сделался патриотом еще Беломорско-Балтийского канала и затем использовал этот свой опыт на строительстве Московского канала. Руководителем лагерного управления, возводившего в числе прочих объектов и канал Москва—Волга, был чекист Берман. Он, естественно, был в числе юбиляров и тоже плыл в одной из кают на «Иосифе Сталине». Именно его чекистскую педагогику так рьяно славил Максим Горький.

Рональд Вальдек делил каюту на «Иосифе Сталине» с Ваней Козликом, дававшем заметки о строительстве канала с самого начала работ в дубнинских торфяниках. Может быть, именно к этим местам относятся строки известного самиздатовского стихотворения:

В болоте, в торфянике зыбком,
Шел месяц за месяцем вслед...
И вот объявили ошибкой
Семнадцать украденных лет...[127]

Впрочем, тогда, в 1937-м никто не поверил бы, что сталинская лагерная педагогика будет когда-либо объявлена ошибкой.

Наступил рассвет юбилейного дня 15 июня 1937 года и оба корреспондента вглядывались в сумеречные ландшафты, когда теплоход швартовался к пристани «Комсомольская». Их ждало зрелище весьма необычное.

На берегу подходила почти к самой пристани узкоколейная ветка. Открытая моторная дрезина с дремлющим мотористом будто ждала кого-то с теплохода. У трапа стояли четверо в штатском, с топорщимися от пистолетных рукояток карманами. Не дожидаясь полной швартовки, они прыгнули на борт «Иосифа Сталина» и через несколько минут снова показались на трапе,

уводя с собой тучного, раскормленного, но сейчас растерянно глядящего под ноги, точнее на носки своих шевровых сапог, главу ГУЛАГа, «папу» Матвея Бермана... Его посадили на дрезину, мотор застучал... и папа Берман не доехал до Химкинского речного вокзала, на юбилейные речи и тосты!

Сразу был пущен (вероятно, самими чекистами) слух о том, что товарищ Сталин остался недоволен воспитательными методами Бермана, Фирина и прочими гулаговскими фюрерами: они, мол, давали слишком много воли бригадирам, головорезам-уголовникам, практически превращая их в своих заместителей по воспитательной части. Мол, не партия, а уголовники вершили все дело «перековки», действуя преступными методами и вовлекая бытовиков и прочих мелких правонарушителей в уголовную среду, чтобы та не иссякала. Не исключено, что такие сигналы в правительстве имелись от самих заключенных, от мыслящих работников гулаговского КВО[128], но едва ли партийные верхи смущались такими сигналами о судьбах бросового контингента... Куда вернее предположить, что Сталин решил, не настала ли пора сменить ягодинский слой чекистов другим, обновить его, как меняют подработавшийся подшипник. Впоследствии тот же метод применял Мао Дзедун под знаменем пролетарской культурной революции...

Началось в стране безудержное восхваление сталинского железного наркома Ежова, спасшего своими ежовыми рукавицами вождя партии и народа от злокозненных покушений извергов: агентов империализма — троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, таких предателей, как Якир, Уборевич, Корк, Тухачевский, Егоров, Пятаков, и т. д. Можно было по пальцам сосчитать уцелевших от расправы лиц, работавших с Лениным, — вся его старая гвардия была расстреляна. Чекистов превозносили и воспевали. Газетная популярность ежовцев могла сравниться только с полярниками и летчиками — их имена были тогда у всех на устах. Про Отто Юльевича Шмидта и Михаила Водопьянова — главных героев челюскинской эпопеи — уже пели не очень пристойные лагерные песенки под гитару, хотя время известных лирических бардов с гитарами пришло много позднее:

Шмидт сидит на льдине, будто на перине,
И качает длинной бородой...
Если бы не Мишка, Мишка Водопьянов... и т. д.[129].

Слава полярников еще возросла, когда Водопьянов посадил на льды у Северного полюса тяжелый транспортный самолет, выгрузивший четверку папанинцев. Их знаменитый, первый в

истории дрейф на льдине, продлился до следующего, 1938 года... А тем временем из небольшого, семиквартирного дома в Малом Вузовском, где обитали Рональд и Катя, были навсегда увезены 8 человек из 60 постоянных жителей. И еще не менее восьми ожидали той же участи со дня на день, в том числе известный профессор-биолог немецкого происхождения[130].

Отца Рональда, Алексея Александровича Вальдека увели весной, расстреляли летом — об этом рассказано в первой главе. Арестовали и осудили почти полностью весь состав трех немецких церковных хоров лютеранской общины, все три церкви были закрыты. Здание Петропавловской передали студии Союздиафильма, а мебель, священные предметы, утварь и религиозную живопись, высокого художественного достоинства, сожгли. Так же поступили с Михайловской церковью на Немецкой улице, и лишь Реформатскую отдали баптистской общине. Очень ценные инструменты — органы, Петропавловский и Михайловский, по слухам, были спасены от уничтожения профессором Гедике, много концертировавшим на этих чудесных инструментах в дни немецких церковных праздников.

За несколько лет до всех этих умопомрачительных событий Рональд Вальдек встретился на своем дипломатическом поприще с руководителем юридического отдела НКИД, товарищем Вадимом Григорьевым. Первый («формальный») супруг Екатерины Георгиевны не только выжил, подобно своей юридической супруге, но и последовал, до некоторой степени, ее примеру: вернулся на советскую службу, стал крупным специалистом по международному праву, и, в частности, составил то, получившее широкую известность юридическое определение агрессора, с которым М. М. Литвинов успешно выступил в Лиге Наций. Оно было одобрено и принято Лигой, стало международным законом (кстати, сам Советский Союз впоследствии сделался одним из активнейших нарушителей этого закона, преданного поэтому среди советских юристов полному забвению).

Встретившись с Рональдом Вальдеком на стезе служебной, Вадим благожелательно отнесся к младшему коллеге и даже вручил ему для передачи Кате флакон «Кер де Жаннет» фирмы Коти. Оказывается, он отлично помнил, какие цветы и запахи она любила и какую неодолимую страсть питала к парижским духам — в самые тяжелые времена готова была отдать за них даже хлебный паек!

У Вадима Григорьева уже имелась небольшая милая семья. Жили они у Красных ворот, в наркоминдельском доме этажом ниже квартиры Литвинова. Бывшие супруги, Вадим и Катя,

решили возобновить «знакомство домами», постепенно преодолевая давние нелады и обиды, утратившие остроту. Несмотря на потерю левого глаза от своего выстрела в ухо (пуля вышла через нос), Вадим ухитрился мастерски играть в теннис, выглядел молодо и элегантно, имел «побочную» девочку от молодой возлюбленной, в чем сознавался не без авторской гордости, и постоянно щеголял афоризмами, дипломатическими остротами и «билибинскими mot» вроде: «Жизнь подобна ресторану, где берут тройную плату за самую малую радость, а тех кто удирает, не заплативши по счету, либо не замечают, либо списывают...» Или: «Мне платят хорошее жалованье за то, чтобы я учился мыслить антисоветски...» и т. д.

Увы, в том же фантастическом году исчез с горизонта и Вадим, объявленный уже не в шутку врагом народа. Казалось, никому не избежать своей очереди в этой мясорубке. А вместе с тем гремели фанфары производственных побед, культурных достижений, ученых открытий. Пресса бурно раздувала энтузиазм; радио на площадях надрывалось от маршей и песенок Дунаевского, создавая впечатление, будто огромная могущественная страна эдаким гигантским монолитом во главе со сталинским ЦК неудержимо рвется в коммунизм, находясь под тайным обстрелом неведомых вражеских сил, не способных даже замедлить ее порыв и лишь там и тут выслеживающих каких-то оступившихся, нетвердых, несмелых и неверных. Совсем как в кино на историческом фильме: строится суворовское карэ для атаки, двинулось вперед, пуля-дура выбила одного, другого, наступающие сомкнули ряды, упавшие трусы сметены и забыты. Храбрые и стойкие движутся дальше! Враг бежит!.. Рубеж взят!

Одним из таких взятых рубежей, помимо авиационных и полярных, стал созыв в Москве XVII Международного геологического конгресса. И хотя именно среди геологов Советского Союза сталинский нарком Ежов учинил настоящий погром, засадив и расстреляв самые активные кадры совета по изучению производительных сил (СОПС) Академии наук СССР, конгресс открылся в Большом зале Консерватории с огромным подъемом. Были сотни иностранных геологов, председательствовал глава российских нефтяников академик Губкин, а от Советского правительства произнес вступительную речь о великих наших научных достижениях сам Валерий Межлаук, председатель Госплана, зампред Совета Народных комиссаров и нарком тяжелой промышленности, сменивший на этом посту застрелившегося — или тайно застреленного дома — Серго Орджоникидзе (Серго похоронили в феврале).

Корреспондентом ПАИС на конгрессе был назначен Рональд

Вальдек. Он совершил и несколько поездок по стране, сопровождая делегатов конгресса. На одной из таких поездок по трассе Москва—Волга, где свежие срезы наглядно демонстрировали наслоение геологических пород, Рональда спросили напрямик, правда ли, что этот чудесный канал построен заключенными. Вальдеку осталось только подтвердить это, как бесспорный и официально признанный факт (впоследствии его стали замалчивать). Надо было видеть, как омрачились лица ученых гостей. Будто на них в ясный день надвинулась темная туча! Вопрос этот задан был уже на обратном пути роскошного теплохода, предоставленного делегатам, и после Рониного разъяснения большая часть гостей удалилась с палубы и демонстративно отказалась осматривать сооружения канала.

Вероятно, этих гостей вскоре догнала весть о том, что принимавший их величественный и серьезный наркомтяжпром Межлаук объявлен врагом народа.

Через несколько месяцев он был расстрелян. Мастера же этих дел сталинского наркома Ежова включили в состав Политбюро ЦК ВКП(б).

В один из тех осенних дней Рональда Вальдека вызвал к себе новый ответственный руководитель ПАИС и объявил журналисту, что «в порядке освежения аппарата ПАИС» он, Вальдек Р. А., увольняется и может сам выбирать формулировку увольнения: либо как несправившийся с работой, либо «по собственному желанию». Обычно после такого увольнения человека сажали уже через несколько дней, а то и часов. С такой новостью он и воротился домой, к Кате.

Но у той были свои свежие новости: в Ленинграде арестован профессор Волжин, в Москве — профессор Винцент. Оба были друзьями покойного Валентина Кестнера, а Винцент считался главной научной опорой Екатерины Кестнер.

Как выразился Катин сослуживец и научный руководитель ее отдела в институте профессор Игорь Михайлович Рейснер, «ваш покровитель Винцент и ваш старый друг Волжин уплатили свои оброки Харону, что, вероятно, будет вам, Екатерина Георгиевна, небезразлично». Стала ждать увольнения и Катя.

Наступил год новый, но процессы в стране оставались старыми. Однако ладья Харона, вопреки древней мифологии, стала, по слухам, совершать, хотя и нечастые, но все же обнадеживающие рейсы ОТТУДА, доставляя из подземелий кое-кого из якобы оправданных ТАМ людей, прежде всего командиров Красной Армии, почти вконец обезглавленной Сталиным и Ежовым. Шептали, что не кто иной, как Лаврентий Берия, тоже соратник Сталина, руководит пересмотром некоторых военных

дел.

И хотя ТУДА, в те подземелья, люди по-прежнему шли и шли широким потоком, а ОТТУДА просачивались назад тонюсенькими струйками, все-таки к этим рассказам прислушивались жадно в несбыточной надежде увидеть и своих близких, вернувшимися.

Довольно скоро после ареста Рониного отца, профессора Винцента, Волжина, Вадима Григорьева и многих других людей, близких дому Вальдеков, Катю Вальдек пригласили в Большой Дом. Приглашение было весьма необычно: чужой голос в трубке, сухой и официальный тон (ведь Катины уроки с посольскими японками продолжались, даже учениц прибавилось, только встречи с Николаем Ивановичем назначались все реже и сводились к неопределенным разговорам — Катин собеседник явно не знал, какие инструкции и задания поручать «товарищу Саблиной», но снять ее с этой работы полномочий не имел). Кате разъяснили: пропуск — через подъезд № 3, на такой-то служебный час, днем (будто она уже была освобождена от всех обязанностей!). Явиться в кабинет на третьем этаже.

Этот кабинет оказался высокоответственным!

Собственно, Катя вошла не в кабинет, а в приемную залу, где слева была дверь с табличкой «Народный комиссар внутренних дел», а справа от входа подобная же табличка оповещала, что за нею пребывает и священнодействует «Заместитель народного комиссара внутренних дел». В эту дверь, правую, Катю в конце концов и ввели.

За письменным столом обычной массивности сидел товарищ в штатском, но рядом с ним в позе готового к услугам денщика вертелся и сгибался другой человек в чине генеральском. Стало быть, сидящий был важнее генерала! Хозяин кабинета отослал генерала, остался с Катей наедине.

В эти напряженные для нее часы Рональд Вальдек ожидал жену на скамейке Сретенского бульвара. Катю он провожал до этой скамейки от трамвая и сказал, что дождется ее, сидя на скамье за чтением Островского для завтрашней лекции в Техникуме текстильной химии...

Одну за другой он прикуривал все новые папиросы от догоравших, загадывал по тюремному, вернется Катя или не вернется: сядет воробушек носиком к Рональду — вернется! Сядет хвостиком — дело дрянь! Воробьи садились как попало, а время стояло.

И вдруг как-то сзади неслышно подошла к нему Катя. На лице ее он различил... одни глаза! И немного белизны вместо обычно смугловатых Катиных щек. Лицо было обтянутым, бескровным, белым, как утренняя луна. И — неживые,

негнущиеся пальцы.

Он взял ее под руку и повел вдоль бульваров к дому, со Сретенского на Яузский, и этого расстояния как раз хватило для Катиного рассказа.

...Хозяин кабинета (надо полагать, что сам замнаркома. Не Чернышев ли?) начал издалека. Кратко подтвердил, что Катины начальники характеризуют всю практическую деятельность собеседницы положительно.

Я имею в виду дела в научных институтах и работу вашу с японцами...

Тон его был, однако, холодным и сдержанным.

Выслушав ее ответы насчет покойного мужа и мужа нынешнего, он осведомился совсем уже ледяным тоном, как могло случиться, что научную и деловую рекомендацию дал ей не кто иной, как гнусный вредитель, подлый враг народа и разоблаченный японский шпион, злобный контрреволюционер, бывший профессор и член-корр. Академии наук Винцент.

Катя спокойно пояснила, что рекомендация Винцента — это самая высокая и самая почетная характеристика для любого советского японоведа. Она, Екатерина Кестнер-Вальдек, счастлива, что удостоена такой оценки, надеется оправдать ее и гордится дружеским расположением к ней профессора Винцента.

Собеседник поднял на нее тяжелый взгляд.

— Так вы, уважаемая Екатерина Георгиевна, считаете государственные органы некомпетентными и глупыми? И доверяете врагу народа больше, чем чекистам-сталинцам? Вам известно, что мы считаем товарища Сталина своим учителем, самым первым и самым лучшим чекистом?

— Если бы я сомневалась в вас и в вашем аппарате, то едва ли очутилась бы в этом кабинете. Тем не менее, считаю арест Винцента огромной ошибкой. И надо ее исправить незамедлительно, ибо он слаб здоровьем.

— То есть, по-вашему, надо вернуть волка в овчарню? Мы пригласили вас сюда не для того, чтобы слушать подобные советы Именно вы, Екатерина Георгиевна, обязаны всемерно помочь нам разоблачить матерого шпиона. Вам придется проанализировать для следственного отдела кое-какой японский материал, разоблачающий вредительскую работу Винцента. От вас как советского патриота мы ждем соответствующей оценки. Ну а также и ваших личных свидетельских показаний. О тайных связях Винцента, Волжина и еще кое-каких сообщников этих шпионов. Что вы на это нам скажете?

— Скажу вам одно: если бы японская разведка ассигновала миллионы на подрыв советского востоковедения, все эти

миллионы ей следовало бы истратить на... уничтожение Винцента. Отнимите Винцента у советской японоведческой науки, и она будет окончательно обезглавлена. Было у нас три японоведа мирового класса, и они удачно делили между собою сферы деятельности: Винцент преимущественно исследовал историю и культуру Японии, Кестнер — экономику и сельское хозяйство, вооруженные силы и военные доктрины, начиная с Мейдзи, Волжин изучал коренное население, этнографию, языки и все то, что Пильняк метафорически назвал «корнями японского солнца». Кестнер умер, Волжина вы обвинили в смертных грехах, не берусь судить, на каком основании, а теперь рубите последний сук под японоведением. То, что никак не удавалось японской разведке, сделали за нее... вы!

...Катя и Рональд уже подходили к своему переулку.

— Послушай, Кити! Ты малость не преувеличиваешь? Это сказано было... прямо в лицо?

— Ронни! Я передаю тебе беседу с ним СТЕНОГРАФИЧЕСКИ ТОЧНО!

— Кити! Хочу сказать, что ты великий человек. И я ужасно тобой горжусь! Сам, верно, так бы не сумел, не нашелся и не сдюжил бы. Но почему же он сразу не... посадил тебя?

— В ту минуту я была к этому готова. Ибо лицо его сделалось...

— Мрачным?

— Не то слово! Просто черным. Со стиснутыми зубами он спросил: «Вы отдаете себе отчет в том, что сейчас сказали?» «Вполне» — подтвердила я.

«В таком случае нам с вами разговаривать больше не о чем. Можете идти!»

— Так! И ты пошла?

— Да, встала со стула, поклонилась (а он смотрел в сторону) и пошла. И лишь в большой приемной зале сообразила, что пропуск мой оставила на столе у начальника.

— И как решила поступить?

— Подошла к секретарю и попросила вынести мне мой пропуск. Секретарь — пожилой, бритый наголо, — сперва стал убирать в стол какую-то мелкую бумажку, потом запер все ящики... И тут раздался звонок! Начальник уже вызвал секретаря к себе. Я подумала, что секретарь закажет конвой и меня заберут. Поведут в какой-нибудь подвал. И еще я подумала, что ты простудишься на той скамейке. Секретарь скрылся за портьерой и дверью — там все ужасно капитальное, солидное и тяжелое: двери, ковры, столы, люстры, рамы портретов... Минуты через три дверь опять приоткрылась, портьера раздвинулась, и секретарь

вручил мне холодно и молча мой пропуск, подписанный на выход. Однако на втором этаже ко мне быстро кто-то подошел. Вот тут я невольно обмерла. Но человек взял мой пропуск, сличил с паспортом и вернул мне то и другое, откозырял даже... У выходных дверей на Лубянскую площадь часовой отобрал у меня пропуск и насадил эту бумажку на какое-то острие. Да, кажется, чуть не на штык своей фузеи.

— Ну уж это-то едва ли! Просто ты была еще не в себе. И теперь все еще бледная. Выпьем сейчас по глоточку красненького... Слушай, Кити, а ты понимаешь, что после всего этого могут приехать за тобою уже нынче ночью? Куда бы тебя спрятать? Пусть поищут!

— Что ты, Ронни! Никуда я от них прятаться не стану. Но вообще-то, Ронни, ты что-нибудь понимаешь нынче? Что это такое творится в Москве и во всей стране? Ведь только в моем институте берут каждую ночь одного, двоих... Вот, верно, нынче возьмут меня... Давай хоть доверенность напишу на завтрашнюю мою получку. Все-таки тебе с ребятами полегче будет. Уроков пока у тебя мало, а в остальном ты же у меня советский безработный!

— Давай-ка лучше подумаем, Кити, как бы тебе сделать... облегчение. Я ведь порядки тамошние немножко познал. Соберем тебе сейчас сидор!

— Кошмар! Нет, ты что-нибудь понимаешь? За что же это?

— Пусть о том думают бояре! Наше дело — сидор, кешар и ксиватура!

— Что это такое?

— Сидор — это твой мешок, твое личное имущество в камере. Туда приходят с сидором. А кешар — это передача с воли с прибавлением ксивы или ксиватуры — то есть письма. Вот я тебе буду пулять кешара и ксиватуры!

— Ах, Ронни, Ронни, еще неизвестно, кто кому будет их пулять! Может быть, баба Поля нам обоим! Не дожил Воль до этого ужаса. Что бы он подумал!

...Они вовсе не ложились в ту ночь. Одетые, обсуждали неоконченные дела. Собрали сидор, притом со знанием дела!

В чистую наволочку наложили только то, что разрешено иметь в камере: немного сахару, курева, карамелей-подушечек, кисть винограда, кружку с вареньем, несколько сладких сухариков, сдобную булочку, мыло, щетку, порошок.

В третьем часу утра вдоль всего Малого Трехсвятительского, убегающего круто вниз к Подкопаевскому, снизу вверх полоснуло слепящими потоками света прямо в окна столовой. Шум мотора стих у подъезда Топот сапог по чугунной лестнице. Стихло на

площадке — напротив квартира управдома, четвертая. Значит, будят сперва его как понятого. Ему не привыкать — четыре года назад, летом 34-го он также ассистировал при аресте Рональда.

Звонок!

Баба Поля, кряхтя, поднимается из-за своей занавески в столовой, идет отпирать. Ронина охотничья собака, сеттер — сука Альфа, взлаивает спросонья — ей передалось беспокойство хозяев.

Голоса в кухне. Негромкие, приглушенные. Кити и Роня за дверью из столовой в кабинет судорожно целуются А в кухне снова тяжко бухает дверь, по лестнице снова топот шагов, и баба Поля одна входит в столовую.

— Они ушли, что ли? — в сомнении осведомляется Катя.

— Квартиру шесть спрашивали... За управдомом пошли. Наверх его позвали... В шестую квартиру.

Там, в шестой, живет известная фольклористка Августа Васильевна и немолодой инженер Феликс Ковальский[131], из МОГЭСа. Оба — немецкого происхождения. Сын инженера Ковальского Павлик — Ежечкин одноклассник и лучший друг. Мальчики больше времени проводят в столовой у Вальдеков, чем наверху — там еще меньше места для занятий и отдыха 18-летних... После школы Ежичка хочет поступить в инженерно-технический, а Павлик — в медицинский.

Так за кем же из них, из тех двух семейств наверху? У Августы — милая дочка. У Ковальских — милый сын. Кто-то сейчас осиротеет...

Поутру оказалось... за папой Ковальским. До шестого часа над головами Вальдеков двигали мебель, скрипели чем-то. Топота ног и голосов не слыхать было — не так строили дома в прошлом веке!

Итак, осиротел Павлик. Кстати, в одном классе с ним училась дочь одного из Кагановичей, кажется, самого Лазаря Моисеевича. Когда впоследствии, летом 1941 года советских граждан немецкого происхождения стали поголовно и грубо высылать этапами из Москвы, Павлик Ковальский с матерью тоже получили повестку прибыть на сборный пункт. Павлик по телефону стал прощаться с бывшими одноклассниками.

— А зачем ты уезжаешь? — спросила маленькая мадемуазель Каганович.

— Меня ссылают. За то, что в паспорте отца указана национальность — немец. В моем паспорте стоит — русский, но все равно высылают.

— Подожди-ка немножко... Я тебе позвоню. Никуда не ходи, слышишь? Девочка, вероятно, шепнула два слова папе. Мол,

Павлик уже студент Медицинского института, о немецком языке не имеет понятия, сидел со мною за одной партой. Каганович-папа позвонил еще кому-то. И высылку сына и матери Ковальских отменили.

В результате Москва получила одного из первоклассных хирургов, чьи операции вошли и еще будут входить в научную литературу, в анналы медицины...[132]

* * *

Через несколько дней после беседы с высоким «азным» начальником (сам ли зам. наркома или еще кто-то, имевший право быть в том кабинете, угадать было трудно). Екатерина Георгиевна Кестнер-Вальдек пришла на работу в свой академический институт с небольшим опозданием. В эту минуту курьерша крепила кнопками к доске приказов очередное начальственное распоряжение. Екатерина Георгиевна, никогда раньше служебных приказов не читавшая (теперь их жадно ожидали все, чтобы узнать, кого коснулась за прошедшие сутки железная формула: «Исключить из списков института»), подошла к доске. Только что вывешенный приказ был краток и касался одного лица: Екатерины Георгиевны Кестнер. Правда, формула была чуть-чуть иной: «Отчислить из состава научных сотрудников института».

Сотрудники смотрели не в лицо ей, а будто сквозь него, словно оно вдруг сделалось стеклянным.

Ей запомнилось, что только китаист Константин Павлов, задержав ее руку на миг дольше, чем следовало, в своей, тихо сказал ей несколько ободряющих слов. Но даже ей самой почудилось, что этот хороший поступок отзывал вольнодумством и непартийным отношением к зачумленной. Руководитель института, старый академик В.[133], дружественно относившийся к покойному Кестнеру и всегда очень внимательный к Кате, принять свою научную сотрудницу не смог: к нему в кабинет, церберски охраняемый, она и не пыталась проникнуть без приглашения.

Лишь уходя, холодно распрощавшись со всеми, кто еще вчера заискивал и старался услужить, Катя вдруг, случайно или не случайно, увидела директора почти на пороге отдела, ею покидаемого. Уж она было открыла рот высказать что-то укоризненное своему давнишнему шефу, но он сам быстро подошел к ней, поцеловал в щеку и сказал Почти со слезами на глазах:

Mein liebes Kind, aber was kann ich denn dafiir! Jedoch, nicht

verzweifeln, mein Kind! Es wird sichmal Wieder was umdrehen![134]

А еще через несколько дней Николай Иванович торопливо говорил ей по телефону, чтобы она «свернула» занятия с японцами.

Скажите, что вы сейчас очень заняты. Или больны. Это пока, временно. Будьте здоровы. Если понадобится, позвоню сам.

Однако «надобности» в ней, по-видимому, больше ни у кого не было, и длилось это долго. У Рональда кончился курс в одной академии и заканчивался временный курс в другой. Институт усовершенствования свертывал работу на летний сезон. Супруги взяли детей, увезли их в глухой уголок Ивановской областной, прожили они там, в деревне, на грибах, ягодах, лесной дичи, рыбе и дешевом молоке. Притом и до отъезда в деревню, и в долгие месяцы деревенской идиллии они каждую ночь ждали гостей. Однако те так и не явились. В конце концов Катя махнула рукой, сказала себе «будь что будет» и предалась мирным сельским радостям — купанию в кристально-чистой Шерне, долгим пешим прогулкам и занятиям с детьми.

Как-то перетерпели и зиму... Пошел 1939-ый. Кто-то доставал переводы, их делали от чужих лиц, ибо это были все технические тексты, например, полный проект организации крупного молочного завода. Рональд перевел его с датского. А обширный труд японского профессора о возделывании риса перевела Катя, и он вышел в свет от имени какой-то мифической переводчицы...

В какое-то весеннее довольно хмурое утро прозвенел телефон. Совершенно будничным, скучным тоном заговорил с Екатериной Георгиевной шеф ее институтского отдела:

— Товарищ Кестнер, а почему, собственно говоря, вы так упорно игнорируете ваши служебные обязанности?

Готовая ко всему, «товарищ Кестнер» все-таки несколько опешила и не сразу нашлась, как держаться.

— Короче, товарищ Кестнер, прошу Вас прекратить это дезертирство и завтра к 10 утра быть на Вашем рабочем месте. Это приказ директора института, академика В.

— А как насчет... прежнего приказа?

— Послушайте, не надо задавать лишних вопросов руководству. До завтра, Екатерина Георгиевна!

Пошла было обычная, не слишком напряженная, привычная и даже чуть скучноватая (после всех головокружительных взлетов и захватывающих дух падений) полоса бытия, но с осени стало очевидным, что Европа стремительно движется к войне за перекройку и перелицовку карты нашего полушария...

А однажды в «Вечерке» снова появилось объявление: «Корреспондент японской газеты «Токио синбун» нуждается в

уроках русского языка». В тот же вечер позвонил, как ни в чем не бывало, Катин старый знакомец Николай Иванович. Катя сделал вид, будто не узнает его. Тот был вынужден даже напомнить, откуда он.

— Мы просим вас, Екатерина Георгиевна, позвонить этому корреспонденту и назначить наиболее приемлемые для вас условия. И когда пройдет несколько занятий, мы с вами... увидимся. Там же, где обычно... В беседах с ним постарайтесь коснуться, как в тех кругах оценивают события вокруг Финляндии.

Ибо уже улетел из Москвы фон Риббентроп, обласканный Сталиным, прошла кампания в Польше, когда мы «освобождали» единоутробных братьев, а попутно наводили германскую люфтваффе на польские объекты с помощью наших западных радиостанций. И войска наши перебрасывались из Польши к советско-финской границе. Тон статей в «Правде» был уже военный. После заметки, где маршал и будущий президент Финляндии Маннергейм был назван шутом на троне, оставалось только скомандовать артиллеристам: «Огонь!» «Казусом белли»[135] послужил выстрел в Майниле. Наша армия с перевесом сил пятикратным двинулась на линию Маннергейма и на несколько месяцев там завязла. Каждый километр продвижения обходился в тысячи жизней. В той Военной академии, где Рональд был членом кафедры иностранных языков, командиры с любопытством рассматривали неведомые им доселе миномет и автомат «суоми». На первых пробных стрельбах из миномета в час командирской учебы было немало шуток по поводу чужой «самоварной техники». Дорого нам стало первоначально пренебрежительное отношение к этому «самовару»! Да и автомат на самых первых порах приживался туговато — казался малоэффективным, расточительным. Тем временем Ежичку взяли в армию, притом прямо на финский фронт, со второго курса Института химического машиностроения...

А сам Рональд Алексеевич Вальдек неожиданно был вызван к декану Института усовершенствования. После короткого предисловия, очень лестного для самолюбия молодого педагога, ему было предложено провести курс в очень ответственной группе, точнее в двух группах факультета Особого назначения для работников НКВД СССР. Рекомендует Вальдека сам Институт усовершенствования. Факультет дал предварительное согласие на эту кандидатуру преподавателя. Предмет — особый курс русской литературы и вспомогательный курс русского языка.

— Едва ли меня утвердят на таком факультете, — сказал

Рональд декану. — Ведь вам же известна судьба моего отца. Правда, у меня был с отцом довольно длительный разрыв, но в этом виноват отнюдь не он, и я об этом временном разрыве могу теперь только сожалеть. Ибо я верю в его невиновность.

— Насчет невиновности... помолчим, а самый факт едва ли остался неизвестным факультету. Повторяю, они вашу кандидатуру одобрили. Составьте полную программу в объеме 240 часов, дополнительный курс по языку для отстающих и готовьтесь эту программу защитить перед самим... наркомом. Он лично следит за работой факультета, сам утверждает программы и учебные планы. Мы считаем это поручение весьма почетным! Программу представите сначала нам, мы ее обсудим с вами и предложим ее наркому на утверждение.

2

Групп было две. Первая из четырнадцати ответственных работников ГУЛАГа НКВД СССР, включая двух прокуроров, вторая группа — поменьше, для среднего звена.

Программу действительно утверждал сам Лаврентий Павлович. Рональд был приглашен в Большой Дом, недолго ждал в приемной, возможно, той, где происходила Катина беседа с замом. У него взяли папку с двумя экземплярами программы, продуманной им вместе с Катей, ибо они примерно догадывались о степени подготовки и уровне учащихся. Это были очень ответственные, высокопоставленные и весьма низкограмотные руководители, выдвинутые смолоду на важные посты и не обладающие даже средним образованием. А институт давал им сразу высшее, так сказать,«гуманитарно-производственное» образование типа Промакадемии, с выдачей на руки вузовского диплома при успешном окончании всего трехгодичного курса. После короткого ожидания Рональда пригласили в кабинет слева.

Весь прием продлился считанные минуты и был чистейшей формальностью, по-видимому, имевшей целью подчеркнуть внимание наркома к учебным делам его высших кадров.

Берия стоял у окна. Тучный, маленький, весь отглаженный, будто лакированный. Очки с очень тонкой оправой напоминали пенсне прежних времен и придавали ему интеллигентность. Лицо округленное, холеное, без улыбки, во взгляде — порочность, холодный цинизм, наигрыш. Человек с таким лицом может притворяться кем угодно, стать вдруг обаятельным и ласковым, веселым и общительным, вежливым, даже прямо-таки добрым. А в следующий миг обернется он хладнокровным палачом, с глазами как пистолетные дула, и они будут с пристальным вниманием

следить, как жертва извивается в муках... В этом лице легко читалось хищное пристрастие к любым физическим утехам — от сладкой пищи, тонких вин и до юного женского тела... «Сладострастник» — назвал бы его автор «Братьев Карамазовых».

Лаврентий Павлович положил на подоконник папку с учебными программами. Делал, просматривая их, видимо, уже повторно, какие-то легкие пометки цветным карандашом. В кабинете был еще кто-то (кроме большого портрета Сталина в полный рост), но говорил с вошедшим один нарком.

— Товарищ Рональд Алексеевич Вальдек?.. Простите, что другие дела мешают нам обсудить подробнее программу по вашим дисциплинам. Но я программу нынешнего курса уже прочел, нахожу ее интересной и полезной. Есть, правда, у меня и некоторые вопросы, неясности...

Он еще раз пробежал глазами первую страницу, перевернул ее и опустил карандаш на краткий раздел о Достоевском на следующей странице. Рональд заранее знал от ректора, что нарком резко отрицательно относился к этому писателю и отвел в программе на лекцию о Достоевском очень мало места.

— Нужно ли вот это? — проговорил, взблескивая очками хозяин кабинета. — Вы, товарищ преподаватель, очень уж его любите? Не можете без него обойтись? Ведь как мыслитель, это мрачный юродивый реакционер, а как художник он совершенно чужд нашей эпохе. Не так ли?

— Но это величина мировая Здесь нельзя руководствоваться симпатией или антипатией к его сочинениям, ибо они слишком многое определили в последующих поколениях... Если несколько схематизировать картину, то после Толстого и Достоевского мировая литература находится под влиянием обоих этих русских гениев и делится на учеников того или другого из них. Одни, вслед за Толстым, больше интересуются социальными проблемами общественного человека, другие, следом за Достоевским, углубляются в тонкости человеческой психологии.

— А вы, что же, отказываете Толстому в психологической тонкости?

— Отнюдь нет! Но психологизм Толстого иной. Его в первую очередь интересует именно общественный человек и пути к всечеловеческому братству. А Достоевского волнует всегда отдельно взятый человек и ущерб, нанесенный обществом его личности...

— Спорно, но... не безынтересно. Главное, очень прошу вас, товарищ преподаватель, избегать школярства! Чтобы люди большого практического опыта, ценные наши руководители не ощутили себя опять какими-то подготовишками, понимаете?

Чтобы им было интересно и чтобы они быстро поняли, как нужны им эти знания даже в ежедневной практической работе!

Он протянул руку, подчеркивая этим жестом свое расположение к преподавателю. Пальцы были прохладны, чисто вымыты и вяловаты.

— Итак, программу вашу я в целом утвердил. Можете начинать по ней ваш курс. А в будущем примите во внимание мои пожелания, главное же, необходимо заинтересовать, увлечь аудиторию. Я надеюсь, что это вам вполне удастся. Желаю вам полного успеха! Может быть, в ходе занятий возникнут какие-то проблемы, вопросы — тогда поставьте в известность меня. И, возможно, я побываю у вас на занятиях или на экзаменах. Будьте здоровы, товарищ преподаватель!

* * *

В стенах той самой церкви Воскресения на Покровке, где венчался Достоевский, размещалось, оказывается, целое гулаговское управление. Его начальник, старший лейтенант государственной безопасности, был старостой основной, или первой группы. Она насчитывала 14 человек (в том числе два прокурора). Занятия шли в кабинете начальника. Он командовал:

«Встать!» и докладывал вошедшему преподавателю, что группа готова к занятиям.

Вторая группа была числом и чинами помельче, занятия шли в какой-то невзрачной конторе на Покровском бульваре против длинного строения казарм, и выделялся своими успехами в учении один слушатель из этой группы — младший лейтенант госбезопасности товарищ Ц. — серьезный, вдумчивый, с хорошей памятью, здравым умом и натурой, не склонной к фанатизму. Он составил замечательные конспекты по Рониным предметам. Впоследствии экзаменаторы приводили его всем в пример, а Рональду Вальдеку он запомнился на всю жизнь среди нескольких тысяч учеников, слушателей и курсантов...

Занятия шли регулярно, строго по расписанию, задания выполнялись со школьной добросовестностью — все знали, что за работой факультета следит сам нарком. Обе стороны — преподаватель и слушатели — постепенно привыкали, притирались друг к другу. У Рональда Вальдека уже начинало исчезать первоначальное ощущение цыпленка, нечаянно влетевшего на кухню к обедающим поварам...

Но и множились приметы, сигналы, знаки того, второго, подземного мира, которым распоряжались Рональдовы ученики вне учебного процесса.

Все чаще случалось, что в момент лекции о Тургеневе или Чехове тихонько звякал телефон ВЧ (в редакциях «Голоса Советов» или ПАИС его называли «вертушкой», и доступ к нему имели только особо доверенные лица). Начальник взмахом руки водворял в аудитории тишину. Преподаватель умолкал на полуслове, а хозяин кабинета и вертушки принимал телефонные указания сверху. Иногда трубка говорила так отчетливо, что слова высшего начальства явственно разносились по всему кабинету:

— Приготовьтесь принять завтра две с половиной тысячи... С Окружной... Нужна будет и санобработка... Контингент частично не наш... Разнарядку на этапирование получите послезавтра, а покамест надо разместить компактно, не разбрасывать. Тесновато будет? А? Ну, создавать удобства мы им не обязывались! Что вы так тихо?..

— У меня... занятия, товарищ комиссар первого ранга.

Там, среди этого «контингента» могут быть отец Рональда, профессора Винцент и Волжин, Вадим Григорьев, отец Павлика Ковальского, педагог Яков Мексин, целая толпа сослуживцев Катиных и Рониных... А может быть, завтра санобработка будет ожидать и самого товарища преподавателя?

Однажды под вечер, за час до начала занятий на факультете, к подъезду Рональда Вальдека в Малом Вузовском подали тяжелый «ЗИС». Было это, верно, в начале зимы 1939—40 годов, в тяжелые дни Финской войны. Шофер «ЗИСа» позвонил в квартиру Вальдеков (кроме них тут жили еще три семьи») и вручил Рональду записку от начальника-студента, старосты первой группы.

«Сегодняшние занятия проводим за городом. Заодно сходим и на охоту. Берите с собой, если желаете, ружье и патроны. Об остальном позаботится наш совхоз».

Катя очень поощряла Ронину охотничью страсть, уже отпускала с отцом в лес или на болото 8-летнего Федю. Рональд надел свою обычную охотничью амуницию, взял футляр с «кеттнером» и сел в машину.

Уехали, верно, верст на 50 к юго-востоку по Каширскому шоссе. В стороне осталась станция Белые Столбы. Участвовали в поездке трое Рониных слушателей, чинами поважнее. Начальник, старший лейтенант госбезопасности, вел себя по-хозяйски. При зажженных фарах погудели перед запертыми воротами «совхоза». По виду ворот и стражи Рональд быстро сообразил, что это за «совхоз»! Домик близ ворот оказался, впрочем, уютным (он, как выяснилось, предназначался отнюдь не для товарищей начальников, а для так называемых «личных свиданий»

заключенных с их близкими — такое свидание заключенный мог выслужить себе долгими месяцами примерного поведения, перевыполнением нормы и т. д.). Ни о каких занятиях даже не вспоминали! Плотно поужинали — причем подавали блюда на стол в закрытой посуде, носили их через двор из кухни молчаливые и быстрые тени-люди...

Утренняя охота по свежей пороше была бы великолепна, мало отлична от описаний тургеневских и некрасовских, если бы не... выражения лиц егерей и «флажных». Подобострастие, злоба, порочность сочетались в этих лицах в поразительно хрупкую смесь. Все они были расконвоированными уголовниками или «бытовиками».

Еще ночью взяли в оклад двух зайцев на лежках и лису. Привели из собачьего питомника смычок русских гончих. Стараниями двух десятков егерей и загонщиков удалось выставить обоих зайцев прямо на самого начальника. Он картинно красовался на своем номере среди низкого кустарника, облаченный в романовский полушубок и белые валенки, и не промахнулся из своего первоклассного великокняжеского «Пэрде». Зайцы были погружены в багажник «ЗИСа», а лиса поначалу ускользнула от выстрелов и ушла под линию флажков. Начальник веско обругал старшего егеря за то, что флажки не были смочены в керосине — лиса, мол, испугалась бы резкого чужого запаха. Однако, пока охотники возвращались на базу, егеря все-таки настигли лису с помощью гончих собак и сразили ее. Красного зверя кинули в багажник вместе с зайцами, и кабы охотники садились не в автомобиль XX века, а в какой-нибудь санный возок, со стороны могло бы показаться, что тучный русский барин едет восвояси со своих угодий, а крепостная челядь почтительно и преданно провожает его из осчастливленного приездом села... Сам же Рональд Вальдек в этом, похожем на сон охотничьем пиршестве, чувствовал себя, примерно, как живая лиса в магазине меховых изделий!

Ему отметили эту поездку как регулярное и плановое занятие в группе Особого факультета, номер один.

Так и подошла весна 1941 года. И уже близилось утро 22 июня.

* * *

Незадолго перед этой весной Рональд и Катя порешили бросить курить. С трудом выдерживали характер, мужественно терпели искушения, особенно в тех случаях, когда сам ритуал курения входил как бы в набор радостей, обещаемых человеку

охотой, обильным званным обедом, уютной беседой у камина: ведь как отрадна дымящаяся трубка или махорочная самокрутка у охотничьего костра, чтобы прикуривать от уголька и пускать дым в звездную синеву... А о рефлексах, связанных с рабочим, творческим состоянием, об утешении сигареткой расходившихся нервов и говорить нечего. Однако чета Вальдеков все эти тяжелые искушения вынесла и против всех соблазнов устояла. Кстати, об охоте: Рональд уже брал сына Федю по уткам, тетеревам, болотной дичи, на вальдшнепиные высыпки по осени, но, конечно, с особенным удовольствием на тягу. Предварительно он в третий, четвертый раз перечитывал Феде вслух любимые страницы из «Анны Карениной» про весеннюю тягу (где Левин и Стива слышат, как трава растет). Отец чувствовал, что заронил в душу мальчика огонек древнейшей мужской страсти к «отъезжему полю», к ночлегам в шалаше у лесной реки и добыче всего покрытого чешуей, пером и пухом! Огонек этот стал для Феди путеводным в его судьбе — сын Рональда Федор впоследствии избрал себе нелегкую жизненную дорогу российского биолога-охотоведа и ученого натуралиста.

Любил Рональд брать на природу и Катю. Она не слишком глубоко вникала в биологические процессы, но остро, чутко и радостно воспринимала пейзажи, красоты, особенности ландшафта именно среднерусского, хотя превыше всего любила природу южную, щедрую, пышную, кавказскую, с лианами, ручьями, скалами и многовековым самшитовым лесом...

Но и в Подмосковье она чувствовала себя счастливой осенним влажным утречком в бору, на грибной опушке, среди болота с клюквой и у мшистых лесных корней. А то после утомительно-скучного рабочего дня отправлялись Роня с Катей вдвоем куда-нибудь на озеро Царицынское, Петровско-Разумовское, Измайловское или на речку Клязьму в Мамонтовке. Брали они лодку и плавали до сумерек или первых и еще неярких звезд.

Однажды в такой вечер на лодке зашла у них речь обо всем, недавно пережитом и выстраданном. Оба признались, что не гаснут в душе сомнения и нет ясных ответов на мучительные вопросы.

— Какое-то распутье, — сказал Рональд. — Полный внутренний разлад. Я понимаю, что ко всему можно искусственно подогнать стандартные, идеологически выдержанные объяснения. Это я, кстати, и делаю на своих лекциях. Но внутреннюю веру в безошибочность этой нашей монопольной партии я утратил.

— Мы, вероятно, чувствуем одинаково и мыслим очень близко, — говорила Екатерина Георгиевна. — Но я твердо знаю

одно: нельзя отрываться от всех. Нельзя думать, что вся рота идет не в ногу, и лишь ты один идешь в ногу. Это гибельный индивидуализм и пропасть бездонная. Я думаю, что объяснения еще впереди. Что-то мы возможно поймем. Но это не значит, что можно сидеть сложа руки и не драться за правду. Завтра я опять иду к президенту Академии наук Комарову, буду настаивать, чтобы он написал письмо в защиту Винцента...

В те же первые дни июня 1941 года пришел к Вальдекам вечерком Павлик Ковальский с письмом от Ежички. В году истекшем Ежик участвовал в штурме Выборга, потом его воинскую часть перекинули от финских хладных скал почти до пламенной Тавриды, очутился Ежик на Украине и поступил курсантом в Сумское артиллерийское училище, пресытясь вдоволь солдатской лямкой и возжелав переменить ее на офицерский планшет. Писал он товарищу-медику, как всегда, с юмором и оптимистически.

Для своих родителей Ежик, еще будучи в Москве, сконструировал прибор, который он величал конвертором. Прибор предназначался для слушания коротковолновых западных радиостанций и состоял из пяти ящичков с хитроумной начинкой. Ежик научил пользоваться конвертором и друга Павлика. Конвертор подключался к домашнему радиоприемнику СИ-235.

В тот вечер у Рональда были выпускные экзамены, то есть он принимал их у своих студентов-заочников Московского областного пединститута. Студенты не очень оправдали надежды педагога, и пришел он домой раздраженный и усталый. Павлик возился с приемником и конвертором, а у стола сражались в шахматы два друга дома — старый товарищ Германн, уцелевший в передряге 1937 года, и С. А. Поляков, «старый скорпион», недавно вернувшийся из ссылки за грехи сына-троцкиста и нашедший приют в доме Вальдеков. Выяснилось, что некогда с ним порознь дружили и Катя, и Рональд! Мир тесен, точнее, настоящих людей в нем... негусто!

Между тем под руками Павлика конвертор зашипел, захрапел, заговорил и, наконец, прямо-таки залаял: это Павлик поймал из дружественной нам гитлеровской Германии речь какого-то там гаупт- или оберштурманнфюрера Фрича. Этот крикливый оратор грубо облаивал британскую парламентскую систему и всю европейскую демократию. Лай был громок и уже резал ухо. Рональд взмолился о пощаде — ему и без Фрича тошно!

— Напрасно выключили! — посмеивался товарищ Германн. — Он клеймил Британию, требовал, чтобы она, мол, доказала свой демократизм на деле: отпустила бы все свои колонии на

свободу!.. Послушайте, Павлик, поймайте нам через два часа Англию! Через два часа должна начаться передача со станции «Нейер Фрайер Зендер». Это новая антифашистская станция Второго, социалистического Интернационала. Ну, знаете этих... Фриц Адлер, Вандервельде и т. д. Станция очень занятная. Наши газеты часто теперь дают ее материалы, но не называют источника. Вот услышите, через два часа они уже будут реагировать на речь Фрича. Это очень занятно!

— А кто он такой, этот лающий товарищ? Как его, штурмфюрер и прочее?

— Руководитель отдела антибританской пропаганды у Геббельса. Умора! Обязательно надо послушать, как они его отбреют!

Рональд как вежливый хозяин, да и просто любя Германна, не захотел лишить его удовольствия и кое-как высидел, поклевывая носом эти два часа. Павлик поймал «Нейдер Фрайер Зендер» без труда. Иронический немецкий голос уже «реагировал» на речь Фрича, когда Павлик окончательно настроился...

«Мы сейчас с любопытством наблюдали кривляние господина Фрича в красной тоге поборника демократии... Еще любопытнее будет понаблюдать его через недельку в стальном панцире антибольшевистского борца!»

Ночное радио разносило эти фразы с английского берега примерно в дни 14—16 июня 1941 года... Дивизии вермахта, даже не слишком заботливо соблюдая звуко- и светомаскировку, уже занимали рубежи, танковые рептилии ползли к Сувалкам... И через неделю, как предвидело радио «Нейер Фрайер Зендер», пропагандисты Геббельса уже орали в микрофоны о приказе фюрера двинуться на восток..

...В то утро Катя и Рональд рьяно переводили какой-то срочный заказ от редакции «Иностранной литературы». И не ведали, что патриотическая Москва, услыхав первые тревожные вести, уже штурмует продовольственные магазины, ларьки и лавки. Когда включили по некоему инстинкту свое радио, товарищ Молотов, слегка заикаясь, говорил слова, падавшие камнем на сердце...

Не сговариваясь, Катя и Роня кинулись в столовую, где накануне Сергей Александрович Поляков забыл на буфете пачку папирос.

Задымили. Дослушали речь Молотова. Заплакали оба. Обнялись. Ничего друг другу не высказав, без всяких слов постигли вмиг, что распутия, сомнения, колебания улетают, как дым, куда-то далеко назад, в небытие. Теряют всякий смысл и свое значение. Сейчас для обоих одно дело жизни — спасти детей

и Отечество от злой общей беды...

И Рональд Вальдек, в чем был, побежал в Бауманский райвоенкомат проситься на передний край войны.

Его сразу не взяли. От Военной академии и пединститута на него была подана бронь, то есть временная отсрочка от призыва. Один месяц он еще дочитывал свои курсы, принимал экзамены, выдавал, подписывал дипломы. Гулаговский начальник, староста его первой группы Особого факультета, дал ему отличную характеристику и помог снять бронь. Еще несколько суток Рональд дежурил на крыше академии, тушил зажигательные бомбы и был легко ранен в первую бомбежку Москвы осколком зенитного снаряда. Катю Вальдек эвакуировали куда-то в Башкирию вместе с институтом.

Еще день спустя Рональда вызвали в военкомат, отобрали паспорт, выдали предписание и послали на формирование новой московской дивизии в город Рыбинск.

8 августа 41 года под селом Войсковицы он участвовал в первом смертном встречном бою на Ленинградском фронте.

КОНЕЦ ВТОРОЙ ЧАСТИ

Ф. Штильмарк

notes

Примечания

1

ВОКС — Всесоюзное общество культурных связей с заграницей.

2

Заслуга сбережения рукописи «Горсти света», по которой осуществлены все публикации, включая настоящую, принадлежит также его покойной жене Галине Анатольевне. Историю ареста рукописи и сохранения одного из ее экземпляров Д. Р. Штильмарк рассказал в телевизионной передаче «Пятое колесо» в декабре 1989 г.

3

ГУЛЖДС — Главное управление лагерей железнодорожного строительства.

4

Анатолий Сергеевич Елкин был тогда зав. отделом литературы и искусства «Комсомолки». Вот что совсем недавно написал о нем в своих воспоминаниях Я. Голованов: «Елкин был мягким, добрым человеком, действительно очень талантливым, но абсолютно беспринципным. Если бы он получил задание написать, что Шекспир — бездарь, а Толстой — графоман, он сочинил бы такую статью за ночь» («КП» от 11 июля 1998 г.). Интересно бы узнать, кто же озадачил Елкина ругать «Наследника из Калькутты»...

5

В реальности — Александр Владимирович Столяров (1867—1935), женатый на Аделе Александровне Столяровой, урожденной Штильмарк (1874—1958). — *Здесь и далее везде примеч. автора.*

6

Мейстерверков Зауэра — лучшие образцы изделий фирмы.

7

В реальности — Роберт Александрович Штильмарк, автор и герой романа. Его родители — Александр-Бруно Александрович Штильмарк (1883—1938) и Мария Оскаровна Штильмарк, урожд. Мартинсон (1886—1971).

8

Фактически инженер-химик Александр-Бруно Александрович Штильмарк был расстрелян на полигоне в Бутово 14 июня 1938 г.

9

Оскар Германович Мартинсон — отец матери героя романа.

10

Мария Карловна Лилиенфельд, в замужестве Мартинсон, бабушка автора и героя романа.

11

Мария Оскаровна Мартинсон (в замужестве Штильмарк) — жена Александра-Бруно и мать Роберта Штильмарка.

12

О, бедная мадам, бедное дитя! *(фр.)*

13

Петропавловская женская гимназия *(нем.)*.

14

Петропавловская мужская гимназия *(нем.)*.

15

Александр Густавович Лиленталь.

16

Вера Александровна Штильмарк (р. 1912 г.), в замужестве Шумная. Живет в Москве.

17

Эта железнодорожная паника, как впоследствии выяснилось, продлилась всего несколько суток на станциях Минеральные Воды, Кисловодск, Пятигорск и в еще большей степени — в Батуме и Сухуме. Уже через неделю после объявления войны, положение на кавказских вокзалах нормализовалось.

18

О, простите, господин полковник! Перед молодым человеком... *{фр.)*

19

Алексей Михайлович Осокин.

20

«Я маленький, мое сердце чистое, в нем живет только Бог» **(нем.).**

21

«Доброй ночи!» *(нем.)*.

22

Здесь и далее речь идет уже не о Москве, а о городе Иванове-Вознесенске.

23

Морис Вернье.

24

Порядок *(нем.)*.

С нами Бог *(нем.)*.

26

Я сразу узнал! Посмотри-ка, это Нюрнберг, мой родной город! (*нем.)*

27

Ты можешь теперь его выбросить. Война скоро кончится. Близится русская революция. Царизму конец (*нем.)*.

28

Но не болтайте же ребенку разные глупости! (*нем.*)

29

«Самолет», «Кавказ и Меркурий» — названия пароходных компаний.

30

В 1930 г. переименован в Ногинск.

31

У села Кудиново.

Нынче — ст. железнодорожная.

33

Заключенные (от сокр. з/к).

34

Высший Совет Народного Хозяйства (позднее — Госплан РСФСК).

35

Александр Александрович Штильмарк (1843 — 1910), дед автора и героя романа, похоронен на Введенском кладбище в Москве.

Школьных работников.

37

Договор между Советской Россией и Германией о восстановлении дипломатических отношений заключен в г. Рапалло (Италия) в 1922 г.

38

Где хорошо — там и родина *(лат.)*.

39

Помгол — помощь голодающим.

40

Подлинные имя и отчество. В. Э. Штильмарк — репрессирован.

41

Старое здание Купеческого клуба находилось на Б. Дмитровке, 17. Новое — с 1911 г. — на М. Дмитровке, 6.

Подразумевается Анастас Иванович Микоян.

43

Серебряково.

Звезда ***(фр.)***

45

С. А. Поляков — основатель издательства «Весы» и «Скорпион» в Санкт-Петербурге ***(см.*** В. Лидин «Люди и встречи», М., 1965)**.**

Народный комиссариат путей сообщения.

47

Учебник астрологии *(фр.)*.

48

«Мама, я умираю чистой» (*нем.*)

49

Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

50

В реальности Валентин Кестнер — будущий востоковед-экономист Олег Викторович Плетнер (1894—1928). Брата его звали Орестом. Катя Беркутова — Евгения Дмитриевна Белаго, по первому мужу — Плетнер, по-второму — Штильмарк (1899—1944). Вадим Григорьев — Владимир Владимирович Егорьев (1894—1938). Репрессирован.

51

Слишком прекрасно ***(нем.)*.**

52

Сохранены подлинные имя, отчество, фамилия (1891 — 1938). Репрессирован.

53

— Дорогая Катрин, как объяснить ваше участие в этом беззаконии? Где ваши родители? Живы ли они? Что могло заставить нас… (*фр.*).

— Моя милостивая барышня! ***(нем.)***

55

Профессор-востоковед Николай Александрович Невский (1892—1937). Репрессирован.

Формоза — прежнее название острова Тайвань

«Дело вышло!» *(нем.)*

Кавиар — икра (южн. выражение, см. словарь Даля).

59

Олег Олегович Плетнер, родился в 1919 г. в Токио, окончил 327-ю среднюю школу в Москве, участник Финской и Великой Отечественной войн, командир противотанковой батареи, старший лейтенант 1178 артполка, погиб 21.02.1945 г. Похоронен у г. Рацибуж Катовицкого воеводства в Польше («Книга памяти. Москва» т. 10, М., 1994).

Антонина Ивановна Слободчикова.

61

«Немреспублика» — Немцев Поволжья Автономная Советская Социалистическая Республика была образована в составе РСФСР в декабре 1924 г. В начале войны ликвидирована, немцы Поволжья репрессированы или переселены.

Ныне — г. Энгельс (с 1931 г.).

В 1964 г. переименован **в г. Тольятти.**

ДВР — Дальневосточная республика (1920—1922). РОСТА — Российское телеграфное агентство (1918—1935).

65

Подразумеваются строки В. В. Маяковского из стихотворения «Пиво и социализм»: «Еще б водочку имени Энгельса//Под именем Лассаля блины...»

66

«Присыпкин» — герой сатирической пьесы Маяковского «Клоп».

67

Николай Иосифович Конрад (1891—1970), академик АН СССР с 1958 г., виднейший востоковед. Был арестован, но уцелел (см. ниже).

Впоследствии статую перенесли на особую береговую площадку.

Вскоре он был переименован в Малый Вузовский.

70

Учитель.

71

Центральная комиссия по улучшению быта ученых.

72

Надежда Иосифовна Фельдман — жена академика Н. И. Конрада.

73

Начальные строки поэмы Александра Блока «Соловьиный сад».

Институт международных отношений и мировой политики АН СССР.

75

Подлинное имя, отчество, фамилия.

КПГ — Коммунистическая партия Германии.

77

НКИД — Народный Комиссариат иностранных дел. Его «дочернее учреждение» — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС).

Подразумевается Ольга Давыдовна Каменева (сестра Л. Д. Троцкого-Бронштейна и жена Ю. Б. Каменева-Розенфельда).

ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет. ВЦИК — Всероссийский ЦИК.

Торгсин — торговля с иностранцами.

81

Schlaraffenland — страна чудес (н*ем.)* — букв, «сказочная страна».

Подлинное лицо, автор поэмы «Шамиль» (Л. 1940).

83

Извечно женственное ***(нем.)***.

Р. Штильмарк. «Осушение моря» М., 1932, «Молодая Гвардия».

85

Феликс-Эдмунд Робертович Штильмарк, р. 1931 г. двойное имя дано в честь Феликса Эдмундовича Дзержинского по просьбе матери.

86

Н. Г. Смирнов (1890—1933) в романе «Дневник шпиона» (1929) писал об англо-советских отношениях в первые годы Советской власти. Не путать с Н. П.Смирновым (1898—1978) — автором произведений об охоте и природе.

87

Победоносиков — отрицательный персонаж (бюрократ), герой пьесы В. В. Маяковского «Баня».

88

В подлиннике: «Солнце, сожги настоящее — Во имя грядущего — Но помилуй прошедшее» (Николай Гумилев «Молитва»),

89

Мартин Андерсен-Нексё (1869—1954) — датский писатель.

«Мне было там гораздо лучше!» ***(нем.)***

91

Датская писательница Карин Михаэлис (1872—1950), самый известный роман которой «Мамочка» был издан в 1958 г. в СССР под названием «Мать».

«Liedertafel» — певческое общество.

«Turnverein» — гимнастический союз.

«Auffallend» — было бы странно, бросилось бы в глаза (***нем).***

95

Подлинное лицо. Н. Н. Крестинский (1883—1938), член ЦИК и ВЦИК, репрессирован.

— Но ты действительно эротически силен. Так хорошо и сладко мне еще не было в жизни. Я совершенно счастлива! И очень тебя люблю!..

97

Наг — кобра из рассказа Р. Киплинга «Рикки-Тики-Тави».

98

— Но ведь она гораздо красивее меня. Как же это все случилось?.. И что же дальше с нами со всеми будет? Ты что, ее больше совсем не любишь? — Мне тяжело с нею из-за обмана. — О, боже, что я только натворила!.. Мы еще раз с тобой увидимся? *(нем.)*

Мы же еще не долюбили! (м*ем.)*

100

Секретный сотрудник.

101

Китайско-Восточная железная дорога.

102

«О, ты, радостная, святая рождественская ночь!» *(нем.)*

103

Подразумевается роман Б. Ясенского «Человек меняет кожу», а также строки из стихотворения Н. Гумилева «Память»: «Только змеи сбрасывают кожу/Мы меняем души, не тела».

«Марксизм не умер!» *(нем.)*.

105

«Марксизм не умер, но мы мертвы» *(нем.)*.

Подразумеваются «Известия».

107

Информации «от собственного корреспондента».

108

ИККИ — Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала.

109

Николай Иванович Бухарин (1888—1938). Репрессирован.

110

Подразумевается Карл Бернгардович Радек (1885^—1939). Репрессирован.

111

Подразумевается ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза.

Подразумевается А. Н. Шевалдаев.

113

Мария Александровна Рыбникова.

114

Московский педагогический институт (ныне педуниверситет) — позднее имени В. И. Ленина — размещался в то время на Большой Пироговской ул.

115

Ответственным руководителем («отвруком») ТАССа («ПАИС») был в то время Г. И. Ганецкий.

116

Из поэмы А. Блока «Скифы».

117

«Мои деньги пропали!»

118

— Куда вы едете, мадам? До какой станции? ***(нем. и англ.)***

— О! Моя станция... Ак-Булак!(англ.)

— Как Ваше имя, мадам? (акгл.)

121

— Доктор Менцель из астрономической экспедиции в Ак-Булаке ваш муж, миссис Менцель?

[1] — Да, мистер Икс, это так! Плохо... мои деньги пропали! И мой обратный билет фирмы Кука тоже пропал... ***(англ.)***

123

Из повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

124

Петруша Гринев — главный герой этой повести.

125

Подлинное лицо. Борис Петрович Герасимович (1889—1937), директор Пулковской обсерватории; репрессирован.

Существует версия о том, что он сделал это намеренно.

127

Стихи Б. Слуцкого.

Культурно-воспитательный отдел.

129

Пелось на мотив: «Шел я на малину»

130

Зоолог Владимир Георгиевич Гептнер (1901—1975) был арестован в 1933 г., но вскоре выпущен. Репрессии позднейшие его миновали.

131

В реальности — Отто Ковалевский. Сын его — Евгений (см. ниже). Августа Васильевна — Эриа Васильевна Гофман-Померанцева.

132

Недавно скончавшийся заслуженный хирург Е. О. Ковальский объяснял, что в классе с ними училась дочь Михаила Кагановича (брата Лазаря), однако, по ее словам, обращаться к дяде было бесполезно, он никогда никому не помогал. И сам М. М. Каганович погиб в годы репрессий.

133

Академик Евгений Самуилович Варга (1879—1964).

— Мое милое дитя: но что же я могу поделать! Однако не надо отчаиваться, мое дитя! Все еще может измениться! ***(нем.)***

135

Т. е. причина, повод для начала войны.